

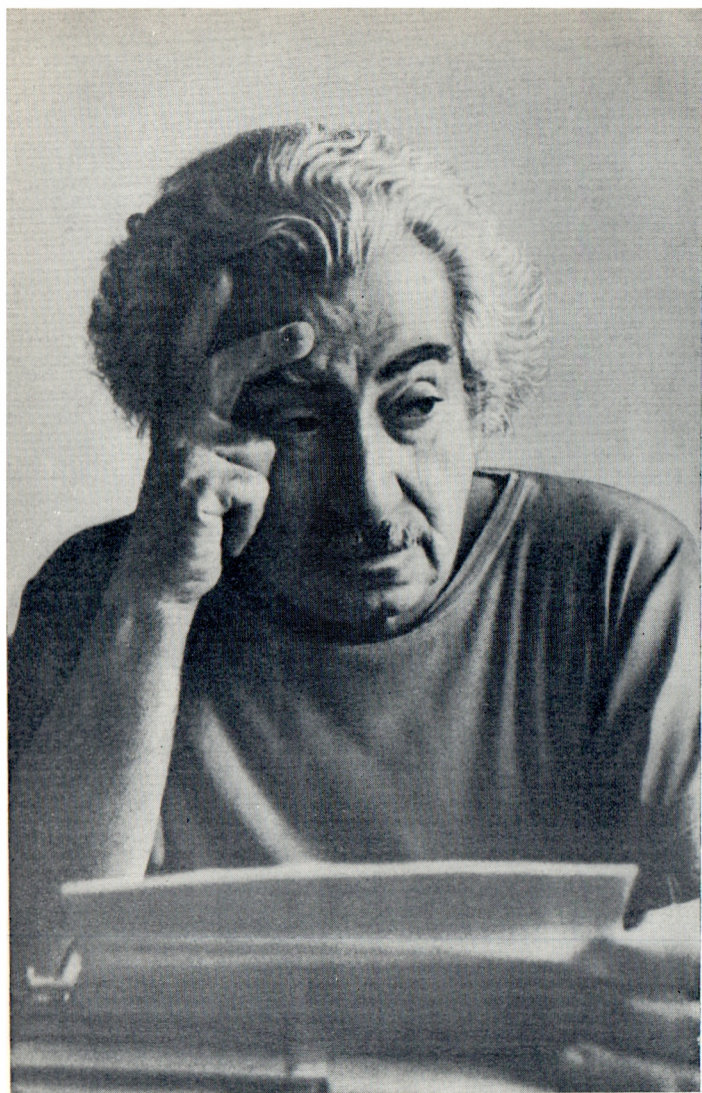
ЖОРЖИ  
Амаду

ЖОРЖИ  
Амаду

7







# ЖОРЖИ АМАДУ • СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРЁХ ТОМАХ



ЖОРЖИ  
*Амаду*

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРЁХ ТОМАХ

МОСКВА  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»  
1986



ЖОРЖИ  
*Амаду*

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРЁХ ТОМАХ  
ТОМ ПЕРВЫЙ

МЁРТВОЕ МОРЕ

КАПИТАНЫ ПЕСКА

НЕОБЫЧАЙНАЯ  
КОНЧИНА  
КИНКАСА  
СПИТЬ ВОДА

ПЕРЕВОД С ПОРТУГАЛЬСКОГО

МОСКВА  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»  
1986

**ББК 84. 7Бр**  
**А 61**

**JORGE AMADO**

**MAR MORTO**  
**1936**

**CAPITÃES DA AREIA**  
**1937**

**A MORTE E A MORTE**  
**DE QUINCAS BERRO**  
**D' ÁGUA**  
**1961**

**Редакционная коллегия:**

*Ю. Дашкевич*  
*О. Игнатъев*  
*В. Кутейщикова*  
*А. Минин*

**Составление и предисловие**

*И. Тергерян*

**Художник**

*В. Пахомов*

**А**  $\frac{4703000000-360}{028(01)-86}$  **подписное**

© Предисловие, перевод, отмеченный знаком \*, оформление. Издательство «Художественная литература», 1986 г.

---

## МИР ЖОРЖИ АМАДУ

Хорошо известно: всякий большой писатель — это особый мир, особая вселенная. Но сотворенный мир всегда существует в напряженных соотношениях с миром реальным, а соотношения эти бывают весьма различны. Чтобы сказать собственное слово о жизни, некоторым художникам надо сконструировать вымышленный мир с особой географией и особой историей — будь то город Глупов Салтыкова-Щедрина, округ Йокнапатофа Уильяма Фолкнера или мифологическое Среднеземье замечательного английского прозаика Дж.-Р.-Р. Толкьена. В латиноамериканской литературе этим путем пошел известный нашим читателям Хуан Карлос Онетти, придумавший для своих романов особый город — Санта-Марию.

Существует, однако, и иной тип писателей — писатели, вселенную которых мы называем «Париж Бальзака», «Петербург Достоевского», «диккенсовский Лондон». Творческая судьба этих художников неразрывно связана с запечатлением некоего исторически подлинного «хронотопа», впитыванием его неповторимых токов, возведением документальной повседневности в ранг мифа. Выбор первого или второго из двух путей — интимный вопрос творчества писателя. Для читателя важно одно — художественный результат. И если говорить о латиноамериканской культуре XX века, то здесь едва ли не самый блистательный пример второго пути, пути претворения географической реальности в большую литературу — творчество Жоржи Амаду.

\* \* \*

Жоржи Амаду посчастливилось родиться в окрестностях Баии, одного из самых красочных и удивительных городов мира. А Баие посчастливилось, что в августовский день 1912 года в семье владельца небольшой плантации какао к югу от города родился тот, кому в будущем было суждено дать окружающему его живописному и гулкому миру вторую жизнь — жизнь в искусстве, сделать его достоянием мировой культуры. Родился



художник не местного значения, не просто влюбленный в родной уголок земли, но художник, увидевший в локальном, областном — общенациональное, в людях Баии — воплощение бразильского народного характера.

Баия (полное имя, данное городу португальскими колонизаторами, было Сап-Салвадор-да-Баия) лежит на северо-востоке Бразилии, на берегу уютной бухты. Город раскинулся вдоль пляжей залива, карабкается вверх по склонам холмов. Все здесь сбито воедино: старинные особняки и церкви, выстроенные в XVII—XVIII веках в пышном стиле барокко, небоскребы современных банков и контор, негритянские хижины... Как во всяком приморском тропическом городе, жизнь протекает главным образом на улице, всегда заоленной пестрой толпой: здесь торгуют, устраивают представления, едят, дерутся, зазывают, бьются об заклад... Однако удивительность Баии еще не в этом. Чтобы ее оценить, надо заглянуть в прошлое.

Баия была одним из первых центров португальской колонизации Бразилии. Вокруг города складывалось плантационное хозяйство (разводили сахарный тростник и табак, потом хлопок и какао), основанное на рабском труде. В Баию плыли караваны судов с неграми-рабами из Африки, так как аборигенов страны — индейцев — не удавалось обратить в невольников. Португальско-колонисты брали в наложницы негритянок и индейцев, иногда и женились на них, постепенно подавляющим большинством населения Баии, да и всего северо-востока Бразилии, стали мулаты и метисы, потомки трех смешавшихся рас. В результате этнического смешения сформировалась и совершенно новая народная культура. В течение столетий негры сохраняли африканские языческие культы и держались за них тем упорнее, чем злее преследовали их белые сеньоры и католические миссионеры. Это было формой протеста против рабства. Негритянские верования сливались с близкими по языческому духу верованиями индейцев, таких же преследуемых и угнетенных. Когда негров и индейцев насильственно обращали в католичество, они приспособливали новую религию к своим языческим культам. Католические святые отождествлялись с идолами, с «ориша». Так, святая троица христиан превратилась в могучего ориша Ошала, который может появляться то в виде юноши Ошодидана, то старца Ошолуфана. Святой Георгий, поражающий дракона, оказался вполне подходящим для бога охоты Ошосси. Но и белые люди, столкнувшись с чужой и опасной природой тропиков, легко перенимали негритянские и индейские поверья. Более того, влияние негритянского и индейского мировосприятия усилило и сохранило языческие, дохристианские элементы в иберийском фольклоре, привезенном португальцами.

В фольклорном искусстве, расцветшем в Баие и распространившемся отсюда по всей Бразилии, исследователи различают исходные негритянские, индейские или иберийские элементы, но все это сплавлено в новое, самобытное целое — бразильское. Буйный, многодневный праздник — карнавал — родился из соединения традиционного празднества европейского средневекового города и языческого праздника в честь наступления осени. Борьба, которой занимались негры-рабы из Анголы на потеху белым сеньорам, обросла музыкой и песнями и превратилась в капоэйру — уникальную борьбу-танец, где каждый выпад сопровождается сложными акробатическими движениями.

Стойкой и отчаянной борьбой бразильские негры добились отмены рабства (в 1888 г.), а значительно позже — и признания права сохранять свои племенные культуры. Священники вынуждены были мириться с тем, что праздники католических святых сопровождаются языческими процессиями и танцами, что, начавшись утром в церкви, праздник заканчивается ночью всеобщей пляской на радении — кандомбле (или макумбе). К тому же эти обычаи стали достоянием всего пестрого населения Баии, потеряли свой культовый характер, превратились в бытовые, любимые за их массовость и веселье обряды. Удивительность, неповторимость Баии состоит как раз в том, что в большом городе середины XX века народное искусство не сведено к роли кустарных промыслов и любительских занятий, а живет естественной, полнокровной жизнью, объединяя массы горожан в народный коллектив.

Баианский календарь богат праздниками — и для каждого есть свои песни, свои танцы, свои ритуалы. Праздник кипит на улицах, площадях, пляжах, его никто не организует, люди стекаются сами и объединяются в согласованном ритме. Творцы праздника — бедняки Баии. Жители богатых кварталов остаются любопытствующими зрителями. Впрочем, нередко и их увлекает властный ритм общего веселья. Баианцы умеют превращать в праздник даже тяжелый труд. Со всего города сходятся любители посмотреть на рыбную ловлю: пятьдесят — шестьдесят рыбаков вытягивают гигантскую сеть, их тела движутся в такт песне, которую поют все жители рыбацкого поселка — женщины, дети, старики — под аккомпанемент барабанов и погремущек.

«Не надо думать, что в Баие народу легко живется. Наоборот, это бедный город в слаборазвитом, почти нищем штате, хотя и обладающем огромными природными богатствами. Для народа здесь гораздо меньше возможностей, чем, например, в Рио-де-Жанейро или Сан-Пауло. Различие состоит в народной цивилизации, народной культуре, которая делает жизнь менее жестокой и суровой, более гуманной...» — пишет Жоржи Амаду в книге «Баия,

добрая земля Баия»<sup>1</sup>. Да, искусство, которое создает народ и которым он наполняет свой повседневный быт, помогает переносить нищету и социальную несправедливость, вселяет жизнелюбие и надежду.

Жоржи Амаду с детства приобщился и к жестокой суровости народной жизни, и к народному искусству, просветляющему эту суровость. «Годы отрочества, проведенные на улицах Баии, в порту, на рынках и ярмарках, на народном празднике или на состязании в капоэйре, на магическом кандомбле или на паперти столетних церквей, — вот мой лучший университет. Здесь мне был дарован хлеб поэзии, здесь я узнал боль и радости моего народа», — рассказывает Амаду в речи, произнесенной в 1961 году при вступлении в Бразильскую Академию литературы<sup>2</sup>. По улицам Баии бродил Амаду, удрав с уроков, в годы учения в иезуитском коллеже. А четырнадцать лет он бежал от наставников и скитался, пока отец не разыскал его, по степям штата Баия. Еще один курс в университете народной жизни...

Литературная деятельность Амаду началась романом «Страна карнавала» в 1931 году. Затем последовали «Какао» (1933) и «Пот» (1934) — неприкрашенное, суховато-протокольное описание труда и быта батраков на плантации какао и пролетариев с окраины Баии. Молодой писатель испытал глубокое влияние мировой революционной литературы 20-х годов. На португальском и на испанском языках он читал «Тихий Дон» Шолохова и «Разгром» Фадеева, «Цемент» Гладкова, «Железный поток» Серафимовича, «Неделю» Либединского, книги Майкла Голда, Эптона Синклера. Под влиянием распространенной тогда теории Амаду воспринимал революционную литературу как «литературу факта». В предисловии к «Какао» писатель, формулируя задачу такого «максимально честного», документированного изображения социальных процессов, спрашивает: «Не будет ли это пролетарским романом?»

«Какао» и «Пот» нашли горячий отклик у участников революционного движения в Бразилии. Но Амаду не был удовлетворен своими первыми книгами. Ему хотелось, чтобы тема становления классового сознания была спаяна с чисто национальными формами быта и мышления. Все то, что он слышал и видел во время своих отроческих и юношеских блужданий по городу — песни, легенды, предания, — все это рвалось на бумагу. Так

---

<sup>1</sup> Jorge Amado. Bahia, boa terra Bahia. Rio de Janeiro, 1967, p. 60.

<sup>2</sup> Jorge Amado, povo e terra. São Paulo, 1972, p. 8.



Амаду написал свой первый цикл романов о Баие: «Жубиаба» (1935), «Мертвое море» (1936), «Капитаны песка» (1937).

В «Мертвом море» Амаду нашел нужный ему поэтический ключ повествования: каждая ситуация, каждый поступок героев имеет как бы два возможных толкования, два смысла: обыденный и сказочный, реальный и легендарный. В реальном плане герои романа живут нищенской жизнью рыбацкого поселка, погибают в море, оставив вдов и сирот. В легендарном плане они общаются с богами и моряк не возвращается из плавания, потому что становится возлюбленным богини моря Иеманжи. Фольклорный миф, который Амаду использовал в книге, чрезвычайно распространен в Баие. И поныне 2 февраля, в день богини моря Иансан (или Иеманжи) жители выходят на пляжи, пускают по волнам цветы, женщины бросают в воду скромные подарки — гребни, бусы, колечки, чтобы умилостивить грозную богиню, упротить ее вернуть невредимым мужа или жениха.

Тема становления классового сознания бразильского рабочего есть и в этом романе, но она спрятана в рассказе о легендарной жизни смельчака Гумы и дает себя знать лишь отголосками: то упоминанием о забастовке в порту, то неясными мечтами учительницы доны Дулсе о социальной справедливости. И лишь в финале книги соединение двух мотивировок — бытовой и поэтической — высвечивает подлинный итог повествования.

Много раз в «Мертвом море» говорится об участии вдов моряков: в историях, памятных всему порту, в песнях, в мыслях Гумы, в мольбах Ливии. И вот сбылись предчувствия — Ливия осталась одна с ребенком на руках. Но она не попала в вечную кабалу к фабриканту или хозяину притона. Ливия нашла свой путь, независимый, трудный. Первой из женщин порта она вышла на «Крылатом» в море рядом с мужчинами — товарищами Гумы.

Но есть и другая, песенно-сказочная причина решения Ливии. По глубокой вере всех людей порта, моряк, погибший в бурю, спасая товарищей, становится возлюбленным Иеманжи. Это она, ревнуя своего избранника, развязывает бурю и уносит возлюбленного в далекие земли Айока, где он будет принадлежать только ей. И Ливия верит, что в море, заняв место Гумы у руля его бота, она вырвет мужа из рук богини, снова переживет радость любви. И когда ее бот пронесется мимо моряков, Ливия сама кажется им Иеманжой, повелительницей моря.

Чудо, которого ждут моряки в песнях и легендах, — это борьба. И каждый смелый шаг, освобождающий от страха и униженности, приближает чудо. Чудо совершат сильные, свободные, красивые люди. Таким человеком мог стать Гума. Таким человеком становится Ливия. Люди как боги — так можно обозначить

идею того поэтического претворения действительности в легенду, которое совершается в романе.

Это претворение отчетливо сказывается в языке романа. Герои мыслят совсем не так, как говорят. В диалогах персонажей Амаду воспроизводит просторечные обороты и грамматические неправильности, характерные для простонародной разговорной речи. В косвенной передаче мыслей героев, в их внутреннем монологе все неправильности исчезают, появляются языковые особенности, характерные для фольклора: повторы слов и целых фраз, фразы-лейтмотивы, звучат цитаты из народных песен. Рядом с диалогом язык внутренних монологов кажется приподнятым, приближенным к стихотворению в прозе. Языковой сбой демонстрирует разрыв между повседневной жизнью героев с навязанными им невежеством, нищетой, грубостью — и высоким поэтическим строем их чувств, их духовными возможностями.

«Мертвое море», как и остальные романы первого баианского цикла, особенно «Жубибаба», внесло в бразильскую литературу новую ноту. Интерес к фольклору распространился в среде бразильской интеллигенции еще с 20-х годов. Возникли журналы и поэтические группы («Пау-Бразил», «Желто-зеленое», «Ревиста де антропофагия»), пропагандировавшие индейский, реже негритянский фольклор в качестве исконного элемента национальной культуры. Были созданы яркие произведения (поэма Рауля Боппа «Змей Норато», роман Марио де Андраде «Макунаима») на основе индейских мифов и легенд. Однако фольклор оставался для этих писателей особым, чарующим, но замкнутым миром, отъединенным от современности с ее социальными конфликтами. Поэтому в их книгах ощущим оттенок любования экзотическим, декоративным зрелищем.

Существовал и другой подход к фольклору. Писатели-реалисты 30-х годов, и особенно Жозе Линс до Рего в пяти романах «Цикла о сахарном тростнике», рассказали о многих поверьях бразильских негров, описали их праздники, ритуалы макумбы. Для Линса до Рего верования и обычаи негров — одна из сторон социальной действительности (наряду с трудом, отношениями хозяев и батраков и т. п.), которую он наблюдает и исследует.

Амаду не наблюдает своих героев, не сохраняет дистанции, существующей между объектом исследования и исследователем. Легенда, рожденная народным воображением, открывается как сию секунду существующая действительность. Амаду-рассказчик предстает комментатором народной легенды, знающим все доподлинные подробности. Фольклор не изображается — фольклор проникает в каждую клеточку повествования, определяет фабулу,

композицию, психологию персонажей. Чувства героев усилены, укрупнены, как в народной песне. Амаду рассказывает о своих героях, как рассказывает песня или сказка, всегда однозначно оценивающая людей. В «Мертвом море» Роза Палмейра воплощает любовь материнскую, жертвенную, Эсмералда — низкую, предательскую страсть, Ливия — ту единственную любовь, что сильнее смерти. Герои романа, как и анонимные авторы песен и легенд, знают только светлое — или темное, чистое — или низкое, дружбу — или предательство. И так непосредственно, так искренне разделяет рассказчик мировосприятие героев, что сказочная атмосфера романа кажется реальной, что читатель готов поверить в существование Иеманжи и далекой земли моряков Айока. Замечательна в этом смысле сцена со свечой: друзья погибшего Гумы ищут его тело и для этого пускают по воде горящую свечу — по поверью, свеча остановится над утопленником. В лодке плывет также доктор, образованный человек, не верящий в морские приметы. Но так неустанно, самозабвенно ныряют друзья Гумы в самых опасных местах, лишь чуть помедлит свеча, что врач начинает напряженно следить за ее движением. И читатель следит за остановками свечи и ждет, что появится тело Гумы на руках его товарищей. Завораживает вера героев романа в сказку — лучшую ипостась их жизни, их натур, их отношений.

«Капитаны песка» (1937) обозначили новую ступень художественных поисков Амаду. Казалось бы, по сравнению с «Мертвым морем» фольклорные мотивы здесь несколько отступают на задний план, уходят в подтекст. Зато пристальность и беспощадная правдивость, с которой рассмотрена в романе судьба группы байанских беспризорников, напоминают социологическую протокольность первых книг Амаду — «Какао» и «Пот». Жизнь этих нищих подростков предстает перед нами во всех деталях, порой забавных, порой грубо-отталкивающих. Амаду четко обозначает расовые и социальные характеристики каждого члена группы. Он стремится к предельной точности в передаче речи персонажей, не боясь шокировать читателя. И тем не менее эта стихия жесткого документализма прочно сплавляется в романе с другой стихией — фольклорно-поэтической. В убогой жизни героев Амаду неизменно присутствует поэзия. «Капитаны песка», «одетые в лохмотья, грязные, голодные, агрессивные, сыплющие непристойностями и охотящиеся за окурками, были настоящими хозяевами города: они знали его до конца, они любили его до конца, они были его поэтами» — таков авторский комментарий, играющий важную роль в художественном целом романа.

В первом байанском цикле романов Амаду нащупал свой, оригинальный художественный путь — смелое соединение фоль-



клора и быта, использование фольклора для раскрытия духовных сил современного бразильца. Однако путь этот оказался для писателя не простым и не прямым.

В 1937 году, после установления в Бразилии реакционной диктатуры, Амаду, активный участник революционного движения, вынужден был эмигрировать. В 1942 году он возвращается на родину, но уже в 1947 году эмигрирует снова и до 1952 года живет сначала во Франции, потом в Чехословакии. В годы эмиграции Амаду стал общественным деятелем международного масштаба, представляющим демократическую Бразилию. Вполне понятно и закономерно, что у писателя, родина которого переживала мучительные социальные потрясения, возникла потребность в осмыслении исторического процесса. И в эмиграции Амаду не забывал любимую Баию — он написал ностальгическую книгу «Баия всех святых. Путеводитель по улицам и тайнам города Сан-Салвадора». Но главным делом его в эти годы стала работа над эпическими полотнами, в которых прослеживается судьба обширного края на протяжении полувека («Бескрайние земли», 1942; «Город Ильеус», 1944); судьба целого класса — крестьянства («Красные восходы», 1946) и, наконец, судьбы всей нации («Подполье свободы», 1952). Для первых двух книг Амаду воспользовался воспоминаниями раннего детства: ведь он родился и вырос на плантации какао вблизи городка Ильеуса в штате Баия и ребенком был свидетелем стычек между плантаторами, мести, насилия, разбоя (однажды отца Амаду ранили на глазах сына), а по вечерам родные, батраки, слуги рассказывали легенды о кровожадных плантаторах, жестоких, но справедливых разбойниках — кангасейро, отчаянных наемниках — жагунсо. Все это вошло в диалогию о земле какао. В «Красных восходах» писатель опирается на фольклорную символику: книга распадается на три части — повести о судьбах трех братьев (извечный мотив сказки, в том числе и бразильской), воплощающих три варианта крестьянского бунта.

В эмиграции Амаду сблизился с писателями разных стран, вошел в европейскую литературную жизнь, и в произведениях этих лет ощутимо влияние хорошо разработанной в европейской литературе формы многопланового романа-эпопеи. В «Подполье свободы» следы фольклорной поэтики уже и вовсе исчезают. Амаду впоследствии говорил, что этот его роман написан под огромным влиянием эпопеи Арагона «Коммунисты». Бразильскому писателю и здесь не изменило его живописное мастерство, но в целом он не сумел найти органичной (столь же органичной, как в его ранних фольклорных романах) художественной системы для гигантского нового жизненного материала. Ведь он попы-

тался охватить всю Бразилию с ее верхами и низами, политическими, социальными и психологическими коллизиями в один из самых острых моментов ее новейшей истории. В романе эти коллизии оказались выпрямлены и схематизированы. Многочисленные фабульные линии романа построены по одной схеме: представители разных классов (крестьянин, грузчик, балерина, архитектор, офицер и др.), переживая драматические ситуации и находя в трудную минуту поддержку у коммунистов, признают правду коммунистических идей. Национальная специфика жизни превращается здесь во что-то внешнее, декоративное, малосущественное, в ярко расписанные задник и кулисы, на фоне которых разыгрывается действие.

Амаду в 1955—1956 годах пережил глубокий творческий кризис. Он прекратил работу над трилогией, первой частью которой должно было стать «Подполье свободы». Прошло несколько лет молчания: писатель глубоко обдумал свое намерение идти отныне не вширь — в ширь пространства и истории, а вглубь — в глубь человеческого сообщества. И он вернулся в Баию.

Он вернулся в Баию и в буквальном смысле слова. С 1963 года он живет в Баие постоянно, здесь его дом, его друзья. Он знает в Баие всех: мастеров капоэйры, торговков баианскими сладостями, рыбаков, лодочников, старых жрецов и жриц макумбы. И они знают и любят сеу Жоржи, приходят к нему за советом и помощью.

Но еще раньше в творчестве Амаду начался новый баианский цикл: в 1958 году вышел роман «Габриэла, корица и гвоздика», в 1961-м — новелла «Необыкновенная кончина Кинкаса Сгинь Вода» и роман «Старые моряки, или Чистая правда о сомнительных приключениях капитана дальнего плавания Васко Москозо де Араган», объединенные под общим названием «Старые моряки». Затем последовали сборник повестей и новелл «Пастыри ночи» (1964), романы «Дона Флор и два ее мужа» (1966), «Лавка чудес» (1969), «Тереза Батиста, уставшая воевать» (1972), «Тиета из Агресте, или Возвращение блудной дочери» (1976). Художественные достоинства этих произведений не равноценны — для настоящего издания отобраны, как нам кажется, лучшие из них, принципиально новаторские в творчестве писателя.

Собственно говоря, обозначение «новый баианский цикл» отчасти условно. Не всегда действие разворачивается на улицах и пляжах Баии. Герои «Габриэлы...» живут в том самом городке Ильеусе, центре зоны какао, «земли золотых плодов», имя которого стояло уже в заглавии одного из романов Амаду; Тереза Батиста и Тиета из Агресте странствуют по разным городам и землям, Тиета добирается даже до Сан-Паулу. Но где бы ни происходили события в этих книгах, рассказ о них объединен

общим взглядом на жизнь, общим человеческим климатом. И всегда сохраняется преемственность по отношению к первому циклу романов о Баие. Кое-кто из прежних персонажей — шкипер Мануэл и его подруга Мария Клара — даже появляются вновь в «Старых моряках». А главное, чем новые книги связаны с Баией, — это своеобразие их структуры. Быт народа Баии послужил моделью художественного мира Амаду. Опыт повседневного общения с рыбаками, моряками, грузчиками, работниками, рыночными торговками подсказал Амаду саму идею двойственности жизни и поведения людей. Ведь бедняки Баии воистину живут двойственной жизнью: усталые от нищеты, униженные и измученные тяжкой повседневностью, они становятся сильными и свободными творцами во время праздника, карнавала, танца. Тут уж они диктуют законы: те, кто вчера помыкал ими, в день праздника восхищаются и подражают их веселью.

Новые книги Амаду реалистичны в самом прямом, буквальном смысле слова — предельно жизнеподобны. Амаду умеет писать быт упоенно, с какой-то алчностью к материальным подробностям, умеет добиваться эффекта присутствия (об этом говорил Илья Эренбург в предисловии к одному из романов Амаду). Но как ни реальны, безусловно достоверны все детали рассказа, мы все же ощущаем, что находимся в особом мире, где все заметно сдвинуто и сгущено. Что-то должно произойти, вырваться наружу из скрывающей его дотопле будничной оболочки. Совсем как во время карнавала, когда несколько дней самые обычные люди живут необычной жизнью, обнаруживают невероятные, не иссякающие в течение этих дней силы, темперамент, энергию. И ведь здесь, в Баие, да и по всей Бразилии, карнавал — не результат ученых изысканий или художнической реставрации. Он вершится каждый год в свой срок.

Так и в книгах Амаду: идет обычная жизнь, копошатся смешные или жалкие фигурки (вспомним хотя бы капитана дальнего плавания Васко Москозо де Араган и прочих персонажей книги «Старые моряки») — сатиры в книгах Амаду предостаточно, то добродушной, то вовсе не добродушной. Эгоизм и нивость властей, жадность и трусость мещан, душевная и умственная рутина, претензии и предрассудки псевдоученых и псевдодемократов — все это представлено в гротескной заостренности. Но сатирическим осмеянием дело не ограничивается. Подходит срок — и карнавальная взрыв отменяет обыденность. Он может быть совершенно фантастическим: бог Огун является на крестины сына бедного негра, мертвец воскресает, чтобы повидаться с друзьями. И иногда происходят не фантастические, но тоже невероятные события. Кухарка Габриэла, на которой женился ее хозяин, сделал ее тем самым богатой и уважаемой в городе дамой, демон-

стративно изменяет ему и охотно возвращается к своему прежнему нищенскому положению. Все жители трущоб Мата-Гато вступают в бой с полицией и городскими властями. Над гаванью Белен-до-Гран-Пара проносится космических масштабов стихийное бедствие, разрушая все суда, кроме парохода «Ита», пришвартованного на все якоря незадачливым капитаном Васко. Так или иначе, в сказочной или в реальной, в массовой или в индивидуальной психологической ситуации, но происходит схватка. Столкновение между двумя силами. Между корыстью и бескорыстием, двоедушием и искренностью, манерностью и простотой, дружбой и эгоизмом. Между народными представлениями о жизни и действительной жизнью буржуазного общества. И тем самым — между национальной средой и вненациональным духовным стереотипом, выработанным современным капиталистическим обществом и распространяющимся повсюду, в том числе и в Бразилии.

Для воплощения этого столкновения, для характеристики участвующих в нем антагонистов писатель разработал оригинальную и органичную поэтическую систему. Во всех книгах Амаду, начиная с «Габриэлы...», сталкиваются два лагеря, два потока. Это отчасти напоминает двухплановость «Мертвого моря», но взаимоотношения быта и поэзии здесь гораздо сложнее. Поэтический план повествования уже не перенесен всецело в сферу легенды, он как бы обрастает «мясом» реальности, тонкие нити поэзии протягиваются в обыденную жизнь, отмечая в ней то, что соприкасается с глубинным движением народного сознания.

В тех случаях, когда в действие вторгается нечто сверхъестественное, наблюдательный читатель, разумеется, имеет все необходимое для рационального объяснения событий. Так, в новелле «Необычайная кончина Кинкаса Сгинь Вода» вскользь замечено, что бранные слова, сказанные Кинкасом в гробу, слышит только Ванда. А когда появляются друзья Кинкаса, комически серьезное отрицание рассказчиком того, что они пьяны, лишь подчеркивает детали, которые он «из уважения к истине» не может скрыть: красноту их глаз, заплетающиеся языки, нетвердую походку. Да и потом, в описании ночных приключений воскресшего Кинкаса, рассказчик нет-нет да и бросит намек: вытянутые, негнибачущиеся ноги Кинкаса, послужившие причиной потасовки, или кашаса, которая то и дело проливается ему на грудь. Читатель ждет, что вот-вот все «реалистически» объяснится и обнаружится пьяная фантазия субультников Кинкаса.

Но происходит неожиданное: чем дальше развиваются события фантазмагорической ночи, тем стремительнее меняется интонация рассказчика, а вместе с интонацией — наше отношение к героям. Уже не пьянство, не потасовки видит рассказчик, а

морской берег, рулевого Мануэла, ждущего друзей к своему костру. Звучат морские песни, баркас выходит в море, начинается буря... И рассказчик отбрасывает двусмысленные детали, он безоговорочно встает на сторону легенды, чувствует в ней большую правду, чем в обыденной логике и безапелляционном здравом смысле. В легенде, распространенной народной молвой, осуществляется справедливость: друзья помогают Кипкасу провести последние часы жизни в море, а не среди постылых родственников-мещан. Как и в «Мертвом море», романтическая традиция помогает опоэтизировать внутренний мир героев, не заирая на всю внешнюю неприглядность их быта. Романтична их страсть к морю — истинной родине целой семьи романтических скитальцев. «Свободный человек, любить ты будешь море!» — восклицал Бодлер, как будто вторя Пушкину, назвавшему море «свободной стихией». И герои Амаду любят море за его вольную ширь, за ощущение свободы, которое приносит им единоборство со стихией.

Многие бразильские критики заметили, что в этой повести Амаду ощущается явственно влияние Горького. Герои «Необычайной кончины...» похожи на босяков из ранних произведений Горького. Но у Амаду есть свой, особый поворот антитезы мещанство — люди «на дне». Буржуазности противопоставляются не сами босяки, не их образ жизни, даже не моральное их превосходство, — душевная широта, щедрость. Противопоставляются прежде всего их фантазия, способность к поэтизации жизни. Именно в том, как их воображение пересоздает обыденность, раскрывается и подлинное их нравственное богатство. Оттого и торжествует легенда над правдоподобной житейской версией: старый моряк уходит в море, в бурю — не для него приличный гроб и фарисейски пошлый ритуал похорон «как полагается».

В «Старых моряках» или особенно «Доне Флор» быт и фантастика сталкиваются в непримиримой схватке. Они насквозь враждебны, противоположны, и только юмор может создать шаткое равновесие между ними. Так, юмор делает возможным «счастливей конец» в «Доне Флор».

Дона Флор, простенькая и добрая мещаночка, живет двойной жизнью — в спокойном, скучном, добропорядочном втором браке с аптекарем и в странном сожительстве с призраком своего первого мужа, веселого повесы и карточного игрока, умершего от неумеренного пьянства и пляса во время карнавала, а теперь, после смерти, ухитряющегося удрать из царства теней, чтобы побыть со своей красоткой женой. Дона Флор вполне довольна буржуазным комильфо своей новой жизни — и одновременно с тем глубоко несчастна, потому что в юности, замученная (как казалось ее родным и соседям) пьянством, плянием и даже по-

боями своего беспутного мужа, она на самом деле узнала с ним такую радость и щедрость вольной любви, без которой ей тошно теперь и благополучие, и общественное положение, и все остальное. И вот то ли негритянские боги устраивают в небе над Баией грандиозный бой из-за непокорного бродяги, удравшего с того света, то ли просто доня Флор воображением своим воскрешает ласки покойного мужа... Жоржи Амаду рассказывает, что, по первоначальному замыслу, дело должно было кончиться безумием доня Флор. Однако в ходе работы над романом он почувствовал неестественность трагической развязки. Героиня и весь социальный мир, сконцентрированный вокруг нее, не «дотягивают» до разлома, до трагического разрешения конфликта. И житейская устойчивость мещанской стихии пока одерживает победу: доня Флор справляется с угрызениями совести, а грезы помогают ей заглушить тоску. Вот идет она по улице под руку с важным и самодовольным мужем, и никто не знает, что блаженная улыбка ее обращена к призраку, который вьется вокруг и нежно касается ее тела. В этой последней сцене пропадает двойственность в отношении к героине (двойственность, на которой держалось все раздвоение романа на сатирический и поэтический планы), и ирония становится единственной экспрессивной стихией рассказа.

Точно так же иронически неоднозначно и отношение автора к главному герою романа «Старые моряки, или Чистая правда о сомнительных приключениях капитана дальнего плавания Васко Москозо де Араган». Жалкий фантазер, плут и лгунишка — местная знаменитость маленького баиянского предместья — как трудно ему удержаться на завоеванной враньем высоте, как страшно для него неминуемого разоблачения! Обыватели не простят ему обмана, а в глазах читателя он давно разоблачен: видя, как мутит его от бортовой качки, слыша его неумелые приказы, мы посмеиваемся над этим морским волком, в жизни не ступавшим на палубу корабля... Этого ли ждет от читателя Амаду? Концовка романа убедит нас в обратном. На защиту самозванного моряка с его пенковой трубкой встает пучина, поднимаются океанские ветра: сверхъестественный ураган крушит корабли в баиянском порту, уничтожив все — все, кроме «Иты», спасенной дурацким (оказывается, провидческим!) приказом капитана Васко. Сатирический план уходит в глубь романа, и в финале его торжествует поэтическая фантастичность.

Как правило, в произведениях Амаду сверхъестественное связано с поверьями бразильских негров, с ритуалами их сохранившихся и по сей день — особенно в Баие — культов. Конечно, негритянский культ привлекает художника не дремучими своими верованиями. Благодаря радениям — кандомбле — сохранялось

и сохраняется древнее народное искусство. Кандомбле — настоящий праздник фольклора: звучит изошренная дробь барабанов-атабаке (потом такую дробь под названием «боссанова» выбивают на всех эстрадах мира), поются старинные кантиги, кружатся в хороводе молоденькие жрицы иаво, а старые жрицы готовят для собравшихся пряные и острые блюда, шедевры баиянской народной кулинарии, которая ведь тоже искусство. Кандомбле собирает бедняков, помогает им сплотиться, чувствовать себя вместе с родными по духу, с друзьями, помогает в трудных условиях сохранять коллективность быта и коллективность художественного творчества.

Кандомбле обожествляет танец: бог здесь выражает свою милость не иначе, как даровав своему избраннику свободу и красоту движений; удалой пляс — знак присутствия божества, благоволения божества. И это отношение к танцу как прекрасному и счастливому дару окрашивает в книгах Амаду обыденную жизнь. Танец становится средством характеристики и оценки, танцем выражаются любовь и радость, облегчение и удовлетворение — все чувства человека.

Такую же роль играет в повествовании Амаду еда. Блюда, которые умеют стряпать только в Баие, участвуют во всех сюжетных перипетиях, во всех решающих событиях жизни героев Амаду. Приключения ожившего трупа Кинкаса Сгинь Вода развертываются в то время, когда друзья волокут его в порт, чтобы он, хоть мертвый, попробовал бы вкуснейшую мокеку, приготовленную Мануэлом.

Наконец, в книгу о доне Флор включены подробные рецепты баиянских блюд — на равных правах с переживаниями несчастной вдовы, потому что каждое блюдо, секрету которого доня Флор, руководительница кулинарной школы «Вкус и искусство», обучает своих учениц, напоминает сладкие или горькие минуты, пережитые с покойным мужем.

Баиянская кухня — одна из важных составных частей афробразильской народной культуры. Бразильские историки и этнографы тщательно изучили афро-бразильскую кулинарию как сферу проявления расового смешения. Известный этнограф Жилберто Фрейре указал на то, что негритянские блюда, введенные рабынями-кухарками в рацион белых колонизаторов, помогли португальцам адаптироваться к условиям тропиков. Баиянская кухня участвовала, таким образом, в процессе становления бразильской нации. Жоржи Амаду обращает внимание на другой, духовный аспект проблемы — на отношение народного сознания к наслаждению от еды. Народное сознание не только не стыдится этого наслаждения, но, наоборот, обожествляет его, включая в ри-

гуад. Еда священна, она входит в праздник вместе с музыкой, песней, диковинными движениями танца.

Так же открыто и откровенно царствует в художественном мире Амаду чувственное наслаждение. Иногда критиков смущает безмятежная чувственность, которая разлита в поведении героев, в деталях женского портрета, в речи рассказчика. В романах и новеллах Амаду нет никакого нарочитого «обнажения тайн», к какому привыкли все знакомые с западной литературой. Сексуальное наслаждение для героев Амаду столь же естественно и необходимо, как удовольствие от еды, от физического движения.

Высшая, самая сладостная и мучительная точка воспоминаний доны Флор о ее первой любви — вечер в ресторане, когда Гуляка вытаскивает ее, смущающуюся и застенчивую, танцевать и оба танцуют так упоенно, что затмевают всех, и пара за парой останавливаются, уступая им место... А потом ночью, вернувшись домой, любят друг друга так, как никогда еще не любили. Мы не можем даже представить себе танцующим на улице второго мужа доны Флор, хотя он вовсе не чужд искусству. Но его искусство — партия фэгота в любительском камерном оркестре — так же размерено на еженедельные репетиции, введено в благопристойные (темный костюм, порядочное общество) рамки, как и его денежные дела и его супружеская любовь. Зато первый муж доны Флор даже умер во время карнавала, прямо на мостовой, сразу после того, как вызвал всеобщий восторг невероятно разнузданными телодвижениями.

Танцем выражаются любовь и радость, облегчение и удовлетворение — все чувства человека.

Вплоть до клеточек изобразительности проникает эта связь телесных удовольствий. Танец, еда, любовь сливаются в единый образ веселой вольной плоти.

В книгах Жоржи Амаду народная стихия, атрибутом которой являются свободная радостная плоть и свободный полет фантазии, сталкивается в непримиримой схватке с буржуазной средой и буржуазным миропониманием. Это столкновение доведено до открытого и программного противопоставления в романе «Лавка чудес». Кажется, что Амаду написал эту книгу потому, что решил объясниться до конца, начистоту. Тут нет фантастики, нет двойственности мотивировок, все абсолютно реально, и для вящей достоверности упоминаются подлинные имена современников и соотечественников Амаду. Конечно, Педро Аршанжо, протагонист «Лавки чудес», — фигура вымышленная, и вымышлена вся история запоздалого признания его этнографических трудов. Штрихи достоверности, хроникальности нужны лишь для того,



чтобы подчеркнуть реальную важность спора, который ведет Педро Аршанжо.

Педро Аршанжо — двойник автора. Конечно, не в биографическом плане. Жизнь Аршанжо приурочена к первым десятилетиям нашего века: в начале 40-х годов нищим стариком он умирает на баиянской улице. Он двойник автора в самом главном — в отношении к жизни, в жизненной позиции. Ученый по призванию и дарованию, Аршанжо делает самую свою жизнь аргументом в научном споре. А спор этот естественно вырастает из его жизни, становится защитой всего родного, бесконечно дорогого для мастера Педро. Так у самого Жоржи Амаду: его книги вырастают из его жизни, из его бесконечной любви к своим землякам, к их древнему искусству, к их наивному и мудрому быту, в котором писатель участвует как равный, как всеми уважаемый мастер (подобно Педро Аршанжо, Амаду избран «обá» — старейшиной одного из баианских капищ и восседает во время празднеств в почетном кресле рядом с главной жрицей). Книги вырастают из привязанности, а превращаются в убеждение, в позицию в том самом споре, который ведет в романе Педро Аршанжо, а в действительности вот уже много десятилетий ведет писатель Жоржи Амаду.

Полемика между прогрессивными и реакционными силами бразильской интеллигенции по вопросу о неграх, об их влиянии на развитие культуры в Бразилии обострилась в начале XX века, У расистской точки зрения нашлись высокопоставленные защитники, например академик Оливейра Вианна. В книге «Эволюция бразильского народа» он утверждал, что «даже наиболее развитые из представителей черной расы никогда не смогут ассимилировать культуру белых, их способность к цивилизации не простирается далее простого, более или менее удачного подражания обычаям белых». Легко увидеть за этими расистскими рассуждениями фигуру наподобие профессора Нило Арголо из «Лавки чудес», злобного фашиста, главного оппонента и врага Педро Аршанжо.

В 1934 году был созван специальный афро-бразильский конгресс, в 1937 году — второй. Выступавшие на этих конгрессах прогрессивные ученые, такие как знаток афро-бразильского фольклора Артур Рамос (он фигурирует в «Лавке чудес» под собственным именем), указывали, что проблема расы — это проблема социальных и экономических условий. Между первым и вторым афро-бразильскими конгрессами вышел в свет роман молодого Амаду «Жубиaba» и был горячо встречен всеми противниками расистской идеологии. Профессор А. Рамос назвал эту книгу «произведением, в котором негритянский народ сам выступает за свое социальное и культурное освобождение».

Теперь Амаду доверил своему герою подытожить старый, но не затухающий до сего дня спор. Как полагается ученому, Аршанжо спорит доводами, идейными построениями, историческими и фольклорными фактами. Как художник и как человек он спорит образом жизни, жизненным выбором, самоотверженной привязанностью. Отсюда своеобразная многослойность романа: повествование включает и пылкие идейные дискуссии — и любовно описанный народный быт; речи профессоров, цитаты из научных трактатов — и пирушки, драки, карнавальные шествия. Одним словом, «лавка чудес» как вообще жизнь...

Педро Аршанжо утверждает одну мысль: бразильский народ создал и ежеминутно создает самобытную культуру. Пора прекратить говорить о несамостоятельности, более или менее удачном подражании «цивилизации белых». Негры, индейцы и белые (вначале португальцы, а затем иммигранты из многих стран Старого Света) принесли в общий тигель новой нации свои традиции. Переплавившись в этом тигле, они дали начало новой, яркой и необычайной культуре. Но тезис Педро Аршанжо не только антропологический, но и социальный. Идеал Педро Аршанжо, тот идеал, который он отстаивает и своими исследованиями, и своей жизнью, не страшась унижений, нищеты, угроз, — в полном смысле слова демократический идеал. Национальное и классовое в его понимании не противоречат друг другу: именно труженики Бразилии сохраняют и развивают национальную культуру, именно в быту бедняков складываются и проявляются лучшие качества национального характера.

Жоржи Амаду отнюдь не принадлежит к тем, кто склонен идеализировать народный быт и видеть в нем нечто самодовлекщее: дескать, живет народ своими вечными ценностями и ничего ему больше не надо. Амаду и его герой знают, что народу нужно еще очень многое, что народный быт должен измениться и обязательно изменится. Это касается прежде всего социальных условий, но также и сознания: верований, понятий, отношений. В одной из сцен романа Педро Аршанжо объясняет коллеге, профессору Фраге, как может он, Аршанжо, убежденный материалист, интересоваться кандомбле и пляской негров, верящих, что в них вселились божества-ориша. Фрага — тоже ученый-материалист, но позитивистского толка, ограничивающий себя узко понятой научной сферой, не задумывающийся над диалектической сложностью общественного развития. И Аршанжо объясняет: веками сохранялся под кнутом рабовладельца, под полицейскими пулями танец богов-ориша, чтобы в будущем стать достоянием искусства, с театральной сцены восхищать людей чудом красоты. Помочь народу сохранить его искусство, жизнелюбие — не значит желать

увекочить сегодняшний быт народа, но, наоборот, «помогать изменить общество, содействовать преобразованию мира».

В нескольких главах романа действие переносится в наше время (в точно обозначенный 1968 год), в сегодняшнюю Баию — большой промышленный город со всеми культурными атрибутами пресловутого «общества потребления». Тут уж Амаду дает волю своему сатирическому дару! Давно умерший Педро Аршанжо, чьи кустарно напечатанные книжки затерялись в букинистических лавчонках, вдруг, по прихоти судьбы и некоего американского этнографа, становится «национальной гордостью» Бразилии, ходким товаром на международном торжище. И завертелось газетно-телевизионное шоу! Однако сарказм сарказмом, но есть в этих главах и самое существенное: спор, который вел мастер Педро, не окончен, он продолжается и сегодня. И на торжественном юбилее Аршанжо, патронируемом «отцами города», раздаются голоса его противников. Они модернизировались, идут в ногу со временем, не повторяют фашистских бредней о «высшей расе». Доводы их сугубо практичны: не восстановим ли мы, бразильцы, против себя могущественного северного соседа, у которого, как известно, большие сложности с расовым вопросом? Не помешаем ли выгодному сотрудничеству с южноафриканским режимом? Наконец, не будет ли теория Аршанжо оружием в борьбе за демократизацию социального и политического устройства? А с другой стороны, крикливо присваивают себе Аршанжо, искажая его мысли, его гуманистический пафос, левые экстремисты, адепты «черного расизма». И Аршанжо снова выходит в бой, теперь уже своими книгами, памятью о себе, сохраненной друзьями и народной молвой, своими идеями, продолженными прогрессивными учеными современной Бразилии. И радостным, самозабвенным танцем народной толпы — рабочих, студентов, моряков — на улицах Баии в дни карнавала...

В нравах и привычках Педро Аршанжо и его друзей, равно как в нравах и привычках героев других произведений Амаду, многое кажется нам сомнительным. Но дело в том, что между героями и читателем всегда стоит автор-рассказчик, не безликий повествователь, а человек, способный оценивать изображенную жизнь. Речь рассказчика исполнена юмора, добродушной иронии. Ирония становится профилактикой слишком прямого, примитивно-буквального понимания рассказа. Не бойтесь посмеяться над излишествами, чудачествами, слабостями героев, но отдайте должное их искренности и честности, великодушию и бескорыстию, их естественной доброте, говорит нам автор самой иронической интонацией речи.

Сказовая манера складывалась у Амаду постепенно. В «Габриэле...» рассказчик еще как будто срывается с голоса, то переходя к безликому повествованию, то зажигаясь эмоциональностью. Но с годами пришло виртуозное владение всеми регистрами художественной речи. «Может, это просто любовь к искусству рассказывать?» — лукаво говорит писатель в сказке для взрослых «История любви Полосатого Кота и сеньориты Ласточки». Эта сказка, которую Амаду сочинял, откладывая и возвращаясь, несколько лет, пленяет своей всеильной, поистине волшебной речью. Ни затейливого сюжета, ни яркой фантастики, ни неожиданной развязки, а читатель то улыбается, то грустит. Неожиданность, фантазия, затейливость и простота — все это только в манере рассказывать (но, следовательно, и в манере видеть мир), поворачивать обыденные вещи то одной, то другой стороной, заставляя читателя угадывать за юмористической буффонадой печаль неотвратимого старения.

Сказовый способ повествования генетически связан с устной литературой, с фольклором. В Бразилии и сейчас распространены и продаются на любой провинциальной ярмарке лубочные книжки. На этих же ярмарках собирают вокруг себя толпу слепые сказители, рассказывающие легендарные и полулегендарные истории о знаменитых разбойниках, жестоких плантаторах, мятежных рабах. Витиеватость заглавий последних произведений Амаду, имитирующих названия лубочных повестей, как бы отсылает нас к истокам, напоминает о родстве с фольклорным рассказом. Однако Амаду вовсе не подражает бесхитростно фольклорному сказу. Иногда читателям и критикам такая непринужденная манера повествования, весело льющийся рассказ кажется уступкой занимательности, как бы клеймом «развлекательной литературы». Думается, что это близорукий взгляд. В игривом легкомыслии Амаду-рассказчика есть не только своя система, но и своя большая художественная цель. И слово «игра» употреблено тут недаром. Игровое начало в книгах Амаду действительно очень сильно: играют герои, играет рассказчик с теми, о ком он рассказывает, и с нами, читателями, поддразнивая нас деланной серьезностью лица. Но ведь игра имеет свое духовное содержание, и оно вовсе не сводится к развлечению и отдыху. Смысл, духовная цель игры — это и есть сердцевина зрелого творчества Амаду.

В 1980 году Амаду выпустил новый роман — «Военный мундир, мундир академический и ночная рубашка». Фабула его ничем не напоминает книги баиянского цикла: нет здесь ни привычной народной среды, ни полуфантастических происшествий. Действие происходит в Рио-де-Жанейро в точно обозначенный исторический момент — на рубеже 30—40-х годов, вскоре после

государственного переворота, произведенного Жетулио Варгасом в 1937 году. «Новое государство» Варгаса должно теперь сделать выбор между двумя лагерями, уже вступившими в смертельную схватку, — антифашистской коалицией и державами гитлеровской «оси». Романная интрига сосредоточена вокруг события не столь уж значительного ни в мировом, ни в национальном масштабе — выборов в Бразильскую Академию литературы. Но все в современности связано единой цепью, и это маленькое литературное событие становится отголоском великой битвы с фашизмом.

Персонажи романа — писатели, историки, лингвисты (причем многие из них подлинные лица, легко узнаваемые, несмотря на чуть-чуть переименованные имена) — люди, погруженные в свои творческие интересы, скорее благодушные, чем ригористичные, скорее либеральные, чем радикальные, тем не менее сплываются, чтобы дать отпор наглой фашистской демагогии. Правда, в интриге, затеянной ими, чтобы помешать палачу, лично пытавшему заключенных коммунистов и громогласно выражавшему свою преданность Гитлеру и Гиммлеру, сменить военный мундир на парадный академический мундир, много от игры. Солидные академики с детским азартом играют в эту игру: расставляют ловушки, вербуют сторонников, устраивают тайные сходки... Одержав первую победу и увлекшись игрой, они уже готовы сразиться и с другим претендентом на свободное академическое кресло — генералом, олицетворяющим старую, так сказать, дофашистскую личину милитаризма — тупое и агрессивное чванство военщины. И защищают они не свое благополучие, не престиж Академии — но национальную литературу, хранимый ею дух поэзии.

Поэтизация свободы и свободной игры в условиях современного буржуазного мира — путь небезопасный для художника. Апология «натуральной свободы» для индивидуума может привести к последствиям не менее разрушительным для личности, нежели давление «организованного индустриального общества». Жоржи Амаду отнюдь не так наивен, чтобы выдавать братство бродяг за подлинный коммунистический коллектив. Босаяцкий коллективизм его героев — это только поэтический образ. Этим людям присуща некая внутренняя праздничность, неизменная готовность к празднику. Нельзя постоянно жить празднуя, но надо видеть в празднике некоторые черты идеального состояния мира. В празднике всегда есть утопический элемент, есть предвосхищение и призывание чаемой свободы и гармонии. И у Амаду образы праздника и вечно жаждущих праздника героев окрашены в цвет утопии — оттого и игра, оттого и ирония. Ироническая, игровая интонация рассказа создает необходимую дистанцию между ре-

альностью и художественным образом, устремленным к утопической гармонии.

Маркс писал: «Та общность, от которой рабочего отрывает *его собственный труд*, есть сама жизнь, физическая и духовная жизнь, человеческая нравственность, человеческая деятельность, человеческое наслаждение, *человеческая сущность*. *Человеческая сущность* и есть истинная общность людей. Злосчастная изолированность от этой сущности несравненно всестороннее, невыносимее, ужаснее, противоречивее, чем изолированность от политической общности; в соответствии с этим и *уничтожение* этой изолированности и даже частичная реакция, *восстание* против нее, являются настолько же более бесконечными, насколько человек более бесконечен, чем гражданин государства...»<sup>1</sup>

Вот такая частичная реакция, восстание за воссоединение каждого человека с человеческой сущностью, проглядывает в веселых играх персонажей Амаду. Плотская радость чужда исторической и социальной ограниченности, она рождена закономерностями куда более всеобъемлющими и коренными в человеческой природе, нежели установления сегодняшней, преходящей формы общества. Образ народной стихии в книгах Амаду своей идеальной гармоничностью плотского и духовного отрицает реальный буржуазный мир, снижает его до жалкого и смешного ничтожества.

Наше вступление началось с рассказа о Баие. Оставаясь влюбленным портретистом родного уголка земли, Амаду сумел взглянуть на него и изнутри и извне, из тысячелетней традиции народного искусства, из озабоченной сложными общественными и интеллектуальными проблемами современности. Почувствовал ли он в баиянском быту дыхание утопической народной мечты, неистребимое вековое идеальное начало или же внес в изображение этого быта раздумья и чаяния современного художника и тем самым придал ему универсальность? Вряд ли можно однозначно ответить на этот вопрос. То, что происходит с Баией и баиянской карнавальной толпой в книгах Жоржи Амаду, — одно из обычных чудес в лавке искусства.

Народная стихия в книгах Амаду и утопически идеальна, и в то же время национально конкретна. Амаду бесконечно любит своих земляков, любит их самобытностью — и хочет всех нас заразить этой любовью. Но он еще и потому ищет новые, воздействующие на сегодняшнего читателя средства раскрыть эту самобытность, что уверен в ее значении для современного человека. Амаду хочет увидеть те свойства национального характера, которые нужно сохранить, формируя наши представления о

---

<sup>1</sup> Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 447.

подлинно человеческом обществе. Объяснимая исторически, национальная самобытность бразильского народа — как тема в общей симфонии человечества, где важно не утратить ни одной ноты. Воплотившись в искусство пластичное и необыкновенно привлекательное, бразильская самобытность существенно дополняет духовную жизнь XX века. Искусство становится мудрым напоминанием о том, какое безграничное богатство лежит за пределами негармоничной социальной повседневности.

*И. Тергеряк*

---

# МІРТВОЕ МОРЕ

РОМАН



**Перевод  
ИННЫ ТЫНЯНОВОЙ**

---

*Я хочу поведать вам сегодня истории, что сказываются и поются на баиянских пристанях. Старые моряки, латающие углые паруса, капитаны парусных шхун, негры с татуированной кожей, бродяги и мошенники знают наизусть эти истории и эти песни. Я не раз слушал их лунною ночью на баиянской набережной против рынка, во время ярмарок, у причалов малых гаваней побережья, возле огромных шведских судов в Ильеусском порту. Людям моря есть что порассказать.*

*Послушайте же эти истории и эти песни. Послушайте историю Гумы и Ливии. Это история жизни у моря; это история любви у моря. А ежели она покажется вам недостаточно прекрасной, то вина в этом не тех простых, суровых людей, что сложили ее. Просто сегодня вы услышите ее из уст человека с суши, а человеку с суши трудно понять сердце моряка. Даже тогда, когда он любит эти истории и эти песни, когда ходит на все праздники в честь богини моря Иеманжи, или донь Жанаины, как ее еще называют,— даже тогда не знает он всех секретов моря. Ибо море — это великая тайна, постичь которую не могут даже старые моряки.*

## ИЕМАНЖА — ХОЗЯЙКА ВСЕХ МОРЕЙ И ВСЕХ ПАРУСОВ

### БУРЯ

Ночь поторопилась. Люди еще не ждали ее, когда она обрушилась на город тяжкими грозовыми тучами. На пристани еще не зажигались огни, в таверне «Звездный маяк» тусклый свет керосиновых ламп еще не падал на стаканы с водкой, и множество шхун еще бороздили волны, когда ветер внезапно пригнал эту, в черных тучах, ночь.

Люди переглянулись, будто спрашивая о чем-то друг друга. И глядели на морскую синь, ища и у нее ответа — откуда вдруг эта ночь прежде времени? Час еще не пробил для ночи. А она вот пришла, нагруженная тучами, предводимая холодным ветром сумерек, поглотив солнце, словно наступил конец света.

Ночь пришла на сей раз не встреченная музыкой. Не прозвенел эхом по городу в ее честь ясный голос вечерних колоколов. Ни один юноша-негр не тронул для нее струну своей гитары на песчаном побережье. Ни одна гармоника не послала ей своих вздохов с кормы качающейся на волнах шхуны. По склонам холмов не прокатился глухой, монотонный перестук макумбы и кандомбле<sup>1</sup>. Почему ж тогда пришла она, ночь, не дождавшись музыки, не дождавшись, откуда колокола возвестят о ее прибытии, не дождавшись размеренных переливов гитар и гармоник, таинственной барабанной дробы обрядовых инструментов? Почему пришла так вдруг, прежде часу своего, без времени?

Эта ночь была отличной от всех других — отличной и тягостной. Да, именно тягостной, ибо вид у людей на пристани был растерянный и беспокойный, и моряк, одиноко тянувший тростниковую водку в пустой таверне,

---

<sup>1</sup> Макумба, кандомбле — негритянская ритуальная церемония.

вдруг сорвался с места и побежал к своей шхуне, словно желая уберечь ее от какой-то неизбежной и непоправимой беды. А смуглая женщина, что на молу против рынка ждала шхуну, на которой недавно еще уходила в море ее любовь, вдруг принялась дрожать не от холодного ветра, не от холодного дождя, а от холода, каким наполнила любящее ее сердце эта так внезапно и быстро раскинувшаяся вокруг ночь.

Ибо они — одинокий моряк и смуглая женщина — были этому морю близкие знакомцы и хорошо знали, что, если ночь настала раньше срока, много людей погибнет в море, многие корабли остановлены будут на пути своем и многие вдовы будут плакать неутешно, прижимая к груди головы малых детей. Ибо они знали: ночь настоящая, ночь лунная и звездная, ночь музыки и любви, не пришла. Она приходит только лишь в час свой, когда звонят колокола и какой-нибудь юноша-негр поет себе, перебирая струны гитары, где-то на песчаном берегу долгую, тоскливую песню. А та, что пришла сейчас, — нагруженная тучами, предводимая ветром, — была вовсе и не ночь, а буря. Буря, что топит корабли и убивает людей. Буря, что притворяется ночью.

Дождь упал на землю в ярости и омыл берег, перемесил песок, закачал стоящие на причале суда, заставил разбежаться всех, кто ожидал на берегу прибытия трансатлантического парохода. Один из грузчиков сказал товарищу, что будет буря. Подъемный кран, как сказочное чудовище, рассек дождь и ветер, опустив свой груз. Дождь безжалостно хлестал черные спины грузчиков. Ветер летел быстрый, бешеный, со свистом, сваливая на пути все, что попадалось, напугав женщин. Дождь падал сплошной лавиной, застилая глаза. Только черные краны продолжали свое размеренное движение. На море перевернулась шхуна, и в воду упали двое. Один — молодой и сильный. Быть может, он произнес чье-то имя в этот прощальный час. Во всяком случае, то, что он произнес, не было проклятьем, ибо голос его прозвучал сквозь бурю печально и нежно.

Ветер сорвал парус с затонувшей шхуны и понес его к берегу, как трагическую весть. Чрево моря вздыбилось, волны ударили с силой в прибрежные камни. Лодки в порту Леня закачались неистово, и лодочники решили не ворочаться нынче ночью в маленькие городки побережья. Парус с затонувшей шхуны занесло куда-то на волнолом, и тогда погасли фонари на всех

других шхунах, и женщины забормотали поминальную молитву, а глаза мужчин устремились куда-то далеко в море.

Негр Руфино, сидя за стаканом водки, уж не улыбался больше. В такую бурю Эсмералда, конечно же, не придет.

Огни зажглись наконец. Но были они сегодня тусклые и мерцающие. Людям, ожидавшим прибытия трансатлантика, так ничего и не удалось разглядеть. Они укрылись от дождя в портовых складах и лишь смутно могли различить оттуда подъемные краны и силуэты грузчиков, пересекавших, согнувшись, лавину дождя. Но они не видели долгожданного большого корабля, на котором должны приехать друзья, отцы и братья, невесты, может быть. Они не видели и человека, плакавшего в каюте третьего класса. Дождь вперемежку со слезами стекал по лицу человека, что прибыл морскими дорогами на пристававшем в двадцати портах корабле, и память об огоньках родного селения мешалась с мутным светом огней незнакомого города, объятого бурей.

Шкипер Мануэл, опытный моряк, лучше всех знающий нрав своего моря, решил не выходить нынче ночью на промысел. В бурные ночи любовь слаще и тело Марии Клары пахнет морскою волной.

Огни старого форта не зажигались сегодня. На шхунах тоже было темно. В городе не было света. Даже подъемные краны остановились, и грузчики попрятались по складам. Гума со своего шлюпа «Смелый» видел, как погасли огни, и испугался. Он держал руку на руле, «Смелый» кренился на сторону... Те, что ждали на пристани трансатлантика, уже разошлись. Лишь один остался стоять, чтоб позвать руку другому, спускающемуся по трапу с прибывшего наконец парохода:

— Все в порядке?

— Ну да, — улыбнулся другой.

Тот, что ждал, подозвал машину, и оба молча отехали. Их уже заждались, верно.

Человек, прибывший в каюте третьего класса, медленно обвел взглядом город, в котором говорят на другом языке, где царят другие нравы. Потом нащупал на груди полупустой бумажник и поспешил со своим саквояжем по первому попавшемуся переулку. Набережная опустела.

Одна только Ливия, худая, с прилипшими к лицу тонкими мокрыми волосами, осталась на берегу, возле

стоявших у причала шхун, всматриваясь в даль моря. Она слышала любовные стоны Марии Клары на палубе шхуны шкипера Мануэла. Но мысли ее были не здесь. Ветер качал ее, как тростинку, дождь хлестал ее по лицу, по ногам. Но она все стояла недвижно, подавшись всем телом вперед, вперив взгляд во тьму, ожидая, не мелькнет ли фонарик «Смелого», пересекая бурю, осветив эту ночь без единой звезды, возвестив прибытие Гумы.

## ПЕСНИ ПРИСТАНИ

Внезапно, как и пришла, буря удалилась к другим морям, топить другие корабли. Ливия явственно слышала теперь любовные стоны Марии Клары. Это не были уже, однако, резкие вскрики наслаждения и боли, вскрики раненого зверя, недавно еще рассекающие бурю с каким-то тайным вызовом. Теперь, когда по городу, по набережным и по морю растекалась настоящая ночь, лунная, звездная, ночь для любви и музыки, любовь на шхуне шкипера Мануэла сделалась тихой и успокоительной. Стоны Марии Клары уподобились теперь радостным всхлипываниям, глухой тихой песне. Скоро уже придет Гума, скоро «Смелый» рассечет волну бухты, и она обнимет мужа худыми и смуглыми руками, и они оба тоже будут стонать от любви. Теперь буря прошла, теперь Ливии не страшно. Она скоро увидит красный фонарик «Смелого» в темноте ночи на море. Мелкие волны били в прибрежные камни, и шхуны на причале тихо покачивались. Вдалеке на мокром асфальте города отражались огни. Группы людей, которые уже успокоились и не спешили, направлялись к подъемной дороге. Ливия снова повернулась взглянуть на море. Вот уже восемь дней, как нет Гумы. Она осталась в старом домишке на берегу. На сей раз она не отправилась вместе с ним в путешествие, каждый раз новое и полное приключений, по заливу и по спокойной реке. Если б она была на борту, когда разыгралась буря, было б лучше. Он-то боялся бы за жизнь подруги, но вот ей, Ливии, было б вовсе не страшно, потому что она была бы с ним, а он знает все морские дороги, зоркий глаз указывает ему путь лучше любых фонарей, а рука его тверда на руле. Он теперь уж скоро придет. Весь промокший от дождя и бури, мускулистый и веселый, махнет крепкой рукой, на которой возле локтя вытатуиро-

вана стрела и ее, Ливии, имя, и примется шумно рассказывать разные истории... Ливия улыбнулась чуть заметно. Круто повернулась всем своим длинным, смуглым телом в ту сторону, откуда слышались стоны Марии Клары. Набережная была темна, два-три фонаря поблескивали на шхунах, но она ясно различала среди них шхуну шкипера Мануэла, откуда доносились стоны. Вот — стоит на причале, покачиваясь на волнах. Там мужчина и женщина любят друг друга, и стоны их доносятся до Ливии. Позже, скоро, верно, это уж она, Ливия, будет на корме «Смелого» прижимать к своему телу крепкое тело Гумы, целовать его темные волосы, чувствовать вкус моря на его коже и вкус смерти в его едва вырвавшихся из бури и тревоги глазах. И ее, Ливии, любовные стоны будут нежней, чем у Марии Клары, ибо полны будут долготы ожидания и страха, еще недавно владевшего ею. Мария Клара прервет свою любовную песнь, чтоб услышать музыку плача и смеха, что вырвется из уст Ливии, когда Гума прижмет ее к себе, сожмет руками, еще влажными от морской пены.

Мимо прошел один из лодочников и сказал Ливии: «Добрый вечер». Группа людей вдалеке рассматривала парус потонувшей шхуны. Он лежал, очень белый, порванный, у самого берега. Несколько мужчин уже вышли в море искать тела погибших. Но Ливия думает о Гуме, что вот-вот причалит, и о ночи любви, что ждет ее. Эта ночь будет счастливее, чем у Марии Клары, которая не ждала и не страшилась.

— Знаешь, кто утонул, Ливия?

Она испугалась. Но нет, это не парус «Смелого». У него парус гораздо больше и так сильно не порвался бы. Ливия оборачивается и спрашивает у Руфино:

— Кто ж это был?

— Раймундо с сыном. И перевернуло-то вблизи берега... Буря уж больно лютовала.

В эту ночь, думает Ливия, любовь уже не придет к бедной Жудит, ни в ее хижине, ни на шхуне ее мужа. Жакес, сын Раймундо, умер. Надо пойти туда. Позже. После того, как Гума появится, после того, как утолят они оба муку ожидания, после того, как минует час любви. Руфино поднял голову и смотрит, как всходит луна.

— Уж отправились искать тела.

— Жудит уже знает?

— Я пойду сказать ей...

Ливия глядит на негра. Великан. И водкой от него пахнет. Пил, наверно, в «Звездном маяке». Почему он так смотрит на эту полную луну, что всходит где-то посреди моря и освещает все вокруг серебристым светом? Мария Клара все еще вздыхает от любви. Жудит не узнает любви нынче ночью. Ливия ждет Гуму — он вернется, обрызганный морской волною, пропитанный вкусом и запахом моря. Как красиво море, когда луна так вот все побелила! Руфино еще не ушел. Со стороны старого форта слышится музыка. Кто-то играет на гармонике и поет:

Ночь для любви дана...

Густой голос. Такие голоса бывают у негров. Руфино смотрит на луну. Быть может, он тоже думает о том, что Жудит нынче ночью уж не узнает любви. Ни нынче, ни после. Никогда... Ее муж погиб в море.

Пусть волны качают нашу любовь...  
Погляди, как светит луна...

Ливия спрашивает у Руфино:

— Мать Жудит все еще у них живет?

— Нет. Старуха уехала в Кашоэйру. На шхуне...

Он сказал это словно вскользь, все глядя на луну. Красиво поет негр в старом форте, но песня его не утешит Жудит.

Руфино протянул Ливии руку:

— Ну, пошел я...

— Я тоже приду. Попозже...

Руфино отошел на несколько шагов. Остановился:

— Вот печаль-то... Тяжко... Как скажу ей, что он погиб?

Почесал задумчиво голову. Отошел еще немного. Ливии стало так грустно. Никогда больше Жудит не узнает любви. Никогда не выйдет с любимым в море, в час, когда светит луна. Ночи ей теперь даны уж не для любви, а для слез... Руфино протянул руку:

— Пойдем со мной, Ливия. Ты лучше знаешь, как сказать...

Но ведь Ливия ожидает свою любовь, Гума скоро будет здесь, алый фонарик «Смелого» вот-вот покажется вдаль, еще немного — и они обнимут друг друга, прижмутся друг к другу всем телом. Еще немного — и его шлюп поплывет по светлой полосе, которую луна простелила на море. Ливия ожидает свою любовь, она не



может уйти. Сегодня, после всего этого страха, после того, как перед глазами ее стояло видение Гумы, тонущего в бурном море, Ливия хочет любви, хочет радости, хочет страсти. Ливия не может идти плакать к Жудит, которой не суждено уж любить.

— Я гляжу, не покажется ли Гума, Руфино.

Пожалуй, негр подумает, что у нее сердца нет...

Но ведь Гума скоро уж... Ливия произносит тихо:

— Я немножко позже приду...

Руфино приветливо машет рукой:

— Ну, доброй ночи тогда...

— До скорого...

Руфино нехотя делает еще несколько шагов. Смотрит на луну, слушает песню, доносящуюся с форта:

Пусть волны качают нашу любовь...

Оборачивается:

— Ливия...

— Да?

— Ты знала, что она ребенка ждет?

— Жудит?

— Такое вот дело...

Идет дальше. Еще раз взглядывает на луну. Удаляется. В старом форте голос поет:

Ночь для любви дана...

Мария Клара плачет и смеется в объятьях мужа. Ливия вдруг срывается с места и кричит Руфино, тень которого виднеется вдаль:

— Я иду с тобой.

Они идут вместе. Она все еще не спускает взгляда с моря. Кто знает, может быть, фонарь, что поблескивает вдаль, горит на борту «Смелого»?

Жудит — высокая мулатка, и живот у нее уже натягивает ситцевое платье. Все молчат. Негр Руфино беспомощно машет руками, не зная, куда их девать, и в испуге глядит на остальных. Ливия — вся сострадание, нежно поддерживает голову Жудит. Много уж людей собралось. Пробормотав соболезнование, они топчутся на месте, ожидая, когда принесут тела погибших, которые другие моряки ищут на дне морском. Из угла, где притаилась Жудит, слышатся глухие рыдания, и руки Ливии поднимаются и опускаются в каких-то ласковых

взмахах. Потом пришли шкипер Мануэл и Мария Клара — глаза у нее сонные.

Ничто не напоминает более о недавней буре. Даже Мария Клара прервала свои любовные вздохи. Ничто не напоминает о буре. Но почему ж тогда Жудит плачет, почему Жудит стала вдовой, почему люди собрались здесь и ждут, когда принесут два мертвых тела? Негр Руфино охотно бы ушел отсюда, убежал бы, укрылся бы в радости объятий, которые раскроет для него Эсмералда. Тяжело ему видеть этот печальный дом, горе Жудит, он сам не своей, не знает, куда деть руки, и чувствует, что будет еще тяжелей, когда принесут труп Жакеса и придется всем смотреть на последнее свидание Жудит с ее мужем, с человеком, который любил ее, который владел ее телом, от которого у нее сын.

Ливия держится стойко. И так она еще красивее. Кто отказался бы жениться на Ливии, чтоб она плакала по нем, когда он утонет в море? Сейчас она нежна с Жудит, как сестра.

Ей, наверно, тоже хочется бежать отсюда, идти на берег, ждать Гуму, ждать под звездами своей ночи любви. Всем больно от боли Жудит, и Мария Клара думает, что когда-нибудь так же вот и шкипер Мануэл останется на дне морском в бурную ночь, и Ливия покинет берег, где ждала Гуму, чтоб принести печальную весть и ей, Марии Кларе. Она с силой прижимает к себе локоть шкипера Мануэла, который спрашивает:

— Ты что?

Но Мария Клара плачет, и шкипер Мануэл не настаивает на своем вопросе. Принесли графин с водкой. Ливия уводит Жудит в комнату. Мария Клара идет с ними и теперь сменила Ливию — плачет вместе с вдовой, плачет о самой себе.

Ливия возвращается к остальным. Мужчины теперь тихонько переговариваются о чем-то, обсуждают недавнюю бурю, вспоминают отца с сыном, погибших нынче ночью. Один негр замечает:

— Старик-то был сила... Храбрец, каких и не сыщешь....

Другой начинает рассказывать давнюю историю:

— Вы помните все, наверно, тот ураган в июле? Так вот Раймундо...

Кто-то открывает графин с водкой. Ливия проходит между мужчин и направляется к двери... Ей слышен отсюда гул спокойного моря, гул вечный, однообразный,

гул каждого дня... Гума, наверно, скоро вернется и, конечно, придет искать ее сюда, к Жудит. В сумраке, скрывшем пристань, ей видятся вдали приближающиеся паруса рыбацких шхун. И вдруг ее охватывает то же дурное предчувствие, что недавно Марию Клару. А если когда-нибудь, в такую вот ночь, ей принесут весть, что Гума остался на дне морском, а «Смелый» блуждает по волнам без пути, без руля, без кормчего? Только сейчас пронзила ее вся боль Жудит, и она почувствовала себя и впрямь ее сестрой и сестрой Марии Клары и всех, всех женщин, чья судьба связана с морем, чья судьба едина: ждать такой вот бурной ночью вести о гибели своего мужчины.

Из комнаты донеслись рыдания Жудит. Одна осталась. С ребенком под сердцем. Может быть, еще когда-нибудь придется ей так же оплакивать и этого сына, что не родился еще. В группе мужчин негр продолжает рассказ:

— Пятерых спас... Ночь была — конец света... Многие видали в эту ночь саму Матерь Вод... Своими глазами... Раймундо...

Жудит рыдает в глубине комнаты. Такова здесь судьба всех женщин. У мужчины здесь лишь одна дорога — дорога в море. По ней уходят они, ибо такова их судьба. Море господствует над ними всеми. От него — вся радость и вся боль, ибо оно — тайна, постичь которую не могут даже старые моряки, даже те, что давно уж не выходят в море, а сидят себе на берегу, чинят ветхие паруса и рассказывают давние истории. Кто ж может разгадать тайну моря? Оно несет и музыку, и любовь, и смерть. И разве не над морем луна полней? Море непостоянно и зыбко. И, как море, непостоянна и зыбка жизнь людей под парусами шхун. Кому из них под конец жизни удалось помянуть внуков и посидеть в кругу семьи за обедом и завтраком, как бывает то у людей земли? У каждого из них есть что-нибудь на дне морском: сын, брат, рука, оторванная акулой, шхуна, перевернутая волнами, парус растерзанный в клочья ветром бури. Но однако ж, кто из них не знает песен любви на ночном побережье? Кто из них не умеет любить горячо и сладко? Ибо каждая ночь любви может оказаться последней. Когда они прощаются с женщиной, то не целуют походя и торопясь, как люди земли, спешащие по своим делам. Они прощаются долго и все машут, машут на прощание, словно зовя за собою.

Ливия смотрит на людей, поднимающихся по пологому склону холма. Они приближаются двумя группами. Фонари придают траурной процессии какой-то призрачный вид. Как предчувствие их приближения, громче слышится из комнаты плач Жудит. Достаточно взглянуть на непокрытые головы людей, чтоб понять, что они несут тела погибших... Отца и сына, утонувших вместе в эту бурную ночь. Без сомнения, один хотел спасти другого, и погибли оба... А откуда-то из глубины всего, со старого форта, с набережной, со шхун, из какого-то далекого, не ведомого никому места песня провожает тела усопших. Она говорит:

О, как сладко в море умереть...

Ливия плачет. Прижимает Жудит к груди и плачет вместе с нею, плачет, уверенная, что придет и ее день, и день Марии Клары, и день всех их, всех женщин что живут у моря. А песня пересекает набережную, чтоб дойти до них, этих женщин:

О, как сладко в море умереть...

Но даже присутствие Гумы, что пришел с траурной процессией и что первым отыскал тела умерших, не может сейчас утешить Ливию.

Только песня, что слышится неведомо откуда (быть может, и впрямь со старого форта), уверяющая, что так сладко умирать в море, напоминает сейчас Ливии о смерти мужа Жудит. Тела, верно, уж положили в комнате. Жудит, на коленях, плачет у тела мужа, мужчины столпились вокруг, Мария Клара с тревогой думает, что когда-нибудь так вот утонет и ее Мануэл.

Но зачем ей, Ливии, думать о смерти, о всех этих печалях, когда ее ожидает любовь? Ибо сейчас она здесь, на корме «Смелого», вместе с Гумой. Ливия растянута на досках в тени свернутого паруса, глядя на своего мужа, не торопясь раскуривающего трубку. Зачем думать о смерти, о людях, борющихся с волнами, когда ее любимый здесь и буря ему уж не страшна, а огонек его трубки разгорается над темным морем самой яркой звездочкой? Но Ливия задумчива. И грустна. Что ж он не подойдет, не сожмет ее крепче своими сильными руками, татуировку на которых она знает наизусть? Ливия

ждет, положив руки под голову, ее девические груди едва проступают под легким платьем, которое ночной ветерок, теперь мирный, приподымает и колышет. «Смелый» тихонько покачивается на волнах.

Ливия ждет, и так красива она в этом своем ожидании... Самая красивая женщина из всех, каких можно видеть на пристани. Ни у одного из здешних моряков нет такой красивой жены, как у Гумы. Все они говорят об этом открыто и все приветливо улыбаются Ливии. Все они охотно взяли бы ее с собой в плавание, охотно сжали бы мускулистыми руками. Но она принадлежит Гуме, ему одному, венчана с ним в церкви Монте-Серрат, где обычно венчаются рыбаки, лодочники и шкипера со шхун. Даже моряки, что ходят в дальнее плавание на огромных пароходах, тоже приходят венчаться в церковь Монте-Серрат, вскарабкавшуюся высоко на холм, нависший над морем. Это их церковь, морская. Ливия с Гумой венчались там, и с тех пор на ночной набережной, на палубе «Смелого», в комнатах «Звездного маяка», на песке прибрежья они любят друг друга, соединяются в одно тело над морем и под луною.

А сегодня, когда она так долго ждала его, так боялась за него во время бури, он к ней и не подходит, курит себе спокойно свою трубку... Потому-то Ливия так неотступно думает о Жудит, у кого не будет больше любви, для кого ночь навсегда отныне станет ночью слез. Ливия вспоминает: Жудит упала наземь рядом с умершим мужем. Глядела ему в лицо, теперь уж недвижимое, в глаза, что никогда уже не улыбнутся, что видели уже глубоко под волнами лик богини Иеманжи, Матери Вод.

Ливия с гневом думает о богине. Она — Мать Вод, хозяйка моря и потому все мужчины, что проводят жизнь свою на волнах, испытывают страх перед ней и любовь к ней. Она карает их и за страх, и за любовь. Никогда не является она пред ними, покуда не достигнет их смерть на дне морском. Те, что гибнут во время бури,— ее любимцы. А тех, что гибнут, спасая других, берет она с собою в плавание по дальним, неведомым водам, и плывут они, словно корабли, по всем морям и океанам и заходят отдохнуть во все порты и гавани. Вот их тела никогда еще не удавалось найти, ибо они уходят с Матерью Вод. Чтоб увидеть ее, многие бросались в море с улыбкой и никогда более не появлялись среди живых. Неужто она спит со всеми этими мужчинами в водной глубине? Ливия думает о богине с гневом. Сей-

час она, верно, с теми, кто утонул нынче ночью, — отцом и сыном. Возможно, они поспорили из-за нее или даже схватились врукопашную, а ведь так дружны были всегда. Когда Гума нашел тела, рука старика крепко сжимала рубашку сына. Умерли-то они друзьями, но сейчас — кто знает?.. Из-за нее, Иеманжи, хозяйки моря, женщины, которую видят лишь мертвые, может, уж поссорились, и Раймундо, может, и нож выхватил — все ведь видали, что когда он уходил в море, то нож за пояс заткнул, а когда нашли тело, ножа при нем не было. Борются, наверно, в глубине вод, чтоб решить спором, кто ж из них пойдет с нею в плавание по всем морям, взглянуть на диковинные города по другую сторону земли. А Жудит, что сейчас обливается слезами, Жудит, у кого ребенок под сердцем, Жудит, что так и зачахнет на тяжелой работе, Жудит, что больше не полюбит ни одного мужчину, — Жудит уже забыта, ибо Матерь Вод прекрасна и светловолоса, а волоса у нее длинные-предлинные, и только они ее и одевают, а так-то она нагая совсем под водой... А когда всходит полная луна и плывет над морем, а на волны ложится золотая дорожка, то это и есть волоса Матери Вод, тогда только они и видны людям.

Люди земли (а что они знают, люди земли?) говорят, что это лунные лучи ложатся на море, а вовсе не волоса Иеманжи. Но моряки, шкипера со шхун и лодочники смеются над этими людьми с суши — а что они знают про море? Ничего! Вот моряки знают точно, что это волоса Матери Вод, которая в полнолуние подымается из глубины полюбоваться луной. Потому-то мужчины так подолгу смотрят на море в лунные ночи. Они знают, что Иеманжа тут, близко. Негры тогда берутся за свои гармоника и гитары, играют для нее, бьют в барабаны и поют ей песни. Это — их подарок хозяйке моря. А другие раскуривают трубки, чтоб осветить ей дорогу — так ей лучше видна окрестность. Все они влюблены в нее и даже забывают своих жен, когда богиня расстелит свои волоса по волнам.

Вот с Гумой сейчас то же самое творится, поэтому он так долго смотрит в серебряную глубину моря и так внимательно прислушивается к песне негра, зовущей в смерть. Негр поет, что так сладко умереть в море, ибо там ожидает Матерь Вод, а она — самая красивая женщина во всем мире. Гума сейчас смотрит на ее волоса, забыв, что Ливия рядом, растянувшись возле него, ждет...

А ведь Ливия ждала так долго этого часа любви, Ливия видела, как буря крушит все кругом, опрокидывает корабли, убивает людей... Ливия так страшилась за него, Гуму. А сейчас ей так хочется обнять его, целовать в губы, угадать, испугался ли он тоже, когда огни на пристани погасли, прижаться к его телу, чтоб узнать, сильно ли его обдало волнами. Но Гума сейчас забыл о Ливии, он думает только о Матери Вод, хозяйке моря. Быть может он даже завидует отцу и сыну, что погибли в бурю и теперь, верно, странствуют по далеким мирам, какие видали только лишь моряки с больших кораблей. Ливия полна ненависти, ей хочется плакать, ей хочется бежать без оглядки от этого моря, далеко, далеко.

Какая-то шхуна проплыла мимо них. Ливия приподымается на локте, чтоб лучше разглядеть. Кто-то кричит со шхуны:

— Добрый вечер, Гума...

Гума машет вслед рукой:

— Счастливого пути...

Ливия смотрит на него. Теперь, когда туча скрыла луну и Иеманжа опустилась в свои глубины, он погасил трубку и улыбается. Ливия сжалась в радостный комочек, предчувствуя уже тепло его рук. Гума заговорил:

— Где это пел этот негр, как думаешь?

— Почему знать... Наверно, в старом форте.

— Красивая песня...

— Как жалко Жудит...

Гума смотрит на море.

— Очень... Тяжко ей придется. И еще этот ребенок.

Лицо его мрачнеет, он смотрит на Ливию. Хороша она так вот, в ожидании... Какие тонкие у нее руки, для тяжелой работы не годятся. Если он, Гума, останется в море навсегда, ей придется искать другого, чтоб продолжать жизнь. Ее руки не подходят для тяжелой работы. От этой мысли в нем подымается глухой гнев. Маленькие груди Ливии красиво вырисовываются под платьем. Все мужчины на берегу равнодушны к ней. Всем хотелось бы быть с нею, потому что она самая красивая в здешних краях. А когда он, Гума, тоже уйдет в плавание вместе с Матерью Вод? Гуме вдруг захотелось убить Ливию тут же, на месте, чтоб никогда она не принадлежала другому.

— А если когда-нибудь «Смелый» перевернется и я отправлюсь к рыбам на ужин?.. — Смех Гумы звучит натянуто.

Голос негра снова рассекает темноту:

О, как сладко в море умереть...

— ...ты тоже будешь работать до седьмого пота или сойдешься с другим?

Ливия плачет, Ливии страшно. Она тоже думает об этом дне, когда ее муж останется на дне морском, чтоб больше не вернуться, когда отправится с хозяйкой моря, с Матерью Вод, в плавание по дальним морям, поглядеть на дальние земли. Ливия подымается и охватывает руками шею Гумы:

— Мне сегодня было страшно. Я тебя на берегу ожидала. Мне все казалось, что ты уж не придешь... Никогда...

Он пришел. Да, он знает, сколько Ливия ждала, как страшилась за него. Он пришел к ней, к ее любви, к ее рукам, обнимающим его сейчас. Голос негра все поет вдалеке:

О, как сладко в море умереть...

Теперь уже не блестят под луною волоса богини моря Иеманжи. И песнь негра смолкает, заглушенная смехом и плачем Ливии, встретившейся наконец со своей любовью,— Ливии, самой красивой женщины на прибрежье, о которой мечтают все мужчины и которая сейчас, на палубе «Смелого», так крепко прижимает к себе того, за кого так страшилась, за кого так еще страшатся.

Ветер бури унесся далёко. Ливии из туч, принесенных искусственной ночью, падают теперь где-то в других портах. Иеманжа несет тела других утопленников к другим берегам. Море сейчас спокойное, чистое, ласковое. Море сейчас — друг морякам. Оно им — и путь-дорога, и дом родной... Над ним, на корме своих шхун, обнимают моряки любимых жен, заронив в них новую жизнь.

Да, Гума любит море, и Ливия тоже любит море. Как оно красиво так вот, ночью,— синее, синее, без конца и края, море — зеркало звезд, полное фонариками шхун и огоньками шкиперских трубок, полное шепотом любви.

Море — друг, ласковый друг для всех, кто живет на море. Ливия чувствует вкус моря, когда Гума прижимает ее к себе. «Смелый» покачивается на волнах, как гамак, что в рыбачьих хижинах служит людям постелью.



Поющий голос, глубокий и звонкий, разгоняет все шумы ночи. Он доносится со стороны старого форта и разливается над морем и над городом. Музыка старой песни нежна и печальна, и при звуке ее замирают на губах слова и смолкают разговоры. Но слова старой песни — жестоки, они ударяют людей в самое сердце. «Несчастлива та, что станет женой моряка, — говорится в песне, — не будет ей в жизни судьбы и удачи. Много слез прольют глаза ее, и рано помрачится свет их, ибо слишком долго придется глядеть им в бескрайнюю даль моря, ожидая, не покажется ли на горизонте знакомый парус...» Голос негра властвует над ночью.

Старый Франсиско знает хорошо и эту музыку, и этот океан звезд, отраженный океаном воды. Даром, что ли, провел сорок лет на своей шхуне? И не только звезды знает он. А и все изгибы, отмели и лагуны залива и реки Парагуасу, все окрестные порты, все песни, что в них поются. Жители этой части реки и побережья — все его друзья, и говорят даже, что как-то раз, в ночь, когда старый Франсиско спас всю команду одного рыбацкого судна, он видел вдали силуэт Матери Вод, которая поднялась из глуби для него, в награду за его подвиг. Когда заходит речь об этом случае (и все молодые моряки спрашивают старого Франсиско, правда ли это), старик только улыбается и произносит:

— На свете много чего говорят, парень...

Так вот никто и не знает, правда ли это или выдумка. Возможно, и правда. Иеманжа — с причудами, а уж если кто и заслужил право видеть ее и любить, так это старый Франсиско, живущий на побережье столько лет, что уж никто и не знает сколько. А еще лучше, чем все отмели и все излучины, знает старик разные истории здешних вод и земель, помнит все празднества в честь Иеманжи, или Жанаины, как ее еще называют, все кораблекрушения и все бури. Да разве есть такая история, какой не знает старый Франсиско?

Когда наступает ночь, он покидает свой ветхий домишко и идет на берег. Проходит по цементу набережной, покрытому грязью, вступает в воду и ловко прыгает на палубу какой-нибудь шхуны. Тогда все начинают просить его рассказать что-нибудь: какую-нибудь быль, какой-нибудь случай. Нет лучшего рассказчика, чем старый Франсиско.

Теперь-то он живет тем, что чинит паруса. Да еще Гума, племянник, подкармливает старика. Но были времена, когда он управлялся с тремя шхунами. Ветры и бури унесли его шхуны. Но не смогли унести старого Франсиско. Он всегда возвращался живым в родной порт. А имена трех шхун вытатуированы на его правой руке рядом с именем брата, погибшего в бурю. Быть может, когда-нибудь придется ему добавить к этим именам имя Гумы, если Матери Вод вдруг взбредет в голову полюбить его племянника. По правде говоря, старый Франсиско смеется над всем этим. Конец для всех одинаков — на дне морском. И если он, Франсиско, там не остался, то потому лишь, что Жанаина не пожелала, а предпочла, чтоб он ее увидел живым и потом рассказывал о ней молодым морякам. А честно сказать, зачем он живет-то? Чтоб чинить паруса? Никакой теперь от него пользы, в плавание ходить он больше не может, руки ослабли, глаза плохо видят в темноте. Зачем живет? Чтоб смотреть, как племянник выходит в море на своем «Смелом»? Лучше уж было остаться в глубине вод вместе с «Утренней звездой», самой быстроходной его шхуной, что затонула в ночь Святого Жоана. А то теперь он, Франсиско, только и делает, что смотрит, как уходят в море другие, а сам не может плыть с ними. Он теперь, как Ливия, дрожит за жизнь близких, когда разыграется буря, помогает хоронить тех, кто погиб. Как женщина... Много уж лет прошло с тех пор, как пересек он в последний раз бухту, — рука на руле, взгляд зорко пронзает тьму, соленый ветер хлещет по лицу, а шхуна легко бежит по воде под звуки далекой музыки.

Вот сегодня тоже слышится музыка откуда-то изда-лёка. Негр какой-то поет. В песне говорится, что у жен моряков — тяжелая доля. Старый Франсиско грустно улыбается. Он-то давно схоронил жену. От сердца умерла — так доктор сказал. Разом умерла, как-то ночью, когда буря была и он едва уцелел. Она кинулась ему на шею, а когда он опомнился, она уж не двигалась, была уж мертвая. Умерла от счастья, что муж вернулся, а доктор сказал, что от сердца. Он-то, Франсиско, тогда вернулся, а вот Фредерико, отец Гумы, остался той ночью в море навсегда. Тела не нашли, потому что Фредерико погиб, спасая брата, и за это Йеманжа взяла его с собой посмотреть другие земли, очень красиво там, верно. Так что в ту ночь потерял Франсиско и брата и жену. Он тогда взял Гуму к себе и воспитал на своей шхуне,

в открытом море, чтоб парень никогда моря не боялся. Мать Гумы, про которую никто не знал, кто она, в один прекрасный день объявилась и спросила про мальчика:

— Вы извините, это вы и есть Франсиско?

— Я самый, к вашим услугам...

— Вы меня не знаете...

— Да что-то не вспомню, нет...— Он потер рукой лоб, стараясь вспомнить всех старых знакомых.— Не узнаю, уж не обессудьте...

— А Фредерико меня хорошо знал...

— Это может случиться, ведь он плавал на больших пароходах Баиянской компании. А вы сами из каких краев будете?

— Я-то из Аракажу́. Как-то раз он приехал в наши края. А у корабля дыра в боку была преогромная, чудом спаслись...

— Ах, помню, это было в Марау... Трудное было плавание, Фредерико мне рассказывал. Там вы с ним и познакомились?

— Они у нас месяц простояли. Фредерико уж так меня улещал...

— Да, бабник-то он был, это точно. Хуже обезьяны-самца...

Она улыбнулась, показав плохие зубы:

— Много наговорил: и что увезет меня с собой, и дом мне отстроит, и оденет, и накормит. Сами знаете, как это бывает...

Старый Франсиско поморщился. Они стояли на берегу, а рядом на базаре продавали апельсины и ананасы. Они присели на пустые ящики. Женщина продолжала:

— Беда случилась, лишь когда он сказал, что не вернется на корабль. Но когда дыру в посудине заделали, он и слушать не стал, махнул платочком — да и был таков...

— Не скажу, что он хорошо поступил. Хоть и моя кровь, а...

Она прервала:

— Я не говорю, что он плохой был человек. Что делать? Судьба, видно, так хотела. Я б с ним куда угодно подалась, даже если б знала, что он меня бросит. Втрескалась больно.

Женщина взглянула на старого Франсиско. А он думал: зачем она явилась через столько лет? Денег просить, что ли? Так он теперь последний бедняк, нет у него денег. Фредерико, брат, и впрямь был бабник...

— Говорил, что пришлет за мной. За вами прислал? — Она улыбнулась. — Вот и за мной так же. Когда стало сильно заметно, я хотела снадобье принять, мать не позволила. Отец был человек честный, крутой, он ко мне с ножом: «Кто да кто? Покончу с ним», — кричит. У меня и посейчас шрам под коленкой остался. Не дрогнула рука у отца-то.

Зачем она подымает юбку и показывает шрам на голй ноге? Франсиско не тронет женщину, которая была с его братом, это — большой грех, за него человека может постичь кара небесная.

— Так я и ушла из дому. Одна-одинешенька на свете. Семья крестного меня к себе взяла, прислужгой. Вот раз накрываю я, значит, на стол, и вдруг как меня схватит... Боли начались...

Только теперь Франсиско понял:

— Гума?

— Ну да, Гумерсиндо. Это мой крестный имя придумал. Его самого так звали. Ну, я собрала деньжонок и привезла ребенка к Фредерико. Он уж был с другой, сына взял, а про меня сказал, что и слышать не хочет.

Снова наступило молчание. Франсиско украдкой взглядывал на женщину, все старался понять, к чему она клонит. Денег у него нет, во всяком случае сразу если, то никак нет. А спать с женщиной, что была с его братом, — нет, он такой вещи не сделает.

— Ну, я и осталась в здешних краях, ворочаться-то стыдно было. И у бедных стыд есть, верно? Не хотела я на улицу идти в моем краю, где меня знают... Мой отец был человек уважаемый, он даже одного из моих братьев учиться послыл, на врача... Ну, а потом меня уж по свету бросало, бросало... Да давно это было все...

Она махнула рукой и стала глядеть на корабли. Сзади, с рынка, доносился шум голосов, там спорили, смеялись.

— Я только три дня тому назад приехала из Ресифе. Давно хотела на сына взглянуть, знакомый один мне сказал, что Фредерико умер два года назад. Так что я за сыном... Сама его растить буду...

Франсиско не слышал уже шума, доносившегося с рынка. Он слышал лишь слова женщины, уверявшей, что она — мать Гумы, и приехавшей за ним. Он не любил спорить с женщинами. Начнешь с ними — конца не видно. Но сейчас ему придется поспорить, ибо он ни за что не отдаст Гуму. Мальчик уже научился управлять рулем.

на шхуне и свободно мог поднимать своими детскими руками большие кули с мукой. Спорить Франсиско привык, но только с суровыми моряками, крепышами-шкиперами, с кем можно не бояться крепких слов, ибо они-то сумеют за себя постоять. Но с женщиной, тем более такой, как мать Гумы — в шелковом платье, и духами от нее несет, и зонтик на руку повесила, и зуб во рту золотой, — нет, с такой женщиной Франсиско спорить не осмелится. Если невзначай сорвется у него некрасивое словцо, так ведь она, поди, и расплакаться может, а Франсиско не мог вынести, когда женщина плачет. А к тому ж брат и вправду нехорошо с нею поступил. Однако если б моряки только и думали что о женщинах, которых они покидают в каждом порту... А разве лучше, когда моряк женится и потом оставляет жену вдовой или когда жена умирает от сердца при виде мужа, вернувшегося невредимым после бури? Еще хуже. Нет, Гума не женится. Он всегда будет свободен. Свободным будет ходить в плавание под своим парусом. И уйдет с Матерью Вод, когда захочет. Не будет у него якорей, связывающих его к земле. Человек, живущий на море, должен быть свободен. А если эта женщина увезет Гуму, что станется с мальчиком? Будет он столяром, каменщиком, может, адвокатом или даже священником в женских юбках, кто знает! А старому Франсиско придется только краснеть за то, что он толкнул на такое своего племянника, и ничего ему больше не останется, как самому отправиться навстречу Жанаине в какую-нибудь темную ночь. Нет, ни за что на свете не даст он этой женщине увезти Гуму.

А женщину уже удивляло молчание Франсиско. С рынка слышались голоса: «Так дорого? Да вы что? Пугаете?» И обрывки какого-то разговора издали: «Он как фукнет раза два из своего револьвера, и побежал. Но человек — он человек и есть, так что я собрался с духом и тоже выстрелил...»

Старый Франсиско вдруг засмеялся:

— Знаете что, милая? Вы не увезете парня, нет. Да что вы с ним делать будете?

Он взглянул на женщину, ожидая ответа. Но лицо его говорило красноречивее слов, что нет на свете такой силы, какая заставила бы его отдать Гуму. Женщина неопределенно помахала рукой и ответила:

— Вообще-то я сама не знаю... Хочу его увезти, потому что он мой сын и отца у него теперь нету... Жизнь

гулящей женщины сами знаете какова... Сегодня тут, а завтра в другом месте... Но если он останется, то с ним будет как с отцом, утонет когда-нибудь...

— А если он пустится в плавание под вашим парусом, тогда как?

— Я его в школу отдам, он научится читать, может, адвокатом станет, как дядя, брат мой... Не утонет в море...

— Милая женщина, судьба наша там, наверху, пишется. Коль ему суждено уйти с Матерью Вод, то никакая сила его не избавит от этого. Если он останется здесь, вырастет настоящим человеком. Если уйдет с вами, то кончит бездельником за трактирной стойкой...

— Это вы так думаете...

— Да где вы достанете денег на его учение? Вашей сестры я немало повидал, Сегодня получите, завтра нет... Сами сказали, что нынче тут, а наутро в другом месте... А сыну женщины с таким занятием иной раз хуже, чем щенку, приходится, сами знаете...

Она опустила голову, потому что знала, что это правда. Увезти сына с собой — значит обречь его на вечное унижение, потому что всегда и для всех будет он сыном публичной женщины. Где б ни очутился он — на улице ли среди других мальчиков, в школе ли, или еще где, — ничего не сумеет он сказать, нигде не посмеет свое мнение выразить, потому что всякий сможет бросить ему в лицо самое худшее оскорбление, какое только есть на свете...

С рынка все еще доносился голос мужчины, рассказывающий о происшествии: «...я только и успел увидеть, как блеснул нож, ну, думаю, выпустит мне сейчас кишки. Замахнулся я, коленом его как поддам. Непуточное было дело».

...Да нет, гораздо лучше, чтоб Гума остался здесь, научился управлять рулем, ходил в плавание, заходил в чужие порты, оставлял там будущих сыновей под сердцем чужих женщин, вырывал ножи из рук мужчин, пил тростниковую водку в кабачках, татуировал сердца у себя на руке, боролся с волнами в бурю, ушел в глубину с Иеманжой — Хозяйкой Моря, когда пробьет его час. Там никто не спросит, кто была его мать.

— Но я могу иногда приезжать взглянуть на него?

— Всякий раз, как потребует ваше сердце... — Теперь Франсиско было жаль женщину. Даже самая плохая

мать не может совсем уж не любить своего ребенка. Взять хоть китов: пускай они животные, и мыслей у них нету, а как защищает самка своих детенышей от китоловов! Иной раз даже умирает за них!

— Сегодня же вы можете его увидеть. Он плавал в Итапарику, вечером, попозже, вернется. Вы погодите уезжать...

На лице женщины изобразился испуг:

— Он уже один ходит на шхуне?

— Один. В Итапарику и обратно. Учится. Да он не хуже взрослого.

Теперь на лице женщины сияла гордость. Ее сын, которому едва одиннадцать лет сравнялось, уже сам управляется с парусным судном, не боится моря, — он уже настоящий мужчина. Она спросила совсем как-то по-детски, словно голос ее исходил в эту минуту из самой глубины сердца:

— Он похож на меня?

Старый Франсиско взглянул на женщину. Несмотря на гнилые зубы, она была красива. А золотой зуб так даже украшал ее. Тонкий запах духов исходил от нее, и так странно было вдыхать его здесь, на набережной, густо пахнувшей рыбой! Губы были ярко накрашены, словно кто искусал их в кровь. Руки, как-то бессильно повисшие вдоль тела, были округлы и крепки. Несмотря на все, что выстрадала, глядела она молодо, трудно даже было поверить, что это мать Гумы. А ведь уже одиннадцать лет, как вела она жизнь уличной женщины, спала с чужими мужчинами, терпела от них грубое обращение и даже побои. И, несмотря на все это, была все еще лакомый кусочек. Если б не то, что она когда-то спала с Фредерико...

— Похож, да. Глаза у него аккурат как у вас. Да и нос ваш...

Она улыбалась. Это была, верно, самая счастливая минута в ее жизни. Когда-нибудь, когда красота ее совсем увянет, когда мужчины уже выпьют из нее все соки, будет ей обеспечена спокойная старость: она переедет к сыну, станет готовить ему обед, ожидать на берегу его возвращения в бурные ночи. Ей не придется ничего ему объяснять и ни в чем оправдываться. Сыновья умеют все прощать старухам матерям, вдруг появляющимся в их доме. И женщина вся отдалась счастливой мечте о будущем и, убаюканная ею, радостно улыбалась — губами, глазами, всем лицом, и даже этот запах

духов, напоминающий о кабаках и притонах, вдруг исчез куда-то, и от нее так свежо пахло теперь морем и соленой рыбой.

Около девяти показался у берега Гума на «Смелом». Пристал у небольшого причала, сложил руки трубочкой и крикнул:

— Дядя! Э-ге-ей, дядя!..

— Иду-у-у!..

Гума слышал приближающиеся голоса. Кто-то шел по берегу вместе с дядей, кто-то незнакомый,— Гума хорошо различал издали голоса. Шкипер Мануэл крикнул с палубы своей шхуны:

— Гости к тебе, парень!

Кто же это пришел к нему? По голосу, видно, женщина. Неужто дядя привел все-таки женщину, чтоб он, Гума, спал с нею? Последнее время Франсиско и знакомые рыбаки подшучивали над ним, все говорили, что ему пора уже иметь дело с бабой, и грозились привести и оставить с ним вдвоем на палубе, посреди моря:

— Вот тогда посмотрим, умник-разумник...

И рыбаки так и покатывались со смеху, подмигивая друг другу.

— Да он уж взрослый мужик, ваш Гума,— говорил Антонио, хозяин шхуны «Святая вера», с большим убеждением.

— Испытать его надо.— И Раймундо потирал руки, густо хохоча: — Мой Жакес уже вкусил плода, а как же...

Гума знал, о чем они говорили: надо спать с женщиной, тогда его не будут мучить такие сны, от которых он просыпается весь словно избитый. Много раз, в маленьких портовых городишках, где они с дядей приставали во время плавания, случалось Гуме проходить по улицам гуляющих женщин, но у него никогда не хватало мужества войти хоть в один дом. Никто не давал ему меньше пятнадцати лет, хоть было ему всего одиннадцать. С этой стороны все в порядке. Но какое-то смутное опасение мешало ему войти. Он был уверен, что умрет со стыда, когда женщина догадается, что он это в первый раз... И боялся, что прогонит от себя, обойдется как с ребенком, сиротой, заблудившимся в чужом городе. Ей, женщине, сразу ведь не угадать, что он уж один выходит под парусом в открытое море, что он такие огромные мешки с мукой таскает на спине, не всякому



взрослому под силу. Еще, поди, посмеется над ним. Гума не решался зайти... А теперь вот дядя привел ему женщину, как обещал. Гуме стало неловко: дядя, наверно, рассказал ей, что он никогда еще не имел дела с женщиной, что он пень пнем, трусишка жалкий, вы, мол, не смотрите, что у него нож за пояс заткнут. И что сказать этой женщине, как вести себя с ней? А вдруг дядя не уйдет и захочет посмотреть, что он, Гума, предпримет, только чтоб посмеяться потом над увальнем племянником? Нет, тогда он убежит, совсем уйдет отсюда, никогда больше не взойдет на палубу и не выйдет в море — от стыда... Гума в большом смятении слушает приближающиеся голоса. Он дрожит с головы до ног и вместе с тем ему хочется, чтоб они шли быстрее, ибо он должен стать настоящим мужчиной как можно раньше, — тогда-то уж он один-одинешенек будет плавать на «Смелом» по всем рекам, по всем каналам, будет заходить во все порты.

Голоса приближаются. Да, это женщина. Дядя выполнил обещание — привел. Ему стыдно, верно, за племянника, который еще не мужчина, еще не знает женщин. И поскольку у Гумы не хватает смелости войти в дом какой-нибудь из них, дядя ему привел женщину, — так слепому приносят пищу или калеке — воду. Унижение-то какое... Но Гума не хочет задумываться. Он думает о том, что скоро почувствует рядом с собою тело женщины, заключающее в себе все тайны жизни. Он попросит дядю уйти, оставить его одного с нею и уведет судно на самую середину залива. Со старого форта или с какой-нибудь шхуны будет доноситься музыка. Он будет любить, узнает тайну всего и тогда сможет один вести «Смелый» по всему побережью, сможет, когда придет его день, без страха взглянуть в лицо Матери Вод и сможет любить ее на дне морском, ибо будет знать те тайны, о которых столько говорят взрослые мужчины. Гуме стало даже холодно, хотя ночь была душная и теплый ветер дул мирно, едва-едва покачивая корабли. По правде говоря, Гуме было не холодно, а страшно. Голоса становились все явственней:

— Он еще ребенок, но вы взгляните ему в лицо — настоящий мужчина...

Голос дяди. Женщина спрашивает, видно, каков он из себя. Понятно, она хочет знать, как ей с ним обходиться. Но он ей докажет, что он уже взрослый, что он сильный, он ее так сожмет, что она заплачет, и не отпустит,

пока она не признает, что он даже сильнее тех взрослых мужчин, с какими ей приходилось иметь дело. Теперь слышится голос женщины:

— Я хочу, чтоб он был красивым и храбрым...

Сердце Гумы наполняется радостью. Он уже любит эту женщину, которой еще не видел и не знает, которую дядя привел для него, Гумы. Он повезет ее с собой по всем портам побережья, станет плавать с нею на «Смелом» по всем рекам. Он не отпустит ее больше на улицу. Нет, она будет с ним всегда, всю жизнь. Наверно, красивая, дядя хорошо разбирается в этом деле, все говорят. Женщины, которых он приводит по ночам на палубу «Смелого», всегда красивы. В такие ночи Гума слышит странные шумы, стоны, шепоты, смех. Иногда он пугается и убегает, а иногда, напротив, прислушивается, одержимый диким желанием взглянуть, что там такое творится, и каким-то страхом, удерживающим его от этого. Как-то ночью он услышал резкий женский крик — крик боли. Он кинулся было на палубу, уверенный, что дядя бьет женщину. Но его не пустили. Только много времени спустя он понял, что означало это пятно крови, которое на утро обнаружил на досках. Та молоденькая мулатка много еще раз приходила к дяде, но Гума больше не слышал, чтоб она кричала. Постановывала только, как другие. Женщина, что пришла сегодня, наверно, не будет кричать, для нее это не в первый раз. Но когда-нибудь и он, Гума, заставит какую-нибудь женщину так вот кричать на палубе «Смелого», как кричала та мулатка, любовь его дяди...

Слышится голос Франсиско:

— Гума!

— Я здесь!..

Шлюп подплыл совсем близко к берегу. Сейчас они пересекут эту полосу грязи и увидят якорь, держащий его у причала. Дядя и женщина уже возле самой воды. Вот Франсиско одним прыжком взобрался на шлюп, протягивает руку женщине, которая тоже прыгает, показав голые полные ноги. Гума смотрит, и словно огонь наполняет его всего. Красивая, да. Теперь дядя пускай уходит, пусть не вмешивается, оставит Гуму с ней одного, Гума покажет, на что он способен. Женщина смотрит на Гуму с умилением. Да, он очень понравился ей. Он и правда глядит взрослым мужчиной, несмотря на свои одиннадцать лет. Гума улыбается, показывая белые зубы. Франсиско как-то растерянно машет руками. Женщина

улыбается. Гума смотрит на дядю и на женщину и почему-то радостно смеется. Женщина спрашивает:

— Ты меня не узнаешь?

Да, он узнает ее. Он давно уж ее ждет. Он искал ее в улицах пропащих женщин, на берегу моря, в каждой женщине, бросившей на него взгляд. Теперь он нашел ее. Это его женщина. Он давно уже знает ее, с тех самых пор, как странное волнение стало овладевать им, смущая его сны.

Франсиско говорит.

— Это твоя мать, Гума.

Почему странное волнение не покинуло Гуму от этих слов дяди? Нет, никак невозможно, чтоб это была его мать,— да ему никто никогда и не говорил о матери, да он никогда и не думал о ней. Дядина хитрость, ясно. Женщина, стоящая перед ним сейчас,— это уличная женщина, что пришла спать с ним. Франсиско не должен был и сравнивать ее с его матерью, такой, верно, доброй, ласковой... Что общего у его матери со всеми этими делами, о которых он только что думал? Но женщина подошла к Гуме и поцеловала так ласково. Так, наверно, целует только мать. Продажные женщины целуют, конечно же, совсем иначе. Голос женщины звучит тепло и чисто:

— Я оставила тебя так давно... Теперь я никогда больше тебя не оставляю...

Тогда Гума вдруг принимается плакать, сам не зная почему: потому ли, что нашел мать, потому ли, что потерял женщину, которую так ждал.

Он смотрит на нее, не зная, что сказать. Сегодня ночью он не матери ждал, нет. Он ждал нечто совсем иное. Она глядит на него растроганно, много и взволнованно говорит о Фредерико, каждую секунду повторяя:

— Я теперь останусь с тобой...

Зачем она пришла? Откуда? Почему обнимает его с таким волнением? Она ему чужая. Ни разу не вспомнил он о матери. Никто, за все одиннадцать лет его жизни, не говорил с ним о ней. И приход ее смешался в нем с волнением совсем иным, она пришла вместе с искупением, отняв у него что-то, чего он так желал. Он знал теперь, что это его мать, и вместе с тем она больше походила на женщину, которую он ждал, потому что запах духов, исходивший от нее, был запахом тех женщин и тех улиц, и как ни старалась она побороть себя, но каждое мгновение из уст ее вылетали слова, каких он не

хотел бы слышать от своей матери, и невольно позволяла она себе движения, каких он не видал у моряцких жен с побережья. Это была его мать, но Франсиско смотрел на нее слишком пристально, на белую шею и начало груди, выступавших из выкаченного ворота платья, на округлые ноги, видные из-под подола, задираемого ветром... Гуме хочется одного — плакать. Мужчине плакать стыдно, кто в этом сомневается? А особенно моряку. Довольно и того, что плачут женщины. Моряк никогда не должен плакать. Поэтому Гума кусает губы и молчит, ожидая, когда уж она уйдет и весь этот сон наконец рассеется. Франсиско нравится женщина. Он думает, что ведь она спала с его братом, она — мать Гумы, но смотрит на нее, такую свежую, крепкую, и чувствует соблазн. И начинает говорить, торопясь, уговаривая ее уйти вместе с ним:

— Вам еще всю набережную пройти надо. Темнеет уже...

Она прощается с Гумой:

— Я буду навещать тебя, сынок...

Франсиско уходит с нею, Гума смотрит им вслед с палубы «Смелого». Ни на мгновение не почувствовал он ее свою матерью. И вот не он, а старый Франсиско будет спать с нею нынче ночью. Один в темноте, Гума заплакал. Впервые в жизни явственно услышал он песню, в которой говорится, что сладко умереть в море. И впервые в жизни захотелось ему самому пойти на свидание к Матери Вод, Иеманже, или Жанайне, как ее еще называют, ибо она одновременно и мать и женщина для всех моряков.

Старый Франсиско вернулся в ярости. Губы плотно сжаты, брови насуплены. Вспрыгнул на палубу, не проронив словечка, растянулся на досках, попыхивая трубкой и глядя на море. Гума улыбнулся: дядя тоже остался без женщины на эту ночь. Мать Гумы не захотела спать с братом своего Фредерико. У таких, как она, тоже есть свое понятие чести. Только теперь почувствовал Гума какую-то нежность к этой женщине.

Но вот взошла луна, и волосы Жанайны расстелились по воде. Музыка пришла со шхун, со стороны старого форта, с лодок, с набережной, приветствуя Матерь Вод, хозяйку моря, которой все страшилось и которую все желали. Она была женой и матерью. Она одна знала желания людей моря, и она одна умела утолить их и утишить. Женщины в этот час молятся ей. Все чего-нибудь

у нее просят. Гума попросил красивую женщину, красивую и хорошую, без этого странного запаха духов, который принесла с собою его мать, просил, чтобы Иеманжа подарила ему женщину молодую и невинную, как он сам, почти такую же красивую, как сама богиня моря. Может быть, тогда растает перед его глазами образ матери, потерянной на улицах продажных женщин, отдающей без разбору мужчинам, чуть было не соблазнившей его дядю и даже его самого, Гуму, родного сына.

Иеманжа, которую лодочники называют Жанаина, добра к людям моря. Она снисходит к их желаньям и снам.

Мать Гумы не вернулась больше. Никогда. Подалась, значит, в другие земли, ведь уличные женщины, словно моряки, не задерживаются надолго ни в одном порту. Всё странствуют, ищут мест, где им можно заработать. Но долго еще ее образ, странный запах ее духов тревожили крепкий сон Гумы. Он хотел бы, чтоб она вернулась, но не как его мать, не со словами материнской нежности на устах, а как гуляющая женщина, с губами, открытыми для поцелуя. Гума потерял покой. В его мальчишеской душе смешался образ, в котором все видели воплощение самой чистоты,— образ матери — с образом женщины, отдающей мужчинам за деньги, сделавшей любовь профессией. Никогда не было у него матери. А нашел он ее лишь затем, чтоб сразу же потерять, чтоб желать ее помимо воли, чтоб почти возненавидеть память о ней. Есть лишь одна мать, которая может быть одновременно женою,— Иеманжа, Мать Вод. Потому так любят ее мужчины побережья. Но чтоб узнать любовь Иеманжи, жены и матери, надо умереть. Часто появлялось теперь у Гумы желание броситься в волны с палубы «Смелого» во время бури. Тогда он отправится в плавание с Жанаиной, тогда сможет он любить одной любовью мать и жену.

Но вот как-то вечером старый Франсиско привел на свое судно какую-то мулатку, а сам ушел. Когда Гума поднялся на палубу в засученных брюках, с обрызганными грязью ногами, она лежала, лениво раскинувшись на досках, и взглянула на него как-то по-особому. Он понял. С тех пор, как приезжала мать, прошло уже два года. Та, что теперь явилась перед ним, должна бы прийти тогда, вместо матери. Было бы лучше.

И когда большие тучи поглотили луну, он вывел шлюп на середину гавани, а свежий ветер летел ему вслед, и со старого форта слышалась музыка. Гума громко крикнул несколько раз — из гордости. Наверно, на берегу старый Франсиско и другие взрослые мужчины говорят о нем и смеются. Пусть! Он тоже уже мужчина, он знает, как обращаться с женщиной. Теперь-то он сможет ходить на «Смелом» по всем портам, один, как настоящий шкипер, хозяин парусной шхуны. Он пристал к берегу в ту ночь в разгар бури, надвинувшейся внезапно. Мулатка при первых раскатах грома испуганно прижала голову к его груди. Он улыбнулся, подумав, что Иеманжа, верно, ревнует, потому и наслала на него ветер с дождем.

Как-то раз (прошли еще годы, прошли еще женщины) старый Франсиско чуть не разбил шлюп о подводные камни в излучине реки. Если б Гума не бросился к рулю и не повернул его резко, то что б было со «Смелым»? Поминай как звали... Старик опустил голову и за весь остаток пути ни разу не улыбнулся. В тот вечер он не шутил, как обычно, с друзьями в баре, не рассказывал разных историй. Когда возвращались, он передал руль Гуме и лег, вытянувшись во весь рост на досках палубы, подставив тело восходящему солнцу. Он сказал Гуме:

— Я плавал в этих водах больше тридцати лет...

Гума взглянул на дядю. Старик набивал трубку.

— Никогда я не уезжал отсюда, не манили меня другие земли. Фредерико, твой отец, был не такой, как я. Плавать по здешней реке ему быстро наскучило. Он считал, что лучше идти матросом на большой корабль, узнать чужие края... У каждого свой нрав...

Солнце ударялось о спокойную воду. Верхушки больших подводных камней поблескивали у берега. Гума хотел утешить старика:

— У вас было четыре шхуны, дядя.

— Однажды из плавания Фредерико привез тебя. Тому уж восемнадцать минуло... Он нанимался матросом на морские суда. Сначала он плавал на каботажных Баиянской компании, потом поступил на большой корабль, поплыл искать счастья по всему свету. Ты оставался у нас, покуда он не вернулся...

— Я помню, дядя. Это было как-то ночью, вдруг...

— Он не сказал, почему возвратился. Думаю, какое-нибудь дело из-за бабы. Поговаривали, что он выпустил кому-то кишки. Храбрый был мулат. Обиды не стерпит...

Гума улыбнулся, вспомнив отца в клеенчатом черном плаще, с которого стекали струйки дождя... Как он обнимал Франсиско, радостно:

— Вот я и здесь, братишка...

Гума тогда испугался, убежал даже, когда отец, с этими своими огромными усищами, бросился его целовать. Но теперь он испытывал какое-то безмерное наслаждение, вспоминая эту сцену: как отец вдруг ворвался к ним в дом... А раньше, говорят, выпустил кому-то кишки из-за какой-то чернолицей девчонки. Отец, повидавший диковинные дальние земли, плававший на больших океанских кораблях...

Старый Франсиско продолжал:

— Потом он плавал со мною на моих шхунах. Помнится, на «Утренней звезде»...

— Помню... Отчаянный был...

— До той самой августовской ночи. До той бури... Он, помню, все смеялся, и когда уж душа отлетала. Отчаянный был, это ты верно сказал. Моя старуха тоже в ту ночь померла... От сердца. Я даже доктора звал. Не помогло. Сердце, сам понимаешь.

Гума задумался: почему дядя вдруг вспомнил обо всем этом? Он знал столько разных историй о других, зачем рассказывать о себе самом? Гума находил, что незачем, и ему было отчего-то грустно.

— Мне бы с того дня и бросить плавать-то. Ничего мне уж не надо стало... Но ты у меня остался, я должен был научить тебя управлять судном, укрощать его, чтоб слушалось... Теперь ты научился...

Старик улыбнулся. Гума тоже. Он теперь знал, как обращаться с судном, это верно. А вот старый Франсиско больше уж не знал, он все свое знание передал племяннику.

— Я старик... Со мной покончено... Меня уж и рыбы не хотят — одни кости...

Он помолчал с минуту, словно чтоб собраться с силами:

— Ты видел? Когда шли вверх по течению, я чуть не бросил «Смелого» на камни...

— Да что вы, дядя, стороной прошли!

— Потому что ты взялся за руль. В глазах моих мало уж света. Свет моря съедает глаза человека...

Он поглядел на Гуму долгим взглядом, словно намеревался сказать еще нечто важное. Соляце яростно пек-

ло его тело, но он, как старый зверь, грел на солнце остывающую кровь. Он поднял руку:

— Я стар, кончен я. Но не хочу, чтоб все эти негры на пристани смеялись надо мной. Что, мол, старый Франсиско плавал да плавал тридцать лет, а потом взял да и разбил свой шлюп о камни...

Голос его звучал страдальчески. Была в нем какая-то невыразимая мука, какое-то предвестие конца. Гума молчал, не найдясь что сказать. Старый Франсиско продолжал:

— Ты никому не рассказывай... Знаю, что не захочешь моего стыда...

Остаток пути прошел в глубоком молчании, и это было последнее плавание старого Франсиско.

Теперь он один, Гума, выводил «Смелого» в широкие голубые воды. Старый Франсиско чинил на берегу паруса, рассказывал разные истории. Для старого Франсиско все заключилось, море, видно, не захотело взять его к себе, несмотря на смелость и мужество. Он видел Иеманжу живым, она ему улыбалась, ему не пришлось умереть, чтоб увидеть ее.

Гума остался хозяином шлюпа и побережья, но судьба отца влекла и манила его, он был влюблен в большие корабли, пристававшие в порту, слушал как зачарованный слова чужих наречий, странные слова, какими перебрасывались незнакомые белокурые матросы, заслушивался историй, какие рассказывали негры — машинисты с пароходов, и смутно думал про себя, что в один прекрасный день обязательно уйдет на таком вот большом корабле, увидит другие земли, другую луну и другие звезды, станет петь песни своего побережья в чужих портах, где люди не поймут его речь и будут тихо слушать его песни только лишь за их музыку, только лишь затем, что в песне моряка, на каком бы языке ни была она сложена, говорится про море, про страдание и про любовь. Когда-нибудь он взойдет на большой корабль, и рыбацьи шхуны покажутся ему маленькими-маленькими, и он сменит спокойные воды залива и реки Парагуасу на бурные воды бескрайнего моря, на дорогу, которой нет конца и которая ведет в чужие, далекие, незнакомые земли. Плыть на огромном черном корабле, пережить наяву все чудесные сказания, каких наслушался он на побережье,— чего ж еще можно желать! Некоторые рыбаки



уже бросили свои шхуны и ушли матросами в открытое море. Порою они возвращались ненадолго, рассказывали чудовищные вещи, описывали кораблекрушения и бури, битвы с желтокожими людьми где-то на краю земли и говорили на какой-то странной смеси всех языков мира. Но бывало и так, что они не возвращались. Шико Печальный (кто ж его не помнит?) еще мальчишкой нанялся на немецкое грузовое судно. Толстый такой негр, никогда не улыбался. День-деньской смотрел на море, на корабли и все говорил, что уедет. Только об этом и говорил. Казалось, что родная его земля не здесь, что сам он откуда-то из-за моря. Ну, завербовался на корабль. Как-то вечером тот корабль снова причалил в здешних краях. Все сбегались взглянуть на Шико Печального. Даже его старуха мать пришла, хоть она торговала кокосовыми лепешками далеко от берега, в центре города, и никто не знал, как дошла до нее весть о корабле. Но все сразу разошлись, потому что Шико Печальный не прибыл вместе с этим кораблем. Он поступил на другой и работал там кочегаром. А с этого другого корабля, как рассказали немецкие матросы, он перешел на третий, и никто не знал, в каких дальних водах плавает теперь Шико Печальный. Покуда шел о нем разговор, кто-то предположил, что он, наверно, умер, но никто не поверил. Моряк приходит умирать в свой порт, у своего моря и своих шхун. Если только, конечно, не суждено ему утонуть. Но и тогда он приходит вместе с Матерью Вод взглянуть на луну родного берега, послушать песни земляков. Шико Печальный не умер, не мог умереть где-то вдали.

Гума знал Шико Печального мало, он был еще ребенком, когда тот уехал. Но Гума любил память о нем и хотел стать таким, как он. Огромные черные корабли неудержимо манили его. Какая-то странная тайна заключалась в них, в их особо пронзительных гудках, в их тяжелых якорях, в их высоких мачтах. Когда-нибудь Гума уедет в Земли без Конца и без Края. Один только старый Франсиско держит его у этого берега, как якорь. Он должен зарабатывать хлеб для дяди, научившего его всему, что он знает. Когда старик утомится жизнью на берегу и уйдет с Матерью Вод, тогда и Гума уйдет из этих мест в бескрайнее море, и у дороги его не будет больше пределов, и место парусного шлюпа займет корабль, огромный и черный, а на побережье станут рассказывать о нем таинственные истории.

Он остался один хозяином «Смелого» и понял, что отрочество его кончилось. Рано, слишком рано кончилось и его детство, ибо он давно уже стал мужчиной, задолго до появления на шлюпе той молоденькой мулатки, которую старый Франсиско оставил на палубе в такой ленивой позе. Как-то раз приезжала его мать, за несколько лет до этого, и в тот день он уже один водил «Смелого» до самой Итапарики и чувствовал в теле странное ощущение, которого не мог тогда понять. Он помнил страдание этого дня. Тогда впервые грешные мысли пронзили его и желание оставить эти берега обрекло постоянную жизнь в его душе. С того дня он стал мужчиной.

Мало что мог он вспомнить из своего короткого детства — сын моря, чья судьба была уже прочерчена судьбами отца, дяди, товарищей, всех окружающих. Его судьбой было море, и это была героическая судьба. Быть может, и сам он не знал об этом, быть может, и не подумал никогда, что и он, как все эти люди, что ругались днем непристойными словами, а по вечерам нежным голосом пели песни любви, будет героем, рискующим жизнью во власти волн каждое мгновение, в дождь и вёдро, под тучами и под ярким солнцем, горящим в небе над Баией, Городом Всех Святых. Никогда не думал он о том, что судьба его героична, а жизнь полна красоты. Не привелось ему познать беззаботное детство, слишком о многом надо было заботиться ему, так рано брошенному жизнью на корму рыбацкой шхуны, вынужденному пристально вглядываться в опасные верхушки подводных камней, плохо различимые под гладкой поверхностью воды, и натирать мозоли на руках о рыболовные снасти и твердое дерево руля.

Он ходил в школу одно время, да. Это был грубо сколоченный дом за гаванью, и учительница сочиняла любовные сонеты (быть может, любовь придет когда-нибудь на корабле в таинственную ночь, а быть может, не придет никогда, и учительница была молоденькая и бледная, и в свежем голосе ее звучало томное разочарование в жизни), а ребятня упивалась разными рыбацкими историями, и говорила на странном языке моряков, и билась об заклад, у чьей шхуны ход быстрее.

Он недолго пробыл в школе. Как и другие дети окрестных рыбаков, он провел там ровно столько времени, сколько понадобилось, чтоб научиться прочесть по складам письмо и нацарапать записку, с особым усилием и тщаньем выводя хвостик под последней буквой подписи,

Слишком многие дела ждали их дома и на море, не могли они надолго задерживаться в школе. И когда потом учительница встречала их (звали ее Дулсе, что означает Нежная), то не узнавала в этих огромных крепких детинах с распахнутой грудью и лицом, обожженным морскими ветрами, своих недавних учеников. А они проходили мимо нее, робко опустив голову, и все еще по-детски любили ее, потому что она была добрая и такая усталая от всего, что приходилось ей видеть на берегу. Много печального видела она здесь — девочка, приехавшая после окончания института учительствовать в эти края для того, чтобы прокормить мать, прежде богатую, а теперь нищую, и пьянчужку-брата, бывшего ранее надеждой всей семьи: и ее самой, учительницы, и матери, и отца, веселого человека с большущими усами и густым басом, умершего раньше, чем в доме у них все пошло так нехорошо. Она заступила в школе место прежней учительницы — истеричной старой девы, бывшей мальчишек линейкой по ладоням, — и очень хотела, чтоб портовым детям было в ее школе весело и тепло. Но она увидела столько печального на пристани, у больших судов, на палубах шхун и в грубо сколоченных рыбацких хижинах, увидела так близко людскую нищету, что потеряла всю свою бодрость и веселость и уж не смотрела на море зачарованно, как в первые дни после приезда, уж не ждала, что на каком-нибудь из этих громад кораблей придет к ней жених из далекой страны, и рифмы для любовных сонетов иссякли в ее усталом мозгу. И поскольку была она набожная, то теперь все молилась, ибо ведь бог — добрый, и должен же он когда-нибудь покончить с этой бездонной нищетой, а не то скоро настанет конец света. Из окна своей школы худенькая учительница глядела на всех этих оборванных, грязных мальчишек, без книг и без сапог, покидавших школу для тяжелой работы, для бродяжничества по портовым кабакам, для водки, и не понимала. Все говорили, что она добрая, да она и сама это знала. И, однако, только в первые дни своего пребывания здесь она чувствовала себя достойной такого эпитета, когда говорила этим потерянными людям слова утешения и вселяла в них надежду. Но давно уж надежда угасла в ней самой, и теперь слова ее были пустой формулой, и ничто не согревало все эти сердца, пораженные язвой разочарованья... Она и сама устала ждать. И уже не могла найти тех прежних теплых слов утешения. Ничего не могла

она сделать для этих людей, посылавших к ней на полгода учиться своих детишек. Нет, не заслуживала она, чтоб ее называли доброй, ничем она не помогала всем этим людям, не было у нее мудрого слова, чтоб сказать им. И если не свершится какое-нибудь чудо, какая-нибудь перемена, грянувшая, как буря, внезапно, она умрет здесь от печали, от тоски из-за того, что ничем не может помочь людям моря.

В ее школе Гума выучился читать и писать свое имя. Большему хотела она его научить, большому хотел и он научиться. Но старый Франсиско отозвал его из школы — на борт «Смелого», его судьба была там. Из здешних мест не выходили ученые и адвокаты. Но вышло много механиков, а один парень работал даже телеграфистом на большом пассажирском судне.

Гума оставил школу без грусти и без радости. Он любил учительницу, учение давалось ему не так трудно, любил Руфино, маленького негра, который ловко мог булавкой сделать татуировку на руке и никогда не знал урока. Но любил он еще и море, любил плыть по морю на парусной шхуне навстречу своей судьбе. В день, когда он уходил навсегда из школы, учительница повесила ему на шею небольшую медаль.

Из окна школы глядела она вслед уходящему Гуме. Всего одиннадцать лет — а уж готов к самостоятельной жизни, как какой-нибудь врач или адвокат в двадцать пять, кончивший институт и начинающий самостоятельную жизнь. Гума тоже кончил учение и начинал самостоятельную жизнь, не было только ни праздника, ни торжественного акта, а одно лишь облегчение, что теперь не надо так часто стирать свое платье, а то в школу полагалось ходить чистым. Никакой надежды не уносил в своем сердце этот ученик, закончивший учение. Никакой мечты о подвигах, о великих открытиях, о чудесных изобретениях, о возвышенных поэмах и нежных любовных сонетах. Учительница знала, что Гума умен, даже среди своих коллег по институту и приятелей из литературных академий мало встречала она людей таких способных, как Гума. И однако, все они надеялись совершить в жизни что-то грандиозное, мечтали о большой судьбе, что ждет их впереди. Мальчиков, уходящих из этой ее школы, никогда не посещали подобные мысли. Судьба их была прочерчена заранее. Судьба ждала их на борту парусной шхуны, у весел рыбацкой лодки, а

самое большое — у топки океанского парохода, — это уж был волшебный сон, в который мало кто верил. Море лежало перед глазами учительницы таким, каким увидела она его в первый раз. Море, проглотившее многих из ее учеников, проглотившее и ее девичьи мечты тоже. Море прекрасно и жестоко. Море свободно, так здесь говорят, и свободны все, кто живет на море. Но учительница хорошо знала, что это вовсе не так, что все эти мужчины, женщины, дети не свободны, они — рабы моря, они прикованы цепями к морю хоть этих рабских цепей и не видно.

Вон идет Гума — мальчик, так быстро выучившийся читать. Его бы отдать в Политехнический институт, он мог бы стать прекрасным инженером, а может, изобрел бы такую машину, которая облегчила бы труд моряков и сделала менее опасной их судьбу в предательских морских просторах. Но мальчишки с пристани уходят из школы не в институты. Они уходят на шхуны и челны. Они будут петь в ночной тьме песни моря, и у многих ведь такие красивые голоса. Только песни эти печальны, как их жизнь. Невозможно понять... Дона Дулсе, учительница, никак не может понять...

Но она ждет чуда, учительница с нежным именем Дулсе. Оно явится внезапно, как морская буря. Все переменится, и все станет прекрасно. Прекрасно, как море. А вдруг это именно ей суждено найти наконец слово, из которого родится это чудо, и сказать это слово всем людям побережья? Тогда вот она действительно заслужит то прозвание, какое дали они ей — «добрая», и то радушие, с каким они тащат на свой бедняцкий стол все лучшее, что есть в доме, когда она заходит навестить их.

Когда случалось увидеть учительницу или когда ветер играл висящей на шее медалью, Гума вспоминал школу и быстро протекшее свое детство.

Как-то раз, давно-давно, когда шел дождь и шхуны стояли без дела, а старый Франсиско рассказывал жене и Гуме историю одного кораблекрушения, дверь вдруг резко отворилась, и вошел какой-то человек, закутанный в клеенчатый плащ, с которого стекала вода. Лицо его было почти закрыто капюшоном, и виделись только громадные усищи, но голоса его, когда он заговорил со старым Франсиско, Гума не забудет никогда.

— Вот и я, брат...

Гума испугался. Но человек шагнул к нему и поцеловал, уколов усищами, и сочно, довольно смеялся, вглядываясь в мальчишеское лицо. Потом они долго беседовали с Франсиско, и пришелец рассказывал о какой-то ссоре, о каком-то парне, которого он «послал гулять в преисподнюю»... Так появился в доме отец, вернувшийся домой из своих странствий по чужим землям и морям. Он вернулся с чьей-то смертью на острие своего ножа, не имея более возможности оставить родные земли и воды для новых приключений. Но оттого, верно, что отец так обожал путешествия, а вынужден был сидеть на одном месте, он не долго протянул в здешних краях и ушел с «Утренней звездой» на дно морское, после того как спас брата. Только так мог он продолжать прерванное свое путешествие и потому ушел с Матерью Вод, которая любит смельчаков.

Гума смутно помнил отца, но хорошо помнил ту бурную ночь, когда отец так внезапно вошел в этом своем черном клеенчатом плаще, разбрызгивая вокруг себя дождь, еще не вынув из-за пояса ножа, которым лишил кого-то жизни. «Тут, верно, не обошлось без бабы,— уверял старый Франсиско, когда разговор случайно касался того дела.— Фредерико всегда был большой бабник...»

В ночь, когда умер отец, умерла также тетка Рита, жена Франсиско. Когда буря разыгралась, она побежала на берег и Гуму с собой взяла, укрыв под шалью от ветра и дождя. Они ждали долго и напрасно. Потом вернулись домой. Приближался час ужина. Она начистила рыбы для обоих мужчин, хоть и думалось неотступно, что, верно, оба они об эту пору сами попали к рыбам на ужин. Она ждала, тревожно ходя из угла в угол, молясь Монте-Серратской божьей матери, давая обеты Иеманже, Матери Вод. Она обещала принести цветы на праздник Иеманжи и две свечи на алтарь божьей матери в церковь Монте-Серрат. В полночь Франсиско вернулся. Она бросилась к нему в объятия, оставив там свою жизнь. У нее не хватило сил перенести подобную радость. Даже доктор приходил, но было уже поздно. Сердце тетки Риты разорвалось, и Гума остался один со старым Франсиско.

Он ходил на празднества в честь Иеманжи, узнал Анселмо, жреца, обладавшего чудесной силой, сообщенной ему Хозяйкой Вод, познакомился с Шико Печальным, который потом уплыл на большом корабле. Гума был еще совсем маленький, когда негр убежал из дому.

Но не раз видел его у самой воды задумчиво глядящим в бескрайность, за голубую черту, где кончается все, Родная земля Шико, конечно же, была где-то далеко отсюда, в том краю без предела, куда он и уехал. Потому и уехал. Но он вернется когда-нибудь, обязательно вернется, он — моряк здешних мест и должен умереть в том порту, из которого впервые сошел на воду. Он должен еще раз увидеться с доной Дулсе, учительницей, научившей его читать и не раз вспоминаяшей о нем. Когда он вернется, у него будет немало что порассказать, и мужчины усядутся вокруг него в кружок, даже самые глубокие старики придут, чтоб послушать истории, которые он расскажет. А в том, что он вернется, не может быть сомнения. Корабли несут имя своего порта, написанное на корме, повыше винта. Так и моряки несут имя своей пристани в сердце своем. Некоторые даже татуируют это имя у себя на груди, рядом с именами любимых. Бывает и так, что какой-нибудь корабль затонет вдали от своего порта. Тогда и моряк умирает вдали от своей пристани. Но потом он все же возвращается с Матерью Вод, которая знает, откуда родом каждый моряк, возвращается, чтоб увидеть своих земляков и свою луну, раньше чем пуститься в вечное плавание на пути к неведомому. Шико Печальный вернется обязательно. Тогда Гума узнает от него много разных чудес и уйдет отсюда, ибо дальние дороги моря давно уж влекут его.

Из всех воспоминаний детства память о Шико Печальном, внезапно покинувшем здешние края на большом корабле, возвращалась к Гуме чаще всего. Когда-нибудь он и сам уйдет тою же дорогой.

Не одну ночь своего детства провел Гума на палубе «Смелого», стоявшего на причале в маленькой бухте. С одного боку блеснул, раскинувшись широко, тысячами электрических огней город. Он карабкался вверх по склону, звоня в качающиеся колокола многих своих церквей, и от него исходила веселая музыка, и смех прохожих, и гуд автомобилей. Свет подъемной дороги полз то вверх, то вниз, как в гигантском волшебном фонаре. А с другого боку было море, тоже все освещенное — луной и звездами. Музыка, исходящая от него, была печальной и глубже проникала в душу. Шхуны и лодки подходили безмолвно, рыбы проплывали под тихой водою. Но город, что так полнился шумом, был, однако же, спокойнее этого тихого моря. В городе были красивые женщины, разные диковинные вещи, театры и кино, кабачки и ка-

фе и много, много людей. В море ничего подобного не было. Музыка моря была печальной и говорила о смерти и утраченной любви. В городе все было ясно, без всякого таинства, как свет электрических ламп. В море все было таинственно, как свет звезд. Городские пути были ровные, мощные. В море был только один путь, зыблемый и опасный. Пути города давно уже были открыты и завоеваны. Путь моря приходилось сызнова открывать и завоевывать каждый день, и каждый уход в море был неведомым приключением. На земле нет Матери Вод — Иеманжи, нет праздников в ее честь, нет такой печальной музыки. Никогда музыка земли, жизнь города не влекли к себе сердце Гумы. Даже вечерами на побережье, где рассказывалось столько разных историй, никогда никто еще не упомянул о таком небывалом случае, чтоб сына моряка потянуло к спокойной городской жизни. И если кому-нибудь вздумается заговорить о чем-то подобном со старыми штопальщиками парусов, они не поймут и рассмеются ему в лицо. Бывает, конечно, что человеку вдруг взбредет в голову отправиться по морю поглядеть другие земли, — так бывает. Но оставить свой парус для жизни на суше — такое можно выслушать лишь за стаканом водки, да и то со смехом.

Гуму никогда не манила земля. Там нет неведомых приключений. Путь моря, зыблемый и длинный, один лишь манил его. Конечно же, путь моря приведет его туда, где найдет он все, чего у него нет, — любовь, счастье. А может, смерть, кто знает? Его судьбою было море.

В одну такую вот, как эта, ночь пришла его мать. Никто прежде не говорил ему о ней, и она пришла с земли, ничего в ней не было от женщин моря, ничего у нее не было общего с ним, Гумой, она показалась ему гулящей женщиной, какую он ждал для себя на палубе «Смелого». Зачем приезжала она? Только чтоб заставить его страдать? И почему не вернулась больше? Другие женщины пришли с земли на его шлюп, сначала — гулящие, что явились за деньгами, потом молоденькие мулатки, служанки из домов, стоящих близ порта, и эти приходили потому, что считали его сильным и знали, что им будет с ним хорошо в любви. Первые напоминали ему мать. Они были надушены такими же духами, говорили с такими же интонациями, только лишь не умели улыбаться, как она. Мать улыбалась Гуме, как улыбаются женщины с пристани своим детям, и так как она была



для Гумы одновременно и матерью, и гулящей женщиной, то от этого он страдал еще сильнее.

Она не вернулась больше. Бродит, верно, по другим портам, с другими мужчинами. Кто знает, быть может, какую-то ночью, когда последний мужчина уйдет и оставит ее одну, она вспомнит о сыне, проводящем жизнь на борту и так и не сумевшем тогда сказать ей ни одного слова? Кто знает, быть может, той ночью она напьется пьяной из-за любви к этому сыну, потерянному для нее?.. Но когда музыка наплывает с моря и разносится над фортом, над шхунами и челнами и говорит о любви, Гума забывает обо всем и отдается душою лишь этой прекрасной, убаюкивающей, плавной песне.

Детство его было быстротечным, и потому он почти не узнал игр. Но в детстве уже он чувствовал свою силу и искал ей приложения. Этот большой шрам на руке остался от одной ссоры, когда ему было четырнадцать лет. Противниками были Жакес, Родолфо, Косой и Манека Безрукий. Он шел с Руфино, и ссора разыгралась из-за пустяка, из-за того, что Манека слишком заинтересовался ножками сестры Руфино, толстенкой негритяночки десяти с небольшим лет. Они с Руфино беззаботно болтали, когда Марикота прибежала с плачем.

— Он мне под юбку лезет...

Руфино отправился искать Безрукого. Гума не такой был человек, чтоб покинуть друга в трудный час, да и законы пристани подобного не допускают. Пошли они вместе и застали четверку все еще помирающей со смеху. Руфино поднял руку — споры и жалобы были не в его вкусе, — и битва разыгралась на славу. Это было на пляже, где солнце раскалило песок, и оба врага покатились по земле, нанося друг другу бесчисленные удары. Манека Безрукий, у которого в действительности, правда, были руки, но одна — кривая и слабая, получив удар Руфино, упал плашмя. Но и такой бой был неравным — трое против двоих, — и в самый разгар его Родолфо (дрянной парень, по совести сказать) схватился за нож, и пошла уж тут резня. У Руфино и сейчас виден шрам под подбородком, и когда Гума подскочил, то успел лишь отвести нож, направленный в самое лицо друга. Однако, несмотря на то что силы были неравны, враги бежали. Негр Руфино вытер кровь и пообещал:

— Этот Родолфо мне еще заплатит. Когда-нибудь я его проучу...

Гума не сказал ничего. Он уважал закон пристани, а закон этот не разрешает браться за нож, за исключением тех случаев, когда противник в большем числе. А тех, кто не подчинялся закону пристани, Гума считал людьми пропащими.

Неделю спустя Родолфо был найден лежащим на песке, с разбитым лицом, без ножа и без штанов. Руфино выполнил свое обещание.

Гума дружил с Руфино еще со школы. Без отца, воспитанный одной только матерью, Руфино пробыл в школе недолго: И то, чему он там выучился, сводилось лишь к одному: он умел ловко татуировать пером и чернилами якоря и сердца на коже товарищей. Дона Дулсе принималась было бранить его, но негр смеялся своими кроткими глазами, показывая большие белые зубы, и дона Дулсе улыбалась ему в ответ. Он оставил школу, пошел работать, чтоб содержать мать и сестру. Отдал свои большие сильные руки на службу всем лодочникам, какие нуждались в помощи. Он греб размашисто и смело, ибо не было на побережье человека, который более верил бы в благоволение богини моря, чем Руфино. Когда-нибудь у него будет своя лодка, нет сомнения, он уже просил об этом богиню во время праздника на молу и послал флакон духов в дар принцессе Айокá (так негры называют Иеманжу), чтоб волосы ее всегда были душистые. Она дарует ему лодку, ибо он всегда был самым ревностным плясуном на ее праздниках и еще когда-нибудь будет жрецом на кандомбле, устроенном в ее честь. Негр Руфино много смеялся. И много пил, это тоже, и любил петь глубоким низким голосом, заставлявшим умолкнуть все остальные.

А вот Родолфо совсем не казался уроженцем здешних мест. Когда-то отец его приехал сюда, открыл таверну, но она вскоре прогорела. Однако он не уехал, соорудил ларек на базаре, торговал на ярмарках. Родился Родолфо. Он рос красивый, белокожий, с прямыми волосами, которые он усердно теперь мазал брильянтином. Когда он вырос, то оставил руль шкуны, на которую отец было устроил его, бежал с моря и жил неведомо где, то появляясь, то снова исчезая. Иногда он приезжал с большими деньгами, угощал всех водкой в «Звездном маяке». А иной раз, напротив, являлся нищим оборвышем и выпрашивал у знакомых монетку в долг. На побережье

ему не очень доверяли и поговаривали, что он «порядочный мошенник».

Жакес вырос на палубе, как Гума. Он женился в здешних краях, а потом умер в одну бурную ночь. Он умер вместе с отцом, оставив жену с ребенком под сердцем. А Манека Безрукий все еще был тут и, несмотря на кривую руку, умел управлять шхуной как никто. Даже шкипер Мануэл, самый, наверно, старый из здешних моряков, самый старый и вечно молодой шкипер Мануэл, — и тот уважал его.

Таковы были у Гумы друзья детства. Много было в порту мальчишек, подобных им, что теперь стали мужчинами, кормчими парусных шхун. Они не очень-то многого ждали от жизни: плыть по волнам, занять когда-нибудь собственную шхуну, пить тростниковую водку в «Звездном маяке», произвести на свет сына, который пойдет тем же путем и отправится в один прекрасный день в вечное плавание с Матерью Вод. Правильно сказано в песне, что поет чей-то голос в прекрасные лунные ночи:

О, как сладко в море умереть...

Дона Дулсе, что тихо стареет в своей школе и даже уже носит очки, слышит песню и знает, что бывшие ее ученики умрут без страха. Но, несмотря на это, в сердце ее — печаль. Она боится за этих людей, ей жаль этих людей. Старый Франсиско, который уже не плавает, а сидит себе на берегу, ожидая спокойной своей смерти, уже свободный от бурь, от предательского нрава морских волн, тоже знает, что эти люди умрут без страха. Но, в противоположность доне Дулсе, он испытывает к ним зависть. Ибо говорят, что плыть с Матерью Вод к Землям без Конца и без Края, под морской волной, быстро — быстрее, чем самые ходкие корабли, стоит больше, чем вся эта жалкая жизнь, какую влечат на берегу.

#### КОЛЫБЕЛЬНАЯ РОЗЕ ПАЛМЕЙРАО

Роза Палмейрао... Это имя звучит так приятно для обитателей побережья. Много разных историй рассказывают об этой мулатке. Старый Франсиско помнит их без счета, в стихах и прозе, ибо у Розы Палмейрао есть уже

целый свой АВС<sup>1</sup>, и даже слепцы по дорогам, уходящим в сертаны, поют о ее буйном нраве и отчаянных поступках. Мужчины с пристани знают и любят ее, и ни один не откажет ей в крепком рукопожатии, а порой и в огоньке, чтоб раскурить трубку. И в присутствии Розы Палмейрао никто не решается хвалиться своей храбростью.

Вечерами, когда лишь немногие шхуны уходят в море, старый Франсиско рассказывает разные истории. Всем, разумеется, известно, что старый Франсиско любит присочинять, выдумывает целые эпизоды. Но сколько б он ни присочинял, никогда он не расскажет полностью историю Розы Палмейрао, всю правду о ней. Ни один сказитель в мире (а лучшие в мире сказители живут на баиянском побережье) не может рассказать обо всем, что Роза Палмейрао уже совершила. Она столько совершила, что попала в песню, и старый Франсиско часто поет о ней людям, собравшимся в кружок послушать:

У Розы Палмейрао за поясом заткнут нож,  
спрятан кинжал на груди, и серьги в ушах блестят,  
прекраснее тела ее ты нигде не найдешь,  
и ей не страшны ни акулы, ни хищный скат.

О, ничего бы и не случилось, если б не ее прекрасное тело... Слава о ней обошла все порты и берега, каждый моряк знает ее. Все боятся ножа, заткнутого за ее пояс, кинжала, спрятанного у нее на груди, ее железного кулака. Но больше всего боятся ее прекрасного тела. Она всегда обманывает. Она проходит, плавно покачивая бедрами, словно призывая. Моряк устремляется за нею, песок так мягок, и луна так нежна над морем. Она идет, мерно покачиваясь, вразвалку, словно это и не она вовсе, а местная женщина, морячка. Моряк не узнает ее, спешит вслед. Песок так и стелется под ногами, ждет в свою мягкую постель. А женщина хороша такою тихою красотой, даже не похоже, что это скандальная Роза Палмейрао. Горе бедному моряку, если он не понравится ей или если ей просто не хочется предаваться любви этой ночью. У Розы Палмейрао за поясом заткнут нож, а на груди спрятан кинжал. Она уже поразила этим ножом и этим кинжалом троих солдат, уже двадцать раз была за решеткой, уже много мужчин узнали на себе железную силу ее кулака...

---

<sup>1</sup> АВС — распространенный в Бразилии фольклорный жанр, баллада о жизни какого-нибудь популярного героя, каждая строфа которой начинается со следующей буквы алфавита.

## Старый Франсиско поет:

Роза сразила троих солдат  
в праздник Святого Жоана.  
Розу в тюрьму отвести хотят,  
она ж: «Мне туда еще рано».  
Целый взвод солдат прискакал:  
— В тюрьму, в тюрьму, потаскуха... —  
Но Роза схватилась за свой кинжал,  
и такая пошла заваруха!

Она могла убить человека, могла обратить в бегство целый взвод полиции. Она была храбра и красива. Старый Франсиско поет о подвигах Розы Палмейрао, и все хлопают в ладоши:

— Живую иль мертвой ее приведешь, —  
начальнику взвода сказали,  
но сверкнул у пояса Розы нож,  
и солдаты в страхе бежали...

Все слушают и хлопают в ладоши. Гума хлопает громче всех. Он не помнит Розу Палмейрао. Уж много лет не появлялась она у них в порту. Говорят, она прошла из конца в конец все баиянское побережье, потом подалась на юг штата, одно время жила с каким-то полковником, потом как-то раз вдруг избила его до полусмерти и потерялась в этих землях бескрайних. Однажды она всего на несколько часов появилась в баиянском порту, но почти никто ее не видал, она только пересела с одного корабля на другой — и уехала. Говорят, она ни капельки не постарела и все такая, как прежде. Цветок (палевая роза), который она всегда прикалывала к платью, был на своем обычном месте. Но она снова уехала, и только лишь осталось от нее это АВС, распеваемое вечерами на берегу, да истории, которые мужчины рассказывают друг другу где-нибудь в тени, возле Большого рынка... У нее было прекрасное тело, и она все не потеряла своей красоты. Когда она любила мужчину, не было другой женщины, способной сравниться с ней. Роза словно еще пышней расцветала у нее на груди, и волосы ее были душисты. А если, когда она связана с кем-то любовью, другой осмелится бросить на нее нескромный взгляд, то уйдет ни с чем: Роза Палмейрао не делит свое чувство...

Старый Франсиско поет:

Хоть была она неукротимой  
и днем не справиться с ней,  
ночью не сыщешь любимой  
покорней ее и нежней...

Перед глазами собравшихся плыл очерк знакомого лица Розы Палмейрао. Некоторые из тех, кто слушал сейчас старого Франсиско, например рыбак Брижидо Ронда, любили ее когда-то. И почти все бывали свидетелями ее вспышек и потому так любили слушать песню о ней и историю о беспорядках, какие она учиняла. Где-то теперь Роза Палмейрао? Она родилась в здешних местах, ушла бродить по свету — не любила сидеть на одном месте. Никто не знает, где она сейчас. Потому что у нее за поясом заткнут нож, на груди спрятан кинжал, а тело ее такое красивое...

Как-то ночью она вновь сошла на берег, приехав в каюте третьего класса на пароходе, прибывшем из Рио. Носильщик взял ее багаж и отнес бесплатно в одну из комнатушек «Звездного маяка». Через пять минут все на берегу уже знали, что Роза Палмейрао вернулась и что она все такая же и нисколько не постарела. Тело ее все так же прекрасно, поэма о ней может продолжаться. В ту ночь ни одна шхуна не вышла в море. Грузы черепицы, апельсинов, ананасов, плодов сапоти остались ждать разгрузки до завтра... Роза Палмейрао вернулась после многих лет отсутствия... Матросы с парохода Баиянской компании устремились в «Звездный маяк». Лодочники тоже пришли. Старый Франсиско привел Гуму.

Из залы слышался звон стаканов. Красная лампочка над входом освещала вывеску, на которой был нарисован маяк в кругу тусклого света. Когда они вошли, Роза Палмейрао сидела на террасе и громко смеялась, широко откинув левую руку и держа стакан в поднятой правой. Увидев старого Франсиско, она легко вскочила с места и повисла у него на шее:

— Взгляните на Франсиско... Взгляните... Правду говорят, что дурной стакан не бьется...

— Потому вот мы оба и живы...

Она смеялась, весело теребя Франсиско:

— Ты не остался на дне морском, а, старый плут? Кто бы мог подумать...

Тут она заметила Гуму:

— А этот юнга откуда взялся? Что-то смахивает на тебя...

— Это мой племянник Гумерсиндо, мы тут все его Гумой зовем. Ты его еще мальчонкой видала...

Она задумчиво похмурила брови. Потом улыбнулась:  
— Сын Фредерико? Выше нос, крепкая косточка...  
Твой отец — это вот был настоящий мужчина...

— Он был мой брат, — улыбнулся Франсиско.

— Брат брату рознь. Он-то не был похож на сонную рыбу...

Все рассмеялись, потому что Роза Палмейрао и правда была чудесная — живая, милая, весело размахивала руками, говорила, не стесняясь, как мужчина, а пила — так и не всякий мужчина умеет. Старый Франсиско ударил в ладоши и сказал:

— Вот что, ребята, давайте-ка выпьем в честь того, что эта старая сума переметная вернулась... Плачу за всех...

— А я за всех по второй... — крикнул шкипер Мануэл, который в ту пору не жил еще вместе с Марией Кларой.

Все сели и опрокинули по стаканчику. Сеу Бабау, хозяин «Звездного маяка», ходил от одного гостя к другому с графином «пряной» в руках и считал выпитые стаканы. Роза Палмейрао подсела к Гуме за маленький столик в углу. Он глядел на нее. Правда, у нее было красивое тело. Широкие бедра покачивались, как корма шхуны. Она глотнула тростниковой водки и поморщилась:

— Хоть я знала твоего отца, но вообще-то я не так уж стара...

Гума засмеялся, взглянув ей в глаза. Почему в песнях, сложенных о ней, не поется про эти глаза — глубокие, зеленые, похотливые на камешки на дне моря? Более, чем ее кинжал, ее нож, ее прекрасное тело, эта крепкая живая корма, которой она раскачивала так мерно, пугали ее глаза, бездонные и зеленые, как само море. Кто знает, может, они меняют цвет, как море — море синее, зеленое, море свинцовое в душные ночи затишья...

— Я и сам давно знаю старого Франсиско, а мне только двадцать лет...

— Ну, я-то не такой сосунок, ясно... Ну, а с отцом твоим Фредерико мы помяли песку, это да... Смотрю на тебя — ровно он сидит...

Была очередь шкипера Мануэла платить за выпивку. Он крикнул Розе Палмейрао:

— Эй, чертово отродье, это я плачу! Не знаешь разве? Она повернула голову.

— А я, что ли, не стóю?

— Да ты — старый мех, Роза, зачем в тебя новое вино лить? — засмеялся Франсиско.

— Замолчи, баркас опрокинутый. Ты в этих вещах не разбираешься...

— Правильно, Роза. Ты еще можешь ум и сердце вынуть, — поддержал Севериано.

Роза Палмейрао спросила Гуму:

— Я и верно такой старый мех, как твой дядя говорит? Как ты думаешь? — И смеялась, и глубоко заглядывала ему в глаза. Он смотрел на нее не отрываясь, словно направив ей в лицо два кинжала.

— Неправда... Не устоит ни один...

Глаза Розы Палмейрао смеялись. Зачем эта зала, эта таверна, когда песок на побережье так мягок и летящий ветер так легок и свеж? Глаза у Розы Палмейрао цвета моря.

Но сейчас Роза Палмейрао не принадлежит одному мужчине. Она принадлежит им всем, мужчинам этого порта, которые хотят знать, что делала она столько времени вдалеке от своей земли. По каким местам бродила, с кем ссорилась и скандалила, в каких тюрьмах отсидела. Со всех сторон сыплются вопросы.

— Я только одно вам скажу... Побродила я по свету, да поможет мне бог. Столько мест исходила, что и счесть не могу. Большие города видела, десять таких, как Баия, в одном поместятся...

— А в Рио-де-Жанейро ты тоже была?

— Три раза насквозь исходила... Оттуда и сейчас...

— Здорово там красиво?

— Красота... От свету и от людей прямо тесно... Даже глядеть больно...

— А больших кораблей много?

— Один одного обширней, в здешнюю гавань и не пройдут, такие есть, что от пристани и до самого волнолома...

— Да не слишком ли велики?

— Ты не видел? А я вот видела. Это только настоящий моряк знает. Иль ты думаешь, что лодочник — это моряк, что ли?

Шкипер Мануэл вмешался:

— Я тоже слышал... Говорят, и не поверишь, пока своими глазами не увидишь.

— А парня там никакого не подцепила, а, Роза? — спросил Франсиско.



— И не стоит труда. Там мужчины никуда не годятся. Я там одно время на холме жила, так знаете, как меня уважали? И слышать ни о чем не хотела. Как-то раз один птенец путался что-то у меня под ногами в танцевальной зале. Да я как опущу якорь на шею бедняге, так он тут же ко дну пошел. Вот смеху-то...

Мужчины были довольны. Там, далеко, в столице, она показала всем, кто она такая. Роза Палмейрао глянула на Гуму и промолвила:

— Говорили даже: если в Баие такие женщины, то каковы ж мужчины?

— Ты, видно, по себе громкую славу оставила, а, Роза?

— Был у меня сосед, так не знаю, что с ним приключилось, что он один раз хотел меня повалить. А мне как раз незадолго до того мулат один приглянулся, он до того ладно умел сложить песню или самбу, что заслушаешься. Ну вот, сосед приходит как-то вечером, поговорить, мол, по душам. Говорит, говорит, а сам все на кровать смотрит. А потом как бросится на кровать — и лежит. Я ему говорю: «Кум, снимайся с якоря да плыви отсюда». А он — на своем, причалил, будто это его гавань. А глазищи на меня пялит. Я предупреждала: мой скоро придет... А он говорит, что никого, мол, я не боюсь. Сам мужчина. Я его спросила: «А женщин боишься?» Говорит: нет, только нечистой силы боюсь. А глаза все пялит на меня. Я ему говорю, что лучше всего для него будет отшвартоваться немедленно. А он ни в какую. Еще и штаны стал стаскивать, тогда меня досада взяла, знаете?

Мужчины улыбались, заранее смакуя финал.

— И что ж дальше?

— Да я его за шиворот и за дверь. Он еще все глядел, с полу-то, рожа такая дурацкая...

— Молодец, кума...

— Да вы еще не знаете, что было потом. Я тоже думала, что песенке конец. Ан нет. Вскорости мой мулат пришел, я и думать забыла. Но у соседа-то, оказывается, заноза еще ныла, и он, что-то около полуночи, вломился ко мне, а с ним — еще дюжина. Мой-то мулат сразу заметно, что не робкого десятка, и парни эти как его увидели, то уж и не сомневались — подались назад... Они, бедняги, думали, что всего дела-то, что дать моему Жуке подзатыльник, схватить меня и поднять паруса. Когда

опомнились, то у одного, смотрят, рожа расквашена, а я с моим старым боевым ножом в самой гуще стою. Такое было! Я и мулат мой, так мы уж не дрались, а словно рыбу на кол ловили. Но тут вдруг — здрасьте, добрый день: полиция, когда ее вовсе и не ждали. Ну, все закончилось в управлении.

— Так что отсидела там, в Рио?

— Какое отсидела! Пришли мы с Жукой туда, я шефу все как есть рассказала, объяснила, что Роза Палмейрао себя вокруг пальца обвести не даст, нет. Шеф сам был из Баии, засмеялся, сказал, что уж знает меня, и отослал с богом. Я попросила Жуку тоже отпустить, он разрешил. А те все остались, один из драки весь татуированный вышел, так и в полицию явился.

— Повезло тебе на шефа, а?

— Но когда я стала Жуку разыскивать, то куда уж... Никогда больше его и в глаза не видела. Очень он меня испугался...

Моряки смеялись. Стаканы с водкой порожнились один за другим. Шкипер Мануэл платил за всех. Кто сказал, что Роза Палмейрао похожа на старый мех для вина? Гума не отрывал от нее глаз. О ней пели песни, и она умела драться. Но у нее было ладное тело и глубокий взгляд. Роза Палмейрао сказала Гуме:

— Я никогда не дерусь с мужчиной, который мне нравится... Спроси кого хочешь...

Но в глазах Гумы не было страха.

Они поздно вышли из таверны. Старый Франсиско давно ушел, даже шкипер Мануэл устал ждать. Хозяин сказал Розе Палмейрао:

— Ты сегодня спать не собираешься?

— Да еще поброжу, давно не была...

Давно уж не лежала она рядом с мужчиной на этих песках. Многие думают, что она умеет лишь драться, что жизнь для нее — скандалы, удар клинком, блеск ножа. Если в народе говорят, что храбрецы после смерти зажигаются в небе звездами, то и она может засверкать среди этих звезд. Однако напрасно думают, что жизнь для Розы Палмейрао заключается только в скандалах. Нет, ей нравится больше всего, больше чем ссоры, выпивки, беседы, быть покоренной женщиной, очень женщиной, вот так, как сейчас, в объятьях Гумы, вытянувшись на песке, перебирая его волосы с ленивой нежностью... Глаза ее глубоки, как море, и, как море, изменчивы. Они зеленые в ночи любви на теплом прибрежном песке. Они синие в

дни затишья, они темно-свинцовые, когда затишье — лишь предвестник бури. Ее глаза блестят. Ее руки, привыкшие орудовать ножом и кинжалом, сейчас мягки и ласково поддерживают голову Гумы, покоящуюся на них. Ее губы, с которых так часто срываются крепкие словечки, сейчас раскрылись в тихой улыбке. Никогда раньше не любили ее так, как ей было нужно. Все боялись ее ножа, ее кинжала, ее красивого тела. Думали, верно, что если она вдруг рассердится, то будет только кинжал и нож, а красота станет ни к чему. Никогда раньше не любили ее без страха. Никогда не видела она глаз таких ясных и чистых, как глаза Гумы. Он восхищался ею, он не боялся ее... Даже те, у кого хватило смелости увидеть ее ладное тело, несмотря на нож и кинжал, никогда не заглядывали ей в глаза, никогда не замечали нежности, излучаемой этими морскими глазами, жаждущими любви, этими нежными женскими глазами. Гума заглянул в эти глаза и понял. Потому-то руки Розы Палмейрао гладят его волосы, губы улыбаются и тело вдрагивает.

Три ночи спустя «Смелый» плавно шел по волнам реки Парагуасу. Из трюма доносился запах фруктов. Ветер сам вел судно, и у руля не требовалось никого, так покойна была река. Звезды сияли в небе и в море. Иеманжа поднялась поглядеть на луну и раскинула свои волосы по спокойной воде.

Роза Палмейрао (нож за поясом, кинжал на груди) прошептала на ухо Гуме:

— Ты будешь смеяться надо мной, скажешь, что я глупая... Но знаешь, что б мне хотелось иметь?

— А что ж именно?

Она глянула в спокойные воды реки. Хотела улыбнуться, смутилась:

— Клянусь тебе, что мне б очень хотелось иметь ребенка, сыночка, чтоб взять к себе и вынянчить... Я не шучу, нет...

И она не стыдилась слез, заструившихся на кинжал, спрятанный на груди, и на нож, заткнутый за пояс.

## ЗАКОН ПРИСТАНИ

Рыбачьи лодки возвращались. Некоторые еще и не успели начать лов, даже на обед для семьи не заработали. Руфино повернул свой челн с середины бухты. Шху-

ны, поднявшие было паруса, изготовясь с повисшим в воздухе якорем к отплытию, отдали якоря и убрали паруса. А тем не менее небо было синее, а море безмятежно. Солнце освещало все, и освещало, пожалуй, слишком ярко. Из-за этого-то и вернулись рыбацкие лодки, Руфино ввел свой челн в гавань Порто-да-Ленья, и шхуны спустили паруса. Вода меняла цвет, из синей становилась свинцовой. Севериано, храбрый моряк, подошел к той стороне пристани, где стояли шхуны. Видя, что суда не выходят в море, многие ушли с рынка и направились к подъемной дороге. Большинство, однако, осталось, ибо день был погожий, небо синее, море безмятежно, солнце ярко. Для них ничего не происходило, ничего не надвигалось.

Севериано подошел и сказал шкиперу Мануэлу и Гуме:

— Сегодня разыграется не на шутку...

— Только сумасшедшие отчалят...

Они задымили трубками. Какие-то люди заходили на рынок и выходили обратно. Солнце сверкало на щебне мостовой. Какая-то женщина развешивала на окне скатерть. Матросы на большом корабле мыли палубу... Ветер сперва легко так пробежал по песку, подымая летучие песчинки. Севериано спросил:

— Много людей в море?

Шкипер Мануэл посмотрел вокруг. Шхуны покачивались на мелких волнах.

— Насколько знаю, нет... Кто ушел, останется в Итапарике или в Мар-Гранде...

— Не хотел бы я быть в море в такую пору...

Старый Франсиско присоединился к беседующим, число которых росло.

— В такой же вот день Жоан Коротышка хлебнул водицы...

Подумать только, ведь Жоан Коротышка был мастером своего дела — никто не умел рыбачить лучше него на всем побережье от края до края. Слава его разнеслась широко вокруг. Люди из Пенедо, из Каравелас, из Аракажу повторяли его имя. Его шхуна заходила дальше всех других, ей не страшны были штормы и шквалы. Он так хорошо знал вход в гавань что его даже вызывали лоцманом. Он выходил навстречу кораблям в бурные ночи. Разыскивал их далеко в море, прыгая на своем суденышке по волнам, и приводил в порт, ловко избегая опасных мест гавани, трудной в дни бури.

Так вот в одну такую спокойную, как эта, ночь — только лишь море было медного цвета — он отважился выйти. Какой-то корабль заблудился, не знал, как пристать, впервые пришел в Баию. Жоан Коротышка не вернулся. Правительство определило вдове пенсию, но потом отняло, из экономии. И сегодня от Жоана Коротышки осталась лишь добрая слава.

Старый Франсиско, знавший его, рассказывал эту историю, наверно, раз сто. Но все всегда слушали его с уважением. Говорят, Жоан Коротышка появляется в здешних местах в ночи, когда ревет буря. Многие видели, как он плывет в низких тучах над шхунами, ища корабль, заблудившийся в тумане. И не успокоится, пока не приведет в порт. Только тогда начнет он свое плавание с Матерью Вод по бескрайным водам, к берегам бескрайных земель, давно уже заслуженное им.

В такую ночь, как эта, он должен появиться. Когда ветер взвывается и загудит, сотрясая дома, когда ночь без времени падет на пристань, он явится искать дорогу затерянному в море кораблю. Проплывет над шхунами, пугая тех, кто в море...

Какая-то шхуна приближается к берегу. Гонимая ветром, дующим с большой силой, она бежит по волнам с небывалой быстротой. Паруса надуты так туго, словно сейчас лопнут. Люди вглядываются:

— Это Шавьер пристаает...

— Да, верно, это «Сова»...

Шхуна подходит ближе, и имя ее «Сова» уже ясно прочитывается, выведенное черной краской.

— Никогда не встречал названья противней...— говорит Мануэл.

— А может, у него особая причина была,— прерывает Франсиско.— Чужую жизнь никто не знает...

— Да я ничего. Так, к слову...

Ветер крепчал с каждым мгновением, и вода не была уж спокойной, как недавно. Издалека все громче слышался настойчивый, безжалостный гуд ветра. Набережная быстро пустела. Шавьер с трудом поставил шхуну на причал и присоединился к товарищам...

— Разыгрывается...

— Много людей на воде?

— Я повстречался только с Отонизелем, но он был уж неподалеку от Марагожише...

Море вздымалось, волны были уже высокие, шхуны

и лодки подымались и опускались. Мануэл обернулся к Шавьеру:

— Не обижайся на пустой вопрос, брат, но почему ты прозвал свое судно таким неласковым именем?

Шавьер нахмурился. Он был большой, крепкий и специально разглаживал свои мулатские волосы, чтоб не вились.

— Да так пришлось... Всё — глупость одна, знаете?

Буря разразилась над городом и над морем. Теперь никого уже не видно было на рыночной площади, если не считать маленькой группы людей в клеенчатых плащах, с которых стекал дождь. Ветер выл оглушительно, и им приходилось почти кричать. Мануэл выкрикнул:

— Так в чем же все-таки дело?

— Ты хочешь знать? Да в женщине было дело... давно это было, на другом берегу, в южной стороне. Все глупость одна, не стоит труда, знаете? Кто ж ее разгадает, женщину? Почему она меня звала Совой? Одна она и могла сказать, а так никогда и не сказала, только все смеялась, смеялась... С ума могла свести, это да...

Ветер уносил слова. Мужчины наклоняли головы, чтоб лучше слышать. Шавьер говорил теперь совсем тихо:

— Она меня называла Совой... Не знаю почему. «Эх ты мой Совушка, Сова!..» И смеялась, когда я спрашивал... Так и осталась моя шхуна «Совой»...

Товарищи слушали рассказ равнодушно. Лицо Шавьера вдруг вспыхнуло гневом. Он крикнул:

— Вы что, никогда не любили? Тогда вы не знаете, что это несчастье... Я вынесу в сто раз легче, да простит меня господь, — и он с силой ударил ладонью по губам, — такую вот бурю, как сегодня, чем обиду от изменщицы, из тех, что всё смешки да смешки... Звала меня Совой, один черт знает почему... Да ладно... А вот ушла-то зачем? Ничего я ей дурного не сделал. Как-то раз прихожу я домой, а ее и след простыл... И все вещи оставила... Я даже в море искал, думал, утонула, может... Выпьем, а?

Все двинулись к «Звездному маяку». Оттуда доносился голос Розы Палмейрао, она пела. Ветер подымал песок. Шавьер заговорил снова:

— Не стоит труда... Но потом все как-то думается, думается... Вот я и назвал шхуну «Совой». В память того, как она меня Совой называла... «Эх ты мой Совушка, Сова...» Говорила даже, незадолго перед тем как уйти,

что у нее от меня ребенок будет... Так и ушла с ребенком под сердцем...

— Когда-нибудь воротится... — утешил Гума,

— Мальчик, ты из другого уж времени... А коли она вернется, то я ее на части раскрошу...

— Шхуна «Сова»... Я все думал...

— Другой бы на моем месте со стыда и сам ушел куда-нибудь далеко...

Он сказал еще какие-то слова, но их унес ветер. Голос Розы Палмейрао смолк. Темень сгущалась и давила. Снова слышались голоса, лишь когда они ступили на порог «Звездного маяка».

Человек в пальто кричал хозяину таверны:

— Я думал, они мужчины... А они трусы, все как есть...

Зала была пуста. Только Роза Палмейрао слушала рассказчика, вся — внимание. Хозяин, сеу Бабау, разводил руками, не находя ответа.

— Но ведь буря-то была нешуточная, сеньор Годофредо...

— Трусы поганые. Храбрецы на здешнем берегу, видно, повывелись. Куда девались такие, как Жоан Коротышка? Вот это была крепкая косточка!

Новые гости подошли к говорившему. Это был Годофредо из Баиянской компании, глядевший так, словно в него черти вселились.

— Да что случилось, сеньор Годофредо? — спросил Мануэл.

— Что случилось? А вы не знаете? Там «Канавиейрас» не может войти в гавань...

— А капитан порта знает?

— Знает, черта с два... Он сам англичанин, недавно и прибыл. Ничего-то еще толком не знает, Иццу кого-нибудь, кого б можно лоцманом послать.

Он гневно сплюнул:

— Но, видно, храбрые моряки тут повывелись...

Шавьер шагнул вперед. Франсиско, думая, что он сейчас предложит на такое дело себя, дернул его за плащ.

— Вы вспомнили Жоана Коротышку, сеньор? А что он своей храбростью заработал? Даже отдых в аду не заработал. Носится тут тенью да людей пугает. Что заработал-то? Вдове пенсию дали только для виду... Сразу ж и отняли... Храбрость одна и есть — помереть...

— Но на корабле семьи с детьми...

— У нас тоже семьи... Что заработаем-то?

Сеньор Годофредо ответил уклончиво:

— Вообще-то компания дает двести мильрейсов человеку, который отважится...

— Дешева жизнь человечья, а? — Шавьер сел и спросил водки.

Роза Палмейрао громко рассмеялась:

— На этом корабле твоя жена едет, Годофредо? Или зазноба твоя?

— Молчи, насмешница, не понимаешь, что ли, что на корабле полным-полно народу?

В порту не любили сеньора Годофредо. Начал он интурманом на одном из больших кораблей Баианской компании, дослужился неведомо как до капитана. Никогда он свое дело толком не знал. Зато умел всячески притеснять матросов. После того как он чуть не потопил корабль у входа в гавань Ильеуса, компания устроила его на хорошее место в одну из своих контор. И здесь он продолжал притеснять рыбаков, лодочников, грузчиков как только мог.

— Полным-полно народу. А где все мужчины с пристани? В прежние времена не допустили бы, чтоб корабль так вот затерялся...

— А все-таки есть на корабле кто-нибудь из вашей семьи?

Годофредо взглянул в лицо Франсиско:

— Я знаю, что вы меня ненавидите...— Он улыбнулся.— Я только затем и прошу, что там есть кто-то из моих, да? Но я и не прошу, нет. Я предлагаю деньги. Двести мильрейсов тому, кто пойдет на это дело...

Подожли еще люди. Годофредо повторил свое предложение. Они глядели на него недоверчиво. Шавьер пил, сидя за столом.

— Никто здесь не хочет идти на смерть, сеньор Годофредо. Пускай англичанин сам управляется.

Гума спросил:

— Почему не пошлют буксир?

Годофредо вздрогнул:

— Должны бы послать, конечно... Но компания считает, что это слишком дорого обойдется... Я ищу храброго человека. Компания дает двести мильрейсов...

Ветер хлопал дверью в «Звездном маяке». В первый раз услышали все гудок корабля, просящего о помощи. Годофредо поднял руки (он казался таким низеньким в



этом широком пальто) и сказал почти ласково, обводя взглядом людей:

— Я добавляю еще сто из своего кармана... И клянусь, я позабочусь о человеке, который решится...

Все глядели испуганно, но никто не двинулся. Годофредо обернулся к Розе Палмейрао:

— Роза, ты женщина, но у тебя больше храбрости, чем у любого мужчины... Слушай, Роза, двое моих сыновей на том корабле. Они ездили в Ильеус, на каникулы... У тебя никогда не было детей, Роза?

Франсиско шепнул на ухо Гуме:

— Я ж сказал, что там у него кто-то свой...

Годофредо умоляюще протягивал руки к Розе. Он был так смешон сейчас — маленький, одетый в роскошное пальто, с жалким лицом, с дрожащим голосом.

— Попроси их пойти, Роза... Даю двести мильрейсов тому, кто пойдет... всю жизнь помнить буду... Я знаю, они не любят меня... Но там мои дети...

— Ваши дети? — Роза Палмейрао глядела за окно, в ночь.

Годофредо подошел к одному из столиков. Опустил голову на свои холеные руки. Плечи его подымались и опускались. словно корабли в море...

— Он плачет... — сказал Мануэл.

Роза Палмейрао медленно поднялась. Но Гума уже стоял возле Годофредо:

— Ладно, я пойду...

Старый Франсиско улыбнулся. Он взглянул на свою руку, где у локтя были вытатуированы имя брата и названия затонувших шхун. Оставалось место для имени Гумы. Шавьер отставил свой стакан:

— С ума сошел... Да и не сможешь...

Гума вышел навстречу тьме. Глаза Розы Палмейрао светились любовью. Годофредо протянул руки вслед Гуме:

— Привези моих сыновей...

Гума исчез во тьме ночи. Поднял паруса, поставил шлюп против ветра. Еще виднелись вдали те, что проводили его до причала. Роза Палмейрао и старый Франсиско махали ему вслед. Шавьер крикнул:

— Привет Матери Вод...

Шкипер Мануэл обернулся в гнев:

— Никогда нельзя говорить человеку, что он идет на смерть...

Он поднял глаза, проследил тень шлюпа, удалявшегося по свинцовым волнам:

— Жаль. Он был еще ребенок...

Звезды исчезли. Луна и не всходила этой ночью, и потому на море не было песен и слов о любви. Волны бежали, тесня друг друга. И это в самой бухте, далеко еще до волнолома. Как же должно быть там, снаружи, где море свободно?

«Смелый» с трудом отплывает от пристани. Гума старается разглядеть что-нибудь впереди. Но все вокруг черным-черно. Самое трудное — это начало, когда надо плыть против ветра. А потом начнется бешеный бег по воле взбесившегося ветра, по морю, принадлежащему уже не лодкам и шхунам, а большим кораблям.

Гуме видны еще смутно знакомые тени там, на берегу. Все еще трепещет, махая ему, рука Розы Палмейрао, самой храброй и самой нежной женщины из всех, кого приходилось ему встречать. Гуме только двадцать лет, но он узнал уже любовь не с одной женщиной. И ни одна не была еще такая, как Роза Палмейрао, не лежала в его объятиях такой любящей, такой ласковой. Море сегодня сходно нравом с Розой Палмейрао, когда она не в духе. Море сегодня свинцового цвета. Вон рыба вспрыгнула над водой. Ее не страшит буря. Напротив, радуется — мешает рыбакам выходить на лов... «Смелый» с трудом пересекает воды залива. Волнолом уже близок. Ветер носится вокруг старого форта, влетает в пустынные окна, играючи хлопает по стволам старые, давно уже бездействующие пушки. Гуме уже не видны знакомые тени на берегу. Может быть, Роза Палмейрао плачет. Она не такая женщина, чтоб плакать, но она так хотела иметь сына, совсем забыв, что ей уже поздно. Гума был для нее и любовником и сыном. Почему в этот смертный час вспомнил он вдруг мать, что ушла навсегда? Гуме не хочется думать о ней. В любви Розы Палмейрао есть что-то от любви матери. Она и не моложе, чем его мать, и часто она ласкает его, как сына, и, забыв о поцелуях страсти, целует его с материнской нежностью... «Смелый» прыгает вверх и вниз по волнам. «Смелый» продвигается вперед с трудом. Волнорез видится все на том же расстоянии. Такой близкий и такой далекий. Гума сбросил промокшую рубашку. Волна прокатилась по палубе из конца в конец. Что же, наверно, делается там, за

гаванью?.. Роза Палмейрао хочет иметь ребенка. Устала драться с солдатами, отсиживать за решеткой, устала от ножа за поясом, от кинжала на груди. Она хочет сына, которого можно будет ласкать, которому можно будет петь колыбельные песни. Как-то раз Гума задремал в ее объятиях, и Роза пела:

Спи, мой маленький, скорее,  
чтобы бука не пришел...

Она забыла, что он ее любовник, и превратила его в сыночка, укачивая на коленях. Быть может, именно этим она и вызвала гнев Иеманжи. Только Иеманжа, Матерь Вод, дона Жанаина, может в одно и то же время быть матерью и женой. Такою она и предстает всем мужчинам побережья, а всем женщинам она — помощница и покровительница. Сейчас, наверно, Роза Палмейрао уже дает ей обеты, моля, чтоб Гума вернулся невредимым. Быть может, обещает даже (на что ни способна любовь) отдать в дар богине моря нож, что заткнут за пояс, и кинжал, что спрятан на груди... Другая волна набегает на «Смелого», затопив палубу. По правде сказать, так думает Гума, трудно вернуться отсюда живым. Настал, видно, его день... Гума думает об этом без страха. Настал раньше, чем он ожидал, но ведь должен же был настать когда-нибудь. Никто не избежит. Гуме жалко лишь, что еще не пришлось ему любить такую женщину, о какой просил он как-то ночью богиню вод. Женщину, что подарила бы ему сына, которому «Смелый» достанется в наследство, чтоб и сын мог плавать по этому морю и слушать на берегу рассказы старого Франсиско. И еще жаль, что не удалось постранствовать по другим морям, повидать другие порты и города. Не удалось уплыть, подобно Шико Печальному, к неведомым Землям без Конца и без Края. Теперь он поплывет туда под водою вместе с Иеманжой, кого лодочники называют дона Жанаина, а негры — царица Айока! Быть может, она увлечет его к земле Айока, своей родине. Это земля всех моряков, а дона Жанаина там царица. Земля Айока, далекая, затерянная на горизонте земля, откуда приплывает Иеманжа в лунные ночи.

Где же волнолом, почему «Смелый» никак не достигнет его? Гума с силой налегает на руль, но даже и так трудно вести шлюп против ветра. «Смелый» проходит в тени, падающей от старого форта. Там вдали, за гаванью, затерялся корабль, посылающий тревожные гудки.

Ветер доносит крики людей с корабля. Многих людей... Не из-за денег плывет сейчас Гума сквозь бурю, пытаясь спасти корабль и привести в гавань. Он и сам по совсем сознает, почему вдруг решился сразиться с бурей. Но только не из-за денег. Что он сделает с этими двумястами мильрейсами или больше, если Годофредо выполнит обещание? Купит подарки Розе Палмейрао, новую одежду Франсиско и, пожалуй, новый парус «Смелому». Но можно обойтись и без всего этого, и ведь не за двести мильрейсов человек идет на смерть. И не потому, что два сына Годофредо плывут на заблудившемся корабле и что сам Годофредо плачет, как покинутый ребенок. Не потому, нет. А оттого, что с моря доносится печальный гудок корабля, мольба о помощи, а закон пристани не велит оставлять на произвол судьбы тех, кто в море взывает о помощи. Теперь Иеманжа останется им довольна и, если он вернется живым, даст ему женщину, о какой он просил. Гума не может ответить на печальный гудок. Корабль, по всей вероятности, где-нибудь возле маяка, старается продержаться в ожидании помощи, моряки утешают детей и женщин. Корабль без пути, заблудившийся у входа в порт... Из-за него Гума идет на смерть, из-за корабля. Потому что корабль, лодка, шхуна, даже просто доска, плавающая по морю, — это земля, это родина для всех этих людей, живущих на побережье, для племени Матери Вод. Они и сами не знают, что в корабельных снастях, в рваных парусах шхун и находится та самая земля Айока, где царицею — их Жанаина.

«Смелый» проходит у волнолома. На старом форте мутный огонек мигает, снует туда-сюда, как призрак. Гума кричит:

— Жеремияс! Эй, Жеремияс!

Показался Жеремияс с фонарем. Свет падает на море и прыгает, качаясь, вверх-вниз вместе с волнами. Жеремияс спрашивает:

— Кто идет?

— Гума...

— Черт, что ли, в тебя вселился, мальчик?

— Я иду искать «Канавиейрас», он не может войти в гавань...

— И нельзя было привести его завтра?

— Он гудит о помощи...

«Смелый» ушел за волнолом. Жеремияс все еще кричит вслед, поворачивая свет фонаря:

— Добрый путь! Добрый путь!

Гума орудует рулем. Жеремиас тоже не надеется увидеть его еще раз. Не надеется, что «Смелый» еще когда-нибудь пройдет за волноломом. Никогда уж не придется Жеремиасу петь для Гумы. Это ведь Жеремиас поет по ночам о том, как сладко умереть в море... «Смелый» бежит по волнам. Теперь предстоит ему бешеный бег. Ветер теперь попутный. Шлюп чуть не опрокинулся, когда Гума пытался изменить направление. Ветер хочет унести Гуму, бросает волны на палубу, склеивает мокрые волосы, свистит в ушах. Ветер гуляет по палубе. Ветер свищет в снастях. Ветер гасит фонарь на корме. Огни города, все более далёкие, быстро мчатся мимо. Теперь это бег без конца и без времени, и судно и кормчий кренятся набок, и руки впиваются в руль. Куда увлекает его этот ветер? Дождь мочит его тело, хлещет в лицо. Ничего нельзя различить в темноте. Только гудок заблудившегося корабля указывает ему путь. Может случиться, что он пройдет далеко от корабля, может случиться, что ударится всеми ребрами об остров Итапарика или о любую скалу посреди моря. Никто не осмелится выйти в море нынче. Даже Жеремиас изумился, когда он прошел у волнолома. А Жеремиас — это старый солдат. Он живет там, в покинутом форте, один, как крот, с тех пор как стал слишком стар для военной службы. Он остался жить здесь, посреди моря, в своей заброшенной крепости, чтоб не расставаться с пушками, со всем, что напоминало ему казарму и военный быт. Он шел своим путем до конца. И Гума шел своим — путем «Смелого», и уже не шел, а бешено мчался по бушующему морю. Быть может, он так и не дойдет до цели, и завтра поутру будут искать его тело. Старый Франсиско напишет татуировкой его имя на руке и будет рассказывать о его приключениях и безумствах в кругу рыбаков, на пристани. Роза Палмейрао, наверно, его позабудет и станет любить других и думать, что хорошо б иметь сына. Но, несмотря на все это, закон пристани будет исполнен, и жизнь Гумы станет примером для других в другие времена.

Не слышен более гудок корабля. Огни города уже почти невидимы. Несмотря на все усилия кормчего, судно сильно отклонилось от намеченного пути. Оно гораздо правее, чем надо... Берега Итапарики уже близки. Гума с силой налегает на руль и продолжает свой бег, стараясь найти направление. Сколько времени море будет так вот гнать его в бешеном беге, сколько часов прошло уже и пройдет еще? Пора бы уж кончиться всему этому. Дав-

но пора. Лучше уж пусть сразу настанет час свидания с Иеманжой, если ему так и не суждено найти заблудившийся корабль.

...Он слишком молод, чтобы умереть. Он еще мечтает встретить молодую женщину (такую, как была дона Дулсе, учительница, когда он ходил в школу), которая будет принадлежать ему одному. А теперь вот он не оставит после себя сына, а его корабль разобьется в щепы. Он не страшится смерти, но думает, что еще рано умирать. Он хотел бы умереть позже, оставив по себе славу, историю своей жизни, которую будут помнить на побережье... Рано еще умирать. Рано еще уходить в вечное плавание с доной Жанайной. Он не бывал еще жрецом на ее кандомбле, не пел в честь нее священных песнопений, не смеет еще носить на шее ее фетиш — зеленый камень.

Зато на шее у него висит медаль, которую дала ему дона Дулсе, когда он уходил из школы. Учительница опечалится, узнав, что он умер. Она не понимает их жизни, жизни суровой, каждый день рядом со смертью, и все ждет чуда. Кто знает, может, оно и произойдет... Поэтому Гума не хочет умирать. Ибо в день, когда произойдет чудо, все будет хорошо и красиво, не станет такой нищеты, как сейчас, человек не будет рисковать жизнью за двести мильрейсов.

Кажется, он снова на верном пути. Слышен гудок корабля, зовущий на помощь. Но волна, набежавшая на шлюп, слишком высока, она с силой обрушивается на руль и отступает, унося с собой Гуму. Он плывет, пытаясь добраться туда, где «Смелый» кружит по воле ветра, одинокий, со сломанной мачтой. Быть может, все уже заключилось, а у Гумы нет даже заветного имени, чтоб произнести в свой час. Не настало еще время для его смерти. И не пришла еще к нему «его женщина»... Он плывет отчаянно сквозь огромные волны, вот он уцепился за борт шлюпа, вот схватил руль рукою. Но его несет теперь в сторону от заблудшего корабля, уже смутно виднеющегося вдали. Он борется с ветром, с водою, с дрожью своего тела, объятых холодом.

Снова начинается бешеный бег. Гума стиснул зубы. Он не чувствует никакого страха. Надо покончить разом со всем этим. Ближе, совсем близко светлое пятно освещенного корабля. Дождь падает, свинцовый. Ветер порвал паруса «Смелого», но Гума уже здесь, у высокого борта «Канавиейраса», и кричит громко, чтобы слышали там, наверху:

— Трап!

Матросы кидаются к борту. Сбрасывают вниз веревку, чтоб привязать «Смелого». Потом — опасный всход по колеблющемуся трапу. Два раза Гума чуть не сорвался, и тогда бы не было спасения — он был бы зажат между кораблем и шлюпом и раздавлен.

Гума улыбается. Он весь пропитан водой, но все-таки счастлив. На пристани думают, верно, об эту пору, что он уж мертв, что тело его плывет в объятиях Иеманжи.

Гума подымается на капитанский мостик, англичанин вручает ему судьбу корабля. Машинисты приводят в действие двигатели, кочегары оживляют огонь, матросы становятся по своим местам. Гума ведет корабль. Гума командует положением. Гума отдает приказы. Только так, наверно, и может такой человек, как он, стать капитаном большого корабля. Только с помощью Иеманжи, силою ее волшебства. Это неповторимая ночь в жизни Гумы. Назавтра уже ни этот важный англичанин, ни сам Годофредо даже и не заметят его, когда он будет плыть мимо на своем «Смелом». Никто не назовет его героем. Гума знает это. Но знает и то, что всегда так было, и разве только чудо, о котором мечтает дона Дулсе, может изменить такое положение вещей.

Два часа спустя — буря еще свирепствовала над городом и над морем — «Канавиейрас» приставал к берегу. Паруса «Смелого» были разорваны, в корпусе зияла дыра от столкновения с кораблем, руль был разбит в щепы.

Рассказывают на пристани, что с тех пор тень Жоана Коротышки больше не появлялась, ибо корабль уже нашел вход в гавань. И с этого дня имя Гумы стало часто повторяться на баиянском побережье.

#### ИЕМАНЖА, БОГИНЯ ПЯТИ ИМЕН

Ни у кого на побережье нет одного имени. У всех есть еще какое-нибудь прозвище. Здесь или сокращают имя, или прибавляют к нему какое-нибудь слово, напоминающее о давнем происшествии, споре, любовном приключении.

Иеманжа, властительница пристаней, парусных шхун и всех этих жизней, зовется даже пятью именами, пятью певучими именами, что знакомы всем. Она зовется Иеманжа, всегда звалась она так, и это ее настоящее

имя, имя Матери Вод, властительницы морей и океанов. Но дочкам нравится звать ее донна Жанаина, и негры, любимые ее детища, которые танцуют в ее честь священный танец и боятся ее больше, чем другие, с набожным восторгом зовут ее Инаэ или возносят мольбы к царице Айока, правительнице таинственных земель, что скрыты за голубой линией горизонта. Однако женщины с пристани, прямые и смелые, и Роза Палмейрао, и гуляющие женщины, и замужние, и девушки, ждущие женихов, прозвали ее просто Марией, ибо Мария — красивое имя, наверно, самое красивое из всех, самое почитаемое, и дали это имя Иеманже как подарок, как цветы, гребни и кусочки душистого мыла, что приносят в дни ее праздника к ее скале у мола. Она — русалка, Мать Вод, хозяйка моря, Иеманжа, донна Жанаина, Мария, Инаэ, царица Айока. Она властвует над морями, она поклоняется луне, приплывая в ясные ночи полюбоваться лунным сиянием, она любит музыку негров. Каждый год устраиваются празднества в ее честь на молу и в Монте-Серрат. Тогда ее называют всеми пятью именами, с прибавлением всех ее званий и прозваний, приносят ей дары и поют для нее песни.

Океан велик, море — бескрайняя дорога, воды разлились на большую половину мира, и все это принадлежит Иеманже. И, однако же, она живет на скале у мола в баиянском порту или в своей подводной пещере возле Монте-Серрат. Она могла бы жить в средиземноморских городах, в морях Китая, в Калифорнии, в Эгейском море, в Мексиканском заливе. В древности она жила у берегов Африки, а это, говорят, близко от земли Айока. Но она приплыла в Баию поглядеть на воды реки Парагуасу. И осталась жить в порту, поблизости от волнолома, на вдающейся в море скале, что стала священной. Там она расчесывает свои волосы (молоденькие черные служанки приносят ей гребни из серебра и слоновой кости), там она внимлет молитвам женщин — рыбацких жен, оттуда она насылает бури, там выбирает она, кого из мужчин должна повести на нескончаемую прогулку по дну морскому. Там, на молу, и справляют обычно ее праздник, самый красивый из всех праздников Баии. Самые нарядные процессии, самые неистовые обряды макумбы, ибо они творятся в честь могущественного божества из тех, что зовутся ориша и вселяются в медиумов... Она — из первых, из породивших другие культы. Если б не было опасно произносить подобные слова, то можно б сказать,



что ее праздник даже красивее праздника Ополуфана, самого старого и сильного из божеств. Ибо до чего ж хороши вечера и ночи, когда справляется праздник Иеманжи! Цвет моря колеблется меж зеленью и голубизною, луна высоко стоит на небе, звезды перемигиваются с фонарями шхун. Иеманжа лениво расстиляет свои волосы по морю, и ничего нет в целом мире красивее (моряки с больших кораблей, побывавшие в дальних краях, подтверждают это), чем этот цвет, образуемый прядями Иеманжи, сплавленными с морской волною.

Анселмо, отец всех святых, несет молитвы моряков Иеманже. Главный жрец макумбы в этих местах, он и сам был когда-то моряком, плавал к берегам Африки, научился исконному языку негров, узнал назначение этих празднеств и этих святых. А когда вернулся, покинул корабль и остался на баиянском побережье жрецом вместо недавно умершего Агостиньо. И теперь это он распоряжается празднествами в честь Иеманжи, управляет макумбой в Монте-Серрат, лечит — по наученью самой богини — различные болезни, наполняет попутным ветром паруса шхун, разгоняет часто налетающие бури. Нет в этих местах, на суше и на море, человека, который не знал и не почитал бы Анселмо, повидавшего Африку и знающего молитвы на языке нагб. Когда вдали появляется его седая, в жестких завитках голова, все головы обнажаются.

Совсем не так легко примкнуть к макумбе отца Анселмо. Требуется быть хорошим моряком, чтоб так вот просто прийти и сесть среди ога, как называют мужчин, участвующих в этих таинствах. И чтоб вокруг тебя плясали иаво, дочери святых... Гума, светлый мулат с длинными черными волосами, тоже скоро будет сидеть на одном из стульев, расставленных в зале для обряда кандомбле вокруг отца всех святых. С той бурной ночи, когда он привел в порт «Канавиейрас», слава о нем переходит из уст в уста, и всем теперь ясно, что Иеманжа отметила его своим благоволением. Он недолго будет сидеть так, среди ога, окружен пляшущими дочерьми святых. На следующем празднике Иеманжи он уже наденет ее фетиш — зеленый камень, который находят на дне морском, и вместе с другими ога будет присутствовать при посвящении иаво, черных жриц.

С ним вместе и негр Руфино наденет священный камень Иеманжи. Они вместе посвятят себя служению богине моря, женщине с пятью именами, матери всех мо-

ряков, которая один раз, только лишь один раз в жизни, становится им также и женой. Негр Руфино любит петь, сжав сильными руками весла и направляя свою лодку, полную живого груза, вверх по реке:

Я бог Огуш, ваш властелин,  
так народ меня зовет,  
я светлой волны сын,  
я внук Матери Вод..

Руфино черный-пречерный негр, но считает себя сыном светлой волны, Иеманже приходится он внуком, она была матерью его отца, что был моряком, подобно его деду и другим старикам, память о которых уже иссякла..

Праздник Иеманжи приближается. Гума пойдет непременно и будет просить богиню подарить ему женщину, чтоб похожа была на нее саму и была непорочна и прекрасна, чтоб сверкала своей красотой по набережным Баи, Города Всех Святых. Ибо Роза Палмейрао уже не раз говорила, что скоро подымет якорь и распустит парус навстречу другим землям. Она надеялась иметь сына от этого юного храбреца, сына, чтоб качать его на руках, привычных к драке, сына, чтоб петь ему колыбельные песни губами, привычными к крепким словам. Но Роза Палмейрао забыла, что ей это уже поздно, что она растратила в буйстве свою молодость,— и только и оставалось в ней, что нерастратенная нежность, желание ласкать и нячить какое-то свое существо. Но ребенок не явился, и она теперь собралась податься в поисках драк и скандалов в другие земли, чтоб пить и буяннить в других кабаках. Странствовать по другим морям и водам... Уйти... Однако только лишь после праздника Иеманжи, а то не будет попутного ветра, а то на пути подымутся грозные бури.

Потому-то, что Роза Палмейрао уходит, Гума должен будет напомнить Иеманже, что час дать ему обещанное настал. Он отнесет ей в дар, кроме красивого гребня для волос, кусок паруса «Смелого», что порвался в ту ночь, как он спасал «Канавиейрас».

Близится день праздника Иеманжи... В этот день набережная опустеет, в море не увидишь ни одного челна. Все пойдут туда, где живет Иеманжа, богиня с пятью именами.

Иеманжа, приди...  
подымись из вод..

Так поют в эту ночь, посвященную Иеманже. Люди собираются на том месте, где всегда проходит самая

большая ярмарка в Баие. Неподалеку, в Итанажипе, находится порт Ленья, порт лодочников, где тоже бывают ярмарки. А между обоими этими местами — жилище Иеманжи на морской скале.. Песок хранит следы от килей рыбацких шхун. Разноцветные раковины блестят при свете дня. В глубине — тускло освещенная улица. Голоса, откуда-то издалека, поют:

Русалка, приди к нам, приди  
порезвиться на теплом песке...

Ночь праздника Иеманжи... Потому-то здешний народ призывает ее, чтоб пришла поиграть на песке. Ясно видно, где находится ее подводный грот: вот он, как раз под луною, обозначенный распущенными волосами богини, разлетевшимися по глади морской. Если она не выйдет к людям, они сами отправятся за нею туда. Сегодня — ночь ее праздника, ночь, когда Жанаина должна веселиться вместе со всеми, кто поклоняется ей.

Русалка встала из волн,  
русалка играет в волнах...

Иеманжа играет с морскими волнами, Иеманжа прыгает в морских волнах. Было время — самые древние старики еще помнят его, — когда приступы гнева Иеманжи были устрашающими. Тогда она не прыгала и не играла. Челны и шхуны не имели роздыха, люди метались в горе и страхе. Бури переполняли бухту высокой водою, вздымали над берегами реку Парагуасу. В те страшные времена даже дети, даже юные девушки бывали принесены в дар и в жертву Иеманже. Она уводила их в глубину вод, и тела их никогда не выплывали на поверхность. Иеманжа была в самой грозной своей поре, не желала музыки, гимнов и песен, не принимала цветов, кусочков душистого мыла и гребней для волос. Она требовала живой плоти. Гнев Иеманжи был грозен. Ей несли детей, вели юных дев — одна слепая девушка даже сама вызвалась и шла в страшный путь с улыбкой (надеялась, верно, увидеть так много красоты!), а крохотная девочка в ночь, как несли ее к воде, плакала и звала мать, и звала отца, и кричала, что не хочет умирать... Это было тоже в праздник Иеманжи... Много, много лет прошло с тех пор... Ужасный был год, зима разбила и унесла с собою множество шхун, редкому челну удалось выстоять в схватке с диким ветром с юга, и гнев Иеманжи все ни-

как не утихал. Агостиньо, жрец, справлявший макубу в тот грозный год, сказал, что дело ясно: Иеманжа требует человеческой плоти. Тогда и отнесли эту крохотную девочку, потому что она была самым красивым ребенком в порту, походила даже на саму Жанаину, особенно своими синими-синими глазами. Буря ревела и металась над пристанью, и волны мыли священный камень Иеманжи. Шхуны и лодки шли, крелясь из стороны в сторону, и все слышали крики ребенка, которого несли к воде с завязанными глазами. Это была ночь преступления, и старый Франсиско и сейчас еще дрожит с головы до ног, рассказывая эту старую и страшную бль. Полиция дозналась обо всем, кое-кого посадили в тюрьму, жрец Агостиньо бежал, мать принесенного в жертву ребенка сошла с ума. Тогда только стал стихать гнев Иеманжи. Празднества, посвященные ей, были запрещены, и какое-то время их заменяла торжественная процессия в честь доброго Иисуса, покровителя мореплавателей. Но здешние воды искони принадлежали Иеманже, и мало-помалу праздник ее вернулся в здешние края, да и гнев ее прошел, кажется, прочно, она уж не требовала младенцев и юных дев. Лишь случайно какая-нибудь молоденькая женщина становилась ее рабыней, вернее, любимой служанкой, как то произошло с женой слепого рыбака, историю которой любит рассказывать старый Франсиско.

Иеманжа так жестока потому, что она — мать и супруга в одно и то же время. Воды баиянского залива родились в тот день, когда ее сын овладел ею. Немногие на этих берегах знают историю Иеманжи и ее сына Орунга. Но Анселмо знает, и старый Франсиско — тоже. Однако они никогда не рассказывают эту историю, боясь вызвать гнев Жанаины. А было так, что Иеманжа родила от Аганжу, бога суши, сына, которому было дано имя Орунга. И стал он богом воздуха и ветра и всего, что находится между небом и землею. Орунга бродил по земле, жил в воздухе и ветре, но перед взором его все стоял образ матери, прекрасной богини вод. Она была красивее всех, кого он встречал, и все его желанья были устремлены к ней. И как-то раз он не устоял и взял ее силой. Иеманжа бежала от него, в быстром беге треснули ее груди, и из них вылилась вся вода, образовавшая баиянский залив, близ которого выросла и сама Баия, Город Всех Святых. А из чрева ее, оплодотворенного сыном, родились самые грозные божества ориша, те, что повелевают молниями, грозами и громами.

Так и случилось, что Иеманжа стала матерью и женой одновременно. Она любит людей моря, как мать, покуда они живут и страдают. Но в день, как они умирают, мнится ей, что каждый из них — сын ее, Орунга, так страстно желавший ее когда-то.

Как-то раз Гума услышал эту историю из уст старого Франсиско. И вспомнил, что его мать тоже приходила к нему как-то ночью и он тоже желал ее. Он, подобно Орунга, ощущал это странное страданье, которое все повторялось... За это, наверно, Иеманжа так любит его, так охраняет его, когда он выходит на «Смелом» в море. Поэтому, чтоб он не страдал, как некогда Орунга, она должна подарить ему красивую женщину, почти столь же красивую, как и сама богиня моря.

Сегодня праздник Иеманжи. На молу, где каждый год проводит она какое-то время, ее день — второе февраля. То же самое в Гамелейре, Мар-Гранде и других местностях. Однако в Монте-Серрат, где ее праздник пышней и ярче, чем где-либо, ибо справляется в ее собственном жилище, в гроте Матери Вод, ее день — двадцатое октября. И в день этот приходят почтить ее жрецы из Аморейры, Бон-Деспашо и других селений, со всего острова Итапарика. А в этом году даже отец Деуседит пришел из Кабейсера-да-Понте — присутствовать при посвящении дочерей всех святых, жриц Иеманжи.

Белый песок стал черным от мелькания черных ступней, попирающих его. Это люди моря, спешащие на зов своей повелительницы. Все они — подданные царицы земли Айока, все они изгнанниками живут в других землях и потому-то и проводят полжизни в море, надеясь достичь земли Айока. Песнопения и гимны летят над песками, над морем, над лодками, и парусами шхун, над дальним городом в движенье оживленных улиц и, конечно же, достигают тех незнакомых земель, где скрывается Она:

Иеманжа, приди...  
подымись из вод...

Огромной плотной массой движутся люди, топча теплый песок. Вот стала уже видна наверху, на холме, церковь Монте-Серрат, но не к ней тянутся все эти изукрашенные татуировкой руки. Они тянутся к морю, туда, откуда придет Иеманжа, хозяйка их жизней. Сегодня — ее день, и она придет, чтоб резвиться на песке и справлять свои свадьбы с моряками, чтоб получать подарки от своих

грубых и простодушных женихов и приветы от девушек, которым вскоре суждено стать ее жрицами. Сегодня — ее день, и она встанет из вод, чтоб раскинуть свои волосы по песку, чтоб веселиться, чтоб обещать морякам попутные ветры, добрый груз и красивых жен.

Они зовут ее:

Иеманжа, приди...  
подымись из вод...

Она появится из вод, с длинными своими волосами, цвет которых таинствен и неопределим. Появится, набрав полные пригоршни раковин, с улыбкой на губах. И станет забавляться вместе со всеми, вселится в тело какой-нибудь негритянки и станет равной для негров, лодочников, рыбаков, шкиперов, станет подобной другим женщинам портового города, женой, подругой, какую можно обладать, какую можно любить. И тогда исчезнет черная набережная Баии, скупо освещенная редкими фонарями, полная призывной, тоскливой музыкой, — и все очутятся в волшебных землях Айока, где говорят на наречии наго и где находятся все, кто погиб в море.

Но Иеманжа не придет так просто. Одних призывных песнопений тут мало. Надобно выйти за нею в море, отвезти ей подношения и дары. И вот уже все, кто только есть на берегу, попрыгали в лодки и разместились под парусами шхун. Рыбачьи челны набиты людьми, «Смелый» так перегружен, что кажется, вот-вот пойдет ко дну, шкипер Мануэл стоит на своей шхуне в обнимку с Марией Кларой, с которой вступил в союз лишь несколько дней назад, женщины громко поют, а луна освещает всех и все. Тысячи фонарей наполняют море звездами. Гума идет на «Смелом» вместе с негром Руфино. Старый Франсиско тоже поет, а Роза Палмейрао везет в подарок Иеманже красивую, вышитую шелком подушку, чтоб богиня во время отдыха могла приклонить на нее голову.

Праздничная процессия потянулась по морю. Поющие голоса становятся громче, и звук их становится каким-то таинственным, ибо исходит из всех этих лодок, шхун, плотов и ботов, теряясь далеко в море, там, где вкушает отдых Иеманжа. Женщины всхлипывают, женщины везут подарки и письма, в каждом из которых содержится какая-нибудь мольба, какая-нибудь просьба к Матери Вод, исходящая из глубины простого сердца. Под парусами шхун идет пляска, и все здесь кажется призрачным: и мерно качающиеся женские тела, и мерные взмахи весел

в руках мужчин, и эта варварская музыка, разносящаяся над морем.

Вот уже окружено жилище Матери Вод. Волоса Иемайжи раскинулись по морской синеве как раз под самой луною. Женщины бросают в море дары, предназначаемые богине, и нараспев повторяют свои моленья («...чтоб мужа моего бури не загубили... У нас двое детишек, кто их кормить станет, святая Жанаина...»), и глядят на воду долгим взглядом: затонет ли подарок? Ибо если поплывет — значит, Иеманжа не приняла дара, и тогда несчастье черною тучей нависнет над домом...

Но сегодня Матерь Вод обязательно выйдет к сынам и дочерям своим. Она приняла дары, она услышала моленья, она внимает гимнам. И парусники начинают готовиться в обратный путь. Но вот послышалось с темного берега громкое ржанье. И при свете луны люди с челнов и шхун различают на песке черный силуэт коня. Начинается исполнение великого обета, данного Иеманже. Черный конь с выколотыми глазами не различает моря, набегающего на берег. А люди на берегу толкают его к морю. Бока вороного сверкают, хвост синего блеска свисает до земли, высокая грива разлетается по ветру. Вот он уже в море — это дар Иеманже. Верхом на черном коне поскачет она под водою к своим далеким священным землям. Верхом на черном коне станет она объезжать свои моря, любуясь луною... Черного коня бросают в море, и люди на двух лодках по оба бока влекут его дальше и дальше на поводу, ибо конь слеп. Ему выкололи глаза раскаленным железом, отметив его как дар Жанаине. И вот уже отпускают повод возле самого подводного грота, женщины снова повторяют свои мольбы («...чтоб муж мой бросил эту ведьму Рикардину и вернулся ко мне...»), и процессия пускается в обратный путь. Конь бьется еще некоторое время в волнах, плывет, устремив вдаль свои глаза без света, и потом опускается на дно, к Иеманже. Теперь она может скакать на нем сквозь штормовые ночи по маленьким портам баиянского побережья, управляя вихрями, молниями и громами.

Челны и парусники причаливают. Люди высыпали на берег. Иеманжа приплыла с ними. Это ночь ее праздника, она будет плясать вместе со всеми в Итапажипе, на кандомбле, устроенном в ее честь. Даже Деуседит, жрец из селения Кабесейра-да-Понте, прибыл на праздник Матери Вод. Она движется вместе с толпой на черном своем коне, недавнем подарке. Она едет по воздуху, поближе к

яуне, и так, верхом, не боится даже встречи со своим сыном Орунга, силой овладевшим ею.

И процессия следует дальше и дальше, медлительно и мерно, колыхаясь, как челн на воде. Пролетающий ветер несет уснувшему городу запах морской прели и грохот дикарских песен.

Резкие звуки барабанов, колокольцев и гремушек разносятся по всему полуострову Итапажипе. Музыканты — в экстазе, как, впрочем, и все, кто присутствует сейчас на макумбе отца Анселмо, устроенной в честь Иеманжи. Уже несколько месяцев назад началось посвящение молоденьких негритянок, «дочерей всех святых». Сначала велели им совершить омовение со священными травами, потом сбрили волосы на голове, под мышками и внизу живота, чтоб божество могло свободнее проникнуть их. Потом началась церемония эфун — раскрашивание лиц и обритых голов в кричаще-яркие цвета. И тогда приняли они в себя Иеманжу, проникшую в их тела через голову, под мышками или между ног.

Последний путь богиня избирает, только лишь когда прозелитка молода и девственна, и делает это как бы в знак того, что избирает ее своей рабыней и любимой служанкой, которая будет расчесывать ей волосы и щекотать ее тело.

После всех этих церемоний обращенные проводят долгие месяцы в полном одиночестве, запертые от людей. Им воспрещено сношение с мужчинами, они не видят ни улиц в движении, ни моря. Они живут только для богини вод. Сегодня настал их праздник, теперь они уже доподлинно станут «дочерьми всех святых», жрицами Иеманжи. Они вертятся в пляске, бешено раскачиваясь из стороны в сторону, кажется, что сейчас у них вывихнутся все суставы. Они пляшут даже лучше, чем Роза Палмейрао, прошедшая обряд посвящения двадцать лет назад. Матерь всех святых, старая жрица, поет песнопение в честь Иеманжи на языке наго:

А одэ рэссэ  
о ки Иеманжа...

Негритянки танцуют так, словно внезапно сошли с ума. Жрецы ога — среди них и Гума с Руфино — смешались с ними в танце, мерно поворачивая плечи и взмахивая руками, как веслами. В разгар праздника, уже полностью завладевшего всеми (Иеманжа уже давно среди



них, пляшет, вселясь в тело Рикардины), Руфино толкнул Гуму под локоть:

— Гляди-ка, кто смотрит на тебя...

Гума обводит взглядом всех, но не догадывается, о ком говорит Руфино.

— Да вон та, смуглая...

— Вон та, приятная такая?

— Не сводит с тебя глаз...

— Да она в другую сторону смотрит...

Плечи движутся все в том же ритме. Иеманжа приветствует Гуму, она покровительствует ему. Матерь всех святых поет песнопения на языке наго:

О ийна́ ара́ вз,  
о ийна́ онарабб́...

Все кружатся в пляске, словно одержимые. Но Гума не спускает глаз с девушки, указанной ему другом. Несомненно, это и есть его женщина, та, что посылает ему Иеманжа. У нее гладкие волосы, такие блестящие, что кажутся влажными, глаза прозрачные, как свежая вода, румяные губы. Она почти так же хороша, как сама Жанайна, и молода, очень еще молода, потому что груди ее едва проступают под красным ситцем платья. Все кругом пляшут, Иеманжа пляшет шибче всех, и лишь она, незнакомая эта девушка, сидит одна и только глядит время от времени на Гуму всем своим существом, своими глазами словно из воды, своими влажными длинными волосами, своей еще только расцветающей грудью. Иеманжа послала Гуме его женщину, ту, о которой он просил богиню еще мальчишкой, в день, когда приезжала мать. И Гума ни на мгновение не сомневается, что будет обладать ею, что она будет спать под парусом «Смелого», верной спутницей станет ходить с ним на трудный промысел. И он громко запекает песнь в честь Иеманжи, богини с пятью именами, матери моряков и одновременно жены их, что приходит к ним в телах других женщин, так вот внезапно появляющихся в разгар макумбы, справляемой в ее честь.

Откуда она явилась? Он ринулся искать ее, как только праздник кончился, но ее нигде не было. И он грустно поплелся вслед за Руфино, сразу направившимся в «Звездный маяк» со своей неизменной гитарой.

— Кто эта девушка?

— Какая девушка?

— Та, что, ты говорил, смотрела на меня.

— А то не смотрела? Каждый взгляд — как прожектор...

— Откуда ты знаешь ее?..

— Да я и сам видел ее сегодня в первый раз. Лакомый кусочек. Корма что надо. Обратил внимание?

Гума внезапно пришел в ярость.

— Не смей говорить так о девушке, с которой ты даже не знаком.

Руфино засмеялся:

— Так я ж говорю хорошее... У нее бока...

— Разузнай, кто она, и скажи мне.

— Так тебя задело, а?

— Может же мне понравиться кто-нибудь!..

— Если Роза узнает, будет кораблекрушение... Так что считай, что ты уж утонул.

Гума засмеялся. Они подошли к «Звездному маяку». Вошли. Роза Палмейрао сидела за столом и пила стакан за стаканом.

— Ухожу я от вас, милые, нет мне здесь дорожки...

Шкипер Мануэл, сидевший за соседним столиком в обществе Марии Клары, явно при этом гордясь любовницей, увидел, что вошел Гума, и крикнул Розе:

— Здесь по тебе скучать будут, девчонка...

— Кто любит меня, уйдет со мною...— И Роза улыбалась Гуме.

Но Гума сел поодаль от нее. Он уже душою принадлежал другой, словно бы Роза Палмейрао, давно покинула эти края. Роза встала и подошла к нему:

— Ты грустный сегодня?

— Так ведь ты уезжаешь...

— Если ты хочешь, я останусь...

Ответа не последовало. Он глядел в ночь, опускающуюся на берег. Роза Палмейрао знала, что значит этот взгляд. Она расставалась так со многими мужчинами, с некоторыми даже со скандалом. Она была стара, не подходила она более для такого молодого мужчины, как он. Тело ее еще красиво, но это уже не тело молодой женщины. И потом, тело ее вызывало в нем память о матери, так и не обретенной. Они были чем-то похожи, мать и любовница.

В последний раз образ матери-проститутки растревожил Гуму. Грудь Розы Палмейрао, большие, с кинжалом, спрятанным между ними, напомнили ему грудь матери,

тоже измятые ласками. Но сразу же другое видение встало перед его глазами — едва проступавшие под платьем груди девушки, которую он видел на кантомбле, ее глаза, как чистая вода, прозрачные, светлые, так непохожие на глаза Розы Палмейрао. Девочка-подросток, еще без истории, без куплетов, сложенных о ней, что глядела на него так просто, не скрывая того, что чувствовала...

— Ты стал важным человеком на пристани...— сказала Роза Палмейрао.— С тех пор, как спас «Канавиейрас»...

Девочка, наверно, знает, что он — тот самый Гума, который в бурную ночь один, на своем маленьком шлюпе, спас большой корабль, набитый людьми... Гума улыбнулся...

Роза Палмейрао тоже улыбнулась. Она уедет отсюда и никого уж больше не станет любить. Теперь ей хотелось только шума и скандалов — на весь остаток жизни. Пусть блестит в драках кинжал, что носит она на груди, нож, что торчит у нее за поясом. Пусть вянет ее красивое тело. А если и вернется она когда-нибудь в свой порт, усталая от драк и шума, то затем лишь, чтоб взять на воспитание какое-нибудь дитя, брошенного ребенка какой-нибудь пропавшей женщины. Она станет рассказывать ему истории из жизни всех этих людей, что видела на долгом веку своем, и научит его быть храбрым, как надлежит моряку. И она станет воспитывать этого чужого мальчика как своего сына, как воспитывала бы того сына, что родился мертвым, сына от первого своего мужчины, мулата Розалво. Она тогда сама была почти ребенком, любовь не считается с возрастом. Старуха мать прокляла ее тогда, и так она и отправилась по свету. Он был бродяга, хорошо играл на гитаре, его возили бесплатно на шхунах и кораблях, и музыка его оживляла не один праздник во многих городах побережья. Роза Палмейрао очень сильно его любила, и было ей всего лишь пятнадцать лет, когда она с ним познакомилась. Она с ним и голодала, ибо денег у него никогда не водилось, и терпела от него побои, когда он напивался, и даже прощала ему похождения с другими женщинами. Но когда она узнала, что ребенок родился мертвым из-за того, что он, Розалво, нарочно дал ей тогда это горькое питье, что он не хотел, чтоб дитя родилось живым, тогда она переменялась сразу и навсегда. Тогда она стала Розой Палмейрао с кинжалом на груди и ножом за поясом и ушла, оставив любимого мертвым подле его гитары. Все было

в нем ложью — и его песни, и его взгляды, и его мягкая манера говорить. Он даже не успел испугаться, когда той ночью, в постели, она воткнула ему в грудь свой кинжал в расплату за то, что он убил ее нерожденное дитя... Потом долгие месяцы тюрьмы, суд и незнакомый человек, утверждавший, что она была пьяна в ту ночь. Ее отпустили. И она стала женщиной, которой ничто не страшно, — такая слава утвердилась за ней с тех пор и была правдой: у нее просто не было иного пути... Много лет миновало, много мужчин было и ушло. И только лишь с Гумой почувствовала она вновь желание иметь ребенка, малого сыночка, что махал бы ручонками и называл ее мамой. Потому она так любила Гуму... А он вот больше не любит ее, потому что она стала стара. Он также не дал ей сына, но вина тут не его, а ее, уже бесплодной. Ей пора уходить отсюда, ведь он не любит ее.

Они вышли из «Звездного маяка». Падал мелкий дождик... Он обнял ее за талию и подумал, что она заслужила еще одну ночь любви — за все добро, что для него сделала. Еще одну ночь. Прощальную, последнюю ночь под насупленным небом, над морем в мелких завитках дождя. Они направились к «Смелому». Он помог ей взойти на шлюп, растянулся рядом с нею. Он пришел сюда для любовной встречи. Но Роза Палмейрао удержала его (что сделает она сейчас, выхватит кинжал из-за пазухи или нож из-за пояса?) и сказала:

— Я уйду отсюда, Гума...

Дождь падал тихий, медлительный, и с моря не слышалось никакой музыки.

— Ты женишься в ближайшие дни, прибыла твоя невеста... Красивая, как ты заслуживаешь... Но я хочу от тебя одну вещь на прощанье...

— Какую?

— Я хотела ребенка, но я уж стара...

— Ну что ты...

Дождь падал теперь сильнее, толще.

— Я стара, твой сын не зародился во мне. Но ты женишься, и, когда у тебя будет ребенок, я вернусь сюда. Я стара, волосы мои поседели — разве не видно? Я очень стара, Гума, я клянусь тебе, что больше ни с кем не затею ссоры, не поражу кинжалом никого.

Гума смотрел на нее удивленный: ее словно подменили, говорит так умоляюще, морская глубь глаз устремлена на его лицо, и глаза эти ласковые, материнские.

— Не затею больше ссор... Я хочу, чтоб ты нашел место для этой старой женщины в доме твоей жены... Она ничего не должна знать про то, что у нас с тобой было. И мне ничего больше не надо, ей нечего будет со мною делить. Я хочу только помогать воспитывать твоего сына, словно бы я когда-то сама родила тебя... Я по летам могу тебе в матери... Ты позволишь?

Теперь на небе взошли звезды, луна тоже показалась, и нежная музыка понеслась с моря. Роза Палмейрао тихо гладила по лицу Гуму — своего сына. Это было в ночь праздника Иеманжи, богини с пятью именами.

### КОРАБЛЬ БРОСАЕТ ЯКОРЬ

Большой корабль бросает якорь у пристани. Большой корабль отплывает... Роза Палмейрао отплыла на большом корабле.

Гума смотрел на женщину, машущую ему платком с палубы третьего класса. Она отправлялась на поиски последних своих приключений. Когда вернется, найдет она дитя, о ком заботиться, кого-то, кто станет ей внуком. Корабль плыл уже далёко-далёко, а она все махала платочком, и люди с пристани махали ей в ответ. Кто-то сказал за спиной Гумы:

— Вот неугомонная... Все бы ей по свету рыскать...

Гума медленно пошел назад. Вечер сгущался понемпогу, и дома его ждал груз, который надо было отвезти в Кашоэйру. Но сегодня ему не хотелось уходить с набережной, не хотелось переплывать бухту. Вот уже несколько дней, с момента праздника в честь Иеманжи, он думал только о том, чтоб встретить девушку, что глядела на него тогда. Ничего не удалось ему узнать о ней, ибо той ночью масса народу собралась на празднике отца Анселмо, и многие пришли издалека, даже с дальних плантаций Консейсан-да-Фейра. Он исходил вдоль и поперек все улицы, близкие к порту, проверял дом за домом — и не нашел ее. Никто не знал, кто она такая и где живет. Во всяком случае, здесь, в порту, она не живет, здесь все друг друга знают в лицо. Негр Руфино тоже не смог ничего о ней узнать. Но Гума не терял надежды. Он был уверен, что найдет ее.

Сегодня его ждет груз товаров, который он должен отвезти. Когда груз будет сложен на его шлюпе, он отплывет в Кашоэйру. Еще раз подыметесь вверх по реке.

Жизнь моряка так полна опасностей, что уж все равно: вниз ли, вверх ли по реке или через бухту... Это дело обычное, каждодневное, никому не внушающее страха. Так что Гума и не думает о предстоящем плавании. Он думает о другом: что многое бы отдал за то, чтоб снова повстречать девушку, которую видел на празднике Иеманжи. Теперь ведь Роза уехала, он свободен... Он идет по берегу, тихонько насвистывая. Со стороны рынка слышится пенье. Это поют матросы и грузчики. Они собрались в круг, в центре которого пляшет какой-то мулат, напевая задорно:

Я мулат, не отрекаюсь,  
сам господь меня поймет:  
даже если попытаюсь —  
шевелюра выдает!

Остальные хлопают в ладоши. Губы распахнуты в улыбке, тела мерно раскачиваются в такт мелодии. Мулат поет:

Не смогу казаться белым,  
хоть лицо мне вымажь мелом, —  
больно круты завитки...

Гума подошел к компании. Первый, кого он увидел и едва узнал в щегольском темно-синем костюме, был Родолфо, о котором вот уж долгие месяцы не было ни слуху ни духу. Родолфо сидел на перевернутом ящике и улыбался певцу. Здесь были еще Шавьер, Манека Безрукий, Жакес и Севериано. Старый Франсиско сидел тут же и пыхтел трубкой.

Родолфо, едва увидев Гуму, замахал руками:

— Мне очень нужно сказать тебе пару слов...

— Ладно...

Мулат уже кончил песню и стоял посреди круга, улыбаясь друзьям. Он задыхался после быстрой пляски, но глядел победителем. Это был Жезуино, матрос с «Морской русалки» — большой баржи, плававшей между Баией и Санто-Амаро. Он улыбнулся Гуме:

— Привет, старина...

Манека Безрукий услышал это ласковое приветствие и пошутил:

— Лучше и не заговаривай с Гумой, Жезу... У парня руль сломался...

— Что сломалось?

— Потерял направление. Призрак ему явился...

Все засмеялись. Манека продолжал:

— Говорят, мужчина, как ему в голову дурь ударит, баба то есть, сразу идет ко дну. Вы разве не знаете, что он чуть было не разбил «Смелого» о большие рифы?

Гума в конце концов обозлился. Он никогда не обижался на шутки, но сегодня, сам не зная почему, прямо-таки рассвирепел. Если б у Манеки Безрукого обе руки были здоровые... Но тут вмешались Севериано и Жакес.

— Какую шкуру подцепил ты на этот раз? — полюбопытствовал Жакес.

— Верно, старая ведьма какая-нибудь, уж песок сыплется... — подхватил Севериано, раздражаясь своим рочущим, дерзким смехом.

Руфино, заметив, как Гума сжал кулаки, сказал примирительно:

— Ладно, хватит, ребята. Каждый живет, как знает.

— А ты ее ходатай, что ли? — Севериано засмеялся еще пуще. Все кругом тоже смеялись. Но долго им смеяться не пришлось, ибо Гума бросился с кулаками на Севериано. Жакес хотел разнять их, но Руфино оттолкнул его:

— Надо, чтоб один на один...

— Перестань дурью мучиться... Ты кто: мужчина или баба? Рыбацкая женка...

И Жакес бросился на негра. Руфино отскочил назад и, пробормотав: «Страшнее кошки зверя нет...» — ловко уклонился от удара, который хотел нанести ему Жакес, резко повернулся на пятках — и противник так и шлепнулся оземь во весь свой рост. А Гума тем временем награждал тумаками Севериано. Прочие глядели на все это, не понимая хорошенько, что же здесь происходит. Внезапно Севериано высвободился и схватился за нож. Старый Франсиско вскрикнул:

— Он убьет Гуму...

Севериано прислонился к стене рынка, размахивал ножом и кричал Гуме:

— Пошли Розу драться со мной, ты не мужчина, ты баба!

Гума ринулся на него, но Севериано ударил его ногой в живот. Гума рухнул на землю, и противник так и упал на него с ножом в руке. Но тут Родолфо, дотоле беззаботно напевавший, рванулся вперед и сжал руку защипчика с такой силой, что тот выронил нож. А Гума тем временем уже поднялся и снова напал на Севериано и

молотил его до тех пор, пока тот не свалился почти что замертво.

— А ты, видать, мужчина, только когда у тебя нож в руках...

Теперь негр Руфино пел победоносно:

Ну, храбрец, тебе досталось!  
Ничего, попомнишь наших!  
У тебя такая харя,  
Словно ты объелся каши.

Люди медленно расходились. Несколько человек подхватили Севериано и отнесли его в лодку. Жакес пошел домой, бормоча угрозы. Гума и Руфино направились к «Смелому». Гума уже прыгнул на палубу, как вдруг слышался крик Родолфо:

— Ты куда?

Гума обернулся:

— Если б не ты, я был бы уж мертвый...

— Оставь, пожалуйста...

Родолфо вспомнил:

— Мы так мальчишками дрались. Помнишь? Только тогда мы были противниками.

Он снял свои начищенные ботинки и зашлепал по грязи к причалу:

— Мне надо сказать тебе два слова.

— Что такое?

— Ты не занят сейчас?

— Нет... (Гума был уверен, что тот попросит денег.)

— Тогда садись, поговорим.

— Что ж, я пошел...— Руфино распрощался.

Родолфо провел рукой по напояженным волосам. От него пахло дешевым брильянтином. Гума подумал: где же он провел последние месяцы? В другом городе? В тюрьме за воровство? Толковали, что он на руку нечист. Крал бумажки, вымогал деньги в долг без отдачи, как-то раз даже пустил в ход нож, чтоб очистить чьи-то карманы. Тогда его впервые посадили. Но на сей раз Родолфо приехал нарядный и в долг ни у кого не просил...

— Ты отплываешь сегодня?

— Да. Направляюсь в Кашоэйру...

— Это срочно?

— Срочно. Груз со склада. От Ранжела, он просил поскорее, это для карнавала...

— Карнавал будет что надо...



Гума укладывал тюки на дне шлюпа:

— Говори, я тебя слышу отсюда.

Родолфо подумал, что так даже лучше, легче, так он не видит Гумы и может говорить без стеснения.

— Это запутанная история. Я лучше начну с самого начала...

— Да говори же...

— Ты помнишь моего отца?

— Старого Конкордиа? Помню, конечно... Он еще винный погребок держал, на базаре.

— Точно. Но мать мою ты не можешь помнить. Она умерла, когда я родился.

Он поглядел на воду. Помолчал. Потом бросил взгляд в трюм, где был Гума, раскладывающий тюки.

— Я слушаю, говори.

— Так вот: старый Конкордиа никогда не был женат на ней...

Гума поднял голову и удивленно взглянул вверх. Он увидел, что Родолфо стоит на корме у самого борта и задумчиво смотрит на воду. Зачем он пришел? Зачем рассказывает все это?

— Настоящая его жена жила в городе, на одной из улиц верхней части города. Когда отец умирал, он все рассказал мне... Ты сам видишь, я ничего не сделал, не пошел к этой женщине, его жене — что мне было там делать? Остался здесь с этим дырявым корытом, что мне оставил старик и на котором плавал раньше он сам. А потом я выбрал другую жизнь, здешняя меня не очень-то тянет.

Гума поднялся наверх, уложив уже груз. Он сел напротив Родолфо.

— Жизнь и правда не легкая... Но что ж остается?

— Так и есть... Ушел я и с тех пор и качусь из одного места в другое.

Он опустил голову:

— Ты ведь знаешь, что я уж понюхал тюрьмы... Так вот, недавно иду я себе спокойно, достал немного деньжонок — выгодное дельце подвернулось с полковником Бонфином... Вот тут-то я и наткнулся на сестру...

— У тебя есть сестра?

— Да я и сам не знал. Старик ни разу не обмолвился про дочку. Велел только разыскать его жену, она, мол, знает, что у него сын есть, и примет, и растить станет, как своего.

— И у нее была дочь...

— В тот день, о котором я рассказываю, мы и встретились. Она знала обо мне и разыскивала. С тех пор как мать умерла, — около года.

— А где ж она столько времени жила?

— У тетки, верней, у дальней родственницы какой-то.

— Родственницы старого Конкордиа?

— Нет, видно, матери. Не разберешь толком.

Гума никак не мог понять: какое он-то имеет отношение ко всему этому? Зачем Родолфо рассказывает ему эту историю?

— Так вот, друг. Девчонка меня разыскала. Говорила, что поможет мне встать на верный путь, много чего говорила, умно так. И вот что я тебе скажу: клянусь богом, лучше этой девчонки я в жизни не встречал... Она моложе меня, восемнадцать лет всего. Исправить меня она, конечно, не исправит, я уж, верно, совесть-то совсем потерял. Кто ступит на эту дорожку, тому с нее не сойти...

Он помолчал, зажег сигарету:

— Раз отвык работать, то уж не привыкнешь...

Гума тихонько принялся насвистывать. Ему было жаль Родолфо. О нем плохо говорили в порту: что и на руку нечист, и ни на что не годен. Он завяз в этой жизни, теперь ему не выбраться даже с помощью этой доброй сестры.

— Она как начнет меня распекать, я обещаю все, жаль мне ее становится. Говорит, что я плохо кончу. И права.

Он широко развел руками, словно чтоб развеять весь этот разговор, и объяснил наконец:

— Так вот, сестра хочет, чтоб я привел тебя к ним...

— Меня привел? — Гума даже испугался.

— Ну да... Эти ее родственники ехали на «Канавией-расе», когда ты его спас. Ты тогда поступил как настоящий мужчина. А люди эти ездили в Ильеус улаживать какие-то дела. Ничего они там не уладили и возвращались назад. Они овощную лавку держат, на улице Руй Барбозы<sup>1</sup>. Все в третьем классе ехали, она думала, что все погибли! Поблагодарить тебя хочет...

— Глупости. Всякий на моем месте сделал бы то же самое. Мне просто повезло: буря не так сильна была...

— Она тебя видела. На празднике Иеманжи. При-

---

<sup>1</sup> Имеется в виду Руй Барбоза, знаменитый бразильский государственный деятель, один из основателей Бразильской республики, оратор и писатель, родившийся в 1849 г. в Баие.

шла, только чтоб тебя увидеть. Она была на кандомбле старого Анселмо.

— Смуглая, с гладкими волосами?

— Да, да...

Гума словно онемел. Он в ужасном испуге смотрел на Родолфо, на парус «Смелого», на море. Ему хотелось петь, кричать, прыгать от радости. Родолфо спросил:

— Да что на тебя вдруг нашло?

— Ничего. Я уже знаю, кто это...

— Вот и хорошо. Как отвезешь груз, так сразу же собирайся, и пойдём. А я ей скажу, что ты обещал.

Гума с яростью смотрел на свой шлюп и на тюки ткани, которые подрядился отвезти. Ему хотелось идти немедленно к сестре Родолфо.

— Ладно, договорились.

— Ну, прощай. Известишь тогда...

Родолфо прыгнул на берег, держа в руках ботинки. Гума крикнул вслед:

— Как ее имя?

— Ливия!

Гума поднял паруса «Смелого», снялся с якоря и пустил шлюп по ветру. Шкипер Мануэл шел на «Вечном скитальце», уже за волноломом. Никто в те времена не плавал так ходко, как шкипер Мануэл на своем судне. Гума посмотрел на «Вечного скитальца»: он шел быстро, паруса надувались ветром. Ночь опустилась уже густая. Гума разжег трубку, зажег фонарь, и «Смелый» послушно заскользил по волнам.

Близ Итапарики он нагнал шхуну шкипера Мануэла:

— Побьемся об заклад, Мануэл?

— А тебе докуда?

— Сначала в Марагожипе, оттуда в Кашоэйру.

— Тогда состязаемся до Марагожипе.

— Ставлю пятерку...

— И еще десятку, если ты проиграешь,— крикнул негр Антонио Балдуино, гость на судне Мануэла.

— Согласен...

И парусники пошли вместе, взрезая спокойную воду. На палубе «Скитальца» Мария Клара занела. В этот момент Гума понял, что проиграет. Нет такого ветра, что противостал бы песне, когда она хороша. А та, что поет Мария Клара, чудо хороша. Судно шкипера Мануэла приближается к цели. А «Смелый» плывет словно нехотя,

ибо и Гума весь во власти песни. Огни Марагожипе уже видны за рекой. «Вечный скиталец» проходит мимо «Смелого», чуть не задев его бортом, Гума бросает пятнадцать мильрейсов, шкипер Мануэл кричит ему:

— Счастливым путем!

Шкипер Мануэл доволен, что выиграл еще одно состязание на быстроту и что его слава на побережье еще укрепится. Но Гуме тоже сопутствует слава. Он хороший моряк, рука его тверда на руле, и храбрец он, каких мало. В ночь, когда чуть не погиб «Канавиейрас», никто не хотел выходить в море, только у него хватило храбрости. Даже шкипер Мануэл не осмелился. Даже Шавьер, со своей тайной тоской. Только он, Гума. С тех пор слава его передается из уст в уста на побережье и в порту. Он из тех, кто оставляет после себя легенду, историю, над которой могут поразмыслить другие.

«Смелый» спешит сквозь тихую ночь по кроткой реке. Вот он входит в глубокий полукруг гавани Марагожипе. Гума счастлив. Ее зовут Ливия. Он никогда прежде не встречал женщины с подобным именем. Когда она будет с ним, шкипер Мануэл проиграет все состязания, потому что она станет петь, подобно Марии Кларе, старинные песни моря. Иеманжа услышала его наконец и посылает ему женщину, о которой он просил.

Есть песня, в которой говорится о том, какая несчастливая судьба у жены моряка. Говорят также, что сердце моряка изменчиво, как ветер, дующий в паруса, и не пускает корня ни в одном порту. Но каждое судно несет имя своего порта, начертанное на корпусе крупными буквами и видное всем. Оно может плавать по многим местам, может не приставать к родному берегу много лет, но порта своего не забудет и когда-нибудь обязательно вернется. Так и сердце моряка. Никогда не забудет моряк женщину, которая принадлежит ему одному. Шавьер, у которого на каждой улице по зазнобе, так и не забыл ту, что звала его Совушкой и как-то ночью вдруг ушла от него, беременная. И Гума тоже не забудет Ливию, эту вот Ливию, которую он еще и разглядеть-то не успел хорошенько... А вот и берег Марагожипе.

На пристани уже ждет человек. Сговариваются, что на обратном пути «Смелый» захватит груз сигар. Гума выпивает рюмку в ближайшем кабаке и снова пускается в путь.

В этих местах надо плыть побыстрее. Именно здесь и появляется белый конь. Никто и не помнит, когда он в

первый раз появился, он бежит не останавливаясь. Никто не знает, почему он мчится так вот по этим чащам, что подступили к самой реке. Развалины старых феодальных замков, когда-то возвышавшихся здесь, заброшенные и поросшие травой плантации — все это принадлежит белому коню-призраку, что мчится не останавливаясь. А кто увидит белого коня, тот с места не сойдет. Известно, что чаще всего он появляется в мае, это главный месяц его набегов... Гума плывет вперед и вперед на своем шлюпе и помимо воли всматривается в густые окрестные чащи — владенье коня-призрака.

Говорят, это мучается грешная душа свирепого феодала, некогда хозяина многих плантаций, убивавшего людей и заставлявшего лошадей работать до тех пор, пока те не падали мертвыми. Вот он и преобразился в белого коня и навеки обречен бежать по берегу этой реки, бежать без усталости, расплачиваясь за содеянное. На спине у него тяжкий груз, не легче того, какой взваливал он на спины своих лошадей. Хребет его трещит под этим грузом, а он все скачет и скачет сквозь чащу леса. Земля дрожит под его копытом, а кто увидит его, тот с места не сойдет. И тогда лишь остановит он бег свой по этим землям, некогда сплошь покрытым его плантациями, когда кто-нибудь сжалится над ним и снимет со спины его груз — огромные корзины, набитые камнями на постройку его замка. Много уж лет мчится он так по прибрежным чащам...

Что там за шум? Наверно, белый конь... Сегодня Гуме хочется углубиться в чащу, встретить белого коня и снять со спины его груз, освободить этого бывшего рабовладельца, владеющего теперь лишь собственным рабством. Сегодня Гума счастлив. «Смелый» бежит по волнам реки. Быстро бежит, подгоняемый стуком копыт коня-призрака. Быстро бежит еще и оттого, что Гума обязательно хочет вернуться завтра же, вернуться в свой порт, чтоб увидеть Ливию.

Никогда раньше плавание не казалось ему таким долгим. А столько еще надо успеть! Разгрузиться в Кашоэйре, принять новый груз в Марагожипе, идти вниз по течению до Баии. Слишком долгое плавание для человека, так торопящегося вернуться. Но ничего, скоро уж с ним будет она, Ливия. Взойдет вместе с ним на палубу «Смелого», станет петь для него песни, поможет выиграть все состязания. Потому-то и надо спешить, ведь это плавание такое длинное — целых два дня...

Шумные приветствия встречают Гуму. Таверна полнится людьми. Пристань Кашоэйры всегда такая шумная, людная, суда приходят со всех сторон, а сегодня у причала высится еще и большой пароход Баиянской компании. Часа в три ночи он отплывает, и поэтому морякам не до сна, и они проводят оставшиеся часы в портовой таверне, попивая тростниковую водку и целуя женщин. Гума садится за столик, тоже намереваясь выпить. Слепой музыкант играет на гитаре у раскрытой двери. Женщины охотно смеются, даже когда смеяться не над чем — только чтоб угодить гостям. Одна только тихо жалуется новому знакомому на свою жизнь:

— Уж так тяжело... И на обед не соберешь...

Какие-то люди рассказывают Гуме про драку, что накануне вечером завязалась между матросами и местными парнями. Из-за женщины. В одном таком доме, понятно? Парни были под хмельком, один хотел зайти в комнату к женщине, а она там была не одна, и был у нее Траира, матрос со «Святой Марии». Парень стал было барабанить ногами в дверь, Траира поднялся, дернул дверь изнутри, парень так и повалился за порог. Потом вскочил да как примется выкрикивать разные слова, и все кричал, что эта женщина его и чтоб грязный негр убирался вон, коли не хочет, чтоб ему рожу расквасили. Парней было человек шесть, и все они гоготали и тоже кричали Траире, что пусть поторапливается, а то ему несдобровать. Ну, тут кровь бросилась Траире в голову, и он сцепился с обидчиками.

— Один против шести, представляешь... Где ж ему их одолеть, это было бы чудом, — объяснял толстый негр по имени Жозуэ. — Дрался он здорово, и хоть самому порядком досталось, но за честь свою постоял. Ну, тут народ собрался, толпа целая, такая заваруха пошла... Парни те перетрусили, пустились наутек, а один так даже под кровать забился...

Все смеялись. Гума тоже.

— Правильно... Нечего дурить...

— Ты еще главного не знаешь. Парни те, оказывается, в торговле работают. Так что сегодня толки по всему городу пошли. На каждом углу толкуют. Сам понимаешь — баба замешана. А так как сейчас здесь военные ученья проходят, так, говорят, нынче сразу же после учений прямо из военной школы все они собираются отпра-

виться в дом к той женщине — поджидать нас, чтоб свести счеты за вчерашнее.

— Так они хотят...

— Думают, что стоит надеть форму, и храбрцом станешь,— засмеялся высокий мулат.

— Мы как раз собираемся туда. Пойдем с нами.

Гума отмахнулся: нет. В другой раз он обязательно пошел бы с большим удовольствием, он любил поглядеть на такие дела. Но сегодня ему хотелось вернуться на свой шлюп и слушать песню, любую песню, что море донесет до его слуха, чтоб думать о Ливии.

— Как так? Ты не идешь с нами? — изумился Жозуэ.— Вот уж этого я от тебя не ожидал. Я думал, ты хороший товарищ.

— Так я ж тут вовсе ни при чем,— пытался оправдаться Гума.

— Как ты сказал? Ты что, не моряк, что ли?!

Гума понял, что ничего не поделаешь, придется пойти. Если он не пойдет, то ему на всем побережье никто больше руки не подаст.

— Ладно, забудьте, что я сказал. Принимаю вызов.

— Так мы и думали...

Вскоре явился и сам Траира, слегка навеселе. Его приветствовали восторженными криками:

— О, Траира! Вот это настоящий мужчина!

Траира радостно отозвался:

— Добрый вечер всей команде. И да здравствуют моряки!..

Гума мало знал этого человека. Тот не бывал почти в Баие, больше все плавал по портам побережья с грузом табака. Траира был плотный мулат с лицом шоколадного цвета, аккуратно подстриженными усиками и бритой головой. Жозуэ познакомил их:

— Это вот Гума, храбрый негр. Истинно храбрый.

— А мы уж знакомы,— сказал Траира,

Он широко улыбался, зажав зубочистку в углу рта. На нем была полосатая рубаха, и, обращаясь к Гуме, он склонился в комическом поклоне:

— Я много слышал про вас... Это вы тогда?..

— Он, он. Взял свое суденышко, нырнул в эту чертову бурю и привел «Канавиейрас», хоть кругом был суший ад и конец света.

— Ну что ж, сегодня храброму человеку будет где развернуться.

— Жозуэ мне уже рассказывал...

— Вначале-то я был один. Ну, меня как ударили в борт, я чуть ко дну не пошел. А тут, глядь, прибой — подкрепление явилось.

— Мы их так разукрасили...— И Жозуэ сжал кулак, потом разжал, потом снова сжал и со всей силы опустил на трактирную стойку. Этот таинственный жест означал, очевидно, что они едва не прикончили этих наглых парней.

— А теперь они хотят с нами расквитаться. Чуть не целая рота ждет нас...

С улицы раздавался ритмический шум шагов многих ног. Это шли с учений. Слышалась команда: «Направо...». И шум шагов в повороте. Жозуэ спросил еще водки.

Траира предложил:

— Пошли, ребята. А то опоздаем, они скажут: испугались.

Бросили монетки на стойку и вышли. Двенадцать человек. Матросы с парохода не пришли, им надо было оставаться на борту, на рассвете отплывали. Один даже огорчился:

— Такой случай пропустить! Обидно даже. Когда я из-за любой ерунды в драку лезу... Надо же...

Двенадцать храбрецов, мирно беседуя, направлялись к улице гуляющих женщин. Они говорили обо всяких житейских вещах, словно забыв о предстоящем сражении. Вспоминали разные случаи, происшедшие, когда они ходили на лов. Один, тощий такой, рассказывал бесконечную историю про то, как он ел вяленую рыбу у своего кума в Сан-Фелисе. Траира слушал, весь внимание, чуть склонив к плечу бритую голову, блестящую в темноте, когда они проходили под фонарем. Но, войдя в улицу гуляющих женщин, все двенадцать разразились громкими криками:

— Вот и мы! Вот и мы!

Прохожие испуганно оглядывались. Странная компания. Издали видно, что моряки, ибо идут неуверенным шагом, широко расставляя ноги, как по палубе. Вразвалку, словно борясь с сильным ветром. Какой-то парень лет девятнадцати сказал своему спутнику постарше:

— Это моряки. Уйдем отсюда.

Спутник пожал плечами, затягиваясь сигаретой:

— Ну и что же? Такие ж люди, как мы. Бояться нечего.

Однако все вокруг насторожились. Какой-то старик проворчал, проходя:



— И что только смотрит полиция? Шайка бездельников. Честный человек не может спокойно пройти по улице, — и с тоской смотрел на женщин, свесившихся из окон.

Группа моряков прошла мимо говоривших. Тот, что курил сигарету, выпустил клуб дыма прямо в лицо Жозуэ.

— Ты это нарочно, гад?

Нет, не нарочно. Парень оправдывался с дрожью в голосе. Спутник поддержал его. Жозуэ глядел грозно. Товарищи ждали немного поодаль.

— Тебя что, шпионить послали?

— Да мы уж домой собрались. Мы никакого не имеем отношения, начальник.

— Никому я не начальник. Нечего болтать зря.

Траира крикнул Жозуэ:

— Дай ему хорошенько, и пошли дальше, слышишь? А то опоздаем.

Тут младший начал умолять:

— Не бейте меня, ради бога. Я ничего плохого не сделал.

Жозуэ опустил кулак:

— Тогда уходи с глаз долой.

Повторять второй раз не пришлось... Когда Жозуэ догнал товарищей, Гума спросил:

— Что произошло?

— Ерунда. Пареньки чуть со страху не померли...

Они вошли в один из домов. Из внутренних комнат навстречу им вышла, покачивая бедрами, толстая мулатка:

— Чего вам здесь надо?

Жозуэ решил сразу же взять быка за рога:

— Как здоровье, мать?

— Может, я чертова мать, да только не твоя. Вы зачем сюда явились? Шуметь, как вчера? А полиция потом с меня спрашивает. Давайте отсюда, давайте...

— Да бог с тобой, Тиберия. Мы пришли только позабавиться с девочками. Что уж, нам и к женщинам ходить нельзя?

Содержательница дома свиданий смотрела недоверчиво.

— Я знаю, зачем вы пришли. Вы только и умеете, что затевать драки. Думаете, верно, что так нам здесь хорошо живется, своей чесотки мало...

— Да нам бы только пивка выпить, Тиберия.

Они вошли. В большой зале женщины, сидевшие вокруг стола, взглянули на них испуганно. Один из товарищей сказал Гуме:

— Они нас за диковинных зверей приняли? Или за души с того света?

Одна из женщин, стареющая блондинка, сказала Траира:

— Ты опять пришел воду мутить, бесстыдник? Дьявол тебя срази. Меня сегодня в участок вызывали...

— Я пришел затем лишь, чтоб нашу вчерашнюю любовь завершить, Лулу.

Сели за стол. Появилось пиво. Женщин было только пять. Тиберия предупредила:

— На всех вас у меня женщин не хватит. На пятерых только...

— Остальные пусть в другие дома идут,— предложил Траира.

— Но сначала выпьем пивка все вместе.— Жозуэ ударил кулаком по столу, требуя еще пива.

Потом некоторые ушли в другие дома. Они вернутся, как только услышат шаг курсантов, возвращающихся с учений, и окружают дом Тиберии, чтоб, когда начнется заваруха, быть на месте. Из двенадцати за этим столом останутся только Траира, Жозуэ, тощий мулат, мужчина со шрамом на подбородке и Гума, с которым Жозуэ, совсем уже пьяный, нипочем не желал расставаться.

— Ты даже не знаешь, какой я теперь тебе друг... Посмей только кто-нибудь сказать про тебя плохое в моем присутствии...

Человек со шрамом сказал:

— Я вашего отца знал когда-то. Говорят, он отправил подальше одного типа...

Гума не ответил. Одна из женщин завела патефон. Жозуэ утащил какую-то мулаточку в заднюю комнату. Траира ушел со стареющей блондинкой. Тиберия считала кувшины из-под пива, выпитого компанией. Человек со шрамом уснул, уронив голову на стол. Одна из женщин подошла к нему:

— А как же я? Одна останусь?

Человек со шрамом пошел за нею нехотя, как на аркане. Тощий мулат сказал:

— Я-то, собственно, драться пришел. Но раз уж я здесь...— и тоже подхватил женщину.

Гуме досталась совсем молоденькая, со смуглым ли-

цом. Она очень не походила на продажную женщину. Наверно, недавно попала сюда. В комнате она сразу же стала раздеваться.

— Ты меня угостишь рюмкой коньяку, мой хороший?

— Можно...

— Тиберия! Коньяку!

Уже в одной рубашке, она взяла заказанный бокал, чуть приоткрыв дверь. Выпила залпом, предложив предварительно Гуме:

— Хочешь?

Он щелкнул языком: нет, спасибо... Она растянулась на постели.

— Чего ты там ждешь? (Гума сидел в ногах постели.)  
Не хочешь?

Гума снял сапоги и куртку. Она сказала:

— Все сдается мне, что не за этим вы все пришли сегодня.

— Да нет. За этим самым.

Свеча освещала комнату. Она объяснила, что лампа перегорела, «здесь в Кашоэyre так плохо с электричеством, знаешь?..» Гума, растянувшись на постели, смотрел на лежащую рядом женщину. Она так молода еще. А здесь скоро станет старухой. Такую же жизнь вела, наверно, и его мать. Несчастливая судьба. Он спросил женщину:

— Как тебя зовут?

— Рита.— Она повернулась к нему: — Рита Мария да Энкарнасао.

— Красивое имя. Но ты ведь не здешняя, верно?

Рита поморщилась.

— Видишь ли... Я здесь потому, что...— Она закончила фразу неопределенным взмахом руки и печальным взглядом.— Я вообще-то из столицы штата.

— Из Баии? Да ну?

— А что ж тут удивительного... Или ты подумал, что я деревенская какая-нибудь?

— Я подумал только, что ты слишком молода для такой жизни...

— Горе веку не разбирает.

— А сколько тебе лет-то?

Тень от горящей свечи чертила причудливые зигзаги по стенам комнаты с глинобитным полом. Женщина вытянулась на постели и взглянула на Гуму:

— Шестнадцать. А зачем тебе, извини за вопрос?

— Ты еще очень молода, а уже ведешь такую жизнь. Слушай: я знал одну женщину (он думал о матери), она очень быстро состарилась от этой жизни.

— Ты что, пришел мне проповедь читать? Ты кто: моряк или поп?

Гума улыбнулся:

— Нет, я так... пожалел просто.

Женщина села на кровати. Руки ее дрожали.

— Не нуждаюсь в твоей жалости. Зачем ты пришел? Что тебе нужно?

И (кто знает почему) вдруг закрылась простыней от внезапно нахлынувшего стыда. Гуме было грустно, и ее слова не казались ему обидными. Он находил ее красивой, ей было всего только шестнадцать лет, и он думал, что вот, верно, и мать была когда-то такой же. Ему было жаль ее, и от ее жестких слов становилось еще грустнее. Он положил руку ей на плечо и сделал это так мягко и нежно, что она пристально посмотрела на него.

— Извини...

— Знаешь, кто была женщина, о которой я тебе только что рассказал? Моя мать. Когда я ее видел, она была еще молода, но была уж развалиной, как корабль, потерпевший крушение... Ты красива, ты девочка еще. Почему же все-таки ты здесь? — Он теперь почти кричал, сам не зная зачем. — Нечего тебе здесь делать. Сразу видно, что совсем тебе не место здесь.

Она еще плотнее закуталась в простыню. Она дрожала, словно ей было очень холодно или словно ее ударили хлыстом. Гума уже раскисался, что так кричал.

— Нечего тебе здесь делать. Почему ты не уйдешь? (Голос его был нежен, как у сына, говорящего с матерью. Он и говорил этой женщине все то, чего не пришлось сказать матери.)

— Куда? Кто сюда попадет, тому уж не выбраться. Засасывает, как трясина. Я уж смирилась. Ты пришел, чтоб сделать мне больно. Зачем? Разве от этого лучше будет?

Огонь свечи то затухал, то разгорался снова.

— Я не из Баии, нет, я тебе наврала. Я там и не бывала никогда. Я из Алагоиньяс, а сюда меня стыд загнал... Человек тот был коммивояжер. Я от стыда свой край покинула. Сыночек мой умер.

Он положил обе руки на голову Риты. Она тихонько плакала, прижавшись головой к его груди,

— Скажи: что же мне теперь делать?

В дверь постучали. Гума услышал голос Жозуэ:

— Гума!

— В чем дело?

— Они уже здесь... Выходи.

С улицы слышались шаги и шум голосов. Женщина схватила Гуму за локоть:

— Что там?

— Это курсанты, с учений. Сейчас такая каша заварится.— И он хотел соскочить с кровати.

Она ухватила за него обеими руками, на лице ее выразился испуг, глаза еще полны были слез. Она ухватила за него как за последнюю надежду, за дерево, растущее на краю пропасти.

— Ты не пойдешь, нет...

Он ласково погладил ее по щеке.

— Да ничего не случится. Пусти...

Она глядела на него, не понимая.

— А со мной-то что будет? Со мной? Ты не пойдешь, я не пушу... Ты мой, ты не можешь теперь на смерть идти... Если ты умрешь, я убью себя...

Он опрометью бросился из комнаты и в коридоре все еще слышал, несмотря на грозные крики и нарастающий шум скандала, ее плач и ее голос, вопрошавший:

— А я-то? Я тоже умру... Я убью себя...

Курсантов из военной школы было человек семьдесят, почти вся школа, кроме семейных, благоразумно оставшихся дома. Если бы их было меньше, весь скандал окончился бы иначе. Они буквально наводнили комнаты, нанося удары направо и налево, не разбирая, где мужчины и где женщины. Моряки принялись бой. Никто не заметил: Траира ли первый схватился за нож или курсант первый выстрелил. Когда прибыла полиция, моряки уже скрылись через задний двор, перепрыгнув стену и рассеявшись по пристани,— опасное место для преследования людей моря. Курсант, получивший удар ножом, умер. Второй был легко ранен — в руку. Кровавый след, который оставил, выходя, Траира, доказывал, что в него стреляли и сержант школы уверял, что стреляли в грудь, он сам видел, как курсант навел пистолет.

— Но мулат, уже раненный, поразил его ножом. По-

том вышел, согнувшись, как старик. Пуля попала в грудь, я ручаюсь. Он не дойдет до пристани...

Женщина тоже была мертва. Она кинулась между Гумой и направленным на него пистолетом, но никто не обратил внимания на Риту — подумаешь, важность: проститутка. Все жалели убитого курсанта: мальчик из хорошей семьи, сын адвоката, пользовался доброй славой по всей округе. Начальник участка почесал голову (он спал, когда его вызвали), взглянул на труп Риты, толкнул ногой:

— А эта зачем?

Стареющая блондинка была перепугана.

— Не знаю, что на нее нашло. Выбежала из комнаты, как безумная, вцепилась в мужчину, который только что у нее был, хотела затащить обратно. Тут началась стрельба, она заслонила его собой, ну и получила, что причиталось ему...

— Она была его любовница?

— Да то-то и есть, что она с ним познакомилась только сегодня вечером...— Женщина покачала головой.— Не знаю, что на нее нашло...

Другие тоже не понимали. Никто не понимал. Никто не знал, что она лишь снова обрела чистоту, оставив эту жизнь. Не для этой жизни она родилась и оставила ее во имя своей любви. И Тиберия, содержательница публичного дома, широко раскрыв испуганные глаза, повторила тоже:

— Не знаю, что на нее нашло...

Гума бросился в воду далеко от того места, где стоял «Смелый». Поплыл, достиг шлюпа, взобрался на борт. Чья-то тень поднялась навстречу ему, и послышался шепот:

— Гума, ты?

Это был Жозуэ. Обнаженный до пояса. Вода в реке подымалась, и шлюп оказался довольно далеко от причала.

— Ну и ад был... Траира здесь. Я его вплавь приволок. Сам чуть не задохся.

— Зачем ты его сюда?..

— Плох он, Гума. Довезти бы до Баии... Если найдут здесь, схватят беднягу обязательно. И еще с пуль в животе...

Набережная была пустынна. Пароход Баиянской ком-

пани, ярко освещенный, принимал немногих своих пассажиров. Лодки скрылись. Жозуэ объяснил:

— Когда я дотащил его до берега, весь наш караван уж поднял якоря. Только «Смелый» оставался на месте. Если б у меня была шхуна, я б сам его отвез. Но на моей лодчонке его живым не довезти.

— Где ты положил его?

— Там, в трюме. Я перевязал ему рану, сейчас он, кажется, задремал...

— Что мне с ним делать?

— Отвези его к доктору Родриго, он хороший человек, сделает, что может. Потом Траира сумеет замести следы.

— Ладно.

Гума навел фонарь на Траиру, лежащего внизу. Кровь больше не текла из раны. Траира казался мертвецом. Только дыхание указывало, что он еще жив. Фонарь освещал посеревшее лицо и бритую голову. Жозуэ сказал:

— Поторопись, друг, а то полиция вот-вот нагрянет.

Он помог Гуме поднять парус и, когда шлюп отошел, бросился в воду. На прощанье махнул рукой:

— До встречи... Можешь на меня рассчитывать всегда.

Покидая гавань, Гума наблюдал необычное оживление на баиянском пароходе. По трапу подымалось много людей, все громко говорили. Вероятно, полиция. Гума крепко сжимал руль, «Смелый» бежал по волнам со всей быстротой, на какую способен. Гума погасил фонарь и вел судно осторожно — в реке много мелей и ночь темна. Он услышал первый гудок баиянского парохода. «Мне остается один час», — подумал он. Один час, чтоб опередить пароход, чтоб уйти на такое расстояние, когда полицейский досмотр станет уже невозможным. Надо укрыться в каком-нибудь глухом извие реки, покуда пароход пройдет мимо. Если станут осматривать шлюп и найдут умирающего Траиру, то его, Гумы, жизненный путь можно считать оконченным. Может, даже и не арестуют. В здешних краях это не обязательно. Просто пустяк плыть по воде с ножом в боку — для примера. Траире уже бесполезно мстить, он умрет скоро, но на ком-то они обязательно захотят отомстить. Убитый курсант был из хорошей семьи, пользующейся влиянием... Гума огляделся вокруг. Море было спокойно, добрый ветер дул с ров-

ной силой, надувая парус. Море помогает своим людям. Море — друг, ласковый друг...

«Смелый» скользит по синей воде. Гума ловко обходит внезапно открывшуюся мель. Теперь он плывет по узкому каналу. Глаза его зорко вглядываются в темноту, рука на руле тверда. Траира стонет в трюме. Гума заговаривает с ним:

— Траира... Ты слышишь меня, Траира?

В ответ стоны слышатся громче. Гуме никак нельзя сейчас оставить руль. Слишком опасно пустить «Смелого» по воле волн в этом канале.

— Я сейчас подойду... Подожди минуту.

Но стоны слышатся все более частые, все более страдальческие. Гума думает, что Траира, наверно, сейчас умрет. Умрет на его шлюпе, и полиция найдет его здесь... И выместит на нем, Гуме. Но не это его пугает. Ему не хочется оставаться одному с трупом Траиры, погибшего из-за глупого скандала. Траира не должен был пускаться в ход нож. Если противников оказалось так много, то разве было бы трусостью отступить, оставив поле битвы за ними? Гума задумался. И все же кто ж поступил бы иначе, чем Траира? Кто из них в подобном случае не схватился бы за нож? Но спорить не о чем: Траира умирает. Надо как-то избежать досмотра, чтоб довести мертвеца до порта, где можно отдать его тем, кто его оплачет.

Вот канал уже пройден. Гума зажег фонарь и спустился в трюм. Траира лежит на боку, ему каким-то чудом удалось повернуться. Тонкая струйка крови стекает из раны. Гума наклоняется:

— Тебе нужно что-нибудь, брат? Мы идем в Баю.

Угасающий взгляд Траиры останавливается на нем.

— Воды...

Гума приносит кувшин, наклоняется, прислоняет горлышко ко рту умирающего. Траира пьет с трудом. Потом снова медленно поворачивается животом вверх. Пристально смотрит на Гуму.

— Это Гума?

— Ну да, я.

— Парень тот умер, так ведь?

— Так...

— Никогда я не убивал человека... Сам себе могилу роешь...

— Так уж случилось.



— Что станется теперь с моей женой?

— Ты женат?

— Женат. Три дочки у меня. В Санто-Амаро. Что с ними будет?

— Ничего плохого. Ты поправишься, вернешься к ним.

— Полиция гонится за нами?

— Мы ее перехитрим.

— Иди к рулю, не задерживайся.

Гума идет к рулю. Идет, задумавшись о том, что вот, оказывается, у Траиры есть жена и три дочери. Кто прокормит теперь такую семью? Правильно говорит старый Франсиско, что моряк не должен жениться. В один прекрасный день приходит беда, и дети остаются без хлеба. И все-таки он, Гума, хочет жениться. Хочет привести Ливию на свой шлюп, хочет иметь сына... Глухой голос Траиры снова зовет:

— Гума!

Он спускается к нему. Траира делает тщетную попытку приподнять голову.

— Ты слышал гудок баиянского парохода?

— Нет.

— Я слышал. Он сейчас уже отплывает. Ничего не выйдет. Они на корабле, ведь верно?

Гума знает, что он говорит о полиции. Верно, зачем отрицать... Траира продолжает:

— Они нас догонят. И убьют.

Тишина. Фонарь освещает лицо Траиры, искаженное болью.

— Есть один выход. Я все равно умру. Ты помоги мне подняться, я брошусь в воду. Когда они нас догонят, меня уж не найдут...

— Ты с ума сошел, приятель. Я еще умею управлять судном.

— Дай воды.

Гума идет за водой. Теперь действительно слышен гудок баиянского парохода. Через минуту он снимется с якоря и пойдет в погоню за ними. Когда с палубы завидят парусник с людьми, все будет потеряно. Пароход поплывет дальше, а вооруженные полицейские прикончат их. Скажут потом, что они оказали сопротивление, хотя Гума даже и не сможет оказать сопротивление: нож годен лишь в прямой схватке — грудь с грудью, а полицейские перепрыгнут на шлюп, уже нацелив свои парабеллуны и ружья. Нынче ночью они вместе с Траирой отпра-

вятся на свидание к Жанаине, царице вод. Он не увидит больше Ливию, не увидит больше старого Франсиско... «Смелый» летит по волнам стрелою, подгоняемый ветром. «Смелый» отдаст кормчему всю быстроту, на какую способен, но это последний бег «Смелого». Он будет продырявлен пулями, может быть, затонет вместе со своим хозяином. Его фонарь не засветится больше в этой гавани, он не пересечет больше эту реку, не помчится весело, состязаясь в быстроте со шхуной шкипера Мануэла... Там, в большой зале публичного дома, остался мертвый курсант, осталась и убитая женщина. Гума только сейчас вспомнил о ней. Она умерла, спасая его, и была молода и красива. Оставила эту жизнь, ибо не для такой жизни родилась. Если б она не умерла, то не расставалась бы уж со стаканом, спилась бы и состарилась раньше времени. Она умерла, как жена моряка. Она не была публичной женщиной, случайно убитой в перестрелке. Она была женой Гумы — Иеманжа знает это и наверняка возьмет ее с собою в плавание к землям Айока и сделает ее своей любимой служанкой, из тех, что расчесывают волосы богини, когда она отдыхает на большом камне у мола... Она была молода и красива. Она умерла из-за любви к моряку, и поэтому, хоть тело ее будет предано земле, Иеманжа, без сомненья, придет за нею, чтоб взять ее к себе в служанки. Гума расскажет Ливии эту историю. И если у них родится дочь, он назовет ее Ритой... Слышится гудок баиянского парохода. Разносится над каналом. Скоро пароход поравняется с ними, спустит шлюпку с полицейскими и исчезнет в темноте. Тогда все будет кончено... «Смелый» мчится изо всех сил. Мчится навстречу гибели, ибо пробил его час. Нынче они отправятся в вечное плавание к землям Айока, что прекраснее всех других земель. Там Рита, наверно, уже ждет.

Внезапно Гума слышит какой-то шорох. Словно кто-то ползет по палубе. Да, ползет. Очень медленно, очень тихо, в сторону борта. Гума на мгновение оставляет руль и всматривается. Это Траира хочет броситься в воду. Гума кидается к нему, чтоб остановить, и Траира еще борется с ним из последних сил, он решил разом покончить со всем этим, он не желает, чтоб Гума жертвовал собой из-за него. Бритая голова поблескивает в свете фонаря. Гума волочит его на прежнее место. Траира смотрит на него с благодарной гордостью. Он тоже твердо знает закон пристани и твердо знает, что Гума выполнит этот

закон. Что ж делать, придется умирать вместе. Траира спрашивает:

— У тебя есть второй нож?

— Есть. Зачем?

— Дай мне. Я хочу умереть как мужчина. У меня еще хватит сил увести с собою кого-нибудь из них... — Он с трудом улыбается.

Гума отдает ему нож и возвращается к рулю. Он тоже будет защищаться. Не согласится умереть, как рыба, вытщенная из воды. Он выпустит нож, только когда упадет, чтоб умереть. Он не увидит больше Ливию, она выйдет замуж за другого, у нее будут дети от другого. Но когда Гума упадет, сраженный, последнее, что он произнесет, будет имя Ливии. Жаль, что здесь сейчас нет Руфино. Негр написал бы татуировкой имя Ливии на руке Гумы.

Внезапно в темноте блеснул свет фонаря чьей-то шхуны. Кто бы это мог быть? Скоро он узнает. Если друг, то это может оказаться спасением. Парусник приближается. Это шхуна Жакеса. Еще сегодня утром они дрались на песке побережья. Но Гума знает, что он может обратиться за помощью. Так велит закон пристани.

В ответ на световой сигнал Гумы шхуна Жакеса останавливается. Жакес поражен. Он целый час ждал возможности расквитаться с Гумой за утреннюю драку. Но, узнав о случившемся, о преследовании, об умирающем Траире, Жакес сразу же забыл о недавних обидах. Вдвоем они переносят Траиру на шхуну Жакеса. Раненый задыхается, он близок к смерти. Гума предупреждает:

— Жду в Марагожипе.

— Договорились.

— Счастливого пути...

Оба парусника отплывают одновременно. Теперь уж ничего не случится. Никому не придет в голову осматривать шхуну Жакеса, направляющуюся в Кашоэйру. А на «Смелом» ничего подозрительного не найдут. Никто не может с твердостью сказать, что Гума замешан в недавних беспорядках, разве что женщины, а они не выдадут. Он свободен.

«Смелый» все же подвергся досмотру (Гума успел смыть пятна крови в трюме), но ничего не нашли и оставили в покое. Жакес вскоре вернулся. Гума уже грузил

ящики с сигарами. Потом парусники пошли вместе, Жакес все равно опоздал, куда собирался, и теперь мог идти с Гумой до конца. Траира не умер. Из трюма шхуны Жакеса слышались его стоны. Утро стояло ясное, когда они дошли до Баии. Баиянский пароход давно уж стоял на причале. На пристани все уже знали о вчерашнем происшествии. Жакес остался на шхуне, Гума отправился разыскивать доктора Родриго. Траира все стонал в трюме. И говорил о жене, о семье, о трех дочерях. В бреду ему представлялся огромный корабль — трансатлантик, бросающий якорь у причала. Корабль пришел за ним, Траирой, чтоб отвезти на дно морское, и был уже вовсе и не корабль, а огромная черная грозовая туча, причалившая к берегу. Корабль бросает якорь... Туча бросает якорь... Буря пришла за ним, Траирой, убившим человека, пришла, чтобы увести с собою. Где жена, где дочери, почему не машут ему с пристани на прощание? Ведь Траира уезжает от них на большом корабле, на большой черной туче. Нет, нет, он не уедет, как может он уехать, если здесь нет жены и дочек, чтоб махать ему платком на прощанье? Траира, уже на борту большого корабля, на борту тучи, в самом средоточии бури, все говорит о жене, о семье, о трех дочерях: Марта, Маргарита, Ракел.

#### МАРТА, МАРГАРИТА, РАКЕЛ

В порту считалось непререкаемой истиной, что доктор Родриго принадлежит к семье моряков и что родители его и деды были потомственными моряками, а более далекие предки пересекали моря и океаны на своих судах, что и являлось их единственным промыслом в жизни. Ибо иначе совершенно невозможно было бы объяснить, почему врач с высшим образованием и дипломом покинул красивые улицы города и поселился в жалком домишке на побережье вместе со своими книгами, котом и графинами крепких напитков. Несчастливая любовь тут не подходила. Доктор Родриго был еще слишком молод для такой неизлечимой болезни. Безусловно, — утверждали матросы, рыбаки и лодочники, — он из моряцкой семьи и тянется к морю. И поскольку он тощ и слаб и не способен, таким образом, управлять судном или таскать на спине тяжелые мешки, то и решил лечить моряков, возвращая к жизни тех, кого буря выпустила из своих когтей полумертвыми. Он же обычно давал денег на похоро-

ны бедняков и помогал потом их вдовам. Удавалось ему и спасать из тюрьмы тех, что были задержаны в пьяном виде. Много хорошего делал он людям моря, и в порту его уважали, а слава его дошла до таких глухих мест, куда доходила лишь слава о подвигах самых храбрых моряков. Но было в его жизни кое-что, о чем моряки не знали. Быть может, только учительница, донна Дулсе, знала, что он пишет стихи о море, ибо доктор скрывал свои поэтические опусы, считая их слабыми и недостойными темы. Донна Дулсе тоже не до конца понимала, почему он все-таки живет именно здесь, будучи состоятелен и уважаем в богатых кварталах города. Одевался он в поношенное платье, без галстука, и когда ему не надо было идти к больным (многих из которых он лечил бесплатно), то все больше сидел у окна, курил трубку и смотрел на вечно новую панораму моря.

Люди с пристани по вечерам заходили к нему послушать радио, музыку из других стран, завлекавшую воображение. Они уже привыкли к своему доктору и смотрели на толстые, нарядные книги как на друзей (поначалу они побаивались этих книг, служащих преградой между ними и доктором Родриго) и почти всегда кончали тем, что выключали радио и сами пели для доктора свои любимые песни моря.

Его жизнь на побережье, среди моряков, целиком отданная им, не была тайной для одного лишь старого Франсиско, как-то раз сказавшего ему:

— Ваш отец был моряком, правда ведь, доктор Родриго?

— Насколько мне известно, нет, Франсиско.

— Значит, дед...

— Деда я не знал, а отец как-то не нашел времени о нем рассказать, — улыбался Родриго.

— Моряком был, — уверял Франсиско. — Я знал его. Командовал большим кораблем. Хороший человек. Все в округе его любили.

И Франсиско был искренне убежден, что действительно знал деда Родриго, несмотря на то, что сам только что выдумал это. Отсюда и пошел этот слух, которому все верили: что Родриго — из семьи потомственных моряков. И все ждали, что в один прекрасный день доктор Родриго женится на учительнице Дулсе. Они встречались, прогуливались вместе, беседовали... Но никогда не возникал у них разговор о свадьбе. Однако на побережье все ждали этой свадьбы и даже обсуждали подробности

праздника. А самые близкие друзья доктора иногда даже позволяли себе некоторые намеки, но Родриго только улыбался, сжимался как-то, словно стараясь плотнее укрыться в свое поношенное платье, и менял тему разговора. И возвращался к своим книгам, к своим больным (особенно один чахоточный мальчик занимал его мысли и почти все его время), и к созерцанию моря.

Вначале доктор Родриго часто бывал в городе. Он надеялся, что его предложения о гигиенических мерах по улучшению жилищ моряков найдут отклик. Потом перестал бывать. Дона Дулсе все ждала чуда. Придет чудо — и тогда жизнь на побережье станет прекрасной. И тогда доктор Родриго сможет писать о море стихи поистине прекрасные, столь же прекрасные, как и само море.

Гума входит в комнату, служащую доктору приемной. Толстая женщина стоя слушает жалобы матери чахоточного мальчика, которого та держит за руку. Мальчик худенький, кожа да кости, все время кашляет, и кашель у него такой сильный, что вызывает слезы на глаза. Молоденькая девушка, сидящая в углу, с ужасом смотрит на него и закрывает рот платком. Мать мальчика рассказывает:

— Иной раз думаю, прости меня господи, — и она бьет себя ладонью по губам, — что лучше б было, коли бог забрал бы его к себе... Страданье-то какое... Для всех нас страданье. Всю-то ночь кашляет, кашляет, конца не видно... Какая ж ему, бедняжке, радость в жизни дана, раз он и играть-то с другими детьми не может? Иной раз думаю: помоги нам господи, возьми его от нас... — Она проводит рукавом по глазам и плотней застегивает курточку на малыше, который кашляет и кажется далеким, далеким от всего, что происходит.

Толстая женщина сочувственно кивает головой. Девушка в углу спрашивает:

— Когда же он заболел?

— Да вот простудился, потом все хуже и хуже, так и впал в чахотку...

Толстая женщина советует:

— А вы не хотите свести его к отцу Анселмо? Говорят...

— Да уж водила... Не помогает... Доктор Родриго уж так заботится, ровно отец родной...

— Иеманжа хочет взять его к себе,— заключает толстая женщина.

Гума спрашивает:

— Доктор Родриго скоро освободится, Франсиска?

— Не знаю, Гума. Там у него Тибурсио, он ранен в ногу... А вы что, больны?

— Нет. У меня дело к нему...

Мальчик снова принялся кашлять. Толстая женщина обращается теперь к Гуме:

— Вы ведь знаете Мариану, да? Жену Зе Педриньо?

— А-а, знаю.

— Так у нее тоже была чахотка. Высохла, как треска сушеная. Харкала кровью так, что казалось, вот-вот сердце выхаркает. Так вот, отец Анселмо дал питье, все как рукой сняло.

— А моему Мундиньо не помогло. Отец Анселмо даже сам посоветовал обратиться к доктору Родриго. Доктор сделал все, что только мог. Видно, нет надежды...

Дверь комнаты, служащей кабинетом, отворилась, Тибурсио вышел, прихрамывая. Доктор показался на пороге в белом халате. Худое, костистое лицо его было серьезно. Поздоровался с Гумой:

— Заболел, Гума?

— Мне нужно поговорить с вами, доктор. Дело очень срочное.

— Войдите.— Он обернулся к женщинам:— Подождите немного.

Через несколько минут оба вышли из кабинета, Родриго уже в пиджаке, с чемоданчиком в руках. Он предупредил женщин:

— Зайдите через два часа. Срочный случай.— У двери он обернулся:— Не забудьте дать мальчику лекарство, донна Франсиска. Перед едой...

Они уже шагали по набережной, когда Родриго попросил:

— Теперь расскажите мне, что произошло.

Гума рассказал. Доктору все можно было сказать, он свой, как если б сам был моряком. Гума рассказал о схватке, о смерти Риты, о том, как был ранен Траира.

— Курсант умер. А Траира совсем плох, бедный...

Они зашлепали по грязи причала, прыгнули на палубу шхуны Жакеса. Доктор Родриго соскочил в трюм. Траира бредил и звал дочерей— Марта, Маргарита,

Ракел. И все узнавали теперь, что Марта уже взрослая — восемнадцать лет, красавица, что Маргарита любит бегать по прибрежным камешкам и плескаться в реке, у нее длинные волосы и, хоть ей всего четырнадцать, на нее уже заглядываются... Но больше всего тосковал Траира по Ракел, которой нет еще трех, и говорить толком не умеет, и такие чудные выдумывает слова...

Жакес сказал:

— Он забывается уж...

Марта, Маргарита, Ракел... Он звал их и звал, непрерывно, настойчиво. Марта хорошо шила и даже начала вышивать приданое — жених может появиться каждый день... Маргарита бегала по камешкам, каталась по песку, плавала как рыба... Ракел болтала что-то невнятное, рассказывала о чем-то старой кукле, которая одна ее понимала. Ракел он звал чаще других, это о ней, Ракел, больше всего болела его душа. Ракел разговаривала со старой куклой, говорила ей, что забросит в угол, что папа обещал привезти новую с золотыми волосами... И умирающий отец все звал Ракел, звал Марту, Маргариту, звал и свою старуху, что ждет его и, наверно, нажарила для него рыбы к ужину, как всегда.

Родриго осмотрел рану, умирающий уже никого и ничего не слышал, не замечал ничьего присутствия. Он видел только трех своих девочек, пляшущих вокруг него, радостно прыгающих рядом, весело смеющихся, — Марта, Маргарита, Ракел. Новая кукла была на руках у Ракел, та, что он привез ей из этого путешествия. Он теперь плывет на корабле, похожем на тучу, а Марта, Маргарита и Ракел пляшут на пристани, пляшут, взявшись за руки, как в те счастливые дни, когда он, Траира, возвращался из долгих странствий и бросал на стол привезенные подарки. Марта одета в подвенечное платье, Маргарита прыгает по камешкам, что собрала на берегу реки, Ракел прижимает к груди новую куклу...

— Придется оперировать.

— Что вы сказали, доктор?

— Надо извлечь пулю... Да и то вряд ли... Придется доставить его ко мне домой. У него есть семья, так я понял?

Траира звал:

— Марта, Маргарита, Ракел...

— А как мы его доставим? — спросил Жакес.

В конце концов решили: в подвесной койке. Сначала



направили судно к пустынному берегу гавани. Положили Траира на койку-сеть, продели шест и понесли на плечах. Дома у Родриго инструменты всегда были наготове, и операция была начата сразу же. Гума и Жакес помогли и видели кровавый разрез, вынутую пулю, вновь зашитую рану. Это походило на то, как чистят рыбу. Теперь Траира спал, не говорил больше о дочерях, не звал их.

— Он поправится, доктор?

— Боюсь, что он не выдержит, Гума. Слишком поздно.— Доктор Родриго мыл руки.

Гума и Жакес стояли и смотрели на товарища. Бледно-серое лицо, бритая голова, огромное тело, забинтованный живот... Казалось, он уже ушел от них, уже не принадлежит этому миру. Гума промолвил:

— У него есть семья. Жена и три дочери. Моряк не должен жениться.

Жакес повесил голову: он собирался жениться через месяц. Доктор Родриго спросил:

— А где находится его семья?

— Он проживал в Санто-Амаро... Где-то в тех местах...

— Надо сообщить...

— Наверно, уже знают... У плохих вестей ноги длинные...

— Полиция, наверно, там уже была.

Дон Родриго сказал:

— Идите по своим делам, я позабочусь о нем.

Они вышли. Гума в дверях обернулся и взглянул на лежащего без сознания и тяжело дышащего человека. Доктор Родриго, оставшись один, обратил свой взгляд на море за окном. Тяжела жизнь моряка. Гума говорит, что моряк не должен жениться. Обязательно настанет день, когда семья будет обречена на нищету, обязательно придется голодать каким-нибудь Мартам, Маргаритам и Ракелам... А дона Дулсе ждет чуда... Родриго хотел было вернуться к своей поэме о море, но умирающий рядом человек, казалось, восставал против всей этой описательной лирики, посвященной морю. И в первый раз в жизни Родриго подумал, что если писать поэму о море, то надо, чтоб это была поэма о нищей и страдальческой жизни моряков.

Потом пришла смерть — спокойная. Траира уже не плыл на корабле. Доктор позвал Гуму и Жакаеса. Траира

увидел три тени вокруг своего ложа. Он уже не стонал. Он вытянул руку, прощаясь, но не с доктором и двумя друзьями прощался он. Он видел трех дочерей вокруг своей постели, трех дочерей, что будили его, ибо солнце высоко стояло в небе (солнце и впрямь залило комнату) и пора было вставать и выходить в море на своей лодке. Он протянул руку, ласково улыбнулся (доктор Родриго ломал руки, стоя в изголовье), прошептал имена: Марта, Маргарита, Ракел, повторил: Ракел — и уплыл на своей лодке...

### ГРАФЫ, МАРКИЗЫ, ВИКОНТЫ И СКОРПИОН

Городок Санто-Амаро, где Гума недавно пристал со своим шлюпом, был родиной многих знатных людей империи, графов, маркизов, виконтов, но, что важнее, был родиной Скорпиона. Именно по этой причине и не по какой другой — не потому что славился своим сахаром, графами, маркизами, виконтами и водкой, — Санто-Амаро был одним из городов, особенно любимых моряками. Здесь родился знаменитый Скорпион, ступал по этим улицам, здесь пролилась его кровь, здесь он орудовал ножом и пистолетом, побеждал в атлетических играх капоэйры, пел свои самбы. Близехонько отсюда, в Маракангалья, его разрезали на куски, и в небе над этой местностью горит его звезда, большая и светлая, почти такая же большая, как звезда знаменитого храбреца и разбойника Лукаса да Фейра. Он превратился в звезду, ибо это — удел храбрых.

Санто-Амаро — родина храброго негра по прозвищу Скорпион... Об этом думает сейчас Гума, лежа на юте своего судна. Еще недавно мысли Гумы были направлены совсем в другую сторону. В тот день, когда умер Траира, он собирался вечером к Ливии и только о ней были его думы. Но сейчас ему вновь и вновь беспокойно приходят на память и слова старого Франсиско, и песня, что так часто слышится над морем («Несчастлива та, что станет женой моряка...»), и смерть Траиры, оставившая сиротами трех девочек. Моряк должен быть свободен, говорит старый Франсиско. Об этом в песне поется, и печальные происшествия, случающиеся чуть ли не ежедневно, подтверждают это. Моряк должен быть свободен... Не для любви, не для вольной жизни — для смерти, для свадьбы с Иеманжой, хозяйкой моря. Ибо для смерти живут они

все, такой близкой, такой знакомой, что ее уж и не ждут, что о ней уж и не думают. Моряк не имеет права приносить в жертву любимую женщину. И не в том дело, что жизнь его бедна, дом нищ, ужин из жареной рыбы скуден и карман пуст. Это вынесет любая, здесь все женщины к этому привыкли, ибо одни из них родились тут же, в порту, а другие — дочери пришлых рабочих, поденщиков, таких же бедняков. К бедности-то они все привыкли, а часто и к чему-нибудь похуже бедности. Но не могут же они привыкнуть к внезапно врывающейся в дом смерти, к тому, что вот вдруг и осталась ты одна — без мужа, без опоры, без крова и без пищи, дабы быть потом проглоченной фабрикой или, еще хуже, — улицей, если ты молода и хороша собой. Гума приходит в ужас при мысли, что подобная судьба может постичь Ливию, самую красивую из женщин побережья, что она вынуждена будет отдаваться другим мужчинам, зазывая их из окна для того, чтобы прокормить сына, который в один прекрасный день тоже станет моряком и сделает несчастной другую женщину. Из-за решетчатого окна (словно в тюрьме для осужденных пожизненно) мелькнет на миг ее лицо, все то же, что сейчас, без тайны и страдания, и она взмахнет рукой, зазывая проходящего мимо мужчину. А сын ее, сын Гумы, сын моря, будет спрятан от чужих глаз, чтоб не слышно было, как он плачет о своей матери. И она раскроет первому встречному тайну своего тела, чтоб накормить сына, который когда-нибудь тоже покинет жену свою внезапно и навеки, уплыв с Иеманжой к землям Айока, исконным землям всех моряков, где обитает единственная, кем можно обладать без опаски — Жанаина, богиня с пятью именами, мать и супруга в одно и то же время, чем она и таинственна, чем она и страшна. Никто не припомнит, чтоб хоть один моряк, имеющий семью и детей, дожил до старости, ежедневно уходя в море на своей лодке или шхуне. Иеманжа ревнива, и в гневе она оборачивается богиней бурь Инае и насылает дикие вихри и черные тучи. Бесплезно тогда слать ей подарки, предлагать девушек для услуг, ей нужны мужчины — ее сыны и мужья вместе.

Вот по этой-то причине, не желая, чтоб судьба Ливии была несчастной, и уехал Гума в ту ночь в Санто-Амаро с намереньем на обратном пути забрать груз ящиков с вином. Он попросту бежал, чтоб не пойти с Родолфо к Ливии, не видеть ее чистых глаз, не желать ее еще больше. Потому он лежит сейчас на палубе своего судна,

стоящего на причале в Санто-Амаро, городе графов, виконтов и маркизов, городе Скорпиона.

Слышите, моряки и докеры всех морей и портов,— Скорпион родился здесь... Гума смотрит на небо, где он горит звездой. Если светит полная луна, то глаза человека, смотрящего в небо, обращаются сперва на луну, а потом ищут звезду Скорпиона, самого храброго негра на всем побережье. Небо освещено душами храбрых, что зажглись звездами после их смерти,— Зумби дос Палмарес, вождь восставших рабов, Лукас да Фейра, отчаянный искатель приключений, за ними — другие, другие. Скорпион... Там, между луной и Лакасом да Фейра, есть место, где заблестит после смерти разбойник Виргулино Феррейра Лампиан, гроза богачей, только это случится еще не скоро...

Но никто из них не был сыном моря, никто не мчался на легком паруснике под морским ветром. Один только Скорпион. Он был истинный сын моря, умел управлять рулем, ловко причалить лодку к берегу, плыть на всех парусах под звуки музыки. Потому он так и любим на всех пристанях. И это именно здесь, в Санто-Амаро,— слышите, моряки со всего света, грузчики, докеры, лодочники, слышите, доктор Родриго и учительница дона Дулсе, слышите все, кто трудится окрест на воде и на суше? — именно здесь он родился. А близехонько отсюда, в Маракангалье, изрубили его на куски, но — заметьте это себе, моряки со всех концов света,— убили его изменой, во время сна, когда он мирно спал в подвесной койке, которая, покачиваясь, как на воде, более, чем что-либо иное, напоминает на суше о лодках, шлюпках и шхунах.

Так что он родился здесь. На баиянском побережье родилось много храбрых моряков. В Баие, столице штата, городе семи ворот, рождаются самые красивые женщины побережья. Ливия тоже там родилась. Если бы повстречалась она Скорпиону,— думает Гума, затягиваясь трубкой на палубе своего судна,— он обязательно увлекся бы ею и из-за нее пырнул бы ножом троих, а то — четверых. Храбрый был моряк. А на побережье нет женщины красивей Ливии, той, что пришла на праздник Иеманжи, только чтоб увидеть Гуму, ибо Гума тоже храбрый, он не раз уже подвергался опасности и намерен когда-нибудь отправиться на большом корабле в чужие края — искать приключений. Он любит Ливию, он так долго ждал ее, и она любит его, в чем и призналась тогда, на празднике,

чистым взглядом своих глаз, без тайны и без обмана. А кроме того, Гума ведь обещал Розе Палмейрао, что у них с Ливией будет сын и Роза вернется, чтоб воспитывать его, играть с ним, забыть о своей прежней жизни, полной скандалов, драк, насилия и смерти... Известно, правда, что Скорпион не был женат. Но ведь он не знал Ливии, его уж не было, когда она родилась. Из-за такой женщины, как Ливия, любой моряк обо всем на свете забудет, забудет и о том, что когда-нибудь может оставить ее одну в нищете, с сыном или с тремя дочерьми, как у Траиры,— Марта, Маргарита, Радел.

Гума даже не слышит музыки, доносящейся с пристани. Он лишь чувствует ее, она проникает его мысли, и это та самая старая песня, в которой говорится, что ночь создана для любви. Ночи Скорпиона не всегда бывали отданы любви. Много раз были они полны схваток, преступлений. А иной раз служили пособниками бегства, как случилось в ту ночь, когда, сразив четверых солдат, он углубился в рощу, раненный двумя пулями в подбородок и одной— в руку. Ночь та была темна, и его преследовали долго, окружили рощу, он бросился в воду и, раненный, плыл, не останавливаясь, как и положено моряку, покуда какая-то лодка не подобрала его и не отвезла к негритянскому жрецу на исцеление... И все же и у Скорпиона бывали ночи любви. Ночами, полными луной и музыкой, когда вода в реке голубая, он предавался любви, обнимая Марию Жозе, или Жозефу да Фонте, или Алипию, или другую женщину, которую только что встретил. Но никогда не было у него единственной, той, что связана с ним судьбою, что будет влачить свою жизнь в нищете, когда он погибнет. Многие женщины оплакивали его, да и не только женщины— все побережье его оплакивало, а похороны его были пышней, чем у любого маркиза, барона или графа родом из Санто-Амаро. Оплакивали потому, что он был добр, щедр к бедным, всегда готов отстоять с ножом в руке исконные права моряков. Но ни одна из женщин не плакала по нем, забыв о его храбрости, доброте, подвигах,— просто как о близком человеке, о своей опоре, своем счастье. Правду говорят старые люди и старые песни— моряк не должен жениться... Гума беспокоится на досках. Ночь дана для любви, но для любви-приключения, любви случайной, на прибрежном песке, на берегу реки, у стены опустевшего рынка, с первой встречной.

Ночь дана для любви, поет какой-то негр у берега Санто-Амаро. Другая песня (история баиянского побережья вся переложена в стихи — АВС, самбы, песни, эмбодлады) уверяет, что у жены моряка одна судьба: ждать на берегу, не покажется ли вдалеке парус, ждать в бурные ночи, не выбросит ли море мертвое тело. Скорпион так и не женился, он был не только моряк, но еще и жагунсо, наемный стрелок, и, кроме весел, было у него ружье, а кроме обычного ножа, какой носит за поясом каждый моряк этих мест, был у него еще и кинжал. А вспомнить Розу Палмейрао?.. Хоть и женщина, а стоит двоих мужчин,— и тоже ведь никогда так и не было у нее семьи, сына. Жакес, намеревавшийся сыграть в этом месяце свадьбу с Жудит, молоденькой мулаткой, сиротой без отца, стал, после смерти Траиры, сомневаться: стоит ли. Он тоже спасся бегством — уплыл в Кашоэйру, чтобы так же, как и сейчас Гума, лежать на юте своего судна, курить трубку, слушать музыку и думать... У Ливии такие чистые глаза, словно она не ждет от жизни ничего плохого. Связать ее жизнь с судьбой моряка — значит сделать ее несчастной, правильно поется в песне. Гума охвачен гневной досадой, ему хочется кричать, броситься в воду — «так сладко в море умереть...», — затеять драку на ножах, один против десяти, как Скорпион.

Звезда Скорпиона мерцает на небе, словно подмигивая. Она большая и светлая. Женщины уверяют, что он наблюдает все злые дела людей (графов, маркизов, викантов и баронов) Санто-Амаро и видит все несправедливости, каким подвергаются моряки. Придет день, и он вернется на землю, чтоб отомстить за них.

Он вернется в ином обличье, никто не догадается, что это Скорпион. Его звезда исчезнет с небес и засияет на земле. Быть может, это и есть чудо, которого ждет дон Дулсе, тот заветный день, о котором говорит в своих стихах доктор Родриго. Быть может, с того дня моряки смогут спокойно жениться, лучше обеспечивать своих жен и быть уверенными, что те не умрут от голода после смерти мужа и не будут вынуждены идти на улицу. Когда настанет такой день? Гума вопрошает об этом луну и звезды.

Скорпион был храбрец, захватить его удалось лишь изменой, и тело его изрубили на мелкие куски, которые пришлось потом собирать для погребения. Он боролся

против графов, маркизов и виконтов, которые все были владельцами плантаций, зеленых полей сахарного тростника и устанавливали тарифные таблицы для фрахта парусников и лодок. Он делал набеги на плантации, уносил хоть немного из того, что принадлежало всем этим богачам, и распределял потом среди вдов и сирот, чьи кормильцы погибли в море. Бароны, виконты, маркизы и графы произносили речи в парламенте, беседовали запросто с самим доном Педро II, императором бразильским, пили дорогие вина, насиловали девушек-рабынь, пороли негров, обращались с моряками и лодочниками как со своими слугами. Но Скорпиона они боялись, он был для них хуже черта, при одном звуке его имени их пробирала дрожь. Они бросали против него целые полки своих вооруженных людей, отряды полиции. Но не могли справиться со Скорпионом, ибо не нашлось на всем побережье, в городах и селениях, на море и на реке, ни одной женщины, которая не молила бы Иеманжу защитить его. И не было такой шхуны, лодки или баржи, где он не нашел бы убежища. Дрожали бароны, дрожали графы из Санто-Амаро, просили бога сделать так, чтоб Скорпион пощадил их земли, обещая взамен пощадить какую-нибудь негритянку, какого-нибудь негра, какого-нибудь моряка. Ибо феодальные сеньоры испытывали ужас перед Скорпионом.

В один прекрасный день Скорпион вернется. Гуме надо будет подождать с женитьбой до этого дня. Никто не знает, каким образом вернется Скорпион. Он может даже оборотиться многими людьми, и на пристани будет тогда волнение, и все будут требовать новых тарифов для фрахта судов, новых законов, защиты прав вдов и сирот.

Ливия ждет, Гума знает это. Ночь дана для любви, и Ливия ждет его. Родолфо, наверно, обиделся, что он не пришел. Родолфо не знает, что Гума бежал от них, не желая, чтоб у Ливии была несчастная судьба. Но сейчас им овладевает неудержимое желание вернуться, увидеть ее снова, стоять и смотреть на нее. Ливия должна пойти с ним, должна провести много ночей на палубе «Смелого». А если он умрет, у нее должно хватить мужества не стать уличной женщиной. Ночь дана для любви, а для Гумы «любовь» означает «Ливия». Ему не нужны случайных любовных утех с первой встречной. Ливия послана ему самою Иеманжой, он не может противиться воле

богини. Лодочники, рыбаки, шкипера с парусных шхун боятся любви. Что-то решит Жакес, отправившийся в Кашоэйру обдумывать свои дела? Гума ведь не хотел, чтоб у Ливии была несчастливая доля, — но что он может поделывать? Судьба творится помимо нас, ей нельзя прекословить. И судьба Ливии такая же, как у других женщин побережья. Ни она, ни Гума, ни даже Скорпион, обратившийся в звезду, не могут изменить судьбу. Гума поедет к Ливии, не нужно было ему бежать от нее, эта ночь, озаренная яркой луной и столькими звездами, создана для любви. В такую ночь никто не думает о бурях и штормах, опасности и смерти... Гума думает о том, как Ливия красива и как он любит ее.

Санто-Амаро — это вотчина Скорпиона. Не важно, что здесь родились знатные сеньоры империи, владеющие бессчетным числом рабов. Это нам не важно, моряки. Здесь родился Скорпион, самый храбрый моряк из тех, что плавали когда-либо в этих водах. Бароны, графы, маркизы и виконты спят рядом с развалинами феодальных замков в закрытых гробницах, которые постепенно поедает время. Но Скорпион сияет в поднебесье яркой звездой, лия свой свет на развернутый парус «Смелого», быстро уплывающего к родной гавани в поисках Ливии. В один прекрасный день Скорпион вернется, — слышите, моряки со всего света? — и тогда все ночи будут для любви, и новые песни зазвучат на пристани и в сердцах людей.

### МЕЛОДИЯ

Море послало Гуме самый быстрый ветер — норд-ост, подгоняющий судно к берегам Баии. С лодок, проплывающих мимо, со шхун, встречающихся на пути, с рыбацких плотов, с барж, груженых дровами, отовсюду слышится приветствие:

— Счастливого пути, Гума...

Счастливого пути, ведь он едет искать Ливию. Луна освещает ему путь, морская дорога длинна и добра. Дует норд-ост, свирепый норд-ост, ветер бурь. Но сегодня он — друг, помогающий быстрее пересечь этот трудный рукав реки. Норд-ост доносит мелодии с речного берега — песни прачек, напевы рыбаков. Акулы вспрыгивают над водой у самой бухты. На освещенной палубе



корабля, входящего в гавань,— танцы. У борта какая-то парочка тихо беседует под луной. «Счастливого пути», — говорит Гума и машет рукой. Они машут в ответ, улыбаясь, удивленные приветом незнакомого моряка.

Он едет за Ливией, он едет за красивой женщиной, которую подарит морским просторам. Пройдет немного времени, и тело Ливии станет пахнуть морем, а волосы станут влажными от брызг соленой воды. И она станет петь на палубе «Смелого» песни моря. Она услышит о Скорпионе, о заколдованном коне, узнает истории всех кораблекрушений. Она будет принадлежать морю, как весло, как парус, как песня.

Норд-ост дует все сильнее, наполняя паруса. Лети, «Смелый», лети, уже видны вдалеке огоньки Баии. Уже слышен барабанный перестук кандомбле, пенье гитар, протяжные стоны гармоник. Гуме кажется, что он уже слышит чистый смех Ливии. Лети, «Смелый», лети!

#### ПОХИЩЕНИЕ ЛИВИИ

Шесть месяцев острого стремления к ней, к близости с нею... «Смелый» резал волны моря и реки, «Смелый» уходил в рейс и возвращался, а острота не сглаживалась. Гума ничего не мог поделать... В тот день, когда вернулся из Санто-Амаро, он увидел ее сразу же по прибытии. Он пошел к ней с Родолфо, как обещал, и она показалась ему еще красивее — такая робкая, с такими ясными глазами. Родственники, у которых она жила, дядя и тетка, владельцы овощной лавочки, все свои надежды возлагавшие на красоту Ливии (она может сделать хорошую партию), вначале горячо благодарили Гуму за спасение, но потом стали глядеть как-то не очень дружелюбно. Они полагали, что Гума зайдет, выслушает слова благодарности и отправится дальше своей дорогой. К чему ему, собственно, задерживаться здесь? Чего Ливия может ждать от простого моряка? И чего могли ждать они все от человека беднее их самих?

В течение шести месяцев, чтоб увидеть ее и перекинуться двумя-тремя словами (говорила она одна, он молча слушал), Гуме приходилось выдерживать косые взгляды дяди с теткой. Взгляды, полные злобы, недоброжелательства, презрения. Он спас им жизнь, это правда,

зато теперь хотел отнять у них единственную надежду на лучшую жизнь в будущем. Но несмотря на косые взгляды, на язвительные слова, сказанные громким шепотом, специально чтоб он их услышал, Гума продолжал приходить в своем неизменном (и единственном) кашемировом костюме, в котором он чувствовал себя непривычно и неловко.

На второй неделе знакомства он написал Ливии письмо. Хотел было показать доне Дулсе, чтоб исправила ошибки и расставила почаще знаки препинания, да постеснялся и послал как есть:

*«Здравствуйте горячо уважаемая Л... С приветом к Вам от всей души и от всего сердца.*

*Неумелю рукой но с сердцем полным безумной страсти к тебе пишу я эти неразборчивые строки.*

*Ливия любовь моя прошу хорошая моя чтоб ты прочитала внимательно это письмо чтоб сразу же могла послать ответ, хочу получить ответ прямой и искренний от твоего сердца моему.*

*Ливия Вы знаете что любовь вырастает из поцелуя и кончается горькою слезой? Но милая я думаю что если ты отвечаешь мне взаимностью у нас будет совсем наоборот, наша любовь уже родилась с первого взгляда, она должна расти и никогда не кончится правда ведь любимая? Прошу чтоб ты мне ответила на все вопросы, которые я поставил понимаешь? Моя хорошая я думаю что твое сердце это золотая раковина где скрыто слово ДОБРОТА.*

*Ливия любовь моя я наверно родился уже любя тебя не в состоянии больше скрывать эту тайну и не в состоянии больше выносить огромную боль какую чувствует мое сердце объявляю тебе правду обожаемый мой ангел поняла?*

*Ты будешь для меня единственной надеждой, я отдаю Вам свое сердце чтоб идти общей дорогой, боюсь что я тебе не нравлюсь но мое сердце всегда принадлежало тебе и так и останется до последних секунд моей жизни.*

*Когда я увидел тебя мой ангел то потерял рассудок и такая была моя страсть к тебе что чуть сразу же не сказал наконец настал момент чтоб ты услышала мои мольбы.*

*Я пишу это письмо чтобы облегчить свое сердце, никого на всей земле не люблю так как Вас, уважаю и же-*

лаю чтобы ты была со мною всегда для нашего вечного счастья.

Прошу окажи мне услугу не показывай никому это письмо чтоб не могли надсмехаться над сердцем полным страсти а не то я способен разбить руль любому кто надо мной посмеется. Надеюсь что Вы мне ответите положительно обещаю твое письмо тоже никому не показывать пускай это будет между нами наш общий секрет.

Прошу ответить срочно чтоб я знал сочувствуете ли Вы сердцу полному страсти к тебе, но хочу получить ответ искренний от твоего сердца моему слышишь?

Твой ответ послужит утешением моему страдающему сердцу понимаешь?

Прошу простить ошибки и плохой почерк.

Вы наверно заметите что с середины письма почерк изменился это я поменял перо поняла? Писал один дома без помощи и думая о Вас ясно?

Притом примите привет от твоего Г... который так тебя любит и уважает всем сердцем ясно?

Гумерсиндо

СРОЧНО».

По правде говоря, это письмо чуть не послужило причиной ссоры. Дело в том, что начал писать его совсем не Гума, а «доктор» Филадельфио. Впрочем, Филадельфио его почти никто и не называл, а все знали просто за «доктора». Он писал истории в стихах, песни и АВС из жизни портового люда. Он был всегда под хмельком, сердился, если кто ставил под сомнение его ученость (он учился целый год в монастырской школе), зарабатывал по несколько монет, составляя разные письма — для людей семейных, для женихов и невест, для случайных любовников. Он произносил речи на крестинах, на свадьбах, на открытии новых магазинов и на церемонии спуска на воду новых судов. Его очень любили в порту, и все помогали ему заработать на еду и на выпивку. Ручка с пером за ухом, чернильница в кармане, желтый зонтик, сверток бумаги, книга о спиритизме под мышкой... Он всю жизнь читал эту книгу и никак не мог дочитать до конца, дошел лишь до тридцатой страницы, но считал себя спиритом. Тем не менее он ни разу не был на спиритическом сеансе, испытывая истинный ужас перед душами с того света. Каждый вечер он усаживался где-нибудь вблизи

рынка и там, взгромоздившись на какой-нибудь ящик, писал записки для влюбленных, чьим постоянным наперсником оставался при всех обстоятельствах, драматически расписывал болезни и нужду семей лодочников в их письмах к родственникам и друзьям, составлял даже послания к самой богине Йеманже от всех своих земляков, не нуждаясь в подсказке, ибо жизнь их знал назубок. Когда к нему приближался Руфино, он смеялся своим тоненьким смехом, пожимал плечами и спрашивал:

— Кто твоя новенькая?

Руфино называл имя, «доктор» писал письмо — всегда одно и то же. Завидев знакомого, предупреждал:

— Элиза сейчас свободна. Руфино ее уже бросил.

И писал письмо к Элизе от другого. Так он зарабатывал себе на жизнь, а главное — на выпивку. Как-то раз он за десять тостанов создал для Жакеса такой шедевр, что даже сам гордился. Это был акростих, который Жудит теперь всегда носила на груди:

Покою навек я лишился,  
Ранено сердце во мне,  
О, навек я с весельем простился,  
Сохнет душа по тебе,  
Тобою я полон одной,  
И до смертного часа я твой.

Написал название — «Прости», сам растрогался, взглянул на Жакеса влажными глазами и сказал:

— Мне надо было заниматься политикой, парень. Здесь, в порту, мне выдвинуться невозможно. Я б такие речи произносил — самого Руя за пояс бы заткнул...

Прочел акростих вслух, переписал своим ровным почерком, получил десять тостанов и сказал:

— Если после этого она не сдастся, как лодка, опрокинутая бурей, я верну тебе твои деньги...

— Ну что вы...

— Да, да, верну... Так-то вот...

Когда наступала пора празднеств в Кашоэйре и Сан-Фелисе, он отправлялся на судне какого-нибудь знакомого моряка писать письма, сочинять стихи и послания на ярмарках этих городов, куда слава о нем дошла раньше него.

Он был неизменным наперсником всех. Много раз приходилось ему сочинять ответ на письмо, сочиненное им же самим. Благодаря его посредничеству не одна де-

вупка вышла замуж и родился не один ребенок. И не одной семье, находящейся далеко, приходилось ему сообщать печальную весть о смерти моряка, не вернувшегося из плавания. В такие дни он напивался больше обычного.

Гума давно уже ждал часа, когда «доктор» будет свободен (или менее занят), чтоб поговорить с ним. В тот вечер как раз клиентов было мало, и «доктор» задумчиво ковырял щепочкой в зубах, ожидая, не появится ли кто-нибудь, чтоб обеспечить ему ужин. Гума приблизился:

— Добрый вечер, доктор.

— Дай тебе бог попутного ветра, ты пришел вовремя. — «Доктор» любил говорить правду.

Гума помолчал, не зная, как приступить к делу. «Доктор» подбодрил его:

— Так что же, место Розы так и будет пустовать? Я могу тебе такую поэму сочинить, что ни одна не устоит.

— Я за тем и...

— Ну, какую ты рыбку ловишь, а? Как ее зовут?

— Вот этого мне б как раз не хотелось говорить...

«Доктор» обиделся:

— Я здесь двенадцать лет, никто во мне не сомневался. Я нем, как могила, будто не знаешь?

— Да я не то чтоб сомневаюсь, доктор. Потом я скажу...

— Тебе нужно настоящее любовное письмо, так я уразумел?

— Я хотел, чтоб вы мне набросали письмецо, чтоб там было сказано...

— Давай к делу: дама какого разряда?

— Очень красивая.

— Я спрашиваю (досадно, он хотел сказать «я осведомляюсь», да сбился в последний момент), девица она, гуляющая женщина или морячка? — Под «морячками» он понимал мулаточек, подавальщиц из таверны, которые водили любовь с моряками из чувства, а не из выгоды, не требуя никакого вознаграждения.

— Это серьезная девушка, я хочу жениться на ней.

— Тогда тебе нужно достать апельсинового цветку и положить в конверт. И на бумаге чтоб было сердце, прозенное стрелой, а еще лучше — два сердца.

Гума отправился разыскивать требуемый материал. «Доктор» предупредил:

— Такое письмо обойдется в два крузадо<sup>1</sup>. Но зато уж письмо будет — пальчики оближешь.

Когда Гума вернулся, то «доктор» сразу же принялся составлять письмо и каждую фразу прочитывал вслух. Вместо имени любимой проставил лишь букву Л., как просил Гума.

Ссора вышла в том месте письма, где говорилось: «Моя хорошая я думаю что твое сердце это золотая раковина где скрыто слово доброта». Ибо первый вариант был, что сердце — это золотой ларец. Гума с ларцом не согласился и предложил раковину. Ларец — это что-то тяжелое, вроде сундука. Какая красота в нем? Никакой... Но Гума забыл, что «доктор» указаний не принимал. И потому ответил, что или будет ларец, или вообще не будет письма. И кто вообще пишет, он или Гума? Гума вырвал письмо из рук ученого, отнял также перо с чернильницей и отправился на свой шлюп. Зачеркнул ларец и заменил раковиной. И сам, испытывая при этом огромную радость, дописал письмо до конца. Закончив, он добавил объяснение о перемене почерка и отправился искать «доктора».

— Вот, возьмите за работу...

— Ты не хочешь, чтоб я закончил?

— Нет. Но я плачу... — И Гума вынул из кармана обещанные деньги.

«Доктор» положил заработок в свой карман, захлопнул крышку на чернильнице и очень серьезно посмотрел на Гуму:

— Ты видал когда-нибудь ларец?

— А как же? Даже возил один на моем судне в Марагожипе...

— И он не был золотой?

— Нет, кованый.

— А золотого ты никогда не видел?

— Никогда.

— Потому ты и говоришь, что раковина лучше. Если б ты видел золотой ларец, то не спорил бы.

И письмо так и пошло — с раковиной. Гума сам отнес его в тот же день по адресу. Ливия была дома, он посидел немножко и, уже собравшись уходить, сказал ей:

---

<sup>1</sup> Крузадо — старинная бразильская монета.

— Я хочу дать вам кое-что. Но поклянитесь, что распечатаете, только когда я уйду.

— Клянусь...

Он отдал письмо и опрометью бросился из комнаты. Остановился только у самого моря и целую ночь провел без сна, мучительно думая: что же она ему ответит.

Ответила она устно, когда он пришел на следующий день:

— Я готовлю приданое...

Дядя и тетка, возлагавшие такие надежды на замужество Ливии, узнав о предложении Гумы, порвали с ним и не велели впредь ступать на порог их дома. Никто не знал, в каких краях сейчас Родолфо, Гуме не у кого было искать помощи. Когда не был в плавании, он проводил долгие часы, блуждая вокруг дома Ливии, только чтоб увидеть ее хоть на мгновение, перекинуться парой слов, договориться о встрече. Страсть его все росла. В конце концов он открылся Руфино. Негр поковырял палочкой землю и сказал:

— Один только вижу путь...

— Какой?

— Украсть девушку.

— Но...

— Ничего такого тут нет. Ты с ней стовариваешься, крадешь ее ночью, укрываешь на шлюпе, плывешь в Кашоэйру. А как вернешься, родственникам придется согласиться.

— А с кем я ее оставляю в Кашоэйре?

— С матерью жены Жакеса,— сказал Руфино после короткого раздумья.

— Пойдем к Жакесу, спросим, как он на это посмотрит.

Жакес женился несколько месяцев тому назад. Теща живет в Кашоэйре, Ливия, разумеется, может пожить у нее, пока Гума договаривается с родственниками. Жакес согласился сразу. Гума отправился бродить вокруг дома Ливии, чтоб улучшить минуту и договориться с ней обо всем.

Ему удалось поговорить с Ливией, она была согласна, она тоже мучилась. Условились на следующую субботу, поздним вечером, дядя и тетка идут в гости. Она как-нибудь ухитрится остаться дома одна, тогда можно будет бежать... Договорившись о побеге, Гума отправился в

«Звездный маяк», где заплатил за выпивку для всех и согласился с «доктором», что ларец красивой раковины. Золотой, разумеется.

Стоял июнь, месяц южного ветра и частых бурь. В июне Иеманжа насылает южный ветер, а он жесток. Пересекать залив в эту пору крайне опасно и бури неистовей, чем когда-либо. Рыбацким лодкам и парусным шхунам в этот месяц приходится туго. Даже большим пароходам Баиянской компании угрожает опасность.

Этой ночью июньское небо застлано было тучами, напрасно Иеманжа приплыла взглянуть на луну. Южный ветер бежал по остывшему, сырому побережью, заставляя людей ежиться, плотней запахивать клеенчатые плащи. Гума еще засветло занял наблюдательный пост на углу улицы Руя Барбозы. Руфино был с ним, и оба не сводили глаз с дома Ливии. Они видели, как дядя с теткой запирали лавку, слышали, как в комнате хлопотали, видно, убирали со стола, потом старики вышли. Гума вздохнул с облегчением: ей удалось остаться дома. Он следил за стариками до самой трамвайной остановки: тетка улыбалась, дядя читал газету... Тогда Руфино отправился за Ливией. Гума остался на углу. Когда Руфино постучал, соседка звала Ливию:

— Ты решила остаться, Ливия? Тогда иди к нам, поболтаем...

Ливия увидела Руфино, шепотом сказала ему что-то, потом обернулась к соседке:

— Тетя забыла сумку... Прислала сказать, чтоб я принесла.

Вошла в комнату, взяла большую сумку и зонт, на прощание еще сказала соседке:

— Она ждет на трамвайной остановке. Возьму и зонтик, верно, дождь будет.

Соседка опустила глаза:

— Ручаюсь, что зонтик она захватила... Да, будет дождь.

И Ливия ушла. Они пересекли площадь, спустились на подъемнике, и перед глазами Ливии лег морской берег, а за ним море, новая ее родина. Гума закутал ее в клеенчатый плащ, Руфино шел впереди, чтоб уберечь их от встречи со знакомыми, а дождь уже падал, мелкий и холодный. У причала Руфино распрощался.

Стоял июнь, месяц южного ветра, когда Ливия смени-



ла город на море. «Смелый» двинулся против ветра и шел накренившись, багряный свет фонаря освещал ему морскую дорогу. Гума склонился над рулем. Какой-то лодочник у входа в гавань пожелал счастливого плавания. Первый раз в жизни Ливия ответила на морское приветствие:

— Счастливого плавания...

Южный ветер разметал ей волосы, от моря исходил какой-то новый, дотоле ей не ведомый, запах, и в груди ее поднялась радость, вылившаяся в песню. Ливия приветствовала океан самой прекрасной песней из всех, какие знала, и так «Смелый» пересек фарватер и вошел в гавань, ибо прекрасные песни, что поют морячки, умиряют ветер и море. Ливия была счастлива, а Гума так уж был счастлив, что впервые в жизни не заметил надвигавшейся бури. Ливия улеглась у его ног, и волосы ее развевались на ветру. Песня Ливии постепенно замерла. Оба молчали. Теперь только южный ветер насвистывал свою песню смерти.

Буря напала внезапно, как обычно случается в июне. Южный ветер яростно потряс парус «Смелого». Свет фонаря освещал огромные валы у рейда. За годы, проведенные на море, не раз приходилось Гуме сражаться с бурями. Некоторые оканчивались трагически для многих рыбаков, лодочников и капитанов шхун. Раз ночью он один вышел в море, чтоб привести в гавань заблудший корабль, буря так свирепствовала тогда, что никто не осмелился... И никогда Гума не знал страха. Смерть была его давняя знакомая, он привык к ней, привык думать, что и сам когда-нибудь очутится на дне морском. Сегодня буря обещала быть сильной, как никогда. Огромные валы кидались друг на друга, словно состязаясь в силе. Однако Гума встречался и не с такими бурями и никогда не испытывал страха. Почему же сегодня ему так страшно, почему он так боится, что ветер загасит фонарь? Первый раз в жизни сердце его бьется учащенно от страха перед морем. Ливия устала от напряженного ожидания, в каком жила весь этот день, от опасений, что все может провалиться в последнюю минуту, если дядя с теткой будут настаивать, чтоб она пошла с ними в гости, и сейчас растянулась на досках у ног Гумы, стоящего у руля. Он чувствует ласковое прикосновение ее длинных волос, раздуваемых ветром. Он тянется к ней всем существом,

а ведь может случиться, что им и не придется быть вместе. Быть может, поплывут они оба к землям Айока, так и не соединившись. Но час смерти еще не настал, ибо они еще не насладились друг другом, жажда их еще не утолена, и лишь когда тела их соприкасаются случайно и мгновенно, они дрожат от наслаждения, несмотря на бурю, несмотря на неистовый рев бушующих вокруг гигантских валов. Гума не хочет умирать, не слившись хоть раз с Ливией, ибо тогда он и после смерти будет обречен все возвращаться и возвращаться на место своей гибели в поисках своей желанной.

Ливия, ничего еще не знающая о жизни моря, спрашивает, широко раскрывая испуганные глаза:

— Оно всегда такое, Гума?

— Если б оно всегда было такое, то человек после второго плавания оставался бы на дне.

Тогда Ливия поднялась и крепко прижалась к Гуме:

— Мы можем умереть сегодня?

— Не обязательно... «Смелый» хорошее судно. И я кое в чем разбираюсь...— И, несмотря на бурю, Гума улыбнулся Ливии.

Она еще крепче прижалась к его плечу. И прошептала:

— Если ты думаешь, что мы умрем, то приди ко мне сейчас. Так будет лучше.

Гуме хочется того же. Тогда они умрут, уже узнав друг друга, утолив свою жажду. Так они умрут с миром. Но он знает, что, если удастся пересечь вход в гавань и достичь реки, он будет спасен и найдет место, куда пристать. Невозможно далее плыть против этого крепкого ветра, который завладевает судном и отбрасывает его далеко в сторону. Фонарь еще не погас, спасение еще возможно.

Дождь захлестывает палубу, платье на Ливии промокло и прилипло к телу, с Гумы ручьями течет вода. Паруса принимают полный удар ветра, и «Смелый» кренится, хочет выровняться, уступает, почти ложась на бок, и отойдя от первоначального пути, удаляется все больше и больше в сторону открытого моря, того, что принадлежит уж не им всем, а огромным трансатлантикам и черным грузовым гигантам. Гума удерживает руль из последних сил, все-таки управляя своим судном, вопреки бешеному натиску ветра и волн. Ливия прижимает голову к его плечу, умоляя:

— Если нам суждено умереть, приди ко мне...

— Может быть, и выдюжим...

На небе ни одной звездочки, не для любви эта ночь. Даже не слышно песен с пристани, только ветер воет. Но Гума и Ливия хотят любви этой ночью, которая может оказаться последней. Все так изменчиво и быстро в жизни на море. Даже любовь быстра. Волны омывают плюп и тела людей на палубе. Трудно сражаться с ними. Все, чего Гуме удалось добиться за долгие часы, — это удержаться в заливе, не быть унесенным в открытое море. Вон какой-то корабль входит в гавань. Тысячи огней освещают его. Волны ломают хребты о его высокий корпус, не властные над ним. Но они властны над маленьким парусником Гумы, который иногда целиком скрывается под каким-нибудь гигантским валом. Одна лишь Ливия придает Гуме силы, только страсть к ней, только желание жить для нее заставляет его продолжать борьбу. Никогда не испытывал он страха перед бурей. Сегодня — впервые. Сегодня он боится умереть, так и не узнав любовь Ливии.

Удалось наконец войти в реку. Но и здесь хозяйничает буря. Фонарь «Смелого» гаснет под ударом ветра. Ливия попыталась было вновь зажечь, да истратила целый коробок спичек, так ничего и не добившись. Гума старается направить судно в маленькую заводь, где можно переждать шторм. Их мало здесь, в начале реки. Разве что в тех местах, где вершит свой бег конь-призрак, есть одна такая. Однако для моряка лучше остаться во власти бури, чем оказаться там и слышать собственными ушами тяжелый скок белого коня, что был когда-то жестоким феодалом, владельцем бесчисленных плантаций и рабов. Но пути назад у Гумы нет, они уже вблизи той заводи. Уже ясно различим стук копыт. Вот промчался, возвращается вспять, вот опять глуше. Конь-привидение скачет по берегу реки, сумы, набитые камнями, бьют его по спине и бокам, молнии вырисовывают во тьме его силуэт.

Ливия поет тихонько и нежно, призывая Гуму. Но белый конь скачет по берегу — лучше отдаться буре и умереть. А как, наверно, хорошо прижаться телом к девичьему телу Ливии! Молния, разрезав ночь, высветила невдалеке маленькую заводь.

— Гума, смотри... мы можем пристать вон там.

Зачем думать о белом коне? Он не навлечет на нее смерть этой ночью, ее венчальною ночью. Белый конь скачет по берегу, но Ливия поет и не боится его. Она бо-

ится бури, южного ветра, грома — гневного голоса Иеманжи, молнии — гневного блеска ее глаз.

И Гума причаливает шлюп в маленькой заводи.

Много лет спустя один человек (старик, что уж и сам потерял счет своим летам) говорил, что не только лунные ночи даны для любви. Ночи бурь и гнева Иеманжи тоже хороши, чтоб любить. Стоны любви — это самая прекрасная на свете музыка, от которой молнии останавливаются в небе, преображаясь в звезды, а гигантские валы, набегая на песок побережья, где укрылись влюбленные, разбиваются на мелкие волны. Ночи бурь тоже хороши для любви, ибо в любви есть музыка, звезды и добро.

Музыка слышалась и в столах любви, вырывавшихся у Ливии. Звезды зажглись в ее глазах, и молнии остановились в небе. И гордый крик Гумы остановил гром. Огромные валы делались кротки, набегая на песчаную отмель маленькой заводи мелкими волнами. А Гума с Ливией были так счастливы, и была так хороша эта черная ночь без луны и без звезд, так полна любви, что конь-призрак почувствовал, как груз упал с его спины и искупление его заключилось. И никогда уж больше не слышно стало его бешеного скока по речному берегу близ маленькой заводи, куда с тех пор моряки водят своих подруг.

### СВАДЕБНЫЙ МАРШ

Родственники Ливии бушевали, угрожали убить обоих. Гума оставил Ливию у тещи Жакеса и возвратился в Баю. Родолфо, появившийся внезапно, как всегда, пытался успокоить стариков, не дал им сообщить в полицию. Гума встретил его в порту. Родолфо постарался было изобразить на лице гнев, но это ему не удалось. Он обнял Гуму:

— Я по-настоящему люблю сестру. Ты знаешь, что я человек поконченный, но она... Я хочу, чтоб она была счастлива. Тебе вот что надо сделать...

Гума перебил:

— Я хочу жениться на ней. В том, что я украл ее, виноваты старики... Не соглашались...

Родолфо засмеялся:

— Да я все знаю. Я их уговорю, не сомневайся. У тебя есть деньги, чтоб все оформить?

Гума рассказал Родолфо все, и на следующий день тот объявил, что свадьба состоится через двенадцать дней в церкви Монте-Серрат и в Гражданском управлении. Больше всех обиделся старый Франсиско. Он всегда находил, что моряк жениться не должен. Женщина — только помеха в жизни моряка. Однако ничего не сказал: Гума человек взрослый, вмешиваться в его жизнь негоже. Но одобрять... Нет, он не одобряет. В особенности теперь, когда жизнь так трудна, тарифы на перевозку грузов на лодках и парусных судах так низки... Он заявил Гуме, что съезжает с квартиры:

— Поищу какой-нибудь другой угол, где бросить якорь...

— Вы с ума сошли, дядя... Вы останетесь здесь — и все тут.

— Твоя жена будет недовольна...

— Вы меня почитаете за глупого гусака. В вашем доме кто распоряжается? Вы или прохожий?

Старый Франсиско пробормотал себе под нос что-то непонятное. Гума продолжал:

— Она вам понравится. Право, она хорошая.

Старый Франсиско еще ниже склонился над рваным парусом, который чинил. Вспомнил собственную свадьбу.

— Ну и праздник был, все даже удивлялись. Народ со всей округи собрался к нам жареную рыбу есть. Даже твой отец явился, а он, знаешь ведь, бродяга был отчаянный, никто никогда не знал, где его и искать-то. Не упомяну, чтоб столько народу когда собиралось. Разве что на похоронах жены.

Старик задумался, игла, которой он чинил парус, замерла в воздухе.

— К чему жениться? Все равно плохо кончится. Я не хочу накликать, нет, просто к слову пришлось...

Гума знал, что старый Франсиско прав. Тетка умерла от радости, когда однажды в бурю старый Франсиско вернулся невредимым. Умерла от радости, но другие умирали почти всегда от печали, узнав, что муж не вернулся из плавания.

Поэтому доктор Родриго взглянул на Гуму с каким-то испугом, когда тот пришел приглашать его на свадьбу. Гума хорошо знал, о чем тогда думал доктор Родриго, так пристально глядя на него. Наверняка вспоминал день, когда умер Траира, — ушел на корабле или на грозовой туче своего бреда, все зовя и зовя дочек. Ракул

все-таки получила новую куклу, только не от отца, вернувшегося из плавания. Гума помнил о нем, помнил и о других. Они остались навеки в море и плыли теперь к Землям без Конца и без Края. Как может женщина здесь, на побережье, жить без мужа? Иные стирают белье для семей из верхнего города, иные становятся проститутками и пьют по ночам в «Звездном маяке». И те и другие одинаково печальны — печальны прачки, что все время плачут, печальны проститутки, что все время смеются... Доктор Родриго протянул Гуме руку и улыбнулся:

— Обязательно приду поздравить тебя...— Но голос его тоже был печален. Он думал о Траире и о других подобных ему, прошедших через его врачебный кабинет.

Только донна Дулсе искренне обрадовалась и светло улыбнулась:

— Я знаю, жизнь от этого станет еще труднее. Но ты ее любишь, правда ведь? Хорошо делаешь, что женишься. Так не может продолжаться вечно. Я все думаю, Гума...— И в голосе ее звучала детская надежда. Она ждала чуда, Гума знал это, все на пристани знали. И ее любили, любили сухое ее лицо, кроткие глаза под очками, худую, начавшую уже горбиться фигуру. И водили к ней детей на учение — месяцев на пять, шесть. А она жадно искала того слова, какому надлежит их научить, слова, способного свершить чудо...

Она крепко сжала руку Гумы и попросила:

— Приведи ее сюда, я хочу на нее посмотреть...

Ну, а «доктор» Филадельфио, сунув пальцы в карман грязной жилетки, засмеялся довольным, тоненьким смешком:

— Пойдем отметим... — Потом вспомнил: — Если бы ты в письме написал «ларец», она бы уж давно согласилась...

И опрокинул стаканчик в «Звездном маяке» за здоровье Гумы и его суженой. Впрочем, за их здоровье выпила вся таверна. Некоторые были уже женаты, другие собирались жениться. Большинству, однако, не хватало духу принести женщину в жертву своей моряцкой жизни.

Ливия посетила дону Дулсе. Дядя с теткой уже помирились с ней и даже пришли повидаться. Принесли приданое, и все начали готовиться к празднику. Старый

Франсиско совершенно влюбился в Ливию. Он был так счастлив, что казалось, будто это он сам женится, а не племянник. На пристани только и разговоров было, что о свадьбе Гумы, которая в конце концов и состоялась в один из субботних дней, сначала в Гражданском управлении, куда пошло мало людей (Руфино был посаженным отцом и чуть ли не полчаса старательно выводил свою подпись под свадебным контрактом), потом в церкви Монте-Серрат, полной цветов. Тут уж собрался весь портовый люд, пришедший взглянуть на Гуму и его невесту. Все нашли, что хороша. Многие глядели на Гуму с завистью. В уголке собралась компания молодых парней. Там переговаривались:

— Счастливец: пригоженькая... Сам бы женился, коли б мог...

Кругом смеялись:

— Эх, брат, уж поздно...

Кто-то сказал:

— Тебе надо только немножко подождать... Когда она вдовой останется...

Никто больше не смеялся. Только какой-то старый моряк укоризненно махнул рукой в сторону парней:

— Такие вещи не говорятся...

Сказавший горькие слова сконфуженно опустил голову, а его недавно женившийся товарищ почувствовал, как по спине пробежал холодок, словно вдруг подул свирепый ветер с юга.

Ливия была сегодня такая милая, нарядная, и Гума улыбался, сам не зная чему. Холодный июньский вечер опускался над городом. Набережная была уже освещена. Все спустились вниз по холму.

Вечер был сырой и туманный. Люди кутались в плащи, дождь падал тонкий, колющий. На кораблях, несмотря на ранний еще час, зажглись огни. Шхуны со спущенными парусами тыкались мачтой в серо-свинцовое небо... Воды моря словно остановились этим сырým вечером, когда праздновали свадьбу Гумы. Старый Франсиско дорогою рассказывал Руфино историю своей собственной женитьбы, и негр, уже немного навеселе, слушал, отпуская время от времени соленые шуточки. Филадельфио обдумывал речь, какую вскоре произнесет за праздничным столом, и заранее предвкушал успех. Дождь падал на свадебную процессию, в то время как колокола церкви Монте-Серрат возглашали своим звоном пришествие ночи. Песок побережья был изрыт лужами,

и какой-то корабль тихо и печально отплывал от пристани в буро-свинцовую тьму...

Замыкали процессию донна Дулсе и доктор Родриго. Она все говорила ему что-то, и шли они, взявшись за руки, словно жених и невеста, только спина у невесты немножко уж сгорбилась и глаза с трудом различали дорогу, несмотря на очки. А жених все больше молчал и попыхивал трубкой.

— Маленький Мундиньо умер... — сказал он.

— Бедная мать...

— Я сделал все, что мог. Спасти его было невозможно. Здесь, во всяком случае. Отсутствие самой примитивной гигиены, никаких условий...

— Он ходил ко мне в школу. Хорошо учился. Он далеко бы пошел...

— Ну, в школу-то он недолго бы ходил.

— У этих людей нет возможности, доктор. Сыновья нужны им, чтоб помогать зарабатывать на хлеб. А многие из моих учеников такие способные, понятливые... Гума, например...

— Вы ведь много лет уже здесь, правда, донна Дулсе?

Она слегка покраснела и отозвалась:

— Да, давно. Грустно все это...

Доктор Родриго не понял как-то, относились ли эти слова к ее собственной жизни или к жизни всех этих людей. Она шла рядом с ним, еще больше сгорбившись, и дождь серебрил ей волосы.

— Иногда я думаю... Могла бы я уехать отсюда, найти лучшее место... Но мне жаль этих людей, они так привязаны ко мне. А мне между тем нечего сказать им...

— Как так?

— К вам в дом никогда не приходили плакать женщины? Не приходили вдовы, только что потерявшие мужей? Я видела много свадеб. Шли счастливые, как сейчас Ливия... А потом они же приходят плакать о мужьях, оставшихся в море. И мне нечего сказать им...

— Недавно умер человек у меня в кабинете, если только можно назвать это кабинетом... Умер от раны в животе. Все только о дочерях говорил... Он был дочник...

— Нечего мне ответить этим женщинам... Вначале я еще во что-то верила и была счастлива. Верила, что ко-



гда-нибудь бог сжалится над этими людьми. Но я столько тут навидалась, что теперь уж ни во что не верю. Раньше я хоть утешать умела...

— Когда я приехал сюда, Дулсе (она взглянула на него, когда он назвал ее просто Дулсе, но поняла, что он говорит с нею как брат), я тоже верил. Верил в науку, хотел изменить к лучшему жизнь этих людей...

— А теперь?

— Теперь мне тоже нечего им сказать. Говорить о гигиене там, где есть только нищета, говорить о лучшей жизни там, где есть только опасность смерти... Я потерпел поражение...

— А я жду чуда. Не знаю какого, но жду.

Ливия издали улыбалась доне Дулсе. Доктор Родриго поднял воротник плаща.

— Всё ждете чуда... Это доказывает, что вы еще сохранили веру в своего бога. А это уже кое-что. А я уже потерял веру в мою богиню.

До них донесся гул голосов, смех старого Франсиско в ответ на какую-то шутку Руфино, счастливый возглас Гумы, ласковый зов Ливии. Тогда дона Дулсе сказала:

— Не от небес жду я чуда. Слишком много молилась я святым, а люди вокруг все умирали и умирали. Но я сохранила веру, да. Я верю в этих людей, Родриго. Какой-то внутренний голос говорит мне, что это они свершат чудо, которого я жду...

Доктор Родриго взглянул на дону Дулсе. Глаза у учительницы были добрые и улыбались. Он подумал о своих неполучившихся стихах, о своей науке, в которой потерпел провал. Он взглянул на людей, весело смеющихся вокруг них. Шкипер Мануэл только что выпрыгнул на берег со своего «Вечного скитальца» и теперь прямо бежал об руку с Марией Кларой навстречу новобрачным. И громко смеялся, извиняясь за опоздание. Доктор Родриго сказал:

— Какое чудо, Дулсе? Какое чудо?

Она шла рядом, какая-то преображенная, похожая на святую. Кроткие глаза были устремлены куда-то далеко в море. Чей-то ребенок подбежал к ней, и она положила ему на голову свою высохшую руку:

— Чудо, да.

Ребенок шел теперь рядом с ними в сырой темноте приближающейся ночи. Дулсе продолжала:

— Вы никогда не воображали себе это море, полное новеньких шхун с белоснежными чистыми парусами, которые вели бы в плавание моряки, получающие за свой труд столько, сколько он действительно стоит? Не воображали моряцких жен, будущее которых было бы обеспечено, детей, что ходили бы в школу не шесть месяцев, а все годы, нужные для обучения, а некоторые наиболее способные могли бы поступить в институт? Представляли ли вы себе посты спасательной службы на реках, у входа в гавань... Иногда я воображаю себе все это...

Ребенок шел рядом, слушая молча и не понимая. Ночь была промозгла, море словно остановилось. Все было печально и бледно. Голос доны Дулсе продолжал:

— Я жду чуда от этих людей, Родриго... Чуда, похожего на луну, что сейчас осветит эту зимнюю ночь. Все проясняя, все делая прекрасным...

Родриго посмотрел на луну, всходящую на небе. Луна была полная и все освещала, преображая море и ночь. Вспыхнули звезды, песня раздалась со стороны старого форта, люди как-то выпрямились, свадебный кортеж стал вдруг наряжен. Ночная сырость исчезла, уступив место сухому холодку. Луна осветила ночь над морем и берегом.

Шкипер Мануэл шел в обнимку с Марией Кларой, и Гума улыбался Ливии. Доктор Родриго посмотрел на чудо ночи. Ребенок улыбался луне. Доктору Родриго показалось, что он понял, о чем говорила Дулсе. Он взял ребенка на руки. Это правда. Когда-нибудь эти люди совершат чудо. И он сказал тихонько, обращаясь к Дулсе:

— Я верю.

Процессия входила в дом Гумы. Старый Франсиско кричал:

— Входи, народ, входи, этот дом для всех. В тесноте, да не в обиде...

Когда доктор Родриго и дона Дулсе прошли мимо, он спросил:

— О чем говорили? Свадьба-то скоро?

Доктор Родриго отозвался:

— Мы говорили о чуде.

— Время чудес миновало...— засмеялся Франсиско.

— Нет еще,— горячо отрезала дона Дулсе.— Но чудеса теперь иные.

Луна входила в дом через окошко.

Жеремиас принес гитару. Другие взяли с собой гармоники, и негр Руфино тоже прихватил свою шестиструнную. Голос Марии Клары был сегодня достоянием всех. И стали петь песни моря, начав с той, где говорится, что ночь дана для любви (и при этом все улыбались Гуме и Ливии), и кончив той, где говорится о том, как сладко умереть в море. Танцы, конечно, тоже были. И все хотели танцевать с невестой и пили тростниковую водку, и ели сласти, присланные доной Дулсе, и фасоль с вяленным мясом, приготовленную старым Франсиско под руководством Руфино. И смеялись, смеялись, забыв и о сырости ночи, и о южном ветре, особенно хлестком в июне. Скоро праздник святого Жоана, и костры зажгутся по всему побережью, потрескивая в темноте.

Гума ждал, чтоб все ушли. С тех пор как он увез тайком Ливию и обнимал ее на песке заводи в ту бурную ночь, ему ни разу не удалось даже дотронуться до нее. А с того дня его чувство к ней все росло и росло. Он смотрел на гостей, которые смеялись, пили, разговаривали. Совершенно очевидно, что рано домой не собирался никто. Шкипер Мануэл рассказывал длинную историю о какой-то драке:

— Он ему как даст... И туда его, и сюда. От бедняги только мокрое место осталось...

Попросили Руфино спеть. Ливия положила голову на плечо Гуме. Франсиско потребовал тишины. Руфино тронул струну своей гитары, голос его разнесся по комнате:

Деньги миром управляют,  
управляют миром деньги...

Песня продолжалась. Голос певца был стремителен, как волны в бурю. Строки набегали одна на другую:

Яму вырою большую,  
мачту в яме укреплю  
и за косы пришвартую  
ту, которую люблю.

И взглядывал на мулаточек, сидевших у стены, и пел именно для них, ибо ему нравилось менять женщин, а женщинам нравилось лежать с ним на песке побережья. Про него говорили в порту, что он «лодочник хоть куда,

как ударит веслом, так и причалит где надо»... А на это большая ловкость пужна...

Нас учили наши предки,  
как кому невесту брать:  
ягуару — прыгать с ветки,  
а змее — в земле копать.  
Эдак тот, а этот — так,  
ведь любовь-то не игрушка,  
и пастух, коль не дурак,  
знает, где его телушка.

Все вокруг смеялись, мулаточки так и стреляли глазами в Руфино. Шкипер Мануэл сопровождал задорную мелодию, крепко ударяя себя ладонями в колени. Руфино пел:

Как узнать, кому печальней,  
коли дурь-то забрала:  
бьет кузнец по наковальне,  
ну, а поп — в колокола.

И теребил струны гитары. Ливии нравились задорные куплеты, хотя она, конечно, предпочла бы какую-нибудь из старых песен про море из тех, что пелись только в здешних местах. В них говорится про такое важное... Руфино заканчивал:

Я боль зубная сердца,  
я послан за грехи,  
я жечь могу без перца,  
пеку я без муки.  
Скажу, чтоб не забыли:  
я — куст, моя любовь,  
вчера меня срубили,  
я нынче зелен вновь.

После всех этих хвастливых намеков Руфино положил наконец гитару в уголок и стал стрелять глазами по сторонам:

— Спляшем, что ли, народ, день-то сегодня радостный...

Пошли плясать. Гармоники просто изнемогали, сходясь и расходясь, как волны. Шкипер Мануэл рассказывал доктору Родриго:

— Дни идут суровые, доктор. Плавать сейчас куда как опасно. Этой зимой много людей останется у Жанайны...

Шум праздника разносился до самой пристани. Пришел сеу Бабау, принес несколько графинов с вином, это был его подарок новобрачным. На сегодня он закрыл

«Звездный маяк», все равно никто не придет, весь народ здесь собрался... И сразу же подхватил даму и закружился по зале. Самба набирала силу, пол гудел под ногами, отстукивающими чечетку. Потом пела Мария Клара. Ее голос проникал ночь, как голос самого моря. Гибкий, глубокий... Она пела:

Ночь, когда он не вернулся,  
ночью печали была...

Голос ее был нежен, несмотря на силу. И, казалось, исходил из самой глубины морской и, как и тело ее, пахнул сырым песком побережья и соленой рыбой. Все в комнате сидели тихо и слушали полные внимания. Песня, которую она пела, была их исконной песней, песней моря:

Он ушел в глубину морскую,  
чтоб остаться в зеленых волнах.

Старая морская песня. Почему говорится в них всегда о смерти, о печали? А между тем море такое красивое, вода такая синяя, луна такая желтая. А слова и напевы этих песен такие печальные, от них хочется плакать, они убивают радость в душе.

Отправлюсь я в земли чужие,  
не плачьте, друзья, надо мной,  
уплыл туда мой любимый  
под зеленой морской волной.

Под зеленой морской волной уплывут когда-нибудь все эти моряки. Мария Клара поет, ее любимый тоже проводит все дни и ночи на море. Но она и сама родилась на море, возникла из моря и живет морем. Поэтому песня эта не говорит ей ничего нового, и сердце ее не сжимается от страха, как сердце Ливии, от слов этой песни:

Под зеленой морской волной...

Зачем Мария Клара поет эту песню на ее свадьбе? — думает Ливия. Словно она — враг ей. И сам голос ее подобен подступающей буре. Старуха, много лет назад потерявшая мужа, плачет в углу. Морская волна уносит все... Море и дарит и отымает. Все дарит, все отымает. Мария Клара поет:

Отправлюсь я в земли чужие..

К этим землям отправятся в свой день все моряки. К далеким землям Айока... Гума улыбается, полуоткрыв губы. Ливия опускает голову ему на плечо, впервые чувствуя страх за жизнь любимого. А если он когда-нибудь останется в море, что будет с нею? В песне поется, что все уйдут в свой день «под зеленой морскою волной».

Ливия дышит прерывисто. Песня кончается. Но в холодной июньской ночи голос этой песни не молкнет, достигая набережной, кораблей, шхун и рыбацких лодок. И стучит и стучит в сердца всех людей, собравшихся сегодня в доме Гумы. И чтоб забыть голос этой песни, все снова пускаются в пляс, а кто не пляшет, тот пьет.

Манека Безрукий подымает большую чашу и кричит:

— Пейте! Крепка проклятая!

Дождь падает за окошком. Тучи скрыли луну.

Ее свадебным маршем была печальная песня горя. Песня, заключающая суть всей жизни моряков. «Ушел, чтоб остаться в волнах» — так могла сказать любая женщина, провожая мужа в плавание. Печальная судьба у Ливии. Брат то появляется, то исчезает, никто не ведает, зачем и куда. И на свадьбу не явился, вот уж несколько дней, как от него ни слуху ни духу. Поначалу взял на себя все — ходил оформлять бумаги, назначил день, а потом вдруг исчез. Никто ничего не знал о его жизни — где он жил, чем питался, где мог приклонить свою красивую голову с напомаженными волосами. А муж каждый день уходит, чтоб остаться в зеленых морских волнах. Когда-нибудь вместо него вернется мертвое тело, а душа отправится в плавание к бескрайним землям Айока.

Ливия снимает платье и утирает слезы. Она не чувствует сейчас страстных желаний. А ведь жажда ее еще не утолена, ведь только раз привелось ей изведать близость своего мужчины. И вот сегодня они поженились, сегодняшняя ночь дана для любви, а она, Ливия, грустна, печальная песня погасила ее любовную жажду. Отныне она всегда, обнимая Гуму, будет представлять себе его мертвое тело, прибитое волной к берегу. Отныне всегда будет она помнить, что муж уходит, чтоб остаться в волнах. Она смогла бы радостно предаться ему, и пол-

ной была бы ее любовь, лишь если бы они могли бежать отсюда сегодня же ночью. Бежать подальше от этого моря, в сухие, суровые земли сертанов<sup>1</sup>, бежать от злого волшебства зеленых этих волн. Там мужчины и женщины думают о море спокойно. Они не знают, что море — жестокий властелин, убивающий людей. В одной из песен, что сложены в сертанах, рассказывается про жену Лампиана, знаменитого разбойника, властвующего в тех местах, — как она плакала что у нее нет платья цвета дыма из паровых труб. Пароходы бывают только на море, а в море никто не властвует, даже такой храбрец, как Лампиан. Море само — властелин, хозяин человеческих жизней, море таинственное и страшное. И все, что существует на море и у моря, окружено тайной... Ливия сжимается в комочек под одеялом и плачет. Теперь уж навсегда дни ее будут полны страдания. Она каждый день будет смотреть, как Гума уезжает, чтоб остаться в зеленых морских волнах.

И тогда она принимает внезапное решение. Она всегда будет уходить в море вместе с ним. Она тоже станет морячкой, будет петь песни моря, узнает все ветра, все рифы в излучинах реки, все тайны морских глубин. Ее голос тоже будет смирять бури, как голос Марии Клары. Она будет стремительно плыть на «Смелом» в состязаниях на быстроту и побеждать силою своих песен. И если когда-нибудь ее муж уйдет в глубины вод, она пойдет с ним, и они отправятся вместе в вечное плавание к неведомым землям Айока...

Гума из-за двери спрашивает, можно ли уже войти. Ливия вытирает глаза и отвечает, что можно. Свет свечи вянет, расцветают рассветные вздохи и слова. Он уйдет, чтоб остаться в волнах, поплывет по зеленому морю. Она громко плачет и прижимается к нему, и оба торопятся, словно смерть уже кружит над их брачной постелью, словно они в последний раз вместе.

Внезапно врывается рассвет, и Ливия клянется, что сын ее не будет моряком, не будет плавать под парусом шхун и шлюпов, не будет слушать печальных песен, не будет любить предательское это море... Какой-то густой мужской голос поет, что море — ласковый друг. Нет, сын Ливии не будет моряком. У него будет спо-

---

<sup>1</sup> Сертаны — внутренние засушливые районы Бразилии.

койная жизнь, и жена его не будет страдать, как страдает Ливия. Он не уйдет, чтоб остаться в зеленых волнах.

Внезапно врывается рассвет, и Гума думает, что сын его будет моряком, и научится управлять шхуной искусней, чем шкипер Мануэл, сумеет вести лодку еще лучше, чем Руфино, и когда-нибудь отправится в плавание на огромном корабле к берегам далеким, дальше, чем те, где бродит Шико Печальный. Море — ласковый друг, сын будет плавать по морю.

Внезапно врывается рассвет, и снова расцветают рассветные вздохи и слова.



---

## КРЫЛАТЫЙ БОТ

### ТРУДНЫЙ ПУТЬ В БОЛЬШОЕ МОРЕ

Трудные месяцы наступили на пристани. Рейсов мало, платежи за фрахт низкие, многим пришлось добывать себе на жизнь рыбной ловлей. Гума был в хлопотах, таскал прибывавшие грузы, брался за любую, хоть самую опасную, работу. Ливия почти всегда сопровождала его. Верная обету, данному самой себе, она старалась постоянно быть возле мужа. Но как-то, во время бури, Гума признался ей, что плавание становится много труднее, когда она рядом. Он, никогда не знавший страха, впадал в панику, едва заметив, что небо хмурится, а они всё еще в море. Он боялся за жизнь ее, Ливии, и потому испытывал ужас перед ветром и бурей. Тогда Ливия стала ездить с ним реже — только когда он бывал в духе. Случалось, что он и сам ее звал, увидев по глазам, что ей этого хочется:

— Хочешь со мной, чернявая?

Он называл ее чернявой, когда говорил особенно ласково. Она радостно бежала одеваться и на вопрос, почему она так любит сопровождать его, никогда не отвечала правды: что опасается за его жизнь. Говорила, что ревнует, боится, что в каком-нибудь порту он изменит ей с другой. Гума улыбался, попыхивая трубочкой, и говорил:

— Глупа ты у меня, чернявая. Я плыву и думаю о тебе.

Когда она не ездила, когда оставалась дома со старым Франсиско, слушая морские были, истории о кораблекрушениях, утопленниках, сердце ее наполнилось ужасом. Она думала о том, что муж сейчас в море, на ветхом суденышке, во власти всех ветров. Кто знает, вернется ли он, или труп его прибьет к берегу волна и положат его в сеть и понесут домой случившиеся рядом люди. А вдруг вернется с впившимися в мертвое тело, шевелящимися раками, как произошло с Андраде, исто-

рию которого так часто рассказывает старый Франсиско, покуда чинит паруса, а Ливия помогает ему.

Никогда не смогла она позабыть ту песню, что пела Мария Клара в день ее свадьбы: «Он ушел в глубину морскую, чтоб остаться в зеленых волнах». Каждое утро смотрела она на то, как муж уходит навстречу смерти, и не могла удержать его, и не осмеливалась сказать хоть слово. Другие женщины равнодушно провожали своих мужей. Но они родились здесь и не раз видели, еще детьми, как волна выбрасывала на песок мертвое тело — их отца, дяди или старшего брата. Они знали, что так оно и бывает, что это закон моря. Есть на побережье нечто худшее, чем нищета, что царит в полях и на фабриках, — это уверенность в том, что смерть подстерегает в море в неожиданную ночь, во внезапную бурю. Жены моряков знали это, это была предначертанная им судьба, вековой рок. Никто не восставал. Плакали отцы и матери, узнав, что сын погиб, рвали на себе волосы жены, узнав, что муж не вернется, уходили в забвение в непосильную работу или проституцию, покуда сыновья не вырастут и... не останутся в свой час на дне морском... Они были женщинами с берега моря, и сердца их были покрыты татуировкой, как руки их мужчин.

Но Ливия не была женщиной с берега моря. Она пришла сюда из любви к мужчине. И она страшилась за него, искала средств спасти его или, если то невозможно, погибнуть с ним вместе, чтоб не плакать о нем. Если ему суждено утонуть, то пусть утонет и она... Старый Франсиско знает много былей, но только о море. День-деньской рассказывает он разные истории, но истории эти полны бурь и кораблекрушений. С гордостью рассказывает он о гибели отважных — шкиперов и лодочников, которых знал лично, и сердито сплевывает каждый раз, когда на язык ему приходит имя Ито, который, чтоб спастись самому, загубил четверых, пльвших на его шхуне. Ибо ни один моряк не вправе поступать подобным образом. Таковы истории, рассказываемые старым Франсиско. Они не утешают сердце Ливии, напротив, прибавляют в нем горечи, заставляют не раз глаза ее наполняться слезами. А у старого Франсиско всегда наготове новая история, повествующая о новой беде. Ливия часто плачет, еще чаще убегает и запирается в доме, чтоб не слышать. И старый Франсиско, уже дряхлеющий, продолжает рассказывать самому себе, скупой на жест и на слово.

Потому-то Ливия так обрадовалась, когда Эсмералда, подружка Руфино, поселилась по соседству с ними. Это была красивая мулатка, крешкая, полногрудая, крутобедрая, лакомый кусочек. Много говорила, еще больше смеялась, грудным залихватным смехом и не слишком была озабочена судьбой Руфино, влюбленного в нее без памяти. Болтала все больше о нарядах и помадах, о туфельках, что недавно видала в витрине, — красота! — но Ливия привязалась к беседе: та отвлекала ее от мрачных мыслей о смерти. Мария Клара тоже иногда заходила, но Мария Клара, родившаяся и выросшая на море, больше всего на свете любила море, разве что шкипера Мануэла еще больше. Пределом ее желаний было, чтоб он оставался самым искусным моряком по всей округе, чтоб оставил ей сына и отважно ушел в плавание с Иеманжой, когда пробьет его час.

После классов заглядывала иногда и донна Дулсе перекинуться несколькими словами с Ливией. Но забавнее всех была Эсмералда, с ее дразнящим голосом, с ее задорно покачивающимися бедрами, с ее пустой, веселой болтовней. Целый-то день она была занята: что-то у кого-то брала займы, носилась в дом и из дому (старый Франсиско только облизывался да подмигивал ей, а она смеялась: «Гляньте-ка: старая рыба, а туда же...»), все время о чем-то спрашивала. Руфино плавал на своей лодке вверх и вниз по реке, проводил одну ночь дома, а неделю неизвестно где, она и значения этому не придавала. Как-то раз, застав Ливию в слезах, она сказала ей:

— Глупая ты, как я погляжу. По мужику плачешь... Пускай они там с другими бабами возятся, нам-то что? Ты посмотри на меня, я и внимания не обращаю...

— Да я не о том совсем, Эсмералда. Я боюсь, что он из какого-нибудь плавания не вернется, умрет...

— А мы все разве не умрем? Я вот не тревожусь. Этот умрет — другого найду.

Ливия не понимала. Если Гума умрет, она умрет тоже, ибо, кроме того, что она не перенесет тоски по нем; не создана она для тяжелой работы, а тем паче не способна торговать собой, чтоб заработать на хлеб.

Эсмералда не соглашалась. Если Руфино умрет, она найдет другого, жизнь продолжается. Да он у нее и не первый. Первый утонул, второй, настоящий муж, ушел грузчиком на корабле да и остался в чужих краях, а третий удрал с другой на своей лодке. Она не горевала особенно-то, жизнь продолжалась. Разве знала она, ка-

кая судьба ждет Руфино и что ему в один прекрасный день может в голову взбрести? Ее занимали новые платья, ладно сидящие на ее крутых бедрах, брильянтин, чтоб распрямлять жесткие завитки волос, яркие туфельки, чтоб бегать по пляжу. Ливия смеялась до слез над ее болтовней. Эсмералда развлекала ее... Лучшей соседки и представить себе невозможно. Ей, Ливии, просто повезло. Иначе как проводила бы она свои дни? Слушая нескончаемые истории старого Франсиско о трагедиях на море, думая о страшном дне, когда муж утонет?

Но стоило лодке Руфино пристать к берегу, как Эсмералду словно подменяли. Она чинно усаживалась у его ног и кричала Ливии:

— Соседка, мой негр приехал. Сегодня у нас праздничный обед...

Руфино был от нее без ума, кое-кто даже говорил, что она его ворожкой держит, что будто бросала в море записочки самой Иеманже, чтоб его приворожить, Руфино водил ее в кино, иногда они ходили танцевать в «Океанский футбольный клуб», куда спортивные команды и не заглядывали, но где зато по субботам и воскресеньям устраивались танцы для портового люда. Они казались счастливой парой, и Ливия частенько завидовала Эсмералде. Даже когда Руфино напивался и всех задевал, Эсмералда не боялась за него. Сердце ее было спокойно.

Иногда Ливия ждала Гуму в тот же день и так и не уходила с пристани, стараясь различить среди показавшихся вдали парусов парус «Смелого». Появится какой-нибудь похожий — и уж сердце ее так и рвется от радости. Она попросила Руфино вытатуировать ей на округлившейся руке, пониже локтя, имена Гумы и «Смелого». И смотрела то на свою руку, то на море, пока не убедится, что ошиблась, что это вовсе не «Смелый» там вдали, а чужая какая-то шхуна. Значит, надо ждать следующего паруса. Вон там на горизонте показался один, уж не он ли? И надежда вновь наполняла ее сердце. Нет, опять не он. Все еще не он... Случалось ей проводить целый вечер, а иногда и часть ночи в подобном ожидании. И когда становилось ясно, что сегодня Гума не вернется, что его что-то задержало, она возвращалась

домой с тяжестью на сердце. Напрасно Эсмералда говорила ей:

— Плохие вести сразу доходят. Если б случилось что-нибудь, мы б уж знали...

Напрасно старый Франсиско старался отыскать в усталой памяти такие случаи, когда люди задерживались в море, иной раз на целый месяц пропадет человек, а потом вдруг и явится... Не помогало... Она не спала, ходила взад-вперед по комнате, часто слыша (дома примыкали друг к другу) любовные стоны Эсмералды в объятьях Руфино... Она не спала, и в голосе ветра чудился ей голос Марии Клары, поющий:

Ночь, когда он не вернулся,  
ночью печали была,  
навек волна морская  
любовь у меня отняла.  
Отправлюсь я в земли чужие,  
не плачьте, друзья, надо мной,  
уплыл туда мой любимый  
под зеленой морскою волной.

А если сон одолевал ее и усталость бросала плашмя на постель, то ей снились кошмары, полные диких видений, буйные бури и тела утопленников в шевелящихся черных раках.

И успокаивалась она, только заслышав знакомый голос, наполненный радостью, громко зовущий сквозь полночь или раннее утро:

— Ливия! Ливия! Погляди-ка, что я тебе привез...

Но почти всегда первой глядела Эсмералда, которая мигот появлялась на своем пороге, крепко обнимала Гуму, прижимаясь полными грудями и спрашивая:

— А мне ты ничего не привез?

— Тебе Руфино привозит...

— Этот-то? Да он и сухого рыбьего хвоста не привезет...

Ливия выходила, глаза ее еще блестели от недавних слез, глядела на Гуму и даже и не верила, что это действительно он,— столько раз видела она его мертвым в своих снах...

Как-то в пятницу Гума предложил ей:

— Хочешь поехать со мной, чернявая? Я везу черепицу в поселок Мар-Граде, Мануэл тоже едет. Так что можно будет побиться об заклад...

— Насчет чего? — спросила Ливия, боясь, что тут пахнет ссорой.

— Да мы с ним как-то состязались в быстроте, он выиграл. Давно. А вот теперь посмотрим... Ты станешь петь, чтоб «Смелому» бежать легче...

— Разве это поможет? — улыбнулась она.

— А ты не знала? Ветер помогает тому, кто лучше поет. В тот раз он выиграл только потому, что Мария Клара пела красивую песню. А у меня петь было некому.

Он подхватил жену за талию, заглянул ей в глаза:

— Почему ты плачешь, когда меня нету дома, а?

— Неправда. Кто сказал?

— Эсмералда. Старый Франсиско тоже намекал. Ты скрываешь что-нибудь?

Глаза у нее были без тайны. Чистые и ясные, как вода, светлая вода реки. Ливия провела рукой по буйным волосам Гумы:

— Я бы, если б от меня зависело, каждый раз ездила с тобою...

— Ты за меня боишься? Я умею править рулем...

— Но все гибнут...

— Там тоже, — и он указывал вдаль и вверх, на город, — там тоже умирают. Ничего не поделаешь.

Ливия обняла его. Он бросил ее на постель, зажал ей губы своими, торопясь, как всегда, как торопятся люди, не знающие, что будет с ними завтра. Но на пороге показалась Эсмералда, прервав своим веселым голосом ласку Гумы.

Гума вышел, отправился грузить шлюп. Под вечер Ливия оделась понарядней и поехала по подъемной дороге в верхний город — навестить дядю с теткой. Она была в хорошем настроении. Завтра она отправится с Гумой в плавание в поселок Мар-Гранде, что означает Большое Море, а оттуда дальше, в Марагожипе. Так что они целых два дня проведут вместе и почти все время — на море.

Вечером Гума вернулся. Он знал, что Ливии нет дома, потому и не торопился особенно. Опрокинул рюмочку в «Звездном маяке» (сеу Бабау хлопотал у стойки, прихрамывая, «доктор» Филадельфио писал письмо для Манеки Безрукого и пил стакан за стаканом) и теперь стоял, беседуя с Эсмералдой, которая, вся разрядившись, выставилась в окошко.

— Не хотите ли зайти, сосед?

— Да не беспокойтесь, соседка.

Она приглашала, улыбаясь:

i — Зашли бы. В ногах правды нет.

Он уклонился. Да право же, не стоит, он уж почти дома, Ливия, верно, скоро придет... Эсмералда сказала:

— Вы кого боитесь? Ее или Руфино? Так Руфино в отъезде...

Гума взглянул на мулатку с испугом. Правда, она его обнимала при встрече, терлась грудью, позволяла себе всякие вольности, но такой прямой атаки еще не было. Она просто предлагалась, тут не могло быть сомнений... Мулатка хоть куда, слов нет. Но она любовница Руфино, а Руфино ему друг, и он не может предать ни Руфино, ни Ливию. Гума решил сделать вид, что не понял, но этого не понадобилось. Ливия шла вверх по улице. Эсмералда сказала:

— В другой раз...

— Ладно.

Теперь ему хотелось любовной встречи, не состоявшейся утром, потому что помешала Эсмералда, не состоявшейся сейчас, потому что помешала дружба. Дружба или Ливия, идущая вверх по улице? Гума задумался. Эсмералда была лакомый кусочек. И предлагалась ему. Она — любовница Руфино, а Руфино друг Гумы, оказавший ему немало услуг, бывший шафером на его свадьбе. А потом, у Гумы есть жена, самая красивая женщина в порту, зачем ему другая? У него есть женщина, которая его любит. Зачем ему пышущее здоровьем тело Эсмералды? Бедра Эсмералды колышутся, как корма корабля, мулатские крепкие груди словно готовы выпрыгнуть из-под платья. И у нее зеленые глаза, странно: мулатка — и зеленые глаза... Что сделал бы Руфино, если б Эсмералда изменила ему с Гумой? Убил бы обоих наверняка, уплыл бы потом в море без компаса, Ливия приняла бы яд... А глаза у Эсмералды зеленые... Ливия зовет:

— Иди, обед простынет.

Пусть стынет... Он увлекает ее в комнату.

— Ты сначала мне что-то покажи.

Она вся так и трепещет в постели. У него есть жена, самая красивая женщина в порту. Он никогда не предаст друга.

Утро выдалось великолепное, солнечное. Октябрь в этих местах — самый красивый месяц. Солнце еще не печет, утра светлые и свежие, ясные утра, без тайны и угрозы. С ближних парусников до самой базарной пло-

щади доносится запах спелых плодов. Сеу Бабау покупает ананасы, чтоб настаивать на них вкусную водку для посетителей «Звездного маяка». Толстая негритянка проходит по базару с подносом, уставленным банками со сладкой маниоковой кашей — мингау. Другую окружили любители маисового повидла — мунгунсы. Оба блюда, как и все байянские лакомства, сложны для приготовления, требуют большого кулинарного искусства... Старый Франсиско купил два ломтя маниокового мармелада... Какая-то шхуна отчаливает, окончив погрузку. Рыбачьи челны отправляются на лов, обнаженные по пояс рыбаки хлопочут над сетями. Рынок ожил, весь в движении, люди выходят из вагонов подъемной дороги, соединяющей два города — верхний и нижний.

Шкипер Мануэл уже на пристани. Мария Клара, в красном ситцевом платье, с лентой в волосах, стоит подле. Старый Франсиско, всегда просыпающийся с петухами, подходит к ним:

— Уезжаешь, хозяин?

— Жду Гуму. Молодожены, они, знаете, запаздывают...

— Да уж он почти полгода как женился...

— А можно подумать, что вчера,— сказала Мария Клара.

— Живут дружно, это главное.

Легки на помине. У Ливии глаза еще опухшие от бессонной ночи. Гума идет, устало свесив руки, уверенный, что проиграет состязание.

— Считаю, что ты выиграл, Мануэл. Я пошел ко дну.

Ливия бесхитростно рассмеялась, сжала руку мужа:

— Все будет хорошо...

Шкипер Мануэл лукаво приветствовал:

— Ты не торопиться...

Ливия теперь разговаривала с Марией Кларой, которая заметила:

— Ты очень располнела. Обрати внимание.

— Да нет, это я так.

— Смотри, скоро новый шкипер появится!

Ливия покраснела:

— Не шкипер и не рыбак. Мы об этом пока не думаем... Денег едва хватает на двоих.

Мария Клара призналась:

— Вот то-то и есть. Но я говорю Мануэлу: если ты хочешь, то я тоже согласна. Боюсь только, вдруг девчонка выскочит...



Шкипер Мануэл был уже на своей шхуне. Старый Франсиско направился было к группе мужчин, беседующих возле базара. Но остановился, чтоб посоветовать Гуме:

— Как будете обходить остров, постарайся обогнать Мануэла. Он в таких маневрах не слишком силен.

— Хорошо,— отозвался Гума, заранее уверенный, что проиграет.

На базаре люди держали пари. Многие ставили на шкипера Мануэла, но Гума, после спасения «Канавиейраса» и в особенности после случая с Траирой (о котором в порту все-таки узнали), тоже имел своих восторженных почитателей.

«Вечный скиталец» двинулся первым. Ветер был попутный, он сразу вырвался вперед, взяв курс на волнолом. Гума только что поднял якорь «Смелого». Ливия держалась за канаты паруса. Со стороны волнолома доносился голос Марии Клары:

Лети, мой парусник, лети  
с попутным ветром по пути...

У волнолома «Скиталец» дожидался «Смелого». Оттуда начиналось состязание. Шлюп Гумы пошел вперед, совершая первые ловкие маневры. На пристани стояла группа людей в ожидании. «Смелый» почувствовал ветер, паруса надулись, он скоро достиг «Скитальца». И началось. Шкипер Мануэл шел немного впереди, Мария Клара пела. Гума ощущал какую-то тяжесть во всем теле, руки у него ослабли. Ливия подошла и улеглась у его ног. Ветер разносил голос Марии Клары:

Лети, мой парусник, лети  
с попутным ветром по пути.

Ливия тоже запела. Только музыка может смирить ветер. Только музыкой можно подкупить море. А голоса, предлагаемые сейчас в дар морю и ветру, были глупости и красивы. Ливия пела:

Плыви, мой парусник, плыви,  
попутный ветер обгони.

...Песня торопит бег «Смелого». Утро роняет блики света на сине-голубую воду. Гума мало-помалу перестает чувствовать томную усталость, оставшуюся в теле после ночи любви, и в приливе энергии налегает на руль,

чтоб помочь ветру. «Смелый» идет теперь почти вровень со «Скитальцем», и шкипер Мануэл кричит Гуме:

— А ну, чья возьмет, парень?

Остров Итапарика видится зеленым пятном на синем фоне моря. Оно такое гладкое у берега, что кажется, можно различить камни на дне. Наверно, и раковины есть. Из-за раковины Гума когда-то чуть не рассорился с Филадельфио. Когда «доктор» хотел в письме к Ливии поставить «ларец», а Гума — «раковину»... Он был тогда так влюблен в Ливию. А теперь разве нет? Только что он сжимал ее в объятиях и сейчас, в этом состязании на быстроту со шкипером Мануэлом, совсем не думает о том, чтоб выиграть, а лишь о том, чтоб все это быстрее окончилось и он смог снова сжать ее в объятиях. Голос Марии Клары разносится у входа в гавань. Гума зовет:

— Иди ко мне, Ливия.

— Только после того, как ты выиграешь состязание.

Она знает, что, если сейчас выполнить его просьбу, он позабудет обо всем — о руле, о состязании, о добром имени «Смелого» — и будет помнить только о любви.

«Смелый» и «Скиталец» идут параллельно. Ветер подгоняет их, люди направляют их бег. Кто придет первым? Никто не знает. Гума всей силой налегает на руль, Мария Клара поет. Ливия тоже возобновляет прерванную было песню. И «Смелый» бежит весело. Но шкипер Мануэл вдруг низко склоняется над рулем и выводит «Скитальца» вперед.

Труден путь в Большое Море. Сейчас придется оги-  
бать остров. Здесь высокий риф. Шкипер Мануэл бросает судно вправо, чтоб выиграть расстояние. Он уже довольно далеко впереди «Смелого». Но Гума использует маневр, которого никто не мог ожидать, — «замкнутый круг» над самым рифом, скрипнув даже по камню килем своего судна. И когда шкипер Мануэл возвращает шхуну на прежний путь, оказывается, что «Смелый» уже намного обогнал его, и рыбаки на пляже поселка Мар-Гранде приветствуют восторженными криками героя, совершившего только что на их глазах подвиг ловкости и храбрости. Никогда еще не приходилось им видеть, чтобы судно развернулось над самым рифом. Один только старый рыбак отнесся недоверчиво...

— Он выиграл, но второй моряк опытнее. Опытный моряк не должен так вот бросать свое судно прямо на камни.

Однако молодежь не хочет слушать столь разумных доводов и страстно рукоплещет Гуме. Старик, ворча, уходит. «Смелый» причаливает к берегу. Сразу вслед за ним причаливает и «Скиталец», и шкипер Мануэл смеется:

— Все равно. Тогда я выиграл. Теперь ты. В такой вот день видно, кто упрямее.— Он кладет руку на плечо Гумы: — Но помни: то, что ты сегодня сделал, два раза не делается. На второй раз судно разобьется о риф.

Гума не согласен:

— Да это ж легче легкого...

Ливия улыбается, Мария Клара шутит:

— А будущий шкипер тоже будет так поступать?

Ливия затуманивается и думает, что ее сын никогда так поступать не будет. И все-таки она восхищается смелым маневром, считая его достойным настоящего мужчины.

Гума и шкипер Мануэл принялись за разгрузку. Потом они снова нагрузят свои суда и направятся в Мар-гожипе, откуда привезут сигары и табак. Они решили вместе совершить это путешествие, раз уж подвернулся такой удачный случай в эти мертвые месяцы.

Мария Клара и Ливия идут в поселок по улице, продолжая с собою пляж. Дома здесь с соломенной кровлею, и у торговцев рыбой, проходящих мимо, штаны засучены по колено, а руки сплошь покрыты татуировкой. Здесь, в Мар-Гранде, устраиваются кандомбле, пользующиеся громкой славой, и здешних жрецов знают и уважают по всей округе. В дачной зоне есть даже каменные дома. Но земля эта — земля рыбаков. Каждое утро на рассвете выходят они на лов на своих челнах и возвращаются к вечеру, часов после четырех. Когда-то они возили дачников из столицы штата, теперь для этого есть катер.

Стоит октябрь, и еще властвует зюйд-вест. Но когда настанет лето, подует «свежак», как его здесь называют. Дачники, приехав на катере, должны все же, прежде чем высадиться на берег, отдавать себя в руки рыбаков, чтоб миновать рифы, к которым катер не отваживается подойти. Только маленькие парусники ловко лавируют среди них. И нигде буря так не свирепствует, как в этой зоне...

Обо всем этом думает Ливия, медлительным шагом

пересекая пляж — главную здешнюю улицу. Мария Клара идет молча, только иногда вдруг нагнется и подымет какую-нибудь раковину:

— Я из них сделаю рамку для фотографий...

Внезапно им навстречу выходят цыгане. Раньше еще прошел мимо них какой-то растрепанный мужчина, ударяя в бубен. Теперь идут четыре женщины. Грязные, говорящие на незнакомом языке, кажется, спорящие о чем-то между собою. Мария Клара предлагает:

— Погадаем по руке?

— Зачем? — противится Ливия, которой страшно.

Но Мария Клара бежит к цыганкам, не обращая внимания на слова подруги. Старуха цыганка берет руку Марии Клары, договариваясь заранее:

— Дай четыреста рейсов, и отгадаю все: настоящее, прошедшее и будущее.

Другая цыганка подходит к Ливии:

— Хочешь, прочту твою судьбу, красавица?

— Нет.

Мария Клара подзадоривает:

— Дашь одну монетку, глупенькая, и все будешь знать...

Ливия протягивает цыганке руку и монетку. Старуха тем временем говорит Марии Кларе:

— Вижу дальнюю дорогу. Много ездить будешь. Много детей народишь...

— Пусть Жанаина услышит тебя... — смеется Мария Клара.

Цыганка, рассматривающая ладонь Ливии, беременная, с длинными серьгами в ушах, повествует:

— С деньгами у тебя туго, дальше хуже пойдет. А мужа твоего ждет большая удача, но только через большую опасность.

Ливия перепугана. Цыганка говорит:

— Прибавь десятку, и я отведу опасность.

У Ливии больше нет денег, она просит Марию Клару ссудить ей десять тостанов. И отдает цыганке, проворчавшей в ответ нечто невнятное. И гадалки уходят, возобновив на своем непонятном языке прерванный спор. Мария Клара смеется:

— Она сказала, что я нарожу дюжину детей. Мануэл будет недоволен. Я-то бы хотела. Посадила б всю дюжину на «Скитальца»... и по волнам.

А в ушах у Ливии все звучат слова цыганки: «...через большую опасность...»

Какая еще опасность грозит Гуме? В какую еще историю он впутается? Цыганка, наверно, имела в виду опасности жизни моряков вообще... Господи, нет конца этому пляжу!.. Подруги возвращаются наконец на пристань. Оба парусника уже разгружены. Надо готовить обед, жарить рыбу. Гума и шкипер Мануэл радостно смеются, вдыхая воздух, пропитанный вкусным запахом жареной рыбы. И, поев, снова принимаются грузить свои суда.

Уже поздно ночью выходят в море. Оно все так же спокойно на трудном пути из Большого Моря. Со своих шхун они еще слышат музыку и песни на чужом и странном языке цыган. Красивая музыка, только грустная... Гума обращается к Ливии:

— Поют, словно горе накликают...

Ливия опускает голову и молчит. По небу рассеяны звезды без числа.

Труден путь из Большого Моря. Потому суда идут осторожно, тщательно обходя рифы. Здесь многие уж погибли. В одну бурную ночь остались навеки у этих рифов Жакес и Раймундо, его отец. Это Гума нашел их тела, когда возвращался из Капоэйры. Старик крепко сжимал мертвой рукой край рубахи сына, видно, в минуту гибели пытался его спасти. И Жудит стала вдовой в ту ночь. Ливия до рассвета ждала Гуму на пристани. Это Руфино сообщил, что погиб Жакес. Ливия не забыла, что теща Жакеса приютила ее, когда она бежала из дому с Гумой. И вот рифы Большого Моря отняли навек Жакеса и его отца, и волны сомкнулись над ними... Труден путь в Большое Море, повторяемый каждый день десятками судов...

Цыганка сказала Ливии, что скоро мужу ее будет грозить опасность. Какой еще трудный морской путь придется пройти Гуме? Жизнь Ливии уже так переполнена отчаянием и тоской... Когда Гума уходит в плавание, сердце Ливии предчувствует одну лишь беду. Мария Клара даже сказала, что это дурная примета, что так, не ровен час, и накличешь беду.

Труден путь в Большое Море, поглотивший уже стольких людей! Когда-нибудь настанет черед Гумы, но раньше — так сказала цыганка — ему предстоят еще опасные труды. Неужто он станет теперь плавать только по этому опасному пути? Кто знает, что может в жизни

случиться? Даже цыганки не знают, умеющие слушать голос моря, приложив ухо к раковине. И те не знают.

Ливия привезла с собою горсть цветных ракушек и сделала из них рамку, в которую вставила карточку Гумы, ту, где он снят в саду возле подъемной дороги и стоит, прислонясь к дереву. Другую, на которой виден также «Смелый», она запечатала в конверт и послала Иеманже, прося богиню не отнимать у нее отца ее будущего ребенка. Ибо Мария Клара оказалась права. Есть уже новое существо, которое ворочается пока еще в животе Ливии, существо, что когда-нибудь — такова судьба — тоже отправится в плавание по трудному пути в Большое Море.

### ЭСМЕРАЛДА

Прежде всего Ливия отправилась к доктору Родриго. Он всегда настаивал, что беременным женщинам следует быть под наблюдением врача. Платы за это он не требовал, а роды от этого проходили легче. На пристани говорили также, что доктор не отказывался «посылать ангелочков на небо» и что немало абортот было делом рук доктора Родриго. Как-то раз дона Дулсе даже спросила его, правда ли это.

— Правда. Эти бедняжки живут черт знает как, голодают, мужья их гибнут в море. Вполне понятно, что многие из них не хотят иметь больше детей. Иногда у них есть уже восемь, а то и десять. Они приходят ко мне, просят, что ж мне делать? Ведь не посылать их к внахаркам... Это еще хуже...

Дона Дулсе хотела возразить, но смолчала. Действительно, он прав... Она опустила голову. Слишком хорошо она знала, что не из злого умысла делали себе абортот эти женщины. Если они решались на такое, то затем лишь, чтоб дети потом не росли заброшенными, не толклись сызмальства по портовым кабакам, не вынуждены были наниматься грузчиками с восьми лет. Денег в семье всегда не хватало. Доктор Родриго был прав, делая абортот. Просто в ней, доне Дулсе, говорил ее неудовлетворенный инстинкт материнства. Ей все представлялись белокурые головки, детские нестройные голоса... Доктор Родриго сказал:

— Надо видеть жизнь такой, как она есть... Я не жду чудес...

Она улыбнулась:

— Вы правы. Но как это жаль...

Однако Ливия пошла к доктору Родриго не затем, чтоб вырвать из чрева свое дитя. Она пошла, чтоб узнать, не ошиблась ли, так как беременность была, видно, еще недолгая и ничего еще не было заметно. Доктор Родриго подтвердил беременность и сказал, что готов наблюдать ее и помочь родам. Она, наверно, не захочет делать аборт? Доктор Родриго прекрасно знал, что здешние женщины никогда не хотят лишиться первого своего ребенка.

Гума приехал в полночь. Бросил в угол вещи, показал Ливии подарок, что привез ей. Он выиграл целый отрез материи, побившись об заклад с одним матросом с корабля компании «Ллойд Бразилейро», стоявшего на якоре в порту. Корабль был на ремонте, и матрос решил, пока суд да дело, съездить навестить семью в Капоэйру. Он отправился на шлюпе Гумы, готовящемся к отплытию (это было три дня назад) и держал с Гумой пари, что тот не обгонит баиянский пароход, идущий тем же курсом. Гума выиграл пари.

— Это был риск, но уж больно мне материя приглянулась. Он ее одной своей знакомой вез...

Ливия сказала:

— Ты больше никогда не должен так поступать.

— Да это не страшно...

— Нет, страшно.

Тут только Гума обратил внимание, что она сегодня как-то особенно серьезна.

— Что это с тобой, а?

— У меня тоже есть для тебя подарок.

— А какой же?

— Уплати залог...

Он вынул из кармана двести рейсов.

— Оплачено.

Тогда она вплотную подошла к нему и сообщила:

— У нас будет ребенок...

Гума соскочил с кровати (он начал уж было раздеваться) и кинулся к двери. Ливия удивилась:

— Ты куда же?

Он принялся стучаться к Руфино. Стучался долго. Услышал бормотание внезапно разбуженных соседей и смутился, что так вот врывается в чужой дом среди ночи, только чтоб сообщить новость, что у Ливии будет ребенок... Услышал сонный голос Руфино, вопрошавший:

— Кто там?

— Свой. Это Гума.

Руфино отворил. Вид у него был заспанный. Эсмералда появилась в дверях комнаты, кутаясь в простыню.

— У вас случилось что-нибудь?

Гума не знал теперь, что и сказать. Глупо просто, разбудил людей... Руфино настаивал:

— Так что же произошло, брат?

— Ничего. Я только что приехал, зашел повидать вас.

Руфино не понимал:

— Ладно, раз ты не хочешь рассказывать...

— Да так, глупости...

Эсмералда не отступала:

— Да развяжи язык, парень. Снимайся, что ли, с якоря...

— У Ливии будет ребенок...

— Как? Сейчас? — испугался Руфино.

Гума злился на свое чудачество.

— Да нет же. Через некоторое время. Но сегодня она убедилась, что беременна.

— А-а...

Руфино глядел в ночь, открывшуюся за порогом. Эсмералда помахала Гуме на прощание:

— Я завтра задам перцу этой обманщице. Отрицала ведь.

Руфино вышел вместе с Гумой. Шел задумчивый.

— Пойдем в «Маяк», выпьем по глотку.

Выпили. Не по глотку, конечно. В таверне была масса народу — матросы, лодочники, проститутки, грузчики из доков. Уж под утро, совсем опьяневший, Руфино предложил:

— Друзья, выпьем по стаканчику за одно событие, которое произойдет у моего дружка Гумы.

Все обернулись. Наполнили стаканы. Какая-то тощая женщина подошла к Гуме спросить:

— А в чем дело-то?

Она не была пьяна. Гума сказал:

— У моей жены будет ребенок.

— Как здорово!.. — И женщина выпила немножко пива из стоящего на столике стакана. Потом вернулась в свой угол к мужчине, нанявшему ее на эту ночь. Но прежде улыбнулась Гуме и сказала:

— Желаю ей счастья.

Домой пришли только под утро.



Гума сообщил новость всем своим знакомым, а их было много, рассеянных по всему побережью. Некоторые дарили ему подарки для будущего сына, большинство просто желало счастья. Эсмералда тоже зашла на следующий день утром. Наболтала с три короба, бурно поздравляла соседку, уверяя, что так уж рада, так рада, словно это с нею самой приключилось... Но когда Ливия вышла в кухню приготовить кофе для их троих, завела речь весьма рискованную:

— Только мне вот все не попадается такой мужчина, от которого у меня б был ребенок. И в этом мне не судьба. С моим не выйдет...— Она сидела, скрестив ноги, из-под короткого платья виднелись крепкие ляжки.

Гума засмеялся:

— Вам надо только сказать Руфино...

— Ему-то? Да к чему мне сын от негра? Я хочу сына от кого-нибудь побелей меня, чтоб улучшить породу...

И лукаво взглядывала на Гуму, словно чтоб указать, что именно от него она хочет иметь ребенка. Зеленые ее глаза указывали на то же, ибо уставились на Гуму с каким-то странным, словно зовущим выражением. И губы ее были полуоткрыты, и грудь дышала тяжело. Гума с минуту был в нерешимости, потом почувствовал, что не может дольше сдерживаться. Но тут же вспомнил о Руфино, вспомнил и о Ливии:

— А Руфино?

Эсмералда вскочила как ужаленная. Крикнула Ливии в кухню:

— Я ухожу, соседка. У меня дел по горло. Заскочу попозже.

Лицо ее пылало яростью и стыдом. Она быстро вышла и, проходя мимо Гумы, бросила отрывисто:

— Тряпка...

Он остался сидеть, закрыв лицо руками. Чертова баба... Во что бы то ни стало хочет его погубить. А Руфино-то как же? По-настоящему, надо было бы обо всем рассказать Руфино. Но он, может статься, и не поверит даже, еще, пожалуй, поссорится с ним, ведь Руфино по этой мулатке с ума сходит. Не стоит ему говорить. Но от нее надо подальше, нельзя предавать друга. Самое худшее было то, что, когда она так вот его соблазняла, когда глядела на него зелеными своими глазами, он забывал обо всем — и о Руфино, оказавшем ему столько услуг, и о беременной Ливии, и только одно существова-

ло для него — гибкое тело мулатки, крепко торчащие груди, томно раскачивающиеся бедра, жаркое тело, зовущее его, зеленые глаза, зовущие его. Морские песни повествуют о людях, тонущих в зеленых морских волнах. Зеленых, как глаза Эсмералды... И он чувствовал, что тонет в этих зеленых глазах. Она желает его, она влечет его. Тело ее неотступно раскачивается перед глазами Гумы. А она вот назвала его тряпкой, решила, что он не в силах повалить ее, заставить ее стонать под его лаской. О, он ей покажет, на что способен! Она еще застонет в его руках! Зачем думать о Руфино, если она любит его, Гуму? А Ливия никогда не узнает... Но вот она, Ливия. Входит с чашкой кофе и испуганно смотрит на разгоряченное лицо Гумы:

— У тебя что-нибудь случилось?

Она беременна, живот ее округляется с каждым днем. Там, в этом круглом животе, уже существует их сын. Она не заслуживает быть обманутой, преданной. А бедный Руфино, такой добрый, всегда рядом, с самого детства? Из чашки кофе словно смотрят зеленые глаза Эсмералды. Грудь ее, как крутые холмы, напоминают грудь Розы Палмейрао. Надо написать Розе Палмейрао, думает Гума, сообщить, что скоро у него родится сын... Но мысль его неотступно возвращается к одному и тому же. Фигура Эсмералды стоит у него перед глазами. И Гума спасается бегством: спешит на пристань, где сразу же нанимается привезти груз табака из Марагожипе, хоть и придется идти туда порожняком.

Из Марагожипе Гума направился в Кашоэйру. Ливия напрасно ждала его в тот день. Долго оставалась она на пристани — весь день и всю ночь. Эсмералда тоже ждала. Она не сумела его забыть, слишком уж нравился ей этот моряк с почти белой кожей, о смелости которого рассказывали чудеса. Она еще более упорно желала его потому, что Ливия была так счастлива с ним, так трогательно заботилась о муже. Эсмералда почти ненавидела Ливию за то, что она так непохожа на нее, ей хотелось ранить Ливию в самое сердце. Эсмералда знала, что добьется своего, и готова была на все для этого. Она решила соблазнить его всеми правдами и неправдами...

Гума вернулся только через два дня. Эсмералда ждала его у окошка:

— Пропал совсем...

— Я уезжал. Табак возил.

— Твоя жена уж думала, что ты ее бросил...

Гума неловко засмеялся.

— А я думала, ты испугался...

— Испугался чего?

— Меня.

— Не пойму отчего.

— А ты уже забыл, как однажды меня обидел? —

Мощные груди сильнее обнажились в вырезе платья.

— Там посмотрим...

— Что посмотрим-то?

Но Гума снова бежал. Еще мгновение — и он вошел бы к ней и даже не дал бы открыть дверь в комнату, тут же, на пороге, все бы и произошло.

Ливия ждала его:

— Как ты задержался. Почти неделю ехал до Марагожипе и обратно...

— Ты думала, я сбежал?

— С ума сошел...

— Так мне сообщили.

— Кто ж это выдумал?

— Эсмералда сказала.

— А ты теперь раньше, чем идти домой, заводишь беседу с соседкой, а?

Хуже всего, что в голосе ее не было ни капли гнева. Только грусть. И вдруг он, сам не зная почему, принялся горячо защищать Эсмералду:

— Она шутила. Мы поздоровались, она так ласково о тебе говорила. Похоже, что она тебе настоящий друг. Это радует меня, потому что я очень люблю Руфино.

— Зато она его ни вот столечко не любит.

— Я заметил... — мрачно отозвался Гума. (Теперь он уже не помнил, что Эсмералда была почти что его любовницей. Он сердился на нее за то, что она не отвечает на чувство Руфино.) — Я заметил. Когда Руфино поймет это, случится что-нибудь страшное...

— Не надо говорить дурно о людях... — сказал старый Франсиско, входя в комнату. Он пришел пьяный, что случалось редко, и привел к обеду Филадельфио. Он встретил «доктора» в «Звездном маяке» без гроша в кармане и, пропив с ним вместе то небольшое, что было у него самого, привел обедать.

— Найдется паек еще на одного? Едок-то что надо. Филадельфио пожал руку Гуме:

— Что ни дашь, подойдет. Так что успокойся и воды

в огонь, то бишь в бобы, не подливай.— И сам охотно засмеялся своей шутке. Другие тоже засмеялись.

Ливия подала обед. Вечная жареная рыба и бобы с сушеным мясом. За обедом Филадельфио рассказал историю с письмом, которое писал Ливии по поручению Гумы, и о ссоре из-за раковины и ларца. И спросил Ливию:

— Правда, ларец лучше?

Она приняла сторону Гумы:

— Раковина красивей, я нахожу...

Гума был смущен. Ливия не знала раньше, что письмо он писал в сотрудничестве с «доктором». Филадельфио настаивал:

— Но ведь ларец золотой. Ты видала когда-нибудь золотой ларец?

Когда старики ушли, Гума принялся объяснять Ливии историю с письмом.

Она бросилась ему на шею.

— Молчи, негодный. Ты никогда не любил меня...

Он схватил ее на руки и понес в комнату. Она запротестовала:

— После обеда нельзя.

Однако в полночь Ливии стало очень плохо. Что-то с ней вдруг сделалось, ее тошнило, казалось, она сейчас умрет. Попробовала вызвать рвоту, не удалось. Каталась по кровати, ей не хватало воздуха, живот весь болел.

— Неужто я рожу раньше времени?

Гума совсем потерял голову. Опрометью бросился вон, разбудил Эсмералду (Руфино был в отъезде) сильными ударами в дверь. Она спросила, кто стучится.

— Гума.

Она мигом отворила, схватила его за руку, стараясь затащить в дом.

— Ливия умирает, Эсмералда. С ней делается что-то ужасное. Она умирает.

— Что ты! — Эсмералда уже вошла в комнату.— Сейчас иду. Только переоденусь.

— Побудь с ней, я пойду за доктором Родриго.

— Иди спокойно, я побуду.

Заворачивая за угол, он еще видел, как Эсмералда быстро шлепала по грязи к его дому.

Доктор Родриго, одеваясь, попросил рассказать подробнее, что произошло. Потом утешил:

— Наверно, ничего серьезного... Во время беременности такие вещи бывают...

Гуме удалось разыскать старого Франсиско, бросившего якорь за столиком «Звездного маяка» и попивавшего вино с Филадельфио, рассказывая свои истории оказавшимся рядом морякам. В углу слепой музыкант играл на гитаре. Гума разбудил Франсиско от сладкого опьянения:

— Ливия умирает.

Старый Франсиско вылупил глаза и хотел бежать немедленно домой. Гума удержал его:

— Нет, доктор уже пошел туда. Вы отправьтесь в верхний город и позовите ее дядю с теткой. Скорей пойдите.

— Я хотел бы видеть ее.— Голос у старого Франсиско пресекался.

— Доктор говорит, что, может быть, обойдется.

Старый Франсиско вышел. Гума направился домой. Шел со страхом. То пускался бегом, то замедлял шаг, в ужасе думая, что, может, она уже умерла и сын с нею вместе. Вошел в дом крадучись, как вор. Дверь комнаты была приоткрыта, оттуда слышались голоса. При свете керосиновой лампы он видел, как Эсмералда быстро вышла и сразу же вернулась, неся таз с водой и полотенце. Он стоял, не решаясь войти. Потом в дверях показался доктор Родриго. Гума нагнал его в коридоре:

— Как она, доктор?

— Ничего опасного. Хорошо, что сразу позвали меня. У нее мог быть выкидыш. Теперь ей нужен покой. Завтра зайдите ко мне, я дам для нее лекарство.

Глаза у Гумы сияли, он улыбался:

— Значит, с ней ничего плохого не будет?

— Можете быть спокойны. Главное — ей сейчас нужен отдых.

Гума вошел в комнату. Эсмералда приложила палец к губам, требуя тишины. Она сидела на краю постели, глядя Ливию по волосам, Ливия подняла глаза, увидела Гуму, улыбнулась:

— Я думала, умру.

— Врач говорит, что все в порядке. Тебе теперь уснуть надо.

Эсмералда знаком показала ему, чтоб вышел. Он повинился, чувствуя к Эсмералде иную какую-то нежность, без прежней страсти. Ему хотелось погладить ее по волосам, как она только что гладила Ливию. Эсмералда была добра к Ливии.

Гума вышел в темную переднюю. Там висела сетчатая койка, он лег и разжег трубку. Послышались мягкие шаги Эсмералды, выходящей из комнаты с лампой в руках. Она шла на цыпочках, он мог поклясться в этом и не видя ее. И бока ее покачивались на ходу, как корма корабля. Хороша мулатка, ничего не скажешь... Стенесла лампу в столовую. Сейчас подойдет к нему... Он чувствует ее приглушенный шаг. И страсть снова овладевает им, постепенно, трудно. Прерывистое дыхание Ливии слышно и здесь. Но шаги Эсмералды приближаются, заглушая своим мягким шумом шумное дыхание Ливии.

— Уснула,— говорит Эсмералда.

Вот она прислонилась к веревкам гамака.

— Напугались здорово, а?

— Вы устали... Я разбудил вас...

— Я от всего сердца...

Она уселась на край гамака. Теперь ее крепкие ноги касались ног Гумы. И вдруг она бросилась на него плашмя и укусила в губы. Они сплелись в одно тело в качающемся гамаке, и все произошло сразу же, он не успел подумать, не успел даже раздеть ее. Гамак закрипел, и Ливия проснулась:

— Гума!

Он оттолкнул Эсмералду, крепко вцепившуюся в него. Побежал в комнату. Ливия спросила:

— Ты здесь?

— Конечно.

Он хотел погладить ее по волосам... Но ведь рука его еще хранит тепло тела Эсмералды... Он отдернул руку. Ливия попросила:

— Ляг со мной рядом...

Он стоял в растерянности, не зная, что сказать. В передней Эсмералда ждала... Тут он вспомнил о дяде с теткой.

— Спи. Я жду твоих родственников, за ними пошел Франсиско.

— Ты их напугал, верно.

— Я и сам испугался.

Снова он протягивает руку к ее волосам и снова отдергивает руку. Снова вспоминает об Эсмералде, и какой-то комок встает у него в горле. А Руфино? Ливия повернулась к стене и закрыла глаза. Он возвратился в переднюю. Эсмералда раскинулась в гамаке, расстегнула платье, груди так и выпрыгнули наружу. Он остановил

ся, глядя на нее какими-то безумными глазами... Она протягивает руку, зовет его. Тащит его на себя, прижимается всем телом. Но он сейчас так далек от нее, что она спрашивает:

— Я такая невкусная?..

И все начинается вновь. Он теперь, как сумасшедший, не знает более, что творит, не думает, не вспоминает ни о ком. Для него существует лишь одно: тело, которое он прижимает к своему телу в этой борьбе не на жизнь, а на смерть. И когда они падают друг на друга, Эсмералда говорит тихонько:

— Если б Руфино видел это...

От этих слов Гума приходит в себя. Да, это Эсмералда здесь с ним. Жена Руфино. А его собственная жена спит, больная, в соседней комнате. Эсмералда снова говорит о Руфино. Но Гума ничего не слышит более. Глаза его налиты кровью, губы сухи, руки ищут шею Эсмералды. Начинают сжимать. Она говорит:

— Брось эти глупости...

Это не глупости. Он убьет ее, а потом отправится на свидание к Жанайне в морскую глубину. Эсмералда уже готова закричать, когда вдруг Гума слышит голоса родственников Ливии, разговаривающих со старым Франсиско. Он выпрыгивает из гамака. Эсмералда поспешно оправляет платье, но тетка Ливии уже заглядывает в переднюю, и глаза ее полны ужаса. Гума опускает руки, теперь беспомощные.

— Ливии уже лучше.

#### ИХ БЫЛО ПЯТЕРО, ПЯТЕРО МАЛЬЧИШЕК

Как только Ливии стало лучше, он уехал. Бежал от Эсмералды, которая теперь преследовала его, назначала свидания на пустынном пляже, угрожала скандалом. Но бежал он не так от Эсмералды, как от Руфино, который через несколько дней должен был вернуться с грузом для ярмарки, открывающейся в будущую субботу.

Он нанялся плыть в Санто-Амаро, задержался там. Вопреки своим привычкам ходил по кабакам, почти не бывая на стоящем у причала судне, откуда он так любил всегда любоваться луной и звездами. Ему все представлялся Руфино и ужас на его лице, если б он узнал... Гуме казалось, что все теперь погибло, пропало. Несчастливая жизнь... С детства лежит на нем проклятье. Однаж-

ды приехала мать, а он ждал гулящую женщину, и он пожелал свою мать как женщину. Он в тот день хотел броситься в море, уплыть с Иеманжой в бесконечное плавание к морям и землям Айока. И, право, было б лучше, если б он тогда убил себя. Ни для кого бы не было потери, только старый Франсиско, может, погрузился бы, да скоро б утешился. Велел бы вытатуировать имя Гумы у себя на руке, рядом с именами четырех своих затонувших шхун, и прибавил бы историю детской его жизни ко многим историям, которые знал: «Был у меня племянник, да Жанаина к себе взяла. Одной светлой ночью, когда полная луна стояла на небе. Он был еще ребенок, но уж умел управлять судном и таскал мешки с мукой. Жанаина пожелала забрать его...»

Так стал бы рассказывать старый Франсиско историю Гумы... Но теперь все по-другому. Он не может даже убить себя, нельзя же покинуть Ливию — одну, в нищете, с ребенком под сердцем. Да и какую он теперь оставит по себе память, чтоб старый Франсиско мог сложить историю?.. Мой племянник предал друга, сошелся с женщиной, принадлежащей другому, при этом человеку, сделавшему ему много добра. А потом бросился в воду из страха перед этим другом, оставив жену голодать, с ребенком в животе... старый Франсиско добавит, что племянник пошел в свою родительницу, которая была гулящая, что ж тут еще скажешь... И не велит вытатуировать его имя рядом с именами четырех своих шхун. Старый Франсиско будет стыдиться его.

Гуме нельзя теперь смотреть на луну. Он нарушил закон пристани. И вовсе не страх перед Руфино терзает его. Если б Руфино не был его другом, все было бы иначе. А сейчас Гуму мучает стыд, стыд перед Руфино и перед Ливией. Ему хотелось бы убить Эсмералду, а потом умереть — бросить «Смелого» на рифы и погибнуть вместе с ним. Эсмералда соблазнила его, он и не вспомнил о друге своем Руфино, о больной Ливии, спящей в соседней комнате. А тетка Ливии заглянула в двери и смотрела так испуганно, с подозрением, он никогда уж не сможет глядеть старухе в глаза. Может быть, она и не догадалась ни о чем, она так благодарила Эсмералду за то, что та ухаживала за Ливией. И хуже всего, что Ливия была теперь исполнена благодарности к Эсмералде, просила купить для нее подарок, а мулатка пользовалась этим и не вылезала от них, следя за каждым шагом Гумы. Он все чаще уходил из дому, зачастил



в «Звездный маяк», пил так, что об этом уже стали поговаривать на пристани. А она преследовала его, и каждый раз, как ей удавалось заговорить с ним наедине, спрашивала, когда и где они встретятся, говорила, что знает такие пустынные места на пляже, куда никто не ходит. Гума и сам знал эти места. Не одну молоденькую мулатку или негритянку увлекал он, бывало, на пустынные пески пляжа в ночь полнолуния. А Эсмералду он не хотел вести туда, не хотел больше ее видеть, хотел убить ее и потом убить себя. Но нельзя было оставить Ливию с ребенком в животе. Все случилось нечаянно, страсть — слепая. В то мгновение он не помнил ни о Руфино, ни о Ливии — ни о ком и ни о чем на свете. Он видел только смуглое тело Эсмералды, мощные груди, зеленые ее глаза, такие блестящие. А теперь вот надо страдать. Днем раньше, днем позже, придется встретиться с Руфино, говорить с ним, смеяться, обнимать его, как обнимают друга, сделавшего тебе много добра. И за спиной Руфино Эсмералда будет делать ему знаки, назначать свидание, улыбаться.

А Ливия, которая так беспокоится, когда он уезжает, так боится за него? Ливия тоже не заслужила ничего подобного. Ливия страдала из-за него, в животе ее рос сын от него. Он слышал тогда из комнаты трудное дыхание Ливии и, однако, ни о чем этом не вспомнил. Эсмералда прислонилась к гамаку, он только видел тело ее и томные зеленые глаза. Потом он хотел убить ее. Если бы родственники не пришли, он задушил бы ее тогда.

Ночь над поселком Санто-Амаро светла. По речным берегам тянутся вдаль тростники, зеленые в свете луны. Звезда Скорпиона сияет в небе, был он храбрец, и о нем уж не скажут, что овладел он женою друга. Он был человек, верный своим обетам, друг, верный своей дружбе. Гума предал все, теперь ему остался один путь — в глубину вод. Иначе — как жить? Видеть каждый день Эсмералду, иногда говорить с нею, иногда лежать рядом с нею, иногда стонать от любви вместе с нею. Видеть в эти же дни беременную Ливию, хлопчущую по дому, тоскующую по нем, плачущую при мысли о том, что он когда-нибудь погибнет в море. Видеть также Руфино, слышать его густой хохот и ласковое «братец», когда негр кладет ему на плечо свою крепкую руку. Видеть каждый день их всех, тех, кого он предал, ибо Эсмералду он тоже предал, ведь он больше не любит ее и не влечет его больше ее истомное тело. Всех предал он,

всех, даже еще не родившегося сына, ибо не оставил ему примера для подражания, не создал легенды ему в наследство. Никто никогда уж не скажет, с гордостью указывая на его сына: «Вон идет сын Гумы, отчаянного храбреца, жившего в здешних краях...»

Нет. Он теперь предатель, сравнялся с тем человеком, что некогда всадил кинжал в бок Скорпиону. Негодяй называл себя другом знаменитого разбойника, а в один прекрасный день ударил его кинжалом и позвал других, чтоб разрезать его на куски. Убийца стал потом сержантом полиции, но сегодня, упоминая его имя, все сплевывают в сторону, чтоб имя это не осквернило рот, его произнесший. Так вот будет и с ним, Гумой... На пристани еще никто не знает. Удивляются только, что он так много пьет, раньше за ним такое не водилось. Но не знают причин, думают, что это от радости, что скоро сын будет.

Ливия сейчас, наверно, думает о нем, волнуется. Жена старого Франсиско умерла от радости, что он вернулся из опасного плавания. Так и Ливия живет в вечном ожидании, что муж вернется. Наверняка ей хотелось бы, чтоб он оставил море, перебрался жить в город, переменил профессию. Но она никогда не высказывала таких мыслей, ибо хорошо знала, что мужчины, плавающие на судах, никогда не променяют море на сушу и труд моряка на какой-нибудь другой. Даже люди, приехавшие к морю уже взрослыми, как дона Дулсе, никогда не возвращаются назад. Колдовство Иеманжи обладает большою силой... А теперь Гуме кажется, что хорошо бы уехать. Отправиться с Ливией куда-нибудь далеко отсюда,— кто-то говорил, что в городе Ильеусе можно заработать много денег. Сменить профессию, работать где-нибудь на фабрике, бежать из этих мест.

Гума смотрит на «Смелого» у причала. Хороший шлюп. Раньше он принадлежал старому Франсиско — пятое его судно. Тоже уж старый, не один год бежит он по волнам. Сколько раз приходилось ему пересекать залив и подыматься вверх по реке? Без счета... Он плыл с Гумой сквозь бурю спасать «Канавиейрас», несколько раз они чуть не затонули вместе, как-то ночью «Смелому» пробило бок. А сколько уж он парусов сносил? Фамильный шлюп, с заслугами... А теперь Гума готов остановить его бег... Он продаст его любому шкиперу и уедет, так лучше. Гума заслужил такое наказание: покинуть море, покинуть порт, уехать в чужие края. Он

когда-то мечтал о путешествии, мечтал плавать на большом корабле, как Шико Печальный. Потом познакомился с Ливией, бросил прежние планы, остался с нею, привез ее на побережье, чтоб обречь на печальную жизнь жены моряка, на страдание одиночества в долгие дни его отсутствия, на вечное беспокойство: вернется ли он из своей схватки со смертью. А теперь ко всему еще предал ее, предал и Руфино, своего друга... Гума закрывает лицо руками. Не будь он моряк, он бы плакал сейчас, как ребенок, как женщина.

Теперь ему осталось ждать только случая, который увлечет его на дно морское, а вместе с ним и «Смелого», — не хочется отдавать «Смелого» в чужие руки. Ибо бежать с побережья, уехать в другие земли — это выше его сил. Только те, кто живет на море, знают, как трудно расставаться с ним. Трудно даже для того, кто не может больше ни смотреть в лицо другу, ни любоваться луной, сияющей в небе...

Не будь Гума моряком, он плакал бы сейчас, как ребенок, как женщина, как узник в глухой темнице.

Он встретил Руфино в море, и так было лучше. Руфино стоял в лодке, чуть не по пояс в воде: он не заметил, когда выходил из порта, что лодка течет. Гума помог законопатить. Часть груза пропала — негр вез сахар. Мешки на дне лодки промокли, сахар наполовину растаял. Гума перетащил мешки на палубу «Смелого» и положил сушиться на солнце. Он старался не смотреть на Руфино, расстроенного тем, что понес убыток.

— Деньги за фрахт во всяком случае пропали, их у меня вычтут за испорченный товар.

— Может, еще обойдется. Мешки высохнут, мы тогда посмотрим, много ли погибло. Мне кажется, немного.

— Сам не знаю, как это случилось. Я всегда так слежу за всем. Но полковник Тиноко послал своих людей укладывать сахар, а мне делать было нечего. Ну я и пошел выпить глоточек, дождь-то ведь какой был, промок я до нитки. А пришел — все уж закончено. Ну, я отправился и только на середине пути заметил это дело. Гребу, а лодка так тяжело идет, ну просто не сдвину. Поглядел, а вода так и хлещет...

— Тебе, собственно, ничего не надо платить, а с них еще требовать за дыру в лодке. Если это люди полковника проломали...

— Да вот то-то и оно, что я не уверен... Я когда еще туда шел, так, сдается, резанул днищем по верхушке рифа в излучине реки. Потому и неизвестно...

Они еще некоторое время плыли рядом и переговаривались. Но потом «Смелый» обогнал лодку. Руфино греб где-то позади, пока совсем не пропал из виду. Гума просто не знал, как это у него хватило сил говорить с ним, выдерживать его взгляд, смеяться в ответ на его шутки. Лучше было ему прямо сказать все, чтоб Руфино тут же хватил его веслом по голове. Это было бы правильнее...

«Смелый» бежит по волнам, ветер надувает паруса. Ливия ждет на пристани. Эсмералда — рядом с нею и спрашивает с невинным видом:

— Негра моего там не видели?

— Он скоро будет. Я даже привез несколько мешков сахара, что были у него в лодке. Там пробоина.

Ливия встревожилась:

— Но с Руфино ничего не случилось?

Эсмералда пристально смотрит на Гуму:

— Нарочно ведь никто не проломил?

Он заметил, что она боится, не было ли между мужчинами ссоры.

— Похоже, что это еще когда он подымался вверх по реке... Он задел за риф... Он скоро будет здесь. Огорчен убытком.

Гума поставил «Смелого» на причал и пошел с Ливией домой. Эсмералда простилась.

— Пойду на пристань Порто-да-Ленья, встречу его.

— Скажите, что мешки у меня.

— Ладно.

Она посмотрела вслед удалявшейся паре. Гума избегал ее. Боялся Руфино, боялся Ливии, или она, Эсмералда, уже разонравилась ему? Многие мужчины здесь, в порту, сходили по ней с ума. Они боялись Руфино, но все-таки находили случай сказать ей словечко, послать подарок, попытаться счастья. Только Гума избегал ее, Гума, который нравился ей больше всех: и светлым лицом и черными, длинными, почти до плеч, волосами, и губами, румяными, как у ребенка... Грудь Эсмералды дышала тяжело, глаза проводили с тоской человека, идущего вверх по улице. Почему он бежал от нее? Ей не пришло в голову, что из угрызений совести. Надо составить письмо Жанаине, тогда посмотрим, кто кого... Она медленно шла к пристани Порто-да-Ленья. Лодочники

кланялись ей, матрос, красящий баржу, на мгновение прервал свою работу и даже свистнул от восторга. Только Гума бежал от нее. Чтоб он разок побыл с нею, надо было невесть что проделать. Уж прямо на шею ему вешалась, предлагалась, как уличная женщина, а он еще потом задушить хотел... На пристани говорят, что за такую, как она, горы золота не жалко. А Гума бежит от нее, не замечает ее красоты. Ее тела, ее глаз... Уставился на свою тощую, плаксивую Ливию... Эсмералда услышала восторженный присвист матроса, взглянула в его сторону и улыбнулась. Он стал показывать на пальцах, что в шесть освобождается, и махнул рукой в сторону пляжа. Она улыбалась. Почему Гума бежит от нее? Страх перед Руфино, это точно. Бойся мести негра, его мускулистых рук, накопивших невиданную силу за долгие дни непрерывной работы веслами. Эсмералда не думала об угрызениях совести. Наверно, она даже и не знала, что это такое, и слов таких не слыхала никогда... Холодный ветер дул на побережье. Вдали, разрезая воду, показалась лодка Руфино.

Ночь упала холодная, ветер завывал песок пляжа и гребни волн. Несколько шхун вышли в море. Такой ветер не пригоняет бурю. В воздухе тонко разлетались песчинки, уносимые ветром до самых городских улиц. В церкви шла служба. Туда направлялись женщины, кутаясь в шали, мужчины группами спускались по склону холма. А ветер летал между всеми этими людьми... Колокола празднично звонили. Лавки закрывались, нижний город пустел.

После обеда старый Франсиско вышел из дому. Он шел поболтать на церковный двор, рассказать историю, послушать другую. Гума зажег трубку, он собирался позднее подойти на пристань, взглянуть, разгрузили ли уже судно, узнать, не найдется ли какой работенки на завтра. Ливия мыла посуду, живот уже очень мешал ей, лицо ее как-то посерело, последний румянец сбежал со щек. Она каждый день теперь ходила на прием к доктору Родриго. Ее мучила тошнота, и вообще она плохо себя чувствовала. Гума незаметно наблюдал за ней. Она входила и выходила, мыла оловянные тарелки, большие грубые кружки. Собака, черненькая шавка, недавно подобранная на улице, хрустела рыбьими костями в кухне на глиняном полу. Пустая чашка отдыхала на краю стола. Гума услышал, как Руфино поднялся со стула у от-

крытого окна соседнего дома. Наверно, кончили обедать. Он говорил с Эсмералдой. Гуме казалось, что это здесь, в комнате, они говорят, так явственно можно было слышать каждое слово.

— Пойду поговорю с полковником Тиноко насчет этих мешков, что промокли. Будет скандал, вот увидишь.

Эсмералда говорила очень громко:

— Можно, я схожу взглянуть на праздник? Церковь, говорят, так разукрашена! А потом, это в честь моей святой...

— Иди, но возвращайся пораньше, я сегодня завалюсь рано.

Зачем она так громко говорит? Наверно, чтоб и он ее услышал, подумал Гума. Да вовсе и не пойдет она в церковь, обманывает... Из окна видна была церковь, так ярко освещенная, словно большой океанский пароход... А если и пойдет, так, верно, с Ливией, которая конечно же, захочет помолиться за будущего сына. Колокола звонят, созывая людей на праздник. Ветер порывисто влетает в окно. Гума высовывает голову, вглядываясь в свинцовое небо. Красивый вечер! Однако ночь, что последует за ним, не обещает ничего хорошего. Луна убывает, тончайшим желтым серпом висит она на небе... Из-за стены послышался голос Руфино:

— Ты здесь, братишка?

— Здесь.

— Иду ругаться к старому Тиноко.

— Ты не виноват.

— Но старик упрям, как черепаха: ей отрежешь голову, а она шевелится, жить хочет.

— Ты ему объясни.

— Я на него раза два как цыкну, так он своих не узнает...

За стеной Эсмералда прощалась:

— Я скорехонько назад буду...

Голос Руфино донесся глуше:

— Обожди-ка, мулатка, дай я разнюхаю, сильно ль ты загривок надушила.

Гума почувствовал какую-то дурноту. Он не хотел больше никаких встреч и видеть-то ее не хотел, но эти, глухим голосом сказанные слова обожгли его, словно Руфино только что украл у него что-то. А ведь на деле он украл у Руфино... Шаги Эсмералды удалялись, Руфино снова заговорел громко:

— Моя мулатка в церковь пошла...— И крикнул ей вслед, внезапно вспомнив: — Черт тебя деря, да что ж ты Ливию не зовешь?

— Она сказала, что пойдет с Гумой.— И шаги замерли вниз по склону.

Теперь слышалось, как Руфино, оставшись один, расхаживает по комнате. Гума снова взглянул в небо. Ветер крепчал, редкие звезды вынырнули из-под туч. «Будет буря»,— подумал он. Ливия кончила мыть посуду, спросила:

— Хочешь пойти взглянуть на праздник?

Она была бледна, очень бледна. Платье спереди было короче, приподнятое огромным животом. Она была, наверно, смешна. Но Гума ничего этого не замечал. Он знал только, что у нее в животе сын от него, что она поэтому больна, а он ее предал. Он слышал, как Руфино ушел, издали что-то приветливо крикнув на прощанье. Ливия стояла подле, ожидая ответа на свой вопрос.

— Иди переоденься.

Она прошла в комнату, но сразу же вышла, потому что в дверь постучали.

— Кто там?

— Свои.

Однако голос был чужой, они не помнили, чтоб когда-либо слышали его. Ливия подняла на Гуму глаза — в них был испуг. Он встал.

— Ты боишься?

— Кто б это мог быть?

Стук возобновился.

— Да есть тут кто-нибудь? Это что: кладбище или затонувший корабль?

Пришелец был моряк, это ясно. Гума открыл дверь. В темноте улицы блеснул огонек трубки, и за огоньком смутно виднелась какая-то большая фигура в плаще.

— Где Франсиско? Где этого чумного гоняет? Что он еще не помер, это я знаю, такого барахла и в раю не надобно...

— Его нет дома.

Ливия испуганно смотрела из-за спины Гумы. Фигура в плаще двинулась, будто намереваясь войти. И так оно и было. Голова просунулась в дверь, осматривая помещение. Кажется, только сейчас пришелец заметил Гуму.

— А ты кто такой?

— Гума.

— Черт дери, да что за Гума? Думаешь, я обязан знать?

Гума начинал раздражаться:

— А вы-то кто?

В ответ фигура сделала еще шаг и ступила на порог. Гума вытянул руку и загородил вход:

— Что вам надо?

Фигура оттолкнула руку Гумы и так и пришпилила его к стене — так что один из самых сильных людей на пристани не мог и пошевелиться. Фигура обладала, казалось, силой двадцати самых сильных людей на пристани.

Ливия вышла вперед.

— Чего вы хотите, сеньор?

Пришелец отпустил Гуму и вошел в комнату, слабо освещенную керосиновой лампой. Теперь Гума ясно видел, что перед ним старик с длинными седыми усами, гигантского роста. Плащ его слегка распахнулся, и Ливия заметила, как сверкнул за поясом кинжал. Старик жадно осматривал дом в красноватом свете коптилки, удлиняющем тени:

— Значит, этот болван Франсиско живет здесь, так ведь? А ты кто такая? — Он тыкал пальцем в сторону Ливии.

Она намеревалась ответить, но Гума встал между нею и гостем.

— Сначала скажите нам, кто вы!

— Ты сын Франсиско? До меня не доходило, что у него есть сын.

— Я его племянник, сын Фредерико. — Гума уже раскаивался, что ответил.

Старик взглянул на него с испугом, почти с ужасом.

— Фредерико?

Взглянул на Ливию, потом снова на Гуму.

— Это твоя жена?

Гума кивком головы подтвердил. Старик остановил взгляд на животе Ливии, потом снова уставился на Гуму:

— Твой отец никогда не был женат...

У него были белые-белые волосы, и казалось, его пробирал холод, даже в плаще. Несмотря на все, что он наговорил, Гума не чувствовал себя оскорбленным.

— Твой отец умер давно, так ведь?

— Давно, да.

— Только Франсиско не умер, так?



Он взглянул на пламя коптилки, повернулся к Гуме.  
— Ты не знаешь, кто я? Франсиско никогда не рассказывал?

— Нет.

Старик спросил Ливию:

— У тебя есть водка, а? Выпьем глоток за возвращение вашего родственника.

Ливия пошла за водкой, но в ту же секунду вернулась, услышав за окном вскрик старого Франсиско, подошедшего незаметно и заглянувшего в окошко узнать, кто у них в гостях.

— Леонсио.

Франсиско быстро вошел в дом. Ливия принесла графин и стаканы и стояла, не понимая ничего. Франсиско все еще не верил:

— Я думал, ты умер. Столько времени прошло...

Гума сказал:

— Так кто ж это в конце концов?

Старый Франсиско ответил тихо, как по секрету, у него был такой вид, словно он только что пробежал несколько миль:

— Это твой дядя. Мой брат.

Он повернулся к гостю, указал на Гуму:

— Это сын Фредерико.

Ливия налила стаканы, старик вышел залом и поставил свой на пол. Франсиско сел:

— Ты ведь ненадолго, правда?

— А ты торопишься увидеть мою спину? — Старик засмеялся каким-то путряным смехом. Белые усы дрожали.

— Нечего тебе здесь делать. Все считают, что ты умер, тебя никто здесь больше не знает.

— Все считают, что я умер, вот как?

— Да, все считают, что ты умер. Чего еще ищешь ты здесь? Ничего здесь нет для тебя, ничего, ничего...

Гума и Ливия были испуганы, она крепко сжимала обеими руками графин. У старого Франсиско был вид усталый-усталый, вид человека, смертный час которого близок, он казался сейчас много старше, чем обычно, — перед лицом легенды, которой он, рассказывавший столько историй, никогда не рассказывал. Леонсио посмотрел через окно на пристань. Женщина прошла мимо дома, это была Жудит. Она шла вся в черном, с ребенком на руках. Дом ее был далеко, мать теперь жила у нее, приехала помочь ей, обе ходили по людям стирать, а маль-

чик был худенький, и поговаривали, что не выживет. Леонсио спросил:

— Вдова?

— Вдова, ну и что же? Я уже сказал, что тебе здесь делать нечего. Нечего, слышишь? Зачем ты пришел? Ты ведь умер, зачем ты пришел?

— Зачем пришел...— задумчиво повторил гость, и голос его походил на рыдание. Однако он засмеялся: — Ты не рад мне. Ты даже не обнял брата.

— Уходи. Тебе нечего здесь делать.

Снова глаза гиганта старика обратились на набережную, на затянутое туманом небо. Словно он пытался вспомнить это все, как старый моряк, вернувшийся в свой порт.

Словно он пытался узнать это все... Он долгим взглядом смотрел на небо, на берег, затерянный в тумане. Холодная ночь надвигалась с моря. Старик повернулся к Франсиско:

— Сегодня ночью будет буря... Ты заметил?

— Уходи отсюда. Твоя дорога не здесь.

И, словно делая огромное усилие, Франсиско добавил:

— Это не твой порт...

Гигант старик присмирел, опустил голову, и, когда заговорил вновь, голос его доносился будто откуда-то издалека и звучал мольбою:

— Позволь мне остаться хоть на две ночи. Я так давно уж...

Ливия опередила старого Франсиско, не дав возможности отказать:

— Оставайтесь, этот дом ваш.

Франсиско взглянул на нее. В глазах его было страдание.

— Я устал, я пришел из дальнего далёка...

— Оставайтесь, сколько хотите,— отозвалась Ливия.

— Только две ночи...— Он обернулся к Франсиско: — Не бойся.

Потом взглянул на небо, на море, на берег. Угадывалась во всем его существе радость прибытия. Старый моряк вернулся к своему берегу. Франсиско сидел на стуле съежившись, зажмурив глаза, морщины его лица словно сомкнулись теснее. Леонсио обернулся к нему еще один только раз, чтоб спросить:

— У тебя нет портрета отца?

Так как ответа не последовало, некоторое время стояла тишина. Потом гость обернулся к Гуме:

— Ты рано ложишься?

— Почему вы спрашиваете?

— Пойду пройдусь по берегу, ты дверь не затворяй. Я, как вернусь, запру.

— Хорошо.

Он запахнул плащ, надвинул на лоб капюшон и направился к выходу. Но с порога вернулся, стал перед Ливией, засунул под плащ руку, сдернул со своей широкой груди какую-то медаль и протянул ей:

— Возьми, это для тебя.

Старый Франсиско после ухода гостя сказал еще:

— Зачем он пришел? Ты ведь не оставишь его здесь, правда, Ливия?

— Расскажите мне эту историю, дядя,— попросил Гума.

— Не стоит тревожить мертвецов. Все считали, что он умер.

Франсиско снова ушел, и они видели, как он направился к «Звездному маяку». Нынешний день ни один корабль не пристал к гавани, как же приехал Леонсио? И ни один корабль не отплыл нынешней ночью, а тем не менее он не вернулся нынче, и не вернулся уж больше никогда. Медаль, что он подарил Ливии, была золотая и вылита была, казалось, в какой-то дальней-дальней стране и в какое-то давнее-давнее время. Да и сам гигант старик пришел, казалось, из дальнего далёка и принадлежал другому, давнему времени.

Они все-таки пошли в церковь тем вечером. Ливия дорогой спрашивала Гуму, не слыхал ли он что-нибудь обо всей этой истории. Нет, не слыхал, старый Франсиско никогда не упоминал об этом брате... Эсмералды в церкви не было. Наверно, устала ждать и ушла. Гума почувствовал облегчение. Не придется выносить ее взгляды и тайные знаки. Не из-за подобной ли истории Леонсио не может появляться здесь, потерял свой порт? Моряк теряет свой порт и свою пристань, только если он совершил очень подлый поступок... Эсмералды не было в церкви, пахнувшей ладаном. Снаружи была ярмарка, и доктор Филадельфио зарабатывал грошики за своим станком, производящим стихи и письма. Какой-то негр пел в кругу зевак:

В день, когда я встану рано,  
не даю мозгам покою...

Они вернулись домой. Из-за стены голос Руфино спросил:

— Это ты, братишка?

— Это мы, да. Пришли.

— Праздник уж кончился?

— В церкви кончился. Но ярмарка еще шумит.

— Ливия, ты видела там Эсмералду?

— Нет, не видала, нет. Но мы там только чуточку и побыли.

Руфино пробормотал что-то, обиженно и грозно. Гума спросил:

— Уладилось с полковником?

— Ах, это? Да, мы решили разделить убыток на двоих...

Прошло несколько минут. Голос Руфино послышался снова:

— Ночь смурная. Похоже, будет буря. Дело серьезное.

Гума и Ливия прошли в комнату. Она взглянула на медаль, которую подарил ей Леонсио. Гума тоже повертел ее в руках — красивая. Из-за стены слышались шаги Руфино. Эсмералда, может быть, сейчас где-нибудь с другим. Она способна на это. Где-нибудь на пляже. Руфино подозревает ее. А вдруг она во всем сознается и расскажет, что Гума тоже был ее любовником? Тогда-то уж будет дело серьезное, как говорит Руфино. Похуже бури. Нет, он не подымет руку на Руфино, не станет с ним драться. Он даст убить себя, ведь Руфино его друг. А Ливия, а сын, что должен родиться, а старый Франсиско? Он станет тогда моряком, потерявшим свой порт... Не вернется уж больше... Даже после смерти... Такими мыслями мучился Гума, пока не услышал шаги возвращавшейся домой Эсмералды и ее слова, обращенные к Руфино:

— Задержалась, не сердись, негр. Там столько интересного. Думала, ты тоже подойдешь.

— Ты где пропадала, сознавайся, сука? Никто тебя там не видел.

— Ну понятно, в такой толпище... А я вот видела Ливию... Издали...

Послышался звук пощечины, потом еще. Он бил ее, это было ясно.

— Если узнаю, что ты мне изменяешь, на дно пошлю, в ад...

— Изменяю тебе? Господь меня срази! Да не бей ты меня...

Потом послышался шум, уже не похожий на удары... У мулатки были зеленые глаза и крепкое тело. У нее были тугие, острые груди, и Руфино был без памяти влюблен в нее.

Буря разразилась в полночь. Обычно ветер, такой как поднялся с вечера, не нагонял бурю, но если уж нагонял, то самую страшную. Она разразилась в полночь и завладела сразу многими судами, случившимися о ту пору в море. Гума был поднят с постели старым Франсиско, возвращавшимся из «Звездного маяка», и разбудил по дороге и Руфино.

— Говорят, три судна перевернуло. Просят помощи. Сейчас выйдут несколько шхун и лодок, вас обоих тоже просят. На одной шхуне целая семья ехала... Опрокинулись...

— Где?

— Близко. У входа в гавань.

Бегом бросились на пристань. Гума поднял якорь, Руфино поехал с ним. Огромные валы с силой били в причал. Другие парусники уже шли впереди. «Смелый» вскоре нагнал их. В черной дали плавал парус одной из затонувших шхун. «Вечный скиталец» шел впереди всех, быстро разрезая волны. Силуэт шкипера Мануэла вырисовывался в свете фонаря. Гума окликнул его:

— Эй, Мануэл!

— Это ты, Гума?

Руфино сидел на юте «Смелого» и молчал. Вдруг он спросил Гуму:

— Ты не слышал, говорят об Эсмералде в порту?

— Говорят — в каком смысле? — отозвался с усилием Гума.

Огромные валы разбивались о борт «Смелого». Впереди «Скиталец» шкипера Мануэла, казалось, исчезал в глубине каждый раз, когда налетала гигантская волна.

— В том смысле, что она сильно гуляет. Мне-то, конечно, не говорят.

— Нет, я никогда не слыхал ничего такого.

— Ты ведь знаешь, я часто уезжаю. Хочу просить тебя: если узнаешь что, скажи... Рога мне ни к чему. Я тебе это говорю, потому что ты мне друг. Я опасаясь этой мулатки.

Гума не соображал даже, куда ведет судно. Руфино продолжал:

— Хуже всего, что я люблю ее.

— Никогда я ничего такого не слышал.

Они были уже возле входа в гавань. Обломки трех судов качались в бушующих волнах моря. Буря стремилась утопить тех, кто еще не погиб, и тех, кто явился их спасти. Люди цеплялись за доски, за обломки... Люди кричали, плакали. Только Пауло, капитан одного из затонувших парусников, молча и упорно плыл, одной рукой разрезая волны, а другой прижимая к себе ребенка. Двое уже стали жертвами акул, а третьему акулы оторвали ногу. Шкипер Мануэл начал подбирать людей и втаскивать на свою шхуну. Другие прибывшие с ним последовали его примеру, однако не всегда это было просто: парусники относило в сторону, тонущие выпускали из рук доски, за которые держались, но не всегда успевали достичь спасительного борта — пучина проглатывала их. Пауло передал ребенка Мануэлу. Когда ему самому удалось вскарабкаться на шхуну, он сказал:

— Их было пятеро. Остался только этот...

Удалось спасти и мать ребенка, но она смотрела безумными глазами и, схватив свое дитя и крепко прижав к груди, застыла, как неживая. Человек, у которого акула оторвала ногу, лежал на палубе «Смелого» и кричал. Еще Гуме удалось втащить на борт старжка. Руфино бросился в воду, чтоб спасти человека, пытавшегося доплыть до ближайшего парусника. Но он его уже не увидел, зато увидел акулу, бросившуюся вслед ему самому и, плавая вокруг, преграждавшую ему отступление... Гума заметил это, бросил руль «Смелого» и нырнул с ножом в зубах. Он проплыл под самым брюхом чудовища, и Руфино смог вернуться на борт невредимым. В свой смертный час акула так металась и била хвостом по воде, что Гума чуть не потерял сознание.

Руфино сказал ему:

— Если б не ты...

— Пустяки.

Теперь искали тела погибших. Кусок руки до локтя плавал по воде, рука, видно, принадлежала молодой женщине, остальное стало добычей акул. Плавали обрывки одежды и куски тел. Семь человек погибло. Четверо детей, двое мужчин и одна женщина. Спасенные ехали на судах вместе с мертвецами. Мать, прижимавшая к груди сына, смотрела на другого, мертвого, с вьющимися волосами, лежащего на палубе. Их было пятеро, пятеро мальчишек, которых отец ждал в порту. Они возвраща-

лись из Капоэйры, буря застала их в пути. Двое погибших мужчин были капитанами двух затонувших шхун. Из тех, кто стоял у руля, спасся только Пауло, да и то потому лишь, что спасал ребенка. Если б не ребенок, он тоже погиб бы со своими пассажирами и ушел на дно морское следом за своим погружавшимся кораблем. Их было пятеро, пятеро мальчишек, а теперь мать прижимала к груди одного — уцелевшего, глядя на труп другого, лежащий на палубе. Остальные сделались добычей акул, не осталось и трупов... У маленького мертвеца, лежащего на палубе «Смелого», — курчавые волосы. Мать не плачет, только все крепче прижимает к груди единственного сына, который ей остался. Море все волнуется, вздымая гигантские волны. Шхуны-спасительницы возвращаются. Корпус одного из затонувших судов медленно погружается в воду. Их было пятеро, пятеро мальчишек...

### ТИХИЙ ОМУТ

Со дня возвращения и нового исчезновения Леонсио старый Франсиско почти не бывал дома. Он жил на пристани, беседуя со знакомыми, выпивая стаканчик в «Звездном маяке», возвращаясь к себе лишь на рассвете, совершенно пьяным. Он не захотел рассказывать историю Леонсио и просил Гуму никогда не упоминать при нем это имя. Гуму очень беспокоило, что дядя сильно пьет, доктор Родриго уже предупреждал его, что так старик не долго протянет. Он попытался было завести с дядей разговор на эту тему, но получил сухой ответ:

— Не вмешивайся в чужие дела...

Руфино тоже изменился за последнее время. Вначале Гума подумал, что он о чем-то догадывается. Но ведь Эсмералда давно уж охладела к Гуме и не смотрит в его сторону, похоже, что завела другого. Так было лучше, спокойнее. Только Гума теперь часто думал о том, что было бы, если б она умерла. Все чаще об этом думал. Если бы Эсмералда умерла, он был бы свободен от груза, что носит на сердце. Ему казалось, что со смертью мулатки исчезли бы все причины для грусти и угрызений совести. Столько он об этом думал, что в конце концов ему стало видеться, как наяву, тело, недвижно лежащее на столе, — зеленые глаза закрыты, губы, жаждущие поцелуев, сомкнулись навсегда. Ему виделся Руфино, скоро утешившийся с другой. Ливия, наверно,

будет очень плакать у гроба, мужчины с пристани придут взглянуть в последний раз... Красавица мулатка была...

Хуже всего было то, что она не умирала, была жива и, совершенно очевидно, изменяла Руфино с кем-то другим. Вопреки самому себе Гума ревновал. На пристани говорили, что новый любовник — матрос. Дней восемь тому назад в порту пристал большой грузовой пароход. Его ремонтировали. Один из матросов залюбовался на бока Эсмералды, потом попробовал ее поцелуев и влюбился в ее крепкое тело. Руфино что-то подозревал и незаметно следил за мулаткой.

Как-то вечером, когда Гума вернулся из одного плавания, Руфино пришел к нему и сказал еще с порога:

— Она мне изменяет!

— Что такое?

— Рогач я, вот что такое. — И объяснил: — Я уж держал ухо востро. Не сводил с нее глаз, ну и накрыл ее, подлую. Сегодня я нашел его письмо.

— Кто ж он?

— Матрос с судна «Миранда». Корабль сегодня отплыл, потому я не смог угостить его свинцом.

— Что ж ты теперь думаешь делать?

— Я ее проучу. Играла мной, моей дружбой и любовью. Мне эта мулатка нравилась невозможно, браток.

— Что ты задумал? Ты ведь не погубишь себя из-за нее?

— Мне достаточно было и того, что она раньше вытворяла. Изменщица. Я когда ее подобрал, она уж с другими успела, слава дурная о ней шла. Но когда человек теряет голову, то уж и знать ничего не хочет.

Он пристально всматривался в горизонт, словно ища там что-то. Голос его звучал тихо, глухо и ровно. Он был так непохож на прежнего Руфино, распевавшего задорные куплеты...

— Я думал, с ней будет как с другими. Поживем и разоидемся с миром. Но не мог я от нее отстать, так и остались вместе. А теперь все смеются надо мной. — Голос его стал еще глуше. — А ты знал и ничего не говорил мне.

— Я не знал. Сейчас в первый раз слышу от тебя. Что ты задумал, скажи?

— Я хотел бы разбить ей голову и спустить этого типа на дно.

— Не смей губить себя из-за нее!



— Вот что я тебе скажу: я еще сам толком не знаю, что сделаю, но хочу, чтоб, если случится что плохое, ты сделал для меня одну вещь.

— Слушай, перестань думать глупости. Выгони ее, и все тут...

— Каждый месяц я посылал двадцать мильрейсов моей матери, она совсем старуха. Она живет в поселке Лана, работать уже не может. Если со мной что случится, продай мою лодку и пошли деньги ей.

Он вышел внезапно, не дав Гуме удержать его. Он шел к пристани. Шел очень быстро. В соседнем доме Эсмералда громко пела. Гума вышел вслед за Руфино, но не нагнал его.

Луна, полная луна, белеющая на небе, казалось, слушает песню Руфино. «Я тоскую по ней, по изменнице злой, что сердце разбила мое». Песня эта была популярна на побережье, и Эсмералда сидела в лодке спокойно, ничего не подозревая. Она была в зеленом, нарядном платье, потому что Руфино сказал, что они едут на праздник в Санто-Амаро. Она нарочно надела это платье, чтоб доставить ему удовольствие, это было его любимое платье. Он уж давно не нравился ей как мужчина, это правда. Но когда ее негр цел, разве можно было устоять против теплого, глубокого его голоса? Ни одна бы не устояла... Эсмералда подседа поближе к Руфино. Весла разрезали воду, помогая ветру, толкающему парус. Река была пустынна и широко развернулась под звездным небом, отражая, подобно зеркалу, каждую звезду. Руфино все пел свою песню... Но вот — час настал... Он смолк и бросил весла... Эсмералда прижалась к нему:

— Красиво поешь...

— Тебе понравилось?

Он взглянул на нее. Зеленые глаза манили, рот открылся для поцелуя. Руфино отвел взгляд, боясь не устоять. В эти мгновения незнакомый моряк смеется над ним на борту «Миранды»...

— Ты знаешь, что я сделаю сейчас?

— Что именно?

— Я убью тебя.

— Перестань дурить...

Лодка плыла медленно, ветер веял тихо и ласково. Эта ночь хороша для любви... Руфино говорил глухо, и в голосе его была печаль, а не гнев!

— Ты изменила мне с матросом с «Миранды».

— Кто тебе наболтал?

— Все это знают, все смеются надо мной. Если я не правлюсь тебе, почему ты не ушла от меня? Ты хотела, чтоб все надо мной смеялись. За это я и решил убить тебя.

— Это тебе Гума сказал, так ведь? (Она знала, что смерть близка, и хотела ранить его как можно сильнее.) И ты задумал меня убить? А потом тебя на каторгу сошлют, землю есть. Лучше уж не убивай меня. Отпусти лучше. Я уеду далеко, никогда и близко не подойду к этим местам.

— Ты скоро встретишься с Жанаиной. Готовься.

— Гума тебе сказал, точно. Он ревновал, я уж заметила. Хотел, чтоб я была только для него. А я с ним всего раза два-три и была-то. Вот матрос, тот мне и верно нравился.

— Ты мне на Гуму не наговаривай, слышишь! Он меня из пасти акулы спас, а ты мне на него наговариваешь.

— Наговариваю?

И она рассказала все в мельчайших подробностях. Рассказала, как Гума провел с нею ту ночь, когда Ливия заболела. И смеялась, рассказывая...

— Теперь можешь убить меня. На побережье многие будут смеяться, когда ты будешь проходить мимо: Флориано, Гума, еще кое-кто...

Руфино знал, что она рассказала правду. Сердце его было полно печали, ему хотелось только умереть. Он чувствовал, что не способен убить Гуму, спасшего его от смерти. И потом, была еще Ливия. Она-то чем виновата? Ей-то за что страдать? Но сердце его просило смерти, и раз не могла это быть смерть Гумы, значит, должна была быть его собственная смерть... Большая луна морских просторов сияла на небе. Эсмералда все еще смеялась. Так, смеясь, она и умерла, когда весло раскроило ей череп. Руфино успел еще взглянуть на тело погружавшееся в воду. Акулы сплывались на призывный запах крови, слившейся со струями речной воды. Он успел еще взглянуть: очень сильно любил он это тело, что теперь погружалось в воду. Красивое тело, крепкое и жаркое, с тугими грудями. Тело, согревавшее его в зимние ночи. Плоть, что принадлежала ему. Зеленые глаза, что смотрели на него... Ни на мгновение не вспомнил он о Гуме: друг словно бы умер раньше, давным-

давно... Он мягко провел рукой по бортам лодки, взглянул в последний раз на далекие огни родного порта — и воды реки раскрылись, чтоб принять и его. И в мгновение, когда вынесло его на поверхность в последний раз (он не видел уже лодки без гребца и рулевого, уносимой рекою), прошли перед его глазами все те, кого любил он в жизни: он увидел отца, гиганта негра, всегда с улыбкой; увидел мать, хромую и сгорбленную; увидел Ливию, идущую с праздничной процессией в день свадьбы, на которой он был шафером; увидел дону Дулсе; увидел старого Франсиско, доктора Родриго, шкипера Мануэла, лодочников и капитанов шхун. И увидел также Гуму, но Гума смеялся над ним, смеялся ему в спину. Его глаза, в которых гасла жизнь, увидели Гуму, насмехающегося над другом. Он умер без радости.

#### «СМЕЛЫЙ»

Шико Печальный вернулся! В один прекрасный день привез его сюда незнакомый корабль, подобно тому как незнакомый корабль увез его отсюда много лет назад. Вернулся настоящим геркулесом. В порту провел два дня — ровно столько, сколько стояло на причале его судно — скандинавский грузовой пароход. Потом снова ушел в океан. Но та ночь, что он провел на пристани, была праздничной ночью. Те, кто знал его, пришли его повидать, те, кто не знал, пришли с ним познакомиться. Негр ведь понимал всякие чудные языки и наречия, побывал в землях, столь же неведомых и дальних, как земля Айока.

Гума пожал ему руку, старый Франсиско расспрашивал, что нового на свете. Шико Печальный смеялся, он привез шелковую шаль для своей старухи матери, торговавшей кокосовым повидлом. Ночью пришел он на рыночную площадь, мужчины собрались в кружок вокруг него, он долго рассказывал истории из жизни тех далеких стран, где побывал. Истории о моряках, о кораблях, о дальних портах — то грустные, то смешные. Больше, однако, грустных. Мужчины слушали, пыхтя большими трубками, глядя на качающиеся у причала суда. Темный силуэт рынка в глубине площади обрушивался на них своею тенью. Шико Печальный рассказывал:

— Там, в Африке, где я побывал, ребята, житье для негра хуже, чем у собаки. Был я в землях негров, где

теперь хозяева французы. Там негра ни в грош не ставят, негр — это раб белого, подставляй спину кнуту, и больше ничего. А ведь это их, негров, земля...

— Словно бы и не их...

Шико Печальный взглянул на прервавшего его:

— На их же земле их ни в грош не ставят. Белые там — всё, всё имеют, всё могут. Негры работают в порту, грузят суда, разгружают. Бегают целый день по сходням, что крысы по палубе, с огромными мешками на спине. А кто замешкается — белый тут как тут со своим хлыстом: как взмахнет, так искры из глаз посыплются.

Собравшиеся слушали молча. Один молодой негр так и трясся от гнева. Шико Печальный продолжал:

— Вот в этих краях и произошел тот случай, что я хочу вам рассказать, ребята. Я как раз прибыл туда на корабле компании «Ллойд Бразилейро». Негры разгружали корабль, хлыст белого так и свистел в воздухе. Стоит черному хоть чуть замешкаться — и хлыст тотчас огреет его по спине. Вот идет, значит, негр один — кочегаром он работал на корабле, имя ему Баже, — идет, значит возвращается: он к девчонке одной ходил. Толкнул случайно негра одного, местного, что подымался на корабль по доске с огромным мешком, — они там по доске всходят. Негр тот остановился на секунду, хлыст белого упал ему на спину, он и отчалил на землю со всего маху. Баже никогда не видал хлыст белого в ходу, он в эти земли попал в первый раз. Как увидел, что негр на земле лежит да от боли корчится, Баже вырвал хлыст у француза да как огреет его — ну, француз пришвартовался кормой на землю. Он еще встать пытался, француз-то, но Баже его еще угостил так, что всю морду ему раскрыл. Тогда все негры, что были на корабле, повывезали из трюма и спели самбу, потому как они никогда ничего подобного не видали.

Все слушали очень внимательно. Один негр не выдержал и пробормотал:

— Молодчина этот Баже!..

Но Шико Печальный все-таки уехал. Корабль его стоял на причале всего лишь два дня, на второй день вечером поднял якоря и пустился в путь по морю-океану, ставшему для Шико Печального единственной дорогой и судьбою.

Гума проводил его с сожалением. Где-то в глубине его души навсегда осталась история негра Баже. Так,

хоть и постепенно и медленно, то чудо, которого ждала доня Дулсе, начинало осуществляться...

Гума также, когда был помоложе, хотел отправиться в далекое путешествие. Побывать в чужих землях, отмстить за всех униженных негров, узнать все то, что знает Шико Печальный... Но пожалел Ливию и остался. Только из-за нее остался, и все-таки предал ее, предал Руфино, предал закон пристани. Нет уже теперь ни Руфино, ни Эсмералды, нашли только в море, у входа в гавань, рваные куски их тел — акулы пожрали их. Другие жильцы жили теперь в соседнем доме, никогда уж больше не увидит Гума в окошке Эсмералду, выставившую напоказ прохожим, соблазняя их своими тугими грудями. Никогда не увидит ее широкие, крепкие бедра, ее призывные зеленые глаза. И истомная мощь ее тела, и зеленый, как море, блеск ее глаз — все досталось акулам, грозным хозяйкам этого водного пространства, что начинается там, где кончается море и кончается там, где начинается река, — пространства, носящего название «вход в гавань». Иногда Гуме казалось, что он слышит голос Руфино, зовущий: «Братиска, братиска», — или жалующийся: «Я так любил эту мулатку, я души в ней не чаял». На побережье все возникает и гаснет мгновенно, как буря. Только страх Ливии не угас, он владеет ею все дни и все ночи, это уже не страх, а страдание, которому нет конца.

Ливия все больше боится за Гуму. Она так и не смогла привыкнуть к этой жизни, состоящей из вечного ожидания. Напротив, тревога ее растет с каждым днем, и ей представляется, что опасность, угрожающая Гуме, все возрастает и возрастает. День за днем она все ждет и ждет, а во время бури сердце в груди ее бьется сильнее и чаще. За последние месяцы видела она так много зловещих возвращений — одних выбрасывало на песок море, других вытаскивали рыбаки. Видела она и куски тел Руфино и Эсмералды, погибших никто не знает как и отчего. Люди заметили лодку, плывущую без руля и ветрил, и стали искать утопленников. И нашли только лишь куски рук и ног и голову Эсмералды с открытыми, застывшими в ужасе зелеными глазами. Ливия видела также, как принесли тела Жакеса и Раймундо, — отец и сын погибли вместе, в бурю. Жакес оставил Жудит вдовой, сын их тогда еще не родился, она живет с тех пор в нищете, почти что на милостыню. Ливия видела, как Ризолета стала гулящей женщиной — сегодня с одним,

завтра с другим,— а ведь она прожила с мужем больше десяти лет и никогда не знала других мужчин. Но ее мужчина погиб при кораблекрушении, когда затонул «Цветок морей», нарусник, наткнувшийся на рифы. Ливия видела много еще таких судеб. Моряки редко умирают на суше, в своем доме, на своей постели. Редко бывает, чтоб в свой смертный час видел моряк крышу, над головой и родные лица рядом. Чаще видит он небо, покрытое звездами, и синие морские волны. Ливии страшно. Если б хоть могла она не думать, смириться, как Мария Клара. Но Мария Клара — дочь моря. Сердце ее не рвется от тоски, потому что она знает, что так должно быть, что так было всегда. Она родилась здесь, у моря, и в море покоятся все ее близкие. Один лишь шкипер Мануэл еще рассекает волны. Один лишь он остался. А ведь у нее была большая семья — родители, братья, множество всякой родни. Только ее любимый еще сопротивляется общей судьбе, но и его день придет — должен прийти. Тогда Мария Клара уйдет отсюда и поступит на какую-нибудь фабрику, где будут нужны ее руки, и будет вполголоса петь песни моря у ткацкого станка или у машины, делающей сигары. И вернется к морю, только когда приблизится час смерти, ибо здесь она родилась, здесь ее порт и берег, к которому должна пристать ее жизнь. Так думает Мария Клара. Но Ливия думает иначе. Ливия не родилась на море, она дитя земли, никто из ее родных не нашел себе успокоение на дне океана, никто не отправился с Иеманжой в вечное плавание к землям Айюка. Один только Гума должен отправиться туда. Это судьба людей моря, и он не может избежать ее. Мария Клара говорит, что нельзя все время об этом думать, что это дурная примета, что так она лишь накликает на него смерть. Но в сердце Ливии живет такая твердая уверенность в его гибели, что каждый раз, когда Гума возвращается невредимым, ей кажется, что он воскрес из мертвых.

Печальны дни Ливии, полные ожиданием и страхом. Берег широк и красив, волны бьют о прибрежные камни, нет неба прекрасней, чем в этом краю. Под каждым парусом льются песни и слышится смех. Но дни Ливии печальны и полны страдания.

Однажды вдруг объявился Родолфо. Приехал удрученный, спрашивал, где Гума. Ливия не спросила, откуда он теперь. Пообедал с нею, сказал, что дождется Гумы. «Смелого» ожидали примерно к девяти вечера.

Родольфо целый день курил, ходил из угла в угол, выказывая нетерпение. На тревожный взгляд Ливии отвел:

— Я не приехал в день вашей свадьбы. Но не потому, что не хотел. Возникло одно препятствие. Но дела, я вижу, идут хорошо, скоро надо племянника ждать...

— До каких пор хочешь ты вести эту беспорядочную жизнь, Родольфо? Ты мог бы остаться здесь, заняться чем-нибудь полезным... Так жить не годится, ты плохо кончишь, другие будут горевать о тебе...

— Некому обо мне горевать, Ливия. Я пустой человек, никто меня не любит.

Он увидел, что несправедлив и что Ливия огорчена.

— Когда я так говорю, то не имею в виду тебя. Ты меня жалеешь, ты моя сестра, ты добрая.

Он остановился посреди комнаты:

— С тех пор, как я тебя разыскал, я много раз думал бросить эту жизнь. Но не от меня зависит: поступлю на работу, покажется не под силу — ну я и опять бродяжить. После того как я с тобой познакомился, я раза три пробовал. Дней десять, а то и две недели послужу и увольняюсь. Не выдерживаю. Месяцев около трех тому назад я в игорном доме служил. Все было в порядке, даже начал деньги откладывать. Неплохо зарабатывал.

— А кем ты там работал?

— Фонарем. — Видя на ее лице полное непонимание, он объяснил: — Я растян обрабатывал. Начну играть на большие деньги, дурачье и пялит глаза: видят, как мне везет, ну и сами ставят. А я — цап — да и проигрался, милый человек, уж не сетуй... Так и летели, как мотыльки на фонарь. — И смеялся, рассказывая.

Ливия ничего не ответила. Он снова принялся мерить шагами комнату.

— Но не удержался я там. Нудно как-то показалось. Ушел. Сам не знаю, что меня гонит. Внутри сидит что-то и гонит. Только и могу что браться за дела опасные, с риском.

— Ты должен устроить свою жизнь. Когда-нибудь ты можешь понадобится мне.

— У тебя хороший муж. Гума — парень что надо.

— Но он может погибнуть. — Она ударила себя по губам, словно загоня назад вырвавшееся слово. — Тогда только ты один сможешь помочь мне, — она опустила голову, — мне и сыночку...

Родолфо повернул голову. Он стоял спиной, только лицо было вполоборота обращено к ней.

— Я расскажу тебе все. Знаешь, почему я не приехал на твою свадьбу? Я собирался, но надо было хоть сколько-нибудь деньжат добыть. Для подарка тебе. У меня, как на грех, ни гроша не оказалось. Вижу, полковник идет, толстый, словно заспанный, ну, думаю, у него в карманах не пусто.— Он помолчал секунду. Казалось, он просил прощения: — Я только хотел тебе часы купить. В витрине одной лавки я такие красивые часыки высмотрел. Когда я опомнился, толстяк уже схватил меня за руку, а рядом стоял полицейский. Ну, пришлось отсидеть в кошелке несколько месяцев... Потому я и не приехал...

— Не нужен мне был подарок, ты мне был нужен.

— Даже с пустыми руками? Ну, ты просто святая. Не знаю, что за штука со мной происходит, но таков уж я есть, ничего не поделаешь. Однако если я тебе когда-нибудь понадобится...

Она подошла и прижала к себе голову брата. Он был такой усталый, такой беспокойный. Гума все не приходил. Она теперь страшилась и за мужа и за брата. Родолфо приехал неспроста: была какая-то причина, которой она не знала и которой он не захотел раскрыть ей. Вероятно, он приехал просить денег, у него, наверно, ни гроша в кармане, ведь он совсем недавно вышел из тюрьмы... Он лег на циновку, расстеленную на полу, и растянулся, подложив руки под голову. Волосы, тщательно расчесанные, блестели от дешевого брильянтина. Ливия опустила на пол рядом с ним, и он положил голову ей на колени. Она тихо погладила его голову, усталую голову, полную воспоминаний об опасных приключениях и рискованных кражах, и запела колыбельную песню. Она укачивала брата, как стала бы укачивать сына. Брат был вор и мошенник. Он вымогал обманом деньги, продавал несуществующие земли, метал банк в игорных домах с дурной славой, скрывался невесть где и якшался невесть с кем, пускал даже в ход кинжал, чтобы припугнуть прохожего с тугим бумажником в кармане. Но сейчас он тихо дремал на циновке и был невинен и чист, как ребенок, которого Ливия носила под сердцем. И она пела над ним колыбельную, как над ребенком, как над новорожденным, уснувшим у нее на коленях.



Было уже больше одиннадцати, когда возвратился Гума. Ливия осторожно опустила на циновку голову брата и побежала навстречу мужу. Он объяснил, почему задержался,— очень долго грузился в Мар-Гранде. Услышав голос зятя, Родолфо проенулся.

Они обнялись. Гума пошел за графином, выпить по стаканчику. Чтоб отметить приезд Родолфо, объяснял он, расставляя стаканы, в то время как вода стекала с него ручьями.

— Промок до нитки.

Ливия поставила перед Гумой обед. Родолфо сел за стол, придвинул к себе стакан с водкой. Гума быстро убирал рыбу, проголодавшись за долгий день. Он улыбался то жене, то гостю, весело показывая ему вытянутыми губами на живот Ливии. Родолфо посмотрел. Смотрел долго. Покачал головой в ответ на свою какую-то мысль, пригладил волосы, выпил остаток из своего стакана.

— Ну, я двинулся.

— Уже? Так рано?

— Я только приехал повидать вас...

— Но ведь ты хотел поговорить с Гумой,— промолвила Ливия.

— Да нет, я просто хотел повидать его, столько времени не виделись.

— Надеюсь, теперь ты уж не забудешь дорогу к нашему дому...

Родолфо засмеялся. Надвинул на лоб шляпу, бережно подобрав тщательно расчесанные пряди, вынул из кармана зеркальце, посмотрелся в него, приветливо махнул рукой на прощанье и вышел, насвистывая.

Ливия сказала задумчиво:

— Да нет, у него было к тебе какое-то дело. Видно, денег хотел попросить.

Гума отставил тарелку и крикнул в окошко:

— Родолфо! Родолфо!

Тот уже загибал за угол, но вернулся. Подошел к дому и остановился под окном. Гума, понизив голос, спросил:

— Ты, верно, без гроша? Об этом ты хотел говорить со мной а? Я тебе наскребу сколько-нибудь.

Родолфо положил руку на плечо друга, задумчиво разглядывая татуировку на его руке.

— Не об этом речь...— Он вынул из кармана деньги и показал Гуме: — Я сейчас богат.

— Так в чем же дело?

— Да так, парень. Ничего. Просто я приехал повидать вас обоих. Серьезно.

Он снова махнул на прощанье и пошел прочь от дома. Шел посвистывая, но мысли его упорно возвращались к одному и тому же. Он думал о деле, которое намеревался было предложить Гуме, из-за которого и приехал. Одно из тех рискованных дел, к каким он-то, Родолфо, давно привык. Дело, которое могло дать им обоим легкие и притом немалые деньги. А могло и привести за решетку... Он прикусил аккуратно подстриженный ус и принялся свистеть громче прежнего. Ливия просто святая. А у него, Родолфо, скоро будет племянничек. Он улыбнулся, вообразив себе личико младенца, только что с плачем появившегося на свет. Поддал ногой камешек с дороги и подумал, что теряет весьма выгодное дельце. Но вдруг он забыл обо всем, забыл, что от выгодного дельца отказался сам, из-за сестры и будущего племянника, не желая впутывать Гуму в рискованное предприятие. Внимание его было отвлечено другим: впереди шла молоденькая мулатка, чеканя шаг и плавно поводя бедрами.

Тетка с дядей навещали Ливию. Они жили теперь лучше, лавка процветала, старик щеголял новеньким жилетом, старуха приносила Ливии зелень и овощи. Когда они приходили, старый Франсиско уходил из дому, ему казалось, что они каким-то колючим взглядом осматривают все вокруг, словно сетуя на бедное убранство дома. Дядя морщился и говорил Ливии, что «плавать на паруснике — это бесперспективно». Почему она не добьется, чтоб Гума переехал в город и бросил наконец это море? Он мог бы продать свой шлюп, вырученные деньги внести как пай и стать его компаньоном. Овощную лавку можно было расширить, они открыли бы большой магазин и, чего доброго, могли б еще разбогатеть и обеспечить будущее малышу, который должен родиться. Самое лучшее для Гумы — бросить этот опасный промысел на море и на реке и перебраться в верхний город, поближе к ним, — уверял дядя. А тетка добавляла, что Гума просто обязан так поступить, если он любит Ливию по-настоящему, а не только на словах, Ливия слу-

шала стариков молча, в глубине души соглашаясь с ними,— она была бы рада такой перемене.

Да, она многое бы отдала за то, чтоб Гума бросил свой промысел. Она знала, как трудно моряку покинуть свой корабль, жить вдали от моря. Кто родится на море, на море и умирает, и редко бывает по-другому. Потому она никогда и не заговаривала с Гумой о перемене жизни. Но это было бы лучшим выходом для их семьи. Кончилось бы тоскливое ожидание, что не дает ей жить. Кончился бы страх за будущее. И потом, сын ее не родился бы на море, не чувствовал бы себя связанным с морем на всю жизнь. А то ведь Гума уже мечтает о том, как будет брать ребенка с собою в плавание, с малолетства приучать его к рулю. И после всех страданий из-за мужа Ливии предстоят еще страдания из-за сына — его тоже придется ждать ночи напролет.

И каждый раз после посещения родственников Ливия решала поговорить с Гумой. Надо убедить его. Он продаст «Смелого» (сильно будет жалеть, разумеется. Да и ей тоже жалко), откроет магазин вместе с дядей. Тогда ей нечего будет бояться... Она решала поговорить с ним сегодня же, но когда Гума возвращался из плавания, пропитанный морскою водой, полный впечатлений от всего, что приключилось с ним на опасном пути, у нее не хватало духу завести с ним подобный разговор. Да она и чувствовала, что это бесполезно — невозможно оторвать его от моря. Он окончит жизнь как другие, подобные ему. И она останется вдовой в ночь, когда разыграется буря. И сын ее к тому времени уже привыкнет к парусам шхун и киям лодок, к песням моря и гудкам больших кораблей. Ничто на свете не изменит судьбы Синдбада-морехода.

Дождь так и не пошел в ту ночь. Тучи не собрались на небе. Декабрь — праздничный месяц в городе и на побережье. Но луна не взошла, и свинцовый цвет неба не преобразился в темно-синий с приходом вечера. Ветер опутывал тьмою все вокруг. Он был сильнее дождя, грома и молний, он собрал в себе мощь всех стихий, и ночь эта принадлежала ему одному. Никто не слышал песни, что пел, как всегда, Жеремияс,— ветер рассеивал и заглушал ее. Старые моряки вглядывались в приближающиеся по морю паруса. Они летели слишком быстро, и надо было быть очень опытным рулевым, чтоб сдер-

жать бег судна у самого берега и поставить его на причал такую вот ночью, когда над всем властвует один лишь ветер. Много шхун было еще в открытом море, некоторые неслись к гавани, возвращаясь из плаванья по реке.

Ветер — самый грозный из всех властителей моря. Он круто завивает гребни волн, любит жонглировать кораблями, заставляя их кружиться на воде, вывихивая руки рулевым, тщетно пытающимся удержать равновесие. Эта ночь принадлежала ветру. Он начал с того, что загасил все фонари на шхунах, лишив море его огней. Один лишь маяк мигал вдалеке, указывая путь. Но ветер не повиновался и гнал суда по ложным путям, относился в сторону от верной дороги, увлекал их в открытое море, где волны были слишком мощны для легкого парусника.

Никто не слышит сегодня песни, которую поет старый солдат в покинутом форте. Никто не видит света фонаря, который он поставил на парапет мола, вдающегося в море. Ветер гасит и затуманивает все — и фонари и песни.

Парусники плывут без руля, по воле и милости ветра, вертясь кругами по воде, как игрушечные. Взбешенные стаи акул ждут у входа в гавань. В эту ночь им обеспечена богатая добыча. Парусники вертятся и переворачиваются... Ливия прикрылась шалью (живот был уже такой огромный, что она послала за теткой) и спустилась вниз по набережной. У двери «Звездного маяка» старый Франсиско изучал ветер. Он пошел с нею. Другие пили там, внутри, но глаза всех были устремлены наружу, в грозную ночь.

На пристани собирались группами люди, переговариваясь. Над огромными океанскими пароходами, стоящими в отдалении на якоре, бороздили небо подъемные краны.

Ливия тоже осталась на милости ветра. Старый Франсиско подошел к одной из беседующих групп узнать, нет ли новостей. Ливия слышала обрывки разговора:

— ...надо быть настоящим мужчиной...

— ...этот ветерочек похуже любой бури...

Она ждала долго. Быть может, и получаса не прошло. Но для нее это было долго. Парус, показавшийся вдали, не принадлежал «Смелому». Кажется, это шхуна шкипера Мануэла. Она неслась с бешеной быстротой, человек

за рулем сгибался в три погибели, готовясь к трудному маневру, чтоб остановить судно. Мария Клара низко склонилась над чем-то, простертым на юте. Длинные ее волосы разлетались по ветру. Ливия поправила шаль, соскользнувшую с плеч, взглянула на людей, спускающихся на покрытую мокрой грязью пристань, и ринулась туда. Парусник с трудом причалил, Мария Клара склонялась над распростертым на палубе человеком. И еще до того как шкипер Мануэл произнес: «Смелый» затонул», — она уже знала, что это Гума лежит там, на палубе «Вечного скитальца», и что это над ним склонилась Мария Клара. Ливия двинулась к краю причала, шатаясь как пьяная. Потом, вскрикнув, упала в лужу грязи, отделявшую ее от шхуны шкипера Мануэла.

## СЫН

Послали за доктором Родриго. У Гумы была рана на голове от удара об острые рифы, на которые наткнулся «Смелый». Но когда доктор пришел, ему пришлось сначала оказать помощь Ливии, которая из-за испуга разрешилась от бремени на несколько дней раньше. И малыш уже плакал, когда Гума смог наконец подняться с забинтованной головой и рукой на перевязи. Он долго смотрел на сына. Мария Клара находила, что ребенок — весь в отца.

— Ни прибавить, ни убавить: Гума — и всё тут.

Ливия улыбалась устало, доктор Родриго велел всем оставить ее одну, чтоб отдохнула. Шкипер Мануэл пошел домой, но Мария Клара осталась с Ливией до прихода тетки. Старый Франсиско отправился за нею, по дороге сообщая счастливую новость всем знакомым. Оставшись наедине с Ливией, Мария Клара сказала:

— Ты сегодня заработала сына и мужа.

— Расскажи, как все было.

— Не сейчас, тебе надо отдохнуть. После ты все узнаешь. Ветер, надо сказать, был уж так свиреп...

Гума задумчиво ходил взад-вперед по комнате. Теперь у него родился сын, а «Смелого» больше нет. Чтоб заработать на жизнь, придется наняться на баржу. Нет у него теперь парусника, чтоб оставить в наследство сыну, когда он сам отправится к землям Айока. Теперь он

будет продавать труд своих рук, не будет у него больше своего паруса, своего руля. Это было наказание, думал Гума. За то, что он предал Руфино, предал Ливию. Это было наказание. Ветер упал на него, бросил на рифы. Если б не Мануэл, подоспевший в ту минуту, как Гума упал в воду и ударился головой о камни, не видать бы ему собственного сына.

Родственники Ливии пришли. Обняли Гуму, старый Франсиско им все рассказал дорогою. Приблизились к постели Ливии. Мария Клара простилась, обещав заглянуть позднее. Предупредила, что Ливия спит, доктор не велел будить. Тетка села возле постели, но дядя вышел из комнаты, решив поговорить с Гумой.

— Шлюп совсем пропал?

— Затонул. Доброе было судно...

— А чем вы теперь намерены заняться?

— Сам не знаю... Наймусь лодочником или в доки.

Он был грустен: не было больше «Смелого», нечего было оставить в наследство сыну. Тогда дядя Ливии предложил ему работать с ним. Гума мог бы переехать в верхний город, помогать в лавке, постепенно осваиваться. Дядя собирался расширить дело.

— Я уже говорил об этом с Ливией. Думал, вы продадите шлюп и внесете свой пай. Но теперь никакого пая не надо, просто давайте работать вместе.

Гума не ответил. Тяжело было ему покинуть море, признать себя побежденным. Да и не хотелось оказаться в долгу у дяди Ливии. Старик надеялся, что племянница сделает удачную партию, чтоб иметь компаньона в деле, открыть впоследствии большой магазин. Он был против ее брака с Гумой. Потом примирился и стал думать о Гуме как о возможном компаньоне. Теперь все его честолюбивые планы провалились, и лавка на ближайшее время так, видимо, лавкой и останется, да еще придется извлекать из нее на пропитание Гумы и его семьи. Старик ждал ответа.

Дверь открылась, и вошел старый Франсиско. На руке его виднелась новая татуировка — он велел написать имя «Смелого» рядом со своими четырьмя затонувшими шхунами, которые звались «Гром», «Утренняя звезда», «Лагуна», «Ураган». Теперь к ним присоединился и «Смелый». Старик с гордостью показал новую татуировку, вынул изо рта трубку, положил на стол и обрattился к Гуме:

— Что ты намереваешься делать?

— Стать лавочником.

— Лавочником?

— Он будет моим компаньоном, — с достоинством скавал дядя Ливии, — он оставит прежнюю жизнь.

Старый Франсиско снова взял трубку, аккуратно набил и зажег. Дядя Ливии продолжал:

— Он будет жить с нами в верхнем городе. Вы тоже можете переехать.

— Я не такая развалина, чтоб жить на милостыню. Я пока еще зарабатываю себе на хлеб.

Тетка появилась в дверях, прикладывая палец к губам.

— Говорите потише, пускай она поспит, — и кивала в глубину комнаты.

— Я не хотел обидеть, — объяснял дядя Ливии.

Гума думал о старом Франсиско. Что будет с ним, если он останется один? Скоро он уже не сможет чинить паруса, и ему нечем будет заработать на жизнь. Старый Франсиско затянулся трубкой и закашлялся:

— Я скажу доктору Родриго, что не нужно...

— Чего не нужно?

— Жоан Младший продает своего «Франта». Он купил три баржи, парусник ему больше не нужен. Дешево продает, сразу нужна только половина суммы. Доктор Родриго сказал, что поможет... Но ты хочешь стать лавочником...

— Доктор Родриго дает половину?

— Дает в долг. Ты заплатишь, когда сможешь. Вторую половину будешь выплачивать каждый месяц.

— Это красивое судно.

— Другого такого у нас в порту нет. — Старый Франсиско воодушевлялся: — Только с одним «Скитальцем» шкипера Мануэла может сравниться. Остальные и в счет не идут. Да и продает-то почти что за бесценок.

Он назвал цифру, Гума согласился, что это недорого. Он думал о сыне. Так у сына будет свой парусник.

— Жоан Младший здесь?

— В отъезде. Но когда вернется, поговорим.

— А других покупателей нет?

— Как нет? Уж раньше нас интересовались. Но я все улажу, когда вернется Жоан. Я его ребенком знал, когда он по земле ползал.

Дядя Ливии пошел к племяннице. Гума смотрел на старого Франсиско как на спасителя. Старик пыхтел трубкой, вытянув руку на столе, чтоб просохла новая татуировка. Пробормотал:

— Моя рука пережила его...

— «Смелого»?

— Ты помнишь, как я чуть не разбил его о камни?

Он засмеялся. Гума тоже засмеялся. Пошел за графинчиком.

— Мы «Франта» переименуем.

— А как назовем?

— У меня такое имя на уме — красота: «Крылатый бот».

Входили всё новые приятели. Графин скоро опустел. В комнате стоял запах лаванды.

Как только они остались вдвоем, Гума рассказал Ливии, как все произошло. Она слушала с полузакрытыми глазами. Рядом спал маленький сын. Когда он кончил свой печальный рассказ, она сказала:

— Теперь у нас нет своего парусника, надо нам начинать другую жизнь.

— Я уже покупаю новый...

Он рассказал, как все складывается. С таким судном, как «Франт», можно заработать кучу денег. Он большой и легкий.

— Ты знаешь, не могу я работать с твоим дядей, не внеся ничего в дело. Но когда мы подзаработаем, можно будет продать парусник и переехать к твоим родственникам. Тогда не стыдно будет...

— Честное слово?

— Клянусь.

— А сколько на это нужно времени?

— Полгода буду выплачивать... Еще через годик у нас подсоберется деньжонок, можно будет продать парусник. Войдем в пай с твоим стариком, откроем магазин...

— Ты клянешься?

— Клянусь.

Тогда она указала ему на сыночка. И взгляд ее говорил, что это все из-за него. Только из-за него.



Он приехал на палубе первого класса большого торгового судна, пристававшего на своем веку уже в двадцати портах. Он приехал из краев, находящихся где-то по ту сторону света, и его кожаный бумажник, который он бережно прижимал к груди, подымаясь по улице Монтанья, был почти пуст. Он приехал в ночь, когда свирепствовала буря, в ночь, когда шхуна Жакеса перевернулась у входа в гавань. В эту ночь на палубе третьего класса, глядя на незнакомый город, развернувшийся перед его глазами, он плакал. Он прибыл из Аравии, из какого-то селенья, затерянного среди пустынь, он пересек океан песков, чтоб отправиться заработать кусок хлеба по другую сторону земли. Иные приезжали раньше него, некоторые возвращались домой богатыми и становились владельцами красивых домов и оливковых рощ. Он приехал с той же целью. Он пришел из-за гор, пересек пустыни на спинах верблюдов, взошел на корабль и много дней подряд жил в открытом море.

Он еще не знал ни слова из языка страны, где решил обосноваться, но уже бойко продавал солнечные зонтики, дешевые шелка и кошельки кухаркам и слугам Баии. Довольно быстро освоился он и с чужим городом, и с чужим языком, и с чужими нравами. Он поселился в арабском квартале на улице Ладейра-до-Пелоуриньо, откуда выходил каждый день рано поутру со своим коробом бродячего торговца. Потом жизнь его пошла лучше. Особенно когда он познакомился с Ф. Мурадом, самым богатым арабом в городе. «Торговый дом Ф. Мурад», торговавший шелками, занимал почти целый квартал на улице Чили. Поговаривали, что владелец разбогател на контрабанде. Многие из местных арабов ненавидели его, говорили, что он не помогает своим соотечественникам. В действительности же Ф. Мурад вел точный учет своим соотечественникам, проживающим в Баие. И когда начинало казаться, что кто-то из них может быть полезен торговому дому, Ф. Мурад немедленно призывал его к себе для участия в одном из бесчисленных своих предприятий. Он давно уже приглядывался к Туфику. Еще до приезда последнего он получил письмо, в котором его уведомляли о подлинных причинах этого приезда. Туфика привела в Баию не только мечта о бо-

гатстве. Он покинул свои края, ибо пролил там чужую кровь и хотел, чтоб о нем забыли. Ф. Мурад на несколько месяцев предоставил его самому себе, ограничась лишь пристальным наблюдением. Видел, как приезжий быстро осваивается. Кроме всего прочего, это был, очевидно, человек смелый, способный согласиться на любое опасное дело, только б оно было выгодно. Ф. Мурад призвал его наконец и использовал в самом прибыльном из своих предприятий. Теперь Туфик имел дело с клиентами с борта кораблей, со всеми этими капитанами и лоцманами, которые провозили беспопливно грузы шелка. И Туфик проявлял в этой хитрой работе особую ловкость, никогда еще дела не шли так успешно, как при нем.

Через несколько лет Туфик тоже рассчитывал вернуться домой с тем, чтоб там, среди своих гор, стереть оставленный им кровавый след, засадив его оливковыми рощами.

Он знал порт, как немногие. Капитаны парусных шхун все были его знакомцы, имена кораблей он все помнил наизусть, хотя и прозяносил их, забавно коверкая. Шавьер, хозяин «Совы», работал на него. И если еще не сколотил деньгу, так оттого лишь, что у Шавьера была душевная рана и деньги его уходили на выпивку в «Звездном маяке» и на игру в рулетку в подозрительных игорных домах на некоторых улицах верхнего города, пользующихся дурной славой. Это именно «Сова» принимала в молчании ночи тюки шелка с борта кораблей и отвозила их в надежные укрытия. И столько раз прошел араб Туфик этими опасными водными тропами, что ему казалось, что он и сам — капитан парусной шхуны. По крайней мере, он уже слушал, как зачарованный, те песни, что глубокой ночью пел солдат Жеремиас в старом форте. И как-то туманной ночью и сам вдруг зашел на своем наречии песню моря, услышанную некогда от своих соотечественников-моряков в порту, где он взошел на корабль, отплывавший в Баю. Странная была эта мелодия, вдруг разрезавшая тьму. Странная и чужая. Но песни моряков, сколь различны ни были бы их напевы и наречия, на которых они сложены, всегда повествуют о любви и гибели в волнах. Поэтому все моряки понимают их, даже если они поются арабом с далеких гор, услышавшим их в грязном азиатском порту.

Сынок уже начинал ходить и играл с корабликами, которые мастерил для него старый Франсиско. Брошенные в углу комнаты игрушечный поезд, подарок Родолфо, дешевенький медведь, купленный Ливией, и паяц, принесенный теткой, не удостоились даже взгляда своего маленького владельца. В кораблике, вырезанном из обломка мачты старым Франсиско, заключался для малыша целый мир. В тазу, где Ливия стирала белье, кораблик плавал долгие часы под восхищенными взглядами деду и внука. Он плыл без руля и кормчего и поэтому никогда не приставал к берегу, а все описывал круги или вдруг останавливался посреди своего водного пространства. И мальчик говорил на своем особом языке, похожем на язык араба Туффика:

— Дед, делай булю.

Старый Франсиско знал, что малыш хочет, чтоб над его бухтой разразилась буря. Подобно Иеманже, бросающей на воду буйный ветер, старый Франсиско надувал щеки и выдувал на таз-бухту яростный норд-вест. Бедный кораблик кружился вокруг своей оси, мчался по ветру с небывалой быстротой, а малыш радостно хлопал перепачканными ручонками. Старый Франсиско еще больше надувал щеки, делая ветер еще сильнее. И свистел, подражая смертоносной песне норд-веста. Воды бухты, только что спокойной, как озеро, волновались, волны заливали кораблик, который все больше наполнялся водой и наконец медленно опускался на дно. Малыш хлопал в ладоши, а старый Франсиско смотрел на тонущий кораблик с печалью. Хоть и была это только игрушка, сделанная его собственными руками, но все же это был в конечном счете парусник, который шел ко дну. Волны бухты успокаивались. Теперь она была тиха, как озеро. Кораблик лежал на боку, на дне. Малыш засовывал руку в таз и вынимал кораблик. Игра начиналась снова, и так старик и мальчик проводили целые дни, склонившись над игрушечным морем, над игрушечным кораблем и над настоящей судьбой людей и кораблей в настоящем море.

Ливия с печалью и страхом смотрела на заброшенных медведя и паяца, на игрушечный поезд. Ни разу малыш не запустил его во дворе, не устроил крушения. Ни разу не заставил медведя напасть на паяца. То, что творится на суше, не интересовало его. Судьбы моря, а не

земли, занимали его воображение. Его живые глазенки неотрывно следили за игрушечным кораблем, за его борьбой со штормовым ветром, вылетающим из надутых щек старого Франсиско. А медведь, паец и поезд лежали в углу, заброшенные. Раз только надежда блеснула в сердце Ливии. Это было, когда Фредерико (сына называли Фредерико) вдруг покинул свой таз-бухту в разгар самой страшной бури и пошел искать паяца. А найдя, бережно поднял с пола. Ливия внимательно следила за малышом: неужто устал наконец от бурь и кораблекрушений? Может, интересовался так своим ботом, пока тот был новинкой? А теперь займется забытыми игрушками? Но нет, совсем нет. Малыш отнес паяца к тазу и посадил на корабль. Хотел превратить его в капитана. Станный это был капитан — в полосатых сине-желтых шароварах. Впрочем, подумала Ливия, теперь столько приходится видеть чужеземных моряков в самых разных одеждах, что, если б и впрямь появился какой-нибудь в таких вот шароварах, вряд ли бы это кого-то удивило... И с этого дня каждый раз, когда игрушечный кораблик шел ко дну, паец (сражавшийся, разумеется, с бурей до последней секунды) тонул вместе со своим кораблем, погибая в пучине, как настоящий моряк. На дне таза его тряпчатое тело раздувалось, словно в него вонзились тысячи раков. Малыш хлопал в ладоши, смеялся и восторженно смотрел на деда. Франсиско тоже смеялся, и игра начиналась снова и снова.

Бедный кораблик столько уж раз шел ко дну, и паец столько уж раз тонул, что тряпчатое его тело прохудилось и однажды он остался без ноги. Но морские волки не просят милостыню. И странный моряк в сине-желтых шароварах продолжал бороться с бурями, бодро стоя на одной ноге у мачты своего корабля. Малыш говорил старому Франсиско:

— Акула села.

Акула съела у паяца ногу, старый Франсиско понимал внука. Потом она съела голову, отвалившуюся во время одной особенно сильной бури. Но и без головы моряк (это был самый странный моряк из всех, когда-либо плававших по морям мира) продолжал бодро стоять у руля, рассекая бурные волны на своем корабле. И малыш смеялся, и старик смеялся вместе с ним. Для них обоих море было другом, ласковым другом.

Только Ливия не смеялась. Она смотрела на медведя

п поезд, брошенных в углу. Для нее море было врагом, самым страшным из врагов. Люди, связанные с морем, напоминали ей игрушечного паяца в сине-желтых шароварах, случайно ставшего моряком: даже без ноги, калеккой, боролся он с бешенством морской стихии, не выказывая при этом ни протеста, ни гнева.

Старик и мальчик смеялись. Буря редела над маленькой бухтой, кораблик несся по воле волн и ветра, одинокий моряк без головы пытался управлять кораблем, не желая сдаваться.

«Франта» превратили в «Крылатый бот» и покрасил сызнова. Понадобилось также сменить паруса, и новое судно Гумы обещало стать самым быстроходным в здешних местах. Доктор Родриго дал свою половину суммы с тем, что Гума вернет ее, когда кончит выплачивать вторую половину бывшим владельцам. Эту часть поделили на десять помесячных выплат. То небольшое, что было у Гумы, ушло на обновление судна. И «Крылатый» торжественно вышел в море. Срок, обещанный Ливии для того, чтоб скопить денег и войти пайщиком в дело ее дяди, вместо года растянулся на два. Ибо в конце первого года долг Жоану Младшему почти не уменьшился, а доктору Родриго не было еще выплачено ни гроша. Причиной тут была, разумеется, не неаккуратность, а то, что жизнь для моряков становилась все труднее и труднее. Грузов было мало, цены на фрахт стояли низкие — из-за конкуренции более быстрых и дешевых моторных катеров, — в делах был полный застой. Заработки становились все ниже и ниже, и набережная никогда еще не оглашалась столькими жалобами на распроклятую жизнь.

Ливия уже отчаялась ждать, поняв, что в этом году Гума не покинет море. Она и сама день-деньской трудилась, чтоб он мог поскорее выплатить долги и выкупить свободу для нового своего корабля. Жоан Младший торопил с уплатой, он сам нуждался в деньгах, не мог свести концы с концами после покупки барж. Доктор Родриго ничего не требовал, ждал терпеливо, но Жоан Младший буквально приставал к ним, почти не вылезал от них, подстерегал Гуму на пристани каждый раз, когда тот возвращался из плавания. Что, впрочем, в последнее время случалось не часто. Моряки проводили теперь много времени на базарной площади, беседуя о

жизни, о застое, о трудных временах. Да еще зачастили в «Звездный маяк» — заливать тоску, благо сеу Бабау пока еще верил в долг, хоть и записывал аккуратно все расходы в потрепанную тетрадь в зеленой обложке. Гума брался за любые перевозки, даже если назад приходилось возвращаться порожняком, соглашался даже на короткие рейсы в Итапарику, но и так в конце месяца не хватало денег на очередную выплату Жоану Младшему. Ливия помогала старому Франсиско чинить паруса. Многие часы проводила она теперь, согнувшись над толстым холстом разорванного бурей паруса, с иглой в руке. Но почти вся эта работа делалась в кредит, дела шли плохо у всех на пристани. Так плохо, что грузчики даже поговаривали о забастовке. Гума по целым дням искал работу, старался совершать перевозки насколько возможно быстрее, чтоб закрепить за собой клиентов. Многие продали свои парусники и нанялись на разные работы в порту: грузчиками в доки, матросами на большие океанские суда, носильщиками — таскать чемоданы и тюки путешественников.

И поскольку такая работа занимала мало времени, основную часть дня и ночи пели и пили.

— Жоан Младший заходил, пока тебя не было...

Гума сбросил дорожный мешок на постель. Взглянул на сына, играющего со старым Франсиско в обычную игру.

Был конец месяца, и он обещал Жоану Младшему выплатить хоть сколько-нибудь. Но ничего не удалось отложить, из последнего рейса он вывез сущие гроши, это был рейс в Итапарику. Малыш смеялся, бегая вокруг таза с водой. Гума не стал обедать и сразу вышел. Не прошло и пяти минут, как Жоан Младший постучался к ним в двери:

— Гума вернулся, хозяйка?

— Вернулся, но сразу опять ушел, сеу Жоан.

Жоан Младший недоверчиво заглянул внутрь комнаты.

— Не знаете, куда он направился?

— Не знаю, сеу Жоан, он только что вышел.

— Ну что же, доброй ночи.

— Доброй ночи, сеу Жоан.

Жоан Младший удалился вниз по улице, покусывая ус. Керосиновые лампы на окнах освещали бедно убранные жилища моряков. В дверь одного из домишек вхо-

дил какой-то пьяный, и Жоан услышал голос женщины, отворившей ему:

— В хорошем виде ты приходишь, нечего сказать... Словно не довольно...

На пристани собирались группами мужчины, беседуя. Жоан Младший стал расспрашивать о Гуме. Нет, не видели. На базарной площади кто-то заметил, что, кажется, он пошел в «Звездный маяк».

— Заливать тоску...

Кто-то другой спросил:

— Как твои баржи, Жоан? Доходны?

— Какое там доходны. У кого теперь есть доход? Расходы одни...

Он махнул рукой и пошел дальше. Повстречался с доктором Родриго, который шел куда-то, куря сигарету.

— Добрый вечер.

— Добрый вечер, доктор. Я как раз хотел сказать вам пару слов...

— В чем дело, Жоан?

— Да насчет хозяйки моей. Вы к нам столько раз приходили, пока она болела, на ноги ее поставили. Вы ее спасли. Один только бог вам помог. А я с вами еще не расплатился.

— Ничего страшного, Жоан. Я знаю, что дела у всех сейчас неважные...

— Плохие дела, верно, доктор. Но вы должны получить за вашу работу, вы тоже не можете воздухом питаться. Как только будет возможность...

— Не беспокойтесь об этом. Я обойдусь.

— Спасибо, доктор.

Родриго отошел, затягиваясь. Жоан Младший подумал о Гуме. Хотел было идти домой (времена и правда тяжелые), повернул было в обратную сторону, но внезапно решил и направился к «Звездному маяку»...

Гуму он увидел сразу — за столом перед пустым стаканом. Шкипер Мануэл сидел возле него. С высокого табурета за стойкой сеу Бабау смотрел на посетителей грустно и сонно. Жоан Младший заметил, как шкипер Мануэл, сказав что-то, безнадежно махнул рукой... Жоан стоял на пороге, словно не решаясь войти. Он рассматривал Гуму с восхищением и печалью, словно видел в первый раз. Длинные волосы свисали Гуме на лоб, и глаза глядели с каким-то испугом. «Бойтся», — подумал Жоан и невольно подался назад, словно намеревался

уйти, так и не переступив порога. Но ему нужно было заплатить своим матросам на баржах — и он шагнул за порог. Несколько голосов приветствовали его — «добрый вечер». Он кивнул на обе стороны и тяжело опустился на стул рядом с Мануэлом. Шкипер сказал:

— Как дела? — Казалось, он с трудом заставил себя заговорить с пришельцем.

— Сеу Жоан... — начал Гума.

Жоан Младший дернул себя за ус, спросил выпить. Шкипер Мануэл был очень мрачен и молчал, глядя на дно пустого стакана. Кто-то из посетителей кричал в углу:

— Подадут нам сегодня или нет?..

Сеу Бабау записывал имена должников в тетрадь. Внезапно Гума резко поднялся, провел рукой по лбу, отбрасывая назад волосы, и сказал:

— Пока ничего, сеу Жоан. Дела идут так скверно...

Шкипер Мануэл отозвался эхом:

— Так скверно... — И спросил необычно громко: — Сколько это будет продолжаться?

Сеу Бабау взглянул на говорившего, рука его, сжимавшая карандаш, застыла в воздухе. В наступившей тишине ясней слышалась песня, которую пел слепой у порога. Печальная, заунывная. Она медленно вливалась в комнату, и Жоан Младший слушал, чувствуя, как она постепенно овладевает им. Шкипер Мануэл ответил на свой собственный вопрос:

— Я думаю, что это никогда уж не кончится. И все мы умрем с голоду...

Сеу Бабау опустил свой карандаш. Почесал голову и улыбнулся, сам не зная чему. Закрыв тетрадь и перестал записывать долги. Голова его медленно опустилась на согнутую руку. Казалось, он дремлет.

— Спустил паруса... — заметил кто-то.

— Так скверно... — сказал Жоан Младший, имея в виду дела и время.

Песенка слепого тихо тлела за дверью. Не слышно было звона ни единой монетки, капнувшей в его нищую жестянку. Но слепой все пел. И Жоан Младший слушал его, вопреки собственному желанию. Гума заговорил снова:

— Я хотел в этом месяце заплатить вам, но я гол как сокол. Не было работы, вовсе никакой не было работы, сеу Жоан.



Женщина вошла в таверну — Мадалена. Обвела взглядом пустые столы. Никто не пригласил ее. Она засмеялась, крикнула своим грудным голосом:

— Здесь что, поминки?

Все взглянули на нее. Шкипер Мануэл протянул ей руку — когда-то они были любовники. Но она подошла к их столу не из-за Мануэла, а из-за Жоана Младшего.

— Угостишь рюмочкой, Жоан?

Мальчишка принес стаканы.

Песенка слепого (он пел о нищете своей и просил милостыню) казалась нескончаемой там, за порогом. Гума продолжал:

— Сеу Жоан, потерпите еще, прошу вас. Будет же лучше когда-нибудь...

Шкипер Мануэл усомнился:

— Ты надеешься?

Мадалена обвела взглядом троих мужчин. Потом крикнула хозяину:

— Патефон онемел сегодня, да, Бабау?

Бабау поднял опущенную на руку голову, сонно взглянул вокруг и нехотя двинулся заводить старенький патефон. Звонкая самба наполнила залу. Но и сквозь задорную ее мелодию звучала в ушах Жоана Младшего заунывная песенка слепого.

— Дело в том, Гума, что я и сам завяз. Дьявольски завяз. Троицким своим помощникам задолжал. Баржи пока что никакого дохода не принесли, только расходы.— Он взглянул на шкипера Мануэла, потом на Мадалену и махнул рукой: — Только расходы...

— Я знаю, сеу Жоан. Я очень хочу расплатиться с вами, только вот как?

— Я в тупике, Гума. Или достану денег, или мне придется спустить за бесценок одну из барж, чтоб уплатить собственные долги.

Песенка слепого просачивалась в залу сквозь резкую музыку самбы. Гума повесил голову. Сеу Бабау вернулся за стойку и снова задремал над своей тетрадью. Мадалена с любопытством прислушивалась к разговору.

— Я подумал...— начал Жоан Младший и осекся.

— Что?

— Продать бы нам парусник, ты б получил свою часть, я управился бы с делами. Мы б могли договориться, ты пошел бы работать ко мне на баржу.

— Продать «Крылатого»?!

Песенка слепого совсем заглушила самбу. Хоть и слаба и тиха, казалась она громче и мощнее, ибо все собравшиеся в этот час в таверне слушали только ее:

Сжальтесь над тем, кто навек потерял свет своих ясных глаз...

Шкипер Мануэл также недоумевал:

— Продать «Крылатый бот»?

Мадалена вытянула руку на столе:

— Такого красавца — и вдруг продать...

— Да иначе нам не выпутаться, — оправдывался

Жоан Младший.

Он повторил:

— Не выпутаться...

— Сеу Жоан, подождите еще с месяц, я достану денег. Даже если весь месяц мне придется голодать...

— Да я не из-за себя, Гума. У меня самого долги. — Он боялся, что подумают, что он наживаетеся на ком-то. Песня слепого терзала его. — Ты ведь знаешь, что я не такой человек, чтоб наживаться на других... Я ни с кого не хочу кожу сдирать. Но положение такое дрянное, что я другого выхода не вижу...

— Только месяц...

— Если я завтра людям не заплачу, они уйдут.

Шкипер Мануэл спросил:

— И ничего нельзя придумать?

— Что же?

— Попросить еще у кого-нибудь взаймы?

Стали думать — у кого. Мануэл вспомнил даже о докторе Родриго. Но как Гума, так и Жоан были ему уже должны. Нет, этот не годится... Жоан Младший продолжал оправдываться:

— Спросите у старого Франсиско, наживался ли я когда-нибудь на беде другого. Он меня знает уж столько лет... (Ему хотелось попросить слепого, чтоб замолчал.)

Мадалена кивнула на сеу Бабау:

— Кто знает, может, он выручит?

— А и то... — сказал Мануэл.

Гума смотрел на них смущенный, словно умоляя спасти его. И Жоан Младший продолжал оправдываться — у него было желание подарить Гуме парусник, а по-

том броситься в воду, ибо как будет он смотреть в глаза помощникам, которым не платит? Шкипер Мануэл поднялся, подошел к стойке, взял легонько под руку Бабау. И привел его к столу. Бабау сел рядом с ними:

— В чем дело?

Гума почесал голову. Жоан Младший был весь поглощен песней слепого. Пришлось говорить шкиперу Мануэлу.

— У тебя с деньгами как?

— Когда получу сполна то, что вы все мне задолжали, разбогатею... — засмеялся Бабау.

— А знаешь ты кого-нибудь, кто мог бы выручить?

— Сколько тебе нужно?

— Да это не мне. Это вот сеу Жоану и Гуме. — Он повернулся к Жоану Младшему: — Сколько надо сразу же?

Жоан Младший по-прежнему прислушивался к стонущей мелодии слепого певца. Он объяснил:

— Мне только заплатить своим помощникам. Гума мне должен, ты ведь знаешь, как теперь всем трудно...

Гума прервал:

— Я отдам, как только достану хоть сколько-нибудь денег. Понимаете?

Сеу Бабау спросил:

— Да сколько нужно-то?

Жоан Младший прикинул в уме:

— Сто пятьдесят меня бы выручили...

— В моей кассе и половины нет. Могу открыть, сами увидите... — Он задумался: — Если б речь шла о пятидесяти мильрейсах...

— Пятьдесят тебе не хватит? — Мануэл взглянул на Жоана Младшего.

— Пятидесяти и на уплату одному помощнику не хватит. Сто пятьдесят — это еще тоже не все, что им причитается.

— Ты сколько должен был отдать, Гума?

— Я выплачиваю по сту в месяц... Но я в том месяце тоже не уплатил.

Сеу Бабау поднялся и направился во внутреннее помещение. Мадалена вздохнула:

— Если б было у меня...

Патефон замолчал. Все сидели тихо, слушая песню

слепого. Сеу Бабау вернулся и принес пятьдесят мильрейсов билетами по десять и пять. Отдал Гуме:

— Ты мне вернешь после первого же рейса, хорошо?

Гума протянул деньги Жоану Младшему. Шкипер Мануэл положил руку на плечо Мадалены.

— Подцепи полковника, который даст нам в долг сотню.

Она улынулась:

— Если я сегодня выручу пятерку, то буду считать себя счастливой...

Гума сказал Жоану Младшему:

— Подождите еще несколько дней. Попробую достать недостающее.

Жоан Младший кивнул. Мадалена вздохнул с облегчением и принялась непринужденно болтать:

— Вы знаете Жоану? Ты знаешь, правда, Мануэл? Так вот, сидит она сегодня у окна и видит, что какой-то тип с нее глаз не спускает. Ну она и...

Но Гума прервал:

— Вы все знаете, что этот бот не дает мне никакого заработка. Он, собственно, и не мой еще, я за него и четверти не заплатил. И задолжал вам, Жоан, и доктору Родриго. Но если я останусь без судна, то что оставляю я в наследство сыну? Здесь, на море, долго не проживешь, настигнет тебя в один прекрасный день буря, ну и отправишься далеко. Разве что для тех, у кого нет ни жены, ни детей...

— Тяжкая доля,— согласился Мануэл.— За то я и не хочу детей. Хозяйка-то хотела бы...

— А жена у тебя красивая,— сказала Мадалена Гуме.

— Ты ее знаешь?

— Я видела вас вместе на улице.

Песня слепого все лилась через порог. Снова подали водки. Жоан Младший сказал:

— Достать бы мне еще десятку, я б каждому хоть по двадцать отдал... Может, остаток подождали бы.

— Десятку я тебе завтра утром достану,— отозвался Мануэл.— У хозяйки, возможно, есть.

— А у нас в доме — новенькая,— сказала Мадалена.

— А, в вашем стаде новая телушка появилась, вот как?

— Новая телушка... Скорей старая корова... Не дай тебе боже...

— Кто ж она?

— Старушенция, правда. Говорит, что была женой Шавьера.

— Шавьера? Капитана «Совы»?

— Его самого.

— Он нам когда-то о ней рассказывал,— сказал задумчиво Гума.

— Верно, помню,— подтвердил Мануэл.

— Он был так влюблен в нее. Она его бросила, и он даже шхуну назвал так, как она его самого звала — «Совой».

— Чудак какой-то,— Мадалена сделала насмешливую гримаску,— никогда другого такого не видала...

— Ты очень дружил с Руфино, правда? — Жоан Младший вдруг обернулся к Гуме.

— Почему вы спрашиваете? — Гума явственно слышал теперь песню слепого.

— Говорят, он убил жену, она ему рога наставляла с матросом каким-то.

— Я тоже слышала,— подтвердила Мадалена.

— А я в первый раз слышу. И если так, то он прав. Честный был парень.

— Другого такого ловкого лодочника на всем побережье нет,— сказал Мануэл.

Гуме слышался голос Руфино, повторявший «братиска, братиска». Одно его утешало — мысль, что Руфино так и не узнал, что и он, Гума, его предал. Жоан Младший заключил беседу:

— Я б на его месте того типа тоже прихлопнул...

В эту минуту вошел Манека Безрукий. Он сел за столик рядом с друзьями и сказал громко, обращаясь ко всем присутствующим:

— Вы уже слышали новость?

Все навострили уши. Манека Безрукий рассказал:

— Шавьер продал шхуну Педрокке за бесценок и поступил матросом на греческий корабль, который сегодня снялся с якоря.

— Что ты говоришь?

— То, что слышите. Ни с кем не посоветовался. Отплыл так с полчаса назад...

— Из-за этой женщины... — пробормотала Мадалена.

— Говорят, на этом греческом корабле команде жрать нечего,— заметил негр, сидевший за соседним столиком.

Они вышли. За порогом слепой все пел. Он вытянул

руку с жестянкой, и Жоан Младший бросил в нее монетку в два тостана. Купить табаку, чтоб выкурить трубку сегодня вечером, уж не придется.

Араб Туфик понес большой ущерб из-за бегства Шавьера. Через пять дней должен был прибыть большой корабль с грузом контрабандного шелка. Как доставить его на берег без помощи парусника и надежного человека, который управлял бы этим парусником? Он объяснил Ф. Мураду:

— Все потому, что пьяница был. На того, кто пьет, надеяться нельзя. Я теперь договорюсь с кем-нибудь понадежней.

— Договорись как можно скорее. Необходимо доставить груз вовремя.

Туфик отправился на пристань. Попробовал выпросить у сеу Бабау, как там с финансами у моряков. Узнал о том, что случилось накануне, узнал, что хозяин таверны ссудил деньгами Гуму, что дело чуть не дошло до продажи «Крылатого бота». Спросил:

— А можно на него положиться?

— На Гуму?

— Ну да.

— Нет на всем побережье человека честней его.

Араб сразу же и отправился к Гуме. Ливия открыла:

— Гума ушел, но он скоро вернется, сеу Туфик. Вы подождете?

Он сказал, что подождет. Пройдя в комнату, он сел на единственный (и дырявый) стул и, задумчиво вертя в руках шляпу, смотрел сквозь открытую дверь на ребенка, бегающего по лужам во дворе. И вдруг Туфик вспомнил, что Родолфо сказал ему однажды (Туфик разыскал его, чтоб узнать, не согласится ли Гума участвовать в одном контрабандном деле): «Мой зять не тот человек, что тебе нужен, турок». Никогда не пойдет он на такое, уверен был Родолфо. И сейчас Туфик подумал, что, может, и не стоит дожидаться. Но надо было срочно найти замену Шавьеру. Гума подходил по многим признакам: лучше всех умеет управлять парусником, судно у него легкое и быстроходное, да к тому ж он остро нуждается в деньгах, долгов много. Но хватит ли у него храбрости ввязаться в подобные дела? О каких-то там принципах Туфик даже и не вспомнил, но вот хватит ли

храбрости?.. Он встал и подошел к окну. Гума показался в конце улицы. Увидев Туфика, зашагал быстрее.

— Что хорошего, сеу Туфик?

— Я хотел поговорить с вами.

— К вашим услугам...

Ливия вошла в комнату и смотрела на мужчин с тревогой. Гума предложил:

— Выпьете, сеу Туфик?

— Разве что стаканчик.

— Ливия, угости сеу Туфика.

Туфик указал на ребенка во дворе:

— Сынок?

— Он самый.

Ливия принесла выпивку. Туфик налил себе. Когда Ливия вышла, он придвинул свой дырявый стул к ящику, на котором сидел Гума:

— Простите, сеу Гума, за вопрос, но как у вас с деньгами?

— Да неважно, сеу Туфик, по совести сказать, неважно. Застой, сами знаете. А вам зачем?

— Да, плохие времена, очень плохие. Но и сейчас человек решительный может заработать много денег.

— Не вижу как...

— Вы еще не выплатили за новый бот, правда?

— Пока что нет. А как же вы считаете, можно заработать?

— Вам известно, что Шавьер уехал?

— Известно. Жена его здесь появилась.

— Какая жена?

— Его. Он был женат.

— Так вот из-за чего... Он ведь у меня работал, вы не знали?

— Слышал.

— Посадил меня на мель, как вы тут выражаетесь. А работа у него была такая, что приносила много денег.

— Принимал контрабандный товар?

— Некоторые наши заказы, что прибывали на кораблях...

— Не хитрите со мной, сеу Туфик, не тратьте попусту время. Все давно всё знают. А теперь вы хотите втянуть в эти дела меня?

— Вы смогли бы выплатить за свое судно в течение двух-трех месяцев. Дело выгодное. За один раз можно заработать не меньше пятисот мильрейсов.

— Но если дознается полиция, богач пойдет ко дну.

— У нас все так налажено, что не дознается. Дозналась хоть раз?

Он нерешительно посмотрел на Гуму:

— В среду прибывает немецкий пароход. Он доставит большой груз. Дело выгодное...— Он осекся.— Сколько вы еще должны за бот? Много?

— Примерно восемьсот.

— Вы можете заработать пятьсот одним махом. Крупное дело, три рейса, не меньше. За одну ночь вы загребете кучу денег.

Он говорил, прижав голову к плечу Гумы, громким шепотом, как заговорщик. Гума подумал, что, может, стоит пойти на это рискованное дело раз или два только чтоб выплатить за бот, а потом махнуть этим арабам рукой — и поминай как звали. Туфик, казалось, отгадал его мысли:

— Два-три раза проделаете что надо, заплатите за судно, а потом можете и не продолжать. У меня выхода нет, мне немедля человек нужен. Освободитесь от долгов. К тому ж речь идет всего об одном или двух грузах в месяц. А в остальные дни вы свободны, плывите куда хотите, можете мне и на глаза не показываться.

Туфик смолк и ждал ответа. Гума задумался. Согласиться разве на первое время? Оплатить судно — и бросить. Сам Туфик предложил это. Страха Гума не испытывал, его даже привлекали опасные рейсы. Боялся лишь, что вдруг попадет в тюрьму, и Ливия тогда с ума сойдет от огорчения. Она уж из-за брата исстрадалась... Он услышал голос Туфика:

— Хотите денег вперед?

Вспомнил Жоана Младшего, задолжавшего помощникам, почти решившегося продать одну из барж...

— Вы мне дадите вперед сто мильрейсов? Тогда я согласен.

Араб сунул руку в карман брюк, достал сверток бумаг. Это были письма, квитанции, векселя. И вперемешку со всеми этими грязными, измятыми бумагами — деньги.

— Вы знаете, где Шавьер принимал грузы шелка?

— Нет. Где?

— В порту Санто-Антонио.

— Близко от маяка?



— Там.

— Ладно.

Гума протянул руку и взял деньги. На пороге показался старый Франсиско. Туфик простился, тихонько напомним Гуме:

— В среду в десять. Чтоб судно было наготове.

Старый Франсиско приветствовал Туфика, когда тот уже выходил:

— Добрый день, сеу Туфик.

Ливия поинтересовалась:

— Что он хотел?

— Узнать о Шавьере. Кажется, Шавьер остался ему должен.

Старый Франсиско взглянул недоверчиво. Ливия заметила:

— Я уж думала, он у нас совсем поселился.

Мальчик во дворе заплакал. Гума пошел за ним.

Ночь над землю веяла теплом. Но над морем дул свежий ветер, пробирающий до костей. На небе в звездах стояла большая желтая луна. Море было покойно, и только песни, доносящиеся с разных сторон, нарушали тишину. Неподалеку от «Крылатого бота» покачивался на якоре «Вечный скиталец», и Гуме слышны были любовные вздохи Марии Клары. Шкиперу Мануэлу нравилась любовь на палубе в лунные ночи под широким небом. Посеребренное луною море расстилалось вокруг любящих. Гума подумал о Ливии, которая сейчас дома, одна, в тревоге. Она никогда не могла примириться с той жизнью, какую он вел. После гибели «Смелого» она жила в вечной агонии, после каждого рейса ожидая увидеть мужа мертвым. Если она теперь узнает, что он впутался в контрабанду, то уж ни на мгновение не сможет быть спокойной, ибо к страху за его жизнь прибавится еще страх за его свободу. Ей теперь все время будет он представляться за решеткой... Гума клянется сам себе, что бросит эти дела сразу же, как выплатит долг за парусник. Сегодня — первая ночь, и на рассвете он получит пятьсот мильрейсов. Он отнесет деньги Жоану Младшему, скажет, что достал у друзей. Останется только доктор Родриго, ну, а он уж подождет. Еще два таких рейса — и новое судно будет оплачено. Тогда он подработает немного еще, продаст «Крылатый бот» и войдет пайщиком в это дело с магазином, которое предлагает

дядя Ливии... Как? Продать «Крылатого»? После стольких жертв? Так трудно было его приобрести, а теперь вдруг продать за бесценок, чтоб стать приказчиком в какой-то лавчонке? Оставить море, вольные паруса под ветром, родной порт? Нет, такое моряку не под силу, в особенности когда ночь так хороша, так полна звезд, так светла под круглой луной... Однако уже больше десяти, а Туфика все не видно.

Гума видел, как грузовой немецкий пароход вошел в гавань. Было три часа дня. Пароход не пристал, он был слишком огромен для здешней узкой гавани, остался на якоре неподалеку, выпуская огромные клубы дыма. С палубы «Крылатого» Гума различал огни парохода. Ливия, наверно, думает, что муж уже ушел в плавание, уже рассекает волны реки, везя груз в Мар-Гранде. Она ждет его возвращения не раньше рассвета. Наверно, в волнении, наверно, страшится за него, а когда он войдет, бросится ему на шею, спрашивая, скоро ли они переедут в город. Магазины... Продать судно, оставить порт. Он подумал об этом в первый раз, когда предал Руфино. Во второй — когда потерял «Смелого». Но теперь ему не хочется этого. На суше умирают так же, как и на море, страх Ливии — просто глупость. Однако песня, в которой говорится о том, как несчастна судьба жены моряка, не молкнет в здешних краях. Слышна и сейчас... Гума с нежностью проводит рукой по борту «Крылатого». Один лишь «Вечный скиталец» может поспорить с ним. Да и то потому лишь, что им управляет такой мастер своего дела, как Мануэл. «Смелый» тоже был хорошее судно. Не такое, однако, как «Крылатый». Даже сам старый Франсиско, со всем его опытом, говорил, что такого судна, как это, он еще не встречал. А теперь вот — продать его...

Он услышал как Туфик спрыгнул с высокого берега на ют «Крылатого». С ним был другой араб, в кашне, обернутом вокруг шеи, несмотря на жару. Туфик представил:

— Сеньор Аддад.

— Капитан Гума.

Араб приложил руку к виску, словно отдавая честь. Гума сказал:

— Добрый вечер.

Туфик внимательно осматривал бота:

— Вместительный, а?

— Самый большой в порту.

— Я думаю, за два рейса вы весь груз перевезете. .  
Аддад кивал головой. Гума спросил:

— Пора отчаливать?

— Подождем. Рано еще.

Арабы уселись на юте, начав длинный разговор на своем языке. Гума молча курил, слушая песню, доносящуюся со старого форта:

Мой любимый ко мне не вернулся,  
он остался в зеленых волнах.

Арабы продолжали свою беседу. Гума вспоминал Ливию. Она думает, что он в плавании, что он об эту пору пересек уже вход в гавань. Внезапно Туфик, повернувшись к нему, сказал:

— Красивая песня, правда?

— Очень.

— Жалостная такая.

Второй араб молчал, задумавшись. Потом запахнул пиджак и сказал что-то по-арабски. Туфик рассмеялся. Гума смотрел на них. Голос, доносящийся со старого форта, угас, и теперь ясно слышался скрип досок под телами мужчины и женщины на шхуне шкипера Мануэла.

Примерно около полуночи Туфик сказал:

— Можем отчаливать.

Гума выбрал якорь (Аддад с любопытством разглядывал татуировку у него на руке), поднял паруса. Судно развернулось и начало набирать скорость. Показались огни парохода. Снова раздалась песня со старого форта. Жеремиас в эту звездную ночь приветствовал, верно, луну, освещающую путь кораблям. На боте Гумы царило молчание. Когда были уже вблизи корабля, Туфик сказал:

— Остановитесь.

«Крылатый» остановился. Повинуясь жесту Туфика, Гума спустил паруса. Бот медленно покачивался на волнах. Аддад свистнул условным свистом. Ответа не последовало. Попытался снова. На третий раз они услышали ответный свист.

— Можем подойти, — сказал Аддад.

Гума взялся за весла, не подымая парусов. Бот обошел кругом огромный корабль, причалив к его боку с той стороны, где открывался путь на Итапажипе. Показалась на мгновение чья-то голова. Послышалось несколько отрывистых слов на непонятном Гуме языке, и

голова скрылась. Адад распорядился пройти еще вперед вдоль корпуса корабля. Они остановились перед большим отверстием. И двое людей начали спускать тюки шелка, которые Гума и Туфик сразу же складывали в трюме бота. Никто не заметил их.

Бот медленно отделился от корабля. Уже далеко, после того как пересекли фарватер, подняли паруса и пошли на большой скорости, не зажигая фонаря. Ветер был попутный, и вскоре достигли порта Санто-Антонио. Море здесь волновалось сильнее, и волны подымались высоко, но бот большой и крепкий и стойко выдерживал их удары. Туфик заметил:

— Мы быстро дошли.

На пристани их уже ждали. Один из встречавших, хорошо одетый человек, шагнул вперед:

— Все в порядке?

— Сколько еще рейсов?

— На таком паруснике, как этот,— только один.

Хорошо одетый человек внимательно всматривался в Гуму, помогающего разгружать тюки шелка. Их следовало затем доставить в один дом, выходящий задней стеной в порт.

— Это тот самый парень?

— Тот самый, сеньор Мурад.

Гума взглянул на богача. Это был толстый, гладко выбритый человек, весь в черном. Он опустил руку на плечо Гумы.

— Парень, ты можешь заработать со мной кучу денег. Если не станешь хитрить.

Еще раз окинул быстрым взглядом груз и сказал Туфику:

— Присмотрите, чтоб все было в порядке. Я уйду, мой Антонио заболел.

Антонио был его сын, студент юридического факультета. Богач обожал своего ученого кутилу. Он все прощал ему и приходил в восторг, увидев имя сына под какой-нибудь статейкой в газете или журнале... Поэтому Адад сказал так участливо:

— Антонио заболел? Я найду его навестить.

Ф. Мурад, прежде чем уйти, еще раз тронул Гуму за плечо:

— Будь со мной по-хорошему, не раскаешься.

— Будьте спокойны.

За углом, через улицу и еще через переулок, богача ждал автомобиль.

Кончив разгрузку, «Крылатый» отправился в новый рейс. Трюм его снова был набит тюками шелка. Гума потерял счет, сколько тюков они перетаскали. Туфик передал одному из своих помощников пачку денег, которые тот пересчитал при свете карманного фонаря.

— Все правильно,— сказал с ужасным акцентом человек, стоящий сзади считавшего.

Судно отчалило, снова пошло по направлению ветра, подняли паруса и дошли без каких-либо осложнений до порта Санто-Антонио. На сей раз Туфик предложил Гуме выпить. Судно разгрузили. Адад вошел в дом и что-то замешкался. Гума разжег трубку. Туфик подошел к нему.

— Я вам сообщу, когда вы мне снова понадобится.— Он вынул два билета по двести и протянул Гуме: — Вы никогда не видели этого дома, ясно?

— Слово моряка.

Туфик улыбнулся:

— Красивая песня, та, что недавно пели, верно?

Он застегнул пиджак и тоже вошел в дом. Гума крепко сжал в руке два денежных билета. «Крылатый» развернулся на волнах и отошел в надвигающемся рассвете. И только когда вокруг зашумело широкое море, Гума почувствовал, до чего устал. Он вытянулся на досках палубы, пробормотав:

— Можно подумать, что я все время боялся.

Маяк тускло мигал в наступающем рассвете.

Жоан Младший сказал ему:

— Ты человек слова.

— Я взял в долг у жениного дяди. Теперь ему буду выплачивать. Лавка приносит доход, старик, кажется, собирается открыть большой магазин. Даже предлагал мне стать его компаньоном.

— Я однажды застал его у вас.

— Хороший старик.

— Сразу видно.

Дней через десять явился Родолфо. Гума накануне вернулся из рейса в Кашоэйру и еще спал. Старый Франсиско ушел за покупками. Родолфо немножко поиграл с малышом и разговорился с Ливией:

— Ты все еще так же беспокоишься?

— Когда-нибудь привыкну... Придет такой день.

— Да что-то долго не приходит.

Он взглянул на племянника, тянувшего его за руку — показать игрушечный кораблик в тазу. И снова обратился к сестре:

— Ты ведь хотела, чтоб он поступил работать к старикам, в лавку.

— Я б рада была, конечно.

— Так момент наступил...

— Что ты хочешь этим сказать? — встревожилась она.

Он искоса взглянул на нее. Если б она знала, то встревожилась бы куда сильнее.

— Да ничего особенного. Из-за малыша, Растет ведь, потом привыкнет тут — и не оторвешь.

Она смотрела все еще недоверчиво, но немножко успокоилась:

— Я думала, случилось что-нибудь.

И вдруг спросила:

— Где ты достал деньги, которые дал в долг Гуме?

— Я? — Но он быстро понял: — Мне подвернулась выгодная работа. Я б все равно пустил эти деньги на ветер...

Она подошла и погладила его по голове:

— Ты такой добрый.

Гума проснулся. Пока Ливия варила кофе, Родолфо спросил:

— Ты что, с контрабандой связался?

— А ты откуда знаешь?

— Я все о таких делах знаю. Я даже сам раз пришел к тебе с поручением от Туфика, но ничего не сказал — сестру пожалел.

— В прошлый раз?

— Ну да.

— Ты не бойся, я там не приживусь. Выплачу за судно — и конец. Немного уж осталось.

— Будь осторожен. Если такое дело провалится, то скандал будет громкий. С Мурадом ничего не стряется, у него больше десяти тысяч накоплено, вылезет. Но под удар попадут такие бедняки, как ты. Имей это в виду.

— Я там долго не задержусь. Я не хочу, чтоб Ливия...

— Днем раньше, днем позже она все равно узнает. Какие деньги я тебе дал?

Гума засмеялся.

— Ты оказался на высоте?

— Да чуть не засыпался. Будь осторожней. Дело это опасное.

Ливия вошла, неся кофе и лепешки из маисовой муки.

— Вы что тут секретничаете?

— Ни о чем мы не секретничаем. Мы про малыша говорили.

— Родолфо вот тоже считает, что нам хорошо было бы перебраться поближе к родственникам.

— Из-за мальчонки, — подтвердил Родолфо.

— Подожди, чернявая. Вот выплачу за бот — и идем. Подработаю, войдем в пай. Теперь уж недолго.

Гума ласково обхватил жену за талию. Она села к нему на колени.

— Мне так страшно...

Родолфо опустил голову.

Во второй раз груз был маленький — французские чулки для франтих и духи. Гума получил сто мильрейсов. Все обошлось благополучно. На сей раз Ф. Мурад тоже отправился с ними на «Крылатом» и долго совещался о чем-то с одним пассажиром большого корабля. Потом заплатил много денег. Когда возвращались, сказал Гуме, мрачно сдвинув брови:

— Ты никогда не видал меня на борту какого-либо корабля, парень.

— Само собой разумеется.

— Я слышал о тебе. Говорят, ты парень смелый. Сколько еще ты должен за твой бот?

— Когда внесу сегодняшние сто, останется только триста пятьдесят.

— Еще несколько рейсов, и бот твой. А потом ты нас покинешь?

— То есть буду ли дальше работать на вас, сеньор? Думаю, что нет.

— Не будешь?

— Я ведь с самого начала так и сказал сеу Туфику. Что я возьмусь за это, но когда захочу — перестану. Я затем только и взялся, чтоб выплатить за бот.

— Никто тебя не держит.

— Вы не бойтесь, я ничего никому не расскажу. Рта не раскрою.

— Я и не боюсь. Я знаю, что ты парень честный. Мне

только кажется, что если б ты остался с нами, то мог бы заработать много денег.

Он опустил руку на плечо Гумы:

— Ты находишь эту работу очень опасной?

— У меня жена и сын. Завтра полиция нападет на след и (он вспомнил слова Родолфо)... Вам-то, сеньор, ничего не будет. Вы богач. Удар падет на мою спину.

Ф. Мурад понизил голос:

— Ты думаешь, никто не знает, что я занимаюсь контрабандой? В полиции у меня есть свои люди. Я их купил. Мне трудно будет найти другого такого парня, как ты.

Они продолжали путь в молчании. Когда стал виден берег, Мурад еще раз повторил:

— Если останешься с нами, заработаешь много денег.

— Я поразмыслю. Если решу...

— Туфик говорил, что через месяц ожидается большой груз. Можно заработать двести мильрейсов, а то и больше...

На следующий день он понес свой долг доктору Родриго. Заработал в последнем рейсе, сказал он. В Кашоэре играл в рулетку и повезло. Поставил пятерку, а выиграл сто двадцать. И поскольку в этом месяце он уже заплатил часть Жоану Младшему, то теперь вот пришел отдать эту сотню доктору, с благодарностью. Родриго вначале не хотел брать. Сказал, что Гуме, верно, самому нужно. Но Гума настоял. Чем раньше он выплатит все долги, связанные с покупкой судна, тем ему будет легче.

От доктора он отправился договариваться о рейсе в Санто-Амаро. За грузом вина. Обычные рейсы — это на жизнь. Деньги за контрабанду — только на оплату парусника. Выплатив все долги, придется, видно, еще немножко поработать на арабов, чтоб добыть еще примерно сотню. Тогда уж можно будет удовлетворить мечту Ливии — переехать в город и открыть магазин вместе со стариками. Может, даже и не придется продавать «Крылатого». Можно отдать его шкиперу Мануэлу или Манеке Безрукому напрокат, основав с ними товарищество. Оба с удовольствием возьмут в дело второй парусник. А у Манеки Безрукого так и вовсе одна лодчонка — он будет рад иметь возможность плавать на «Крылатом», так он гораздо больше заработает. А ему, Гуме, не придется оконча-



тельно расставаться с морем. Он сможет иногда тоже уходить с ними в плавание. Он не перестанет быть моряком, не оторвет от сердца все, что связано с морем. Он исполнит желание Ливии и сам будет доволен, переедет в город, не разлучаясь с морем. Вот это план! Лучше не придумаешь! Но чтоб осуществить его, придется еще некоторое время заниматься контрабандой, чтоб накопить денег и войти в пай с дядей. Еще месяца два-три, еще несколько рейсов — и хватит. Дело-то выгодное, тут ничего не скажешь. Жаль только, что вдруг вместо денег можно заработать тюрьму. Если б все раскрылось, скандал был бы на весь свет. У Ф. Мурада накоплено десять тысяч конто<sup>1</sup>, спина-то у него крепкая, не сломается. Но он, Гума, у которого один бот, да и то пока что не свой...

Нет, страха он не испытывал. И если думал об опасности контрабанды, то только из-за Ливии и сына. Перед его глазами все время был малыш, возившийся с корабликом у таза с водой. Маленький капитан. Любит море, сразу видно, что сын моряка. Когда вырастет, будет управлять «Крылатым ботом», не один рейс совершит в этих водах. Станет хвастать, что отец был лучший рулевой здешних мест, что, даже перебравшись в город, он не продал свой парусник и теперь еще время от времени уходит с сыном в плавание... Гума ласково провел рукой по борту «Крылатого»...

Спустившись в трюм, он увидел сверток шелка. Совсем забыл... Накануне Ф. Мурад отдал ему этот отрез со словами:

— Подари твоей жене.

Торопясь домой, он совсем забыл об этом. Ливия будет рада. У нее мало платьев, и все плохонькие. Теперь у нее будет нарядное платье, как у городской модницы.

Гума еще прибрал немного на судне и пошел домой. После обеда он закончит сегодняшние дела... Ливия ожидала его, сидя на окне с сыном на коленях. Он сразу показал ей шелк.

— Забыл утром на боте.

— Что это?

— Посмотри сама...

---

<sup>1</sup> Конто — старинная бразильская денежная единица, равная тысяче мильрейсов.

Он вошел. Она спрыгнула с окна, спустила малы-  
ша на пол. Внимательно рассматривая материю, ска-  
зала:

— Но это же дорогой шелк...— И в глазах ее был тре-  
вожный вопрос.

— Я его выиграл в лотерею на ярмарке в Кашоэйре.

— Ты врешь. Почему ты мне правду не скажешь?

— Какую правду? Я выиграл в лотерею, и все.

Она медленно сложила шелк. Минуту помолчала, по-  
том сказала вдруг:

— Зачем ты хочешь, чтоб я все узнала от других?

— Да о чем ты?

— Так хуже.

— Ты просто сумасшедшая...

— Ты думаешь я не знаю уже? Плохое быстро узна-  
ешь. Ты связался с контрабандой, так?

— Тебе Родолфо сказал?

— Я его почти не вижу. Но все на пристани знают,  
что ты заступил на место Шавьера...

— Вранье.

Но невозможно было долее отпираться. Лучше все  
рассказать.

— Ты разве не понимаешь что мы завязли по уши  
и не было другого выхода? Жоан Младший хотел уж пе-  
репродать «Крылатый бот» кому-нибудь другому, тогда б  
мне пришлось наняться лодочником и мы никогда бы от-  
сюда не уехали, как ты хочешь.

Ливия слушала молча. Малыш выбежал из-за двери и  
ухватился за подол матери. Гума продолжал:

— Ты же видишь... Я сделал для них всего три рейса,  
а уж оплатил почти весь долг за судно. Через месяц у  
нас будут деньги чтоб переехать в город и войти в дело  
твоего дяди.— Он с трудом выдавил: — Если я впутался  
в это, так ведь из-за тебя и из-за сына.

— Мне страшно, Гума. Не хорошие это деньги. В один  
прекрасный день все обернется по-иному, что тогда с нами  
будет? Я и раньше боялась за тебя, а теперь вдвойне...

— Так это ж ненадолго. Ничего не раскроется, как  
может раскрыться? Ты думаешь, полиции ничего не изве-  
стно? Все ей превосходно известно, она этими известия-  
ми по горло сыта. И деньгами сеу Мурада.

— Может, из полиции всего двое каких и знают.  
Когда-нибудь придет настоящий начальник, серьезный, и  
разом со всем покончит.

— Тогда меня уж это не будет касаться. Через три, самое позднее — четыре месяца я все это брошу. А может, и раньше. Немножко поднакоплю и...

— Сейчас, вижу, ничего уж не поделаешь, — произнесла Ливия печально. — Но ты мне обещаешь, что оставишь это, как только сможешь? Что переедешь со мною в верхний город?

— Обещаю твердо.

Тогда она развернула отрез шелка. Красивая материя. Она набросила шелк на себя, примеряя, как будет выглядеть платье. Улыбнулась:

— Сошью, только когда ты бросишь эти дела.

— Значит, скоро.

И Гума принялся рассказывать перипетии своих контрабандных рейсов.

Следующее плавание не дало того, что обещал Туфик. Груза прибыло меньше, чем ожидали, как объяснил арабам их соотечественник с парохода в нескончаемом разговоре на непонятном Гуме языке. Гума получил только сто пятьдесят мильрейсов. Туфик сообщил ему, что ожидается еще груз на этой же неделе. Но тут разразилась забастовка докеров и портовых грузчиков. Лодочники, матросы и капитаны мелких парусных судов в большинстве своем присоединились к бастующим. Забастовка окончилась успехом, плата за перевозки увеличилась. Но начались преследования, и одному докеру, по имени Армандо, пришлось бежать, скрываясь от полиции. Случилось так, что укрылся он на боте Гумы, отправлявшемся в плавание уже по новому тарифу. И на палубе, под звездным небом, докер рассказал Гуме многое, чего тот не знал до сих пор. И эта ночь стала для Гумы не ночью, а близящимся рассветом.

Доктор Родриго очень помогал бастовавшим докерам. Когда все закончилось, он написал поэму, кончающуюся намеком на то, что чудо, которого ждала донна Дулсе, начинает осуществляться. Она согласилась, улыбаясь. Она за последнее время сгорбилась еще больше, но, послушав поэму, даже как-то распрямила плечи. И улыбалась, счастливая. Наконец-то она нашла слово, новое слово, чтоб сказать его обитателям бедных этих жилищ. Теперь они действительно могли называть ее добрым другом. Она

знала, как отблагодарить их. Она снова обрела веру. Но только вера ее была теперь иная.

В небе над Санто-Амаро звезда Скорпиона исчезла. Спустилась, наверно, к бастующим докерам.

Гума проделал еще несколько рейсов для Туфика. Оплатил бот. Он даже подружился с арабом — такой всегда приветливый.. Аддад, тот продолжал упорно и мрачно молчать, выцветшее кашне болталось вокруг его шеи. Мурад появлялся редко, только когда нужно было переговорить о чем-то важном со своими людьми на пароходе. Теперь у Гумы было отложено двести пятьдесят мильрейсов и долгов больше не было. Ливия уже говорила о переезде в верхний город как о чем-то очень скором, что должно произойти буквально на днях. Осталось приработать совсем немного — и можно будет внести пай в лавку дяди. Старик тогда сможет отдохнуть, ему становится очень трудно работать. Парусник перейдет к Манеке Безрукому, который будет каждый месяц выплачивать определенную сумму старому Франсиско. Привычный страх почти покинул Ливию, она ждала теперь спокойнее. В последнее время все шло так хорошо. Даже тарифы стали выше, жизнь на пристани понемногу налаживалась, кризис прошел — моряки сумели пережить его.

Ливия любила теперь проводить ночи на палубе, когда малыш гостил в городе у дяди с теткой. Она подолгу лежала возле Гумы, подложив руки под голову, слушая песни пристани, глядя на желтую луну, на звезды без числа, чувствуя близкое присутствие Иеманжи, растелившей свои волосы по водной глади. И думала, что море — и правда друг, нежный друг. И жалела Гуму, которому приходится оставить море, оставить свою судьбу. Но они не продадут парусник, — когда море так вот спокойно, они будут приходить сюда для мирной прогулки по волнам, смотреть на звезды и луну над морем, слушать эти печальные песни. И снова будут обнимать друг друга на палубе своего бота. Волны будут омывать их тела, и любовь от этого будет еще слаще. Кожа будет пахнуть морскою солью, в ушах отзовется тихий свист ветра, стон гитар и гармоник под пальцами негров, глубокие их голоса и голос Жеремиаса, поющий на старом форте вечную свою песню. Не услышат они только голос Руфино, потому что Руфино убил себя из-за изменщицы-

мулатки. Увидят они, как плывут, грозно разрезая гребни волн, акулы, залюбуются прекрасными волосами Иеманжи, хозяйки всех морей и всех парусов. И Гума нежно проведет рукой по борту верного своего бота. Они ведь будут так скучать по всему этому там, в городе... Нет, «Крылатый» не перейдет в чужие руки, он по-прежнему останется с ними. А «Смелого» они тоже будут вспоминать... Мысль о том, что сын воспитывается в городе, что его ждет хорошее будущее, утешит их сердца, и принесенная ими жертва покажется менее тяжелой. Но все-таки будут они тосковать, ужасно тосковать по морю, так, как тоскуют только по родному существу. Ибо нет человека, который родился бы или долго прожил на море и не любил бы его всем сердцем и всю кровью. Любовь эта бывает полна горечи. Бывает полна страха и даже ненависти. Но не может быть равнодушной. И потому ей нельзя изменить и невозможно забыть ее. Ибо море — это друг, ласковый друг. И, быть может, море — это и есть те самые земли Айока, что для моряков становятся родиной.

#### ЗЕМЛИ АЙОКА

Роза Палмейрао больше не носила ножа за поясом и не прятала на груди кинжал. Известие, посланное ей Гумой, догнало ее где-то на севере, в какой-то жалкой камерке, за которую она не платила, потому что владелец боялся ее. Когда незнакомый матрос разыскал ее и сказал: «Гума просил передать, что твой внук уже родился», — она вытащила нож из-за пояса и вынула кинжал, спрятанный на груди. Правда, до того как делать это, она еще раз воспользовалась ими, чтоб «добыть обратный билет».

Ливия приняла ее как друга, с которым давно не виделись.

— Этот дом — ваш.

Роза опустила голову, крепко прижала к груди ребенка, который вначале испугался, потом с усилием улыбнулась:

— Гума — парень везучий.

Малыш спросил: раз это бабушка, так, значит, жена дедушки Франсиско? Тогда Роза заплакала. Теперь ей уже можно было плакать, ведь у нее не было ножа за поясом и кинжала на груди... Она стала носить скромное

платье и по целым часам просиживала у порога с внуком на руках.

Иногда вечерами слышала она, как поют на пристани АВС о ее подвигах, и слушала, зачарованная, словно цели не о ней, а о ком-то другом. Только море посылает своим сынам и дочерям подобные дары смирения, только море...

Впервые пришлось Гуме веати контрабандный груз в разгар бури. Но он видел, что Ливия не очень встревожилась (в последнее время она была спокойна, ведь ждать осталось так недолго), и вышел из дому в хорошем настроении. Туфик ждал его на борту, и на сей раз, кроме Аддада, с ними отправлялся еще один молодой араб. Это был Антонио, сын Ф. Мурада, студент и литератор, которому любопытно было взглянуть, как перевозят контрабандные товары.

Тучи сгустились на небе, вечер бешено рвал паруса. Большой корабль, поджидавший их далеко в море, был едва различим с палубы бота. Туфик сказал:

— Вы находите, что будет буря?

— Еще какая...

Араб повернулся к сыну Ф. Мурада:

— Лучше б вы шли домой, сеу Антонио.

— Оставьте, пожалуйста. Так даже интереснее. Картина полнее. — Он обернулся к Гуме: — Вы думаете, есть опасность, капитан?

— Всегда есть опасность.

— Тем лучше.

Судно отчалило. Но не дошли еще и до волнолома, как хлынул дождь. Гума с трудом спустил паруса, и стали ждать сигнала с парохода. Приблизились с трудом, орудуя веслами. Туфик нервничал. Аддад плотней завязывал кашне вокруг шеи. Антонио насвистывал, бравирюя равнодушием, которого в действительности не испытывал. Парусник причалил к пароходу, тюки шелка начали совершать свой обычный путь. Но грузить было трудно, волны набегали частые и сильные, дождь падал яростный, и судно то подымалось, то опускалось, относимое в сторону от корабля. Наконец закончили погрузку. Гума развернул бот на бушующих волнах, прошли за волноломом, поплыли в направлении Санто-Антонио.

Дикий ветер толкал их куда хотел. Не было в море ни единого суденышка, только лодка, приставшая у самого

старого форта, не решаясь двинуться дальше. Ветер гнал «Крылатого» прочь с намеченного пути, бот был перегружен до крайности, маневрировать становилось все труднее. Гума, нагнувшись, вцепился в руль, волны мели палубу с обоих бортов. Адад пробормотал:

— Шелк весь промокнет.

И стал искать на палубе доски, чтоб закрыть отверстие трюма. Он не видел бури, не видел грозящей смерти, видел только шелк, который промокнет и пропадет. Гума взглянул на него с восхищением. Туфик нервничал, он боялся за сына хозяина. Студент был бледен и стоял, прислонившись к мачте, молча. Один лишь раз он нарушил молчание, чтоб спросить Гуму:

— Вы думаете, мы погибнем?

— Можем и спастись. Все — судьба.

Путь продолжали в молчании. Держались верного курса, но их все время относило далеко в сторону, к открытому морю, туда, где кончалось владение маленьких парусных судов и начинались пространства, подвластные лишь большим, мощным кораблям. Словно исполнялась, помимо его воли, мечта Гумы — отправиться в путешествие к дальним и чужим землям, подобно Шико Печальному. Они видели, как освещал их путь — предназначенный им путь — спасительный огонек знакомого маяка. Они и плыли туда, но не прямо, а далеко в стороне, на границе открытого моря, неведомого моря, того самого таинственного моря-океана, где произошло столько приключений, о которых повествуется в историях, рассказываемых по вечерам на пристани.

Напротив них находился порт Санто-Антонио. Но их отнесло совсем в сторону, Гуме очень трудно маневрировать, чтоб ввести парусник в порт и поставить на причал. Впереди неподалеку — острые рифы под тонким слоем воды. Гума с трудом разворачивается на волнах, но валы-колоссы поднимают легкий бот и с силой швыряют на подводные камни. Излишний груз, сложенный в трюме, оказался «Крылатому» не под силу, и он перевернулся, как игрушечный кораблик. Стаи акул ринулись на затонувший бот со всех сторон, они — всегда настороже, не упустят кораблекрушения.

Гума увидел, как Туфик борется с волнами. Он схватил араба за руку, взвалил себе на спину. И поплыл к берегу. Слабый свет из порта Санто-Антонио тонул в темных волнах, но маяк послал широкую полосу света, осветившую дорогу Гуме. Взглянув назад, он увидел скопище

акул вокруг разбитого бота и две человеческие руки, трепещущие в воздухе.

Он положил Туфика на песок пляжа и, едва успев подняться, услышал голос Ф. Мурада:

— А мой сын? Мой Антонио? Он был с вами! Был, да? Спасите его. Спасите. Я отдам вам все, что ни попросите!

Гума едва держался на ногах. Мурад умоляюще протягивал к нему руки:

— У вас тоже есть сын. Ради любви к вашему сыну...

Гума вспомнил Годофредо в день спасения «Канави-ейраса». Все, у кого есть дети, так вот умоляют. У него самого тоже есть сын...

И Гума снова бросился в воду.

Он плыл теперь с трудом. Он уже и раньше устал — от трудного этого пути сквозь бурю. И еще ему пришлось плыть с Туфиком на спине, борясь с волнами и ветром. И теперь силы его с каждой минутой убывали. Но он плыл дальше. И застал еще Антонио на поверхности воды, держащимся за корпус перевернутого судна, напоминающего тело мертвого кита. Он схватил юношу за волосы и поплыл обратно... Но что это? Море как будто не пускает его... Акулы, уже пожравшие Аддада, вереницей следуют за ним. Гума держит в зубах нож, волоча Антонио за волосы. Там, впереди, над черным морем, видится ему Ливия — почти спокойная, терпеливо ожидающая перемены их жизни к лучшему Ливия, родившая ему сына, Ливия — самая красивая женщина на пристани... А акулы все ближе, догоняют его, и силы его уже иссякли. Он и Ливию не видит больше. Он знает только, что должен плыть, плыть, потому что спасает сына — сына Ф. Мурада или своего сына, он уже не знает теперь. А там впереди — Ливия, Ливия ждет его. Волны моря сильны и громадны, ветер свистит оглушительно. Но он плывет, разрезает руками воду. Он спасает сына. Быть может, это его сын?

Почти у самого берега, там где уже виден грязный песок порта Санто-Антонио, он не выдерживает и разжимает пальцы. Однако берег настолько близок, что волны несут Антонио прямо в объятия Ф. Мурада, который восклицает: «Сын мой! — и кричит: — Доктора! Ско-рее...»

Гума тоже хочет на берег. Но стая акул заставляет его обернуться, схватившись за нож. И он еще сражается, еще успевает ранить одно чудовище, окрасить его



кровью кипящие вокруг волны... Акулы увлекают его туда, где из воды еще виднеется опрокинутый корпус «Крылатого бота»...

Буря побушевала некоторое время и стихла. Луна встала на небе, и Иеманжа распустила свои волосы по волнам, там, где исчез в морской глубине Гума. И увлекла его в таинственное путешествие к таинственным землям Айока, куда отправляются только смелые, самые смелые моряки.

Ветер выбросил «Крылатый бот» на песчаный берег порта.

---

## МЕРТВОЕ МОРЕ

### МОРЕ — ЛАСКОВЫЙ ДРУГ

Вот здесь погрузилось в воду тело Гумы. Шкипер Мануэл остановил свою шхуну, спустил паруса. На палубе «Вечного скитальца» — доктор Родриго, Мануэл, старый Франсиско, Манека Безрукий, Мария Клара и Ливия с сухими глазами.

Они прибыли сюда рано утром. «Крылатый бот» удалось повернуть. В корпусе был пролом, но небольшой, плотник за несколько часов заделал его. Шкипер Мануэл привел бот в родную гавань. После завтрака пошел за Ливией. Роза Палмейрао и тетка Ливии остались с малышом. Манека Безрукий отправился вместе со всеми.

Вот здесь, как раз здесь, тело Гумы погрузилось в воду. Теперь море спокойное и голубое. Вчера оно было бурное и зеленое. Но глазам Ливии оно предстает остановившимся — недвижная масса стоячей воды свинцового цвета. Оно тоже словно умерло, море. Вместе с Гумой.

Все молчат. Старый Франсиско зажигает свечу. Каплет воском на блюде, приклеивает. И осторожно опускает блюде на гладь моря. Все глаза неотрывно следят за свечой. Доктор Родриго не верит, что зажженная свеча может указать место, где под водой лежит утопленник. Но доктор молчит.

Медленно удаляется свеча. Тихонько покачиваясь, плывет по волнам. Подымается и опускается, словно крохотный корабль-призрак. Все глаза неотрывно следят за нею, все рты плотно сжаты. Доктор Родриго вновь видит Гуму, укрывающего в трюме раненого Траиру, спасающего «Канавиейрас», вытаскивающего потерпевший кораблекрушение, перевозящего контрабандные грузы, чтоб заплатить долги. Старый Франсиско вновь видит Гуму на палубе, весело рассекающего волны килем своего бота. Шкипер Мануэл вновь видит Гуму в «Звездном маяке», что-то рассказывающего своим свободным, чи-

стым голосом и характерным движением руки отбрасывающего назад длинные черные волосы. Мария Клара вспоминает, как под звуки ее песни состязался он в быстрой с Мануэлом. Манека Безрукий вспоминает о стычках и ссорах между ними, не мешавших им оставаться добрыми друзьями. Только Ливия не видит Гуму, только она не вспоминает о нем. Только она одна надеется еще обрести его.

Свеча кружится по воде. Свинцовая вода для взора Ливии, свинцовая вода мертвого моря. Море без волн, море без жизни, мертвое море. Свеча останавливается. Старый Франсиско говорит тихо:

— Он там.

Все смотрят. Шкипер Мануэл сдергивает рубашку, бросается в воду. Манека Безрукий тоже. Оба ныряют, снова появляются на поверхности, снова ныряют. Но свеча плывет дальше, поиски продолжаются...

Завтра старый Франсиско велит вытатуировать у себя на руке имя Гумы. Рядом с именами пяти затонувших шхун. И еще — брата. И еще — отца Гумы. Теперь рядом со всеми этими именами напишут имя племянника. Единственное имя, которое он никогда не напишет у себя на руке, принадлежит его брату Леонсио, человеку, потерявшему свой порт. А может быть, когда-нибудь придется еще написать на левой руке имя сына Гумы — второго Фредерико. Тогда будут два одинаковых имени — деда и внука. Но нет, Ливия, конечно же, увезет его подальше от моря, переедет с сыном в верхний город, к дяде с теткой. Так что имя сына Гумы никогда не появится на левой руке Франсиско рядом со всеми другими... Свеча медленно плывет дальше...

Этой еще не так плохо, думает доктор Родриго про Ливию, у нее есть родственники, она будет теперь жить с ними, помогать в лавке. Другим хуже, для них остается только один путь — на улицу. Да, Ливия заслуживала иной участи. Очень сильно любила она мужа, пожертвовала из-за этой любви возможностью сделать лучшую партию. Теперь у нее остался сын, остался бот, уже ненужный, ибо некому им управлять... Теперь она ищет тело мужа, неотрывно следя за плывущей по воде свечой... Солнце встает, заливая белым светом море.

Свеча, кажется, не собирается остановиться никогда. Шкипер Мануэл смотрит на свечу. Гума был хороший рулевой, единственный, кто мог победить шкипера

Мануэла в состязании на быстроту. Он тихо говорит Марии Кларе:

— Хороший был малый. Храбрец...

Все услышали эти слова. Хороший был малый, умер очень молодым. Единственный, кто мог обогнать шкипера Мануэла. Мария Клара вспомнила:

— Он как-то раз обогнал тебя...

— Но в первый раз я его обогнал. Мы были равны с ним, зато и состязались.

Ливия смотрит на воду. У нее сухие глаза. Нету слез. Она уже выплакала их все — в первый час, как узнала. Но слезы ее высохли, она не думает ни о чем, не слышит ничего, не видит никого. словно люди говорят где-то далеко-далеко, о чем-то, что ее совсем не касается. Она смотрит на свечу, плывущую по воде. Все как-то затуманилось у нее в мозгу, она словно и плохо помнит, что произошло. Ей хочется только увидеть Гуму в последний раз, увидеть его тело, взглянуть в его глаза, поцеловать его губы. Неважно, что тело его уже изуродовано и вздуто, неважно, что раки уже пожирают его. Неважно: Ливия хочет видеть своего мужа, единственного мужчину, которого любила. И внезапно она приходит в себя и начинает понимать, что произошло. Начинает понимать... Никогда уж больше не будет лежать она рядом с ним на палубе «Крылатого бота». Никогда уж больше не увидит, как курит он свою трубку, рассказывая о чем-то своим неторопливым голосом. Останется только его история — одна из многих, которые помнит старый Франсиско. Ничего больше не останется от него. Даже сына не останется, ибо сын пойдет другим путем, подыметесь в верхний город, забудет пристань, паруса, море-океан, которое так любил его отец. Ничего не останется от Гумы. Только история, которую старый Франсиско оставит в наследство морякам, когда настанет наконец его черед уйти в вечное плавание с Жанаиной...

Свеча остановилась. Манека Безрукий бросается в воду. Плывет, ныряет. Безрезультатно. Но свеча неподвижна на волнах. Голова Манеки показывается из воды:

— Я ничего не нахожу.

Шкипер Мануэл тоже ныряет. Ничего... Манека Безрукий вскарабкался на палубу. Свеча стоит на воде, не двигаясь с места. Мануэл плывет, ныряет, ищет в самой глубине. Нет тела Гумы. Исчезло. Старый Франсиско говорит с убеждением:

— Здесь, это точно.

Теперь ныряют Манека и Мануэл одновременно. Ничего... Выплыли. Старый Франсиско сдергивает рубаху и бросается в воду. Он уверен, что это здесь.

Но и старый Франсиско ничего не нашел. Ветер пробегает по волнам, и свеча плывет дальше. Пловцы возвращаются на палубу. Старый Франсиско не теряет надежды:

— Он был здесь, но теперь уже далеко.

Ливия опустила руки. Она знала, что должна отыскать тело Гумы. Больше она ничего не знала и не хотела знать. Она должна увидеть его в последний раз, проститься с ним. Тогда она сможет уйти отсюда навсегда, повернуться спиной к морю, пристани и парусам.

Свеча плывет теперь далеко от них. Судно старается нагнать ее. Доктора Родриго уже охватывает нетерпение — слишком долго плывет эта свеча. Он не верит в подобные приметы, насмехается над ними, но люди рядом с ним полны такой веры, такой надежды, что он в конце концов подпадает под их влияние и теперь тоже неотрывно следит за свечой. И первый кричит:

— Остановилась!

— Вон там, — указывает Франсиско.

Снова ищут, снова ныряют — и снова безрезультатно. Да и свеча остановилась ненадолго, вот уж плывет дальше. И они продолжают свой путь — бот медленно движется за свечой.

...Никогда больше не обнимет он ее на палубе «Крылатого». Никогда больше не станут они слушать вместе песни моря. Необходимо найти тело Гумы — для того хоть, чтоб в последний разплыли они вместе на палубе своего бота. Он умер, спасая двоих, — это самая героическая смерть для моряка, такой смертью умирают изблюбленные сыны Иеманжи. Он оставил по себе красивую славу, мало было таких храбрых и ловких капитанов, как он. Но Ливия не хочет предаваться воспоминаниям. Ее глаза следят за свечой, которая все плывет, плывет, все ищет, ищет бесполезно, вместе с людьми. Малыш дома, верно, плачет, зовет ее и отца. Роза Палмейрао, верно, украдкой вытирает глаза, она ведь любила Гуму как сына. Голова Ливии бессильно падает на сложенные руки. Доктор Родриго осторожно касается ее волос — и снова наступает тишина.

Шкипер Мануэл зажигает трубку. Мария Клара обвиняет Ливию, пытается утешить: «Такова наша судьба». Мария Клара родилась на море, жила всегда у моря.

Для нее это закон, беспощадный закон: приходит такой день, когда мужчина навек остается в морских волнах, погибает вместе с затонувшим кораблем. А женщина ищет тело мужа и ждет, пока вырастет сын, чтобы увидеть и его гибель. Но Ливия не родилась на пристани. Она пришла из города, пришла из другой судьбы. Длинная дорога моря не была ее дорогой. Она вступила на эту дорогу из-за любви, потому-то и не умеет она смириться. Она не может принять этот закон моря как неизбежность, подобно Марии Кларе. Она боролась, она почти уж победила. Почти уж победила... Все было так близко... Рыдания разрывают грудь Ливии.

Старый Франсиско опустил голову. Мария Клара сжимает руку Мануэла, словно желая защитить его от грозящей и ему смерти. Слово смерть витает вокруг них. Воды моря спокойны, для Ливии они мертвы — стоячая вода, свинцовое море, мертвое море.

Свеча снова останавливается. Вечер опускается, солнце село. Мануэл снова ныряет. За ним — Манека Безрукий и старый Франсиско. Подымаются на палубу. Мокрое платье прилипло к телу. Темнеет. Манека говорит:

— Может, он вернется ночью. Они всегда возвращаются ночью...

— Вернется обязательно, — подтверждает старый Франсиско.

Доктор Родриго делает Ливии укол. Она и сама — как мертвая. На берегу кто-то поет старую песню:

Он остался навеки в волнах.

Ливия открывает глаза. Из тайнства внезапно упавшей ночи долетает до нее печальная песня:

Мой любимый ко мне не вернется,  
он остался в зеленых волнах.

Ливия слушает. Он остался в зеленых волнах... Мария Клара бережно поддерживает ее. «Крылатый бот», уже на якоре у причала, тихонько покачивается на воде. Но того, кто управляет им, нет — он остался в зеленых волнах. Песня заполняет пристань, камнем падает на спины людей, выпрыгивающих на берег. Ночь наступила.

#### НОЧЬ ДАНА ДЛЯ ЛЮБВИ

Дома ждала Ливию мать Гумы. Она появилась внезапно, без предупреждения. Рассказала Ливии, что видела сына своего один раз, много лет тому на-

зад. Теперь она была совсем старая, хромая, полуслепшая.

— Я живу почти что на милостыню. Знакомые помогают...

Она не решилась признаться, что работает прислугой в публичном доме. Старый Франсиско заметил, насколько она постарела. Почти двадцать лет прошло с тех пор, как она появилась однажды в порту, разыскивая сына. Она хотела тогда увезти Гуму, он не отпустил мальчика. Если б она увезла его, было б, может, лучше. Наверняка Ливии не пришлось бы теперь плакать, а малыш не остался бы так рано без отца. Но судьба есть судьба, ее не изменишь.

Роза Палмейрао появилась в дверях комнаты и сказала, что Ливии необходимо хоть немного поесть. Мать Гумы спросила:

— Не нашли его, нет?

— Нет.

— Тогда я завтра утром зайду. Мне нельзя задерживаться.

И она ушла. Почти слепая, находя дорогу ощупью в темноте. Одна луна светила ей в пути. Ливия прижала к груди сына и так застыла на долгое время. Тетка и дядя молча смотрели на нее. Тетка тихонько плакала, Роза Палмейрао молча поставила на стол ужин, к которому никто не притронется.

В четвертый раз араб Туфик заходит в дом Ливии. Роза Палмейрао встречает его:

— Она уже вернулась, сеу Туфик.

Араб входит в комнату. Здесь предложил он Гуме участвовать в контрабандных делах. Здесь предложил ему смерть... Ливия появляется. Туфик встает ей навстречу, не зная что сказать. Она ждет молча.

— Он был честный и храбрый.

Молчание. Глаза Ливии словно устремлены вдаль, кажется, что она ничего не видит и не слышит. Араб продолжает:

— Он спас мне жизнь, Антонио он тоже спас. Не внаю, как и...

Ему так трудно еще и потому, что эти слова надо произносить на чужом языке.

— Вам что-нибудь нужно?

— Ничего.

— Вот то, что посылает вам сеу Мурад. Он сказал, что в любой момент, когда он может быть вам полезен, вы найдете в нем друга.

Туфик кладет деньги на стол. Мнет шапку в руках. У него не хватает духу предупредить Ливию, чтоб никому ничего не рассказывала о контрабандных делах. Медленно пятится к двери.

— Доброй ночи.

И Туфик опрометью выбегает на улицу, чуть не сбив с ног прохожего, чувствуя комок в горле и неудержимое желание плакать.

В домах, где в тот день, в час обеда, включили радио, настроив на одну из радиостанций Баии, люди услышали, как диктор произнес:

«Люди с пристани просят набожных сеньор прочесть «Отче наш», прося господу, чтоб удалось отыскать тело моряка, утонувшего прошлой ночью».

Одна молоденькая девушка (жених которой был лоцман) вскрикнула, выскочила из-за стола, заперлась у себя в комнате и начала истово молиться.

Родолфо пришел, когда все собирались уходить. Он только что узнал, весь день он проспал где-то. Он присоединился к тем, кто отправлялся на поиски. На сей раз вышли два парусника, Манека Безрукий вел «Крылатый бот». С ним были Родолфо и старый Франсиско. Другие шли на «Вечном скитальце». Парусники взяли курс на порт Санто-Антонио.

Свеча покачивалась на воде там, где ее оставили прошлый раз. Парусники пошли вместе, рядом. В ночь тысячи звезд свеча поплыла по морю, ища тело погибшего.

Все глаза жадно следуют за ее движением. Она плывет медленно, заплывая то в одну, то в другую сторону, не останавливаясь. На обоих судах паруса спущены. Луна бледным светом ударяет в их корпус. Ночи на море, прекрасные, как эта, даны для любви. В такие ночи женщин, особенно страшящихся за жизнь своих мужей, ждет большая любовь. Сколько ночей, подобных этой... — Ливия, уронив голову на грудь, все вспоминает и вспоминает, — сколько ночей, подобных этой, провела она возле Гумы, и голова любимого склонялась к ее плечу, и огонек его трубки смешивался со светом тысячи звезд..



Когда он возвращался штормовой ночью, бывшей всегда для Ливии ночью страдания, они вместе шли на палубу своего судна и обнимали друг друга под дождем, при свете молний. И страсть и нежность мешались со страхом и со страданием. Откуда это страдание? Из уверенности, твердой уверенности в том, что он не вернется после какой-нибудь бури. Эта уверенность делала ее любовь такой стремительной, порывистой. Он погибнет в море, она уверена была в этом. Поэтому каждый раз она обнимала и целовала его так, словно это последний раз. Штормовые ночи, ночи смерти, были для них ночами любви. Ночи, когда стоны любви летели над морем-океаном, как вызов... Они особенно страстно любили друг друга в бурю. В ночи, черные от грозových туч, в ночи, лишенные звезд, когда луна покидает осиротелое небо, они обнимали друг друга на палубе, и любовь их имела вкус разлуки и гибели. В такие ночи, когда ветер властвует надо всем вокруг, когда норд-ост или свирепый южный дико воют над морем, потрясая сердца жен моряков, в такие ночи они прощались друг с другом, словно уж и не суждено им встретиться вновь. Даже в первый раз, когда они были еще не венчаны, они обнимали друг друга так, словно через несколько дней должно им было расстаться навеки. Было то на реке Парагуасу, близко от тех мест, где появлялся конь-призрак...

Снова ныряет Мануэл, Манека Безрукий снова бросается в воду с борта «Крылатого». Свеча остановилась. Родолфо сдергивает с себя пиджак, он сейчас тоже бросится в море. И вот уже трое пловцов рядом разрезают воду, зеленоватую в эти ночные часы. Мануэл первый показывается на поверхности:

— Он не вернулся еще.

Если он вернется сегодня ночью, думает Ливия, они снова нежно обнимут друг друга, ведь ночь так хороша, вся пронизана звездами, а луна так щедро льет свой желтый свет. Такие ночи он любил проводить на палубе, куря свою трубку. Она лежала, раскинув руки, на досках, они вместе слушали песню, доносившуюся бог весть откуда. С другого парусника, с чьей-нибудь лодки, со старого форта, кто знает? Потом она подходила к нему и прятала голову на его широкой, крепкой груди. Слушала его рассказы о последних рейсах, его планы на будущее — и оба тянулись друг к другу робко, как в первый раз. Долго глядели на море, соглашаясь с песней, что море — ласковый друг и что ночь дана для любви,

И тела их сливались в одно без борьбы и криков, тихо. Глубокий голос негра, поющего вечную песню моря, голос, полный чувства, полный тоски, веял над ними. Так бывало в ночи, подобные этой... Но он не вернется, он отправился в последнее плавание, предназначенное лишь морякам-героям — в плавание к землям Айока. «Остался навеки в волнах», — поется в песне. Судьба людей моря вся расписана в песнях.

Доктор Родриго курит сигарету за сигаретой. Трубка старого Франсиско погасла. Он просит огня:

— Дадите мне огня, доктор?

В трюме «Крылатого бота» шкипер Мануэл и Манека Безрукий, насквозь промокшие, разговаривают с Родолфо. Он отходит от них и перепрыгивает на палубу «Вечного скитальца». Ему хочется быть поближе к Ливии. Тихо приблизившись, он проводит по ее лицу рукой, на которой еще не высохла морская вода.

— Что ж теперь будет, Ливия?

Она смотрит на брата, не понимая. Она еще не до конца поняла, что все переменялось.

— Ты переедешь к дяде с теткой, да? Знаешь, Мануэл и Манека хотят взять напрокат твой бот, даже купить, если ты согласишься продать в рассрочку. Это лучший выход для тебя.

Ливия поворачивает голову, смотрит на «Крылатый бот». Хорошее судно, одно из самых быстрых в порту. Лучше не сыщешь. С какой гордостью Гума всегда говорил это: «Лучше не сыщешь!..» Он любил свой бот, он купил его для сына, он умер, чтоб сохранить его. А теперь она его продаст, отдаст другому человеку все, что осталось на море от ее Гумы... Это все равно что продать свое тело, отдаться другому мужчине.

— Я должна подумать.

Роза Палмейрао сегодня вечером говорила, что судьба у каждого своя и ее нельзя изменить... Ливия запомнила эти слова. Нельзя изменить... Ливия повернулась к брату:

— У Мануэла большой груз?

— Ко дну тянет...

— Спроси его потом, не может ли он передать часть мне.

— А кто поведет судно?

— Я.

— Ты?!

Родолфо не понимает ее. Да и кто ее поймет? Один старый Франсиско понял все. И его охватывает яростная

досада на свою старость. Если б не проклятая старость, встал бы он сейчас за руль и... Ливия смотрит на «Крылатого» и чувствует глубокую нежность к нему. Продать его было бы все равно что продать свое тело. И вот и тело ее принадлежали Гуме, нельзя их продавать.

Свеча остановилась впереди парусников. Родолфо нырнул, Франсиско последовал его примеру — старику тоже хочется быть полезным. Доктор Родриго смотрит на Ливию, не сводящую глаз с пловцов. Есть еще многое, чего доктор Родриго не понимает. Но он понимает, что решимость Ливии не идти на улицу, не продавать себя, а связать свою судьбу с тяжелым промыслом моряка — это тоже часть того чуда, какого ждет дона Дулсе. И чудо это начинает свершаться...

Внезапно послышался далекий гудок корабля. Мануэл промолвил:

— Просят помощи.

Ночь, однако, была спокойна и светла. А гудки и сигналы SOS, посылаемые заблудившимся кораблем, слышались все чаще и явственней. Заблудившийся корабль... Заблудился, как тело Гумы, которое люди разыскивают в море по слабому огоньку свечи. Корабль, сбившийся с пути, не умеющий отыскать свой порт... Все глаза поворачиваются в ту сторону, откуда, как кажется, слышатся гудки. Протяжные, печальные, словно незнакомый корабль посылает в лунную ночь скорбные жалобы на свою судьбу.

Те, кто искал тело Гумы, поднимаются на палубу. Свеча снова поплыла вперед. Доктор Родриго кусает потухшую сигарету. Буксир проходит вдалеке — на помощь кораблю. Шкипер Мануэл делится своими сомнениями с доктором: «Ума не приложу...»

Мария Клара растянулась в уголке на палубе. Для нее тоже все это очень тяжело. Она вспоминает ночь, когда погиб Жакес. Она плакала тогда, обнявшись с Ливией, они были как две сестры. Когда придет день и для ее мужа? Когда и его тело станут так вот искать в мертвом море?.. Свет буксира исчезает вдалеке.

Родолфо оборачивается к Ливии:

— Он спрашивает, не возьмешь ли ты рейс в Итапару на завтра, с утра. У него там много груза...

— Согласна.

Парусники качаются на тихой воде почти без волн,

В полночь свеча вдруг поплыла быстрее и ушла далеко-далеко. Парусники спешили за ней. Снова бросились в воду Мануэл, старый Франсиско и Родолфо. Манека Безрукий был наготове, чтоб помочь им, если найдут тело. И подумал, что Гума, наверно, уж весь вздулся, полон шевелящихся раков, неузнаваем. Он провел рукой по лицу, чтоб отогнать видение...

В этом месте волны были выше. Снова, в последний раз, послышался гудок корабля. Но теперь он гудел по-другому, словно с надеждой,— заметили, видно, буксир.. Пловцы снова поднялись на палубу, ничего не найдя. Свеча вдруг принялась описывать круги вокруг обоих парусников. Ливия опустила голову на руки. Желание видеть Гуму, ощущать его тело, чувствовать соленый вкус моря на его губах, слышать его голос целиком завладело ею. Вся во власти этого желания, сейчас только поняла она окончательно, что никогда уж больше его не будет, никогда уж больше не будет тех дней и тех ночей... И слезы потекли обильным потоком... Мария Клара, бросившаяся утешать, тоже заплакала, уверенная, что когда-нибудь и ее настигнет такое же горе...

Свеча быстро кружится по воде, быстрая волна сваливает ее, блюдце опрокидывается и тонет. Старый Франсиско замечает:

— Незачем искать больше. Он не появится больше. Если свеча перевернулась...

Спускают паруса. Ливия уронила голову на грудь. Ветер, пролетая, шевелит ей волосы. Она смешала свои слезы с водой моря, она безраздельно принадлежит теперь морю, ибо там — Гума. И чтоб вновь и вновь чувствовать его присутствие, она должна быть вблизи моря. Здесь найдет она его всегда в ночи, что даны для любви. Сквозь слезы видит она тяжелую, маслянистую воду моря. Родолфо весь так и тянется к ней, страстно ища, чем утешить. Доктор Родриго сжимает пальцы, ему хочется, чтоб все это поскорей кончилось и все перестали наконец страдать. Но он знает, что Ливия никогда не перестанет страдать. И кусает потухшую сигарету.

В море встретит она Гуму для почей любви. На палубе, под ветром, вспомнит другие ночи, и слезы ее будут без отчаяния.

Ливия, сжавшая руки. Ливия, погруженная в молчание. Холод пронизывает ее тело. Но с моря слышится песня — она несет тепло, даже радость.

Ее муж далеко, он погиб в море. Ливия словно вся изо льда, блестящие влажные волосы сбегают ей на плечи. Нет, она не увидит мертвое тело Гумы, его устали искать, следуя за свечой, плывущей в тяжелых, маслянистых волнах остановившегося, запретного для всех моря, запретного, как тело Ливии.

Многие кружили у ее двери. У ее тела без хозяина, у ее прекрасного тела. Ливия, всеми желаемая, сжала руки и погрузилась в молчание. Ни одного горестного крика не вырвалось у нее. Смуглая грудь дышала ровно. Теплый голос негра, поющего знакомую песню в часы ночи, согривал ее, как и прежде:

О, как сладко в море умереть...

Ни одного горестного крика... Только холод, пронизывающий насквозь, и видение мертвого моря с маслянистыми, словно покрытыми нефтью, волнами, под которыми, где-то глубоко-глубоко, плывет тело Гумы — корабль без руля. Рыбы ведут вокруг него свои хороводы. Иеманжа плывет с ним рядом, укрывая его своими волосами. Она возьмет его в путешествие к землям дальним, какие привелось увидеть лишь морякам с больших океанских кораблей. Он посетит вместе с нею самые прекрасные тайники моря. И будет продолжать свой путь, как моряк, ищущий в море свой порт.

Ливия смотрит на мертвое море со свинцовой водою. Море без волн, тяжелое, маслянистое, как нефть. Где твои корабли, твои моряки и утопленники, мертвое море? Море рыданий, где твои вдовы, почему не идут на твой берега плакать о погибших мужьях? Где младенцы, затерявшиеся среди волн твоих в ночи бурь? Где паруса опрокинувшихся шхун, проглоченных тобою? Где мертвое тело Гумы, чьи длинные черные волосы так часто расстилались по синим твоим волнам, когда он, живой, шлыл к берегу, спасая других?.. По свинцовым, тяжелым водам мертвого моря из нефти бежит, как призрак, свет маленькой свечи, ищущей тело того, кто умер. Нет, не только он умер — само море умерло, превратилось в нефть, остановилось, не рождает ни одной волны. Мертвое море, не отражаются звезды в тяжких твоих волнах...

Если встанет большая луна, то желтый ее свет победит по волнам мертвого моря, ища, вместе с маленькой свечой, тело Гумы — моряка с длинными черными волосами, что ушел по далекой тропе моря к Землям без Конца и без Края — к дальним берегам Айока.

Ливия смотрит из своего окна на мертвое море без лунной полосы. Зарождается рассвет. Мужчины, бесцельно кружащие у ее двери, у ее тела без хозяина, расходятся по домам. Теперь все — таинство. Песня смолкла. Мало-помалу вещи вокруг оживают, жизнь возвращается, люди поднимают головы. Рассвет разливается над мертвым морем.

Только Ливия по-прежнему чувствует холод в сердце и во всем теле. Для Ливии ночь продолжается — беззвездная ночь над мертвым морем.

### ЗВЕЗДА РАССВЕТА

Дона Дулсе смотрит из окна школы на улицу. Ночь еще противится рассвету. Парусники выходят в плавание. Сын Ливии остался дома, с теткой. Роза Палмейрао снова заткнула за пояс нож и спрятала кинжал на груди. Она кажется мужчиной на палубе «Крылатого бота». Но Ливия осталась женщиной, хрупкой женщиной.

Первым разрезает волны «Вечный скиталец». Мария Клара поет песню пристани. В песне говорится о любви и разлуке. Шкипер Мануэл прокладывает путь «Крылатому боту» и, обернувшись, смотрит, как там управляется Ливия. Роза Палмейрао стоит у руля, Ливия поднимает паруса своими тонкими маленькими руками. Волосы ее стелются по ветру, она стоит выпрямившись, глядя прямо перед собой — в море. Шкипер Мануэл дает ей обогнать его, он пойдет сзади, сопровождая «Крылатый бот».

Морские птицы летают вокруг паруса, почти задевая крылом волосы Ливии. Она стоит, прямая, строгая, и думает, что в следующий рейс надо взять с собою сына, его судьба — море. Голос Марии Клары смолкает, внезапно оборвав мелодию, ибо в набирающем силу рассвете песня негра летит далеко над таинственным морем:

Привет тебе, звезда рассвета...

Звезда рассвета... На пристани, у причала, стоит старый Франсиско, задумчиво качая головой. Как-то раз,

давным-давно, когда свершил он такое, чего не свершал до него ни один моряк, он увидел Иеманжу, властительницу моря. И разве это не она стоит сейчас, такая прямая и строгая, на палубе «Крылатого бота»? Разве не она? Да, это она. Это Иеманжа ведет «Крылатого». И старый Франсиско кричит всем на пристани:

— Смотрите! Смотрите! Это Жанаина!

Все смотрят и видят. Дона Дулсе тоже смотрит из окна школы. Смотрит и видит. Видит женщину, сильную духом, которая борется. Борьба — это и есть то чудо, какого ждет дона Дулсе. И чудо это начинает свершаться. Моряки, бывшие в этот час на пристани, увидели Иеманжу, богиню с пятью именами. Старый Франсиско кричал от волнения — это второй раз в жизни он увидел ее.

Так рассказывают на морских пристанях.

---

# КАПИТАНЫ ПЕСКА

РОМАН



**Перевод**  
**АЛЕКСАНДРА БОГДАНОВСКОГО**

---

## ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

### ДЕТИ — ГРАБИТЕЛИ

**Разнузданные выходки «Капитанов песка» — дети, промышляющие грабёжом, держат в страхе весь город — необходимо безотлагательное вмешательство Инспекции по делам несовершеннолетних и начальника полиции — вчера произошёл ещё один налёт.**

Наша газета, неизменно стоящая на страже законных прав граждан Баии, уже неоднократно сообщала о преступной деятельности «Капитанов песка», как именуют себя члены шайки, терроризирующей весь город. Эти подростки, в столь юном возрасте вступившие на мрачную стезю порока, не имеют постоянного местожительства, — по крайней мере, установить его не удалось, как не удалось и выяснить, где они прячут награбленное. В последнее время налёты происходят ежедневно, и это требует немедленного вмешательства Инспекции по делам несовершеннолетних и Управления полиции.

Как стало известно, численность банды превышает сто человек в возрасте от 8 до 16 лет. Все это дети, ставшие на преступный путь оттого, что их родители, позабыв о своем христианском долге, не занимались их воспитанием. Малолетние преступники называют себя «Капитаны песка», потому что избрали своей штаб-квартирой песчаные отмели баиянского порта. Руководит ими четырнадцатилетний подросток, пользующийся самой дурной славой: за ним числятся не только грабежи, но и драки, повлекшие за собой тяжкие телесные повреждения. К сожалению, выяснить личность главаря пока не удалось.

Необходимо срочное вмешательство Инспекции по делам несовершеннолетних и городской полиции для того, чтобы преступная деятельность банды, нарушающая покой жителей нашего города, была пресечена, а злоумышленники — отправлены в исправительные колонии или тюрьмы. Ниже мы помещаем репортаж о вчерашнем налете, жертвой которого стал почтенный коммерсант: ущерб, нанесенный его дому, превышает миллион рейсов. Кроме того, при попытке задержать главаря шайки малолетних преступников был ранен садовник.

### В доме комендатора<sup>1</sup> Жозе Феррейры

В центре Корредор-да-Витория, одного из фешенебельных кварталов нашего города, расположен особняк комендатора Жозе Феррейры, крупнейшего и пользующегося наибольшим доверием коммерсанта Баии. Его магазин помещается на улице Португалии. Выстроенный в колониальном стиле особняк, окруженный пышным садом, невольно привлекает к себе внимание и радует глаз. Вчера вечером дом Жозе Феррейры — эта обитель мира, покоя и честного труда подверглась налету «Капитанов песка» и в течение целого часа была объята неопишуемым смятением.

В три часа дня, когда город изнемогал от зноя, садовник Рамиро заметил нескольких оборванных подростков, которые вертелись у ворот, и отогнал непрошенных гостей, после чего вернулся к выполнению своих обязанностей. Очень скоро начался

### Налет

Минут через пять Рамиро услышал доносившиеся из дома громкие крики — так могли кричать только люди, охваченные смертельным ужасом. Вооружившись серпом, Рамиро вбежал в дом, из окон которого «как черти» (по его собственному выражению) уже выскакивали мальчишки с украденными из столовой вещами. Горничная,

---

<sup>1</sup> Комендатор — лицо, награжденное орденом; в Бразилии звание комендатора зачастую присваивалось или покупалось помещиками.

истошно крича, хлопотала возле супруги комендатора, лишившейся чувств от вполне понятного и простительно-го испуга. Рамиро поспешил в сад, где и произошла

### **Драка**

В саду же в это самое время одиннадцатилетний внук комендатора — прелестный Раул Феррейра, приехавший погостить к бабушке, — разговаривал с одним из злоумышленников, оказавшимся главарем шайки (это удалось установить потому, что на лице преступника имелся шрам). Невинный ребенок, не подозревая ничего дурного, весело беседовал со злодеем, в то время как шайка грабила его деда. Садовник бросился на грабителя, никак не ожидая, что тот окажет ему такое сопротивление и проявит столь незаурядную силу и ловкость. Схватив его, Рамиро тотчас получил удар ножом в плечо, потом в руку и вынужден был отпустить преступника.

Полиция была немедленно уведомлена о случившемся, однако до настоящего времени не смогла напасть на след шайки. Комендатор сообщил нашему репортеру, что понесенный им ущерб превышает миллион рейсов, поскольку одни только часы, похищенные у его супруги, стоят 900 крузейро.

### **Необходимы срочные меры**

Обитатели аристократического квартала Корредор-да-Витория пребывают в сильнейшей тревоге, опасаясь стать новыми жертвами бандитов, поскольку налет на особняк комендатора Жозе Феррейры — далеко не первое их преступление. Необходимо принять срочные меры для того, чтобы негодяи понесли примерное наказание, а покой самых видных семей Баии больше не нарушался. Мы надеемся, что начальник полиции и инспектор по делам несовершеннолетних сумеют обуздать малолетних, но многоопытных преступников.

### **«Устами младенца...»**

Наш корреспондент побеседовал также и с Раулем Феррейрой. Как уже упоминалось, ему одиннадцать лет и он — один из лучших учеников коллежа Антонио

Виейры. Раул выказал завидное мужество и сообщил нам о своем разговоре с главарем шайки следующее:

— Он сказал, что я — дурачок и понятия не имею о том, какие бывают интересные игры. А когда я сказал, что у меня есть велосипед и много разных игрушек, он засмеялся и ответил, что у него зато есть улица и порт. Он мне понравился, он прямо как из фильма: помните того мальчика, который убегает из дому на поиски приключений?

Его слова заставили нас задуматься над такой сложной и деликатной проблемой, как пагубное воздействие кинематографа на неокрепшие души. Эта проблема также заслуживает внимания господина инспектора по делам несовершеннолетних, и мы к ней собираемся вернуться еще раз,

(Репортаж, опубликованный в газете «Жорнал да Тарде» под рубрикой «Полицейская хроника» вместе с фотографиями, изображающими особняк Жозе Феррейры и самого комендатора во время церемонии награждения его орденом.)

### **Письмо секретаря начальника полиции в редакцию газеты «Жорнал да Тарде»**

Уважаемый г-н редактор!

В связи с тем, что вчера в вечернем выпуске Вашей газеты были помещены материалы, касающиеся преступной деятельности шайки «Капитаны песка», а также налета, совершенного ею на дом комендатора Жозе Феррейры, начальник полиции спешит уведомить Вас, что решение этой проблемы зависит в первую очередь от Инспекции по делам несовершеннолетних, а полиция может предпринять какие бы то ни было шаги лишь после того, как к ней обратятся из Инспекции. Тем не менее будут незамедлительно приняты все меры, чтобы исключить в дальнейшем подобные происшествия и чтобы виновники случившегося были выявлены, арестованы и понесли заслуженную кару.

Считаем нужным, однако, заявить со всей прямотой, что полиция не заслужила ни малейшего упрека: она не предпринимала достаточно действенных мер, так как не

получила разрешения Инспекции по делам несовершеннолетних.

С уважением

*Секретарь начальника полиции.*

(Письмо, напечатанное на первой странице «Журнал да Тарде» вместе с фотографией начальника полиции и иностранными похвалами по его адресу.)

### **Письмо инспектора по делам несовершеннолетних в редакцию газеты «Журнал да Тарде»**

Его превосходительству г-ну главному редактору  
г. Сальвадор  
штат Баия

Дорогой земляк!

Просматривая на досуге, который лишь изредка предоставляют мне многообразные и многочисленные обязанности, сопряженные с выполнением моей труднейшей миссии, Вашу замечательную газету, я обратил внимание на письмо неутомимого начальника городской полиции, где он излагает мотивы, по которым правоохранительные органы по сию пору не смогли усилить столь необходимую борьбу с малолетними преступниками, терроризирующими наш город. Господин начальник полиции заявляет, будто не получал от Инспекции по делам несовершеннолетних надлежащих распоряжений, долженствовавших побудить его к принятию более активных мер по отношению к малолетним преступникам. Ни в коей мере не желая хоть как-то бросить тень на плодотворную деятельность городской полиции, я тем не менее обязан в интересах истины — истины, которая, подобно путеводному маяку, освещает весь мой жизненный путь, — заявить, что не могу признать эти доводы убедительными. В компетенцию Инспекции не входит розыск малолетних преступников, мы обязаны лишь определить, в каком именно исправительном заведении будут они отбывать срок наказания, и назначить представителя Инспекции для присутствия на суде, где будет рассматриваться возбужденное против них дело. Повторяю, в круг наших прерогатив не входят розыск и задержание малолетних преступников: Инспекция занимается их последующей судьбой. Достоуважаемый господин начальник

полиции может быть уверен, что долг свой я и впредь буду исполнять так же неукоснительно, как и на протяжении всех пятидесяти лет моей беспорочной службы.

За последние месяцы я направил в исправительные колонии значительное число несовершеннолетних, которые преступили закон или были оставлены родителями на произвол судьбы, и не моя вина, что они бегут оттуда, что предпочитают отказаться от честного труда, что покидают заведения, где их пытаются приобщать к честной и созидательной жизни и окружают заботой и вниманием. Покинув стены колонии, они становятся еще более опасными преступниками, словно полученное ими наказание пошло им во вред. Почему так происходит? Ответ на этот вопрос могут дать лишь специалисты-психологи, меня же, философа-дилетанта, он ставит в тупик.

Хочу заявить со всей ясностью и прямоотой, господин редактор, что начальник полиции всегда может рассчитывать на содействие Инспекции по делам несовершеннолетних в деле борьбы с малолетними преступниками.

Примите, г-н редактор, уверения в моем искреннем уважении и преданности

*Инспектор по делам несовершеннолетних.*

(Напечатано в «Журнал да Тарде» вместе с фотографией инспектора и кратким, но лестным редакционным комментарием.)

### **Письмо в редакцию газеты «Журнал да Тарде» бедной швеи, матери семейства**

Уважаемый г-н редактор!

Извините за ошибки и за плохой почерк, но я к письмам непривычная, а это письмо взялась писать потому что хочу чтобы все было ясно. Я прочла у вас в газете, как воруют «капитаны песка», а потом полиция сказала, что всех их заарестуют, а потом сеньор инспектор по малолетним сказал, что они не исправляются в колониях куда он их посылает. Я насчет колонии этой и решила вам написать хоть писать хорошо не умею. Вот бы ваша газета послала кого-нибудь посмотреть, как там

обращаются с несчастными детьми из неимущих семей которые на свою беду попали в руки тамошних надзирателей у которых сердце тверже камня. Мой сын Алонсо пробыл там полгода и кабы я не сумела его оттуда вызволить один бог знает дожил бы он до срока или нет. Их там секут два а то и три раза в день и это еще хорошо. Директор ходит вечно пьяный и лупит детей хлыстом. Я сама это видела много раз, они внимания не обращают если скажешь что-нибудь и говорят что так нужно для острастки чтоб другим было неповадно. Потому я забрала сына оттуда. Пошлите сеньор редактор туда человека пусть он посмотрит чем их там кормят и какую работу заставляют делать что не всякий взрослый справится и выдержит, и как их лущуют за дело и без дела. Только пусть не говорит что из газеты а то они его обманут. Пусть придет неожиданно и тогда увидите права я или нет. Из-за таких вот колоний и существуют воровские шайки и пусть уж лучше мой сын будет там чем в таком заведении. Посмотрите сеньор что там творится у вас сердце в груди замрет. Спросите падре Жозе Педро, он там служил капелланом, все видел и знает. Он все вам расскажет и лучше чем я.

*Остаюсь Мария Рикардинья, швея.*

(Напечатано на пятой странице «Журнал да Тарде» среди объявлений, без фотографии и комментариев.)

### **Письмо падре Жозе Педро в редакцию газеты «Журнал да Тарде»**

Господь да благословит Вас.

Уважаемый г-н редактор!

В одном из номеров Вашей уважаемой газеты я прочел письмо Марии Рикардиньи, в котором она ссылается на меня как на того, кто может пролить свет на обстоятельства, сопутствующие жизни детей, попавших в исправительную колонию, и вынужден обеспокоить Вас этим письмом, поскольку все, о чем рассказала Вам Мария Рикардинья, к прискорбию, соответствует действительности. Воспитанники вышеупомянутой колонии в самом деле содержатся как дикие звери. Администрация колонии, позабыв заповеди о всепрощении и любви к ближнему, не только не старается привлечь к себе сердца воспитанников добротой и лаской, но напротив, еще боль-



ше ожесточает их непрерывными наказаниями и бесчеловечными истязаниями. По долгу пастыря я был обязан нести заблудшим детям утешение и свет истинной веры, но вижу, что ненависть, скопившаяся в душе этих несчастных, больше чем кто-либо иной достойных жалости, препятствует им воспринять мои слова с должным доверием. Обо всем том, что я ежедневно вижу в колонии, я мог бы написать целую книгу.

Благодарю Вас за внимание.

*Падре Жозе Педро, смиренный раб божий.*

(Напечатано на третьей странице «Диарио да Тарде» под заголовком «Неужели это правда?» и без всяких комментариев.)

### **Письмо директора исправительной колонии в редакцию газеты «Жорнал да Тарде»**

Глубокоуважаемый г-н редактор!

С неослабевающим интересом слежу я за тем, как одна из самых блистательных представительниц баиянской прессы, газета «Жорнал да Тарде», ведет под Вашим мудрым руководством кампанию борьбы с шайкой «Капитаны песка», которая терроризирует наш город и нарушает покой его обитателей.

В числе материалов, посвященных этой теме, я ознакомился и с двумя письмами, содержащими обвинения по адресу учреждения, вверенному моему попечению. Одна лишь скромность — только она одна! — не дает мне права назвать это учреждение образцовым.

Я не унижусь до того, чтобы через посредство Вашей газеты опровергать письмо этой представительницы низших слоев нашего общества, — без сомнения, одной из тех, кто так мешает нам при исполнении нашего священного долга — исправления детей, сбившихся с пути истинного. Когда дети, получавшие воспитание на улице и постоянно имевшие перед глазами примеры недостойного поведения своих родителей, попадают к нам и мы заставляем их приобщаться к нормальной жизни, родители эти, вместо того чтобы со слезами благодарности целовать руки тех, кто не щадит усилий, превращая их детей в полезных членов общества, начинают жаловаться. Но я

уже сказал и готов повторить, что оставляю это письмо без внимания. Смешно было бы ожидать, что темная малограмотная работница окажется на высоте понимания тех задач, которые выполняет руководимое мною учреждение.

Но второе письмо поразило меня до глубины души. Этот священник, позабывший, какие обязанности налагают на него его сан и должность, бросил нам тяжкие обвинения. Этот святой отец, которого по справедливости следовало бы назвать «чертовым сыном» (я надеюсь, вы, г-н редактор, простите мне эту иронию), пользовался своим особым положением для того, чтобы, проникая в интернат в непопозволенные по правилам внутреннего распорядка часы, подбивать детей, отданных государством под мою опеку, на открытое неповиновение и даже бунт. С тех пор, как он появился у нас, случаи нарушения дисциплины и неподчинения установленным правилам участились. Падре Жозе Педро — злостный подстрекатель, дурно влияющий на детей, которые в большинстве своем и так испорченны до крайности. Отныне двери нашего интерната закрыты для него навсегда.

Тем не менее, г-н редактор, я от своего имени присоединяюсь к просьбе Марии Рикардиньи и настоятельно прошу Вас прислать к нам сотрудника Вашей газеты, с тем, чтобы и Вы, и читающая публика смогли получить истинное и непредвзятое представление о том, как перевоспитывает малолетних преступников Баиянская исправительная колония. В понедельник я буду ждать Вашего сотрудника: допуск посетителей в другие дни запрещен правилами внутреннего распорядка, а я стараюсь ни в чем не отступать от них. Этим, и только этим, объясняется мое желание видеть его именно в понедельник. Заранее благодарю Вас за это, как и за публикацию настоящего письма и надеюсь, что недостойный священнослужитель будет посрамлен.

Примите и проч.

*Директор Баиянской исправительной колонии для малолетних преступников и брошенных детей.*

(Напечатано на третьей странице «Журнал да Тарде» вместе с фотографией колонии и сообщением, что в понедельник ее посетит репортер.)

**Образцовое учреждение, где царят мир и труд — не директор, а друг — превосходная кухня — воспитанники и трудятся и веселятся — малолетние преступники на пути к перерождению — беспочвенные обвинения опровергнуты — претензии высказал только один — неисправимый — баиянская колония живет одной дружной семьей — место «Капитанов песка» — здесь**

(Заголовки репортажа, опубликованного во вторник, в вечернем выпуске «Жорнал да Тарде» на всю первую полосу вместе с фотографиями колонии и ее директора.)

---

## ПОД ЛУНОЙ, В ЗАБРОШЕННОМ ПАКГАУЗЕ

### ПАКГАУЗ

Под луной, в заброшенном пакгаузе спят дети.

Раньше море было совсем рядом. Волны, подсвеченные желтоватым сиянием луны, ласково плескались у подножья пакгауза, прокатывались под причалом — как раз в том месте, где спят сейчас дети. Отсюда уходили в плаванье тяжело нагруженные суда — пускались в нелегкий путь по опасным морским дорогам огромные разноцветные корабли. Сюда, к этому причалу, теперь уже изъеденному соленой водой, приставали они, чтобы доверху набить трюмы. Тогда перед пакгаузом простирался таинственный и необозримый океан, и ночь, спускавшаяся на пакгауз, была темно-зеленой, почти черной, под цвет ночного моря.

А теперь ночь стала белесой, и перед пакгаузом раскинулись пески гавани. Под причалом не шумят волны: песок, завладевший пространством, медленно, но неуклонно надвигался на пакгауз, и не подходят больше к причалу парусники, не становятся под погрузку. Не видно мускулистых негров-грузчиков, напоминающих времена рабовладения. Не поет на причале, тоскуя по родным местам, чужестранный моряк. Белесые пески простираются перед пакгаузом, который никогда уж больше не заполнится мешками, кулями, ящиками. Одиноко чернеет он среди белизны песков.

Много лет полновластными хозяевами его были одни только крысы: они наперегонки носились вдоль его бесконечных стен и грызли тяжеленные деревянные двери. Потом, спасаясь от дождя и ветра, забрел в пакгауз бездомный пес. Первую ночь он совсем не спал — все ловил и рвал на части шмыгавших под самым носом крыс. Потом несколько ночей рядом выл на луну: лунный свет беспрепятственно проникал сквозь полуразвалившуюся крышу, заливая сложенный из толстых досок пол. Но пес

был бродячим: вскоре он отправился искать себе другое пристанище — темный проем двери, ведущей в человеческое жилье, изогнутый свод моста, теплое тело суки. И снова пакгаузом безраздельно завладели крысы. Так было до тех пор, пока не наткнулись на него бездомные мальчишки.

К тому времени ворота осели и распахнулись, и один из «капитанов», обходивших свои владения (весь порт, как, впрочем, и весь город Баия, принадлежит им), вошел в пакгауз.

Мальчишка сразу понял, что тут гораздо лучше, чем на голом песке или на причалах у других складов, откуда того и гляди смоеет прилив. С той самой ночи почти все «капитаны» перебрались в заброшенный пакгауз и, под желтым светом луны, разделили компанию крыс. Перед глазами простирались нескончаемые пески. Вдалеке накапывало на причалы море. Корабли входили в гавань или выходили в открытое море, и свет их сигнальных огней бил в полуоткрытую дверь. Через дырявую крышу виднелись усеянное звездами небо и луна.

Потом мальчишки стали хранить в пакгаузе свою добычу, и там появились диковинные предметы. Впрочем, на стороннего наблюдателя еще более странное впечатление произвели бы эти мальчишки всех цветов и оттенков кожи, всех возрастов — от 9 до 16 лет, которые растягивались ночью на деревянном полу или под причалом, не обращая никакого внимания ни на ветер, который с завыванием носился вокруг пакгауза, ни на дождь, от которого вымокали до костей. Глаза их неотрывно следили за сигнальными огнями кораблей, а уши чутко ловили звуки песен, долетавших с палуб...

Там же поселился и атаман их шайки — Педро Пуля. Прозвище это получил он с самого раннего детства, лет с пяти, а сейчас ему уже пятнадцать, и десять из них он бродяжничает. Матери своей он не знал, отца давно застрелили. Педро остался на белом свете один, принялся изучать город, и нет теперь ни улицы, ни переулка, ни тупика, нет такой лавчонки, кабачка, дощатой палатки, которая была бы ему неизвестна. В тот год, когда он примкнул к «капитанам» (недавно выстроенный порт привлек к себе всех бездомных баианских детей), верховодил в шайке Раймундо, крепыш-кабокло<sup>1</sup> с кожей, отливавшей красным.

---

<sup>1</sup> Кабокло — метис от брака индейки и белого.

С приходом Педро власть стала уплывать из рук Раймундо. Педро Пуля забил его по всем статьям: он был и деятельней и сноровистей, он умел все рассчитывать наперед и дать каждому дело по вкусу и силам, он умел себя поставить, а в голосе его и в выражении глаз было что-то такое, что его слушались беспрекословно. Настал день, когда Раймундо и Педро схватились. Раймундо, на свою беду, вытащил нож и полоснул противника по лицу, отметив его до конца жизни рубцом на щеке. Педро был безоружен, и потому остальные члены шайки вмешались, остановили драку и стали ждать реванша. Педро не замедлил отомстить. Однажды вечером, когда Раймундо собирался отлупить негритенка Барандана, Педро заступился за него. Такой драки песчаные отмели еще не видели. Раймундо был старше годами, выше ростом, но Педро Пуля с развевающимися белокурыми волосами, с алым шрамом, горевшим на щеке, превосходил его ловкостью. Раймундо потерял и власть над шайкой, и песчаные отмели. Через некоторое время он нанялся матросом на какое-то судно и ушел плавать.

Все единодушно признали нового атамана, и с тех самых пор покатались по городу слухи о банде «капитанов» — о бездомных мальчишках, промышлявших грабежом. Никто не знал, сколько их на самом деле, а было их около сотни. Человек сорок, а может и больше, постоянно жили в полуразвалившемся пакгаузе.

Это они, оборванные, грязные, голодные мальчишки, сыпавшие отборной руганью, смолившие подобранные на тротуарах окурки, были истинными хозяевами города и его поэтами: они знали его в совершенстве, они любили его всем сердцем.

#### НОЧЬ «КАПИТАНОВ»

Темная ночь неспешно надвигается на Баию со стороны моря, окутывает тьмой старинный форт, рыбацьи баркасы, волнолом, вползает по крутым улочкам, опускается на колокольни церквей. Давно смолкли колокола, вызванивавшие «Богородице», — уже гораздо больше шести. Небо все в звездах, и ночь светла, хотя луна так и не выглянула. Пески, окружающие черную громаду пакгауза, хранят следы босых ног: «капитаны» в этот час собираются вместе. Над входом в портовую таверну «Ворота в море» слабо мерцает, грозя вот-вот потухнуть, фо-

нарь. Холодный ветер дует навстречу, швыряет в лицо пригоршни песка, и Большой Жоан гнется под его порывами, точно мачта рыбацкой шаланды. Ему всего тринадцать лет, а он уже ростом выше всех остальных, и мускулы у него как железо. Четыре года носится он с шайкой по улицам Баии, четыре года он волен как ветер, никого не спрашивается, никому не подчиняется. Большой Жоан не бывал в домике на вершине холма с того дня, как его отца, великана-ломовика, на узкой улице задавил внезапно вылетевший из-за угла грузовик. Огромный таинственный город простирался перед ним, и негритенок решил завоевать его, — черный город, полный церквей и храмов, город, почти такой же загадочный, как море. И Большой Жоан не вернулся домой. В девять лет стал он членом шайки, — в те времена, когда главарем ее был еще Раймундо, который рисковать не любил, и слава ее была еще впереди. Очень скоро Большой Жоан сделался одним из вожakov, и его никогда не забывали позвать на совет, где затевались и обдумывались новые налеты, хотя особенно острым умом он не отличался: голова болела всякий раз, как требовалось поднапрячь мозги. Так же вспыхивали они, если кто-нибудь в его присутствии обижал маленьких. Тело его напрягалось, и он очертя голову бросался в любую драку. Но его побаивались, потому что все знали его силу. Безногий говорил:

— Наш негр — это помесь мула с кузнечным прессом,

А малолетки, которые, попав в шайку, на первых порах робели, всегда могли рассчитывать на его защиту и покровительство. Любил его и Педро Пуля: Большой Жоан знал, что атаман дружит с ним вовсе не из-за его силы. Педро заметил доброту негра и часто повторял:

— Добрая ты душа, Жоан. Ты лучше нас всех. Ты мне по нраву, — и похлопывал смущавшегося паренька по колену.

Большой Жоан шагает к пакгаузу. Ветер бьет в лицо, швыряет в глаза песок, но Жоан, согнувшись, наклонившись вперед, продолжает путь. Он заскочил в «Ворота», пропустил по рюмочке кашасы с Богумилом, который только сегодня вернулся из южных морей, с рыбной ловли. Богумил — самый знаменитый капоэйрист в Баии, все его знают и почитают. В ангольской капоэйре ему нет равных, он превзошел даже Зе Недомерка, слава которого гремит до самого Рио-де-Жанейро. Богумил рассказал

Жоану новости и обещал завтра прийти в пакгауз, научить его, Педро Пулю и Кота новым приемам и броскам. Большой Жоан закуривает и шагает дальше, и на песке остаются отпечатки его огромных ступней. Ветер тут же засыпает эти вмятины. В такую ночь в море лучше не выходить, думает негр.

Увязая в песке по щиколотку, он проходит под причалом, стараясь не наступить на спящих. Входит в пакгауз. Мновение стоит в нерешительности, но потом замечает огонек свечи. Да, это Профессор, пристроившись в дальнем углу, читает при свете огарка. Вконец глаза испортит, думает Большой Жоан, в такой темнотище разбирать мелкие букочки: свечка горит еще тусклей, чем фонарь у входа в таверну, пламя так и ходит из стороны в сторону. Жоан приближается к Профессору, хотя спать всегда ложится у порога, как сторожевой пес, и нож на всякий случай кладет поближе.

Перешагивая через тех, кто уже спит, обходя тех, кто вполголоса болтает с соседом, он подходит к Профессору, присаживается рядом на корточки, смотрит, как жадно тот глотает страницу за страницей.

Прошло уже несколько лет с того дня, как Жоан Жозе по прозвищу Профессор украл с открытой витрины магазина на Баррас первую книгу. Однако добычу он никогда не продавал, а прятал книги в своем углу под кирпичами — чтобы крысы не испортили — и читал запоем. Ему было интересно все на свете, и часто по ночам он рассказывал товарищам диковинные истории об искателях приключений, о знаменитых мореплавателях, о легендарных героях и исторических личностях, и после таких рассказов «капитаны» пристальной вглядывались в морские просторы или в таинственные закоулки Баии, и жажда подвигов и приключений снедала их души. Жоан Жозе — единственный в шайке — читал бегло, хотя в школу ходил всего полтора года. Черные волосы вечно лезли в сощуренные подслеповатые глаза этого щуплого, веснушчатого, не очень-то бойкого мальчика, которому разносторонние познания и дар рассказчика снискали в шайке единодушное уважение. Профессором его прозвали не только потому, что он здорово показывал фокусы с монетами и платками; пересказывая истории, вычитанные из книг или сочиненные на ходу, Жоан Жозе обнаруживал великий и загадочный дар: он переносил своих слушателей в иные миры, в дальние неведомые края, и смысленные глаза мальчишек блестели в эти часы, как



звезды на баиянском небосклоне. Затеявая очередное дело, Педро Пуля всегда советовался с Профессором: самые дерзкие налеты увенчивались успехом благодаря его выдумке и изобретательности. Никто, конечно, и представить себе не мог, что через несколько лет он напишет картины, в которых воссоздаст историю своих товарищей, историю многих страдальцев и героев, и полотна эти потрясут всю Бразилию. Никто не мог этого знать — разве что только дона Анинья, «мать святого»<sup>1</sup>, но ведь когда выходит на террейро<sup>2</sup> и начинает волшбу, богиня Иа<sup>3</sup> через оправленный в серебро бараний рожок сообщает ей все на свете.

Большой Жоан долго следил за тем, как читает Профессор: ему-то эти букочки ничего не говорили. Взгляд его скользил по странице, переходил на дрожащее пламя свечи, а потом — на растрепанную голову Жоана Жозе. Наконец негр не выдержал, и в тишине раздался его вучный мягкий голос:

— Хорошая книжка?

Профессор оторвал глаза от книги, увидел Большого Жоана, одного из самых восторженных своих почитателей, и хлопнул его ладонью по плечу:

— Потрясающая!

Глаза его блеснули.

— Про моряков?

— Про такого же негра, как ты. Про настоящего мужчину.

— Потом расскажешь, а?

— Как дочитаю. Тут, понимаешь, негр...

И, не договорив, снова впился в книгу. Жоан сунул в рот дешевую сигарету, угостил Профессора и долго сидел на корточках, словно караулил, как бы кто не помешал тому читать. Весь пакгауз гудел гулом голосов, хохотом, перебранкой. Большой Жоан различал даже пронзительный и гнусавый голос Безногого: тот всегда говорит громко и хохочет во всю глотку. Безногий служил «капитанам» лазутчиком: он умел прикинуться мальчиком из хорошей семьи, потерявшимся в сутолоке и толчее огромного города, и на неделю протыраться в чей-нибудь дом. Кличку свою он получил из-за того, что сильно хромал,

---

<sup>1</sup> Мать святого — старшая жрица на кандомбле.

<sup>2</sup> Террейро — место проведения церемонии афро-бразильского культа — кандомбле.

<sup>3</sup> Иа — одно из верховных божеств афро-бразильского культа.

По этой же причине трогал он сердца почтенных матерей семейств: когда появлялся у них на пороге и печальным, жалобным голоском просил какой-нибудь еды и позволения переночевать, ни у кого язык не поворачивался отказать ему. Сейчас Безногий издевался над Котом, — тот убил целый день на то, чтобы украсть перстень с винно-красным камнем, который оказался стекляшкой, ничего не стоящей дребеденью.

Неделю назад Кот оповестил всех и каждого:

— Приглядел я перстенок, такой, что епископу надеть не стыдно. И как раз мне подойдет. Тут главное — не сробеть. Вот посмотрите, я его уведу...

— Он на витрине?

— Не на витрине, а на пальце у того толстяка, что каждое утро садится в трамвай на Байша-дос-Сапатей-рос!

И Кот не знал покоя до тех пор, пока не ухитрился все-таки в трамвайной давке снять перстень и улизнуть, когда толстяк обнаружил пропажу. Кот нацепил перстень на средний палец и перед всеми хвастался своей добычей. Но Безногий поднял его на смех:

— Было б из-за чего рисковать! Овчинка выделки не стоит.

— Помолчи, Безногий, не нарывайся!

— До чего ж ты глуп, Котик! В ломбарде за эту стекляшку не дадут ни гроша.

— А я и не собираюсь его закладывать. Он мне по вкусу. Подцеплю на него какую-нибудь...

О женщинах они говорили очень непринужденно и со знанием дела, хотя самому старшему едва минуло шестнадцать: тайны любви давно уже перестали быть тайнами для них.

Вошедший Педро Пуля унял начинавшуюся драку. Большой Жоан, оставив Профессора, который так и не оторвался от книги, подошел поближе. Безногий продолжал хихикать себе под нос, издеваясь над трофеем Кота. Педро окликнул его и вместе с Большим Жоаном уселся рядом с Профессором. Остальные тоже опустили на пол. Безногий сунул в рот окурок дорогой сигары, с наслаждением затянулся. Большой Жоан вглядывался в море, видневшееся за открытой дверью, — там, где обрывались песчаные гряды.

— Ко мне сегодня приходил Гонсалес...

— Чего ему надо? — спросил Безногий. — Золотую цепочку? Еще одну?

— Нет, не цепочку. Шляпу. И непременно фетровую. Из рисовой соломки не хочет, говорит, на них спроса нет. И еще...

— Ну, что еще?— снова перебил его Безногий.

— Ношеную, говорит, не надо. Только новую.

— Ишь, разлетелся... Если б еще платил по совети...

— Ты ведь знаешь, Безногий, у него рот на замке. Раскошелливается-то он, конечно, со скрипом, но зато никогда не заложит, из него слова не вытянешь.

— Не то что со скрипом, а вообще жмот. А молчать — ему же на руку. Будет болтать — загремит в тюрьгу.

— Вот что, Безногий, не хочешь дело делать, иди отсюда, не мешай. Дай обдумать.

— Думай себе на здоровье. Я просто считаю, что незачем с этим жуликом испанским дело иметь. Делай как знаешь.

— Он сказал, что заплатит сполна. Есть смысл покоряться. Только обязательно — фетровую и неношеную. Возмись-ка за это, Безногий, собери своих и попробуй достать. Завтра к вечеру Гонсалес пришлет с кем-нибудь денег и заберет товар.

— В кино можно попробовать,— сказал Профессор, повернувшись к Безногому.

— На Витории еще лучше,— пренебрежительно отвечал тот.— Там у каждого бумажники — вот такие. Пришел и выбирай любую шляпу.

— На Витории и от фараонов не прорыгнуть.

— А ты уж и испугался? Там же не агенты, а постовые. Пойдешь со мной, Профессор?

— Пойду. Мне самому нужна шляпа.

Вмешался Педро Пуля:

— Бери кого хочешь, Безногий, полную тебе даю волю, действуй на свое усмотрение. Только Кота и Большого Жоана оставь: они мне нужны для другого дела.— Он посмотрел на Жоана: — Дельце с Богумилом.

— Да, он мне сказал. Сегодня вечером зайдет, устроим капоэйру.

Педро крикнул вслед Безногому, который уже отправился к Леденчику, чтобы обсудить с ним, кто пойдет добывать шляпы:

— Слышь, Безногий, предупреди своих: если будет «хвост», сюда пусть не приводят.

Он стрельнул у Большого Жоана сигарету. Безногий

издали подзывал Леденчика. Педро Пуля отправился на розыски Кота — у него было к нему дело, — потом вернулся и улегся на полу рядом с Профессором, который снова уткнулся в книгу. Но свеча догорела и погасла, в пакгаузе стало совсем темно. Большой Жоан, осторожно ступая, пошел к дверям, растянулся на пороге во весь рост. Он и во сне не расставался с ножом, заткнутым за пояс.

Леденчик был тощий и долговязый, желтоватая кожа туго обтягивала скулы, глубоко посаженные глаза казались бездонными, тонкие губы редко растягивались в улыбку. Безногий для затравки осведомился, успел ли тот помолиться, а потом рассказал ему о шляпах. Они тщательно отобрали тех, кто пойдет на дело, обсудили, кто где будет промышлять, и расстались. Леденчик пошел в тот угол пакгауза, где всегда спал, любовно и тщательно разложил все свои пожитки: старое одеяло, маленькую подушку, которую ловко увел из гостиницы, когда подносил чемоданы какому-то туристу, пару брюк и рубашку неопределенного цвета, но довольно свежую, — это он надевал по воскресеньям. К стенке маленькими гвоздиками были приколочены две олеографии: на одной был изображен святой Антоний с Христом-младенцем на руках (Леденчик при крещении получил имя Антонио, и от кого-то он узнал, что патрон его тоже был бразильцем), а на другой — Пречистая Дева Семи Скорбей, пронзенная стрелами. За рамку был заткнут увядший цветок. Леденчик понюхал его, убедился, что он давно уже ничем не пахнет, и прикрепил к ладанке, которую носил на груди, а из кармана ветхого пиджачка достал красную гвоздику, сорванную вчера в смутное время сумерек под самым носом у сторожа, засунул ее за рамку, устремив на Пречистую благоговейный взгляд. Потом опустил на колени. Раньше товарищи посмеивались над его набожностью, но потом привыкли и не обращали на него внимания. Он начал молиться: на детском лице появилось просветленное сосредоточенное выражение, длинные тощие руки с мольбой простерлись к богоматери, и он совсем стал похож на отшельника-аскета. Глаза его горели, неузнаваемо изменившийся голос дрожал от чувств, неведомых другим членам шайки. В такие минуты он забывал, кто он и где он, и ему казалось, что он уносится куда-то далеко-далеко от старого пакгауза, и рядом с ним стоит Пречистая Дева. Молитва его была проста и незамысловата и не значилась ни в каких часословах: Леден-

чик просил Деву Марию, чтоб помогла ему поступить в коллеж на Содре,— тот самый, где учат на священников.

Когда Безногий, вернувшийся, чтобы обговорить еще какую-то подробность завтрашнего дела, и уже приготовивший ехидное замечание, от которого ему самому стало смешно и которое должно было взбесить Леденчика, подошел поближе и увидел, что его руки воздеты к небесам, глаза устремлены неведомо куда, а на лице — восторг, усмешка замерла у него на губах, он остановился и долго разглядывал молившегося, охваченный каким-то странным чувством,— тут были и страх, и зависть, и отчаяние.

Леденчик был неподвижен, только губы его медленно шевелились. Безногий часто издевался над ним, как и над всеми прочими,— даже над Профессором, которого он любил, даже над Педро Пулей, которого очень уважал. Как только в шайку попадал новичок, в голову Безногому тотчас приходила какая-нибудь зловердная идея на его счет. Стоило новенькому неуклюже повернуться или неловко ответить, как Безногий начинал насмехаться над ним и приклеивал ему кличку. Он высмеивал все на свете, потешался над всеми и слыл в шайке одним из первых забияк и драчунов. Славился он и своей жестокостью: однажды поймал в пакгаузе кошку и долго мучил ее, избредая все новые зверства. В другой раз располосовал ножом лицо официанту в ресторане — и всего-навсего из-за порции жареного цыпленка. Когда у него на ноге назрел нарыв, он хладнокровно вскрыл его лезвием перочинного ножа и со смехом выдавил гной. В шайке его многие недолго любили, однако те, кто сумел приноровиться к его характеру и стать его другом, говорили, что Безногий — «парень свой». В глубине души он жалел всех, потому что все вокруг него были несчастны, и старался смехом и выпучиваньем заслониться от этого несчастья,— издевательства его были как лекарство. Он долго стоял и смотрел на Леденчика, который полностью был поглощен молитвой. Сначала Безногий подумал, что тот чему-то безмерно радуется, что он ужас как счастлив, но потом понял, что это совсем не то, но как назвать это восторженно-просветленное выражение — не знает. В эту минуту Безногому стало ясно, почему он никогда не молился и не помышлял о небесах, про которые так часто говорил им падре Жозе Педро; ему всегда хотелось веселья и счастья, хотелось сбежать от убожества, от бед

и несчастий, которые наваливались со всех сторон. Правда, взамен счастья были улицы Баии, была свобода. Но зато ни одна душа не приласкает, слова доброго не скажет. Вот Леденчик ищет все это на небе, в своих иконках, в увядших цветах, которые он приносит богоматери, точно какой-нибудь романтический вздохатель из богатых кварталов — невесте или возлюбленной... Нет, Безногому этого мало. Ему немедленно, сию минуту подавай что-нибудь такое, чтобы на лице появилась не издевательская ухмылка, а веселая улыбка, чтоб не надо было вышучивать всех и глумиться над всем, чтоб исчезла тоска, от которой в зимние ночи так хочется плакать. А этот восторг, сияющий на лице Леденчика, ему без надобности. Он хочет счастья, ему нужно, чтобы чья-нибудь любящая рука приласкала его, заставив забыть и увечье, и те долгие годы, что он провел на улице. Быть может, это продолжалось вовсе не годы а всего несколько недель или месяцев, но Безногому казалось, что он много лет мыкается по улицам, где его злобно толкают прохожие, хватают сторожа, обижают мальчишки постарше. У него никогда не было семьи. Жил у пекаря, которого называл «крестным», — тот нещадно лупил парня. Как только понял, что побег избавит от побоев, — сбежал. Голодал, мерз, попал за решетку. Как хотелось ему, чтобы кто-нибудь его приласкал и заставил забыть тот день в тюрьме, когда пьяные солдаты заставили его — хромого — бегать вокруг стола, подгоняя резиновыми дубинками. Синяки на спине скоро исчезли, но память об этой муке осталась в душе навсегда. Он бегал по комнате как маленький зверек, затравленный хищниками покрупнее. Хромая нога не слушалась. А когда он останавливался перевести дух, дубинка со свистом обрушивалась ему на спину. Сначала он плакал, потом — неведомо как — слезы высохли. Пришла минута, когда он в изнеможении, обливаясь кровью, рухнул на пол. До сих пор звенит у него в ушах хохот солдат и человека в сером жилете, не выпускавшего изо рта сигару. Потом Безногий пришел в шайку: Профессор, с которым они познакомились на скамейке в саду, привел его в пакгауз. Понравилось — остался. Очень скоро он выдвинулся, потому что никто лучше него не умел вызывать сострадание у добросердечных сеньор, чьи квартиры потом посещали юные грабители, превосходно осведомленные о расположении комнат и о том, где хранятся ценности. И когда Безногий представлял себе, как проклинаят его эти сеньоры, принимав-

шие его за бедного сироту, душа у него просто пела от радости. Так он мстил им, так вымещал он на них переполнявшую его ненависть, смутно мечтая о какой-то сверхмогучей бомбе — про такую рассказывал Профессор, — которая бы разнесла в клочья, подняла на воздух весь город, и, воображая себе этот взрыв, веселел. Может быть, он был бы так же весел и счастлив, если бы кто-нибудь — обычно ему виделась женщина с седеющими волосами и мягкими руками — прижал бы его к груди, погладил, приласкал, убаюкал, прогнав прочь сны о тюрьме, мучившие его еженощно. Да, тогда бы он был весел и счастлив, и ненависть ушла бы из его сердца, и не было бы там ни презрения, ни зависти, ни злости на Леденчика, который, воздев руки к небу и вперив взгляд в одну точку, убегает из мира скорбей и бед в мир, известный ему лишь по рассказам падре Жозе Педро...

Слышатся чьи-то голоса. Четверо входят в сонную тишину пакгауза. Безногий, вздрогнув, смеется в спину Леденчику, который продолжает молиться, и, пожав плечами, решает подождать до завтра с обсуждением «шляпного дела». Спать он боится, и потому направляется навстречу вошедшим, просит закурить и грубо обрывает их похвальбу:

— Да кто же поверит, что таким щенкам, как вы, удалось справиться с бабой?! Это наверняка был какой-нибудь...

Четверо немедля вспыхивают:

— Ты что, правда не веришь или дураком прикидываешься? Хочешь, пошли завтра с нами! Ты таких и во все-то не видал!

— Нет, нет, — издевательски смеется в ответ Безногий. — Я к этим равнодушен.

И отходит прочь.

Кот спать не ложится. Он всегда выходит в город после одиннадцати вечера. Он чистюля и франт, кожа у него бело-розовая, и потому стоило ему только появиться в шайке, Долдон сделал попытку прихватить его. Но Кот уже в те времена отличался немислимым проворством и к тому же вовсе не был «мальчиком из хорошей семьи»: тут Долдон дал маху. Кот пришел к «капитанам» из другой шайки, носившей имя «Индейцы Малокейро» и обитавшей под причалами Аракажу, в Баию же приехал на тормозной площадке товарняка. Ему шел уже четырнадцатый год, он прекрасно знал, какие нравы царят среди бездомных подростков, и мигом догадался с чего это

Долдон, приземистый, коренастый, уродливый мулат, взялся так его обхаживать: угощал сигаретами, поделился ужином и вызвался показать город. Там они украли пару новых башмаков, выставленных в витрине на Байша-дос-Сапате́йрос.

— Я знаю, кому их загнать,— сказал тогда Долдон.

Кот оглядел свои ботинки — они уже просили каши.

— Я лучше себе оставлю. Мне давно нужны новые.

— Ты и в этих загляденье,— восхитился Долдон, который по большей части ходил босиком.

— Я уплачу твою долю. Сколько они могут потянуть?

Долдон воззрился на него. Кот был одет в заплатанный пиджак, но при галстукe и в перчатках — чудо из чудес!

— Фасонишь, да? — улыбнулся он.

— Я рожден не для этой жизни. Я рожден для большого света,— произнес Кот фразу, которую услышал однажды от какого-то коммивояжера в кабаре в Аракажу.

Долдон находил, что его новый товарищ — настоящий красавец. Внешность Кота и правда бросалась в глаза, и, хотя в его красоте не было ничего женственного, она привлекла Долдона, которому, в довершение всех бед, совсем не везло с женщинами: он выглядел младше своих тринадцати лет, был мал ростом и невзрачен. А Кот к четырнадцати годам успел вымахать и уже любовно пестовал пушок над губой — тень будущих усов. Долдон в эту минуту любил его всем сердцем и потому сказал:

— Ладно, забирай. Отдаю тебе свой тоже.

— Вот спасибо. Сочтемся как-нибудь.

Долдон решил без промедления воспользоваться этой благодарностью и будто случайно провел ладонью по бедру Кота. Кот ловко отстранился, засмеялся про себя, но ничего не сказал. Долдон решил не нажимать, чтоб мальчишка не испугался: ему и в голову не могло прийти, что Кот разгадал его мысли. Вечером они шлеялись, любуясь праздничной иллюминацией Баии (Кот был потрясен), а часов в одиннадцать вернулись в пакгауз. Долдон представил нового товарища Педро Пуле, а потом отвел в тот угол, где ночевал.

— Вот простыня, нам на двоих.

Кот улегся, Долдон растянулся рядом. Решив, что но-



вичок уснул, он обнял его. Кот вскочил как ужаленный:

— Ошибочка вышла. Я мужчина.

Но Долдон уже потерял власть над собой и ничего не видел, кроме этой белой кожи, черных кудрей и мускулистого тела. Он бросился на Кота, желая свалить его наземь, подмять под себя. Кот отскочил, подставил ему ножку, и Долдон с размаху шлепнулся оземь, расквасил нос. Их уже окружили.

— Он, видно, решил, что я из этих...— сказал Кот и ушел, прихватив простыню.

Некоторое время они враждовали, но потом помирились, и теперь, когда Коту надоедает его очередная подружка он уступает ее Долдону.

Однажды вечером Кот прогуливался по улицам, где в эти часы собирались проститутки. Волосы его блестели от дешевого брильянтина, галстук скрутился в жгут. Он посвистывал, как истый прожигатель жизни, женщины оглядывались, смеяся, окликали его:

— Эй, петушок! Ты что здесь потерял?

Кот улыбался в ответ и шел дальше. Он ждал, когда кто-нибудь из этих женщин подзовет его к себе, но платить за любовь не собирался, и не в том было дело, что в кармане у него брэнчала одна мелочь: нет, «капитанам» не подобает платить женщине, у «капитанов» всегда в избытке шестнадцатилетних негрятючек, неосмотрительно забредающих в их владения.

А женщины с удовольствием оглядывали ладную мальчишескую фигуру, любовались полудетским порочным лицом. Многие согласились бы переспать с красивым мальчишкой, но в этот час они ловили настоящих клиентов,— надо было думать о том, на какие деньги купить завтра еды и уплатить за квартиру. И потому они только посмеивались и, поддразнивая, задевали его. С первого взгляда понимали они, что из Кота вырастет настоящий сутенер,— парень, без мыла влезаящий женщине в душу, тот, кто обирает ее и колотит, но зато и одаряет любовью. Многие желали бы стать этому юному проходимцу первой, но время близилось к десяти, наступал час солидных клиентов, и напрасно Кот мерил улицы шагами. Тогда-то вот он и увидел Далву, кутавшуюся в меховой жакет, несмотря на душный вечер. Она прошла мимо и не заметила его. Этой статной женщине с чувственным лицом было на вид лет тридцать пять, и Кот не-

медленно пленился ею. Двинулся следом. Она зашла в какой-то дом. Кот остался караулить на углу. Через несколько минут назнакомка появилась у окна. Кот фланировал по улице, но женщина даже не взглянула в его сторону. А когда появился какой-то старик, она окликнула его, тот кивнул и зашел в подъезд. Кот не сходил с места и после того, как старик торопливо, стараясь не привлекать к себе внимания, выскользнул на улицу. Но женщина к окну так больше и не подошла.

С того вечера Кот ежедневно топтался на этом углу — только чтобы увидеть ее. Деньги, которыми удавалось ему разжиться, он тратил на покупку поношенных костюмов: Кот хотел ослепить ее элегантностью. Низкопробное изящество было у него в крови: ведь тут дело не в одежде, а в том, какая у тебя походка, как лихо заломлена шляпа, как небрежно и элегантно повязан твой галстук. Кот мечтал о Далве, как мечтает голодный о куске хлеба, а измученный недосыпом — о постели. Теперь он молча проходил мимо других женщин, когда после полуночи, заработав себе на пропитание и ночлег, те зазывно улыбались юному красавчику. Только однажды откликнулся он на этот зов — и то, чтобы разузнать о Далве. Женщина рассказала ему, что у Далвы есть любовник — флейтист из какого-то кафе, что он отбирает у нее все деньги и устраивает пьянки и всяческие безобразия, отпугивая гостей их квартала.

Кот приходил на угол каждый вечер. Далва ни разу не взглянула в его сторону, но оттого он любил ее еще сильнее. В горестном ожидании стоял он до тех пор, пока за полночь не показывался флейтист и, послав в окно воздушный поцелуй, не входил в слабо освещенный подъезд. Только после этого Кот бред в пакгауз, неотступно думая об одном и том же: если бы флейтист не вернулся... если бы он умер... Он довольно хлипкий, и четырнадцатилетний Кот, пожалуй, справился бы с ним. Размышляя об этом, он крепко стискивал в кармане рукоять ножа.

И вот однажды флейтист не пришел. В ту ночь Далва, как потерянная, долго ходила по городу, домой вернулась за полночь, одна, и теперь стояла у окна, хотя было уже очень поздно. Вскоре улица опустела: остался только Кот на углу. Он радостно сознавал, что приходит, кажется, его черед. Далва была в смятении. Тогда Кот начал прохаживаться мимо ее окна взад-вперед, пока женщина на-

конец не обратила на него внимания, не подозвала к себе. Улыбаясь, Кот тотчас подошел.

— Это ты, соплячок, торчишь тут на углу каждую ночь?

— Торчу. Только я не соплячок...

Она невесело улыбнулась:

— Сделай доброе дело... Я кое о чем попрошу тебя...— Тут она на мгновение задумалась и покачала головой: — Хотя нет. Ты ведь не зря тут ошиваешься: па-сешь, наверно, кого-нибудь и не можешь терять время попусту, да?

— Как раз могу. Тот, кого я поджидаю, сегодня уже не придет.

— Ну, тогда, пожалуйста, миленький, сходи на улицу Рюя Барбозы, дом тридцать четыре. Найдешь там Гастона. Квартира на первом этаже. Скажешь ему, что я его жду.

Кот испытал острое чувство унижения. Сначала он решил, что никуда не пойдет и постарается вообще никогда больше не встречаться с Далвой. Но потом ему стало любопытно: что же представляет собой этот флейтист, у которого хватило духу бросить такую красавицу? Он подошел к черному многоэтажному дому, поднялся по лестнице и спросил у дремавшего в коридоре мальчишки, где тут проживает сеньор Гастон. Тот показал в самый конец коридора, и Кот постучался. Дверь открыл сам флейтист. Он был в одних трусах, а в кровати Кот заметил худую женщину. Оба были невеселе.

— Я от Далвы,— начал Кот.

— Передай этой потаскухе, чтобы зря не старалась. Она мне вот уже где...— И он чиркнул ладонью по горлу.

Из глубины комнаты послышался голос женщины:

— Чего этому херувимчику надо?

— Не твое дело,— отозвался флейтист, но тут же объяснил: — Далва его прислала. Из кожи вон лезет, чтоб я вернулся к ней.

Женщина рассмеялась пьяно и бесстыдно:

— А тебе теперь никто не нужен, кроме меня, да? Поцелуй меня.

Флейтист тоже расхохотался:

— Видал, малявка, какие у нас дела пошли? Вот и передай Далве.

— Я ничего пока что не видел, кроме выдуб-

ленной шкуры. На какой помойке подобрал? Долго небось искал?

Флейтист стал серьезен:

— Это моя невеста, изволь вести себя прилично,— и без перехода добавил: — Выпить хочешь? Кашаса больно хороша.

Кот прошел в комнату. Женщина натянула одеяло до подбородка.

— Можешь его не стесняться: мал еще,— засмеялся флейтист.

— Меня мослами не соблазнишь,— ответил Кот.

Он выпил рюмку кашасы. Хозяин уже успел улечься в постель и целовал свою подругу. Ни он, ни она не заметили, как Кот сунул за пазуху сумочку, которая валялась на стуле, на груди одежды. Выйдя из дома, Кот пересчитал деньги: семьдесят восемь мильрейсов. Он швырнул сумку под лестницу, сунул деньги в карман и, на свистывая, двинулся обратно.

Далва по-прежнему стояла у окна. Кот пристально взглянул на нее:

— Я поднимусь, ладно? — и, не дожидаясь ответа, взлетел по лестнице.

Далва встретила его на площадке.

— Ну? Что он тебе сказал?

— Дай войти. Куда — налево, направо?

Первое, что Кот увидел в комнате, была фотография Гастона: он был в смокинге и прижимал к губам флейту. Не сводя глаз с фотографии, Кот уселся на кровать. Далва смотрела на него испуганно и едва сумела вымолвить:

— Так что же он сказал?

— Сядь,— ответил Кот, указав ей место рядом с собой.

— Ах, соплячок ты, соплячок...— прошептала она.

— Он теперь путается с другой, поняла? Я им обоим сказал кое-что приятное, а у той бабы свистнул сумочку.— Он сунул руку в карман, вытащил деньги.— Поделим!

— С другой? Что ж, Спаситель Бонфинский накажет и его, и эту тварь. Спаситель Бонфинский меня не оставит.

Она подошла к стене, на которой висел образок, прошептала несколько слов — должно быть, дала обет — и вернулась.

— Деньги можешь взять себе. Заработал.

— Сядь здесь,— повторил Кот.

На этот раз она подчинилась, и Кот, схватив ее в объятия, повалил на кровать. Он заставил ее стонать от наслаждения и прошептать, когда все было позади:

— Соплячок оказался мужчиной...

Кот встал, поддернул штаны, схватил фотографию Гастона и разорвал ее в клочья.

— Я принесу тебе свою карточку. Вставишь в рамку. Засмеявшись, женщина произнесла:

— Ох и далеко же ты пойдешь, ох и негодяй же из тебя вырастет... Я научу тебя всему, всему, щеночек мой.

Она заперла дверь. Кот сбросил с себя одежду.

Вот потому он никогда не ночует в пакгаузе и после двенадцати уходит к Далве. Вернувшись утром, вместе с остальными отправляется на промысел.

Безногий подошел поближе, спросил ехидно:

— Ну, что, побежишь хвастаться перстеньком?

— А тебе-то что? — ответил, закуривая, Кот. — На тебя, хромого, никто не позарится.

— Нужны они мне больно, твои потаскухи. Я знаю, где найти бабу получше.

Но Кот продолжать перепалку не захотел, и Безногий заковылял через пакгауз дальше.

У стены он остановился, присел, надеясь, что сон сморит его. В половине двенадцатого ушел Кот. Безногий ухмыльнулся ему вдогонку: тот вымылся, пригладил волосы брильянтином и шел враскачку, подражая походочке сутенеров и матросов. Безногий долго стоял у стены, глядя на спящих в пакгаузе детей: их было не меньше пятидесяти. Ни отца, ни матери, ни учителя — ничего на свете у них не было, кроме свободы: бегай по городу сколько влезет, добывай себе еду и одежду как знаешь. Они подносили приезжим чемоданы, крали бумажники, срывали шляпы, иногда просили подаяния, иногда грабили прохожих. Всего их было человек сто: многие ночевали не в пакгаузе, а в подъездах небоскребов, на причадах, под перевернутыми лодками в гавани. Жаловаться было не принято. Случалось, что кто-нибудь умирал от болезни: лечить их было некому. Если в это время в пакгауз заглядывал падре Жозе Педро, или «мать святого»

дона Аинья, или капоэйрист Богумил, больной получал лекарство, но ухода за ним не было никакого: не дома ведь. Безногий задумался обо всем этом и наконец пришел к выводу, что радость свободы не перекрывает тягот и убожества такой жизни.

Послышался шорох, и он обернулся. Негритенок Барандан, стараясь не шуметь, крался к дверям. Безногий сообразил: наверно, украл что-нибудь и хочет спрятать добычу от остальных, чтоб не пришлось делиться. Законы шайки строго карали за это. Безногий, пробираясь между спящими, неслышно двинулся следом. Негритенок уже вышел наружу и огибал пакгауз с левой стороны. Над головой расстилалось усыпанное звездами небо. Барандан прибавил шаг. Безногий понял, что он идет к противоположному крылу пакгауза, туда, где песок мельче, занял удобную позицию и вскоре увидел чей-то силуэт, приближавшийся к Барандану. Безногий узнал его: это был двенадцатилетний Алмиро, пухлый увалень... Безногий попятился, тоска его стала нестерпимой. Каждый ищет ласки, каждый чем может заслоняется от этой жизни: Профессор читает ночи напролет, Кот живет с уличной женщиной и берет у нее деньги, Леденчик весь преображается от молитвы, а Барандан и Алмиро украдкой встречаются ночами. Нет, сегодня ему не заснуть, тоска не даст глаз сомкнуть... А если и уснет, ему привидится тюрьма. Хоть бы пришел кто-нибудь, над кем можно было бы поиздеваться... Хоть бы подраться... Может, пойти сунуть зажженную спичку кому-нибудь между пальцев — пусть подрыгает ногами. Но заглянув в дверь, он почувствовал только печаль, безумное желание убежать и помчался напрямик, через пески, сам не зная куда, убегая от своей тоски.

Педро Пулю разбудил какой-то шорох. Он спал ничком и, проснувшись, чуть приподнял голову. Мальчишка воровато пробирался в тот угол, где лежал Леденчик. Педро Пуля еще в полусне подумал, что мальчишка хочет забраться к нему в постель, и насторожился: уличных в таких делах изгоняли из шайки. Но тут сон как рукой сняло: на Леденчика это не похоже. Значит, тот просто-напросто собирается его ограбить. Он не ошибся, — мальчишка уже откинул крышку чемодана. Педро Пуля кинулся на него, свалил наземь. Схватка была короткой. Никто, кроме Леденчика, даже не проснулся.

— У своих воруеть?

Мальчишка молчал, прижимая ладонь к разбитому подбородку.

— Утром чтоб тебя тут не было. Нечего тебе тут делать. Это в шайке Эзекиела тырят друг у друга, вот к ним и ступай.

— Я хотел только посмотреть...

— Ага. И потому шарил в чужих вещах?

— Вот провалиться мне на этом месте, я хотел всего лишь медальон посмотреть.

— Что еще за медальон? Не вздумай врать!

Тут вмешался Леденчик:

— Брось, Педро. Может, он и вправду хотел посмотреть ладанку, что подарил мне падре.

— Ей-богу, не думал красть, — опять заговорил мальчишка, дрожа от страха. — Что ж я, не знаю, какво живется тем, кого выгнали «капитаны»?! Куда податься? Или к Эзекиелу — так они за решеткой чаще бывают, чем на воле. Или в колонию...

Педро Пуля отошел к спавшему Профессору. Мальчишка сказал Леденчику дрожащим голосом:

— Ладно, расскажу все как есть. Встретил вчера в Сидаде-да-Палья девчонку. Зашел в один магазинчик, хотел пиджак увести. А она увидела, спрашивает, что мне угодно. Ну вот, слово за слово... Сказал, мол, завтра принесу тебе подарок... Она добрая, понял, она говорила со мной по-человечески! — Охваченный внезапной яростью, он сорвался на крик.

Леденчик подержал образок на ладони, посмотрел на него и вдруг протянул мальчишке.

— На. Отдай ей. Только Пуле не говори.

На рассвете в пакгауз вошел Вертун, мулат родом из сертанов, волосы всклокочены, на ногах — альпартаты, словно он только что вернулся из каатинги, лицо, как всегда, угрюмо. Он перешагнул через спящего Большого Жоана. Сплюнул и растер плевков подошвой. В руке у него была газета. Он оглядел весь пакгауз, словно отыскивая кого-то, заметил наконец Профессора и, бережно неся газету на широких мозолистых ладонях, направился к нему, принялся будить, хотя было еще очень рано:

— Профессор... Профессор...

— Чего тебе? — замычал тот спросонок.

— Дело есть.

Профессор приподнялся и сел. В темноте едва угадывалось хмурое лицо Вертуна.

— Это ты, Вертушка? Чего тебе надо?

— Ну-ка прочти мне про Лампиана<sup>1</sup>, вот я «Диарио» принес. Статейка и портрет.

— Горит у тебя, что ли? Утром прочту.

— Нет, прочти сейчас, а я тебя за это научу свистать кенаром.

Профессор напарил огарок, зажег его и стал читать. Лампиан ворвался в какой-то городок штата Баия, прикончил восьмерых солдат, изнасиловал девиц, выгреб городскую казну. Хмурое лицо Вертуна мало-помалу прояснилось, плотно сжатые губы разъехались в улыбке. Профессор дочитал до конца, дунул на свечку, а счастливый Вертун пошел в свой угол, чтобы вырезать из газеты фотографию Лампиана и его людей. Весеннее ликование царило в его душе.

#### НА ТРАМВАЙНОЙ ОСТАНОВКЕ

Когда же уйдет полицейский? То посмотрит на небо, то окинет взглядом пустынную в этот час улицу. Вот скрылся за углом последний трамвай. Полицейский достает сигарету: дует ветер, и прикурить ему удастся только с третьей спички. Ветер раскачивает стволы манговых деревьев и сапотизейро, несет зябкую сырость, и полицейский поднимает воротник плаща. Трое мальчишек ждут, когда он уйдет: им надо пересечь мостовую и юркнуть в немощеный переулок; Богумил прийти не смог, просидел весь вечер в таверне, поджидая клиента, а тот так и не явился. А приди он, все было бы легче, он бы не стал упрямяться, потому что многим обязан капоэйристу. Да вот не пришел, видно, наврали или перепутали, а ночью Богумилу надо быть в Итапарике. Днем на пустыре за таверной «Ворота в море» он показывал новые приемы капоэйры. Кот подавал большие надежды: если так пойдет и дальше, он сможет потягаться с самим Богумилом. Педро Пуля тоже все схватывал на лету. Хуже всех дела шли у Большого Жоана, хотя в обычной драке, где он мог пустить в ход свою огромную физическую силу, ему

---

<sup>1</sup> Л а м п и а н — прозвище знаменитого бандита-капгасейро Виргулино Феррейры да Силва (1898—1938); какое-то время он возглавлял отряды безземельных крестьян и батраков, стихийно выступавших в защиту своих прав. Был убит в стычке с правительственными войсками.



цены не было. Однако и он знал теперь достаточно, чтобы справиться с противником сильнее себя. Утомившись, они зашли в таверну, заказали по стаканчику, а Кот вытащил из кармана колоду карт, засаленных и обтрепанных. Богумил сказал, что сведения — надежные, тот, кого они ждали, придет непременно. Дело сулит большую выгоду, и Богумил предпочитает позвать их — «капитанов», чем каких-нибудь портовых подонков. Они, хоть и мальчишки, заткнут за пояс любого взрослого и к тому же умеют держать язык за зубами. Таверна была почти пуста: только за дальним столиком двое матросов с каботажного парусника пили пиво и тихо переговаривались. Кот бросил колоду на стол и предложил:

— Перекинемся?

— Да они хуже крапленых, — сказал Богумил. — Им лет сто...

— Доставай свои, если есть. Мне все равно.

— Ладно уж, сыграем.

Начали играть. Сначала счастье улыбалось Педро Пуле и Богумилу. Большой Жоан, который не принимал участия в игре — слишком хорошо было ему известно, какая у Кота колода, — только засверкал ослепительными зубами, когда Богумил сказал, что в день Шанго, его святого, ему обязательно повезет. Большой Жоан знал, что везенье его — ненадолго: когда Кот начнет чистить партнера, то уж на полдороге не остановится. Через некоторое время карта пошла Коту. Выиграв в первый раз, он сказал печально:

— Пора, давно пора. А то все мимо да мимо.

Большой Жоан заулыбался еще шире. Кот снова сорвал банк, и тогда Педро Пуля встал, сгреб свой выигрыш. Кот подозрительно взглянул на него:

— Больше не ставишь?

— Пока нет. Пойду облегчусь, — и направился в глубь бара.

Богумил продолжал проигрывать. Большой Жоан хотел, а капоэйрист хмурился. Вернувшись, Педро Пуля играть не стал, а уселся рядом с Жоаном и тоже засмеялся: Богумил уже успел спустить все, что раньше выиграл.

— Сейчас полезет в заглашник, — шепнул Жоан.

— Ну, все, теперь проиграю, — сказал Кот.

Но тут он заметил, что вернулся Педро.

— Неужели не рискнешь? Ставь на даму.

— Да ну, надоело,— ответил тот и подмигнул Коту, прося его уgomониться и не потрошить Богумила.

Капозйрист поставил пять мильрейсов, но выиграть ему удалось лишь дважды. Он заподозрил неладное. Кот открыл карты: король и семерка.

— Чем отвечаешь? — спросил он.

Никто ничем не ответил,— даже Богумил, который поглядывал на колоду все с большим недоверием.

— Ты, может, думаешь, я мухлюю? — сказал Кот.— Можешь проверить: чистая игра.

Большой Жоан заржал во всю глотку. Педро Пуля и Богумил тоже засмеялись. Кот метнул на Жоана гневный взгляд:

— Чего гогочешь, дубина? Ты меня поймал хоть раз?..

Он не договорил, потому что морячки, давно уже наблюдавшие за ними, встали и подошли к их столу. Тот, что был ниже ростом и казался попьаней, обратился к Богумилу:

— А нам нельзя ли с вами?..

— Вот он банкует,— показал тот на Кота.

Матросы недоверчиво воззрились на мальчишку, потом низенький толкнул своего товарища локтем и что-то шепнул ему на ухо. Кот, смеясь в душе, знал, что он шепнул: соглашайся, мол, обчистить такого юнца — плевое дело. Морячки присели к столу, и, к удивлению Богумила, желание принять участие в игре изъявил и Педро Пуля. А Большой Жоан, напротив, не только не удивился, но и сам придвинулся поближе; он знал: для того, чтобы все выглядело правдоподобно, проигрывать придется и кому-нибудь из них. В точности так, как это было с Богумилом, к морякам поначалу повалила карта, однако продолжалось это недолго,— Кот выиграл у всех четверых. Педро Пуля после каждой взятки приговаривал:

— Вот везет этому Коту, вот везет!..

— Зато если уж не заладится, так тоже на всю ночь,— ответил Большой Жоан, и после этих слов матросы поверили, что игра ведется честная, а счастье переменчиво. И они продолжали играть и проигрывать. Низенький все повторял:

— Ничего, ничего, повезет и нам!

Второй матрос — с усиками — помалкивал и все повышал ставки. Удваивал и Педро Пуля. Через некоторое время матрос повернулся к Коту:

— Банк примет пять мильрейсов?

Кот, изображая нерешительность и раздумье — товарищи его знали, что ни того, ни другого не было и в помине, — почесал в затылке, взъерошил волосы, густо намаженные дешевым брильянтином.

— Ладно. Приму. Дам тебе шанс переломить судьбу.

Усатый поставил пять мильрейсов. Низенький — три. Оба пошли с туза против валета. Педро и Жоан тоже. Кот начал сдавать. Первой выпала девятка. Низенький забарабанил пальцами по столу, второй матрос щипал усики. Потом выпала двойка.

— Теперь — туз. За двойкой всегда идет туз, — и сильнее забарабанил по столу.

Но Кот выбросил семерку, потом десятку, а потом пришел валет. Кот придвинул к себе выигрыш, а Педро Пуля, сделав вид, что огорчен и раздосадован донельзя, сказал:

— Ладно же, завтра я тебя обдеру.

Низенький матрос сообщил, что он — пустой. Усатый пошарил в карманах:

— Вот. Только-только за пиво расплатиться. Мальчишке и вправду везет чертовски.

Они встали, кивнули на прощанье, заплатили за пиво. Кот пригласил их заглядывать в таверну в свободную минутку, но низенький ответил, что их судно ночью снимается с якоря, идет в Каравелас. Вот вернутся, тогда придут отыгрываться. И моряки, поддерживая друг друга и кляня невезенье, вышли.

Кот подсчитал выигрыш: тридцать восемь мильрейсов, не считая того, что просадили Педро и Жоан. Кот отдал деньги товарищам, потом на минуту задумался, сунул руку в карман, вытащил пять мильрейсов, отдал их Богумилу:

— Держи, игрок... Не хочу на тебе наживать: я передергивал...

Богумил поцеловал кредитку, хлопнул Кота по спине:

— Далеко пойдешь, парень. У тебя не пальцы, а чистое золото: они принесут тебе счастье.

Солнце садилось, а тот, с кем они условились встретиться, все не приходил. Заказали еще по рюмке. На заходе солнца ветер с моря стал задуть сильнее. Богумил явно терял терпение, курил одну сигарету за другой. Педро Пуля не отрываясь смотрел на дверь. Кот раскладывал выигрыш на три равные доли.

— Интересно, выгорело ли у Безногого дело со шляпами? — спросил Большой Жоан.

Никто не ответил. Ясно было: клиент не придет. Кто-то наврал или перепутал. Смолкла песня, долетавшая с моря. Опустилась таверна, и сеу Фелипе задремал, сидя у стойки. Но совсем скоро сюда набьется народ, и тогда поговорить о деле не удастся: их гость избегает людных мест, боится, что его узнают. Зачем ему это? Да и «капитанам» тоже? Кот не знал, о чем пойдет у них речь, а Педро и Большой Жоан знали только то, что сказал им Богумил: это дело предложили ему, а он посвятил в него «капитанов», но все подробности обещал сообщить им сам клиент, назначивший им эту встречу в «Воротах». Но уже шесть часов, а его все нет. Вместо него в ту минуту, когда они уже собрались уходить, пришел посредник. Он сказал, что клиент не смог освободиться и теперь будет ждать Богумила у себя, к часу ночи. Богумил ответил, что в это время занят, вместо него на свидание отправятся эти мальчишки. Посредник недоверчиво оглядел всех троих.

— Неужто не слышали о «капитанах песка»? — спросил Богумил.

— Слышать-то слышал...

— Так или иначе, делать дело будут они. Пусть они и сходят...

Посредник вроде бы удовлетворился этим объяснением. Назначили час встречи и разошлись: Богумил отправился на корабль, «капитаны» — в пакгауз, а посредник исчез на набережной.

Безногий еще не возвращался. Пакгауз был пуст: должно быть, все разбрелись по городу, промышляли себе на ужин. Трое приятелей не стали их дожидаться, отправились перекусить в дешевой харчевне на рынке. В дверях развеселившийся от удачной игры Кот хотел свалить Педро подсечкой, но тот ловко увернулся и сшиб нападавшего:

— Дурень, это ж мой коронный прием!

В ресторанчик они ввалились с шумом. Старик официант подошел к ним с опаской: он знал, что такие посетители предпочитают удрать не заплатив, а этот паренек со шрамом на щеке — самый отпетый из всех. Хотя за каждым столом ужинали, старик сказал:

— Ничего нет. Все кончилось.

— Не заливай, папаша, Мы жрать хотим, — ответил Педро.

Большой Жоан стукнул кулаком по столу:

— Разнесу твой кабак по бревнышку!

Официант продолжал мяться в нерешительности. Тогда Кот швырнул на стол деньги:

— Сегодня мы платим.

Это подействовало. Старик принес им сарапател<sup>1</sup>, а потом — блюдо с фейжоадой<sup>2</sup>. Расплачивался Кот. Поужинав, Жоан сказал, что им пора идти в Бротас; путь неблизкий, а добираться к тому же придется на своих на двоих.

— Да, на «колбасе» сегодня не поедим, — согласился Педро. — Не надо никому глаза мозолить.

Кот сказал, что придет попозже и сам их отыщет: он хотел предупредить Далву, что сегодня не явится.

И вот теперь, затаившись в подворотне, они молча ждут, когда же полицейский сдвинется с места. Слышно, как рассекают воздух крылья летучих мышей — идет охота на лягушек. Полицейский наконец уходит, и «капитаны» провожают его глазами, пока он не заворачивает за угол. Тогда они, перебежав улицу, ныряют в узкий проход между домами и снова замирают, неподвижно распластавшись в дверном проеме. Но вот подъезжает машина, и появляется тот, кого они ждут. Он расплачивается с шофером и шагает вверх по переулку: слышен только звук его шагов да шелест листвы, сотрясаемой ветром. Педро Пуля выходит ему навстречу, а чуть погодя — и двое других, они держатся на полшага сзади, как телохранители. Человек отпатывается к стене. Педро идет прямо на него, и, подойдя вплотную, спрашивает:

— Не найдется ли у вас огоньку? — В пальцах у него зажата потухшая сигарета.

Человек молча достает из кармана коробок спичек, протягивает Педро. Педро прикуривает и при свете спички разглядывает его лицо. Потом возвращает коробок.

— Вас зовут Жоэл?

— Зачем тебе знать, как меня зовут?

— Мы от Богумила.

Большой Жоан и Кот подходят поближе. Человек окидывает их тревожным взглядом:

---

<sup>1</sup> Сарапател — блюдо из свиной крови и ливера.

<sup>2</sup> Фейжоада — блюдо из фасоли и вяленого мяса.

— Что-то маловаты вы для такого дела. Мне взрослые нужны...

— Все будет в лучшем виде. Мы не подведем. Что надо делать? — спросил Педро.

— Да тут не всякий взрослый...— И тут он зажимает себе рот, боясь выболтать лишнее.

— Мы умеем хранить тайну. Могила! Если «капитаны песка» за что-нибудь берутся, значит, можете быть спокойны...

— «Капитаны»? Так это про вас пишут в газетах? Вы и есть — беспризорные дети?

— Мы самые, сеньор. В нашей шайке мы — главные. Человек о чем-то раздумывает.

— Я бы, конечно, предпочел иметь дело со взрослыми,— решается он наконец.— Но время не ждет: все надо провернуть сегодня ночью. Ладно...

— Увидите, как мы умеем работать. Будьте спокойны.

— Ладно. Идите за мной, только держитесь в нескольких шагах.

Трое послушно двинулись следом. Мужчина останавливается у ворот, отпирает замок, входит. Огромный пес бросается к нему, лижет ему руки. Впустив «капитанов», мужчина ведет их через обсаженный деревьями двор к дому. Они входят в комнату, мужчина сбрасывает на стул плащ и шляпу, усаживается. Трое стоят посреди комнаты. «Садитесь»,— жестом предлагает хозяин, но Педро и Большой Жоан боязливо поглядывают на широкие удобные сиденья. Только Кот вальяжно устраивается в кресле. После повторного приглашения садятся и двое остальных, Жоан — на самый краешек, точно боясь испачкать обивку. Хозяин смотрит на них, едва удерживаясь от смеха. Потом вдруг порывисто поднимается на ноги и говорит, обращаясь к Педро, в котором признал жоака:

— Дело, которое я вам поручу,— и легкое и сложное. А самое главное — держать язык за зубами.

— Мы не проболтаемся,— отвечает тот.

Хозяин смотрит на карманные часы:

— Четверть второго. Раньше половины третьего он не вернется...— Во взгляде, которым он окидывает мальчишек, все еще сквозит легкая растерянность.

— Времени мало,— говорит Педро Пуля,— Чтобы поспеть, нам надо выйти сейчас.

Хозяин наконец решает:

— Третья улица отсюда. Предпоследний дом справа. Будьте осторожны, на ночь там спускают собаку — и забастую.

— Нет ли у вас кусочка мяса? — прерывает его Большой Жоан.

— Зачем тебе?

— Не мне, а собаке. Небольшой кусочек.

— Сейчас поищу.— И снова оглядывает троицу, словно спрашивает себя, не зря ли доверился он этим мальчишкам.— Итак, войдете. Рядом с кухней, над гаражом,— комната слуги. Его самого там не должно быть: он ждет хозяина в доме. Вот в эту комнату вы и должны проникнуть. Надо отыскать там вот такой сверток, точно такой.— Он достает из кармана плаща маленький пакетик, перевязанный розовой ленточкой.— Точно такой. Может его и не окажется в комнате, может, слуга носит его при себе. В этом случае — все. Ничего не попишешь.— На секунду лицо его искажается гримасой отчаяния.— Эх, если бы я сам мог... Да нет, конечно, он в комнате. А если нет?! — И он закрывает лицо руками.

— Можно будет принести пакетик, даже если он у слуги в кармане...— говорит Педро.

— Нет. Самое главное: никто не должен знать о краже. Ваше дело — подменить сверток.

— Ну, а если в комнате мы его не найдем?

— Тогда...— Лицо мужчины снова искажается гримасой; Жоану кажется, что губы его шевельнулись, произнесли какое-то имя, вроде «Элиза». А может, и нет: Жоан иногда слышит и видит то, чего никто больше не видит и не слышит. Негр любит приврать.

— Тогда мы все равно подменим свертки, будьте покойны. Вы не знаете «капитанов»!

Как ни велико отчаяние этого человека, бравада Педро смешит его, он улыбается.

— Ну что ж, ступайте. Постарайтесь управиться до двух часов. Возвращайтесь сюда, только смотрите, чтоб никто вас не заметил. Я буду ждать. Тогда и сочтемся. Но вот что я вам хочу сказать: если вас схватят, меня в это дело не впутывайте. Я вам ничем не помогу, мое имя не должно даже упоминаться. Если накроют,— уничтожьте сверток, а обо мне забудьте. На карту поставлено все.

— В таком случае,— говорит Педро,— давайте договоримся о цене сейчас. Сколько вы нам даете?

— Сотню. По тридцати на брата и еще десятку сверху — тебе.

Кот ерзает в кресле, но Педро не дает ему произнести ни слова.

— Нет, сеньор. По пятидесяти. Вы и так внакладе не останетесь. Полторы сотни — или мы отказываемся.

Хозяин колебался недолго. Взглянув на циферблат, по которому бежит секундная стрелка, он соглашается.

— Ладно.

Тут вмешивается Кот:

— Вот какое дело, сеньор... Не подумайте, что мы вам не доверяем, но мы ведь можем погореть, а вы сами сказали, что помогать нам не станете...

— Ну и что?

— Так нельзя ли задаточек? Это было бы по совести.

Большой Жоан одобрительно кивает Коту.

— Да, это было бы по совести. Мало ли что может случиться, где мы вас будем искать?— говорит Педро.

— Верно.— Хозяин вытаскивает из бумажника кредитку в сто мильрейсов, протягивает ее Педро.

— Ну, а теперь ступайте. Пора.

Уже в дверях Педро сказал:

— Не беспокойтесь. Через час получите ваш пакет.

Перед домом (улица совершенно пустынна, в окошке горит свет и мелькает взад-вперед силуэт женщины), Большой Жоан хлопает себя по лбу:

— Мясо-то я забыл!

Педро глядит на освещенное окно, поворачивается к друзьям:

— Я все понял. Тут любовная история. Наш клиент соблазнил здешнюю девицу, а слуга перехватил письма, которые они писали друг другу. Теперь он хочет поднять шум. От сверточка пахнет духами, значит, и от другого должно пахнуть.

Жестом приказав Коту и Жоану ждать на противоположном тротуаре, он подходит к воротам дома. Не успел прикоснуться к створке, как с лаем появился большой пес. Педро привязывает к щеколде шнурок, а пес, рыча, носится из стороны в сторону. Педро зовет друзей.

— Ты,— говорит он Коту,— стой тут, на стреме. Жоан, пойдешь со мной.



Они влезают на решетчатую ограду, Педро тянет за шнурок, и калитка открывается. Кот отходит за угол. Собака кидается в открытую калитку, выскакивает на улицу, с грохотом катает пустую консервную банку. Педро и Жоан перемахивают через стену, захлопывают калитку, чтобы собака не могла вернуться, и идут к дому через сад. Женщина в окне все ходит взад-вперед.

— Жалко ее, — шепнул Жоан.

— Никто ее не заставлял изменять мужу.

Возле дома негр останавливается: если Кот условным свистом подаст сигнал опасности, он предупредит Педро, который подходит к кухне, оглядая дом. Двери на кухню и в комнату прислуги открыты, но прежде, чем подняться, Педро заглядывает на кухню. За столом какой-то мужчина раскладывает пасьянс. «Это, наверно, и есть тот слуга», — соображает Педро и, шагая через четыре ступеньки, взлетает по лестнице. В комнате темно. Педро притворяет за собой дверь, чиркает спичкой. Кровать, чемодан, вешалка на стене. Спичка догорает, но Педро уже роется в простынях. Ничего! Под матрацем тоже пусто. Педро берется за чемодан: приподнимает крышку, зажигает еще одну спичку, которую держал в зубах, осторожно перебирает пожитки слуги. Ничего. Тут он спохватывается, что слуга, может быть, не курит, и, загасив огонек, прячет спичку в карман. В карманах висящей на распялке одежды — пусто. Еще одна спичка. Педро оглядывает комнату.

— Ясное дело, он носит их с собой. Больше им негде быть.

Он выходит из комнаты, спускается по лестнице. Замирает в дверях кухни, где по-прежнему сидит за столом слуга. Только теперь замечает Педро, что под ногами у него — сверток. «Все пропало», — думает Педро. Как вытащить письма? Он идет навстречу Большому Жоану. Напасть на слугу? Начнется свалка, крик, шум, все узнают о пропаже. Нельзя. И тут его осеняет: он свистом подзывает Жоана, и тот появляется рядом.

— Слушай, — приглушенно говорит Педро, — слуга сидит на свертке. Сбегай ко входной двери, нажми звонок, а когда он пойдет открывать, я сверточек уведу. Только как позвонишь — дуй оттуда вовсю, чтоб он тебя не заметил и подумал: почудилось. Только выжди немного, я должен вернуться к кухне.

И он бежит обратно. Через минуту раздается звонок. Слуга торопливо поднимается, застегивает пиджак и, зажигая по дороге свет во всех комнатах, бежит открывать. Педро врывается в кухню, подменяет свертки и, перескочив через забор, свистит Коту и Жоану. Кот тут как тут, а Жоан исчез. Они высматривают его в темноте, но негра нет. Педро начинает тревожиться: может быть, слуге удалось спастись Жоана и он сейчас вытряхивает из него душу? Но ведь все тихо...

— Еще подождем немножко. Не придет — вернемся в дом.

Они снова посвистывают, но ответа не получают. Педро Пуля принимает решение:

— Пошли в дом.

В эту минуту слышится условный свист, а вскоре перед ними вырастает фигура Жоана.

— Где тебя носило? — спрашивает Педро.

Кот, ухватив собаку за ошейник, вталкивает ее за ворота. Они отвязывают шнурок от щекотки и исчезают в конце улицы. Тут Жоан начинает рассказывать:

— Только я притронулся к звонку, эта сеньора наверху перепугалась. Распахнула окно, перегнулась, я уже подумал: сейчас выкинется. И плачет все время. Ну, мне жалко ее стало, я и влез по трубе, чтоб сказать: не из-за чего больше плакать, письмишки-то мы свистнули. Ну, а в двух словах всего не объяснишь, вот и припоздал малость.

С неподдельным любопытством Кот спрашивает:

— Хороша?

— Хорошая. Погладила меня по голове, спасибо, говорит, помоги тебе бог...

— Что ж ты за дурень, Жоан? Я спрашиваю, хороша ли она для этого дела, какие ножки...

Негр не отвечает. На улицу въезжает машина. Педро Пуля хлопает Жоана по плечу, и негр знает: атаман одобряет его поступок. Лицо его расплывается в довольной улыбке:

— Дорого бы я дал, чтобы увидеть, какая рожа будет у этого португальца, когда его хозяин развернет пакет. А там — фига.

И, уже свернув за угол, все трое начинают хохотать — вольный, громкий, неумолчный смех «капитанов» звучит как гимн народа Баии.

Она называлась «Большая Японская Карусель», хотя размерами не поражала и ничего японского в ней не было. Карусель как карусель: уныло странствовала из города в город по баиянскому захолустью в те зимние месяцы, когда льют затяжные дожди, а рождество, кажется, вовсе не наступит. В былые времена ярко выкрасили ее в два цвета — красный и синий, но красный превратился теперь в бледно-розовый, синий — в грязновато-белый, а лошадки лишились кто головы, кто ноги, кто хвоста. Потому дядюшка Франса и решил обосноваться не на одной из центральных площадей Баии, а в Итапажипе: народ там победнее, целые улицы сплошь заселены рабочим людом, детишки рады будут и такой забаве — облупленной и обветшавшей. Брезентовый верх давно прохудился, а теперь зияла там здоровенная дыра, так что в дождь карусель не работала. Кинули в прошлое те времена, когда была она красивой, когда гордились ею все ребята Масейо, когда на площади было у нее свое постоянное место рядом с «чертовым колесом» и театром теней, когда по воскресеньям приходили мальчики в матросских костюмчиках и девочки, одетые голландскими крестьянками или в платьицах тонкого шелка: те, кто постарше, садились верхом, маленькие вместе с боннами катались в лодочках. Отцы отправлялись на «чертово колесо» или в театр теней, где всегда можно было потискать или ущипнуть зазевавшуюся зрительницу. В те времена увеселительный аттракцион дядюшки Франсы и вправду веселил весь город, и карусель, сияя разноцветными огнями, крутилась без остановки и приносила своему хозяину немалый доход. Жизнь была прекрасна, женщины — неотразимы, мужчины — приветливы, а стоило лишь опрокинуть рюмочку, как женщины делались еще краше, мужчины — еще дружелюбнее. Так вот и пропил он сначала «чертово колесо», а потом и театр теней. Расставаться же со своей любимицей ему не захотелось, и потому однажды ночью он с помощью друзей разобрал карусель и пустился странствовать по городам Алагоаса и Сержипе, а вдогонку за ним полетела отборная брань кредиторов. Немало мест сменил он; вдоволь наездился по дорогам двух сопредельных штатов, побывал во всех городах, выпивал во всех барах и тавернах, прежде чем пересек границу Баии. Тут, в сертанах, в крошечном городишке карусель его послужила для увеселения банды знаменитого

Лампиана. Дядюшка Франса завяз в этом городке безнадежно, — не было денег на дорогу, и не только на дорогу: нечем было расплатиться за номер в единственной убогой гостинице; не на что было выпить рюмку кашасы или хотя бы кружку пива. Пиво, кстати, всегда подавали теплое, но он и от такого бы не отказался. Дядюшка Франса ждал субботнего вечера, надеясь поправить дела и перекочевать в какое-нибудь место повеселее, как вдруг в пятницу в городок нагрянул Лампиан с двадцатью двумя бандитами. С этой минуты карусель без дела больше не простаивала. Матерые душегубы — у каждого на совести было по двадцать — тридцать человеческих жизней — обрадовались карусели, как малые дети, и поняли, что нет большего счастья, чем в сиянии огней, под дребезжащие звуки дряхлой пианолы взобраться на спины покалеченных деревянных лошадок. Карусель дядюшки Франсы спасла городок от разграбления, девиц — от бесчестья, а мужчин — от смерти. Что же касается двоих полицейских, что чистили сапоги у входа в караулку и были застрелены наповал, то ведь бандиты сначала увидели их, а потом уже карусель. Быть может, попадись они на глаза Лампиану чуть позже, он пощадил бы и их, чтоб не омрачать счастья своих молодцов. Разбойники, выросшие в глухих деревнях и никогда в жизни не видевшие карусели, предались чистой детской радости и ни за что не хотели слезать с деревянных лошадок, бежавших по кругу под музыку пианолы и мелькание разноцветных огней — синих, желтых, зеленых, малиновых и ярко-алых, алых, как кровь, хлещущая из простреленной груди...

Вот эту историю дядюшка Франса и поведал Вертуну (тот был в восторге) и Безногому в тот вечер, когда, познакомившись с ними в таверне «Ворота в море», спросил, не смогут ли они помогать ему в течение тех нескольких дней, что он намеревается провести в Баии, на Итапажипе. Твердого жалованья он им, конечно, положить не может, но если дела пойдут хорошо, по пять мильрейсов в вечер они получать будут. Когда же Вертун показал ему, как он изображает разных зверей, дядюшка Франса воодушевился, заказал еще графин пива и принялся распределять обязанности. Вертун будет зазывать публику, Безногий — помогать ему управляться с машиной и следить за пианолой. Он же будет продавать билеты во время остановок карусели, а Вертун — на ходу. «Один сходит пропустит рюмочку, а другой поработает за

двоих,— добавил дядюшка, подмигивая,— потом наоборот».

С такой готовностью Вертун и Безногий не хватались еще ни за одну идею. Они, разумеется, много раз видели карусель, но всегда — издали, она была окутана завесой тайны, и катались на ней только маменькины сынки, чистюли и плаксы. Вертуну однажды удалось проникнуть в луна-парк на Пасейо-Публико, он даже купил билет на карусель, но тут сторож выгнал его вон, потому что он был в лохмотьях. Билетер не хотел возвращать ему деньги за билет, и Безногому пришлось запустить обе руки в открытый ящик с мелочью, а потом нестись во весь дух под крики «держи вора!». Поднялась невероятная суматоха, а Безногий преспокойно спустился по Гамбоа-де-Сима, унося в кармане добычу, по крайней мере впятеро превышавшую стоимость билета. Но предпочел бы он, конечно, прокатиться на волшебном коне с драконьей головой, который из всех чудес карусели казался ему самым первым и главным. С тех пор он еще сильнее возненавидел сторожей и еще крепче полюбил недосыгаемую карусель. И вот теперь откуда ни возьмись появляется человек, угощает пивом и предлагает несколько дней пробыть совсем рядом с самой настоящей каруселью, кататься сколько влезет, садиться на любую лошадь, разглядеть вблизи вертящиеся разноцветные фонарики. И в глазах Безногого дядюшка Франса был не жалкий пьянчуга за столом таверны, а всемогущее существо, вроде того господина, которому молился Леденчик, или Шанго<sup>1</sup>, которого так чтили Большой Жоан и Богумил. Ни падре Жозе Педро, ни «мать святого» донна Анинья не могут совершить такое чудо. Темной баиянской ночью на площади Итапажибе по воле Безногого, по мановению его руки бешено завертятся разноцветные огоньки. Может, это сон? Но как непохож он на то, что обычно снится ему беспросветными ночами!.. Слезы выступили у него на глазах, и впервые в жизни плакал он не от боли, не от ярости и сквозь пелену слез смотрел на дядюшку Франса благоговейно. Скажи тот хоть слово — и Безногий, выхватив нож, который носил за поясом, под старым пиджаком, выпустил бы кишки кому угодно...

— Красота,— произнес Педро Пуля, поглядев на карусель. И Большой Жоан смотрел на нее во все глаза.

---

<sup>1</sup> Шанго — верховное божество афро-бразильского культа.

Синие, зеленые, желтые, красные лампочки были уже подвешены.

Да, конечно, старая и обшарпанная карусель дядюшки Франса все еще красива, и есть своя прелесть в разноцветных фонариках, в старой пианоле, играющей давно забытые вальсы, в деревянных скакунах и утках-лодочках для самых маленьких. «Капитаны» единодушно сошлись на том, что карусель — замечательная. И кому какое дело, что она ветхая и часто ломается, что краски ее выцвели? Карусель приносит радость.

Все остолбенели от удивления, когда Безногий, вернувшись вечером в пакгауз, сообщил, что они с Вертуном будут работать на карусели. Многие не поверили, решив, что Безногий, как всегда, издевается над ними. Спросили Вертуна, который, по обыкновению молча, прошел в свой угол и стал изучать украденный в оружейном магазине револьвер. Вертун кивнул, подтверждая, и сказал:

— На ней катался Лампиан. Лампиан — мой крестный.

Безногий пригласил всех завтра же вечером, когда карусель установят и наладят, прийти полюбоваться на нее, после чего ушел: у него была назначена встреча с дядюшкой Франса. И не было среди мальчишек такого, чье сердце не заколотилось бы в эту минуту от зависти. Завидовали счастью Безногого все — даже Леденчик, оклеивший всю стену изображениями святых, даже Большой Жоан, которого Богумил обещал сводить сегодня на кандомбле Прокопио, в Матату, даже Профессор, не представлявший себе жизни без книг, и, быть может, даже Педро Пуля, никогда никому не завидовавший, Педро Пуля — вожак «капитанов». Завидовали Безногому, завидовали Вертуну, который, взъерошив свои негустые курчавые волосы, зажмурив один глаз, закусив губу, скроив, как полагается, зверскую рожу, навел свой револьвер то на соседей, то на шмыгнувшую мимо крысу, то на сиявшее бесчисленными звездами небо.

Вечером следующего дня все во главе с Безногим и Вертуном (они целый день провозились с каруселью, помогая устанавливать ее) отправились на площадь. Увидев это чудо, «капитаны» застыли от восторга с открытыми ртами. Безногий давал объяснения. Вертун показал каждому того коня, на котором скакал когда-то его крестный отец Виргулино Феррейра Лампиан. Чуть не сотня

мальчишек разглядывала карусель, а ее владелец дядюшка Франса тем временем принимал деятельное участие в беспшабашной попойке, происходившей в таверне.

Безногий с таким видом, словно все это принадлежало ему, демонстрировал устройство мотора (мотор, по правде говоря, был слабосильный и изношенный). Вертун не отходил от лошадки, носившей на спине Лампиана. Безногий строго следил, чтобы никто ничего не смел трогать и никуда не лазил.

— А ты умеешь запускать мотор? — спросил вдруг Профессор.

— Пока нет, — отвечал тот, скрывая досаду. — Завтра дядюшка Франса покажет как и что.

— Ну, тогда завтра, после закрытия, и покатаешь нас всех.

Педро Пуля поддержал его. Остальные напряженно ждали ответа. Безногий согласился, и все захлопали в ладоши, завопили от восторга. В эту минуту Вертун отошел наконец от Лампианова коня:

— Хотите, покажу одну штуку?

Он взобрался на карусель, дернул шнурок пианолы, и полилась мелодия старинного вальса. Сумрачное лицо сертанца осветилось улыбкой. Он поглядывал то на пианолу, то на своих товарищей, которые благоговейно слушали музыку, доносившуюся откуда-то из самого чрева карусели. В эту таинственную баийскую ночь она звучала только для них — для нищих и отважных «капитанов». Никто не проронил ни слова. Проходивший мимо работяга, увидев толпу мальчишек на площади, подошел поближе и тоже застыл — заслушался. На небо выплыла луна, озарила всех своим светом, ярче заблистали звезды, стих рокот моря, словно и Иеманжа хотела насладиться музыкой без помехи. В ту минуту город показался «капитанам» огромной каруселью, на которой неслись они, вскочив на невидимых скакунов. В ту минуту Баия принадлежала им безраздельно, и они испытывали друг к другу братскую нежность: музыка сторичей вознаграждала их всех, не знавших ни дома, ни тепла, лишенных ласки. Вертун забыл о Лампиане. Педро Пуля перестал мечтать, как станет он предводителем всех воровских шаек Баии. Безногому не хотелось броситься в море, спасаясь от тяжких снов. Музыка, лившаяся из чрева карусели, — всеми позабытый, старинный

и печальный вальс — предназначалась только бездомным мальчишкам Баии,— им одним, да еще случайному прохожему.

Отовсюду стекаются на площадь люди. Сегодня суббота, на работу завтра не идти, можно подольше побыть на улице. Многие предпочли бы заглянуть в бар, посидеть в таверне, но дети тянут их на скупо освещенную площадь. Ярко горят разноцветные фонарики карусели. Дети глядят на них, хлопают в ладоши. Перед кассой Вертун то рычит, то воет, подражая разным зверям, зовет публику. По сертанскому обычаю на груди у него патронташ: дядюшка Франса решил, что это привлечет всеобщее внимание, и выглядит Вертун как самый настоящий кангасейро: на голове — кожаная шляпа, через плечо — патронташ. Он подражает голосам зверей, пока перед ним не собирается толпа мужчин, женщин и детей. Вертун продает билеты, и идут они нарасхват. Веселье охватывает всю площадь, от разноцветных огней карусели радостно становится на душе. Безногий, присев на корточки, помогает дядюшке Франса запустить мотор. Карусель, облепленная детворой, плавно набирает ход, пианола играет старинные вальсы. Вертун продает билеты.

По площади прогуливаются парочки. Матери семейства покупают мороженое и сладкую вату; поэт, спустившись к морю, сочиняет стихи об огнях карусели и о радости детей. Свет разноцветных фонариков освещает площадь, озаряет души. Все больше людей вышлекивается из улиц и переулков. Вертун, одетый кангасейро, подражает крику зверей. Когда карусель останавливается, к нему кидается за билетами целая толпа детей. Если кому-нибудь не хватило места, бедняга, чуть не плача от разочарования, нетерпеливо ждет своей очереди. Бывает, что, прокатившись, дети не хотят слезать, и тогда появляется Безногий:

— А ну-ка вали отсюда! Слазы! Хочешь второй круг — покупай билет!

Только после этого спрыгивают ребяташки с седел старых коней, не знающих усталости. Их место занимают другие, скачка начинается сначала, вертящиеся разноцветные огни сливаются в одно диковинное радужное пятно, пианола продолжает играть свои старинные мелодии. Влюбленные садятся в лодочки, шепчут друг другу нежные слова, а если мотор вдруг начинает барахлить и



Фонарики гаснут — украдкой целуются. Дядюшка Франса и Безногий склоняются над мотором, колдуют над ним, устраняют неисправность, и карусель, заглушая дружный протестующий вопль, снова приходит в движение. Безногий уже овладел всеми премудростями.

Время от времени дядюшка Франса посылает его сменить Вертуну, чтоб и тот мог прокатиться. Вертун неизменно выбирает себе скакуна, служившего Лампиану, и прищипривает его на скаку, точно под ним и впрямь настоящий жеребец, и нажимает пальцем на спуск воображаемого револьвера, целясь в скачущих впереди, и видит, как, обливаясь кровью, вылетают они из седел от его метких выстрелов... Конь несется все стремительней, Вертун убивает всех, ибо все вокруг него — солдаты или богачи-фазендейро. Верхом на коне, с винтовкой в руке, он грабит города и деревни, похищает женщин, останавливает поезда.

Потом снова появляется Безногий. Он молчит, им овладевает непонятное волнение. Бледный, хромя сильней обычного, он идет, как верующий — на мессу, как влюбленный — на желанное свиданье, как самоубийца — навстречу смерти. Безногий садится на синего коня с намалеванными на крупе звездами, губы его плотно сжаты. Он не слышит музыки: он только видит мелькающие огни. Ему кажется, что он катается на карусели, как все остальные дети, что и у него тоже есть отец с матерью, есть родной дом, что его тоже целуют и любят. Он — такой же, как все, и, чтобы не исчезла эта уверенность, Безногий крепче зажмуривается, и бесследно исчезают жестокие солдаты, смеющийся человек в жилете: Вертун застрелил их на всем скаку. Безногий выпрямляется в седле: он несется над волнами к звездам, и такого чудесного путешествия даже Профессор не выдумает, не вычитает в книжке. Сердце его колотится так сильно, что он невольно прижимает к груди ладонь.

В эту ночь «капитаны» кататься не пришли. Во-первых, слишком поздно остановилась наконец карусель (в два часа ночи она еще крутилась), а во-вторых, у многих, в том числе у Педро Пули, Долдона, Барандана и Профессора, нашлись неотложные дела. Решили идти на следующий день, часа в три-четыре. Педро спросил у Безногого, научился ли тот управлять каруселью.

— А то вдруг поломаешь там чего-нибудь... Жалко будет твоего хозяина.

— Да я эту механику как свои пять пальцев знаю. Запустить — плевое дело.

— Может, там и придумаем чего-нибудь? — спросил Профессор.

— Ясное дело, — ответил Педро. — Но думаю, что всем скопом являться не надо: увидят такую ораву — беды не оберешься.

Кот сказал, чтобы днем его не ждали: он будет занят, и как раз для того, чтобы к ночи освободиться.

— Дня прожить не можешь без своей клячи. Поберег бы здоровье, — поддел его Безногий.

Кот не удостоил его ответом. Большой Жоан тоже отказался: они с Богумилом собрались к доне Анинье на фейжоаду. Наконец договорились, что днем на площадь пойдет несколько человек — «работать», а остальные пусть промышляют где-нибудь еще. К ночи соберутся все и все вместе пойдут кататься на карусели. Безногий предупредил:

— Только надо будет бензину достать.

Профессор, который три раза подряд обыграл Большого Жоана в шашки, пустил шапку по кругу. Набрали денег на два литра.

Но в воскресенье в пакгауз пришел падре Жозе Педро — один из тех немногих, кто знал, где обитают «капитаны». Падре уже давно дружил с ними, а началось все с Долдона. Однажды он после мессы пробрался в ризницу той церкви, где служил падре Жозе Педро. Долдон залез туда больше из любопытства, чем с какой-нибудь определенной целью: он всегда плыл по течению и ни о чем не заботился. В шайке был он вроде прихлебателя: время от времени ему везло, и он срезал у прохожего часы или выносил что-нибудь ценное из квартиры, но услугами перекупщиков не пользовался — отдавал добычу Педро Пуле. Это был его вклад в общий котел. У него было множество приятелей и среди портовых грузчиков, и в бедных кварталах Сидаде-да-Палья, и по всему городу — там перехватит, тут урвет, — он был неприхотлив и никому не в тягость: довольствовался женщинами, которые надоедали Коту, и в совершенстве знал Баю — все ее улицы, закоулки, достопримечательности, знал, где и когда готовится праздник или пирушка и можно будет на даровщину выпить и потанцевать. Иногда он спохватывался, что давно уже не приносил в шайку денег, невероятным усилием побарывал свою

день, добывал что-нибудь, продавал и вручал деньги Педро Пуле. Но воровство было ему так же противно, как и всякий другой труд: он любил валяться на песке, глядя на входящие в гавань суда, и мог часами сидеть на корточках в воротах портовых складов, слушать разные побасенки. Ходил он вечно в лохмотьях и добывал себе новую одежду, только когда прежняя уже распоязалась в руках. Еще любил бродить по улицам, вымощенным черными плитами, посиживать с сигареткой на скамейке в городских парках, заходить в церкви, любоваться старинными золотыми вещами.

Вот и в то утро, увидев, что после мессы прихожане разошлись, он бездумно вошел в церковь, оглядел внутреннее убранство, алтарь, статуи святых, посмеялся над святым Бенедиктом, которого скульптор изобразил негром, потом залез в ризницу. Там никого не было, и Долдон сразу заметил какую-то штуковину из золота: должно быть, за нее отвалят немалые деньги. Он уже протянул руку, но тут кто-то дотронулся до его плеча. Это и был вошедший минуту назад падре Жозе Педро.

— Зачем ты сделал это, сын мой? — с улыбкой спросил он и, разжав пальцы Долдона, поставил золотую дарохранительницу на место.

— Вот ей-богу, ваше преподобие, просто посмотреть взял, — не ожидая для себя ничего хорошего, занял Долдон. — Неужто вы думаете — украсть хотел? Посмотрел и назад хотел поставить... Я из хорошей семьи.

Падре окинул взглядом его лохмотья и засмеялся.

— Отец у меня умер... А пока он жив был, я даже в школу ходил... Честное слово. Стал бы я красть такое... Да еще в церкви. Что я — нехристь какой?

Падре снова рассмеялся, прекрасно зная, что Долдон врет. Уже давно искал он способ завязать знакомство с бездомными детьми, считая заботу о них святой обязанностью. Он побывал и в исправительной колонии для несовершеннолетних, но там ему всячески ставили палки в колеса: он не разделял взглядов директора, что только каждодневным битьем можно наставить заблудшего на путь истинный. Да и в том, что понимать под словом «заблудший», они с директором сильно расходились во мнениях. Наслушавшись о подвигах «капитанов», Жозе Педро мечтал разыскать их, войти к ним в доверие и поста-

ратся привлечь их сердца к богу, помочь им исправиться. Поэтому он обошелся с Долдоном как можно лучше, надеясь с его помощью проникнуть в шайку. Все получилось так, как он хотел.

В церковных кругах считалось, что падре Жозе Педро умом не блещет. Среди бесчисленных священнослужителей Баии место его было с самого краю. Перед тем как поступить в семинарию, он пять лет проработал на ткацкой фабрике. Как-то раз фабрику эту посетил епископ. В разговоре с хозяином он посетовал, что все меньше становится тех, кто почувствовал бы в себе призвание к священнической деятельности. Хозяин, демонстрируя широту натуры, сказал, что готов заплатить за обучение в семинарии, буде найдутся желающие стать священником. Жозе Педро, стоявший возле своего станка и слышавший весь этот разговор, подошел поближе и сказал, что хочет учиться в семинарии. И хозяин и епископ были весьма удивлены его словами: Жозе Педро был уже далеко не юн и к тому же не получил никакого образования. Однако в присутствии епископа фабриканту неловко было идти на попятный. Так Жозе Педро поступил в семинарию. Учение давалось ему с большим трудом, ученики-малолетки постоянно издевались над ним. Способности у него были весьма средние, он брал усердием и усидчивостью и, кроме того, по-настоящему, искренне и истинно веровал в бога. Царившие в семинарии нравы были ему не по вкусу, товарищи попросту травили его, постичь тайны теологии, философии и латыни он так и не сумел. Но зато Жозе Педро был наделен добрым сердцем. Он мечтал о том, как будет наставлять в вере детей, обращать язычников-индейцев. Жилось ему тяжело, особенно после того, как по прошествии двух лет фабрикант перестал платить за него, и пришлось одновременно учиться и исполнять обязанности педеля. Тем не менее он прошел полный курс обучения и, ожидая, когда ему дадут собственный приход, стал священником в одной из столичных церквей. Однако заветной его мечтой оставалось обращение беспризорных детей-сирот, которые предавались всем возможным порокам и зарабатывали себе на жизнь воровством. Падре Жозе Педро хотел открыть свету истинной веры их души. Именно с этой целью начал он посещать исправительную колонию. Первое время директор ее был сама любезность, но когда падре стал возражать против того, чтобы детей секли и по нескольку дней кряду морили голодом, отно-

шение к нему резко переменилось. К тому же он был вынужден написать обо всем, что видел, письмо в газету, и директор, запретив пускать его на порог, послал жалобу архиепископу. Из-за всех этих неприятностей ему и не спешили давать приход. Желание разыскать «капитанов» в нем не угасло. Беспризорные, сбившиеся с пути дети, до которых никому в целом свете не было дела, оставались его первой заботой. Он хотел сблизиться с ними не только для того, чтобы вернуть их в лоно церкви,— падре Жозе Педро мечтал хоть как-нибудь облегчить их положение. Священник не имел на них почти никакого влияния — да не «почти», а совсем никакого,— и поначалу не представлял себе, как завоевать их доверие. Зато он прекрасно знал, что они часто голодают, что помощи и сочувствия им ждать неоткуда, что они живут не зная ласки, и жизнь эта полна лишений и тягот. У падре ничего не было для них — ни одежды, чтобы согреть, ни еды, чтобы накормить, ни кроватей, чтоб уложить их спать по-людски,— ничего, кроме ласковых слов и огромной любви, переполнявшей его душу. Он все же допустил одну ошибку, когда предложил им сменить бесприютность и свободу на кров и пищу. Нет, конечно, речь шла не о колонии,— слишком хорошо были ему известны и правила ее внутреннего распорядка, и неписанные законы, царившие в ее стенах, чтобы хоть на минуту мог он поверить, что исправительное заведение превратит отпетых сорванцов в добрых и трудолюбивых людей. Падре решил действовать через богобоязненных старых дев: они, по его мнению, могли бы взять кое-кого из «капитанов» на воспитание или хотя бы кормить их досыта. Но мальчишкам в этом случае пришлось бы расстаться с единственной прелестью их беспутной жизни — с вольной чередой приключений на улицах самого таинственного и прекрасного города на свете, с Баией, с Бухтой Всех Святых. И падре, едва успев с помощью Долдона войти к «капитанам» в доверие, тотчас понял, что лучше об этом даже не заговаривать: мальчишки разбегутся из пакгауза, и он их больше никогда не увидит. А кроме того, старые святоши, целыми днями торчавшие в церкви, а между мессой и литанией без усталости перемывавшие косточки своим ближним, совсем не подходили для той роли, которую он им отводил. Падре вспомнил, как были они обескуражены и раздосадованы, когда после его первой проповеди несколько престарелых богомолков устремились за ним в

ризницу, чтобы помочь ему снять облачение, как они ахали и придыхали над ним:

— Ваше преподобие, какой вы хорошенький, в точности — архангел Гавриил, — а одна тощая старая дева, молитвенно сложив руки, благоговейно шептала:

— Иисусик, — и как возмутило его это обожаение, хоть он и знал, что все это — в порядке вещей, и многие священники, даже не думая возмущаться, принимают в дар от своей паствы и цыплят, и индюшек, и вышитые платочки, и старинные золотые часы — семейную реликвию, переходившую из поколения в поколение. Но у падре Жозе Педро были иные взгляды на миссию священнослужителя, и потому в полном сознании своей правоты он гневно набросился на своих прихожанок:

— Вам что, делать нечего? Вам мало хлопот по дому? Я не Иисусик и не архангел Гавриил! Ступайте домой! Работайте! Стряпайте! Шейте!

Старые девы глядели на него в ужасе, как на антихриста во плоти, а падре продолжал:

— Вы лучше послужите господу, если будете сидеть дома и трудиться, а не толкаться по ризницам! Ступайте прочь!

А когда они выбежали вон, прошептал скорее грустно, чем гневно:

— «Иисусик»... Поминают божье имя все.

Святоши напрямик направились к лысому, толстому и неизменно благодушному падре Кловису, у которого всегда предпочитали исповедоваться, и, перемежая рассказ горестными стонами, поведали ему о происшествии. Падре Кловис поглядел на них с состраданием и утешил:

— Поначалу со всеми так бывает... Пройдет. Скоро он поймет, что вы — безгрешны и праведны, истинные дочери господни. Не печальтесь. Все образуется. Прочитайте-ка «Отче наш» да не забудьте сегодня прийти к вечерне. — Он засмеялся им вслед, а потом пробурчал себе под нос: — Беда с этими юнцами, рукоположенными без года неделю... И сами не живут и другим не дают.

Прошло некоторое время, и святоши, оправившись от первоначального испуга, перестали избегать падре Жозе Педро, но подлинной, сердечной близости между ними так и не установилось. Он был очень серьезен, он обнаруживал свою доброту, только когда это становилось не-

обходимо, он как огня боялся неизбежных в церковном совете интриг, и потому его больше уважали, чем любили, хотя иные прихожанки, те, у которых мужья умерли, или те, кому с мужьями не повезло, подружились с ним. Было и еще одно обстоятельство, отвращавшее от нового падре души: господь отказал ему в даровании проповедника. Никогда не удавалось ему так живописать ужасы преисподней, как это делал падре Кловис, речь его была нескладной и простой, но зато сразу было видно, что он — верующий. А вот слушая падре Кловиса, трудно было сказать, верит ли тот хотя бы в загробную жизнь.

Так вот, поначалу Жозе Педро совершил ошибку, потому что решил свести «капитанов» со своими прихожанками, думая убить сразу двух зайцев: мальчишки будут сыты и обихожены, а никчемное существование богомолок обретет смысл. Падре Жозе Педро надеялся, что они станут заботиться о его подопечных так же ревностно и истово, как и о толстых клириках. Он догадывался, что пустопорожные разговоры и вышивание платков для падре Кловиса — всего лишь способ убить время, которое не на что и не на кого больше тратить: непомерно затянувшееся девичество лишило их мужа и детей. Вот он и даст им сыновей. Падре долго вынашивал этот план и в конце концов привел к одной своей прихожанке удравшего из колонии мальчишку, — было это еще до его знакомства с Долдоном. Опыт дал самые плачевные результаты: мальчишка вскоре убежал из дома, прихватив с собой фамильное серебро. Гораздо лучше, по его мнению, было ходить в лохмотьях, голодать и быть свободным как ветер, чем в нарядном костюмчике твердить нараспев молитвы и трижды в день томиться в церкви на мессе. Вскоре падре Жозе Педро понял, что провалился эксперимент из-за старой девы: совершенно невозможно превратить вороватого уличного мальчишку в церковного служку. А вот сделать из него честного человека очень даже возможно... И падре решил не оставлять своих стараний и попробовать еще раз, но теперь уж хорошенько все рассчитать. Долдон привел его в пакгауз, мало-помалу он завоевал доверие «капитанов», но тут же понял: о противоестественном союзе малолетних жуликов и богобоязненных старух нечего даже и думать. Ведь в душах этих мальчишек не было чувства сильнее свободы. Надо искать другие пути, решил падре.

Поначалу «капитаны» смотрели на него недоверчиво: каждый из них тысячу раз слышал, что тот, кто пошел в священники, ищет легкой жизни, что дело это — не для мужчины. Но падре Жозе Педро недаром был когда-то рабочим: он сумел найти с «капитанами» общий язык, обращаясь с ними как со взрослыми, как с равными, как с друзьями. И постепенно все они — даже те, кого воротило от молитв, как Педро Пулю или Профессора, — поверили ему и привязались к нему. Трудней всего было совладать с Безногим. Педро, Профессор и Кот попросту пропускали слова священника мимо ушей (Профессора, впрочем, он расположил к себе тем, что приносил ему книги); Леденчик, Вертун и Большой Жоан (особенно первый) очень внимательно слушали его; упорно не поддавался один только Безногий. Но в конце концов падре завоевал доверие шайки, а в Леденчике он сумел обнаружить дарование будущего священнослужителя.

Однако сегодня в пакгаузе почему-то не очень обрадовались его приходу. Леденчик, как всегда, поцеловал у падре руку, за ним подошел Вертун, все остальные молча поклонились.

— Сегодня хочу вас кое-куда пригласить, — сказал Жозе Педро.

Мальчишки насторожились. Безногий пробурчал себе под нос:

— К вечерне, должно быть. Нашел дурака... — и умолк, наткнувшись на сердитый взгляд Педро Пули.

Падре добродушно улыбнулся, присел на перевернутый ящик. Большой Жоан заметил, что сутана на нем поношенная и грязная, в нескольких местах заштопана черными нитками и к тому же великовата ему. Негр толкнул Педро локтем, который тоже внимательно разглядывал сутану, и тот сказал:

— Ребята, наш друг падре Жозе Педро кое-что принес нам. Ура!

Большой Жоан знал, что причина этих почестей — ветхая, заштопанная сутана, свободно болтавшаяся на костлявых плечах священника. Все закричали «ура!», Жозе Педро с улыбкой помахал «капитанам», а Большой Жоан никак не мог отвести глаз от сутаны: вот человек Педро Пуля, все знает, все понимает, все умеет. Если бы понадобилось, Большой Жоан на нож за него кинулся, как тот негр из Ильеуса, что прикрыл собой знаменитого разбойника Барбозу... Падре достал из кармана



требник в черном переплете, а из него — несколько десятков:

— Вот вам. Покатайтесь сегодня на карусели в Итапажипе. Приглашаю всех!

Он ждал, что его подопечные оживятся при виде денег, что необыкновенное веселье воцарится в пакгаузе. Он ждал этой радости: она должна была уверить его, что, взяв пятьдесят мильрейсов из тех пятисот, что дала ему дона Гильермина Силва на покупку свечей для алтаря Богоматери, он совершил благое дело. Но радость не вспыхнула на лицах мальчишек, и падре, зажав кредитки в руке, растерянно смотрел на них. Педро Пуля, почесав в затылке, взлохматил длинные, спадающие на глаза волосы, но не нашел что сказать и взглянул на Профессора, прося о помощи. Тот выступил вперед.

— Вы — хороший человек, падре... — Он хотел даже сказать, что падре Жозе — такой же добрый, как Большой Жоан, но побоялся сравнивать его с негром — вдруг обидится. — Дело в том, что Безногий и Вертун теперь работают на карусели. И мы все приглашены, — он чуть помедлил, — приглашены хозяином карусели, который им теперь первый друг, кататься сколько влезет. Мы не забудем вашего приглашения, падре, — Профессор стал мяться, подбирать слова, понимая, что тут нужна деликатность, и Педро Пуля одобрительно закивал ему, — сходим как-нибудь еще. Вы только не сердитесь на нас. Не сердитесь, ладно? — Он поднял глаза на падре и увидел, что тот снова весело улыбается.

— Ладно. Может оно и к лучшему... Деньги-то эти... — и прикусил язык, не зная, можно ли рассказать, откуда взял он эти деньги. Быть может, это знамение, предупреждение свыше? Быть может, он поступил дурно? На лице его появилось такое непривычное выражение, что мальчишки придвинулись ближе.

Они глядели на него с недоумением. Педро Пуля, как всегда в затруднительных случаях, морщил лоб. Профессор что-то промямлил. И только Большой Жоан, хоть и считался тугодумом, сразу все понял:

— Это церковные деньги, да? — и, разозлясь, что не сумел промолчать, с силой хлопнул себя по губам.

Тут дошло и до остальных. Леденчик подумал, что падре сильно согрешил, но доброта его, пожалуй, этот

грех перетянет. Безногий, хромая сильнее обычного, словно борясь с собой, подошел к падре вплотную, выкрикнул ему в лицо:

— Мы можем...— тут он спохватился и договорил почти шепотом,— можем положить их на место. Нам это — раз плюнуть. Не печальтесь, падре,— и улыбнулся.

Улыбка Безногого, дружелюбие, засветившееся в глазах «капитанов» (кажется, у Большого Жоана сверкнула на реснице слеза?), вернули падре спокойствие и уверенность в том, что он поступил правильно и что бог его не осудит.

— Одна почтенная вдова дала мне пятьсот мильрейсов на свечи. Я взял пятьдесят, чтобы вы могли прокатиться на карусели. Господь рассудит, кто прав. Что ж, на этот раз куплю поменьше свечей.

Педро Пуля вдруг почувствовал себя в долгу перед падре, и долг этот надо было вернуть немедленно. Пусть он увидит, что все «капитаны» благодарны ему. Чем могут они отплатить падре? Разве что упустить дело, на котором сегодня могли бы как следует заработать. И Педро пригласил священника:

— Сейчас мы все идем на карусель поглядеть на Вертуна с Безногим. Пошли с нами?

Падре Жозе Педро согласился, потому что понимал: это еще один шаг навстречу «капитанам». Все вместе они отправились на площадь. Впрочем, не все,— кое-кто остался, в том числе и Кот, собиравшийся к Далве. Но те, кто шел на площадь Итапажипе, казались в ту минуту благонаправными детьми, возвращающимися из церкви после проповеди. Все шли так чинно, что, будь они поопрятней и получше одеты, их было бы не отличить от воспитанников коллежа на прогулке.

На площади они ни на шаг не отходили от падре, с гордостью показывая ему, как одетый кангасейро Вертун рычит и воет на разные голоса, зазывая публику, как Безногий в одиночку управляется с каруселью,— в одиночку, потому что дядюшка Франса пил пиво в баре. Жаль было только, что на карусели еще не загорелись фонарики, и без этих разноцветных огней она была не такая красивая. Но как гордились мальчишки Вертуном, продававшим билеты, и Безногим, который то останавливал карусель, то снова запускал мотор, ссаживал тех, кто уже прокатился, сажал на их место новых. Профессор, вооружившись огрызком карандаша, изобразил на

какой-то фанерке Вертуна в кожаной шляпе, с патрон-ташем через плечо. Он был не лишен дарования и иногда даже зарабатывал деньги, рисуя прямо на мостовой прохожих или молоденьких сеньорит, прогуливавшихся под ручку с женихом. Люди на минуту останавливались, всматривались в еще не оконченный рисунок, улыбались, барышни говорили:

— Как похоже! — а Профессор подбирал медяки и начинал отделять рисунок, помещая рядом портреты портовиков и проституток, пока не появлялся полицейский и не гнал его прочь. Однажды собралась целая толпа зрителей, и кто-то сказал:

— У мальчишки есть талант. Жалко, что правительству нашему нет до этого дела... — а другие стали вспоминать, как такие же уличные мальчишки, которым в свое время помогли добрые люди, стали великими певцами, поэтами, художниками.

Профессор пририсовал еще и карусель, и фигуру упившегося дядюшки Франсы, протянув фанерку падре Жозе Педро. Все сбились в кучу, разглядывая рисунок, слушая, как падре Жозе Педро хвалит Профессора, когда вдруг раздался чей-то голос:

— Да ведь это его преподобие... — и тощая старуха навела на них свой лорнет, точно ствол неведомого оружия.

Падре Жозе Педро смешался, мальчишки с любопытством уставились на костлявую старушечью шею, украшенную дорогим ожерельем, которое ярко сверкало на солнце. Воцарившееся молчание прервал падре: овладев собой, он поздоровался:

— Добрый день, дона Маргариды.

Но старая вдова Маргариды Сантос снова вскинула свой лорнет:

— Как вам не совестно, святой отец? Подобаает ли вам, служителю бога, находиться в таком обществе? Порядочный человек, а знается со всяким сбродом...

— Это дети, сударыня.

Старуха окинула его высокомерным взглядом и презрительно поджала губы.

— Хороши дети, — процедила она.

— Господь наш говорил: «...пустите детей приходиться ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть царство божие...» — сказал падре громче, как будто желая заглушить звенящую в голосе вдовы злобу,

— Нет, это не дети, это воры. Мерзавцы, ворье, подонки. Это не дети. Может быть, это и есть те самые «капитаны»?.. Бандиты! — повторила она с отвращением,

Мальчишки продолжали разглядывать старуху с беззлобным интересом, у одного лишь Безногого, подошедшего поближе (дядюшка Франса сменил его) вспыхнула в глазах ненависть. Педро Пуля шагнул к старухе, попытался объяснить ей:

— Его преподобие хотел помочь...

Но та шархнула в сторону, не дав ему договорить:

— Не подходи! Не смей приближаться ко мне, негодяй! Не будь здесь нашего священника, я давно позвала бы полицию!

Педро Пуля расхохотался прямо ей в лицо: не будь здесь священника, старуха давно лишилась бы своего ожерелья, да и лорнета впридачу. Дона Маргарита надменно удалилась, не преминув на прощанье бросить падре Жозе Педро:

— Смотрите, как бы такие знакомства не отразились на вашей судьбе...

Педро Пуля захохотал еще громче; засмеялся и падре, хотя на душе у него было невесело: злобное тупоумие старухи сильно огорчило его. Но карусель с нарядами детишками продолжала крутиться, и мало-помалу «капитаны» позабыли об этой встрече, снова заглядевшись на разноцветные огни, на лошадок, размечтавшись о том времени, когда и они вскочат им на спины. «А все-таки они еще дети!» — подумал падре Жозе Педро.

Вечером полил дождь. Но потом ветер разогнал черные тучи, выглянула полная луна, заблестали звезды. На рассвете «капитаны» пришли на площадь. Безногий запустил мотор, и все мигом позабыли, что они не такие, как все, что у них нет дома и отца с матерью, что они, как взрослые, добывают себе пропитание воровством, что их шайка наводит ужас на горожан. Они позабыли слова старухи с лорнетом. Позабыли все на свете, вскочив на лошадок, неспихся в сиянии разноцветных огней по кругу карусели. Ярко светила луна, блистали звезды, но куда ж им было до синих, зеленых, желтых, красных фонариков Большой Японской Карусели?!

Педро Пуля швырнул монету в четыреста рейсов, и она, ударившись о стену таможни, отскочила к ногам Долдона. Медяк Леденчика упал между монетами Долдона и Педро. Долдон, сидя на корточках, внимательно следил за ее полетом. Вытащив изо рта сигарету, он сказал:

— Это по мне. Люблю, когда сначала не везет.

Они продолжили игру, но вскоре медяки Долдона и Леденчика перекочевали в карман Педро Пули.

Прямо перед ними покачивались на якорях рыбацьи баркасы. Из ворот рынка толпой выходили люди. В этот час троица «капитанов» поджидала Богумила: его баркас должен был вот-вот причалить к берегу. Капоэйрист отправился ловить рыбу: кормило-то его все-таки море. Игра в «пристеночек» продолжалась до тех пор, пока Педро Пуля не обыграл своих партнеров в пух и прах. Шрам у него на щеке заблестел, обозначился четче. Он любил схватиться в честном поединке с сильными партнерами вроде Леденчика — тот долго не знал себе равных в этой игре — или Долдона. Когда игра кончилась, Долдон вывернул карманы:

— Одолжи-ка мне немного, видишь — ни гроша не осталось, — и добавил, поглядев на парусники: — Богумил подгребет попозже. Сходим на причалы?

Леденчик сказал, что останется и будет ждать, а Педро Пуля согласился. Они шли по берегу, ноги их вязли в глубоком песке. Какое-то судно отваливало от пятого причала, где сустились грузчики. Педро Пуля спросил Долдона:

— Не хотел бы плавать?

— Там видно будет... Мне и здесь неплохо. От добра добра не ищут.

— А вот я бы пошел в матросы. Как здорово лазать по мачтам!.. А когда шторм!.. Помнишь ту историю, — Профессор нам читал? Ну, как они попали в ураган? Красота!

— Да, здорово...

Педро стал вспоминать историю Профессора. А Долдон подумал: дураком надо быть, чтоб по своей воле уехать из Баии. Вот он подрастет немного, и начнется

расчудесная жизнь портового молодца: нож за поясом, гитара за спиной, красotka на пляже. Чего еще надо? Вот жизнь, достойная мужчины.

Они подошли к воротам Седьмого пакгауза. На ящике сидел Жоан де Адан, чернокожий грузчик-силач, принимавший участие во всех забастовках, гроза и предмет восхищения всех портовых докеров. В зубах трубка, мышцы чуть не рвут рубаху.

— Кого я вижу?! Долдон! Капитан Педро!

Он неизменно называл Педро капитаном и любил поболтать с ним. Подвинувшись, Жоан де Адан уступил Пуле краешек своего ящика, Долдон пристроился на корточках. Рядом продавала апельсины и кокаду старая негритянка в ситцевой юбке и цветастой блузе с квадратным вырезом, открывавшем не по годам упругую грудь. Долдон, сдирая кожу с апельсина, покосился на нее:

— Тетушка, а ты еще ничего, верно?

Торговка улыбнулась:

— Полюбуйтесь-ка на нынешних, кум Жоан! Никакого почтения к старшим. Где это видано, чтоб такой сосунок заигрывал со старой перечницей?

— Наговариваешь на себя, тетушка, клеветешь. Ты вполне еще сгодишься...

Негритянка захохотала от души:

— Я давно уж закрыла лавочку, Долдон. Года мои вышли. Вот хоть его спроси.— Она показала на грузчика.— Я его помню, когда он был мальчишкой вроде тебя, а уж устроил первую в порту забастовку. В те времена никто еще не знал, что это такое и с чем ее едят. Помнишь, кум?

Жоан де Адан кивнул и, прикрыв глаза, предался воспоминаниям о давних временах, когда он возглавил первую стачку портовиков. В порту он был одним из самых старых докеров, а так поглядеть — не скажешь.

— Седому негру — в обед сто лет,— сказал Педро.

Торговка сняла косынку: голова ее была совсем седой.

— Вот потому ты и ходишь в этой тряпке,— поддел ее Долдон.

— Помнишь Раймундо, тетушка Луиза? — спросил Жоан.

— Какого? Белобрысого? Который погиб во время забастовки? Еще бы не помнить! Он ведь каждый день

приходил ко мне поболтать... Ох и языкастый был парень!

— Его убили вот здесь, на этом самом месте, когда конная полиция ринулась на нас.— Жоан де Адан поглядел на Педро.— Ты разве никогда не слышал о нем?

— Никогда.

— Тебе в ту пору было четыре года. Целый год потом ты мыкался от одного к другому, потом исчез куда-то, и узнали мы про тебя, уже когда ты стал вожаком «капитанов». Да я не сомневался, что ты не пропадешь. Сколько тебе лет сейчас?

Педро погрузился в вычисления, и Жоан сам ответил на свой вопрос:

— Пятнадцать или около того. Правильно я говорю, кума?

Луиза кивнула.

— Когда захочешь, приходи в порт работать. Место твое всегда будет тебя ждать,— продолжал негр.

— Какое еще место? — спросил Долдон, потому что Педро от изумления лишился дара речи.

— Место его отца, Раймундо, который погиб, борясь за народ и за его права. Настоящий был человек. Один десятерых нынешних стоил.

— Раймундо — мой отец? — переспросил Педро, что-то смутно слышавший об этом.

— Да, он твой отец. В порту звали его Белобрысым. Ты бы послушал, какие речи произносил он перед началом забастовки,— ни о чем не поверил бы, что это простой грузчик. Он погиб — полицейские застрелили. Ты можешь занять его место.

Педро что-то чертил веткой по асфальту.

— Почему ж ты никогда не говорил мне об этом? — вскинув глаза на старика, спросил он наконец.

— Ты мал был. А теперь становишься мужчиной... — расхохотался тот.

Педро тоже засмеялся: приятно и лестно было узнать, что отец его славился храбростью и силой.

— А мать мою ты не знавал? — спросил он, точно не сразу решившись выговорить эти слова.

Жоан помедлил с ответом:

— Нет. В ту пору, когда мы с Белобрысым познакомились, у него жены не было. А сын был.

— Я с ней знакомство вела,— подала голос торгов-

ка.— Не женщина была, а загляденье. Красотка! Ходили слухи, что она родом из богатой семьи, из тех вон кварталов.— Старуха показала в сторону Верхнего города.— Еще говорили, папаша твой выкрал ее из дому. А умерла она, когда тебе и шести месяцев не сравнялось. Раймундо в ту пору работал на табачной фабрике в Итапачипе. Потом только в порт перешел.

— Как захочешь — только слово скажи...— повторил старый грузчик.

Педро кивнул, а потом спросил:

— Лихая, наверно, штука эта забастовка, а? — и, внимательно выслушав рассказ Жоана, сказал:

— Я бы хотел тоже устроить такое. Замечательная штука.

К пристани подходил пароход, и Жоан де Адан поднялся:

— Сейчас пойдем грузить голландца.

Пароход, гудя сиреной, подваливал к причалу. Отовсюду потянулись к пакгаузу грузчики. Педро Пуля глядел на них любовно: его отец был такой же, как они, и погиб за них. Вот они идут — белые, мулаты, негры, негров особенно много. Сейчас они заполнят трюм мешками какао, кипами табака, тюками сахара и всем, чем еще знаменит их штат, пароход повезет эти товары в дальние страны, а там такие же грузчики — быть может, и среди них найдутся высокие и светловолосые парни — спустятся в трюм, разгрузят корабль. Его отец был одним из грузчиков, только сейчас узнал он это. Его отец, взобравшись на ящик, произносил речи, и дрался с полицией, и был застрелен насмерть, когда кавалерия атаковала забастовщиков. Как знать, вдруг кровь отца пролилась на том самом месте, где он стоит сейчас? Педро поглядел себе под ноги, на асфальт, — может быть, под ним текла кровь, хлынувшая из тела отца? Стоит ему только слово сказать — и он займет его место, и станет грузчиком, и будет таскать ящики и кули, каждый килограммов по шестьдесят. Ох, не даром достаются им деньги. Что ж, он тоже может устроить забастовку, и сражаться с полицией, и умереть, отстаивая права своих товарищей. Вот тогда он и отомстит за отца. (Педро довольно смутно представлял себе, о чем идет речь.) Он представил себе забастовку, схватку с полицией; улыбка появилась у него на губах, заиграла в глазах.

Долдон, доедавший уже третий апельсин, вернул его к действительности:



— Ты о чем задумался? Больно давно все это было, братец.

Старая негритянка ласково оглядела Педро:

— Вылитый отец. Только вот волосики кудрявые — в мать. Если б не этот рубец у тебя на щеке, похож был бы на Раймундо как две капли воды. Красавец был...

Долдон приглушенно захихикал. Потом положил на лоток двести рейсов. Еще раз покосившись на грудь негритянки, спросил:

— У тебя дочки нет, тетушка?

— А тебе на что знать, бесстыжие твои глаза?

— Я бы с ней любовь закрутил,— расхохотался в ответ тот и ловко уклонился, когда негритянка замахнулась на него туфлей.

— Нет у меня дочки, а и была бы — тебе не по зубам, шалопут!

— Ты в Гантоис не собираешься? Там сегодня будет весело: и батида <sup>1</sup>, и фанданго. Сегодня ведь праздник в честь Омолу <sup>2</sup>,— сообщила она чуть погодя.

— Пожрать, значит, дадут? И алуа <sup>3</sup> будет?

— Найдется...— Она посмотрела на Педро.— И ты приходи. Это ничего, что ты кожей бел. Омолу ведь не только негритянская святая, она всем беднякам помогает, всем.

Когда она произнесла имя Омолу, богини черной оспы, Долдон поднял руку в ритуальном приветствии. Ближился вечер. Подошедший к лотку мужчина купил порцию кокады. Вспыхнули фонари. Негритянка стала собираться домой. Долдон помог ей поднять на голову лоток. Леденчик, заметив вдалеке лодку Богумила, замахал руками. Педро Пуля в последний раз поглядел на грузчиков, таскавших кули и мешки по сходам. Широкие спины, черные, коричневые и светлокожие, блестели от пота. Мускулистые шеи были напряжены под тяжестью клади. С шумом вращались стрелы порталных кранов. Устроить забастовку, как отец... Сражаться за справедливость... И когда-нибудь старик, вроде Жоана, будет рассказывать мальчишкам истории про него, как рассказывают сейчас про его отца. В наступившей темноте глаза его блестели особенно ярко.

<sup>1</sup> Б а т и д а — танец негров Баии.

<sup>2</sup> О м о л у — богиня черной оспы.

<sup>3</sup> А л у а — алкогольный напиток типа браги.

Они помогли Богумилу выгрузить улов. Хороший улов, Иеманжа не подвела. Рыботорговец с рынка купил все оптом. После этого они вчетвером отправились в рестораник, оттуда Леденчик пошел к падре Жозе Педро, который по вечерам учил его читать и писать. Он на минутку заглянул в пакгауз, чтобы прихватить коробку с перьями, украденными утром с прилавка писчебумажного магазина. Педро Пуля, Богумил и Долдон направились на кандомбле в Гантоис — ведь Богумил был оганом<sup>1</sup>, — и навстречу им вышла в алых одеждах богиня Омолу и приветствовала самых обездоленных из своих сыновей прекрасным песнопением. Она возвестила им, что нищета скоро минет, что черная оспа станет поражать отныне только богатых, бедняки же будут всегда сыты и счастливы. В ночи, посвященной богине Омолу, рокотали барабаны-атабаке, и богиня предрекла пришествие грозного часа — часа, когда бедняки отомстят за все обиды. Танцевали негротянки, веселились участники макумбы. Час отмщения близок.

Долдон вместе с Богумилом остался на террейро, и Педро Пуля шел по городу один. Он спускался по крутым улочкам, которые вели в Нижний Город, так медленно, точно тащил на плечах невидимый груз, и от тяжести этой плечи его сутулились. Он думал об услышанном сегодня на причале, и душа его радовалась, потому что отец его оказался человеком мужественным и так надолго оставил по себе в порту добрую славу. Но старый грузчик Жоан говорил еще и о правах докеров. Педро никогда прежде не слышал об этом, а ведь за эти права отец его отдал жизнь. А потом, на макумбе, облаченная в алые одежды Омолу сказала, что близится час, когда бедняки за все отомстят богатым. И все это легло на сердце Педро, легло тяжелым грузом, как шестидесятикилограммовый мешок на спину грузчика.

Спустившись, он побрел по пляжу в сторону пакгауза: может быть, удастся заснуть? Какой-то щенок рывкнул на него, боясь, как бы проходящий мимо человек не отнял у него кость. Вдалеке мелькнул чей-то силуэт. Ка-

---

<sup>1</sup> Оган — жрец на ритуальной негротьянской церемонии кандомбле.

жется, женщина. Педро вострепнулся, точно юный хищник, почуявший невдалеке самку, и, прибавив шагу, стал нагонять спешившую фигуру. Песок хрустел под ногами, и вскоре женщина поняла, что кто-то идет за ней следом. Когда она проходила под фонарными столбами, Педро заметил, что это негритяночка не старше пятнадцати лет — его сверстница. Но острые груди натягивали платье, а бедра так и ходили из стороны в сторону, такая уж у негров походка: идут себе по улице, а кажется — на ходу пританцовывают. И желание, родившееся из потребности задавить, заглушить сведавшую его тоску, обуяло Педро. Глядя на ходившие под тканью ягодицы, он забыл об отце, который погиб, отстаивая права забастовщиков, и о богине Омолу, возвещавшей скорое отмщение. Теперь он хотел догнать негритянку, повалить ее на мягкий песок, почувствовать под пальцами ее тугие девичьи груди, овладеть этим горячим чернокожим телом.

Он прибавил шагу, потому что негритянка уже вышла из освещенного переулка и теперь двинулась по пляжу. Но, заметив, что Педро с каждой минутой все ближе, бросилась вперед чуть не бегом. Педро сразу понял: она спешит к тем улицам, которые тянутся между морем и холмом, — хочет срезать путь и ускользнуть. Он не окликал ее, тишину нарушал только скрип песка под ногами, заставлявший сердце девушки сжиматься от страха, а сердце Педро — от нетерпения. Он шел гораздо быстрее, чем она, и должен был через минуту догнать ее. Крепко стиснув зубы, Педро улыбнулся — оскалился как зверь, который выследил и затравил в пустыне свою добычу.

Он уже протянул руку, чтобы схватить девушку за плечо, повернуть к себе, как та вдруг кинулась бежать. Педро ринулся вдогонку, настиг, но не рассчитал и с ходу налетел на нее, сбив с ног. Они покатались по песку. Одним прыжком вскочив на ноги, Педро, улыбаясь, подошел к поднимавшейся негритянке.

— Куда ты? Полежи, тут так хорошо.

Лицо девушки было искажено ужасом, но заметив, что преследователь — мальчишка ее возраста, она немного успокоилась и зло крикнула:

— Чего тебе надо?

— Брось, брось, не ломайся, чернушечка моя. Давай поვაляемся на песочке.

Он схватил ее за руку и снова повалил. Ей опять стало страшно, безумный страх спутал мысли. Она возвращалась от деда к себе домой, к матери и сестрам. Почему она так припозднилась? Почему пошла через пляж? Разве не знала, что пляж у причалов — это вотчина портовых подонков, жуликов, матросни, «капитанов песка», всех тех, у кого нет денег на женщин и кто изнывает от похоти, бродя по священным улицам Баии? Конечно, не знала: ей было всего пятнадцать, и совсем недавно она из девочки стала девушкой. Педро Пуле тоже недавно исполнилось пятнадцать, но ему давно уже были известны и тайны пустынных песков за причалами, и тайны любви. Именно потому не собирался он отступать от этой негритянки, что давно уже знал, что такое мужское желание и любовные ласки. А она не собиралась уступать ему, потому что хотела сохранить чистоту для какого-нибудь мулата, который сумеет в один прекрасный день покорить ее сердце. Неужели отдать невинность первому встречному тут, на пляже? От страха глаза негритянки смотрели невидяще.

Педро провел ладонью по ее курчавым волосам:

— Ты славненькая. У нас с тобой получатся ладные детишки.

— Пусти меня, пусти, проклятый! — отбивалась девушка, а сама все оглядывалась по сторонам: нет ли поблизости кого-нибудь, кто услышал бы ее, и поспешил бы на выручку, и помог сохранить главное ее сокровище — девичью честь. Но в песках баиянского порта по ночам видны только слившиеся в объятии тени, слышны только стоны любви.

Педро гладил ее груди, и вдруг сквозь ее страх стало пробиваться желание, — так пробивает себе дорогу в скалах крошечный родник, который потом обернется полноводным шумным потоком. Но и страх не исчез, а усилился. Девушка сообразила, что если не поборет своего желания, то пропадет, погубит себя, оставит на песке капли своей крови, над которыми утром посмеются грузчики. И сознание своей слабости придало ей новые силы. Наклонившись, она впиалась зубами в руку, сжимавшую ее грудь. Педро вскрикнул от боли, отдернул руку, а девушка вскочила и кинулась бежать. Но он снова настиг ее, — теперь в его душе вожделение перемешивалось со злостью.

— Что нам время попусту терять,— прошептал он и попытался снова свалить негритянку.

— Пусти меня, бессовестный, пусти! Погубить меня хочешь, гад? Пусти меня, иди своей дорогой, я тебя знать не знаю!

Педро не отвечал ей, по опыту зная, что такие, как она, всегда поначалу строят из себя недотрог: у этой тоже наверно, есть парень. Педро и в голову не приходило, что попавшая ему в руки негритянка — девица. Она продолжала сопротивляться: кусалась, отбивалась, колотила кулачками по груди насильника.

— Да чего ты трепыхаешься, дуреха? Все равно не пущу. Уступи лучше по-хорошему. Твой дружок ничего не узнает... Никто ничего не узнает... Зато будет что вспомнить...

И он, стараясь разжечь ее и одновременно укротить, не переставал гладить и ласкать ее, руки его скользили по ее телу, с силой прижимая его к земле.

— Пусти, пусти, пусти...— твердила она одно и то же.

Педро дернул кверху подол старенькой ситцевой юбки, обнажив крепкие крутые бедра, попытался разомкнуть ее колени. Тут негритянка рванулась, но, словно ослабев от настойчивых прикосновений его рук, жалобно проговорила:

— Отпусти меня, я еще ни с кем... Пожалей меня... Найдешь себе еще кого-нибудь... Я боюсь.

Педро взглянул ей в лицо. Она плакала от страха и от того непонятого, впервые изведенного чувства, которое заставило напрячься ее груди.

— Ты что, правда — нетронутая?

— Клянусь господом нашим и девой пречистой.— Девушка скрестила пальцы и поднесла их к губам.

Педро был в нерешительности. Под руками — напряженная грудь. Крепкие бедра...

— А ты не врешь? — снова спросил он, ни на минуту не переставая поглаживать ее.

— Ей-богу, не вру! Пусти меня, мать давно ждет.

Она заплакала, и Педро стало жаль ее. Но жалость в нем боролась с вожделением, и, щекоча ее ухо губами, он шепнул:

— Я потихоньку...

— Нет! Нет!

— Уйдешь, какой пришла, обещаю!

— Нет! Будет больно, я боюсь!

Но он все ласкал ее, и щекочущая волна мурашками поползла по спине. Она поняла, что если и на это не согласится, он овладеет ею по-настоящему, и прощай тогда девичество...

Потом, когда Педро снова потянулся к ней, она, как ужаленная, вскочила на ноги:

— Тебе мало, подлец? Доконать меня хочешь?

И зарыдала в голос, и воздела руки к небу, точно и впрямь лишилась рассудка: ничем, кроме крика, слез и брани, не могла она защититься от Педро. Но лучше всего защитили ее полные ужаса глаза, глаза зверька, которому не отбиться от хищника покрупнее. Желание в нем угасло, а тоска, снедавшая его весь вечер, вернулась, и потому он спросил:

— Если отпущу, придешь завтра?

— Приду.

— Все будет не взаправду, как сегодня...

Она только кивнула в ответ. Глаза у нее были совсем сумасшедшие, ничего, кроме боли и страха, она не чувствовала и хотела только уйти, уйти отсюда, убежать как можно скорее. Теперь, когда Педро больше не целовал ее, не прикасался к ней, возбуждение улеглось, она немного пришла в себя и думала лишь о том, что сумела не лишиться невинности, и облегченно вздохнула, когда Педро сказал:

— Ладно, ступай. Но если завтра не придешь, пеняй на себя. Поймаю — так дешево не отделаешься.

Ничего не ответив, она зашагала по песку. Педро не отставал:

— Провожу тебя, что ли... Привяжется еще кто-нибудь.

Он взял ее за руку. Девушка плакала, и всхлипывания ее мучили Педро, напоминая почему-то все то, что с утра не давало ему покоя: отца, погибшего в схватке с полицией, богиню Омолу, предрекавшую час возмездия. Мысленно он проклинал эту встречу и шел все быстрее, торопясь выйти к улице. Девушка плакала навзрыд, и, разозлившись, он крикнул ей:

— Чего ревешь-то? Убыло от тебя?!

Вместо ответа она только взглянула ему в лицо, и в глазах ее, хоть она была еще в его власти и не оправилась от испуга, Педро прочел ненависть и презрение. Он опустил голову: исчезла и тяга к ее телу, и злость, осталась только горечь. На улице мужской голос напевал самбу. Негритянка зарыдала громче. Педро отбрасы-

вал носком башмака комочки песка. Он неожиданно почувствовал себя слабее этой девчонки: рука, которую он сжимал, вдруг точно свинцом налилась. Он разжал пальцы, и девушка сейчас же отдернула руку. Педро ничего не сказал. Ему не хотелось бы больше с ней встречаться — никогда в жизни; не хотелось бы увидеть сейчас старого грузчика Жоана де Адана, не хотелось идти в Гантоис. Когда вышли к началу улицы, он пробормотал:

— Ну, иди, тут уж никто тебя не тронет...

Она снова метнула на него ненавидящий взгляд и вдруг кинулась бежать опрометью. Но на углу остановилась, повернулась к Педро (он все смотрел ей вслед) и крикнула так, что он похолодел:

— Чума на тебя, проклятый, война, голод! Пусть покарает тебя господь! Будь ты проклят во веки веков! Будь проклят! Проклят!

В тишине пустынной улицы голос ее звучал особенно пронзительно, каждое слово вонзалось в Педро точно пуля.

Прежде чем скрыться за углом, негритянка в знак полного презрения плюнула в его сторону и еще раз повторила:

— Будь ты проклят!

Сначала Педро застыл на месте, а потом повернулся и помчался в пески, так, словно ветер подхлестывал его и подгонял, а он пытался убежать от этих проклятий. Ему хотелось броситься в воду, чтобы волны моря смыли с него и это мерзкое чувство вины, и желание отомстить убийцам отца, и ненависть, которую испытывал он к сытому богатому городу, раскинувшемуся вдоль бухты, и отчаяние — отчаяние бездомного и затравленного ребенка, — и жалость к этой горячке негритянке — она ведь тоже совсем ребенок...

«Совсем ребенок, совсем ребенок», — свистел в ушах ветер, «совсем ребенок», — подтверждала мелодия самбы, «совсем ребенок», — твердил какой-то внутренний голос.

#### ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОГУНА<sup>1</sup>

Однажды ночью, темной зимней ночью, когда рыбаки не отваживались выходить в море, когда всерьез разгневались на людей Иеманжа и Шанго, когда только вспыш-

---

<sup>1</sup> Огун — бог железа и войн в афро-бразильском культе.

ки молний освещали затянутое низкими черными тучами небо, Педро Пуля, Безногий и Большой Жоан провожали до дому матушку Анинью, «мать святого». Жрица пришла к ним в пакгауз еще днем, но пока объяснила, о чем хочет попросить «капитанов», наступила грозовая, наводящая страх ночь.

— Огун прогневался,— объяснила матушка Анинья.

Огун-то и привел ее к «капитанам». Во время очередной облавы полиция нагрянула на террейро, которое хоть и не было в ведении матушки Аиньи — туда-то ни один полицейский сунуться бы не посмел,— но все же находилось под ее покровительством, и в качестве вещественного доказательства идолопоклонства уволокла изображение Огуна. Жрица приняла все меры, чтобы вернуть святого на место. Первым делом она отправилась к одному из своих друзей, преподавателю медицинского факультета,— он часто приходил на кандомбле, потому что изучал негритянские верования,— и попросила помочь. Тот обещал разбиться в лепешку, но Огуна из полиции вызволить, однако вовсе не для того, чтобы вернуть его на террейро, а чтобы приобщить к своей коллекции африканских идолов. Пока Огун находился в полиции, Шаго разгневавшись, наслал грозу.

Отчаявшись добиться толку от преподавателя, матушка Аинья пошла к «капитанам», с которыми дружила уже давно: все чернокожие и все бедняки Баии — в друзьях у «матери святого», для каждого найдется у нее теплое слово, материнская ласка. Она лечит их, когда они хворают, она соединяет влюбленных, она может навести порчу на дурного человека и избавить от него мир. Матушка Аинья все рассказала Педро Пуле. Тот бывал на кандомбле редко, наставления падре Жозе слушал еще реже, но и жрицу и падре считал своими друзьями, а у «капитанов» принято помогать друзьям, попавшим в беду.

И вот сейчас они провожали «мать святого» до дому. Вокруг бушевала яростная, грозовая ночь. Струи дождя заталкивали их под большой белый зонт матушки Аиньи, а она с горечью говорила:

— Не дают беднякам жить... И нас в покое не оставляют, и богов наших. Бедняку ничего нельзя: танцевать нельзя, славить своих святых нельзя, просить их о милости — тоже нельзя.— Голос у нее был скорбный, совсем какой-то не ее.— Мало того что мы мрем от голо-



да, нет, решили еще и святых у нас отнять!..— Она вскинула кулаки, погрозила кому-то.

Педро точно обдало горячей волной. У бедных ничего нет. Падре Жозе говорит, что когда-нибудь они войдут в царствие небесное и там бог воздаст каждому поровну. Какая же это справедливость: в царствии небесном они все будут равны, но здесь-то — нет, значит, поровну каждому не воздашь.

Проклятья и сетованья матушки Аниньи заглушали гром агого и атабаке<sup>1</sup> на кандомбле — они требовали возвращения Огуна. Дона Анинья была высокая, худощавая, с царственной осанкой: ни одна из здешних негритянок не умела с таким величавым изяществом носить баианские одежды. Лицо у нее всегда было приветливое и веселое, но ей достаточно было одного взгляда, чтобы внушить к себе уважение. В этом она походила на падре Жозе. Но сейчас вид ее был ужасен, а проклятья, которыми она осыпала богачей и полицию, гремели в баианской ночи, леденили сердце Педро Пули...

Оставив ее на попечение младших жриц — «дочерей святого», которые окружили матушку Анинью и стали целовать у нее руки, Педро пустился в обратный путь, пообещав на прощанье:

— Подожди немного, принесу я тебе Огуна.

С улыбкой она потрепала его по белокурым волосам. Большой Жоан и Безногий тоже поцеловали у нее руку, стали спускаться по крутым улочкам. Вслед им несся рокот барабанов, требуя возвращения Огуна.

Безногий, который не верил ни в бога, ни в черта, но хотел услужить матушке Анинье, спросил:

— Что ж мы делать-то будем? Хреновина-то эта в полиции...

Большой Жоан, сплюнув на всякий случай через плечо, боязливо одернул его:

— Нельзя так про Огуна говорить... Разгневется — накажет.

— Да он же под замком сидит, можно не бояться, — рассмеялся тот.

Жоан счел за благо оборвать разговор: могущественному Огуну ничего не стоит и из тюрьмы покарать нечестивца. Педро почесался в раздумье, попросил закутить:

---

<sup>1</sup> Агого, атабаке — ритуальные барабаны.

— Надо раскинуть мозгами. Раз обещали Анинье — лопни, а сделай. Взялся за гуж...

Они уже подходили к пакгаузу. Сквозь дырявую крышу хлестали потоки дождя. «Капитаны» расползлись по углам — туда, где посуше. Профессор взялся было за книгу, но ветер, точно издеваясь над ним, ежеминутно задувал свечу, читать не получалось, и он стал следить за игрой: в углу Кот с Долдоном резались в «семь с половиной». Кот держал банк, о каменный пол то и дело звенели монеты, но это не отвлекало Леденчика, сосредоточенно возносившего молитвы Пречистой Деве и святому Антонию.

В такие ночи «капитанам» не спалось. Время от времени молнии освещали пакгауз, и тогда становились видны их лица — невымытые, со впалыми щеками. Те, кто помладше, все еще боялись сказочных драконов и прочих чудовищ, и потому жались к старшим, но и тем было зябко и неудобно. Неграм в раскатах грома слышался голос Шанго. Так или иначе, тяжкая была ночь, тяжкая для всех, даже для Кота, хоть ему и было на чью грудь приклонить свою юную голову. Но в непогоду и взрослые мужчины ищут себе приют, ищут женщину, чтобы согреться и забыться в ее объятиях: потому они щедро платили за то, чтобы остаться у Далвы до утра. Вот и приходилось Коту сидеть в пакгаузе, тасовать крапленые карты, банковать, выгребая с помощью Долдона последние медяки у партнеров. Всех томила какая-то смутная тревога, все старались держаться поближе друг к другу, и в то же время каждый был сам по себе, и каждый чувствовал, что чего-то ему не хватает — не только прочной крыши над головой, не только постели с теплым одеялом, нет: не хватало ласковых слов матери или сестры, нежных слов, которые прогнали бы страх. Мальчишки сбивались в кучу, дрожа от холода в выпрошенных Христа ради рубашках. Были у иных и пиджаки с чужого плеча, украденные где-нибудь или подобранные на свалке, и они кутались в них, как в пальто. А Профессор носил самое настоящее пальто, такое длинное, что полы его волочились по земле.

Однажды — дело было летом — в кафе зашел человек в пальто, нездешний, сразу видно. В эти послеполуденные часы зной стоял совсем нестерпимый, но чужестранец, одетый в пальто, казалось, нисколько не страдал от жары: Профессора он чем-то заинтересовал. «Похоже, у

него водятся деньги»,— решил он и начал рисовать его на тротуаре мелом; но получилось у него не столько человек в пальто, сколько пальто на человеке. Он рисовал и довольно посмеивался, полагая, что за такой портрет получит никак не меньше тысячи рейсов. Когда рисунок был почти закончен, человек вдруг повернул голову. Профессор засмеялся громче, он был доволен: хорошо вышло,— маленький человечек, огромное пальто. Чужестранцу, однако, совсем не пришлось по вкусу собственное изображение, он разъярился, вскочил и пнул художника ногой. Удар пришелся по почкам, и Профессор со стоном покатился по мостовой. Побагровев, как от удушья, человек в пальто двинул его еще ногой в лицо и крикнул:

— Получай, гаденыш, будешь знать, как издеваться! Потом затер рисунок подошвой и ушел, подбрасывая на ладони монеты. Выглянувшая из кафе официантка помогла Профессору подняться, жалостливо посморела, как он держится за поясницу, и сказала:

— Вот ведь скотина какая, а! Портрет-то похож... Болван!

Она сунула руку в карманчик, куда прятала чаевые, вытащила серебряную монету в тысячу рейсов, протянула ее мальчику. Но Профессор не взял деньги: знал, официантке они с неба не падают. Держась за ушибленное место, оглядел полустертый рисунок, побрел по улице куда глаза глядят, в горле стоял ком. Хотелось обрадовать человека в пальто, ну и заработать, конечно... А вместо этого получил три пинка, да еще обозвали гаденышем. Странно. Почему их так ненавидят? Они ведь такие несчастные, ни отца у них, ни матери нет. Почему эти хорошо одетые люди так и пышут на них злобой? Спина у него ныла, но через несколько минут по дороге в пакгауз, на залитом солнцем песчаном берегу он вдруг увидел человека в пальто. Солнце жгло еще пуще, и потому он нес пальто на руке и направлялся к одному из пришвартованных у пирса кораблей. Профессор вытащил из кармана нож, который редко пускал в ход, и нагнал обидчика. На пляже никого не было: все попрятались от жары, а человек в пальто решил, как видно, сократить путь до набережной: шел через пески напрямик. Профессор молча следовал за ним, потом обогнал и преградил дорогу, сжимая нож. Едва лишь он взглянул в лицо чужестранца, как исчезли обида и боль, сменившись одним-единственным чув-

ством — жаждой мести. Обидчик смотрел на Профессора с ужасом, — тот вырос перед ним с раскрытым ножом.

— Убирайся, щенок, — процедил он сквозь зубы.

Но Профессор сделал шаг вперед, и человек в пальто побледнел.

— В чем дело? Что тебе надо? — повторял он, озираясь по сторонам в надежде привлечь чье-нибудь внимание. Но вокруг не было ни души: лишь возле пакгаузов виднелись фигуры грузчиков. Он бросился бежать, но Профессор одним прыжком настиг его и полоснул ножом по руке. Тот выронил пальто, кровь струйкой ударила в песок. Профессор метнулся было назад, потом застыл в растерянности. Сейчас прибежит полицейский, за ним — еще и еще, начнется погоня. Хорошо, если пароход этого гада скоро отваливает, а если нет? Тогда, конечно, его будут искать, пока не найдут и не засадят в каталажку. Тут Профессор вспомнил про официантку и помчался в сторону кафе. Из садика напротив он сделал ей знак, она вышла и, увидев у него в руках пальто, сразу все поняла.

— Оставил ему на клешне памятку, — честно предупредил Профессор.

— Расквитался, да? — засмеялась официантка, схватила пальто, отнесла его в кафе.

Профессор прятался до тех пор, пока пароход не вышел на рейд, но из укрытия видел полицейских, обшаривавших пляж и прилегающие к порту улицы. Вот и осталось на память об этом происшествии пальто, с которым Профессор ни за что не хотел расставаться. Он получил пальто, он научился ненависти. А через много лет, когда его картинами — на них были запечатлены бездомные дети, старые нищие, рабочие, портовики, вламывавшие тюремные стены, — восхищалась вся Бразилия, кто-то заметил, что на всех изображен буржуа в огромном пальто, и пальто это обладает характером не менее ярким, чем его владелец.

...Педро, Большой Жоан и Безногий вошли в пакгауз. Игра на минуту оборвалась, Кот взглянул на них:

— Не желаете перекинуться в «семь с половиной»?

— Нашел дураков с тобой играть, — буркнул Безногий.

Большой Жоан стал следить за игрой, а Педро отвел Профессора в дальний угол: надо было подумать, как

выкрасть изображение Огуна из полиции. Спорили, предлагали действовать так и эдак, и наконец около одиннадцати Педро стал собираться.

— Вот что, ребята,— сказал он, обращаясь ко всем сразу.— Дело мне предстоит нелегкое. Если к утру не вернусь, значит, загребли. В полиции долго держать не станут, перекинут в колонию, там сидеть придется, покуда не удастся дать деру. Или ждать вашей помощи...

С этими словами он ушел. Большой Жоан проводил его до ворот. Профессор снова подсел к играющим. Новички испуганно следили за тем, как уходит их жоак: они безгранично верили ему и теперь не знали, как быть и что делать.

Леденчик, на полуслове оборвал молитву, вышел из своего угла:

— Что тут у вас?

— Педро пошел на трудное дело. Если к утру не придет, значит, попался.

— Мы его вызволим откуда угодно,— ответил Леденчик так непринужденно, точно минуту назад не просил Пречистую Деву спасти его грешную душу. И снова отправился к своим образкам, но теперь уже молиться за душу Педро Пули.

Игра возобновилась. Ливень, гром и молнии, беспросветное небо. Холод. Капли дождя падали на игроков, потерявших азарт — даже Кот не радовался выигрышу. Всеми овладело уныние. Наконец Профессор не выдержал:

— Пойду погляжу, как там и что...

Большой Жоан и Кот отправились вместе с ним, а на пороге в эту ночь улегся, положив нож под голову, Леденчик. Рядом с ним хмуро всматривался в непроглядную тьму Вертун. Он думал о том, где обретается в такую непогоду шайка Лампиана, каково им на бескрайних просторах каатинги<sup>1</sup>. Может быть, они тоже сражаются сейчас с полицией, как Педро Пуля? И еще Вертун думал, что Педро, когда вырастет, не уступит в отваге самому Лампиану. Тому принадлежат сертаны, необозримые пространства каатинги,— Педро станет повелителем Баии, всех ее улиц, набережных, дворов. А он,

---

<sup>1</sup> Каатинга—зона лесов с низкорослыми лесами и кустарниками.

Вертун, сертанец родом, будет то там, то тут — то в каатинге, то в городе, потому что Лампиан — его крестный, а Педро — его друг. И он закричал петухом: это всегда означало, что Вертун в прекрасном настроении.

Поднимаясь по Монтанье, Педро обдумывал свой план. В такие опасные дела он покамест не совался. Но для матушки Аиньи нужно рискнуть: не она ли столько раз лечила его, когда он хворал, приносила ему целебные травы, ухаживала за ним и выхаживала? А когда кто-нибудь из «капитанов» появлялся у нее на террейро, она всегда принимала его с почетом, как взрослого, как огуна, наливала чего похмельней, подкладывала кусок повкусней. Да, серьезное дело он задумал, и, может быть, придется ему кормить клопов в каталажке, а потом еще помыкаться в колонии, где с людьми обращаются хуже, чем с собаками. И все-таки есть надежда... Педро вышел на Театральную площадь. Дождь не прекращался, полицейские зябко кутались в плащи. Он медленно поднимался по Сан-Бенто, потом свернул на Сан-Педро, пересек Ларго-да-Пьедаде и Розарио, остановился перед зданием управления полиции, заглядывая в окна, наблюдая, как входят и выходят полицейские и агенты в штатском. Прогремел по рельсам трамвай, заливая светом и без того ярко освещенную площадь. Полицейский — добрый знакомый матушки Аиньи — сказал, что Огуна взгромодили на шкаф в числе прочих вещей, конфискованных при облавах, а шкаф стоит в камере, куда сажают задержанных; потом их допросит комиссар или дежурный инспектор и распорядится, кого куда, кого — в тюрьму, кого — на свободу. Вот в этой-то камере и стоял шкаф, в который складывали все, что не представляло особенной ценности; как только шкаф переполнялся, все остальное валили в кучу за шкафом. Педро и хотел попасть в эту камеру, провести там какое-то время, а потом выбраться на волю, прихватив с собой Огуна. Хорошо, что он не примелькался полицейским: может, кто-нибудь из постовых и знает его в лицо, но мало ли в Баии похожих друг на друга мальчишек? Конечно, городская полиция спит и видит, как бы схватить главаря прославленной шайки, и примета у него есть — шрам на щеке (Педро невольно пощупал свой рубец. Полицейские считают, что вожак «капитанов» — старше годами, выше ростом и — мулат. Если они поймут, кто перед ними, дело будет пахнуть не колонией, а тюрьмой. Он примехонько отправится за решетку,

Из колонии еще можно сбежать, а из тюрьмы — попробуй-ка... Но Педро уже шел по Кампо-Гранде — и не беспечной походочкой уличного сорванца, а деловито, с развальцем, поступью моряцкого сына: берет низко надвинуто на лоб, воротник черного пиджака — прежний его владелец был, судя по всему, человеком рослым и дородным — поднят.

Полицейский прятался от ливня под деревом. Педро приблизился к нему боязливо и нерешительно, а когда заговорил, голос его звучал как у ребенка, напуганного ночной грозой.

— Сеньор...

Полицейский глянул на него:

— Чего тебе?

— Я нездешний, я из Мар-Гранде, сегодня с отцом приплыли...

— Ну и что? — оборвал его полицейский.

— Ночевать негде... Сделайте такую милость, сведите меня в полицию, а то дождь льет...

— Нашел гостиницу! Проходи, проходи!

Педро попробовал было поканючить, но полицейский погрозил ему дубинкой:

— Проваливай, сказано тебе! Вон в садике ночуй!

Педро, размазывая слезы по щекам, направился к трамвайной остановке. Полицейский смотрел ему вслед. Подошел трамвай. Из прицепного вагона вышла парочка. Педро подскочил к даме, собираясь вырвать у нее сумочку, но кавалер схватил его за руку. Ограбление было предпринято так неумело, что случись рядом кто-нибудь из «капитанов» они покраснели бы от стыда за своего товарища. Полицейский, наблюдавший всю эту сцену, был уже тут как тут.

— Вот, значит, ты из каких! Ворюга!

И поволок Педро за собой. Тот не сопротивлялся, лицо его выражало и испуг и радость:

— Я нарочно, чтоб меня забрали...

— Что-о?

— Ей-богу. Я ведь вам сказал чистую правду. Живем мы в Мар-Гранде, отец у меня моряк, ходит на баркасе. Оставил меня тут, а на море-то шторм, вот он и не вернулся. Приткнуться мне некуда, я и попросил вас свести меня в полицию. А вы сказали «нельзя». Ну, тогда я и притворился вором, чтоб вы меня забрали... Теперь хоть крыша над головой будет...

— И не на одну ночь, — только и сказал полицейский.

Втащив Педро в Управление, он поволок его по коридору, втокнул в камеру предварительного заключения, где уже сидело человек пять-шесть, и злорадно крикнул:

— Доброй ночи, паценок! Вот придет комиссар, скажет, сколько тебе придется спать на нарах...

Педро промолчал. Никто не обратил на него внимания: арестованные переругивались с неким субъектом странного вида, откликавшимся на имя Мариазинья. В углу Педро увидел шкаф: изображение Огуна стояло рядом с корзиной для мусора. Подобравшись к шкафу, он снял пиджак, завернул в него небольшого Огуна — изображения грозного бога бывали куда больших размеров, — потом растянулся на полу, подложив под голову сверток и притворился спящим. Арестанты ничего не заметили, продолжая перешучиваться с Мариазиньей. Один только старик, сидевший в углу, не принимал участия в этой забаве. Его трясло как в лихорадке, и Педро не мог понять, от холода или от страха.

Молодой негр говорил:

— Ну, так кто ж тебя обесчестил?

— Отвяжись, — со смехом отвечал его собеседник.

— Выкладывай, выкладывай, — загомонили остальные.

— Повстречался мне однажды Леопольдо!.. Ах, Леопольдо...

Старика все била дрожь. Какой-то парень с изглоданным чахоткой лицом заметил его.

— Тебе бы вот с кем подружиться, — сказал он Мариазинье.

— Мне такая рухлядь без надобности, отстань...

В дверях ухмылялся полицейский. Чахоточный подошел поближе к старику:

— А ты, папаша, что скажешь? По праву он тебе, а?

— Я старый человек, ни в чем не виноват, — еле слышно проговорил он. — Ни в чем не виноват, меня дочь ждет...

Педро, лежавший с закрытыми глазами, догадался, что старик плачет, но продолжал прикидываться спящим, хотя Огун больно врезался в щеку. Арестованные все не унимались и отпускали шуточки по адресу старика, пока не появился еще один полицейский, велевший старику следовать за ним.

— Я же ни в чем не виноват, — повторял старик, об-



ращаясь ко всем сразу.— Меня дочка ждет...— Он так дрожал, что всем стало его жалко, и даже чахоточный опустил голову, чтобы не встретиться с ним взглядом. Улыбался один Мариазинья.

Старик обратно не пришел. За ним увели педераста.

Пока его не было, чахоточный рассказал, что он — из богатой семьи и обычно инспектор звонит его отцу, просит приехать забрать сыночка, чтобы не пришлось арестовывать снова. Время от времени, когда он нанюхается кокаину и скандалит на улице, его тащат в полицию... Тут Мариазинья, вернувшийся за своей шляпой, заметил Педро:

— Какой свеженький, какой хорошенький...

Педро, не открывая глаз, сплюнул:

— Катись, пока рожа цела.

Арестованные расхохотались, тут только увидев мальчика.

— Тебя за что замели, мышка?

— Не твое дело, макака бесхвостая,— ответил он, прямо глядит в остроклюое изможденное лицо чахоточного.

Смеясь, полицейский рассказал о приключении Педро. Но в эту минуту выкликнули молодого негра, и все притихли. Было известно, что этот малый в драке несколько раз пырнул противника ножом. Когда он вернулся в камеру, кисти рук у него покраснели и опухли,— наверно, отхлестали линейкой.

— Судить будут,— объяснил он.— Я, оказывается, нанес «легкие телесные повреждения», а пока дали две дюжины горячих...

Он замолчал, уселся в углу. В камере стало тихо. Одного за другим арестованных вызывали на допрос к комиссару: одних отпускали, других под конвоем отправляли в тюрьму, третьи возвращались избитыми. Гроза наконец унялась. Ближился рассвет. Последним повели Педро. Пиджак он предусмотрительно оставил в камере.

Комиссаром оказался молодой юрист: блестел рубиновый перстень у него на пальце, посверкивал огонек зажатой в зубах сигары. Когда Педро вошел в кабинет, комиссар кричал кому-то, чтобы принесли кофе. Педро остановился перед письменным столом.

— Попытка ограбления, задержан на Кампо-Гранде,— доложил полицейский.

— Ну, что, дадут мне сейчас кофе или нет?! Поди поторопи! — приказал комиссар.

Полицейский вышел. Комиссар прочел рапорт постового, задержавшего Педро, поднял глаза:

— Ну, что скажешь? Только не вздумай врать!

Дрожащим голосом Педро стал плести свою длинную историю. Отец у него живет в Мар-Гранде, утром приплыли в город, а отец сразу же пошел на своем баркасе обратно взять еще партию товара, а его оставил погулять по Баии, потому как было еще рано, можно успеть вернуться. А тут шторм начался, в городе у него — никого знакомых, дождь хлещет, деваться некуда. Спросил у прохожего, где можно переночевать, тот говорит — в полиции. Попросил полицейского — забери меня до утра, а полицейский заругался и не взял. Тогда он и сделал вид, что хочет сумочку украсть, а на самом деле и в мыслях не было этого, прикинулся воришкой, чтоб оказаться под крышей в такую погоду...

— Так что никого я не грабил,— завершил он свой рассказ.

Комиссар, маленькими глоточками прихлебывавший кофе, заметил как бы про себя:

— Быть не может, чтоб такой сосунок мог сочинить такую складную байку...— У него была слабость к литературе, и потому он пробормотал: — Готовая новелла,— а потом, добродушно улыбнувшись, спросил: — Как отца зовут?

— Аугусто Сезар.— Педро назвал имя одного рыбака из Мар-Гранде.

— Проверю. Если не наврал, отпущу. А если решил меня обморочить, плохо твое дело.

Он позвонил, вызывая полицейского. Нервы у Педро были натянуты как струны. Комиссар велел проверить, зарегистрированы ли в полиции рыбаки из Мар-Гранде, которые швартуются к причалам у рынка.

— Зарегистрированы, сеньор комиссар.

— Посмотри, значится ли там Аугусто Сезар! Живо, мое дежурство кончается!

Педро посмотрел на часы: половина шестого утра. Полицейский не возвращался, а комиссар, казалось, забыл о мальчишке, стоявшем перед его столом. Лишь когда полицейский, войдя в кабинет, доложил:

— Есть такой! Был сегодня, потом уплыл обратно,— комиссар приказал:

— Отпусти мальчишку.

Педро спросил, можно ли ему забрать пиджак, а в камере так ловко пристроил его под мышкой, что Огуна никто и не заметил. Снова пересекли коридор из конца в конец, и полицейский вывел его за двери. Педро вышел на площадь, обогнул старое здание казармы, свернул на Гамбоа-де-Сима, прибавил ходу, потом побежал. За спиной он слышал чьи-то шаги. Неужели спохватились и догоняют? Он обернулся. За ним шли Профессор, Большой Жоан и Кот.

— Чего это вы тут ошиваетесь? — спросил он с любопытством.

Профессор поскреб в затылке.

— Мы тут давно уже гуляем. Не ждали тебя так рано. А ты вылетел как пуля и пошел чесать по улицам, как будто за тобой кто гонится.

Педро развернул пиджак, достал Огуна.

— Как же ты умудрился обдурить их? — хохоча от восторга, стал спрашивать Большой Жоан.

Они шли вниз по еще скользкой от ночного ливня улице, и Педро рассказывал друзьям о своих приключениях.

— Неужто ни капельки не страшно было? — осведомился Кот.

Педро сначала хотел соврать, но потом признался:

— Честно сказать, чуть было в штаны не наложил...

И засмеялся, увидев, как расплылось в довольной улыбке лицо Большого Жоана. На синем небе не было теперь ни облачка, сияло солнце, от причалов у рынка отваливали рыбацьи баркасы.

## ГОСПОДЬ УЛЫБАЕТСЯ КАК НЕГРИТЕНОК

Слишком велико было искушение.

И не скажешь, что сейчас зимний полдень. Солнце заливает улицы мягким светом, и лучи его не обжигают, а поглаживают кожу нежно, точно женская рука. В саду пестрым многоцветьем переливаются маргаритки, розы и гвоздики, георгины и фиалки, и даже на расстоянии чувствуется тонкий, едва уловимый аромат, от которого у Леденчика чуть кружится голова. Покормили его сегодня

богатые португальцы — вынесли остатки обеда, королевское получилось пиршество. Служанка, поставив перед ним доверху полную тарелку, поглядела на улицу, на зимнее солнце, на прохожих, шедших налегке, и сказала:

— Славный какой денек.

Слова эти продолжают звучать в ушах у Леденчика. Славный денек, и мальчик беспечно шагает по улице, на-свистывая самбу, которой научил его Богумил, вспоминая, что падре Жозе Педро обещал во что бы то ни стало устроить его в семинарию. Еще падре сказал, что вся красота земли и людей — дар божий и нужно быть ему за это благодарным. Леденчик поднимает глаза к синему небу, туда, где, наверно, живет господь бог, и думает: господь и вправду всеблаг. А подумав о боге, тут же вспоминает о своих товарищах. Они воруют, дерутся, бранятся так, что уши вянут, по ночам подкарауливают на пляже девчонок-негритянок, могут при случае пырнуть ножом полицейского — и все-таки они хорошие, они преданы друг другу. А грешат потому, что нет у них ни дома, ни отца с матерью, потому что никогда не знают, будут они сегодня сыты или нет, и живут в кирпичной сырой развалюге с дырявой крышей. Если б не воровали, то перемерли бы с голоду, — редко встретишь сердобольных людей, которые накормят или вынесут какую-нибудь одежду. Одного — покормят, другого — оденут, а остальным что? Подышать? Вот и получается, что всю шайку ждет пекло. Педро Пуля не верит в загробную жизнь, Профессор над этим смеется. Большой Жоан верит в Шанго и Омолу, в негритянских богов, пришедших в Бразилию из Африки. Богумил, закоренелый грешник и несравненный капозйрист, тоже молится им и путает их с вывезенными из Европы святыми. Падре Жозе Педро говорит, что это предрассудок и заблуждение и они не виноваты. День по-прежнему прекрасен, а Леденчик мрачнеет. Неужто все они обречены аду? Там, в геенне, грешников ждет пламя адского огня: оно будет мучить их всю загробную жизнь, а жизнь эта бесконечна. А муки там страшней тех, что в полиции или в колонии. Несколько дней назад Леденчик слушал в церкви Пьедаде проповедь, которую читал монах из Германии. На его багровом лице блестели капли пота. Он плохо говорил по-португальски, и слова его обрушивались на прихожан точно удары бича. Языки пламени жгли тех, кто в земной жизни был красив и прелюбодействовал, воровал или

пускал в ход нож. Господь бог германского монаха был грозным и мстительным вершителем правосудия и совсем не походил на благостного бога падре Жозе, посылавшего людям такие славные погожие дни. Только потом Леденчику объяснили, что бог — это высшее милосердие и высшая справедливость, и мальчик теперь испытывал к нему не только любовь, но и страх, — два эти чувства жили в его душе нераздельно. Никому не было до него дела, и потому невольно приходилось грешить — воровать чуть не каждый день, врать, выпрашивая милостыню у дверей богатых домов. И, как ни ясно синее небо, Леденчик сейчас смотрит на него широко раскрытыми от страха глазами и молит бога (милосердного, но справедливого) простить его грехи и грехи всех «капитанов», — простить, потому что они не виноваты. Виновата жизнь...

Это падре Жозе Педро говорил, что виновата жизнь, и делал все возможное, чтобы облегчить ее, ибо знал: только так он сумеет наставить мальчишек на путь истинный. Но однажды старый грузчик Жоан де Адан сказал, что виновата не жизнь, а неправильно устроенное общество, виноваты богатые... И еще он сказал, что до тех пор, покуда все будет по-прежнему, мальчишки порядочными людьми не станут. И еще он сказал, что падре ничего не сможет для них сделать — богатые не дадут. Услышав это, падре очень опечалился, а когда Леденчик принялся его утешать, говоря, что не стоит обращать внимания на слова грузчика, тот, покачав головой, ответил:

— Я и сам иногда подумываю, что это так: не все ладно в нашем обществе... Но господь милостив, он вразумит.

Падре считал, что господь простит «капитанов», а потому хотел помочь им, хоть и не знал, как это сделать. Зато ему очень хорошо было известно, что большинство относится к ним как к преступникам, а некоторые не видят большой разницы между ними и теми, у кого есть родители и крыша над головой. Впору было отчаяться. Однако падре не терял надежды, что господь когда-нибудь укажет ему путь, как спасти заблудшие души, а до тех пор он будет опекать их, стараясь по мере сил и возможностей искоренять в них все дурное. Именно падре Жозе Педро удалось покончить с мужеложством в шайке, а заодно понять, как именно надлежит действовать, если желаешь добиться успеха. Пока он внушал им,

что педерастия есть отвратительный и богомерзкий грех, «капитаны» только посмеивались у него за спиной и продолжали приставать к самым миловидным из своих соотарищей. Но когда в один прекрасный день падре заявил (призвав на помощь Богумила, который подтвердил его слова), что это занятие — позор для мужчины, Педро Пуля тотчас принял крутые меры, объявив, что все, кого он застукает, будут выгнаны из шайки вон. Образно выражаясь, он выжиг этот порок каленым железом.

Трудней всего было падре примирить непримиримое, но иногда ему удавалось и это, и тогда он довольно улыбался, глядя на плоды своих рук. Грузчик Жоан де Адан тем не менее посмеивался над его стараниями и говорил, что только революция все приведет в порядок. Там, в Верхнем Городе, обитатели богатых кварталов хотели бы отправить всех «капитанов» поголовно в тюрьму или в исправительную колонию, что еще хуже. Внизу, в порту, Жоан де Адан мечтал покончить с богачами, сделать всех людей равными, а всех детей обучить грамоте. А падре хотел, чтобы дети ходили в школу, чтобы у них был дом, чтобы о них заботились, чтобы их любили, и полагал, что для этого вовсе не обязательно устраивать революцию и уничтожать богачей. Но на каждом шагу вырастали перед ним неодолимые препятствия. Падре уже терял надежду и горячо молился, прося господа наставить его и указать верный путь. Но чем больше думал он обо всем этом, тем непреложней становилась для него правота старого грузчика, и непреложность эта пугала его. Ужас охватывал падре: совсем не тому его учили в семинарии. И снова часами напролет просил он у бога совета и помощи.

Леденчик был предметом его особой гордости. Раньше этот паренек слыл среди «капитанов» чуть ли не самым отчаянным: рассказывали, что однажды, когда какой-то мальчуган отказался дать ему денег, он приставил к его горлу острое клинка и стал медленно нажимать на рукоять, пока не потекла кровь. Но рассказывали и про то, как он ударил ножом Жирного Шико: тот мучил кошку, ловившую в пакгаузе крыс. Леденчик начал преобразоваться с того самого дня, когда падре впервые заговорил о боге, о небесах, об Иисусе Христе, о милосердии и доброте. Господь воззвал к нему: в пакгаузе он явственно услышал его глас. Господь снился ему; это было то самое

откровение, о котором толковал падре. И мальчик потянулся к нему всем своим существом и стал молиться перед образками, подаренными священником. Товарищи немедленно принялись насмеяться над его рвением, но когда он избил одного из них, остальные прикусили языки. На следующий день после драки падре Жозе сказал Леденчику, что тот поступил дурно, что во имя господа можно и должно претерпеть любую обиду, и тогда он отдал избитому свой совсем новенький нож. Больше он в драки не лез, ни разу никого не отколотил, а воровать не бросил оттого только, что помер бы с голоду, — это был единственный источник существования для него и для всех ребят. Леденчик внимал настойчивому зову бога и хотел пострадать во имя его. Он часами простаивал на коленях, спал на голом полу, молился, даже когда глаза слипались, шарахался от негрятючек, которые предлагали ему свою любовь. Но в те времена бог для него олицетворял неисчерпаемое милосердие, и он умерщвлял плоть во искупление тех мук, что претерпел господь на земле. Потом открылась ему и справедливость (для него — возмездие) бога, и в душе его поселился страх перед ним — страх, соединившийся с любовью. Молитвы его стали продолжительней, и ужас, который внушал ему ад, причудливо перемешивался с прекрасным божественным образом. Он устраивал себе долгие посты; щеки у него ввалились как у отшельника, а взгляд стал отрешенным и невидящим. Он мечтал, чтобы господь явился ему в сновиденье, и потому остерегался поднимать глаза на чернокожих девчонок, которые, покачивая бедрами, словно танцуя на ходу, то и дело попадались ему в бедных кварталах Баии. Единственным желанием Леденчика было стать служителем бога, жить в угоду ему и во имя его. Милосердие бога вселяло в него надежду, а страх, который он испытывал перед неотвратимостью ожидавшей его кары за грехи приводили в отчаянье.

Эта любовь, этот страх — причина того, что Леденчик в нерешительности стоит перед витриной в погожий солнечный день. Солнце не палит, а мягко греет, в саду распустились цветы, мир и покой снизошли на Баию. Но прекрасней всего — резное изображение Богоматери с младенцем, стоящее в этой лавке, у которой только один вход. На витрине — образки и ладанки, молитвенники в богатых переплетах, золотые четки, серебряные ковчегцы, а с полки, что у самой двери, Пречистая Дева протяги-

вает мальчику Христа-младенца, такого же нищего и на-гого, как сам Леденчик. По воле скульптора Христос худ, а Дева, держащая его на виду у богатых и толстых прохожих, печальна. Вот потому никто и не покупает деревянное изображение: всюду и всегда Христос-младенец — упитанный и пухлый, точно мальчик из благополучного семейства, это бог богатых. А этот похож на Леденчика, а еще больше — на самых юных членов шайки, особенно на того малыша всего несколько месяцев от роду, которого Большой Жоан подобрал на улице — мать, видно, умерла, — принес в пакгауз, где он и пробыл целый день к вящей радости «капитанов», потешавшихся над Жоаном и Профессором: те совсем сбились с ног, добывая для малыша молоко. Потом матушка Аинья взяла и унесла его. Только тот младенец был чернокожим, а этот — белый... А так один к одному. У Христа, прильнувшего к груди Пречистой, такое же худенькое, исплаканное личико. Дева Мария словно протягивает младенца Леденчику, вверяет своего сына его попечению, его любви. Сияющий день, ослепительное солнце, цветы, и только Христу-младенцу холодно и голодно. Взять его с собой, в пакгауз? Он заботился бы о нем, пестовал его, окружил бы его любовью... Еще и тем отличается этот Христос от всех прочих, что Приснодева держит его как-то не крепко, словно уже готова отдать Леденчику. Он делает шаг вперед. В лавчонке — всего одна продавщица: пока нет покупателей, она подкрашивает губы. Утащить резное изображение — проще простого. Леденчик уже собирается сделать еще шаг, но вдруг застывает на месте. Страх перед богом останавливает его.

Он поклялся когда-то, что будет воровать, только чтобы не умереть с голоду или чтобы не нарушать законов шайки — по приказу Педро Пули: ведь преступить ее неписаные, но неумолимые законы — тоже грех. А сейчас собирается украсть Христа-младенца — и только для себя. Он хочет украсть его, чтобы Христос всегда был с ним, чтоб было о ком заботиться и кого любить. А если ворует не потому, что голодаешь или мерзнешь, то совершаешь смертный грех и будешь наказан без пощады, — гореть тебе, Леденчик, в геенне огненной. Пламя ее будет терзать твою плоть, жечь руки, снявшие образ господа с полки, и конца твоим мукам не настанет во веки веков. Христос-младенец — собственность хозяина этой лавки. Но, если рассудить, у него столько других младен-



цев — пухленьких и розовощеких, — что он и не заметит пропажи одного из них, самого несчастного и озябшего. Остальные всегда завернуты в пеленки из дорогой материи тонкой выделки — всегда почему-то голубые. А этот — совсем голый, он, наверно, озяб, его не пожалел даже создатель-резчик. А Дева протягивает сына Леденчику, отдает младенца ему. Вон сколько у этого торговца других Христов. Он и не заметит, а заметит — так только обрадуется, что украли того самого младенца, которого никто не покупал, который готов вот-вот скатиться с материнских рук, перед которым всегда перешептываются в страхе святоши-покупательницы:

— Нет, только не этого... Такой заморыш, прости меня господи... Пожалуй, еще упадет на пол, разобьется — что тогда делать? Нет, этого не куплю.

Так и остался Христос непроданным. Дева Мария протягивала его прохожим, чтобы кто-нибудь взял его, любил и заботился о нем, но никто не брал. Богомолки не желали ставить его в свои домашние алтари рядом с младенцами в золотых сандалиях, с золотыми коронами на голове. Один только Леденчик заметил, что он голоден и продрог, один только Леденчик мечтает взять его. Но денег у него нет, и к тому же он никогда ничего не покупает. Если он унесет младенца, то любовь к богу и накормит его, и напоит, и обогреет. Но как унесешь, если адский огонь будет пожирать голову, в которой родился греховный замысел, и руки, его осуществившие?! Тут он вспоминает, что греховный помысел — уже есть грех. Германский монах говорил, что многие грешат в мыслях, не сознавая этого. Леденчик-то сознает, что грешит, и, боясь кары, бросается прочь. Но убегает он недалеко: на углу останавливается, потому что расстаться с образом Христа-младенца не в силах. Глядит на другие витрины, чтобы отвлечься; засовывает руки в карманы, чтобы уберечься от искушения, отгоняет его от себя. Вокруг снуют люди, возвращающиеся с обеденного перерыва, и совсем скоро в магазин придут другие продавцы — и тогда уж точно ничего не получится... И он снова застывает перед витриной.

И снова Пречистая Дева протягивает сына Леденчику. Уже час дня. Через несколько минут придут продавцы. Сколько их? Магазинчик маленький, хватит и одного, чтоб нельзя было утащить младенца. Леденчику кажется, что эти слова произнесла сама Дева: сейчас не унесешь — никогда не унесешь. Конечно, это она сделала так, что

барышня за прилавком ушла в глубь лавки... Она, Пречистая Дева, протягивает ему своего сына. Он слышит сладостный голос:

— Возьми его. Отдаю его на твое попечение. Смотри за ним хорошенько...

Он подходит к полке. Въяве предстает перед ним пламя геенны, в которую ввергнет его бог на веки вечные. Но, тряхнув головой, словно прогоняя это видение, он берет на руки протянутого ему Девой младенца и, прижав его к груди, исчезает на улице.

Он не глядит в лицо Христа, но знает, что сейчас, притулившись к его груди, тот не страдает ни от холода, ни от голода, ни от жажды. Христос улыбается в точности так, как улыбался тот грудной негритенок, когда открыл в пакгаузе глаза и увидел, что Большой Жоан поит его с ложечки молоком, стиснув бутылку в огромных ручищах, а Профессор поддерживает ему голову и согревает его теплом своего тела. Так улыбается теперь и Христос-младенец.

## СЕМЬЯ

Это Долдон рассказал Педро Пуле, что в одном доме по улице Граса золота столько, что жуть берет. Хозяин, кажется, коллекционер, и Долдон слышал от одного портового молодца, будто там есть комната, сплошь заставленная золотом и серебром, в ломбарде это потянет целое состояние. Днем Педро, взяв с собой Долдона, пошел посмотреть на этот самый дом: современная постройка, сад, гараж,— просторное и элегантное жилище богатых людей. Долдон сплюнул сквозь зубы, растер плевков подошвой — на мостовой осталось затейливое, как цветок, пятно — и сказал:

— Еще говорят, здесь живут только двое стариков.

— Тем лучше...— заметил Педро.

Дверь особняка открылась, в сад вышла служанка. Приятели успели разглядеть обширный холл, картины на стенах, статуэтки на столиках.

— Вот бы сюда Профессора,— засмеялся Педро,— он бы совсем с ума сошел. Гляди, сколько картин и книг.

— Он бы во какой портрет с меня нарисовал.— И Долдон широко развел руки.

Педро еще раз осмотрел дом, посвистывая, подошел

к садовой решетке. Служанка, склонившись над клумбой, срезала цветы: в вырезе платья виднелась пышная грудь. Педро пригляделся повнимательней. Белые груди с торчащими розовыми вершинками, Долдон протяжно вздохнул:

— О-о, какие...

— Заткнись.

Но служанка уже заметила их, взглянула вопрошительно — «что, мол, вам здесь надо?». Педро стащил с головы берет:

— Нельзя ли у вас водички попросить? Совсем от жары замучились...

Разумянившийся, с белокурыми волнистыми волосами, закрывавшими уши, он улыбался, и служанка посмотрела на него приветливо. Долдон, поставив ногу на садовую ограду, курил сигарету.

— Убери ногу, ишь куда задрал, — неприязненно сказала служанка, а Педро улыбнулась: — Сейчас принесу.

Через минуту она вернулась с двумя стаканами воды, — мальчишки отродясь не видывали таких красивых. Выпив воду, Педро поблагодарил:

— Большое спасибо, — и добавил шепотком: — До чего ж хороша!..

— Нахал, — также вполголоса ответила девушка.

— Ты в котором часу работу кончаешь?

— Разлетелся! У меня муж есть. В девять он всегда меня встречает вон на том углу.

— А сегодня я буду ждать на этом...

Приятель двинулся по улице. Долдон докуривал сигарету, обмахивался своей папчонкой.

— Есть во мне что-то такое, — заметил Педро. — Готово дело, влюбилась.

Долдон снова сплюнул:

— Еще бы, отрастил себе лохмы, как баба, да еще весь в локончиках...

Педро, засмеявшись, погрозил ему кулаком:

— Молчи, дубина, это в тебе зависть говорит!

Некоторое время шли молча, потом Долдон спросил:

— Ну, так как же с золотишком будет?

— Пошлем сначала Безногого. Пусть протырится завтра в дом, поживет денек-другой. Когда разузнает, где хранится что поценней, заявимся впятером-вшестером и вынесем...

— А бабенку, что ж, упустишь?

— Ничего подобного. Сегодня же моя будет. К девяти вернусь сюда.

Он обернулся. Служанка, перегнувшись через ограду, смотрела им вслед. Педро помахал ей, и она ответила. Долдон сплюнул в третий раз:

— Вот везунок, смотреть противно!

На следующий день около половины двенадцатого возле особняка появился Безногий. Служанка не услышала звонка, потому что, наверно, перебирала в памяти подробности ночи, проведенной с Педро в комнатке на улице Гарсия. Безногий нажал кнопку еще раз, и в окне первого этажа показалась седовласая голова. Прищуренные глаза пожилой дамы взглянули на Безногого.

— Что ты хочешь, мой мальчик?

— Сеньора, я — бедный сирота...

Дама движением руки попросила его обождать и спустя несколько минут уже стояла у калитки, отмахиваясь от извинений подоспевшей служанки.

— Да, так я слушаю тебя, мой мальчик, — повторила она, окинув быстрым взглядом его лохмотья.

— Сеньора, я рос без отца, а несколько дней назад господь призвал к себе мою бедную мамочку. — От ткнул пальцем в траурную повязку на рукаве своего пиджака (повязку смастерили из ленты с новой шляпы Кота, — тот взбесился от злости, обнаружив это). — Больше у меня никого в целом свете... Я — калека, много работать не могу, уже два дня у меня во рту крошки не было, и почевать мне негде...

Казалось, он вот-вот расплачется. Дама была явно тронута его словами:

— Ты сказал — «калека»?

Он выставил больную ногу, потом протерся перед козьяйкой, хромя сильнее, чем обычно. Та смотрела на него с состраданием.

— А отчего умерла твоя мама?

— Толком не знаю... Прицепилась к ней какая-то зараза, не то лихорадка, не то горячка, за пять дней свела ее в могилу. И остался я один на всем белом свете. Если б еще можно было работу найти... Но кто ж меня возьмет, хромого? Разве только к каким-нибудь добрым людям... Я могу за покупками ходить, по дому помогать... Возьмите меня, а?

И, думая, что она колеблется, бесстыдно добавил плачущим голосом:

— Конечно, можно пойти воровать, связаться с какой-нибудь шайкой вроде «капитанов песка», вы слышали, наверно? Да не по нутру мне это, я свой хлеб честно хочу зарабатывать. Но тяжелой работы не выдержу. Пожалейте, сеньора, бедного голодного сироту...

Но хозяйка и не думала колебаться. Она молчала потому, что вспоминала своего сына, который был сверстником этого оборвыша,— его смерть навеки изгнала радость из их дома. Муж мог по крайней мере отвлечься своей коллекцией произведений искусства, а она жила только воспоминаниями о сыне, покинувшем их так скоро. Вот потому она и глядела на Безногого ласково и голос ее звучал так нежно. В нем появились даже какие-то радостные нотки, безмерно удивившие служанку.

— Войди, мой мальчик. Я подумаю, как тебе помочь.— Она опустила тонкую руку (на пальце блеснул крупный брильянт) на грязную голову Безногого и повернулась к служанке: — Мария, приготовьте ему комнату над гаражом. Отведите его в ванную, дайте халат Раула и покормите.

— Слушаю, дона Эстер. Обед потом прикажете подавать?

— Потом. Сначала займитесь этим мальчиком. Бедняжка два дня ничего не ел.

Безногий молчал, размазывая ладонью по лицу приторные слезы.

— Не плачь,— промолвила дона Эстер, погладив его по щеке.

— Дай вам бог, сеньора... Вы такая добрая...

После этого она спросила, как его зовут, и Безногий назвалса первым пришедшим в голову именем:

— Аугусто.

Он мысленно повторял это имя, стараясь накрепко затвердить его, и потому не видел, какое впечатление произвело оно на хозяйку.

— Тебя тоже зовут Аугусто?..— шептала она, потом повторила уже в полный голос: — Боже мой, Аугусто... Аугусто,— и Безногий, подняв глаза, увидел ее преображенное волнением лицо.— Это имя носил мой сын. Он умер, когда был таким, как ты... Ну, входи же, умойся, и тебе дадут поесть.

Растроганная дона Эстер пошла за ним следом и смотрела, как служанка проводила мальчика в ванную, дала ему халат, а сама поднялась в комнату над гаражом (шофер уволился, и она пустовала), чтобы все приготовить. Дона Эстер подошла к Безногому, остановившемуся на пороге ванной.

— Свою одежду можешь выбросить. Мария подберет тебе что-нибудь из вещей моего Аугусто.

Она ушла, а Безногий смотрел ей вслед и злился то ли на нее, то ли на себя...

Дона Эстер сидела у своего туалетного столика, невидящими глазами уставившись в зеркало. У нее было такое выражение, будто она следит за плывущими по небу облаками. Но она ни за чем не следила и ничего не видела. Перед глазами у нее стоял одетый в матросский костюмчик сын — ровесник Безногого. Она вспоминала, как носился он по двору того дома, где они жили раньше и откуда уехали сразу после его смерти. Он всегда был такой веселый, такой неугомонный, такой непоседа!.. Когда же ему надоело гоняться за кошкой, качаться на качелях, до сумерек играть во дворе в футбол, он прибежал к ней, обнимал за шею, целовал или садился у ее ног, листая книжки с картинками, по которым учился читать и писать. Дона Эстер с мужем, чтобы не разлучаться с сыном надолго, решили дать ему домашнее образование. Но однажды (глаза ее наполнились слезами) он заболел лихорадкой, а потом маленький гроб вынесли за ворота, и она смотрела ему вслед испуганно и удивленно, все не решаясь поверить, что сын ее умер. Его увеличенная фотография висит у нее в комнате, но шторка отодвигается редко: к чему растревлять рану? Одежда его сложена в чемодан, с самого дня похорон никто не прикасался к ней. Но сейчас дона Эстер достает из шкатулки с драгоценностями ключи.

Медленно, очень медленно входит она в детскую. Садится на стул. Дрожащими руками отпирает чемодан, поднимает крышку, долго смотрит на брюки и курточки, на матросские костюмы, на маленькие пижамы и ночные рубашки. Прижимает к груди матроску, словно обнимает сына. Плачет.

В двери ее дома постучался бедный сирота. После того как умер Аугусто, она не хотела больше иметь детей, не могла даже видеть их — слишком живо напоминали они о ее потере. Но нищий, убогий, печальный мальчик,

которого зовут так же, как ее сына, постучался к ней, попросил накормить, приютить, обогреть. И потому она решила открыть чемодан, где лежали вещи ее сына, потому она достает оттуда его любимый матросский костюм: в образе этого искалеченного и обездоленного попрошайки вернулся к доне Эстер ее Аугусто. И плачет она теперь не только от горя. Сын ее вернулся к ней изголодавшимся, хромым, оборванным, грязным, но скоро, очень скоро станет он, как прежде, веселым и счастливым, и обовьет ее шею руками, и усядется у ее ног, перелистывая букварь.

Она поднимается, выходит из комнаты, унося матросский костюмчик. В этой одежде суждено Безногому съесть лучший в своей жизни обед.

Матросский костюмчик был точно на него шит, сидел как влитой, и Безногий, посмотревшись в зеркало, не узнал себя. Он был чисто вымыт, горничная пригладила ему волосы брильянтином, сбрызнула одеколоном. Безногий, глядя на свое отражение, одернул матроску и улыбнулся, подумав о Коте: он дорого бы дал, чтобы Кот увидел его в таком обличье. На ногах у него были новые башмаки, но они его сильно разочаровали: сверху были какие-то бантики, и потому Безногий счел их женскими. Чепуха какая-то, подумалось ему, матросский костюм — и девчачьи туфли. Он пошел в сад, — хотелось курить, сигаретка после обеда — святое дело.обеда иногда не было вовсе, но окурок сигареты или сигары он раздобывал непременно. Но здесь надо быть начеку, открыто не покуришь. Если б его отвели на кухню, кормили бы вместе с прислугой, тогда дело другое: можно было бы и покурить всласть, и поболтать, не стесняясь особенно в выражениях. Но в этом доме его вымыли, одели во все новое, напмадили, надушили, потом проводили в столовую, и там, за обедом, хозяйка говорила с ним как с порядочным. Потом она велела ему пойти поиграть в саду, где нежился на солнце желтый кот по кличке Брелок... Безногий опускается на скамейку, достает пачку дешевых сигарет — он предусмотрительно переложил их в карман новых штанов, — закуривает, глубоко затягивается и начинает размышлять о неожиданном повороте судьбы. Он уже не в первый раз прикидывается «бедным хроменьким сиротой» и остается им до тех пор, пока не вызнает расположение комнат, места,

где хранится самое ценное, все ходы и выходы. Потом однажды ночью облюбованный особнячок посетят «капитаны», утащат товар, а спустя несколько часов после налета появится в пакгаузе и он, Безногий, охваченный злорадным торжеством. Чувство это неизменно возникало в его душе, потому что хозяева тех домов, где его кормили и куда пускали переночевать, творили добро, точно выполняя тягостную повинность: они старались держаться от него подальше, словно боялись испачкаться, глядели косо, как будто спрашивая, скоро ли он намерен убраться, и он часто замечал, что хозяйка, растроганная его печальной историей и слезами, очень скоро начинала раскаиваться в своем мягкосердечии. Безногий был уверен, что все они пускают его в дом, бьют и кормят, чтобы заглушить угрызения совести. Он считал, что все они виноваты перед бездомными детьми, и испытывал к своим благодетелям самую настоящую ненависть. Величайшей и, быть может, единственной его отрадой было представлять себе, какому отчаянию предаются ограбленные, когда до них доходит, что именно тот голодный мальчишка, которого они покормили и приютили, навел на их дом банду таких же изголодавшихся юнцов и показал, где хранятся ценности.

Но на этот раз все было по-другому. На этот раз его накормили не на кухне, спать положили не во дворе. На этот раз ему дали комнату, его одели во все новое, а обедать позвали в столовую. Его принимали как долгожданного, дорогого гостя. И Безногий, после каждой затяжки пряча сигарету в кулак (он сам удивлялся этому), пытается понять, почему так вышло, и не понимает. Сморщив лоб от напряжения, Безногий думает. Вспоминаются ему дни, проведенные в тюрьме, как его мучили там, и сны, не дающие ему с тех пор покоя. Внезапно его пронизывает страх перед людьми, которые так ласково отнеслись к нему,— нестерпимый страх. Он не знает, откуда взялся этот страх, но совладать с ним не может. Он поднимается на ноги и с сигаретой в зубах шагает прямо к окошку доны Эстер: пусть видит, с кем имеет дело, пусть знает, что он не заслуживает ни отдельной комнаты, ни сытного обеда, ни этого матросского костюма. Пусть отшлют его на кухню, на подобающее такому прощатому место,— там снова зародится в его душе жажда мести и нетронутым будет запас ненависти. Исчезнет она — и он умрет, потому что ему нечем будет жить. Перед глазами его проносится образ того че-



ловека в жилете, который так утробно хохотал, глядя, как лущают Безногого солдаты. Склонится ли над ним милосердная дона Эстер, обнимут ли, даруя защиту, руки падре Жозе, почувствует ли он могучее плечо забастовщика Жоана де Адана, образ мужчины в жилете всегда тут как тут: он не даст ему поверить ни в доброту, ни в братство. Безногий всегда будет сам по себе, один со своей ненавистью, обращенной на белых и негров, на мужчин и женщин, на богатых и бедных,— потому он и не хочет, чтобы относились к нему хорошо.

К вечеру вернулся домой хозяин, сеньор Раул,— весьма известный в Баии адвокат, разбогатевший на удачных защитах, профессор юридического факультета, но прежде всего — знаменитый коллекционер, обладатель прекрасного собрания картин, старинных монет и антиквариата. Безногий в эту минуту рассматривал гравюры в детской книжке, потешаясь над незадачливым слонем, которого обдурила обезьяна. Раул, не замечая мальчика, поднялся по лестнице. Но через минуту прибежала горничная и повела Безногого в комнату доны Эстер. Раул, уже без пиджака, с сигарой во рту, поглядел на него с приветливым любопытством, а Безногий, напустив на себя вид крайнего замешательства, затоптался на пороге.

— Проходи.

Безногий вошел, прихрамывая, не зная, куда девать руки. Дона Эстер ласково сказала:

— Сядь, мой мальчик, не бойся.

Безногий опустился на самый краешек стула. Адвокат разглядывал его пристально, но доброжелательно, и мальчик приготовился отвечать на неизбежные вопросы. Он снова повторил все, что было рассказано утром, но когда в нужном месте заплакал в три ручья, Раул остановил его, поднялся и отошел к окну. Безногий понял, что хозяин растрогался, и мысленно похвалил себя, гордясь своим актерским даром. Но тут адвокат повернулся, шагнул к доне Эстер, поцеловал ее — в лоб, а потом в губы. Безногий потупился. Адвокат положил ему руку на плечо:

— Ты никогда больше не будешь голодать. А сейчас... Сейчас пойди поиграй во что-нибудь или книжку посмотри... Вечером ходим в кино. Ты любишь кино?

— Люблю, сеньор.

Адвокат жестом отпустил его, но, выходя из комнаты,

Безногий успел заметить, как тот обнял жену и сказал ей:

— Ты — святая. Что ж, давай возьмем его к нам. Вырастим его.

Наступал вечер, темнело, зажглись фонари, и Безногий подумал, что, наверно, в этот час шайка, как всегда носится по городу в поисках пропитания.

...Очень жалко было, что нельзя завопить от восторга, когда герой фильма вздул наконец того гада. Безногий понимал, что это тебе не галерка в «Олимпии» и не тот захудалый кинотеатрик в Итапажице, куда ему случалось проникать без билета,— здесь, сидя в мягком кресле «Гуарани», кино полагалось смотреть молча. Когда же он все-таки не выдержал и свистнул, Раул покосился на него. Правда, улыбнулся, но и прижал палец к губам: нельзя, мол, неприлично.

Потом его повели в бар напротив кинотеатра и угостили мороженым. Безногий ел и думал о том, что чуть было не допустил непоправимой ошибки: когда адвокат спросил, чем его угостить, он едва не ляпнул: «Пивка бы похолодней», но вовремя прикусил язык.

Адвокат сам вел машину, а дона Эстер с Безногим сидели сзади. Отвечать на вопросы было сущей мукой: все время приходилось следить, как бы не сорвалось неподобающее словечко из лексикона «капитанов». Дона Эстер расспрашивала его о бедной покойной мамочке, и Безногий выкручивался как мог, стараясь помнить, что он наврал раньше, чтобы не запутаться вконец. Добрались до дому, и дона Эстер проводила мальчика в его комнату.

— Тебе не будет страшно одному?

— Нет, сеньора.

— Ты поживешь первое время тут, а потом переберешься наверх, в комнату Аугусто.

— Да зачем же, дона Эстер, мне и здесь хорошо...

Она наклонилась, поцеловала его в щеку:

— Доброй ночи, мой мальчик,— и вышла, прикрыв за собой дверь.

А Безногий так и стоял посреди комнаты, не в силах сдвинуться с места, не в силах ответить «спокойной ночи». Он прижимал ладонь к щеке, до которой дотронулись губы доны Эстер. Мысли его путались. В глазах потемнело, он ничего не ощущал, кроме этого нежного

прикосновения, кроме этой неведомой ему материнской ласки. Кроме этого поцелуя. Ему казалось, что земля на миг остановилась: отныне все было преображено этим поцелуем. Ничего не существовало больше в мире — только материнский поцелуй, горевший у него на щеке.

Потом начался обычный ужас кошмарных снов: смеялся мужчина в жилете, глядя, как солдаты гоняют Безногого из угла в угол. Но потом вдруг появилась донна Эстер, а Безногий сжал в руке неизвестно откуда взявшийся кнут — как у того парня из фильма, — и человек в жилете погиб вместе с солдатами лютой смертью...

Минула неделя. Педро Пуля уже несколько раз приходил к особняку, ожидая вестей от Безногого, который все не возвращался в пакгауз, хотя за это время можно было двадцать раз выяснить, где хранятся ценности и куда бежать в случае опасности. Но вместо Безногого Педро встречал горничную: она-то думала, что это ради нее торчит он возле адвокатского особняка. Однажды Педро словно невзначай задал ей вопрос:

— Что это за парнишка у вас там объявился?

— Хозяйка взяла его на воспитание. Славный мальчуган.

Педро подавил улыбку: он знал, что Безногий, если захочет, сойдет за паиньку.

— Годами он чуть тебя постарше, — продолжала горничная, — но совсем еще ребенок. Он-то небось ни с кем еще не путался, не то что ты, отпетый...

— Ты же меня и совратила, вовлекла в разврат.

— Будет врать-то!

— Ей-богу.

Хотя у нее были веские причины сомневаться в правильности его слов, она предпочла поверить Педро: это польстило ей. Теперь в ее отношении к нему сквозила покровительственная нежность.

— Ну, ладно. Сегодня научу тебя еще кое-чему...

— Как всегда, на углу... А скажи-ка мне: с ним-то ты еще не спишь?

— Да он еще глупенький, в таких делах толку не знает. Ты что, дурень, вздумал ревновать? Разве не видишь, что мне никого не надо?..

В другой раз Педро высмотрел все-таки Безногого. Тот лежал на траве в саду, перелистывая книжку с картинками, рядом мурлыкал кот. Педро поразился тому, что приятель его одет в серые кашемировые брючки и шелковую рубашку, волосы аккуратно причесаны. Он

остолбенел при виде всего этого и не сразу решил подать ему сигнал, но, придя наконец в себя, свистнул, и Безногий, мигом вскочив, заметил его на противоположном тротуаре. Он сделал ему знак — подожди, мол, — огляделся по сторонам и, увидев, что поблизости никого, вышел из калитки.

Педро шагал по улице, а Безногий следовал за ним в нескольких шагах, потом подошел вплотную, и Педро испытал новое потрясение:

— Ах, чтоб тебя!.. Духами так и разит!

Безногий скорчил унылую мину, но Педро никак не мог успокоиться:

— А вырядился-то! Кот подохнет от зависти! Придешь в таком наряде в «норку» (так называли они свой пакгауз) — все попададут. Еще, пожалуй, влюбится кто-нибудь, береги тогда...

— Ладно, не пыли. Я пока еще присматриваюсь, понял? Скоро скажу, когда вам приходиться.

— Что-то не больно скоро...

— Самое ценное у них под замком.

— Ну, смотри... — сказал Педро и добавил: — Гринго наш все еще так себе, хоть и ползает. Температура держится: тридцать семь. Спасибо, дона Анинья напоила его каким-то настоем, ему сразу полегчало. А то не увидел бы ты его больше. Отощал сильно: одни кости торчат.

С этими словами он и ушел, на прощанье еще раз поторопив Безногого.

А Безногий снова растянулся на траве, взялся за книжку, но вместо картинок увидел перед собой Гринго. Никого в шайке не изводил он так, как этого паренька: тот был арабом, в разговоре смешно коверкал слова, чем давал Безногому нескончаемый повод для издевательств и насмешек. Гринго силой не отличался и потому не мог рассчитывать на заметное место в шайке, хотя Педро Пуля и Профессор очень бы хотели, чтоб одним из вожаков стал иностранец — или почти иностранец. Но Гринго довольствовался малым: подворовывал по мелочам, в рискованные дела старался не ввязываться и мечтал набрать целый ящик всяких безделушек, чтобы продавать их прислуге из богатых домов. Безногий донимал и дразнил его беспощадно: глумился над ним за его странный выговор, за трусоватость. Но сейчас он, красиво и чисто одетый, гладко причесанный, надушенный, лежит на мягкой густой траве, уставившись в книгу с

картинками, а Гринго погибает там, в пакгаузе. Да ведь и не он один. Всю эту неделю Безногий мягко спит, вкусно ест, донна Эстер говорит ему «мальчик мой» и целует, а «капитаны» по-прежнему ходят в отрепьях, голодают, ночуют в дырявом пакгаузе или под мостом. Безногий почувствовал себя предателем. Он ничем не лучше того грузчика, о котором Жоан де Адан даже говорить не хотел — только сплевывал и растирал плевком подошвой, — того грузчика, что во время большой забастовки переметнулся к врагам, стал изменником, помогал вербовать рабочих взамен тех, которые грузить суда отказались. С тех пор ни один портовик не взглянул в его сторону, не протянул ему руки... А Безногий, который ненавидел весь мир, делал исключение только для мальчишек, собравшихся в шайку и назвавших себя «капитанами песка»: они были его товарищами, они были такими же, как он, — жертвами всех остальных людей. И вот теперь ему казалось, что он бросил их, предал, изменил им. Мысль эта так поразила его, что он приподнялся и сел. Нет, он не предал их. У них есть закон: тех, кто нарушает его, изгоняют из шайки, и после этого добра не жди. Но никто еще не нарушал закон так, как собирается сделать это он, Безногий: неужто он и вправду хочет быть барчуком и неженкой, пай-мальчиком — ведь он сам первый всегда издевался над ними? Нет, он не предатель. Трех дней хватило бы, чтоб узнать, где хранятся в доме самые дорогие вещи. Но вкусная еда, чистая одежда, собственная комната и нечто большее, чем еда, одежда и комната — нежность донна Эстер — задержали его здесь на целых восемь дней. Он продан за эту нежность, как тот грузчик — за деньги хозяев. Нет, своих товарищей он не предаст. А дону Эстер? Ведь она верит ему, верит и доверяет. И у нее в доме, как и в портовом пакгаузе, превыше всего блюдут закон: за провинность — карать, за добро — платить добром. А теперь Безногий преступит его, оплатит за добро злом. Он вспомнил, какая радость обуревала его, когда он уходил из дома, в который должны были потом проникнуть «капитаны». А сейчас ему грустно. Он по-прежнему ненавидит всех, кроме своих товарищей, но отныне исключение будет делаться и для обитателей этого особняка, потому что донна Эстер целовала его и называла «мой мальчик». Безногий боролся с собой. Он уже привык к такой жизни. Но как же быть с «капитанами»? Ведь он — один из них, он никогда не перестанет быть членом шайки, по-

тому что придет день, когда солдаты снова примутся истязать его, а человек в жилете утробно захохочет... И Безногий решился. Но потом, с любовью взглянув на окно комнаты донь Эстер, заплакал. Она заметила это: — Что с тобой, Аугусто? — и, отпрыгнув от окна, через мгновение появилась в саду.

Тут только Безногий почувствовал, что лицо у него мокро от слез. Он сердито вытер глаза, кусанул себя за руку, чтоб успокоиться. Дона Эстер подошла к нему совсем близко:

— Ты плачешь, Аугусто? Что-нибудь случилось?

— Нет, сеньора, все в порядке. И я не плачу.

— Зачем ты меня обманываешь, сынок? Разве я не вижу? Что случилось? Ты вспомнил о маме?

Она притянула его к себе, усадила рядом с собой на скамейку, по-матерински нежно привлекла его голову к своей груди.

— Не плачь. Я ведь так тебя люблю и сделаю все, чтобы возместить тебе твои утраты,— говорила она, но Безногий слышал в ее словах: «А себе — свои».

Дона Эстер поцеловала его в мокрую от слез щеку.

— Не плачь, не огорчай свою мамочку.

Тогда крепко сжатые губы мальчика разомкнулись, и он, прижавшись к груди матери, заплакал навзрыд. Он обнимал ее, и не противился ее поцелуям, и горько плакал, потому что завтра же должен был покинуть ее,— не только покинуть, но и ограбить. Она так никогда и не узнала, что Безногий грабил и себя самого. Она так никогда и не узнала, что слезы Безногого были мольбой о прощении.

Отъезд Раула в Рио-де-Жанейро — его призывали туда какие-то важные дела — ускорил события. Безногий решил, что лучшего времени для налета уже не представится.

В тот день он обошел весь дом, погладил кота Брелка, поболтал со служанкой, перелистал книжку с картинками. Потом постучался к доне Эстер, сказал, что пойдет погулять — недалеко, на Кампо-Гранде. Она сказала ему, что Раул обещал привезти ему из столицы велосипед, и тогда он больше не будет ходить пешком, а будет кататься в свое удовольствие. Безногий опустил голову, а потом вдруг подошел к доне Эстер и поцеловал ее. Та была счастлива: ведь раньше этого никогда не бы-

вало. Потом он с трудом, точно вытаскивая из себя каждое слово, проговорил:

— Вы очень хорошая. Я никогда вас не забуду.

Потом вышел из дому и не вернулся. Ночь он провел в пакгаузе, в своем углу. Педро Пуля с дружками отправился в дом адвоката, а все остальные столпились вокруг Безногого, дивясь его нарядному костюму, приглаженным волосам, тонкому аромату одеколона. Но Безногий оттолкнул одного, ударил другого и, что-то злобно бормоча, забился в угол. Там он и просидел, грызя ногти, даже не пытаясь уснуть, до тех пор, пока не вернулись Педро и его сподвижники. Они рассказали, что все прошло на редкость гладко: в доме никто даже не проснулся. Хватятся, наверно, только завтра утром. Педро показал ему золотые и серебряные вещицы:

— Знаешь, сколько нам отвалит за это Гонсалес?!

Безногий зажмурился, чтобы ничего не видеть. Потом, когда все пошли спать, растолкал Кота:

— Давай махнемся!

— Что на что?

— Я тебе отдам эти тряпки, а ты мне — свое барахло.

Кот поглядел на него с изумлением. Он, конечно, был одет лучше всех в шайке, но все это было сильно поношенное и не шло ни в какое сравнение с кашемировым костюмчиком Безногого. «Спятил», — подумал Кот, но язык сам выговорил:

— Давай.

Они обменялись одеждой, и Безногий снова забился в свой угол.

...Доктор Раул идет по улице с двумя полицейскими. Это те самые, что избивали Безногого в тюрьме. Безногий пытается бежать, но Раул показывает на него тем двоим, и они приводят его в камеру. Все повторяется: солдаты, хлеща его резиновыми дубинками, гонят его от стены к стене, а человек в жилете заливается смехом. Только теперь в комнате стоит еще и дона Эстер, стоит и печально смотрит на него и говорит, что отныне — он ей не сын, он — вор. В глазах у нее тоска, которая мучает его сильнее, чем удары, чем издевательский смех...

Он проснулся весь в поту, выскочил из пакгауза в ночную тьму и до рассвета бродил по песчаному пляжу.

Вечером Педро Пуля принес ему его долю, но Безногий, не вдаваясь в объяснения, денег не взял. Потом в пакгаузе появился Вергун с газетой, где опять была напечатана статья про Лампиана. Профессор прочел ее

вслух, потом стал проглядывать другие заметки и вдруг закричал:

— Безногий! Безногий!

Тот подошел. За ним — остальные. Стали в кружок.

— Про тебя пишут,— сказал Профессор и прочел:

Вчера из дома №... по улице... ушел и не вернулся мальчик по имени Аугусто, сын хозяев дома. Предположительно, он заблудился в незнакомом районе. Возраст — 13 лет, сильно прихрамывает, застенчивый, одет в серый кашемировый костюм. Полиция принимает меры по его розыску. Охваченные беспокойством родители просят всех, кто видел его или знает его судьбу, сообщить по указанному адресу за вознаграждение.

Безногий молчал, кусая губу.

— Выходит, еще не обнаружили пропажу,— сказал Профессор.

Безногий только кивнул в ответ. Когда хватятся, искать станут уже не как сына хозяев... Негритенок Барандан скорчил насмешливую гримасу и закричал:

— Родственнички по тебе соскучились, Безногий! Чего ж ты не идешь к мамочке, она тебе даст грудь...

Он не успел договорить,— Безногий подмял его под себя и занес над ним нож. Негритенок вряд ли ушел бы живым, если бы Большой Жоан и Вертун не оторвали от него Безногого. Напуганный Барандан убежал. Безногий, скользнув по лицам ненавидящим взглядом, захромал в свой угол. Педро догнал его, взял за плечо.

— Может, они и вообще ничего не заметят. И на тебя не подумают. Брось, не переживай...

— Доктор Раул вернется, и все сразу обнаружится...

И он зарыдал так, что все остолбенели. Только Педро и Профессор поняли, в чем дело,— один все разводил руками, не зная, как тут помочь, а другой завел долгий рассказ про какой-то давний налет. За стенами пакгауза протяжно завывал ветер, точно жаловался на что-то.

#### УТРО — КАК НА КАРТИНКЕ

Педро Пуля, шагая по спуску Монтанья, думает, что ничего нет на свете лучше, чем бродить вот так, наугад, без цели, по улицам Баии — иные покрыты асфальтом, большая часть вымощена черным камнем. Опершись о подоконники, выглядывают на улицу девушки, и сразу не



понять, то ли романтически настроенная швейка мечтает о богатом женихе, то ли проститутка высматривает клиента с балкона, увитого плющом. Женщины под черными покрывалами входят под своды церквей. Солнце накаляет торцы мостовой, заставляет вспыхивать черепицу на крышах. На балконе одного из домов — множество цветов в убогих жестянках: солнце выдает им положенную на день порцию света. С колокольни церкви Консейсан-да-Прайа несется перезвон, и женщины под черными покрывалами ускоряют шаги. Прямо на мостовой двое — негр и мулат — заняты игрой: негр только что выбросил кости из стаканчика, и оба склонились над ними. Педро Пуля, проходя мимо, приветствует негра:

— Здорово, Сова!

— А-а, это ты, Пуля! Как делишки?

И тотчас отворачивается — пришла очередь мулата бросать кости. Педро продолжает путь. Рядом, подавшись всем своим щуплым телом вперед, одолевает крутой подъем Профессор. Он тоже улыбается этому ликующему дню. Обернувшись на ходу, видит его улыбку Педро. Весь город пронизан солнцем, напоен радостью. «У нас в Баии — каждый день как праздник», — думает Педро, ощущая, что и его душа полнится радостью. Он лихо свистит, хлопает Профессора по плечу. Оба смеются, а потом начинают хохотать во все горло. В кармане у них чуть побрякивают медяки, одеты оба в отрепья и не знают, будут ли сегодня сыты, но зато прелесть этого дня принадлежит им, и они свободны — шагай себе по улицам Баии куда глаза глядят. Вот они и шагают, хохоча сами не зная над чем. Рука Педро лежит на плече Профессора. Отсюда видны им и рынок, и причал, возле которого покачиваются баркасы, и даже старый пакгауз, где они ночуют. Педро, привалившись спиной к стене, говорит Профессору:

— Вот что тебе бы надо нарисовать. Видишь, красота какая...

Профессор мрачнеет:

— Никогда этого не будет.

— Почему?

— Когда я смотрю на все это... — Он показывает на раскинувшуюся внизу гавань: парусники отсюда кажутся игрушечными, а торопливо снующие с мешками за спиной фигурки грузчиков — совсем крошечными. — Мне ужасно хочется нарисовать... — продолжает он так, словно кто-то его обидел.

— Да у тебя ж талант! Тебе б еще подучиться...

— ...но знаю, что этой радости мне не передать.— Профессор как будто не слышит слов друга; глаза его устремлены вдаль, а сам он сейчас кажется еще более щедедушным, чем всегда.

— Почему? — изумляется Педро.

— Видишь, как это прекрасно и радостно? Все ликуют...

— Ярче радуги,— говорит Педро, показывая на россыпь разноцветных крыш Нижнего Города.

— Да. А люди всегда печальны. Я не про богатых говорю, сам понимаешь. Я про тех — с причалов, из порта. Лица у них такие изголодавшиеся, что вся радость сразу меркнет.

Педро Пуля понимает, куда клонит его друг.

— Вот потому Жоан де Адан и устраивает забастовки. Он говорит, что все когда-нибудь перевернется, все будет наоборот.

— Я читал об этом... Жоан дал мне книжку... Хорошо бы, конечно, учиться. Я нарисовал бы тогда замечательную картину. Понимаешь, день вот такой, как сегодня, люди идут веселые, смеются, влюбленные целуются, как тогда, в Назарете, помнишь? Но где мне учиться? Я хочу, чтобы радостно все было, а вот люди у меня всегда получают печальные. Я счастье хочу изобразить, да не выходит...

— А может, то, что у тебя получается,— тоже хорошо? Рисуешь как рисуется. Может, красивей и не надо?

— Откуда ты знаешь? И откуда я знаю? Нас же с тобой никогда ничему не учили. Я хочу нарисовать лица людей, вот эти улицы, но так многого не умею, не понимаю...

Он помолчал, глядя на внимательно слушающего Педро.

— Слышал про школу «Белас-Артес»? Мне один раз удалось туда проникнуть. Ох и здорово там! Все в таких длинных блузах... На меня никто и не взглянул даже. Писали с натуры обнаженную женщину... А я...

Педро задумался о чем-то, окинул Профессора сосредоточенным взглядом, потом сказал очень серьезно:

— Сколько стоит?

— Что «сколько стоит»?

— Ну, обучение там сколько потянет?

— А тебе-то что?

— Мы бы скинулись, заплатили за тебя...

Профессор засмеялся:

— Не мели чепухи, Педро. Знаешь, как трудно туда поступить? Ничего не выйдет...

— Жоан сказал, что придет день, когда мы все сможем учиться.

Они пошли дальше, но теперь сияющий день больше не радовал Профессора, и мысли его витали неизвестно где. Тогда Педро легонько ткнул его в бок:

— А я бьюсь об заклад, что твои картины будут выставлены на улице Чили, хоть ты нигде и не учился. Дело тут не в ученье, а в таланте, а талант у тебя — ого-го!

Оба засмеялись, и Педро продолжал:

— И мой портрет нарисуешь, ладно? Нарисуешь и внизу подпишешь: «Педро Пуля, силач и удалец».

Он принял борцовскую стойку, согнул руки в локтях. Снова засмеялся Профессор, и Педро подхватил его смех. Все веселей и громче хохотали они, пока не наткнулись на кучку зевак, окруживших уличного гитариста. Он перебирал струны и пел:

Ты, уходя, «прощай» сказала,  
и сердце замерло в груди...

Друзья остановились, а потом подхватили. Вместе с музыкантами пели теперь рыбаки, докеры, портовые ребята, гуляющая девчонка. А гитарист, весь отдавшись мелодии, никого не замечал.

Так бы они стояли и пели, совсем забыв о том, куда шли, если бы музыкант, продолжая играть, не двинулся дальше. Он ушел и унес с собой свою музыку. Слушатели разбрелись; пробежал мальчишка-газетчик. Профессор и Педро зашагали по направлению к Верхнему Городу. Пересекли Театральную площадь, поднялись на улицу Чили, и здесь Профессор, достав из кармана мелок, уселся на тротуаре. Педро пристроился рядышком. Когда невдалеке показалась парочка, Профессор начал рисовать, торопясь изо всех сил. Пара приближалась, и он теперь отделял лица. Девушка улыбалась. Жених и невеста, ясное дело. Но оба были так поглощены разговором, что чуть было не прошли мимо, не поглядев на рисунок. Педро пришлось вмешаться:

— Не наступите на свою девушку, сеньор...

Кавалер хотел уже шугануть его, но девушка взглянула себе под ноги;

— Ой, как хорошо! — и захлопала в ладоши, точно маленькая девочка, которой подарили куклу.

Посмотрел на рисунок и юноша. Улыбнувшись, обернулся к Педро:

— Это ты нарисовал?

— Вот он — знаменитый художник по имени Профессор.

Знаменитый художник тем временем отделявал его закрученные усики, а потом стал растушевывать фигуру, его спутницы. Та позировала ему, опираясь на руку кавалера, и оба заливались смехом. Молодой человек вытащил кошелек и бросил мальчишкам серебряную монету в два мильрейса. Педро подхватил ее на лету. Парочка удалилась. Двойной портрет остался на мостовой. Как-то девицы, заметив его издали, устремились к нему, восклицая:

— Это, наверно, реклама нового фильма с Берримором! Говорят — чудо! А этот Берримор — такой красавец!..

Педро и Профессор рассмеялись и в обнимку беззаботно зашагали по улицам Баии.

На этот раз они остановились почти у самого правительственного дворца. Профессор с мелком наготове ждал, когда из трамвая выйдет достойная модель — «гусь» на их языке. Педро что-то насвистывал, прохаживаясь неподалеку. Вскоре они набрали денег на приличный обед, да еще хватило на подарок Кларе, возлюбленной Богумила, — у нее был день рождения.

Какая-то старушка дала им за свой портрет десять тостанов. Старушка была совсем нехороша собой, — и Профессор ничем ей не польстил.

— Сделал бы ее по красивше да помоложе, она, глядишь, и расщедрилась бы.

Так провели они утро: Профессор рисовал портреты прохожих, Педро ловил мелочь, а иногда и серебро. Около полудня на улице показался какой-то мужчина, куривший сигарету в длинном, должно быть, дорогом мундштуке. Заметив его, Педро поспешил предупредить художника:

— Гляди, гляди, вот это «гусь». От денег небось карман лопается.

Профессор стал набрасывать мелом тощую фигуру прохожего, торчащий мундштук, крутые завитки волос, спускавшиеся из-под шляпы. Под мышкой он нес книгу, и Профессор почувствовал непреодолимое желание изо-

бразить его читающим. Курильщик уже прошел мимо, но Педро окликнул его:

— Взгляните на свой портрет, сеньор.

— Что? — рассеянно переспросил тот, вытащив из рта мундштук.

Педро показал ему на рисунок, над которым продолжал трудиться Профессор: прохожий был изображен сидящим (стула под ним не было, и потому казалось, что он парит в воздухе), кольца волос из-под полей шляпы, сигарета в зубах, книга в руках. Человек внимательно рассматривал себя, склоняя голову то к одному плечу, то к другому, молчал. Когда же Профессор разогнулся, сочтя работу завершенной, тот спросил:

— Дорогой мой, где ты учился рисунку?

— Нигде...

— Как это «нигде»?

— Да вот так.

— А как же ты рисуешь?

— Так и рисую. Придет охота порисовать, я и рисую.

Прохожий глядел на него недоверчиво, но тут на память ему пришли схожие случаи:

— То есть ты утверждаешь, что нигде и ни у кого не учился?

— Нигде и ни у кого.

— Он не врёт, — вмешался в разговор Педро. — Мы живем вместе, я все про него знаю.

— Настоящий дар божий... — прошептал тот.

Он снова впился глазами в свой портрет. Глубоко затынулся и выпустил клуб дыма. Мальчишки как зачарованные смотрели на его мундштук. Наконец он нарушил молчание:

— Почему ты нарисовал меня читающим?

Профессор, не зная что ответить, почесал в затылке. Педро открыл рот, но ничего не сказал: он был совсем сбит с толку.

— Я думал, так будет лучше, — наконец выдал из себя Профессор, снова почесав в затылке. — Ей-богу, не знаю...

— Дар божий... — еще раз прошептал человек с мундштуком: вид у него был такой, точно он совершил открытие.

Педро ждал, когда же тот полезет за кошельком: полицейский на углу давно уже посматривал на них с подозрением. Профессор не сводил восторженных глаз с

мундштука — вот чудо из чудес. Но прохожий все не уходил.

— Где ты живешь? — спросил он.

Педро не дал Профессору и рта открыты:

— В Сидаде-да-Палья.

Прохожий достал из кармана визитную карточку...

— Читать умеешь?

— Умеем, сеньор, — отвечал тот.

— Вот здесь указан мой адрес. Разыщи меня. Может быть, что-нибудь удастся для тебя сделать.

Профессор взял карточку. К ним уже направлялся полицейский. Педро стал прощаться.

— Счастливо оставаться, сеньор доктор!

Тот полез было за кошельком, но, перехватив взгляд Профессора, выбросил сигарету, а мундштук протянул мальчику:

— Вот тебе в уплату за портрет. Итак, я жду тебя.

Но мальчишек как ветром сдуло: полицейский был уже в двух шагах. Прохожий растерянно посмотрел им вслед.

— У вас что-нибудь пропало, сеньор? — раздался под ухом голос полицейского.

— Нет. А почему вы спрашиваете?

— Да эти оборванцы терлись возле вас...

— Но это же дети. А у одного — удивительный талант рисовальщика.

— Жулье! — отрубил полицейский. — Они из шайки «капитанов песка».

— «Капитанов»? — сморщил лоб прохожий. — Позвольте, я что-то читал про них. Это, кажется, бездомные дети, оставленные на произвол судьбы?

— Говорю вам, воры они! Осторожней надо быть, сеньор, когда они к вам приближаются. Посмотрите, на месте ли у вас бумажник и часы.

Прохожий отмахнулся и оглядел улицу, но она была пуста. Он еще раз заверил полицейского, что ничего не пропало, и двинулся вниз, шепча себе под нос:

— Вот так и погибают недюжинные дарования... Какой художник получился бы из него.

Полицейский проводил его взглядом и заметил, обращаясь, очевидно, к пуговицам своего мундира:

— Правильно говорят, что у поэтов не все дома.

Профессор рассматривал мундштук. Сейчас они с Педро сидели у черного хода в шикарный ресторан, по-

мещавшийся в небоскребе. Педро знал, как выманить у повара остатки от обедов, и теперь они ждали, когда он вынесет им поесть. Окончив трапезу, достали сигареты, и Профессор решил опробовать подаренный мундштук, предварительно почистив его:

— Тот чудак был тощий как скелет... А вдруг у него чахотка?

Не найдя ничего подходящего, он свернул в трубочку визитную карточку, как шомполом, повертел ею в мундштуке и выбросил.

— Ты зачем выкинул? — спросил Педро.

— А на что она мне? — засмеялся Профессор. Педро тоже стало смешно, и некоторое время над пустынной улицей звучал их хохот. Смеялись они просто так, без причины — приятно было посмеяться.

— А ведь этот дядька мог бы тебе помочь, — сказал Педро, вдруг оборвав смех. Он подобрал карточку и прочел напечатанную на ней фамилию. — Спрячь-ка лучше. Пригодится.

— Хватит вздор-то молоть, Педро... — понуро ответил тот. — Как будто сам не знаешь, что нам всем одна дорога — по карманам шарить, по квартирам лазить... Кому до нас есть дело? Кому, я тебя спрашиваю? Только ворьем мы станем, только ворьем! — И в его голосе зазвучала ярость.

Педро кивнул и разжал пальцы. Карточка упала на мостовую. Больше они уже не смеялись, хотя напоенное солнцем утро было по-прежнему радостно и прекрасно. Утро было — как с картины кого-нибудь из выпускников школы «Белас-Артес».

Мимо шли с обеда рабочие: вот и все, что видели двое друзей, вот и все, что удавалось им разглядеть в это утро.

## ОСПА

Богиня Омолу поразила Баию черной оспой. Но богатые люди, жившие в кварталах Верхнего Города, сделали себе прививки, а Омолу была родом из дремучих африканских лесов и в таких тонкостях, как вакцина, не разбиралась. И оспа ринулась в кварталы бедняков, поражая их, покрывая их тела язвами. Потом появлялись санитары, хватали заболевших и в мешках увозили в отдаленные больницы. Женщины плакали, ибо знали, что никогда больше не увидятся со своими мужьями.

Да, богиня наслала черную оспу на богачей: откуда ей, дикой богине из африканских лесов, было знать о вакцине и прочих достижениях науки?! Но сделанного не воротишь, черная смерть сорвалась с привязи и пошла гулять по городу, и Омолу ничего уже не оставалось, как разрешить ей делать свое дело. Но все же богине жаль стало неимущих своих детей, и она превратила черную оспу — в ветряную, глупую и безобидную болезнь не опасней кори. Но санитары все равно продолжали врывать в дома бедняков и забирать больных в лазареты за городской чертой. Навещать их не полагалось, и больные по целым дням никого не видели, о смерти их никому не сообщали, а если кто-то чудом возвращался домой, на него глядели как на воскресшего из мертвых. Газеты писали об эпидемии и о необходимости поголовного оспопрививания. На кантомбле день и ночь грохотали барабаны — нужно было умиловить грозную богиню, утишить ее гнев. Но Омолу была непреклонна, Омолу сопротивлялась вакцине.

В жалких домишках бедняков плакали женщины от страха перед заразой, от страха перед больницей.

В шайке первым заболел Алмиро. Однажды ночью, когда негритенок Барандан, невзирая на строжайший запрет Педро Пули, пробрался к Алмиро в угол, тот пожаловался:

— Ужас как все тело чешется, — и показал покрытие нарывами руки. — Кажется, у меня жар.

Барандан был паренек не робкого десятка, все это знали. Но унаследованный от многих поколений африканских предков ужас перед оспой, перед недугом Омолу, был у него в крови. И потому, забыв про то, что его отношения с Алмиро могут стать всем известны, он шараясь в сторону, натываясь на спящих и вопя:

— У Алмиро — оспа! У Алмиро — оспа!

Все повскакали на ноги и с опаской подошли к больному. Алмиро зарыдал. Педро Пуля еще не вернулся. Не было ни Профессора, ни Кота, ни Большого Жоана, так что командование принял на себя Безногий. В последнее время он ходил мрачнее тучи, почти ни с кем не разговаривал, а если раскрывал рот, то лишь для того, чтобы поиздеваться над кем-нибудь, затеять ссору с каждым, кто подвернется под руку. Исключение он делал лишь для Педро. Леденчик молился за него горячее и чаще, чем за остальных, и временами с ужасом думал, что Безногого обуял нечистый. Падре Жозе Педро был



с ним, как всегда, кроток и терпелив, но Безногий сторонился его: он знать никого не хотел, а если встречал в чей-нибудь разговор, то через минуту начиналась драка.

Когда он направился к Алмиро, все поспешно расступились перед ним: Безногий внаштал мальчишкам не меньший страх, чем оспа. Несколько дней назад в пакгауз забежал изголодавшийся щенок: сначала Безногий мучил его, но потом привязался, полюбил и теперь постоянно возился с ним, словно в нем заключался для него смысл жизни. Вот и теперь он отвел пса подальше от Алмиро, а потом вернулся к больному. «Капитаны» старались близко не подходить, издали разглядывали нарывы, покрывавшие его грудь. Прежде всего Безногий гнусавым голосом пообещал Барандану:

— Ага, негр безмозглый, ты с ним путался,— теперь и у тебя высыпет на этом самом месте.

Барандан поглядел на него с ужасом. Потом Безногий заявил, обращаясь ко всем:

— Что ж, и нам по милости этого сосунка прикажете оспой болеть?

Мальчишки выжидательно молчали. Алмиро, закрыв лицо руками, прижавшись к стене, плакал навзрыд. Безногий продолжал:

— Он сию минуту уйдет отсюда. Понял, Алмиро? Уйдешь из пакгауза, сядешь где-нибудь на улице, чтобы эти кошколовы-санитары тебя подобрал и свезли в больничку.

— Нет! Нет! — закричал в ужасе Алмиро.

— Не нет, а да. Сюда мы их звать не будем: незачем им знать, где наша «норка». А ты собери все свое барахло и выметайся отсюда к чертовой матери, пока всех не перезаразил.

Алмиро все твердил «нет, нет!» и рыдал все громче. Негритенок Барандан дрожал всем телом, Леденчик сказал, что это божья кара за грехи, остальные замерли в растерянности. Безногий уже собрался силой выкинуть Алмиро за порог, но тут Леденчик, крепко прижав к груди образок Пречистой Девы, воскликнул:

— Надо молиться! Это господь карает нас за наши прегрешения! Мы погрязли в грехах, вот господь и покарал нас. Молитесь! Вымаливайте прощения! — Звучный голос его возвещал еще большие беды.

Кое-кто молитвенно стиснул ладони, и Леденчик начал читать «Отче наш». Но Безногий отпихнул его в сторону:

— Сгинь, святоша!

Но тот продолжал молиться вслух. Алмиро плакал и повторял: «Нет! Нет!» Остальные стояли в растерянности. Барандан трясся от страха, думая, что уже подцепил заразу.

— Ну, вот что,— снова заговорил Безногий.— Добром не пойдешь — мы тебя выкинем силой. А иначе все подохнем! Вы что, не понимаете? Надо убрать его отсюда, а на улице его подберут санитары, свезут в больницу.

— Нет. Нет. Ради бога, нет,— всхлипывал Алмиро.

— Это кара...— твердил Леденчик.

— Заткни глотку! — прикрикнул Безногий.— Бери его, ребята, раз сам не хочет идти.

Видя, что «капитаны» мнутя в нерешительности, он подошел к Алмиро и уже приготовился дать ему пинка:

— Кому сказано? Проваливай вместе со своими болячками!

Алмиро съезжился.

— Нет! Ты не имеешь права, Безногий! Я тоже — «капитан». Пусть Педро придет...

— Это божья кара, божья кара...— повторял Леденчик, и Безногий, вконец разъярившись от этих слов, пнул Алмиро ногой:

— Убирайся, зараза! Убирайся, херувимчик!

Но в эту минуту кто-то схватил его за плечо и отшвырнул в сторону.

Это был Вертун с револьвером в руке. Он загородил Алмиро собой, глаза его сверкали, как вспышки выстрелов.

— Кто подойдет — схлопочет пулю! — сказал он, с мрачной угрозой оглядывая лица стоявших перед ним.

— Какого черта ты вылез? — Безногий все еще надеялся переломить ход дела в свою пользу.

— Алмиро — член шайки. Он — наш. Он правильно говорит. Выкидывать его вон я не позволю. Что он — солдат, «фараон»? Дождемся Педро, ему решать. А до его прихода чтоб никто не смел трогать Алмиро,— пристрелю, как легавого.

«Капитаны» разбрелись кто куда. Безногий сплюнул с досады:

— Все вы — погань трусливая...— и отошел. Он улегся на полу рядом со своей собакой, и те, кто находился поблизости, слышали, как он бормотал: «Труссы, труссы».

Вертун, не выпуская из рук револьвера, стоял, загоразживая собой Алмиро, а тот продолжал плакать, погля-

дывая на язвочки, усеявшие все его тело. Леденчик молился, прося господа явить не справедливость, но милосердие.

Потом он вспомнил о падре Жозе Педро и опрометью выбежал из пакгауза. Но и торопясь к дому падре, он продолжал молиться, и страх перед гневом бога застилал ему глаза.

Через некоторое время вернулся Педро Пуля в сопровождении Профессора и Большого Жоана. Предприятие их увенчалось успехом, и они, смеясь, обсуждали подробности. Кот — он тоже ходил с ними — заглянул по дороге к Далве. Войдя в пакгауз, тройца прежде всего увидела Вертуна с револьвером в руке.

— Это еще что такое? — спросил Педро.

Безногий поднялся и вместе со своим псом подошел к ним.

— Вертун, тварь сертанская, не дает нам сделать как решили. — Он кивнул в сторону Алмиро. — У нашего ангелочка — оспа.

Большой Жоан съежился. Педро поглядел на Алмиро, Профессор шагнул к Вертуну.

— Расскажи, как было дело, — велел Педро.

— Малец подцепил проклятую заразу. — Вертун показал на плачущего Алмиро. — А сволочь Безногий — хуже полицейского — хотел выкинуть его на улицу, чтоб санитары забрали. Я до поры не вступал. А тот не хочет идти. Тогда все они, — он сплюнул, — решили выбросить его. А он говорит: подождите, Педро придет, рассудит. Я подумал: он верно говорит, и вступился. Нельзя так со своими поступать, это ж не полицейский...

— Ты хорошо сделал, Вертун, — хлопнул его по плечу Педро. — Так у тебя оспа?.. — спросил он у Алмиро.

Тот только кивнул, сотрясаясь от рыданий.

— А что ж мы можем сделать? — крикнул Безногий. — Сюда санитаров не позовешь: завтра же вся Баия будет знать, где скрываются «капитаны песка». Надо отвести его в город. Хочешь не хочешь, а надо...

— Не твое дело решать! — сказал Педро. — Чего ты раскомандовался? Отойди, пока я тебе не двинул.

И Безногий, бормоча что-то себе под нос, отошел. Щенок завозился у его ног, он пнул его, но тотчас,

пожалев, притянул к себе и стал гладить, не переставая наблюдать за тем, что происходило рядом.

А Педро Пуля подошел к Алмиро. Большой Жоан тоже было шагнул за ним, но не совладал с собой: страх перед оспой, живший в его душе, перебивал даже его доброту. Рядом с Педро оказался один Профессор.

— Покажи-ка,— сказал он Алмиро

Тот вытянул руки, сплошь покрытые язвочками.

— Пустяки,— облегченно вздохнул Профессор.— Когда настоящая оспа, нарывы сразу чернеют...

Педро размышлял. Молча прошелся по пакгаузу. Большой Жоан все-таки сумел победить свой страх и медленно, точно каждый шаг давался ему с невероятным трудом, подошел к Алмиро поближе. В эту минуту в двери влетел Леденчик, а за ним — падре. Он поздоровался, спросил, кто заболел. Леденчик показал на Алмиро, и падре опустился рядом с ним на пол, взял его руку, внимательно осмотрел. Потом сказал Педро:

— В госпиталь надо.

— В больницу?

— Да.

— Нельзя,— ответил Педро.

Безногий снова оказался рядом с ними.

— А я о чем толкую столько времени?! В больницу, в больницу!

— Никуда он не пойдет,— повторил Педро.

— Но почему, сын мой? — спросил падре.

— А потому, ваше преподобие, что из больницы никто еще не возвращался. Никто, понимаете? Алмиро — один из нас. Мы не можем это сделать.

— Но ведь есть закон...

— Умирать?

Падре смотрел на вожака «напитанов» широко раскрытыми глазами. Эти бездомные мальчишки словно задались целью каждый раз ошеломлять его: они гораздо умней, чем кажутся. А в глубине души он знал, что они правы.

— Никуда он не пойдет,— сказал Педро.

— Ну и что ж тогда ты собираешься делать?

— Сами выходим.

— Как?

— Позову матушку Анинью.

— Она не умеет лечить оспу...

Педро растерялся и только после долгого молчания сказал:

— Все равно... Пусть лучше умрет здесь, чем в ла-варете.

— Да он же всех перезаразит! — снова вмешался Безногий.— Мы все заболеем...— кричал он, обращаясь к остальным членам пайки.— Нельзя его оставлять!

— Заткнись, сволочь! — взвился Педро.

— А ведь он прав,— тихо сказал падре.

— Мы не отдадим его в больницу. Вы же добрый человек, падре, как вы не понимаете, что там-то он наверняка погибнет. Из этих барачков живыми не вы-ходят.

Падре знал, что это правда, и молчал, смешавшись.

Тут подал голос Большой Жоан:

— А родных у него нет?

— У кого?

— У Алмиро. Есть, я вспомнил!

— Не пойду я домой,— снова зарыдал тот.— Я сбе-жал оттуда!

Педро наклонился к нему и ласково произнес:

— Успокойся, Алмиро. Сперва я схожу, поговорю с твоей матерью. Потом мы отведем тебя. Там вылечишься и ни в какую больницу не пойдешь. А падре пригласит доктора, так я говорю, ваше преподобие?

— Так,— отвечал падре Жозе Педро.

Существовал закон, в соответствии с которым граж-дане были обязаны извещать органы здравоохранения о всех случаях заболевания оспой, чтобы больные были не-медленно изолированы. Падре Жозе Педро этот закон был известен, но он снова нарушил его, став на сторону «капитанов песка».

Мать Алмиро вместе со своим любовником жила за Сидаде-да-Палья: она была прачкой, сожитель ее ковы-рялся на своем крошечном наделе. Когда Педро разы-скал ее, она едва не сошла с ума. Алмиро тотчас забра-ли из пакгауза, а вскоре падре привел врача. Однако, на беду, врач этот приискивал себе доходное местечко в го-родском санитарном управлении и потому немедленно сооб-щил о больном куда следует. Алмиро все-таки увезли в больницу, а над головой падре стали собираться тучи: врач (он всем представлялся вольнодумцем, а на деле был порядочным мракобесом) донес и на него, обвинив в ук-рывательстве. Власти передали дело в канцелярию архиепископа. И вскоре падре был вызван к канонику, возглавлявшему это почтенное учреждение, и явился туда, не предвидя для себя ничего хорошего.

Тяжелые шторы, кресла с высокой спинкой, на одной стене — портрет Игнатия Лойолы, на другой — распятие. Длинный стол, дорогие ковры. Когда падре Жозе Педро вошел в эту комнату, сердце его билось учащенно. Причины вызова были ему не совсем ясны, и поначалу он подумал даже, что вызван в епископский дворец для получения прихода, который он бесплодно ждал уже больше двух лет. «Неужели наконец получу приход?» — подумал он, и на губах его заиграла счастливая улыбка. Вот когда наконец он станет настоящим священнослужителем и души прихожан будут всецело вверены его попечению и духовному руководству. Вот когда он обретет полное право служить господу. Но как же оставить детей — бездомных и беспризорных детей Баии? — думал он, и к радости его примешивалась легкая печаль. Ведь он — один из немногих друзей этих мальчишек. Падре, который займет его место, возиться с ними не будет. Прочтет после обедни воскресную проповедь в колонии — и делу конец, а мальчишки — они и так-то не слишком жалуют священников — будут злиться оттого, что в этот день получают свою похлебку на полчаса позже. В ожидании приема падре Жозе Педро погрузился в невеселые размышления о своих подопечных. Нельзя сказать, что успехи велики, но ведь следует учесть, что начинал он на пустом месте и часто был вынужден поворачивать вспять. И выжидать удобного случая. Лишь совсем недавно удалось ему полностью завоевать доверие «капитанов»: ничего, что они не принимают всерьез его сан, — важно, что относятся к нему как к другу. А для этого падре приходилось не раз поступаться своими принципами... Не беда: если хотя бы Леденчик оправдает его надежды, все простится. Случалось, что падре поступал вопреки тому, чему его учили, и даже совершал такое, что церковь осуждает. Но ведь ничего другого ему не оставалось... Вот тут-то он и сообразил, что вызвали его скорей всего как раз из-за этих мальчишек. Конечно, из-за них! Богомолки давно уже чешут языки насчет странной дружбы падре с малолетними жуликами... А тут еще эта история с Алмиро. Теперь можно не гадать о причинах вызова — дело ясное. Осознав это, падре Жозе Педро сильно испугался. Его строго накажут, и, разумеется, никакого прихода он не получит. А как он ему нужен!.. Ведь у него на руках — старуха мать, и сестра учится в педагогическом институте, — ей тоже надо помогать... И тут же подумал о том, что, быть может, все

делал не так, как надо, и архиепископ им недоволен. А в семинарии его учили повиновению... И снова на ум пришли беспризорные байянские мальчишки, мелькнули перед глазами лица Леденчика, Профессора, Педро, Безногого, Долдона, Кота. Их надо спасти, они еще дети... О детях сильнее всего тревожился Иисус Христос. Во что бы то ни стало их надо спасти! Не по своей вине творят они зло...

В эту минуту вошел каноник. Падре был так глубоко погружен в размышления, что совсем забыл о времени и не знал, давно ли сидит здесь. Не сразу заметил он и вошедшего неслышными шагами каноника. Тот был высок ростом, худощав, угловат, одет в чистейшую сутану, редкие волосы тщательно приглажены, губы плотно сжаты. На шее висели четки. Весь облик его дышал святостью, и это не противоречило суровому взгляду, резким чертам лица, строго поджатым губам. Каноник не внушал симпатии; безупречность отделяла его от всего мира как панцирь, наглухо. Говорили, что он человек большого ума и строгих правил, блистательный проповедник, восхищались его незапятнанной репутацией. Остановившись, он внимательно оглядел приземистую фигуру падре, его грязную, в двух местах заштопанную сутану, заметив и его робкую позу, и то выражение добродушной простоватости, которое всегда было на его лице. За эти несколько минут каноник без труда прочел в бесхитростной душе падре все, что было ему нужно. Потом кашлянул. Падре Жозе Педро увидел каноника, вскочил, почтительно поцеловал ему руку.

— Садитесь. Мне надо с вами поговорить.

Ничего не выражавший взгляд скользнул по лицу падре. Каноник сел, стараясь, чтобы грязная сутана посетителя не прикасалась к его собственной — опрятной и отглаженной, скрестил руки на груди. Его голос удивительно не вязался со всем его обликом: он звучал с какой-то почти женственной мягкостью, но в каждом слове ясно чувствовалась непреклонная воля. Падре, склонив голову, ждал, когда каноник заговорит. И тот заговорил:

— На вас поступили весьма серьезные жалобы.

Падре Жозе Педро попытался изобразить на лице недоумение, но задача была ему явно не по силам, тем более что он продолжал думать о «капитанах». Губы каноника тронула легкая улыбка:

— Думаю, вы понимаете, о чем идет речь...

Падре смотрел на него широко открытыми глазами, но, спохватившись, потупился.

— Наверно, о детях...

— Грешник не может скрыть своего прегрешения, оно неотступно стоит перед его мысленным взором... — проговорил каноник, и при этих словах даже подобие сердечности исчезло.

Жозе Педро затрепетал. Начинается то, чего он так боялся: священнослужители, которым он обязан подчиняться и которые могли постичь истинную волю господя, считают, что он вел себя неправильно. Он трепетал не перед каноником, и не потому, что боялся гнева архиепископа: падре Жозе Педро страшился нанести обиду богу. И даже руки у него задрожали.

Голос каноника вновь смягчился, — он звучал теперь мягко и нежно, как у женщины — как у женщины, которая говорит мужчине, что никогда не будет принадлежать ему:

— Да, падре, нам неоднократно жаловались на вас, но его преосвященство закрывал на это глаза в надежде, что вы сами осознаете свои заблуждения и исправитесь...

Взгляд его был суров. Падре Жозе Педро опять опустил голову.

— Не так давно мы получили жалобу вдовы Сантос. Оказывается, вы не препятствовали банде каких-то мальчишек издеваться над нею. Точней говоря, вы даже подстрекали этих хулиганов. Что вы мне на это ответите, падре?

— Это неправда, сеньор каноник.

— Вы хотите сказать, что вдова Сантос лжет?

Каноник сверлил его глазами, но на этот раз падре выдержал его взгляд и повторил:

— Это неправда.

— Вам, должно быть, известно, что вдова Сантос — одна из самых ревностных и богобоязненных наших прихожанок, защитница благочестия и веры. Вам известно, как щедро она жертвует?..

— Я объясню, как было дело...

— Не перебивайте меня. Разве вас не учили в семинарии смиренно и почтительно слушать тех, кто призван руководить вами на стезе священнослужения? Впрочем, мне припоминается, что вы не были в числе первых учеников...

Падре Жозе Педро знал это, и не было необходимости напоминать, что в семинарии он считался из послед-



них. Именно поэтому так боялся он совершить ошибку и оскорбить господа. Наверно, каноник прав: ведь он такой умный и так близок к господу, а это — больше чем ум, это высшая мудрость.

Каноник сделал небрежное движение, точно отбрасывая прочь историю со вдовой, и голос его опять зазвучал проникновенно и мягко:

— Теперь перейдем к гораздо более серьезному делу. По вашей вине, падре, у нас возникли трения с городскими властями. Вам известно, что вы натворили?

Падре и не пытался отрицать:

— Вы про мальчугана, захворавшего ветрянкой?

— Оспой, падре, оспой. Вы скрыли это от санитарных властей...

Вера падре Жозе Педро в милосердие божье была беспредельна. Он часто думал, что господь не осудит его за то, что он делал. И сейчас эта вера придала ему сил выпрямиться и взглянуть в лицо каноника.

— Вы знаете, что такое лепрозорий?

Каноник не ответил.

— Оттуда возвращаются единицы. А тут — мальчик, ребенок... Отправить его в бараки — все равно что совершить убийство!

— Это не наше дело, — произнес каноник тусклым, лишенным интонаций голосом, однако очень убежденно. — Это компетенция санитарного управления. А мы обязаны уважать закон.

— Даже если этот закон противоречит милосердию господа?

— Что вы знаете о милосердии господа? Не переоцениваете ли вы свой разум, берясь судить о божественных предначертаниях? Вас обуяла гордыня.

— Я хорошо знаю, что я — невежда, недостойный служить богу, — попытался объяснить падре Жозе. — Но эти дети растут как трава, до них никому нет дела, и потому я намеревался...

— Доброе намерение не оправдывает дурных поступков, — прервал его каноник, и мягкость, с которой он произнес эти слова, противоречила заключенной в них непреклонности.

Падре опять почувствовал душевное смятение, но, обратив помыслы к богу, сумел овладеть собой:

— Что же дурного в моих поступках? С этими мальчиками никто и никогда не говорил всерьез о боге. Они не имеют представления о вере, они валят в одну кучу

святых и негритянских идолов. Я хотел спасти заблуждающихся...

— Я ведь уже сказал вам, что вы действовали из благородных побуждений, но деяния ваши оказались пагубны...

— Но ведь вы не знаете этих мальчишек! — воскликнул падре и тотчас почувствовал на себе острый взгляд каноника. — Они еще дети по годам и взрослые по образу жизни. Они ведут себя как мужчины, они уже познали и испытали всю житейскую грязь и мерзость... Для того чтобы не отпугнуть их, мне и приходилось иногда поступать против совести.

— Вы пошли у них на поводу.

— Да, мне случалось подчиняться им в мелочах, но лишь затем, чтобы достичь успеха в целом.

— Вы закрывали глаза на преступления этих выродков и тем самым одобряли их.

— Да в чем же они виноваты?! — Падре вдруг вспомнились слова Жоана де Адана. — Кто заботится о них? Кто их учит и наставляет? Кто им помогает? У кого найдется для них доброе слово? — Падре был так возбужден, что каноник, не переставая сверлить его глазами, отодвинулся подальше. — Они воруют, чтобы не умереть с голоду, а состоятельные люди предпочитают швырять деньги, жертвовать на церковь и даже не вспоминают о том, что рядом с ними голодают дети! В чем же их вина?..

— Прошу вас замолчать, — повелительно произнес каноник. — Если бы я не знал вас, то подумал бы, что слышу коммуниста. Да и нетрудно стать коммунистом, потершись среди этого сброда и наслушавшись всяких бредней... Вы и впрямь коммунист, падре, вы — враг церкви.

Жозе Педро глядел на него в ужасе. Каноник поднялся, простер к нему руку.

— Хочу верить, что господь в неизреченном милосердии своем простит ваши слова и поступки. Вы оскорбили бога и церковь! Вы запятнали бесчестьем одеяние священнослужителя. Вы попрали законы государства и церкви. Вы действовали как коммунист. И поэтому мы не можем доверить вам приход. Ступайте, — тут голос его, не потеряв властных, не допускающих возражений интонаций, вновь зазвучал мягко, — ступайте, покайтесь в своих грехах, всецело посвятите себя добрым католикам вашей церкви, выбросьте из головы эти коммунисти-

ческие бредни — иначе мы будем вынуждены принять более суровые меры. Неужели вы думаете, что господь одобряет ваши поступки? Взгляните на себя трезво: вам ли пытаться проникнуть в сокровенный смысл божественных откровений?..

Он повернулся к Жозе Педро спиной и направился к двери. Падре в растерянности сделал два шага следом, хрипло, как в удушье, проговорил:

— Среди них есть мальчик, который хотел бы стать священником...

— Наш разговор окончен, падре. Вы свободны. Да вразумит вас господь.

Но падре Жозе неподвижно стоял еще несколько минут, словно хотел что-то сказать, но так ничего и не произнес, только глядел на дверь, за которой скрылся каноник. Он ни о чем не мог думать и стоял в своей грязной, заплатах сутане, чуть подавшись вперед, все еще протягивая вслед ушедшему руки, широко открыв испуганные глаза, беззвучно шевеля подрагивающими губами. Тяжелые шторы не пропускали в комнату солнечный свет. Со всех сторон Жозе Педро обступала тьма.

Коммунист... Бродячие музыканты на удивление слаженно и стройно играли какой-то старинный вальс: «Душа моя тоскует, спаси меня господь...»

Падре Жозе Педро прислонился к стене. Каноник сказал, что не ему пытаться постичь волю божью. Каноник сказал, что он глуп, что поет с голоса коммунистов. Слово «коммунист» не давало падре покоя. Священники со всех амвонов проклинали тех, кого называют так. И вот теперь назвали и его... А каноник умен и учен и потому близок господу: ему легко услышать божий глас. Да, он, падре Жозе Педро, совершил ошибку, впустую убил два года, два тяжких года... Он хотел помочь сбившимся с пути детям. Неужто они и впрямь сами виноваты во всех своих бедах? Христос... Лучезарный, вечный юный образ... Он слышал, что и Христа считали революционером и он тоже любил детей. Горе тому, кто причинит зло ребенку. А вдова Сантос — защитница святой веры... Значит, и ей слышен голос с небес? Два года впустую... Конечно, ему приходилось идти на уступки, а как же было иначе завоевать доверие этих мальчишек? Они не похожи на других детей. Они знают все на свете, всю грязь и мерзость жизни, всю ее изнанку. И все-

таки остаются детьми. Но разве можно было обращаться с ними как с теми мальчиками, что получают в иезуитском коллеже первое причастие? У тех и мать, и отец, и сестры, и наставники, и исповедники, и еда, и одежда — все есть... Но смеет ли он даже в мыслях спорить с каноником? Каноник умен и учен, ему внятен глас господа. Он близок господу. А он, падре Жозе Педро?.. «Вы не были в числе первых учеников»... Он скверно учился, бог скудно наделил его способностями... Станет ли господь являть истину невежде? Да, он слушал речи грузчика Жоана... Выходит, он сам — вроде него?.. Он — коммунист? Но коммунисты — дурные люди, коммунисты хотят погубить страну. А грузчик Жоан честен и добр. И все же он коммунист. А Христос? Нет, нет, об этом страшно и думать... Каноник разбирается во всем этом куда лучше недоучки падре в заплатанной сутане. Каноник умен, а господь — это высшая мудрость... Но Леденчик хочет стать священником... Это — истинное его призвание. Но ведь он погряз в грехах, он ворует, шарит по карманам, тащит все, что плохо лежит... Это не его вина... Он, падре, говорит как коммунист... А почему вон тот катит мимо в автомобиле, дымит дорогой сигарой?.. Он говорит как коммунист, сказал каноник. Простит ли ему господь?

Падре Жозе Педро стоит, прислонившись к стене. Замирают последние звуки музыки, — оркестр уходит. Глаза его широко открыты.

...Да, господь иногда говорит и с самыми невежественными из чад своих. С самыми неучеными... Пусть я — невежда. Выслушай меня, господи! Ведь это дети, несчастные дети! Что могут они знать о добре и зле, если никто никогда не объяснял им, что это такое? Матери никогда не гладили их по голове, отцы никогда не говорили с ними. Господи, они ведь и вправду не ведают, что творят. Вот почему я — с ними, вот почему я поступал так, как хотели они...

Падре воздевает руки к небу.

Неужели если ты попытался хоть немножко скрасить жизнь этим обездоленным — значит, стал коммунистом? Спасать их погибающие души, выправлять их искалеченные судьбы — значит быть коммунистом? Раньше из них вырастали только жулики, карманники, в лучшем случае — портовая шпана или сутенеры. Я хочу, чтобы они познали вкус честно заработанного хлеба, чтобы стали порядочными людьми... А из колонии они выходят еще

хуже, чем были. Господи, пойми меня: зверством и порками с ними не сладить! Только терпением, только добром... Ведь и Христос заповедал нам это. Почему же я — коммунист? Господь явит откровение и невежде, тут не в учености дело... Что же — бросить «капитанов» на произвол судьбы? Прихода теперь не видать... Мать заплачет, когда узнает... А сестра не сможет окончить свой институт... Она тоже хочет учить детей, только других, тех, у кого есть и отец с матерью, и книги... А эти мальчишки бродят по улицам, ночуют под открытым небом, или под мостами, или в холодном пакугаузе с прохуdivшейся крышей... Нет, я не брошу их, не оставлю одних. За кого же господь — за меня или за каноника? Вдова Сантос... Нет, я прав, я, а не они! Да, я глуп и невежествен и могу не расслышать божий глас, но бог обращается иногда и к таким, как я. (Падре Жозе заходит в какую-то церковь.) Я останусь с ними! (Он выходит и снова медленно бредет вдоль стены.) Я не сверну с пути. Ну а если путь мой ведет не туда, господь меня простит. «Доброе намерение не оправдывает дурных поступков»... Но ведь бог всеблаг и милосерден. Я буду продолжать начатое! Быть может, не все из них станут ворами,— как счастлив тогда будет Христос... Вот он улыбается мне! Какой свет исходит от него! Он улыбается мне! Благодарю тебя, господи!..

Падре становится на колени посреди улицы, не опуская воздетых к небу рук. Люди поглядывают на него с недоуменными улыбками, и он, устыдившись, встает и прыгает на подножку трамвая.

— Вот как напился, бесстыдник, а еще падре,— мечает кто-то.

Столпившиеся на остановке люди смеются.

Грязным ногтем Долдон скovyрнул болячку на руке. Так и есть — черная! То-то его бросает в жар и ноги как ватные. Это оспа. Бедные кварталы охвачены оспой. Врачи утверждают, что эпидемия идет на убыль, но каждый день кто-нибудь заболевает, каждый день увозят людей в бараки. Обратного не приходит никто. Вот и Алмиро, из-за которого разгорелся весь сыр-бор, попал в больницу, а назад не вернулся. Славный был паренек, хорошенький, как херувим. Поговаривали, будто он и Барандан... Ну и что? Он же никому зла не делал, правда был кроткого... Какой шум поднял тогда Безпогий..,

А теперь, как узнал, что Алмиро умер, во всем винит себя, ни с кем не разговаривает, все сидит со своим псом, вроде тронулся...

Долдон закурил, прошелся по пакгаузу. Один только Профессор сидел в своем углу. В эти часы редко кого застанешь в «норке». Профессор заметил его еще при входе:

— Кинь сигаретку, Долдон.

Долдон дал ему закурить, потом подошел к своему месту, связал в узелок вещички.

— Ты что, уходишь?

Долдон с узелком под мышкой остановился над ним.

— Отваливаю, Профессор. Смотри не говори никому, Только Пулю предупреди.

— А куда ты?

Мулат рассмеялся:

— В больницу!

Профессор посмотрел на его руки, на грудь, усеянные нарывами.

— Не ходи, Долдон.

— Почему же это мне не ходить?

— Разве ты не знаешь?.. Кто в барак попал, тому крышка...

— Что ж, лучше здесь остаться и всех вас перезаразить?

— Выходили бы как-нибудь...

— Нет. Все подохнем. Алмиро было куда приткнуться,— это другое дело. А я на свете один как перст.

Профессор молчал, хотя ему многое хотелось сказать Долдону, который стоял над ним,— узелок в руке, а рука-то вся уже в болячках...

— Педро скажи, а остальным не обязательно,— сказал он.

— Все-таки пойдешь? — только и сумел выдать из себя Профессор.

Долдон кивнул и направился к выходу. Оглядел раскинувшийся перед ним город и взмахнул рукой, словно прощаясь,— он был лихим портовым парнем, а ведь никто не умеет любить Баю, сильнее, чем они,— потом обернулся к Профессору:

— Когда будешь меня рисовать... Ты ведь нарисуешь с меня портрет, да?

— Нарисую, Долдон,— прошептал Профессор. Ему так хотелось сейчас произнести какие-нибудь нежные, добрые слова, словно он прощался с родным братом.

— Так вот, пусть оспы не будет видно. Ладно?

Силуэт его растворился во тьме. Профессор не мог вымолвить ни слова, в горле стоял ком. Но он знал, что Долдон, ушедший умирать в одиночку, чтобы никого не заразить,— прекрасен. Люди становятся такими, когда у них в сердце загорается звезда. Когда же они умирают, звезда эта вспыхивает в небесах. Так говорил Богумил. Долдон совсем еще мальчишка, но в груди у него — звезда. Он исчез, пески скрыли его, и только в этот миг окончательно понял Профессор, что никогда больше не увидит своего дружка. Тот ушел умирать.

На кандомбле в честь богини Омолу чернокожие жители Баии, уже отмеченные следами оспы, пели кантиги в ее честь.

Омолу наслала на Баию оспу. Она мстила богатым. Но у богатых была вакцина — откуда было знать про это лесной африканской богине,— богине, которой поклонялись негры. И оспа разгулялась в бедных кварталах, набросилась на народ богини Омолу. И тогда богиня превратила черную оспу — в ветрянку, сделала смертельный недуг безобидной глупой болезнью. Но все равно мерли бедняки, мерли негры. Омолу объяснила: тому виной не болезнь, а больница. Она хотела всего лишь отметить своим знаком чернокожих сынов. Убивала же их больница... И на кандомбле люди молили богиню увести оспу из города — пусть набросится на богатых фазендейро из сертанов. У них деньги, и тысячемильные угодья, а про вакцину они и не слышали. И Омолу сказала, что уйдет в сертаны, и на кандомбле жрецы славили ее и благодарили.

Омолу обещала уйти прочь, а чтобы дети не забыли ее, напомнила им в прощальном песнопении, что когда-нибудь явится снова.

И баиянской таинственной ночью, под грохот барабанов-атабаке, Омолу вскочила на «Восточный экспресс» и отправилась в Жоазейро,— туда, где начинались сертаны. И оспа ушла за нею следом.

Долдон вернулся из больницы исхудалым: одежда болталась на нем как на вешалке. Лицо его было изрыто рябинами. Когда он вошел в пакгауз, многие поглядели на него с опаской. Но Профессор сразу кинулся к нему.

— Поправился?

Долдон улыбнулся в ответ. Ему жали руку, хлопали по спине. Педро Пуля обнял его.

— Молодец! Я знал, что ты не пропадешь! Не таковский!

Подошел даже Безногий, а Большой Жоан просто не отходил от Долдона: тот оглядел товарищей, попросил закурить. Руки у него стали тонкими как плети, кожа туго обтянула скулы, щеки впали. Он молчал, с любовью оглядывая старый пакгауз, толпившихся вокруг ребят, щенка, лежавшего у Безногого на коленях.

— Ну, как там, в больнице? — спросил Большой Жоан.

Долдон стремительно обернулся в его сторону. Grimаса отвращения искривила его лицо. Он медлил с ответом, а потом сказал с трудом, словно язык не слушался:

— И рассказать нельзя... Слишком страшно... Туда попасть — что заживо в гроб лечь.

Он посмотрел на мальчишек, пораженных его словами, и с горечью повторил:

— Заживо в гроб лечь... Это точно... — и замолчал, не зная, что еще сказать.

— Ну? — процедил сквозь зубы Педро Пуля.

— Вот тебе и «ну»! Не могу я, не могу! Не спрашивайте меня, ради Христа, ни о чем! — голова его бесильно поникла, голос стал еле слышен:

— Там как в могиле... Там живых нет.

Он поднял на товарищей глаза, моля ни о чем не спрашивать его. Большой Жоан сказал:

— Хватит, не мучьте его.

Долдон махнул рукой и еле слышно выговорил:

— Не могу... Слишком страшно...

Профессор взглянул на него. Грудь Долдона была вся в крупных оспинах, но в сердце его Профессор увидел звезду. В сердце Долдона сияла звезда.

## СУДЬБА

Они заняли угловой столик. Кот достал колоду, но ни Педро, ни Большой Жоан, ни Профессор, ни Долдон не проявили к игре никакого интереса. Здесь, в «Воротах в море», ждали они Богумила. Таверна была полна народа, а ведь несколько месяцев кряду никто сюда не ходил. Оспа не пускала. Но теперь черная смерть сгинула, и люди вспоминали тех, кого она унесла. Кто-то рассказывал о больнице. «Вот горе-то бедняком родиться», — пробурчал какой-то матрос.



За соседним столом заказали кашасы. На прилавке замелькали стаканы.

— Судьбу не перешибешь,— сказал старик.— Судьба твоя вон где решается,— и показал куда-то вверх.

Но Жоан де Адан возразил ему:

— Настанет день, когда мы сами перекроим свою судьбу...

Педро Пуля поднял голову, Профессор улыбнулся. Но Большой Жоан и Долдон, похоже, готовы были согласиться со стариком, который твердил свое:

— Никому не под силу изменить судьбу. Принимай безропотно, что тебе на небесах приготовили — вот и все.

— Настанет день, и мы изменим свою судьбу! — сказал вдруг Педро, и все поглядели на него.

— Что ты понимаешь, малыш?.. — вздохнул старик.

— Это сын Белобрысого, это голос отца говорит в нем,— ответил Жоан де Адан.— А за то, чтобы изменить нашу судьбу, отец его отдал жизнь...

Он окинул взглядом всех сидевших в таверне. Старик замолчал, посмотрел на Педро с уважением. В ту минуту в сердца людей возвратилась вера. Где-то на улице послышался перебор гитарных струн.

---

## В ТВОИХ ГЛАЗАХ — ПОКОЙ БАИЯНСКОЙ НОЧИ

### СИРОТА

На холме теперь снова звучала музыка. Портовые ребята играли на гитарах, распевали песенки, сочиняли самбы, которые потом охотно покупали композиторы из Верхнего Города. В ресторанчике Деоклесио снова стали по вечерам собираться люди. Миновала напасть, прошло то время, когда на холме не слышалось ничего, кроме рыданий и причитаний, а понурые мужчины, никуда не заворачивая, шли из дома на работу, с работы — домой, когда по крутым улицам несли на отдаленное кладбище черные гробы взрослых, белые гробы непорочных девиц, маленькие разноцветные гробики детей. Хорошо, если встретишь гробы, а не мешки, в которые засовывали еще живых людей: в этих мешках отправляли их в больницу, и семья плакала как по усопшему, зная, что назад никто уже не воротится. Ни звон гитары, ни звучный голос негра не нарушал в те дни скорбной тишины, царившей на холме. Только перекликались нараспев часовые оцепления да плакали навзрыд женщины.

В один из таких дней свезли в больницу и Эстевана, а вскоре жене его, прачке Маргариде, пришло известие о его смерти. В тот же вечер она и сама слегла в жару. Ей, однако, повезло: болезнь обошлась с нею милостиво, так что удалось даже скрыть ее ото всех и не попасть в мешок, а из мешка — в больницу. Она стала выздоравливать. Двое ее детей управлялись по хозяйству. От сына — по-уличному звали его Зе-Глист — проку было мало, шел ему только седьмой год, но зато тринадцатилетняя Дора, у которой под платьем уже обозначилась грудь, была настоящая маленькая женщина, не по годам серьезная: и дом вела, и ухаживала за матерью. Маргарида поднялась с постели как раз в ту пору, когда на холме снова зазвучала музыка, и, хоть не чувствовала себя вполне здоровой, отправилась к своим обычным клиентам. Эпидемия кончилась, ночи на холме вновь наполни-

лись звоном гитар; Маргарида приволокла домой огромный узел белья, потом пошла к ручью. Там принялась стирать и стирала под палящим солнцем целый день до вечера, в сумерки же начался дождь. Назавтра она уже стирать не могла: болезнь снова вернулась к ней, и кончилось все это скверно. Через два дня Маргариду — последнюю жертву эпидемии — понесли на кладбище. Дора шла следом, по щекам ее катились слезы, но думала она о том, что ответить брату, когда он попросит есть. А маленький Зе плакал от горя и от голода. Он был еще слишком мал и не понимал, что они с Дорой остались теперь в этом бескрайнем городе совсем одни.

Соседи накормили осиротевших детей ужином, а на следующий день, с утра пораньше, араб, которому принадлежали все лачуги на холме, велел протереть для дезинфекции пол и стены их жилища спиртом. Домик был расположен удобно — на самой вершине холма, — и потому туда сразу же въехал новый жилец. Пока соседи обсуждали, как быть с сиротами, Дора взяла брата за руку и пошла вниз, в город. Она ни с кем не простилась: уход ее был как побег. Зе, ни о чем не спрашивая, покорно тащился за сестрой. Дора шла спокойно: она была уверена, что внизу найдется добрый человек, который даст им поесть, а в крайнем случае — присмотрит за малышом. А она поступит в прислуги в какой-нибудь приличный дом. Ничего, что ей так мало лет: многие даже предпочитают брать девчонок — платить можно меньше. Мать говорила как-то, что в одной семье, на которую она стирала, ищут прислугу. Дора запомнила даже адрес. Туда она и направлялась. Холм, гитары, самба, которую распевал какой-то негр, остались позади, горячий асфальт обжигал босые ноги. Зе весело смотрел по сторонам, разглядывая незнакомый город, мчавшиеся мимо переполненные трамваи, гудящие машины, толпы народа. Мать однажды взяла Дору в этот дом — он помещался где-то на Барре, она помнит, что ехали они, везя пакеты свежевыстиранного белья, на трамвае. Хозяйка была приветлива, спрашивала, не хочет ли она служить у нее. «Дайте подрасти немножко», — ответила мать. Расспрашивая прохожих, она выбралась наконец на Барру. Идти надо было долго, асфальт обжигал босые ноги; Зе захныкал — он устал и проголодался. Дора пообещала, что они скоро придут, но на Кампо-Гранде малыш заявил, что дальше не пойдет. Такие переходы шестилетнему и вправду были не под силу. Тогда Дора

вошла в булочную, разменяв последние пятьсот рейсов, купила два рогалика и усадила Зе на скамейку.

— Ты ешь и жди меня, а я скоро. Только смотри никуда не уходи, а то потеряешься.

Зе, самозабвенно жуя черствый рогалик, кивнул. Дора поцеловала его на прощанье и ушла.

Полицейский, который объяснил ей, как идти дальше, так и шарил глазами по наливающейся груди. Растрепаные белокурые волосы развевались под ветром. Горели обожженные ступни, все тело ныло от усталости. Но делать нечего — надо было пройти весь квартал, чтобы попасть в дом № 611. Добравшись до № 53, она остановилась передохнуть и сообразить, что же она скажет хозяйке. Потом зашагала снова. Теперь ее мучила не только усталость, но и голод — нестерпимый, требующий немедленного утоления. Доре хотелось зареветь, упасть прямо на мостовую, под палящие лучи, и не шевелиться. Усталость да еще вдруг нахлынувшая тоска по родителям измучили ее. Но она все же собралась с силами и двинулась дальше.

611-й оказался настоящим дворцом. На качелях, подвешенных на манговой пальме, сидела девочка ее возраста, а паренек лет семнадцати раскачивал веревку. Оба смеялись. Это были хозяйские дети. Дора посмотрела на них с завистью, потом нажала кнопку звонка. Мальчик, не оставляя своего занятия, оглянулся на нее. Дора позвонила еще раз, и появилась служанка. Дора сказала, что хотела бы видеть дону Лауру. Служанка с недоверием оглядела ее, но в эту минуту мальчик отпустил качели и подошел к ним. Он скользнул внимательным взглядом по груди Доры, по выглядывающим из-под платья коленкам и спросил:

— Тебе что?

— Мне бы дону Лауру повидать. Я — дочь Маргариды, она приходила к вам стирать... Дона Лаура не знает, что она умерла...

Паренек не сводил глаз с ее груди. Дора была красива: большеглазая, златовласая. Бабка у нее была мулаткой, а дед — итальянец. Маргарида говорила, что она вся в него, такая же белокурая... Под внимательным, неотрывным взглядом хозяйского сына Дора смутилась, опустила глаза. Тот тоже немного смешался и приказал горничной:

— Позовите маму.

— Сейчас.

Он закурил, выпустил дым, сложив губы трубочкой, снова покосился на ее грудь.

— Работу ищешь?

— Ищу, сеньор.

Ветер чуть приподнял подол ее платья, мелькнула полоска бедра, и в голове парня сразу зароились соблазнительные мысли: он представил себе, как по утрам Дора будет приносить ему кофе в постель и все, что за этим последует.

— Я попрошу маму подыскать тебе место у нас...

Дора поблагодарила, хотя ей было и неловко и страшновато от его нескромных взглядов. Тут подошла седовласая донна Лаура, а за нею — веснушчатая, но милостивая дочка, оглядевшая Дору с ног до головы.

— Мама умерла у меня... Помните, сударыня, вы хотели меня взять?

— А от чего же умерла бедная Маргарита?

— От оспы,— сказала Дора, не понимая, что этими словами закрывает себе вход в этот дом.

— От оспы?

Дочка в испуге отшатнулась от двери. Паренек невольно сделал шаг назад и, подумав об оспинах на груди Доры, сплюнул от омерзения.

— Место, которое я тебе предлагала, уже занято,— скорбным голоском произнесла донна Лаура.

Дора вспомнила про брата.

— Может быть, вам, сеньора, нужен мальчик — бегать за покупками, выполнять всякие поручения? У меня есть брат...

— Нет, милая, не нужен.

— Может быть, кому-нибудь из ваших знакомых?..

— Нет. Если узнаю, рекомендую тебя...— Она явно хотела отделаться от нее. Повернулась к сыну: — Эмануэл, у тебя есть при себе деньги?

— Есть. Зачем тебе?

— Дай мне два мильрейса,— и, получив монету, положила ее на столбик ограды: ей было страшно даже прикоснуться к Доре, она хотела, чтобы та ушла как можно скорее, не занесла в дом заразы.— Вот, возьми. Помоги тебе бог.

Дора пошла прочь. Хозяйский сын засмотрелся на ее округлые бедра, покачивавшиеся под тесноватым платьем, но голос донны Лауры отрезвил его:

— Дос Рейс, протрите-ка спиртом дверь и звонок. С черной оспой шутки плохи...

Он отправился качать сестру на качелях, время от времени со вздохом вспоминая, какая замечательная грудь была у этой нищей девчонки.

Зе на скамейке не оказалось. Дора в ужасе представила себе, что он пошел по улице, заблудился, пропал. Где его искать? Ведь города она совсем не знает... Ноги у нее подкашивались от усталости, от безысходности, от тоски по матери. Кроме того, очень хотелось есть. Она подумала, не купить ли хлеба (ведь теперь у нее было две тысячи четыреста рейсов), но вместо этого кинулась искать брата. Вскоре она увидела его: Зе ползал под деревьями в сквере и ел зеленые сливы. Дора хлопнула его по рукам:

— Ты разве не знаешь, что от этого живот болит?!

— Я кушать хочу...

Дора купила хлеба, они заморили червячка... Весь этот день бродили они от дома к дому, и всюду им отказывали: страх перед оспой превозмогал любую доброту. К вечеру Зе просто падал с ног от усталости. Отчаявшись, Дора решила возвращаться домой, но так не хотелось быть в тягость беднякам соседям, не хотелось идти туда, откуда вынесли гроб с телом ее матери и мешок, в котором шевелился еще живой отец. Она опять оставила Зе на скамейке в садике, а сама побежала купить хлеба, пока не закрылись булочные. Денег больше не было... Когда зажглись фонари, она сначала восхитилась этим зрелищем, но тут же испытала к городу враждебное чувство: он ничем не помог ей, только обжег ее ступни и измотал до полусмерти. Все эти красивые дома отвергли ее. Сгорбившись, вытирая слезы, она подошла к тому месту, где оставила брата. Он опять исчез. Дора обегала весь сад, пока не нашла его: Зе смотрел, как двое мальчишек — высокий крепкий негр и тщедушный белый — играют в «гуд». Она опустилась на скамейку, подозвала Зе. Заметив ее, мальчишки тоже поднялись на ноги. Дора развернула пакет с рогаликами, протянула один брату. Мальчишки смотрели на нее — негр явно был голоден. Она угостила их, и все четверо молча набросились на черствый хлеб (он стоил дешевле). Потом негр удовлетворенно хлопнул ладонью о ладонь и спросил:

— Малец сказал, у тебя мать от оспы померла?

— И мать и отец...

— Вот и у нас беда...

— Отец?

— Нет, не отец. Один наш паренек, Алмиро звали.

— Устроилась куда-нибудь? — открыл рот молчавший до этого белый.

— Нет. Как скажу про оспу, сразу гонят...

Вот теперь Дора дала волю слезам. Зе играл шариками, которые мальчишки оставили на земле. Негр почесал в затылке. Щуплый поглядел сначала на него, потом на Дору.

— Ночевать есть где?

— Негде мне ночевать.

Тогда он сказал своему товарищу:

— Давай ее в «норку» сведем...

— Девчонку?.. А что нам Пуля на это скажет?

— Видишь, плачет... — еле слышно проговорил тщедушный паренек.

Негр взглянул на нее оторопело. Белый согнал с шеи муху, осторожно, точно боясь обжечься, положил руку на плечо Доры:

— Пойдем с нами. Переночуешь в пакгаузе...

Негр вымученно улыбнулся:

— Хоромы, конечно, не бог весть какие, а всё лучше, чем на улице...

Большой Жоан и Профессор шли впереди. Им хотелось поговорить, но они не знали о чем: в такой переплет оба не попадали еще ни разу и страшно смущались. В свете фонарей волосы Доры блестели как золото.

— До чего ж хороша, — сказал негр.

— Красивая... — подтвердил Профессор.

Ни тот, ни другой не шарили глазами по ее телу, — они смотрели только, как переливаются в свете уличных огней ее волосы.

Когда добрались до пляжей, Зе совсем ослабел. Большой Жоан взял ребенка (хоть и сам был не очень-то взрослый) на руки, посадил себе на спину, понес. Профессор шел рядом с Дорой, но оба хранили молчание.

В пакгауз они вошли с некоторой опаской. Жоан ссадил малыша на землю, пропустил вперед Дору с Профессором, поспешил провести гостей в свой угол и зажечь там свечу. «Капитаны» глядели на них с удивлением. Залаяла собака Безногого.

— Новенькие! — сказал Кот, уже собиравшийся уходить.

Он подошел поближе.

— Кого это ты привел, Профессор?

— У них и отец и мать умерли от оспы. Оказались на улице, ночевать негде.

Кот посмотрел на Дору, изобразил на лице самую лучезарную из своих улыбок, склонился в поклоне, точно герой какого-то фильма, произнес слышанную где-то фразу...

— Милости просим, мадам, в наш...

Он забыл, как там дальше, слегка смутился и отправился к Далве. Зато все остальные двинулись к ним. Впереди — Безногий и Долдон. Дора глядела испуганно. Зе уснул, сморенный усталостью. Большой Жоан заслонил Дору. Дрожащее пламя свечи бросало отблеск на белокурые волосы, высвечивало контуры груди. Сквозь проломы в крыше заглянула в пакгауз луна.

Долдон остановился прямо перед ними, потом, хромая, подошел Безногий, а за ним, толпой, — все остальные.

— Что это за красотка на нас свалилась? — спросил Долдон.

Профессор шагнул вперед.

— Они с братом остались сиротами... Голодные оба...

Долдон протяжно засмеялся, расправил плечи:

— Девочка на загляденье...

Безногий тоже раскатился своим глумливым смешком, показал на толпящихся у него за спиной мальчишек:

— Видишь, слетелись, как стервятники на падаль.

Дора прижала к себе брата — тот уже проснулся и дрожал от страха.

— Профессор, может, ты думаешь, пожива только вам с Жоаном будет? Не надейся. Мы тоже люди... — раздался из толпы чей-то голос.

— Нам тоже хочется! — поддержал его другой, и многие захохотали.

— Знаешь, Жоан, как у нас зудит?! — выскочил вперед третий.

Большой Жоан по-прежнему загораживал собой Дору. Он не произнес ни слова, но вытащил из-за пояса нож.

— Ты это брось! — крикнул Безногий. — У нас все — поровну!

— Вы что, не видите — она ж еще девчонка... — проворчал Профессор.

— Ничего себе — девчонка, — крикнул кто-то. — Вон какая грудь!

Вперед протиснулся Вертун. Глаза у него так и сверкали, угрюмая ухмылка кривила губы,



— Лампиан тоже не разбирает, кому сколько лет! Отдай ее нам, Жоан!..

Все знали, что слабосильный Профессор драться не умеет и не любит: его можно в расчет не принимать. Они были возбуждены до крайности, но порыв их сдерживался решительной позой Большого Жоана. А Вертуну казалось, что он — среди бандитов Лампиана, что они захватили поместье и сейчас все скопом обесчестят дочку фазендейро. Волосы Доры золотились в пламени свечи. На лице ее застыл ужас.

Большой Жоан продолжал хранить молчание. Профессор раскрыл свою наваху, стал рядом с ним. Тогда выхватил нож и Вертун, шагнул вперед. Остальные тесной кучкой двигались за ним. Рывнула собака.

— Отвали, Жоан, добром прошу...— еще раз сказал Вертун.

«Был бы здесь Кот,— подумалось Профессору,— он бы помог: у него-то есть женщина...»

Дора видела, как надвигается на нее стена парней, и страх заставил ее позабыть и усталость, и все неудачи этого долгого дня. Зе плакал. Дора не сводила глаз с Вертуна: угрюмое лицо мулата выражало неприкрытое вожеление, передергивалось нервной усмешкой. Когда свеча осветила лицо Долдона, Дора увидела, что лоб у него — в рябинах, и, снова вспомнив покойную мать, зарыдала в голос. «Капитаны» на минуту замерли.

— Видите — плачет...— сказал Профессор.

— Ну и что? Отсыреет, что ли? — ответил Вертун.

Мальчишки, поглядывая то на Дору, то на клинок в руке Большого Жоана, опять двинулись вперед,— сначала медленно, а потом подскочили почти вплотную. Тогда впервые за все это время прозвучал голос негра:

— Вот только сунься...

Долдон засмеялся, Вертун перехватил свой нож поудобней. Зе плакал, Дора расширенными от ужаса глазами смотрела на них. Жоан сбил Долдона с ног. Кровопролитие было уже неминуемо, как вдруг в пакгаузе появился Педро Пуля:

— Что вы тут устроили?!

Вертун выпустил Профессора, которого уже успел ткнуть ножом в руку, и тот поднялся на ноги. Долдон остался лежать — лицо его было располосовано лезвием клинка. Большой Жоан по-прежнему загораживал Дору от всех.

— Что происходит, я спрашиваю! — повторил Педро,

— Да вот эти двое притащили сюда девчонку, а делиться с товарищами не желают... Это не по справедливости,— ответил, не вставая, Долдон.

— Ясное дело! — завизжал Безногий.— Я, например, сегодня же получу что причитается.

Педро посмотрел на Дору, на ее грудь, на белокурые волосы.

— Они правы,— сказал он.— Уйди с дороги, Большой.

Негр с изумлением уставился на него. «Капитаны», во главе которых был теперь их вожак, снова придвинулись совсем близко.

— Пуля! — крикнул негр, выставив перед собой нож.— Клянусь, пропору первого, кто подойдет!

— Отойди, Большой! — сделал еще шаг Педро.

— Это ж девчонка! Что ты, ослеп?!

Педро остановился, и те, кто шел следом, замерли. Точно другими глазами увидел он Дору — ее помертвелое от страха лицо, слезы, катившиеся по щекам. Он вдруг услышал, как всхлипывает малыш.

— Я всегда держал твою сторону, Пуля,— опять заговорил Жоан.— Я — твой друг. Но она еще совсем девчонка. Мы с Профессором привели ее сюда... Я твой друг, но если ты ее тронешь, я тебя убью. Никто ее не обидит.

— Подумаешь, напугал! — крикнул Вертун.— Покончим с тобой — примемся за нее!

— Заткни глотку! — рявкнул на него Педро.

— У нее отец с матерью от оспы померли,— продолжал Жоан.— Ей ночевать негде, вот мы и привели ее сюда. Она ж не уличная, разве ты не видишь? Это — девочка, Педро. Я прикоснуться к ней не дам.

— Девочка...— еле слышно повторил тот и, шагнув к Жоану и Профессору, резко повернулся к остальным.— Ну, кто смелый?..

— Так не поступают, Пуля! — прижимая ладонь к окровавленному лицу, крикнул Долдон.— Хочешь спать с ней в очередь с Большим и Профессором?!

— Даю слово, что не дотронусь до нее, и они тоже! Она — еще девочка, и потому оставьте ее в покое! Не нарывайтесь, честно предупреждаю!

Те, кто был помладше годами и потрусливей, попятись. Долдон встал наконец на ноги, побрел в свой угол, размазывая по лицу кровь. Вертун раздельно произнес:

— Не воображай, Пуля, что я струсил. Просто ты прав: жалко ее.

Педро повернулся к Доре:

— Не бойся. Никто тебя не обидит.

Та поспешно оторвала от подола юбки полоску ткани, подскочила к Профессору, перетянула ему руку. Потом присела возле Долдона (он весь сжался в эту минуту), промыла ему рану, завязала. И ужас ее и усталость исчезли бесследно. Она верила тому, что сказал Педро.

— Ты тоже ранен? — спросила она у Вертуна.

— Нет, — недоуменно ответил мулат и поскорей убрался к себе. Было похоже, что Дора внушает ему страх.

Безногий наблюдал за всем этим. Собака спрыгнула с его колен, подошла к Доре, лизнула ее босую ступню. Девочка потрепала щенка, спросила Безногого:

— Твой?

— Ага. Но можешь взять его, если хочешь.

Дора улыбнулась. Педро вышел на середину пакгауза, сказал так, чтобы все слышали:

— Завтра она уйдет. Нам тут девчонка ни к чему.

— А вот и не уйду! Я останусь, я вам пригожусь! Я умею готовить, стирать, шить...

— Пусть остается, — сказал Вертун.

Дора посмотрела в глаза Педро:

— Ты же сказал, меня никто не обидит?

Педро взглянул на ее золотистые волосы. В пролом крыши лился лунный свет.

## ДОРА, МАТЬ

Кот враскачку, особой своей походочкой, шел по пакгаузу. До этого он долго и безуспешно пытался вдеть нитку в иголку. Дора уложила брата спать и теперь ждала, когда же Профессор начнет читать свою книжку в голубом переплете, — он обещал, что будет интересно. Тут вот и подошел к ней Кот:

— Дора...

— Чего тебе, Кот?

— Помоги, а?..

Он показал ей иголку с ниткой: никак ему было не совладать с ними. Профессор поднял глаза от книги, и Кот тут же обратился к нему:

— Смотри, Профессор, будешь столько читать — глаза испортишь. Темнотица там... — и нерешительно взглянул на девочку. — Да вот нитку эту чертову не могу!

просунуть, ушко маленькое такое... Не получается, хоть плачь.

— Дай сюда.

Она вдела нитку в иголку, завязала узелок.

— Вот что значит женские руки,— сказал Кот Профессору.

Но Дора не отдала ему иголку, а спросила, что надо зашить. Кот показал ей распоротый по шву карман пиджака. Это был тот самый кашемировый костюм, который носил Безногий в ту пору, когда жил в богатом доме на улице Граса.

— Видишь, какой красивый,— похвастался Кот.

— Красивый...— согласилась Дора.— Снимай...

Кот и Профессор не отрываясь следили за тем, как она шьет. Вроде бы в этом не было ничего особенного, но ни тому, ни другому никто за всю жизнь ничего не зашивал, не чинил, не штопал. Из всех обитателей пакгауза только Кот и Леденчик изредка приводили свою одежду в порядок: Кот — потому, что из кожи вон лез, чтобы выглядеть элегантно, и к тому же у него была любовница, а Леденчик — от природной опрятности. Остальные же донашивали свои лохмотья до такой степени, что они превращались в самое настоящее тряпье, после чего добывали себе штаны и пиджаки — крали или выпрашивали Христа ради.

— Еще надо что-нибудь починить? — спросила Дора, перекусив нитку.

Кот поправил напомуженные волосы.

— Рубашка на спине поползла.

Он повернулся: рубаха была распорота сверху донизу. Дора велела ему сесть и принялась зашивать прямо на нем. Когда ее пальцы прикоснулись к нему, по спине Кота пробежала приятная дрожь, совсем как в те минуты, когда Далва водила длинными холеными ногтями у него вдоль хребта, приговаривая: «Кошечка царапает своего котика».

Но Далва никогда не штопала и не зашивала ему одежду: может быть, она и сама не умела вдевать нитку в иголку. Она любила спать с ним, что правда, то правда, а когда царапала его спину, то делала это не просто так, а чтобы раззадорить и разгорячить еще больше — чтобы лучше любил. А пальцы Доры с грязными, обкусанными ногтями прикасались к нему сейчас точь-в-точь как пальцы матери, которая чинит сыну рубашку. Мать у Кота умерла, когда он был еще совсем малень-

ким. Она была хрупкая, красивая. И руки у нее были неухоженные, загорелые, потому что жене рабочего манижюр не по карману. И прикасалась она к его спине в точности как Дора... Вот она снова дотронулась до него, но на этот раз ощущение было иным, оно пробудило в Коте не воспоминание о ласках Далвы, а то чувство защищенности и уверенности в том, что его любят, которое давали ему когда-то руки матери. Дора сидела у него за спиной, он не мог ее видеть. Он представил, что это мать вернулась, воскресла. Кот снова становится маленьким, и снова на нем рубаха из дешевой саржи, и, разодрав ее в играх на холме, он бежит к матери, а та сажает его перед собой, и в ее ловких пальцах иголка словно порхает туда-сюда, и прикосновения ее рук даруют ему счастье. Полное счастье. Мать вернулась из небытия, мать зашивает ему рубашку. Ему захотелось положить голову на колени Доре и чтобы та спела ему колыбельную. Да, он ворует, и каждую ночь проводит у проститутки Далвы, и берет у нее деньги, но по годам-то он совсем ребенок... И в эти минуты Кот забывает Далву, ее длинные поцелуи, ее ласки, ее жадное тело, забывает о том, как ловко выкрадывает он чужие бумажники, забывает о своей крапленой колоде, о шулерской сноровке,— он все забывает. Ему только четырнадцать лет, мать зашивает ему порванную рубашку. Как славно было бы услышать сейчас колыбельную песенку или страшную сказку с хорошим концом... Дора перекусывает нитку, и пряди ее белокурых волос ложатся на плечо Кота. Но он не испытывает никакого волнения — одно только счастье: подольше бы чувствовать себя сыном этой девчонки. Счастье, захлестывающее его душу, кажется почти нелепым: словно и не было всех этих лет, прошедших со дня смерти матери, словно он так и остался маленьким и ничем не отличается от всех остальных детей. В эту ночь кончилось его сиротство. И потому ласковые прикосновения Доры не будят его чувственности, а только усиливают его счастье. И когда она сказала: «Ну вот и готово», голос ее звучал так же нежно и сладостно, как голос матери, когда она убаюкивала его...

Он поднимается, благодарно смотрит в глаза Доры: — Спасибо. Ты нам теперь — как мать... — и смущенно умолкает, думая, что Дора не поймет его: ее серьезное лицо девочки-женщины расплывается в улыбку. Но понимает Профессор, и вся эта картина отпечатывается у него в памяти с необыкновенной четкостью; Кот стоит

перед Дорой и смотрит на нее с любовью, но без тени вождения, а она отвечает ему материнской улыбкой.

Кот набрасывает на плечи пиджак и уходит вразвалочку. Что-то небывалое случилось в их «норке»: они нашли мать, они обрели материнскую нежность, есть теперь кому позаботиться о них... Когда он пришел к Далве, она почувствовала, что с ним творится что-то не то, удивлялась и выпытывала, в чем дело, но Кот хранил тайну свято. Далва не поймет, каково это — встретить на земле давно умершую мать.

...Профессор начал читать, и Большой Жоан уселся рядом с ним. Ночь выдалась дождливая, и в книжке, которую читал своим товарищам Профессор, рассказывалось о том, как в такую же ненастную ночь попал в беду большой корабль. Капитан был жесток, он избивал своих матросов хлыстом. Парусник мог в любую минуту перевернуться, хлысты офицеров без пощады обрушивались на обнаженные спины матросов... У Большого Жоана на лице появилось страдальческое выражение. Вертун, державший в руках газету с очередной заметкой про Лампиана, не решился прервать Профессора и тоже заслушался... Матросу по имени Джон крепко досталось от капитана, потому что он поскользнулся на палубе и упал.

— Был бы там Лампиан, уж он бы этого капитана... — дал волю переполнявшим его чувствам Вертун.

Но отомстил капитану смельчак Джеймс. Он взбунтовал экипаж. За стенами пакгауза лил дождь. Дождь хлестал и на палубу мятежного корабля. На сторону матросов встал один из офицеров.

— Вот молодец! — воскликнул Большой Жоан.

Они понимали толк в геройстве. Вертун наблюдал за Дорой. Глаза ее блестели — она тоже пленилась отвагой мятежников, и это понравилось мулату. Джеймс смело ринулся в схватку и увлек за собой матросов. Вертун от радости засвистал, подражая какой-то сертанской пичуге; засмеялась и довольная Дора. Так смеялись они вдвоем, а потом смех их подхватили и Профессор с Жоаном. Подошли и другие, чтобы дослушать конец истории. Они посматривали на серьезное лицо Доры, девочки-женщины, а она отвечала им взглядом, исполненным материнской любви. Когда же Джеймс выбросил капитана в спасательную шлюпку и крикнул: «У змеи вырвано ядовитое жало!», все захохотали вместе с Дорой; поглядывая на нее с любовью — так глядят дети на мать. Про-

фессор дочитал до конца, и «капитаны» разбрелись по своим углам, делясь впечатлениями:

— История — сдохнуть можно...

— Во мужик этот Джеймс...

— Сила!

— А капитан-то, капитан...

Вертун подсунул Профессору свою газету, смущенно улыбнулся в ответ на вопросительный взгляд Доры:

— Тут про Лампиана пишут.— Мрачное лицо его словно осветилось этой улыбкой.— Он ведь мой крестный, знаешь?

— Крестный?

— Ага. Мать моя так захотела, потому что Лампиан — знаменитый удалец, с ним не совладаешь... А мать у меня была женщина отчаянная, стреляла не хуже мужчины. В одиночку справилась с двумя солдатами. Она иного парня за пояс бы заткнула...

Дора слушала как зачарованная, не сводя серьезных глаз с угрюмого лица мулата. Вертун помолчал, точно подыскивая нужные слова, а потом добавил:

— А ты тоже — не робкого десятка... Мать у меня была громадная, вот такая. Мулатка. Волосы были не золотые, как у тебя, а черные, такие курчавые, что и не расчешешь. И в годах уже — тебе-то в бабки годилась... И все равно ты на нее похожа! — Он еще раз оглядел Дору и смущенно потупился: — Хочешь верь, хочешь нет, ты мне ее напоминаешь! Ей-богу, ты на нее похожа!

Профессор поднял на него подслеповатые глаза. Вертун почти кричал, и его неизменно мрачное лицо совершенно преобразилось от счастья. «Вот и этот нашел свою мать», — подумал Профессор. Дора глядела на сертанца серьезно и ласково. Вертун захохотал, Дора подхватила, но на этот раз Профессор не присоединился к ним. Он начал торопливо читать статью про Лампиана.

Оказывается, знаменитого разбойника, двигавшегося к деревне, заметил водитель грузовика. Он успел предупредить жителей, те послали за подмогой к соседям, подоспел и отряд конной полиции, и когда Лампиан появился в деревне, его встретили беглым огнем. Лампиан, огрызаясь, ушел в каатингу, где, как известно, он у себя дома. Один из его людей был убит, ему отрубили голову и как трофеей отправили ее в Баню. Газета поместила фотографию: какой-то человек держал за короткие

курчавые волосы отрубленную голову с выколотыми глазами и раскрытым ртом.

— Бедный...— прошептала Дора.— Как изуродовали...

Вертун посмотрел на нее с благодарной нежностью. Потом глаза его вмиг налились кровью, лицо стало еще угрюмей, чем всегда,— угрюмо страдальческим.

— Сука шофер...— тихо проговорил он.— погоди, попадешься ты мне, сука...

Еще в статейке говорилось, что банда Лампиана, судя по тому, как поспешно она отступила, потеряла еще нескольких человек.

— Пора и мне отправляться...— еле слышно, точно про себя, сказал Вертун.

— Куда? — спросила Дора,

— К моему крестному. Теперь я ему пригожусь.

Она печально взглянула на него.

— Ты все-таки пойдешь?

— Пойду.

— А если полиция схватит тебя, будет мучить, отрубит голову?..

— Клянусь, что живым не дамся. А на тот свет привачу кого-нибудь из них... Не тревожься за меня.

Он поклялся матери, могучей и отважной мулатке из сертанов, которая не побоялась схватиться с солдатами, которая приходилась кумой грозному разбойнику Лампиану и была его возлюбленной, что она может быть спокойна: живым его не возьмут, он дорого продаст свою жизнь. Дора почувствовала гордость.

А Профессор зажмурился и тоже увидел вместо Доры коренастую мулатку, защищавшую с помощью бандитов свой клочок земли от алчных полковников-фазендейро. Он увидел мать Вертуна. И Вертун увидел ее. Белокурые пряди исчезли, сменившись жесткими курчавыми завитками, нежные глаза стали раскосыми глазами обитательницы сертанов, серьезное девичье лицо превратилось в угрюмое лицо замученной крестьянки. И только улыбка осталась прежней: это была улыбка матери, гордящейся своим сыном.

Леденчик на первых порах воспринял появление Доры с недоверием. Дора воплощала для него грех. Давно уже он сторонился приветливых негрятенок, давно уже не сжимал в объятьях горячее чернокожее тело. Он избавлялся от своих грехов, чтобы предстать в глазах господина чистым и незапятнанным, чтобы его осенила благодать, чтобы он имел право облачиться в одежды свя-



щеннослужителя. Он даже подумывал о том, как бы ему устроиться газетчиком и положить конец ежедневному трехдневному промыслу.

Он поглядывал на Дору с опаской: женщина есть суд дьявольский, — но видел перед собой девочку, такую же бездомную и всеми брошенную, как и все они. Не в пример тем негритянкам она не смеялась бесстыдным завлекательным смехом сквозь стиснутые зубы. Лицо ее всегда было серьезно: лицо взрослой женщины, доброй и порядочной. Но маленькие груди натягивали платье, а из под оборки выглядывали округлые белые колени. Леденчик боялся. Нет, не того, что Дора станет искушать его — она явно была не из тех, кто соблазняет, да и лет ей еще было мало. Он боялся самого себя, боялся пожелать ее и угодить в уже расставленные сети сатаны. И потому стоило только Доре приблизиться к нему, как он начинал бормотать молитву.

А Дора долго разглядывала образки на стене, и Профессор, стоя у нее за спиной, тоже смотрел на них. Изображение Христа-младенца, то самое, которое Леденчик украл, было украшено цветами. Дора подошла поближе.

— Как красиво...

От этих ее слов страх начал мало-помалу исчезать из души Леденчика. Она одна заинтересовалась его святыми, — ни один человек в пакгаузе не обращал на них никакого внимания.

— Это все твое? — спросила Дора.

Он кивнул и улыбнулся. Шагнул вперед и стал показывать ей все свои сокровища — литографии, катехизис, четки. Доре все понравилось, она тоже улыбнулась. А Профессор все смотрел на нее подслеповатыми глазами. Леденчик рассказал ей историю о том, как святой Антоний пребывал в двух местах одновременно, чтобы спасти от петли своего несправедливо осужденного отца. Он рассказывал эту историю так же увлеченно, как Профессор читал книги о бесстрашных и мятежных моряках, и Дора слушала его так же внимательно и доверчиво. Они разговаривали, а Профессор молчал. Леденчик стал говорить о вере, о святых, творивших чудеса, о добrote падре Жозе Педро.

— Он и тебе понравится.

«Конечно, понравится», — отвечала она. Он уже позабыл об искушении и соблазне, заключенном в девичьей груди, округлых бедрах, золотистых волосах, — он говорил с нею, так, словно перед ним стояла совсем

взрослая, даже немолодая, добросердечная женщина. Он говорил с нею как с матерью. Он понял это в ту минуту, когда почувствовал, что хочет рассказать ей самое главное — о том, что мечтает стать священником, что услышал глас божий и не может противиться ему. Только матери решился бы он рассказать такое. И мать стояла перед ним в этот миг.

— Знаешь, я хочу стать падре, — сказал он.

— Это замечательно, — ответила Дора.

Леденчик просиял. Он поглядел ей в глаза и взволнованно спросил:

— А как ты думаешь, я достоин? Господь милосерден, но он умеет и наказывать...

— За что ж тебя наказывать? — В голосе ее звучало неподдельное изумление.

— Жизнь, которую мы ведем, полна греха. Мы грешим ежедневно.

— Так ведь вы в этом не виноваты, — объяснила ему Дора. — У вас же нет никого на свете.

Нет, к нему это теперь не относилось: теперь у него есть мать. Он ликующе засмеялся:

— Вот и падре Жозе Педро так мне говорил. И еще он сказал...

Счастливым смехом не давал ему договорить, и Дора тоже заулыбалась, зараженная его весельем.

— ...сказал, что, может быть, я когда-нибудь приму сан.

— Конечно, примешь.

— Хочешь, подарю его тебе? — неожиданно для самого себя спросил Леденчик, показывая на Христа-младенца.

Он был похож в эту минуту на мальчишку, который, получив от матери монетку на леденцы, делится с нею лакомством. И Дора кивнула в знак согласия, как мать, которая возьмет конфетку из рук сына, чтобы доставить ему радость.

Профессор никогда не видел мать Леденчика, не знал, кто она и что. Но сейчас на месте Доры стояла она — в этом не было сомнения, — и он позавидовал счастью своего товарища.

Они нашли Педро на пляже. Эту ночь он провел не в пакгаузе, а здесь, на пагретом и ласковом песке, глядя на луну. Дождь перестал, а ветерок был теплый. Профес-

сор растянулся рядом. Дора села посередине. Педро поглядел на нее искоса, ниже надвинул на лоб берет.

— Вчера ты очень помог нам с братом... — сказала она.

— Тебе надо уйти, — ответил Педро.

Дора не произнесла ни слова, но заметно опечалилась. Тогда заговорил Профессор:

— Нет, Педро. Не надо ей уходить. Она нам как мать. Честное слово, всем — как мать. И повторил еще и еще раз: — Как мать... Как мать...

Пуля окинул их взглядом, снял берет, сел на песке. Дора смотрела на него ласково. Им она как мать. А ему она и мать, и сестра, и жена. Он сконфуженно улыбнулся ей:

— Я просто подумал, цапаться из-за тебя начнем... — Она замотала головой, но он продолжал: — А потом улечат минуту, когда нас с Профессором не будет...

Все трое засмеялись, а Профессор снова сказал:

— Теперь уже можно не бояться. Она нам как мать.

— Ладно, оставайся, — решил Педро, и Дора улыбнулась ему: он успел стать ее героем, хоть она никогда еще не думала ни о чем подобном, — время не пришло. Она любила его как сына, лишнего ласки и заботы, как старшего брата, который всегда придет на помощь, как возлюбленного, равного которому нет в целом свете.

Но Профессор заметил, как они улыбаются друг другу, и, помрачнев, повторил еще раз:

— Она нам как мать!

А помрачнел он потому, что и для него она была не матерью. И ему стала она возлюбленной.

## ДОРА, СЕСТРА И НЕВЕСТА

В платье особенно не побегаешь и через забор не перепрыгнешь, а Дора ничем не хотела отличаться от «капитанов». Она выпросила у Барандана штаны, которые ему подарили в каком-то богатом доме. Негритенку они были велики, и потому он согласился, а она укоротила штанины, подпоясалась веревкой, следуя негласной моде «капитанов», а платье заправила в них как рубашку. Если б не длинные золотистые волосы и не груди, ее вполне можно было бы принять за мальчишку.

В тот день, когда она в своем новом обличье предстала перед Педро, тот захохотал так, что не устоял на ногах и покатился по полу. Наконец он с трудом вымолвил:

— Ох, уморила...

Дора опечалилась, и он перестал смеяться.

— Я не желаю у вас на шее сидеть. Отныне всюду буду с вами.

Удивление Педро было безмерно:

— Это что же...

Дора спокойно глядела на него, ожидая, когда он договорит.

— ...ты с нами отправишься дела делать?

— Вот именно, — отвечала она решительно.

— Да ты с ума сошла!

— Вовсе нет.

— Неужели сама не понимаешь, что это занятие не для девчонки? Мы, мужчины...

— Тоже мне мужчины! Мальчишки вы, а не мужчины!

— Но мы по крайней мере в брюках ходим... — только и нашелся он что возразить.

— И я тоже! — радостно воскликнула она.

Педро в замешательстве поглядел на нее, смешно ему уже не было. Потом после некоторого раздумья сказал:

— Если полиция нас возьмет, мы выкрутимся. А ты?

— И я выкручусь!

— Тебя отправят в приют. Ты даже и не знаешь, что это такое...

— И знать не хочу. Что с вами будет, то и со мной.

Педро пожал плечами, как бы говоря, что с таким упрямством совладать не может. Его дело — предупредить, а она пусть поступает как знает. Но Дора заметила, что он озабочен, и потому сказала:

— Вот увидишь, я не подведу.

— Да где это видано, чтоб девчонка путалась в такие дела?! А придется схлестнуться — ты что, в драку полезешь?!

— Необязательно мне драться. Разве мне другого дела не найдется?

Педро согласился. В глубине души он был доволен настойчивостью Доры, хотя и не знал, что из этого всего выйдет.

И вот полноправным членом шайки Дора, неотличимая от «капитанов», шла с ними по улицам Баии. Теперь город уже не казался ей враждебным: она полюбила его и изучила все его улицы и закоулки, она овладела искус-

ством вскакивать на подножку движущегося трамвая и лавировать в потоке автомобилей. Она стала ловчее самых ловких, проворней самых быстроногих. Ходили они обычно четвером: Дора, Педро, Большой Жоан и Профессор. Верзила негр никуда не пускал ее одну и тенью следовал за нею, расплываясь в счастливой улыбке, когда она обращалась к нему. Он был предан ей как пес и не уставал удивляться ее дарованиям и талантам: ему казалось, что в храбрости она не уступит самому Педро.

— Похлеще любого парня! — с изумлением говорил он Профессору.

А тому как раз это не очень нравилось: он мечтал, чтобы Дора поглядела на него с нежностью, — только не с материнским участием как на малышей или на Вертуна с Леденчиком, и не с братским чувством, как на Большого Жоана, на Кота, на Безногого и на него самого. Профессор хотел, чтобы она поглядела на него с любовью — как на Педро, когда тот мчался по улице, удирая от полицейских, а вслед ему неся истощенный крик хозяина какой-нибудь лавчонки:

— Держи его! Держи вора! Караул, грабят!

Но такие взгляды она обращала только к Педро — к нему одному, — а он и не замечал их.

Вот почему Профессор отмалчивался, когда Большой Жоан начинал расхваливать отвагу Доры.

В ту ночь Педро Пуля явился в пакгауз с заплывшим глазом и расквашенными губами. Эти увечья он получил в схватке с Эзекиелом, главарем другой шайки, куда более дикой и малочисленной, чем «капитаны». Эзекиел — с ним было еще трое, в том числе — паренек, которого Педро когда-то выгнал вон за то, что тот воровал у товарищей, — подстерег его. Педро проводил Дору и ее брата до Ладейра-де-Табуан, оттуда до пакгауза было рукой подать. Жоан был в это время чем-то занят и не смог пойти с ними. Педро сначала хотел довести их до самой «норки», но потом рассудил, что еще белый день и даже самый отпетый негр не рискнет увязаться за девушкой. Ему же еще надо было поспеть к Гонсалесу, чтобы получить деньги, причитающиеся «капитанам» за золотые безделушки, похищенные у одного богатого араба.

По дороге к перекупщику Педро размышлял о Доре, — вспоминал ее белокурые волосы, падавшие на плечи, ее глаза... Красивая, влюбиться можно. Влюбиться... Он

запретил себе даже думать об этом. Он не хотел, чтобы кто-нибудь из шайки имел право на нечистые мысли в отношении Доры, а если он, атаман, будет относиться к ней как к возлюбленной, то почему и другим не начать ухаживать за нею? И тогда законы «капитанов» будут нарушены, начнется разброд...

Он так задумался, что чуть было не налетел на Эзекиела, который в сопровождении троих дружков загородил ему дорогу. Эзекиел, долговязый мулат, курил сигару.

— Куда прешь? Ослеп? — спросил он и сплюнул вбок.

— Что тебе надо?

— Как там поживают твои сопляки? — спросил парень, выгнанный из шайки.

— А ты уже забыл, как они тебя вздули на прощанье? Я-то думал, отметина еще видна.

Тот, скрипнув зубами, шагнул к Педро, но Эзекиел удержал его:

— На днях наведаемся к вам в гости.

— Это еще зачем?

— А говорят, вы себе завели какую-то плюшку и живете с нею всем миром...

— Прикуси язык, сволочь! — крикнул Педро и ударил Эзекиела так, что тот упал. Но трое остальных свалили Педро наземь, а Эзекиел двинул ногой в лицо. Тот, что был раньше «капитаном», приказал приятелям:

— Держите его крепче! — и с размаху ткнул Педро кулаком в зубы.

Эзекиел еще дважды ударил его ногой, приговаривая:

— Будешь знать, будешь знать, на кого хвост поднимаешь!

— Четверо... — прохрипел Педро, но новый удар заткнул ему рот.

Увидев, что к ним направляется полицейский, нападавшие удрали. Педро поднялся, подобрал берет. Слезы бессильной ярости текли у него по щекам, перемешиваясь с кровью. Он погрозил кулаком вслед четверке, уже скрывшейся за поворотом.

— А ну, проваливай отсюда, пока я тебя не забрал, — велел полицейский.

Педро сплюнул кровь. Медленно побрел вниз, забыв про Гонсалеса. Он шел и бормотал себе под нос: «Вчетвером одного отметелить — дело нехитрое... Погодите, сволочи».

В пакгаузе никого не было, кроме Доры и Зе. Малыш уже спал. Закатное солнце, проникая сквозь дырявую крышу, заливало пакгауз причудливым светом. Дора, увидев входящего Педро, спросила:

— Ну как, вытряс из Гонсалеса деньги?

Но тут она увидела подбитый глаз и кровоточащие губы.

— Что это с тобой?

— Эзекьел с друзьями. Набросились вчетвером...

— Это он тебя так отделал?

— Все четверо. Я-то, дурак, думал, будем один на один...

Дора усадила его, принесла воды и чистой тряпочкой промыла ссадины и кровоподтеки. Педро строил планы мести. Дора поддержала:

— Мы им зададим перцу!

— Ты тоже пойдешь с нами? — рассмеялся Педро.

— Еще бы! — ответила она, осторожно смывая кровь с запекшихся губ. Она наклонилась к нему, лица их были совсем рядом, волосы Доры перепутались с волосами Педро.

— А из-за чего вышла драка?

— Так, ни из-за чего...

— Ну, скажи...

— Он сболтнул лишнее...

— Про меня что-нибудь?

Педро кивнул. Тогда она стремительно прижалась губами к его губам, вскочила на ноги и убежала. Он бросился за нею, но Дора где-то спряталась, а когда он наконец нашел ее, в пакгауз уже входили «капитаны». Дора издали улыбнулась Педро — в улыбке этой не было насмешки или лукавства. Но глядела она на него совсем не так, как на других: это был взгляд влюбленной девушки, чистой и робкой. Быть может, ни он, ни она не знали, что это любовь. В старом, еще колониальных времен, пакгаузе расцвела самая что ни на есть романтическая любовь, хоть в эту ночь и не было луны. Дора улыбалась и опускала глаза, а иногда вдруг томно щурилась, думая, что так и полагается вести себя влюбленной. И сердце ее начинало биться чаще, когда она взглядывала на него. Но Дора не знала, что это и есть любовь. Наконец взошла луна, осветила своим желтоватым сиянием весь пакгауз. Педро лежал на песке, закрыв глаза, и видел перед собой Дору. Он почувствовал, что она подошла и села рядом.

— Теперь ты моя невеста. Я женюсь на тебе,— сказал он, по-прежнему не открывая глаз.

— Ты мой жених,— тихонько произнесла Дора.

Ни он, ни она не знали, что это и есть любовь, но чувствовали: то, что творится с ними,— прекрасно.

Когда в пакгауз вернулись Безногий и Большой Жоан, Педро поднялся и подошел к ним. Сели вокруг свечки Профессора. Дора — между Жоаном и Долдоном. Тот закурил и сказал девочке:

— Я разучил такую самбу — умереть...

— Ты очень здорово играешь на гитаре,— ответила она.

— Еще бы! На всех праздниках — первый человек! Педро оборвал их разговор. Тут все заметили его разбитое лицо, стали спрашивать, в чем дело, и он рассказал.

— Это так оставлять нельзя...— засмеялся Безногий.— Дело твое, конечно, но я бы не стерпел.

Был выработан план операции, и в полночь человек тридцать вышли из пакгауза и направились к Порто-да-Ленья,— там под мостом и под перевернутыми лодками ночевала обычно шайка Эзекиела. Рядом с Педро шагала и Дора, где-то раздобывшая себе нож.

— Ты прямо как Роза Палмейрао...— воскликнул Безногий.

Не было на свете женщины отважней Розы Палмейрао. Она в одиночку справилась с шестью солдатами. Нету в порту человека, который бы не знал ее АВС, и потому польщенная Дора сказала Безногому:

— Спасибо, брат.

Брат... Какое это хорошее, доброе слово. Они привыкли называть Дору сестрой, а она обращалась к ним «брат», «братец». Самым маленьким она стала матерью, нежной и заботливой. Тем, кто постарше,— сестрой, которая и приласкать может, и поиграть, и разделить с человеком все опасности его нелегкой жизни. Но никто пока не знал, что Педро Пуля назвал ее своей невестой,— никто, даже Профессор. И Профессор втайне от всех тоже называет ее про себя — невеста.

Собака Безногого залаяла, и Вертун передразнил ее так, что не отличить было. Все засмеялись. Большой Жоан стал насвистывать самбу, а Долдон затыкнул ее в полный голос:

Бросила меня мулатка...



Они весело шли на драку. Они несли с собой ножи, но первыми пускать их в ход не собирались: у этих беспризорных детей была и нравственность, и уважение к закону шайки, и чувство собственного достоинства.

— Здесь! — крикнул вдруг Большой Жоан.

Эзекиел, услышав шум, высунул голову из-под лодки:

— Кого это черт несет?

— «Капитанов песка», которые не привыкли спускать обидчикам! — ответил Педро.

И они ринулись в атаку.

Возвращались с победой. Кроме Безногого, которого полоснули ножом, и Барандана, которого вели под руки (ему достался здоровенный верзила, и если б не Вертун, негритенку пришлось бы совсем плохо), все были веселы и вспоминали подробности схватки. В пакгаузе их встретили восторженными криками, и долго еще обсуждали они на все лады поражение Эзекиела. Удивлялись храбрости Доры, которая дралась не хуже любого мальчишки. «Настоящий мужчина», — говорил про нее Жоан. Она была им сестрой, а они ей — братьями.

«Она — моя невеста», — думал Педро Пуля, растянувшись на песке. Пляж был залит желтоватым лунным светом, в синей воде бухты отражались звезды. Дора легла рядом с Педро. Они говорили — говорили обо всем на свете, говорили как жених с невестой. Они не целовались, он не обнимал ее, не дотрагивался до нее, вожделение не коснулось их. Белокурые пряди ее волос легли на лоб Педро:

Дора засмеялась:

— Смотри, у нас волосы одного цвета!..

Оба засмеялись — громко и весело, как принято было у «капитанов». Она рассказывала ему, как жила на холме, о родителях, о соседях, а он вспоминал пережитые приключения:

— Когда я попал сюда, мне было пять лет. Меньше, чем твоему брату...

Они смеялись оттого, что радость их была чиста: им хорошо было друг с другом. Когда сон сморил их, они уснули бок о бок, держась за руки, как брат и сестра.

## КОЛОНИЯ

Газета «Жорнал да Тарде» поместила «шапку» на всю первую полосу:

**«ГЛАВАРЬ ШАЙКИ «КАПИТАНОВ ПЕСКА» АРЕСТОВАНИ»**

Потом шли заголовки:

**«Девочка в банде — соучастница «Капитанов»  
отправлена в приют — главарь оказался сыном  
забастовщика — его сообщникам удалось бе-  
жать — директор исправительной колонии за-  
являет: мы наставим его на путь истинный»**

Ниже была помещена фотография, изображающая Педро, Дору, Большого Жоана, Безногого и Кота в окружении полицейских и агентов в штатском, и следующая подпись: «Уже после того, как был сделан этот снимок, главарь шайки отвлек внимание полицейских и дал своим сообщникам возможность бежать».

И, наконец, следовал репортаж:

«Четкие действия нашей полиции заслуживают всяческого одобрения. Вчера удалось схватить главаря шайки малолетних преступников, именующих себя «Капитаны песка». На страницах нашей газеты неоднократно затрагивалась проблема беспризорных детей, промысляющих воровством.

Мы уже несколько раз публиковали репортажи с места происшествия и интервью с пострадавшими во время этих налетов. Баия была терроризирована шайкой юнцов, но установить, где они обитают и кто их главарь, долгое время не удавалось. Не так давно мы поместили письма начальника полиции, инспектора по делам несовершеннолетних и директора исправительной колонии, высказавшихся по поводу этой проблемы и пообещавших принять более решительные меры по искоренению детской преступности вообще и преступной деятельности «капитанов» в частности.

Вчера наконец органы защиты правопорядка добились успеха: несколько членов шайки, в числе которых

оказалась одна девочка, были захвачены с поличным. К сожалению, их предводитель, Педро Пуля, затеяв с агентами драку, отвлек их внимание и дал своим сообщникам возможность ускользнуть. Тем не менее арест главаря банды и его романтической возлюбленной, без сомнения, вдохновлявшей его на совершение противозаконных действий, следует считать крупной победой нашей полиции. Переходим теперь непосредственно к изложению фактов, имевших место.

### Попытка ограбления

Вчера после полудня пятеро злоумышленников проникли в особняк доктора Алсебиадеса Менезеса, находящийся на улице Сан-Бенто. Однако грабители были обнаружены сыном хозяина, студентом медицинского факультета: он запер их в комнате и вызвал полицию. Своевременно извещенный репортер нашей газеты явился туда в ту минуту, когда преступников уже собирались отправлять в Управление полиции. Он попросил разрешения сделать снимок и получил любезное согласие. Однако в тот момент, когда он поджег магний, вышеупомянутый Педро Пуля, главарь шайки, помог своим товарищам совершить

### Побег

С необыкновенной ловкостью высвободившись из рук агента, он сбил его с ног приемом капоэйры. Разумеется, полицейские бросились на него, чтобы воспрепятствовать побегу, но он остался на месте. Только тогда стал очевиден его план: он крикнул остальным арестованным: «Бегите!», а они, воспользовавшись тем, что их охранял только один агент, свалили его и исчезли в переулках Ладейра-да-Монтанья.

### В управлении полиции

мы захотели побеседовать с Педро Пулей, но он отказался говорить. Допрос, целью которого было выяснить местонахождение шайки, ни к чему не привел. Он назвал только свое имя и кличку, а также сообщил, что является сыном известного смутьяна, убитого во время знаменитой портовой стачки в 191... году, и что у него нет ни

родных, ни близких. Его спутница Дора — дочь прачки, скончавшейся от оспы в эту страшную эпидемию, опустошившую наш город. Несмотря на то что эта девочка попала в шайку только четыре месяца назад, она уже успела принять участие во многих налетах. Судя по ее тону, она очень гордится этим.

#### Жених и невеста

Дора заявила, что она — невеста Педро Пули и что они собираются обвенчаться. Это неискушенное существо, больше достойное жалости, чем наказания, говорит о своем женихе с трогательной и наивной восторженностью. Ей всего четырнадцать лет, Педро пошел семнадцатый. Девочка отправлена в сиротский приют, где, без сомнения, скоро забудет и свою романтическую влюбленность, и преступную деятельность.

Что же касается Педро Пули, то он будет переведен в исправительную колонию для несовершеннолетних правонарушителей, как только сообщит, где скрывается его шайка. Полиция надеется сегодня же получить признание.

#### Слово директору исправительной колонии

Директор Бавянской исправительной колонии — давний друг нашей газеты. Напечатанная в ней статья разоблачила клеветнические измышления, которые могли бросить тень на доброе имя колонии и опорочить ее руководителя. Сейчас он находится в полиции, чтоб увезти с собой Педро Пулю, когда с того будет снят допрос. Вот что ответил нам директор:

— Он возродится к новой жизни, обещаю! Наша колония так и называется — исправительная. Вот мы его и исправим, — и, предваряя наши невысказанные опасения, улыбнулся: — Убежит? От меня так просто не убежать. Даю вам слово, что это ему не удастся».

Профессор прочел все это вслух.

— Он уже в колонии, — сказал Безногий. — Я видел, как его вывели из управления.

— Мы его вызволим, — твердо сказал Профессор. — До его прихода ты, Безногий, будешь у нас атаманом.

Большой Жоан протянул руки к «капитанам»:

— Ребята, место Педро займет пока Безногий. Появились?

— Он остался, чтобы дать нам смыться. Теперь мы должны помочь смыться ему. Верно?

Все согласились единодушно.

Педро представлял, что его ждет в этой комнате. Вместе с ним туда вошли двое полицейских, следователь и директор исправительной колонии. Дверь заперли. Потом он услышал издевательский голос следователя:

— Репортеров тут нет, щенок. Тебе придется отвечать на вопросы, хочешь ты этого или нет.

— Сейчас все скажет... — засмеялся директор колонии.

— Ну, так где вы ночуете? — спросил следователь.

Педро взглянул на него с ненавистью:

— Ждете, что расколюсь?

— Вот именно.

— Долго ждать придется!

И отвернулся от них. По знаку следователя солдаты одновременно вытянули Педро хлыстами, а сам он подскочил и ударил его ногой в лицо. Педро упал, покатился по полу. Выругался.

— Ну что, не надумал? — спросил следователь. — Это ведь только для затравки... Скажешь?

— Нет! — крикнул Педро.

Тогда они взялись за него всерьез. Удары хлыста, пинки и оплеухи сыпались со всех сторон. Директор тоже поднялся и так двинул Педро ногой, что тот отлетел в угол и встать уже не смог. Полицейские поигрывали хлыстами. Педро увидел перед собой лица Профессора, Вертуна, Большого Жоана, Безногого, Кота. Все они зависят от него, их свобода — в его руках. Он их вожак, и он не предаст их. Сегодня, когда на улице Сан-Бенто всех повязали, он все-таки помог им уйти, хоть его и держали за руки. Он почувствовал гордость. Ничего он не скажет, а из колонии убежит и Дору спасет. И отомстит... Страшно отомстит...

Он кричит от боли, но ни единого слова выжать из него так и не удается. Тьма застилает ему глаза, боль исчезает. Солдаты продолжают хлестать его,

следователь осыпает ударами, но Педро ничего больше не чувствует.

— Все. Отрубился,— проворчал следователь.

— Давайте я им займусь,— предложил директор.— Возьму его к себе. У меня он в два счета заговорит, ручаюсь. А я дам вам знать.

Тот согласился. Директор колонии пообещал прислать завтра за арестованным и ушел.

Когда на рассвете Педро очнулся, он услышал, как печально поют в камере заключенные,— поют о солнце, освещающем улицы, о том, как прекрасна свобода.

Утром за ним пришел надзиратель Ранулфо и отвел его в колонию. Все тело у Педро ныло от побоев, но на душе было легко: он ничего не сказал, никого не выдал. Он снова вспомнил песню, услышанную на заре: лучше свободы ничего нет на свете, говорилось в ней, на улицах играет солнце, а в камерах — вечная тьма, потому что там нет свободы. Свобода! Старый грузчик Жоан де Адан, который ходит по залитым ярким солнцем улицам, тоже говорил о ней,— говорил, что не из-за одного только жалованья устраивал он и будет устраивать впредь забастовки,— он боролся за свободу, которой так мало у докеров. За эту свободу сложил голову отец Педро. За свободу его товарищей так избили вчера в полиции его самого. Тело ноет, колени подгибаются, а в ушах все звучит песня арестантов. Там, за стенами тюрьмы,— солнце, жизнь, свобода... В окно Педро видит солнце, видит широкую улицу, убегающую вдаль от тяжелых ворот колонии. Здесь — темно как в погребе, куда никогда не заглядывает солнце. Там — свобода и жизнь. И месть,— добавляет он про себя.

Входит директор. Надзиратель Ранулфо вытягивается перед ним, показывает на Педро. Директор с улыбкой потирает руки, усаживается за огромный письменный стол. Окидывает мальчика долгим взглядом.

— Наконец-то... Давно мы тебя поджидаем, верно, Ранулфо?

Педель согласно кивает.

— Знаешь, кто это? Главварь пресловутых «капитанов»... Прирожденный преступник — достаточно только взглянуть на него. Ты, правда не читал Ломброзо, а то сразу бы понял, о чем я толкую. Он с рождения от-

мечен печатью порока... Мальчишка, а на лице уже шрам. А глаза-то какие... Дорогому гостю — и почет особый.

Педро глядит на него, глаза его налиты кровью. Он измучен, ему до смерти хочется спать.

— Отвести его к остальным? — отваживается спросить Ранулко.

— Что? К остальным? Нет. Для начала — в карцер. Там он поскорее поймет, куда попал, и станет стоворчивей.

Надзиратель ведет Педро к двери. Директор произносит вслед:

— Режим номер три.

— На воду и фасоль, значит... — бормочет про себя надзиратель. Потом оглядывает Педро, качает головой: — На таких харчах не больно-то разжиреешь...

Там, за стенами, — свобода и солнце. Тюрьма, арстанты, побои заставили Педро понять, что лучше свободы ничего нет на свете. Теперь он знает, что отец его погиб не за то, чтобы о нем рассказывали на рынке, на пристани, в тавернах, — он отдал жизнь за свободу. Свобода — как солнце. Могушественней и лучше ее ничего нет на свете.

Он услышал, как лязгнул замок. Его бросили в карцер — крохотную клетушку под лестницей: там нельзя встать во весь рост и нельзя вытянуться. Можно только сидеть или лежать, неудобно скорчившись. Педро предпочел второе. Тело его неестественно изогнулось, и он подумал, что помещенье это годится только для «человека-змеи» из цирка, — он однажды видел этот номер. Дверь была заперта наглухо, тьма была полная, воздух проникал только сквозь узкие зазоры между ступенями. Нельзя было даже пошевелиться: при малейшем движении рука или нога натыкалась на стену. Все болело, поджатые ноги затекли. Лицо было покрыто корочками подсохших ссадин — напоминание о вчерашней беседе в полиции, — но на этот раз Дора не придет промыть его раны чистой холодной водой... Свобода — это еще и Дора. Быть свободным — это не только видеть солнце, ходить по улицам, смеяться раскатисто и громко. Быть свободным — это чувствовать, как прикасаются к лицу белокурые волосы Доры, слушать, как она рассказывает о своей жизни на холме, ощущать ее губы на своих разбитых губах. Невеста... Теперь свободы лишили и ее... У Педро

валомило в висках. Дору тоже лишили теперь солнца и свободы. Отправили в сиротский приют. Невеста... Раньше он никогда не задумывался над тем, что значит это слово. Ему нравилось спать с негротянками, забредавшими на пляж, но ему и в голову не приходило, что можно просто лежать на песке рядом с девочкой и разговаривать с ней о всякой всячине, смеяться — и больше ничего. Это какая-то другая любовь, — подумал он растерянно. Педро никогда толком не понимал, что такое любовь, да и что он мог знать о любви, — он, беспризорный, бездомный мальчишка, который благодаря своей силе, ловкости, отваге стал вожакom самой многочисленной и отчаянной шайки? Он был уверен, что этим словом «любовь» обозначают то, что делал он, сжимая в объятьях какую-нибудь негротянку или мулатку. Он познал эту любовь рано, когда ему еще не было тринадцати, да и кто этого не знал? Даже малыши, которым не совладать было с женщиной, с нетерпеливой радостью ждали день, когда это должно было случиться... Голова болела все сильнее, ныли кости. Хотелось пить — ведь целый день во рту у него не было ни капли воды... А вот с Дорой все вышло совсем по-другому. Когда она появилась в пакгаузе, все — и он тоже — захотели овладеть ею, совершить с этой хорошенькой девочкой то, что они называли любовью, то единственное, что было им известно о любви. Но он заступился за нее, пожалел. А потом она стала для всех как мать. И как сестра, — Большой Жоан правильно сказал. Но для Педро она с самой первой минуты была чем-то иным. Нет, она была и любимой сестрой, и «настоящим парнем», но радость, которую он испытывал, глядя на нее, отличалась от радости брата, встретившего сестру. Невеста... Да, — он хотел бы спать с ней, хоть, может быть, и себе самому не признался бы в этом. Но разве достаточно ему было разговаривать с ней, слышать ее голос, иногда робко брать ее за руку? Нет. Он хотел бы обладать ею, только не так, как обладал он шальными чернокожими девчонками на пляже: ночь прошла — и все забыто. Каждую ночь, сколько бы ни было их у него в жизни, он хотел быть с нею, — всю жизнь. Есть же у других жены... Жена-мать, жена-друг, жена-сестра. Всем «капитанам» она была матерью, сестрой, другом, а Педро она стала невестой, и когда-нибудь он женился бы на ней. Ее не имеют права держать в приюте для сирот: она — не сирота! У нее есть жених, у нее есть целая куча братьев и сыновей, о которых она забо-



тится... Усталость исчезла, ему хочется вскочить, броситься, что-нибудь немедленно сделать, чтобы вызволить Дору. Да что тут сделаешь, когда он и сам — под замком? Педро садится на полу. У самых ног прошмыгнули мыши, но он привык к ним в пакгаузе и не обращает на них внимания. А Доре, наверно, очень страшно. Тут любой спятит от страха, если только он — не вожак «капитанов». Что же говорить о девочке... Конечно, она — самая храбрая из всех женщин Баии, города, который славится своей отвагой, она храбрее самой Розы Палмейрао, одолевшей шестерых солдат, она отважней Марии Кабасу, подруги Лампиана, владевшей оружием как настоящий кангасейро. Да, храбрее! Ведь она еще девочка, она только пачинает жить. Педро горделиво улыбнулся, несмотря на боль, на усталость, на жажду, которая мало-помалу стала совсем нестерпимой. Все на свете он готов отдать за стакан воды. За песками, со всех сторон окружающими пакгауз, плещется море, нескончаемое и необозримое, — море, которое бороздит на своем суденышке великий капоэйрист Богумил. Хороший он парень. Если бы он не научил Педро приемам ангольской капоэйры, самой прекрасной борьбы из всех, какие только есть в мире, борьбы-танца, он не смог бы помочь товарищам сбежать. Но здесь, в карцере, где и шевельнуться нельзя, искусство капоэйры ему ни к чему. Воды бы выпить... Неужели Дора так же страдает сейчас от жажды? Может, и ее для начала бросили в карцер? Педро представляет себе этот приют, и он кажется ему неотличимым от колонии. Ей-богу, жажда губительней укуса гремучей змеи, страшней оспы: в горле стоит ком, мысли путаются. Хоть бы глоток!.. Хоть бы немного света!.. При свете он увидел бы смеющееся лицо Доры, а теперь, во тьме оно возникает перед ним измученное и страдальческое. Глухая бессиленная злоба поднимается в его душе. Он чуть привстает и тут же упирается головой в ступени лестницы, нависающие над ним. В ярости он колотит в дверь карцера. Ни звука не доносится снаружи. Ему вспоминается ехидное лицо директора. Ох, с каким наслаждением он вонзил бы ему клинок по рукоятку в самое сердце, и рука бы не дрогнула, и совесть бы не мучила. Но ведь нож у него отобрали... Ничего, Вертун отдаст ему свой, а ему останется пистолет. Вертун мечтает попасть в банду Лампиана, своего крестного, — тот убивает солдат и всех, кто мучает людей. В эту минуту разбойник кажется ему героем-мстителем. Лампиан — это

карающий меч сертанских бедняков. Может быть, и он когда-нибудь попадет к нему в отряд, и, может быть, они ворвутся в Баию, и тогда он перережет глотку директору. Какая рожа у него будет, когда Педро во главе кангасейро вломится к нему в кабинет! Выронит небось бутылку вина, подаренную приятелем из Санто-Амаро... А Педро вонзит ему нож в горло. Нет, сначала он посадит его в этот самый карцер, поморит голодом и жаждой... Ох, как хочется пить... Это от жажды мерещится ему во тьме страдальческое лицо Доры. Он почему-то уверен, что и она мучается сейчас. Он закрывает глаза, пытается отвлечься мыслями о Профессоре, Коте, о Безногом, Долдоне, о Большом Жоане, о том, как вся шайка пойдет на штурм приюта, чтобы спасти Дору. Но ничего не выходит: перед глазами у него по-прежнему стоит ее измученное жаждой лицо. Он снова колотит в дверь.

Он бьет в нее руками и ногами, выкрикивает самые страшные ругательства. Никто не отзывается, никто не слышит его. Наверно, в аду так же, как в этом карцере, недаром Леденчик так боится ада. Это и вправду ужасно — терпеть такие муки... Арестанты в тюрьме пели о том, что за стенами тюрьмы — свобода и солнце. И вода! Много воды: текут реки, с отвесных скал свергаются водопады, шумит огромное таинственное море. Профессор, который знает все на свете, потому что по ночам читает при свечке ворованные книги («испортишь глаза, Профессор»), говорил ему, что в мире больше воды, чем суши, — он где-то это вычитал. А здесь, в карцере, нет ни капли. И там, где томится сейчас Дора, тоже нет. Зачем он колотит в дверь? Никто его не услышит, а руки так болят. Вчера его избили в полиции: спина у него вся в черных кровоподтеках, грудь изранена, лицо распухло. Потому директор и сказал, что у него вид прирожденного преступника. Да ничего подобного! Ему не нужно ничего, кроме свободы. Старик в таверне сказал как-то, что судьбу не перешибешь, а Жоан де Адан ответил: «Настанет день, когда мы сами перекроим свою судьбу», и он согласен с грузчиком. Его отец погиб за то, чтобы изменить судьбу портовиков. Когда Педро вырастет, он тоже станет докером и тоже будет бороться за то, чтобы свобода, солнце, еда и вода принадлежали всем... Педро сплевывает, с трудом собрав слюну в пересохшем рту. Жажда мучит все сильнее. Леденчик хочет стать священником, чтобы избежать ада. Падре Жозе Педро знает, какие

дела творятся в колонии, он пытался не допустить, чтобы дети попадали туда, но что может сделать безвестный священник один против всех? Против всех — потому что все ненавидит беспризорных мальчишек... Только бы выйти отсюда... Он попросит матушку Аинью, и она наведет на директора порчу... Огун поможет ей в память того, как он, Педро, выкрал его изображение из полиции... Педро немало успел в свои пятнадцать лет. И Дора — тоже, хоть совсем недавно попала в шайку... А теперь оба они умирают от жажды... Педро снова стучит в дверь. Бесполезно. Жажда грызет ему нутро, как бешеная крыса, как целое полчище крыс. Он падает на колени, силы покидают его. Он засыпает, но жажда мучает его и во сне, и снится ему, что крысы впиваются зубами в прекрасное лицо Доры.

Он приходит в себя оттого, что кто-то слегка постукивает по одной из ступеней лестницы. Скорчившись, приподнимается — встать во весь рост не дает ему скошенный потолок.

— Эй, кто там? — тихонько окликает он.

— А ты кто? — слышится в ответ, и сумасшедшая радость захлестывает его.

— Педро Пуля.

— Это ты верховодишь у «капитанов»?

— Я.

Раздается свист, а потом голос торопливо произносит:

— Сегодня приходил один из ваших, просил кое-что тебе передать...

— Ну?..

— Сюда идут... Потом! — И шаги удаляются.

Теперь на сердце у него легче. Может быть, это Дора прислала ему весточку? Да нет, что за чушь лезет в голову? Как могла она исхитриться, если тоже сидит взаперти? Это, конечно, «капитаны». Наверно, ломают себе голову, думают, как бы вытащить его отсюда. Сейчас самое главное — выбраться из карцера: отсюда не бежишь. А вот потом, когда он выйдет из этой мышеловки, — дело другое... Дайте только выйти... Педро садится, начинает думать. Сколько времени он сидит, сколько дней прошло? Дня здесь не бывает, тянется одна нескончаемая темная ночь. Он нетерпеливо ждет возвращения мальчика, но тот почему-то задерживается, и Педро начинает тревожиться. Интересно, как там без него в шайке? Профессор наверняка уже выдумал, как

ему сбежать отсюда. Да ведь не сбежишь. А пока он в колонии, и Доре придется оставаться в приюте... В эту минуту дверь открывается, Педро вскакивает, думая, что его сейчас выпустят, но чья-то рука отталкивает его.

В дверях стоит надзиратель Ранулфо с кружкой. Педро почти выхватывает ее у него из рук, выпивает воду несколькими глотками. Как мало! Только жажду обмануть... Надзиратель протягивает ему глиняную миску, в которой плавают несколько фасолин.

— А нельзя мне еще воды? — спрашивает Педро.

— Водичка завтра будет, — со смешком отвечает тот.

— Хоть глоточек...

— Сказал ведь: завтра! А будешь колошматить в дверь — просидишь тут не неделю, а две. — И дверь захлопывается перед самым его носом.

Гремит ключ в замке. Педро на шаривает в темноте миску, жадно выпивает мутную воду, даже не заметив, какая она соленая. Потом глотает твердые фасолины. От соленой фасоли пить хочется еще больше. Что ему одна кружка? Он бы сейчас выпил ведро... Педро снова укладывается на полу, старается ни о чем не думать. Проходят часы. Перед глазами у него стоит печальное лицо Доры. Болит все тело.

Какое-то время спустя снова раздается стук. Он падает голос.

— Тебе велели передать, чтобы не вешал нос. Они тебя вытащат, как только выйдешь из карцера...

— Сейчас что, ночь? — спрашивает Педро.

— Вечер.

— Помираю, так пить хочется...

В ответ — ни звука. Педро в отчаянии думает, что этот паренек ушел. Но почему он не слышал шагов на лестнице?

— Терпи. Кружку сюда никак не просунуть, — вдруг слышит он. — Закурить хочешь?

— Еще бы!

— Подожди минуту.

Через минуту в дверь еле слышно стучат, и откуда-то снизу раздается голос:

— Я просунул сигаретку. Пошарь посередине.

Педро осторожно вытягивает из щели под дверь сплюснутую сигарету, спичку и кусочек коробка.

— Спасибо, — шепчет он.

За дверью возникает какой-то шум, слышится звон-

кая пощечина, звук падающего тела, а потом другой, незнакомый голос произносит:

— Еще раз поймаю — прибавлю срок!

Педро съеживается. Этот парень наверняка заплатит за свою доброту. Когда он выйдет отсюда, обязательно возьмет его к себе. К солнцу, к свободе. Осторожно, чтобы не уронить единственную спичку, он закуривает, пряча сигарету в кулак, чтобы сквозь щели между ступенями не заметили огонек. Снова наваливается на него безмолвие, лезут в голову тягостные мысли, проплывают перед глазами лица.

Докурив, он на коленях пристраивается в углу. Если бы можно было заснуть... Исчезло бы страдальческое лицо Доры.

Сколько часов провел он здесь? Сколько дней? Тьма по-прежнему беспросветна, жажда все так же безжалостна. Три раза приносили ему воду и фасоль. Он уже понял, что пить соленый фасолевый отвар нельзя — от него жажда мучит еще сильнее. Он ослабел, ноги точно чужие. От параша в углу исходит зловоние, ее не выносят. Живот у него болит, кажется, будто все кишки перепутались. Ноги не слушаются. Поддерживает его одна только ненависть, — ненависть, переполняющая душу.

— Сволочи... Сукины дети...

Только это и сумел он произнести, да и то шепотом. Нет больше сил кричать, барабанить в дверь. Ясно, что здесь он и умрет. Он видит распростертую на полу, умирающую от жажды Дору, а рядом — Большого Жоана, отделенного от девочки решеткой. Здесь же стоят плачущие Профессор и Леденчик.

В четвертый раз принесли ему воды и фасоли. Воду он выпил, а есть не стал. Слабым голосом произнес:

— Сволочи... Сволочи...

Но еще до того, как ему принесли еду (если можно назвать это едой), в этот день (для Педро все дни превратились в одну нескончаемую ночь) знакомый голос снова окликнул его. Он отозвался, не вставая:

— Сколько дней я тут?

— Пять.

— Дай закурить.

Сигарета немного подбодрила его, мысли прояснились, и он понял, что через пять дней умрет. Такую пытку не вынесет и взрослый мужчина. И ненависть его достигла предела — дальше уж некуда.

Опять ночь. У него на глазах умирает Дора. Рядом с нею, за прутьями решетки — Большой Жоан. Плачет Леденчик, плачет Профессор. Во сне все это или наяву? Ох, как болит живот...

Сколько же времени будет длиться эта тьма? Сколько будет мучиться перед смертью Дора? Вонь от бочонка в углу настерпима. Дора умирает, кончается. Может, и он живет последние минуты?

Рядом с Дорой вдруг появляется лицо директора. Пришел помучить ее перед смертью. Почему она так долго не умирает? Лучше бы — сразу... А теперь вот директор пришел, чтобы муки ее стали невыносимыми...

— Вставай,— слышит он голос. Директор пинает его ногой.

Педро шире открывает глаза. Доры нет. Перед ним — ухмыляющееся лицо директора:

— Ну, образумился?

Падая, Педро успевает подумать: «Как режет глаза свет! Жива ли Дора?»

Он снова в кабинете директора. Тот все улыбается.

— Как тебе у нас в гостях? Нравится? Теперь небось больше не потянет воровать, а? Я и не таких обламывал!

Педро исхудал до неузнаваемости: кожа да кости. Лицо у него даже не бледное, а зеленое, оттого что желудок расстроен. Рядом с ним стоит надзиратель Фаусто — это его голос слышал он во тьме карцера. Надзиратель — здоровенный детина, ходят слухи, что в жестокости с ним может соперничать только сам директор.

— Куда его? — спрашивает он. — В кузницу?

— Нет, лучше — на сахарную плантацию. Пусть на земле поработает,— смеется директор.

Фаусто кивает.

— Глаз с него не спускай. Это злобная тварь. Ничего, мы его быстро приведем в чувство... Понял, негодяй?

Педро не опускает перед ним глаз. Надзиратель подталкивает его к двери.

Только теперь он видит все здание колонии. Во дворике парикмахер машинкой остригает его наголо, белокурые завитки падают на землю. Ему дают штаны и куртку из голубоватой бумажной ткани, и он переодевается. Потом Фаусто ведет его в мастерскую:

— Найдется мачете и серп?

Он вручает то и другое Педро и отправляет на плантацию сахарного тростника, где работают содержащиеся в колонии дети. Педро так ослабел, что едва удерживает в руках мачете. Надзиратели то и дело бьют его, но он не произносит ни звука.

Вечером их строем ведут обратно. Педро пытается угадать, кто же приносил ему сигареты. Они поднимаются по лестнице, входят в дортуар, не зря помещающийся на третьем этаже: попробуй-ка спрыгнуть! Дверь за ними запирается. Фаусто приказывает:

— Граса, молитву!

Краснолицый мальчик выходит вперед и начинает читать «Символ веры». Все хором повторяют за ним слова молитвы и крестятся. Потом следует «Отче наш» и «Богородице» — голоса звучат громко и внятно, хотя все устали до смерти. Наконец-то можно лечь... Кровать застелена грязным одеялом, белье — одеяло да наволочку на каменно твердой подушке — здесь меняют раз в две недели.

Уже засыпая, Педро чувствует на плече чью-то руку.

— Ты Педро Пуля?

— Да.

— Это я к тебе приходил тогда, передавал весточку...

Педро разглядывает его. На вид этому мулату лет десять.

— Они еще навевались?

— Каждый божий день. Все спрашивали, когда тебя выпустят из карцера.

— Скажи им, что я — на плантации.

— Скажу.

— Сколько же дней я там проторчал?

— Восемь. Не каждый выдержит. Одного парня оттуда вынесли ногами вперед...

Мальчик уходит. Педро не успел спросить, как его зовут. Он хочет сейчас только одного — спать. Но раздаётся какой-то шум, и из-за дощатой перегородки появляется надзиратель Фаусто.

— В чем дело?

В ответ — молчание.

— Встать! — хлопает он в ладоши.

Обводит взглядом лица мальчишек:

— Так. Никто, значит, не знает?

Молчание. Надзиратель, протирая глаза, обходит ряды кроватей. Стрелки огромных часов на стене показывают десять.

— Никто не желает говорить?

Молчание. Надзиратель скрипит зубами:

— Будете час стоять столбом. До одиннадцати, кто приляжет, пойдет в карцер. Он как раз освободился...

Тишину пререзает детский голос:

— Сеньор надзиратель...

Голос принадлежит маленькому, изжелта-бледному мальчику.

— Ну, Энрике, говори.

— Я знаю, почему был шум.

Все неотрывно смотрят на доносчика. Фаусто подбадривает его:

— Говори, Энрике, выкладывай что знаешь.

— Жеремиас, сеньор надзиратель, забрался в кровать к Берто. Они, сеньор надзиратель, хотели заняться своими гадостями...

— Жеремиас! Берто!

Названные выходят вперед.

— К дверям! Стоять до двенадцати! Остальным — спать! — И Фаусто еще раз оглядывает своих воспитанников. Когда надзиратель уходит к себе, Жеремиас показывает Энрике кулак. Педро засыпает под оживленное жужжание голосов.

Утром, в столовой, они пьют водянистый кофе, жуют черствые хлебцы. Сосед по столу, понизив голос, спрашивает Педро:

— Это ты — вожак «капитанов»?

— Я.



— Видел в газете твою фотографию... Ты — молодец! Но тебе крепко досталось... — Он сочувственно смотрит в исхудалое лицо Педро, проглатывает кусок и продолжает: — Надолго тут застрянешь?

— Нет. Скоро смоюсь.

— Я тоже. Я кое-что уже придумал... Возьмешь меня к себе?

— Возьму.

— А где ваша «норка»?

— На Кампо-Гранде всегда найдешь кого-нибудь из наших, — осторожно отвечает Педро.

— Думаешь, донесу? — с обидой спрашивает тот.

Надзиратель Кампос хлопает в ладоши. Все встают и строем расходятся по мастерским или на плантации.

Днем Педро замечает на дороге Безногого. Однако надзиратель тут же прогоняет его.

Наказание. Это слово звучит в колонии чаще всех прочих. За малейшую провинность мальчишек избивают, по каждому пустяку секут или запирают в карцер. В душах воспитанников копится ненависть.

Подобравшись к краю плантации, он умудряется передать Безногому записку, и на следующий день находит среди зарослей тростника моток веревки — тонкой, прочной, новенькой веревки. Наверно, кто-нибудь из друзей подкинул ее ночью. В мотке Педро обнаруживает нож и кладет его в карман. Но как пронести веревку в дортуйар? Под рубаху не спрячешь — сразу будет заметно. Днем бежать невозможно: надзиратели караулят каждый шаг.

Внезапно начинается свалка. Жеремиас бросился на Фаусто с мачете. На выручку тому, размахивая хлыстами, кинулись надзиратели, Жеремиаса хватают. Педро, воспользовавшись суматохой, сует веревку под блузу и бежит в спальню. Навстречу ему вниз по лестнице спешит надзиратель с револьвером. Педро успевает юркнуть в открытую дверь, и тот не замечает его.

Педро прячет веревку под матрас и бегом возвращается на плантацию. Жеремиаса волокут в карцер. Надзиратели пересчитывают мальчишек. Ранулфо и Кампос устремляются вдогонку за Агостиньо, который воспользо-

вался суматохой и убежал. Фаусто, бережно неся пораненную руку, идет в лазарет. Директор, яростно сверкая глазами, снует вперед-назад. Снова пересчитывают воспитанников, и один из надзирателей спрашивает Педро:

— Ты где был?

— Отошел в сторонку, чтоб меня не впутали в это дело.

Надзиратель смотрит на него недоверчиво, но больше не цепляется.

Приволакивают беглеца Агостиньо, его избивают тут же, на глазах у всех. Потом директор приказывает:

— В карцер его!

— Там ведь Жеремиас... — напоминает Ранулфо.

— Пусть вдвоем посидят, веселей будет!..

От этих слов Педро пробирает дрожь. Как можно уместиться вдвоем в этой камере, где и одному тесно?

В эту ночь он решает ничего не предпринимать, потому что все надзиратели настороже и особенно бдительны. Мальчишки скрипят зубами в бессильной ярости.

Но двое суток спустя, когда Фаусто ушел в свою комнату за перегородкой, когда все уснули, Педро поднялся с кровати, вытащил из-под матраса моток веревки. Его койка стояла у самого окна. Он распахнул створки, привязал веревку к выступавшему из стены костылю, выбросил свободный конец наружу. Она оказалась коротка и повисла довольно высоко от земли. Стараясь не шуметь, он вытянул веревку обратно. В эту минуту его сосед поднял голову от подушки:

— Рвешь когти?

Этот паренек пользовался недоброй славой наушника. Потому его и положили рядом с новеньким. Педро вытащил нож:

— Видал? Постарайся уснуть. Если только пыхнешь — глотку перережу, честное слово Педро Пули. А если донесешь потом... Ты слышал про «капитанов»?

— Слышал...

— Ну, так они тебя на дне морском достанут.

Положив нож рядом, Педро снова подтягивает веревку, привязывает к ней простыню, затягивает морским узлом — этому искусству обучил его когда-то Богумил. Еще раз грозит мальчишке, выбрасывает веревку и, сту-

пав на подоконник, начинает спуск. Он не успевает преодолеть и половины пути, как над головой раздаются крики: мальчишка все-таки поднял тревогу. Педро скользит по веревке, потом разжимает руки и прыгает. В животе что-то оборвалось, но он уже катится по земле, перемахивает через забор, спасаясь от сторожевых псов, которых на ночь спускают с цепи, выбирается на дорогу. У него в запасе есть еще несколько минут; пока надзиратели оденутся, пока спустятся, пока отправят по его следу собак. Педро сбрасывает с себя одежду, берет в зубы нож — чтобы ищейки не нашли по запаху. И, голый, в холодном предутреннем сумраке бежит навстречу солнцу, навстречу свободе.

Профессор прочел заголовок в «Журнал да Тарде»:

**«Главарю «Капитанов песка» удалось бежать из исправительной колонии»**

Потом шло длинное интервью с разъяренным директором. Весь пакгауз надывается от смеха. Даже падре Жозе Педро хохочет, — хохочет так, словно он — полноправный член шайки.

#### СИРОТСКИЙ ПРИЮТ

Хватило месяца в приюте, чтобы из души Доры ушла радость, а из тела — бодрость и сила. Она родилась на холме, она провела детство на его крутых улочках. Потом началась полная приключений жизнь в шайке! Дора не была тепличным цветком. Дора любила солнце, улицу, свободу.

Здесь, в приюте, ей туго заплели волосы в две косички, стянули их розовыми бантами. Дали голубое полотняное платье и синий передник. Посадили за парту вместе с девочками пяти-шести лет. Кормили плохо. Наказывали. Оставляли без обеда, не выпускали на прогулку. Потом началась горячка — положили в приютский лазарет. Вышла она оттуда еле живой. Температура держалась, но она никому об этом не говорила, потому что не навидела унылую больничную палату, — туда никогда не заглядывало солнце и, казалось, вечно царят унылые

сумерки — медленная смерть дня. Если удавалось, она подходила к воротам, видела круживших у приюта Профессора или Большого Жоана. Однажды они сумели просунуть ей записку. Педро сбежал из колонии, Педро скоро выкрадет ее отсюда. Радость придала ей сил.

Во второй записке было сказано, чтобы она постаралась снова попасть в лазарет. Но стараться не пришлось: монахиня заметила, как пылает лицо Доры, положила ей ладонь на лоб:

— Да ты же вся горячишь!..

И снова полутьма палаты. Там как в могиле: тяжелые шторы не впускают солнце. Врач осмотрел ее и печально покачал головой.

Но появление «капитанов» точно залило лазарет светом. «Как он исхудал», — подумала Дора, увидев перед собой Педро. Рядом с ним стояли Профессор, Большой Жоан, Кот. Профессор припугнул сиделку ножом. Лежавшая на соседней койке девочка, хворавшая ветрянкой, тряслась под простыней. Жар испепелял Дору, она едва смогла подняться.

— Куда вы? Ей очень плохо! — прошептала сиделка.

— Ничего, Педро, я пойду... — сказала Дора.

Они вышли. У ворот стоял Вертун, держа за ошейник огромного пса, которому предварительно скормил кусок мяса. Кот открыл створку, пропустил всех вперед и сказал:

— Прошло как по маслу.

— Скорей, скорей, пока переполох не начался, — поторопил их Профессор.

Они зашли по улице. Дора больше не чувствовала жара: она шла рядом с Педро, она держала его за руку.

Прикрывал отход Вертун: он поигрывал ножом, на угрюмом лице сияла улыбка.

## ТИХАЯ НОЧЬ

«Капитаны» смотрят на ту, кто стала им сестрой и матерью. Профессор — на свою любимую. Педро — на свою невесту. Все молчат. «Мать святого» дона Анинья творит заговор, чтобы унялась сжигающая Дору горячка, веткой бузины отгоняет лихорадку. Блестящие

от жара глаза Доры улыбаются. Кажется, что покой, осеняющий по ночам Баию, поселился теперь и в ее душе.

«Капитаны» молча смотрят на сестру, мать, невесту. Ее свалила лихорадка. Куда девалась прежняя ее веселость, почему она не играет больше со своими сыновьями, почему не выходит по вечерам на воровской промысел со своими братьями — неграми, белыми, мулатами? Почему исчезла радость из ее глаз? Теперь в них — только покой, безмятежный покой баиянской ночи; Педро Пуля сжимает ее руку.

А «капитанам» тревожно, «капитаны» боятся потерять Дору. Но в глазах у нее — покой, покой баиянской ночи, и глаза ее покорно закрываются, когда матушка Аинья веткой бузины отгоняет от нее лихорадку.

Ночной покой снисходит на пакгауз.

#### ДОРА, ЖЕНА

Пес воеет на луну. Безногий провожает матушку Аинью через пески. Жрица сказала, что лихорадка скоро уймется. Леденчик побежал за падре: может, тот знает какое-нибудь верное средство.

В пакгаузе тихо. Дора попросила «капитанов» идти спать, и они улеглись на полу, но мало кому удастся заснуть этой ночью: все они думают о болезни Доры. А она поцеловала брата, отправила его спать. Он еще несмышлениш, он многого не понимает, он знает, что сестра больна, но даже и не думает о том, что она навсегда может покинуть его. А «капитаны» только об этом и думают, только этого и боятся. Неужто снова окажутся они без матери, без сестры, без невесты?

Рядом с Дорой остались только Педро и Большой Жоан. Негр улыбается, но Дора видит, что улыбается он через силу, наперекор снедающей его тоске, только чтобы утешить ее и подбодрить. Педро сжимает руку Доры. Чуть поодаль, скорчившись, уронив голову в ладони, сидит Профессор.

— Педро... — зовет Дора.

— Я здесь.

— Сядь поближе.

Педро пододвигается. Голос ее еле слышен.

— Хочешь чего-нибудь? — ласково спрашивает он.

— Ты любишь меня?

— Разве ты не знаешь?..

— Полежи со мной.

Педро вытягивается рядом с ней. Большой Жоан отходит к Профессору; оба молчат, оба грустят. Тихая ночь опустилась на пакгауз, и в неестественно блестящих глазах Доры — отзвук этой тишины.

— Ближе...

Педро придвигается, теперь они лежат вплотную друг к другу. Дора кладет его руку себе на грудь. Тело ее так и пышет горячечным жаром. Ладонь Педро — на ее девичьей груди. Дора водит его рукой по своей груди, спрашивает:

— Ты знаешь, что я уже взрослая?..

Его рука — на ее груди, тела их совсем близко. В глазах у нее — безмерный покой.

— Это случилось там, в приюте... Теперь я могу быть твоей женой.

Педро смотрит на нее испуганно:

— Ведь ты же больна...

— Обними меня перед тем, как я умру...

— Ты не умрешь!

— Если обнимешь, не умру.

Тела их сливаются. Педро пронизывает порыв, пугающий его самого. Он боится причинить Доре боль, но она вроде бы не чувствует ее.

— Теперь ты моя, — говорит он прерывистым голосом.

Ее пылающее от жара лицо становится счастливым. Безмятежный покой уступает место радости. Педро осторожно отстраняется.

— Как хорошо, — шепчет Дора. — Я — твоя жена.

Педро целует ее, и прежнее выражение кроткого спокойствия появляется на лице Доры. Она смотрит на него с любовью.

— Теперь я буду спать... — слышит он.

Педро лежит рядом, сжимает ее горячую руку. Это его жена.

Мир и покой нисходят на новобрачных. Любовь всегда сладостна и добра, даже если смерть — совсем рядом. Тела их неподвижны, но в детских сердцах нет больше страха. Только покой, — покой баиянской ночи.

На рассвете Педро дотрагивается до лба Доры. Она — ледяной. Сердце ее не бьется. Крик его раскатывается по

всему пакгаузу, и разбуженные им «капитаны» вскакивают. Большой Жоан глядит на Дору широко открытыми глазами, потом поворачивается к Педро:

— Ты не должен был...

— Она сама позвала меня,— отвечает тот и торопливо выходит из пакгауза, чтобы не разрыдаться при всех.

Профессор стоит над телом Доры, не решаясь дотронуться до него. Одно он понимает ясно: здесь ему больше оставаться незачем, теперешняя его жизнь в шайке кончена. Леденчик и падре Жозе Педро входят в пакгауз. Священник берет руку Доры, потом прикасается к ее лбу.

— Умерла.

Он начинает читать молитву, и почти все повторяют за ним:

— «Отче наш, сущий на небесах...»

Педро вспоминает, как молились хором в колонии. Плечи его начинают трястись, он затыкает уши. Поворачивается, смотрит на мертвую Дору — Леденчик вложил ей в пальцы лиловый цветок — и плачет навзрыд.

Пришли матушка Авинья и Богумил. Педро молча сидит в стороне. Жрица говорит:

— Как тень исчезла она с этого света, а на том станет святой. Зумби, король Палмареса<sup>1</sup>, стал святым, и мы устраиваем кандобле в его честь. Роза Палмейрао тоже стала святой... Те, кто не знал страха при жизни, становятся нашими святыми.

— Как тень исчезла...— повторяет Большой Жоан.

Как тень возникла она, как тень исчезла. Никто не может понять и объяснить это,— никто, даже Педро, который был ее мужем, даже Профессор, который любил ее.

— Господь принял ее душу,— говорит падре.— Она была безгрешна, она не знала, что такое грех...

Леденчик молится. Богумил знает, чего ждут от него. Надо взять тело Доры на борт баркаса и похоронить ее в море, у старого форта. Иного выхода нет. Но как объяснить это падре Жозе Педро? Безногий торопливо и сбивчиво растолковывает ему положение. Сначала падре

<sup>1</sup> Зумби — вождь так называемой «Республики Палмарес», созданной беглыми рабами-неграми на северо-востоке страны.

приходит в ужас: это грех, на который он не может согласиться. Потом понимает, что хоронить Дору по обряду — это значит выдать «капитанов» властям. Педро Пуля хранит молчание.

А вокруг — тихая ночь. И в мертвых глазах Доры — матери, сестры, невесты, жены — покой. Кое-кто всхлипывает. Тело несут Вертун и Большой Жоан. У Вертуна руки точно одеревенели, а Жоан рыдает как женщина. Матушка Аинья набрасывает на тело Доры белое кружевное покрывало.

— Иеманжа примет ее. Дора тоже станет святой.

Педро Пуля обнимает мертвую Дору, не дает вынести ее. Профессор подходит к нему:

— Отпусти. Я тоже любил ее. Что уж теперь...

Дору выносят в безмятежную ночную тишину, к таинственному необозримому морю. Падре читает молитвы, и странная похоронная процессия движется в темноте к баркасу Богумила. Педро, стоя на берегу, видит, как отчаливает парусник и уходит все дальше. Он простирает вслед ему руки.

«Капитаны» возвращаются к себе. Тает вдалеке белый парус. Луна освещает песок пляжа, и на поверхности воды звезд столько же, сколько на небе. Ночь тиха и спокойна, как лицо Доры.

### ЗВЕЗДА С ЗОЛОТОЙ ГРИВОЙ

В баиянской гавани существует поверье: новая звезда загорается на небе, когда умирает бесстрашный человек. Так было с Зумби, с Лукасом да Фейра, с Безоуро, со всеми отважными неграми. Но если умирает женщина, пусть хоть самая храбрая на свете, звезда не появляется. Роза Палмейрао, Мария Кабасу стали святыми на африканских кандомбле, но ни одна из них не превратилась после смерти в звезду.

Педро Пуля бросается в воду. Он не может больше сидеть в пакгаузе, слушать всхлипывания и причитания. Он пойдет следом за Дорой, и в царстве Иеманжи они будут вместе. Он плывет за баркасом. Он видит, как с палубы простирает к нему руки Дора. Больше для него нет ничего и не будет вовек. А силы его уже на исходе. Он плывет, глядя на звезды, на огромную желтую луну. Разве страшно умереть, отыскивая любимую? Разве страшно утонуть, плывя навстречу любви?



И разве имеет значение, что в эту ночь астрономы заметили в небе над Баией комету — звезду с золотой гривой? Педро видел, как Дора превратилась в звезду и взлетела в небеса. Дора оказалась отважней всех, смелей Розы Палмейрао и Марии Кабасу: в смертный свой час эта девочка, едва вошедшая в пору, наградила его своей любовью. Вот потому и засияла над Баией новая звезда, — звезда с длинной золотой гривой, звезда, которая не загоралась еще ни в чью честь.

Педро Пуля счастлив. Мир и покой осеняют наконец и его. Теперь он знает, что среди тысяч звезд, горящих в баианском небе, равном которому нет на свете, будет отныне сиять ему его звезда.

Далеко от берега подобрал его баркас Богумила.

## ПЕСНЬ БАИИ, ПЕСНЬ СВОБОДЫ

### ПУТИ-ДОРОГИ

С того дня, как умерла Дора, прошло не много времени, и «капитаны» еще не успели забыть тех кратких, но запомнившихся им дней, которые она провела у них, не забыли о ее болезни и смерти, и кое-кто, входя, еще смотрит по привычке в тот угол, где она любила сидеть вместе с Профессором и Большим Жоаном, смотрит так, словно надеется опять увидеть ее там. Никто не может понять, как это так получилось, что у них неожиданно-негаданно появилась мать и сестра, и потому они продолжают искать ее глазами, хоть и видели, как отчалил от берега баркас Богумила, чтобы похоронить Дору в морской пучине. Один только Педро Пуля не ищет Дору в пакгаузе, а все поглядывает на небо, мечтая разглядеть среди множества звезд ту, у которой такая длинная золотистая грива.

А Профессор, придя однажды вечером в «норку», не зажег свечу, не открыл книгу, ни с кем не завел разговора. С тех пор, как лихорадка унесла Дору, прежняя его жизнь кончилась безвозвратно. Ее присутствие придавало всему смысл и новое значение. Пакгауз в такие минуты казался ему рамой ненаписанных картин: вот Дора по-матерински склоняется над Котом, и ее белокурые волосы падают ему на грудь. Вот она целует брата и шепчет ему «покойной ночи». Вот она поет кому-то колыбельную, вот, точно бесстрашная мулатка из сертанов, горделиво улыбается Вертуну, любуясь его отвагой. Вот после целого дня, проведенного на улицах Баии, после всех приключений, преследований и погонь она, хохоча, вбегает в пакгауз, и волосы ее летят за нею. А вот она, сгорая от лихорадки, простирает руки к возлюбленному, зовя его для первого и последнего объятия. А теперь пакгауз стал для него рамой, из которой вырезали холст; теперь все прежнее потеряло для него смысл. А может

быть, и наоборот: приобрело новый смысл, отталкивающий и ужасный. Профессор сильно изменился со дня смерти Доры: стал молчалив и угрюм, постоянно о чем-то размышлял и где-то отыскивал того человека, который дал ему на улице Чили свою карточку.

И вот пришел вечер, когда Профессор не зажег свечу, не раскрыл книгу, не заговорил с Большим Жоаном, присевшим рядышком. Он стал собирать свои пожитки — большую их часть составляли книги. Большой Жоан глядел на него молча. Он все понял, хотя славился в шайке тем, что соображал очень туго. А когда вернувшийся Педро сел рядом и угостил Профессора сигаретой, тот вдруг сказал:

— Знаешь, Пуля, я ухожу...

— Куда?

Профессор оглядел пакгауз, веселых мальчишек, которые, пересмеиваясь, сновали назад-вперед в полутемном пакгаузе и как будто не замечали шнырявших под ногами крыс.

— Что у нас есть? Что нас ждет? Зуботычины в полиции? Все говорят, что когда-нибудь все изменится, — и падре Жозе Педро, и Жоан де Адан, и ты тоже... Я решил свою жизнь изменить сам.

Педро не промолвил в ответ ни слова, но в глазах у него застыл немой вопрос; а Большой Жоан опять все понял.

— Я буду учиться у одного художника из Рио... Доктор Дантас — помнишь, тот с мундштуком? — написал ему, послал мои рисунки... И вот теперь пришел ответ: он хочет, чтобы я приехал. Когда-нибудь я изобразю нашу жизнь, наш мир... Помнишь, я говорил тебе?.. Теперь это у меня выйдет...

Голос Педро звучал ласково:

— Ты не только изобразишь нашу жизнь — ты поможешь ее изменить...

— Это как? — спросил Большой Жоан.

Профессор тоже не понял, а Педро не смог бы найти слова, чтобы объяснить. Но он верил в Профессора и знал, что на картинах, которые тот напишет, всегда будет отсвет ненависти, горевшей у него в душе, и отсвет любви к свободе и справедливости. Все это останется при нем, никуда от этого не деться. Не зря провел он детство в шайке «капитанов» — «капитаном» он и останется, даже если выйдет из него не вор, не убийца, не припортовый бездельник, а художник.

Педро не мог выразить все словами и потому сказал:  
— Мы тебя никогда не забудем. Ты нам читал книги, ты среди нас был самый башковитый... Самый толковый...  
Профессор опустил голову. Большой Жоан вскочил на ноги, и пакгауз задрожал от его крика, призывного и прощального вопля:

— Все сюда!

Мальчишки столпились вокруг них. Негр вскинул руки:

— Профессор от нас уходит. Он будет теперь художником в Рио-де-Жанейро! Ура Профессору!

От дружного «ура» сердце Профессора сжалось. Он еще раз обвел пакгауз глазами: нет, это не пустая рама, это фон для множества картин, замелькавших перед ним, как кадры киноленты. Нищета. Отвага. Борьба. На минуту ему вдруг захотелось остаться, но он тотчас отогнал от себя эту мысль. Что толку? Что это изменит? Когда-нибудь он поможет им по-настоящему... Он покажет всему миру, как они живут... Профессора обнимают, жмут ему руку. Вертун печален, словно у него на глазах застрелили кангасейро из отряда Лампиана.

Вечером на пристани доктор Дантас — он оказался поэтом — отдает Профессору письмо и деньги.

— Я отправил ему телеграмму. Он тебя встретит. Надеюсь, ты оправдаешь мои надежды.

Никогда еще пассажира, плывущего третьим классом, не провожало столько народу. Вертун на прощанье подарил Профессору свой нож. Педро шутил и смеялся, из кожи вон лез, чтобы всем было весело. Один только Большой Жоан не скрывал печали.

Педро долго махал вслед пароходу, и Профессор видел издали его берет. Оказавшись среди незнакомых людей, среди офицеров в мундирах с галунами, важных господ и нарядных дам, он вдруг оробел и растерялся. Отвага его осталась на берегу, но в груди горело пламя любви к свободе. Эта любовь заставит его забыть академические каноны своего учителя, написать картины, которые и восхитят всю страну, и ошеломят ее.

Прошла зима, прошло лето. Снова наступила зима — с затяжными дождями. Каждую ночь завывал за стенами пакгауза ветер.

Теперь Леденчик продает на улицах газеты, чистит башмаки, перетаскивает багаж туристов. Удастся кое-что

заработать: он бросил воровство. И не ходит больше на промысел вместе с другими. Педро разрешил ему остаться в пакгаузе, хотя не очень-то понимает, что творится в душе Леденчика: знает только, что тот хочет сделаться священником, избежать уготованной им всем доли. Ну и что? Ничего это не изменит, не исправит в их жизни. Падре Жозе так старается помочь им стать людьми, но ведь он один как перст, а все остальные вовсе не считают, что он поступает правильно. Успеха можно добиться, только если все разом приналягут, как говорит старый докер Жоан де Адан.

А Леденчика звал господь. По ночам мальчик явственно слышал его голос,— он звучал где-то внутри его существа, был могуч, как голос моря, как голос ветра, и, минуя разум, шел прямо в сердце. Голос звал его, обещал счастье, вселял ужас. Голос требовал от него всего, целиком, безраздельно, а за это обещал ему счастье. Голос велел Леденчику служить богу и был могуч, как рокот моря, как вой ветра. Леденчик посвятит себя богу, он отвергнет все соблазны, он очистится от грехов, и за это господь явит ему свой божественный лик. Леденчик спасет свою душу, он раскается во всех своих прегрешениях, мир ничем больше не прельстит его: глаза его будут незрячи — только тогда смогут они лицезреть бога. Тому, кто не сумел очиститься, лик господя явится грозным, точно штормовое море. А тому, чьи помыслы чисты, чьи глаза не замутнены созерцанием непотребств, он предстанет кротким и ласковым, как морская гладь в солнечный тихий день.

Леденчик избран богом. Но и жизнь в шайке тоже отметила его своей печатью. Он отрешается от свободы, отвергает радость видеть и слышать мир, он вытравит из своей души греховные помыслы,— божий глас зовет к нему, и мощь этого зова ни с чем не сравнить. Затворившись от мира, Леденчик будет вымаливать прощения для «капитанов». Он должен следовать за голосом, позвавшим его. Когда он слышит его сквозь завывание зимнего ветра, лицо его преображается, точно пришла весна.

Падре Жозе Педро снова пригласили в канцелярию архиепископа. На этот раз каноник не один: вместе с ним — настоятель монастыря капуцинов. Падре дрожит, ожидая новых упреков: он и вправду часто преступал закон, помогая беспризорным мальчишкам, и, кажется, за-

тея его провалилась: почти ничем не смог он улучшить и облегчить их жизнь. Но все же, все же иногда он вносил мир в их измученные души. И, кроме того, он завоевал Леденчика — бог зачет ему эту победу. Конечно, он сделал ничтожно мало, конечно, он не сумел изменить их судьбу, но битва не проиграна. Падре было одновременно и грустно и радостно: радостно — потому что не все его усилия пропали втуне, грустно — потому что добиться удалось немногого. «Капитаны» стали ему родными, он был им и отцом и матерью. Сейчас те, кого он знал совсем мальчишками, выросли. Профессор уже уехал, вскоре разлетятся кто куда и остальные. Они погрузятся в пучину греха, будут воровать и грабить, но все-таки иногда падре удавалось согреть их лаской и добрым словом, удавалось внушить, что все люди — братья...

Каноник, против ожидания, не бранит его. Он сообщает, что архиепископ решил дать ему приход:

— Вы, падре, доставили нам немало хлопот вашими бреднями относительно воспитания... Хочу надеяться, что вы оцените доброту его преосвященства, будете ревностно выполнять свой пастырский долг и позабудете пагубные советские новшества...

В приходе, который решил предоставить ему архиепископ, никогда не было священника: никто не соглашался ехать в захолустную деревеньку, затерянную в глуши сертанов, где к тому же орудовали многочисленные банды. Однако падре Жозе Педро обрадовался, услышав название этого местечка. Он отправится к бандитам-кангасейро: это те же дети, только выросшие не по уму. Он поблагодарил и собирался уже откланяться, когда настоятель вдруг спросил:

— Сеньор каноник сказал мне, что среди детей, которых вы опекаете, один чувствует в себе призвание к священнослужению?

— Я как раз собирался сказать вам о нем, — ответил падре. — Мне никогда еще не доводилось видеть подобного рвення и пыла.

Монах улыбнулся:

— Нашей миссии пригодился бы такой послушник. Разумеется, капуцин — не совсем то же, что священник, но это довольно близко. Если призвание его истинно, наш орден мог бы впоследствии определить его в семинарию. Потом он принял бы пострижение.

— Да он с ума сойдет от радости!

— Вы ручаетесь за него, падре?

Леденчик станет послушником у капуцинов. Быть может, когда-нибудь он примет сан. Падре Жозе Педро выходит из канцелярии, обращая к господу богу слова благодарности.

Проводить падре собралась чуть ли не вся шайка. Свисток паровоза звучит жалобно. Жозе Педро с любовью всматривается в лица мальчишек.

— Мы вас не забудем, падре,— говорит Педро.— Вы к нам относились по-человечески. Вы — добрый...

«Капитаны» не сразу узнают Леденчика в монашеском одеянии, подпоясанном длинной веревкой.

— Представляю вам брата Франсиско из обители Святого Семейства.

Былые приятели разглядывают его смущенно. А Леденчик улыбается. Он похудел еще больше, совсем высох — настоящий отшельник. В длинной сутане он кажется выше ростом.

— Брат Франсиско будет молиться о вас...— говорит падре.

Он прощается с «капитанами», вскакивает на подножку вагона. В последний раз прогудел паровоз. Падре видит через оконное стекло, как машут ему мальчишки руками, шапками, драными шляпенками, тряпицами, заменяющими им носовые платки. Старушка соседка, нетерпеливо ожидающая отправления, чтобы поскорее завести разговор, с изумлением видит, что по щекам падре катятся слезы...

Долдон захаживает теперь в пакгауз только изредка. Он вырос, раздался в плечах, сочиняет и распевает под гитару самбы. На улицах Баии много таких, как он: день-деньской он околачивается в порту или на рынке, а вечерами идет на праздник или на пирушку в Сидаде-да-Палья или на холм. Без него не обходится ни одна макумба: всюду он желанный гость, везде его кормят до отвала и пьют допьяна. Он играет на гитаре, крутит любовь с хорошенькими мулатками, очарованными его песнями. Он не дурак и подражать, а если от полиции житья нет, приходит в пакгауз, отсиживается там.

Он играет своим былым товарищам на гитаре, смеется вместе с ними. Кажется, что он по-прежнему — один

из них. Но чем старше он становится, тем дальше он от «капитанов». Он превратится в одного из тех шалопаев, которые любят Баию больше всего на свете и жизни себе не представляют без ее улиц и переулков. Ему одинаково противны и богатство, и честный труд. Он любит музыку, застолье, праздники. Девчонки льнут к нему. Он драчун и забияка. Он знаток капоэйры и в совершенстве владеет ножом. Если очень уж будет нужно, может и стянуть что плохо лежит. У него доброе сердце — так говорится в АВС, которое Долдон сочинил про одного приятеля, точно такого же, как он сам. Он будет клясться своим возлюбленным, что скоро остепенится, возьмется за ум, пойдет работать, но всегда будет прежним, — беспечным и беспутным баианцем. Новое поколение «капитанов» будет любить его и восхищаться им, как восхищались нынешние Богумилом.

Прошло время. Однажды Педро с Безногим завернули в церковь Пьедаде полюбоваться золотой утварью и попытать счастья: вдруг удастся срезать сумочку у какой-нибудь погруженной в молитву святоши. Однако в тот час в церкви никого не было, кроме кучки ребятишек, которым монах-капуцин растолковывал катехизис.

— Гляди, это же Леденчик! — ахнул Безногий.

Педро взгляделся в монаха, пожал плечами:

— За что боролся, на то и напоролся...

— Не больно-то он растолстел на церковных хлебах, — сказал Безногий.

— Когда-нибудь он станет падре. К тому и шло...

— От доброты проку немного, — сказал Безногий.

И добавил, помолчав:

— Только ненавистью чего-нибудь добьешься.

Леденчик не видел их. Терпеливо и ласково объяснял он непоседливым мальчишкам азы вероучения. Покачав головой, приятели вышли из церкви. Педро положил руку на плечо Безногому:

— Дело не в доброте. И не в ненависти. Нужно бороться.

Смирение звучало в голосе Леденчика. Ненависть звенела в голосе Безногого. Но Педро не слышал ни того, ни другого — их заглушал голос старого грузчика Жоана де Адана, голос его отца, погибшего в борьбе.



Кот сказал, что нашел выгодное дело. Есть одна старая дева, лет сорока пяти, вздорная и крикливая, собой страшна как смерть. Денег у нее куры не клюют, все комнаты заставлены золотыми и серебряными безделушками, полно фамильных брильянтов и других драгоценностей, доставшихся ей в наследство. Педро подумал, что тут можно было бы урвать неплохой куш. Гонсалес, владелец ломбарда, наверняка раскошелится бы...

— Сможешь протыриться? — спросил Педро у Безногого.

— Ясное дело!

— Осмотришься — позовешь.

В пакгаузе раздался смех. Кот отправился к Далве.

— Завтра утром наведаюсь, — пообещал Безногий.

Дверь ему открыла сама хозяйка. У нее была только одна служанка — чернокожая старушка, жившая в этой семье лет пятьдесят и теперь как часть имущества перешедшая к наследнице рода. Хозяйка окинула Безногого взглядом, исполненным достоинства:

— Что тебе?

— Я бедный, искалеченный сирота, — тот вытянул вперед хроющую ногу. — Воровать совесть не позволяет, а просить Христа ради — стыдно... Нет ли у вас работы для меня? Я мог бы ходить за покупками...

Хозяйка не отрывала от него взгляда. Мальчишка... Взять его, что ли? В ней говорила не доброта, а вождение. Скоро, совсем скоро плоть перестанет предъявлять свои требования: врачи говорят, что тогда и нервность ее исчезнет... Много лет назад — она была еще молода — у них в доме служил мальчик на побегушках... Как было хорошо... Но старший брат однажды накрыл их и выбросил мальчишку вон. Брата уже давно нет на свете, и вот на пороге стоит другой мальчишка...

— Ну, что ж...

Она впустила Безногого, велела ему вымыться. Потом дала денег на покупки и еще немного — чтобы раздобыл себе одежду поновей и почище. Безногий смухлевал и положил в карман тысячу двести рейсов.

«Тут можно будет кое-что скопить», — подумал он.

На кухне негритянка трещала без умолку, пересказывая семейные предания. Безногий слушал, всячески вы-

казывал внимание и интерес, ахал, переспрашивал; да, со старухой следовало завязать добрые отношения. Но когда он вскользь спросил про золото, служанка не ответила. Безногий не настаивал: всему свой черед. В делах такого рода главное — не пороть горячку, запастись терпением, уметь выждать. Дверь в гостиную была открыта: хозяйка плела кружева и время от времени поглядывала на мальчика. Лицом она и вправду была страшновата, но рыхлеющее тело было еще привлекательным. Хозяйка подозвала Безногого показать ему свою работу и, когда он подошел, наклонилась так, что в вырезе платья мелькнули тяжелые груди. Безногий подумал, что это случайно, и похвалил кружево:

— Как здорово у вас получается, сеньора...

«Вот воспитанный мальчик», — подумала она. Несмотря на то что он миловидностью не отличался и к тому же сильно хромал, хозяйка нашла его хорошеньким. Конечно, лучше бы он был помладше... Да что ж поделаешь... Она снова наклонилась — снова качнулись груди. Безногий поспешно отвел глаза, чтоб не подумали, что он пялится куда не надо, но продолжал расхваливать кружева, и хозяйка, погладив его по щеке, томно сказала:

— Спасибо, мой мальчик.

Служанка втащила в комнату матрас, застелила его простыней, положила подушку. Хозяйка ушла к подруге, жившей на той же улице, а когда вернулась, Безногий уже лежал в постели. Он слышал, как она прощалась с кем-то:

— Вы уж извините, что пришлось провожать старую деву до дому...

— Побойтесь бога, донна Жоана!..

Безногий слышал, как она вошла в переднюю, захлопнула дверь, повернула ключ в замке. Негритянка уже спала в своей клетушке возле кухни. Проходя через гостиную в спальню, хозяйка окинула Безногого долгим взглядом. Тот притворился спящим. Хозяйка вздохнула и ушла к себе.

Свет погас. Безногий, хоть и не привык ложиться так рано, скоро заснул.

Он не знал, в котором часу оказалась возле его постели хозяйка. Почувствовав сквозь сон, что кто-то гладит его по голове, подумал, что ему это снится. Рука скользнула на грудь, потом к животу. Безногий окончательно проснулся, но продолжал лежать с закрытыми глазами. Донна Жоана придвинулась к нему вплотную, приподня-

ла подол ночной рубашки. Безногий хотел что-то сказать, но она зажала ему рот, кивнула в сторону кухни:

— Могут услышать.

Потом прошептала:

— Ты меня приласкаешь, правда?

И, прижавшись к нему, легла рядом. Но когда Безногий захотел овладеть ею, отстранилась:

— Нет... Так я не хочу...

Эти детские забавы взбесили Безногого.

Хозяйка едва слышно постанывает. На ее пышной груди покоится голова мальчика, руки ее гладят его.

По утрам Безногий встает совсем разбитым. Все тело ноет. Каждую ночь ведет он сражения с хозяйкой, но выиграть их не может. Старая дева довольствуется крохами любви, жалким ее подобием: она боится забеременеть, боится скандала. А плоть ее требует своего и радуется даже малой малости. Безногий же хочет спать с нею; сопротивление доны Жоаны только злит его. Он готов возненавидеть хозяйку, но привык к ласкам, и тело ее влечет его, хотя, просыпаясь поутру, он испытывает к Жоане такую ненависть, что готов задушить ее в бессильной ярости. Но по ночам, ощущая рядом с собой ее пышную грудь, ее крутые бедра, начинает придумывать, как добиться своего. Но хозяйка всегда начеку: в последний момент она отстраняет его, шепотом бранит. Ярость охватывает Безногого, но рука Жоаны снова тянется к нему, и он не может противиться, и снова начинается бесплодная борьба, после которой он просыпается измученным и опустошенным.

Днем он отвечает Жоане сквозь зубы, грубит ей, может и обругать, и довести до слез, называет старухой и обещает завтра же уйти. А она умоляет остаться, дает ему денег. И Безногий остается, но не из-за денег: его неудержимо тянет, влечет ее тело. Он уже знает, каким ключом отпирается дверь в спальню, где хранятся драгоценности Жоаны, знает, как стянуть этот ключ и передать его «капитанам». Но тело хозяйки — ее груди, ее бедра, ее руки не дают ему уйти.

Ему всегда не везло с женщинами. Никто никогда не смотрел на него зазывно и ласково, а если удавалось подкараулить на пляже негротянку, то взять ее можно было только силой. Другие мальчишки были так же некрасивы, но Безногий, приволакивавший ногу, точно краб, вну-

шал женщинам особенное отвращение. Вначале его это огорчало, потом он озлился и стал добиваться своего силой, собирая четверых-пятерых приятелей. И вот теперь появилась в его жизни белая женщина — немолодая и некрасивая, но все еще соблазнительная. Она залезает к нему в постель, ласкает его, прижимает его голову к своей необъятной груди, и Безногий, становясь день ото дня все злее и нетерпеливее, не может уйти от нее. Он хочет обладать Жоаной, а ей довольно подобия любви, жалких ее крох.

Безногий ненавидит и ее, и себя, и весь мир. Так проходят дни за днями.

Педро Пуля торопит его: давно уж пора бы выведать все секреты этого дома. Безногий отвечает, что скоро расскажет о расположении комнат. В последнюю ночь схватка с хозяйкой особенно яростна. Хозяйка стонет в его объятиях, но честью своей поступиться не хочет. И тогда Безногий решается и исчезает, прихватив заветный ключ.

Дона Жоана ждет его. Дона Жоана чувствует себя брошенной и обманутой. Она плачет, она причитает. Ей тоже нужна любовь, как и всем этим нарядным и красивым девушкам, которых она видит из своего окна.

А обнаружив пропажу драгоценностей, она приходит в ярость и думает теперь, что Безногий проводил с нею ночи для того только, чтобы потом обокрасть. Она унижена, ее жажда любви осквернена. Ей плюнули в лицо и сказали: «Так тебе и надо, уродина!» Она плачет и стонет, но теперь уже не от наслаждения. Попадись ей сейчас Безногий, она задушила бы его собственными руками: он надсмеялся над ее любовью, он осквернил ее любовь. И несчастье ее особенно велико потому, что всю эту неделю она была совершенно счастлива. В истерике она чуть не катается по полу.

А в пакгаузе Безногий со смехом пересказывал свое приключение. Но в глубине души он чувствовал, что старая дева сделала его еще хуже, чем он был, что ее порочность усилила дремавшую в нем ненависть. Неутоленное желание мучает его по ночам. Неутоленное желание лишает его сна, приводит в бешенство.

#### В ТОВАРНОМ ВАГОНЕ

Из Баии, из Аракажу, из Ресифе, даже из самого Рио-де-Жанейро прибывают в Ильеус суда с женщинами. Толстые полковники стоят на пирсе, выбирают себе по

вкусу брюнеток, блондинок, мулаток. Какаовый бум охватил всю страну: в сравнительно небольшом городке Ильеусе открылись четыре кабары сразу, полковники проводят ночи за картами и шампанским, прикуривая от пятисотенных бумажек, а по утрам вываливаются на улицы и устраивают шествия. Эти известия облетели кварталы красных фонарей в Баии, вездесущие коммивояжеры без усталости рассказывали о том, что все женщины из кабары Браммы в Аракажу перебрались в Ильеус, в кабаре «Эльдорадо», что все веселые девицы Ресифе погрузились на корабли компании «Бразильский Ллойд», что в Пернамбуко не осталось ни единой жрицы любви — все обосновались теперь в кабаре «Батаклан», которое студенты прозвали «Школой». Даже из Рио прибыли проститутки: они захватили «Трианон» — самое роскошное ночное заведение столицы какао, раньше носившее имя «Везувий». Даже Рита-Муравьиха, славившаяся размерами и упругостью зада, покинула тихую заводь в Эстансии, где она правила самовластно и безраздельно, даря свою благосклонность каждому, кто пожелает, и переехала в Ильеус, на улицу Сапо, в кабаре «Дальний Запад», — там звуки поцелуев и хлопанье откупориваемого шампанского перемежались револьверной пальбой, ором и криком. «Дальний Запад» стал излюбленным заведением десятников, управляющих, мелких помещиков, ставших вдруг богачами.

Обезлюдил квартал гулящих девиц в Баии, опустели их дома. Подруги Далвы ринулись в Ильеус — в «Батаклан», в «Эльдорадо», в «Дальний Запад». Иным удалось попасть даже в «Трианон», где они танцевали с полковниками. В кабаре «Батаклан» женщины из Пернамбуко и Сержипе зарабатывали столько, что могли поделиться барышами со студентами, вознаграждая их любовный пыл. «Эльдорадо» ломился от посетителей, даже в «Дальнем Западе» проститутки за свой труд получали бриллианты. Случалось, правда, что и пулю; на груди, точно диковинная брошь, появлялось кровавое пятно. Рита-Муравьиха отплясывала на столе чарльстон, — пенилось откупориваемое шампанское, гремели выстрелы. Все это было много лет тому назад, когда какаовая лихорадка была в разгаре.

Когда же Далва узнала, что ее подруга Изабел добыла себе пару колец и бриллиантовый перстень — и притом даже не в «Трианоне», а всего лишь в «Батаклане», — сердце ее дрогнуло. Она стала собирать чемоданы. Она

поняла, что путь ей, красивейшей из проституток Баии, лежит в кабаре «Трианон». Коту был спит эlegantнейший кашемировый костюм, и, надев его, он преобразился: был мальчик, а стал самый настоящий хлыщ, только очень молоденький.

Вечером во всем своем великолепии — новый костюм, черные лакированные башмаки, галстук бабочкой, шляпа из рисовой соломки — он появился в пакгаузе, и Большой Жоан только ахнул, увидев его:

— Ты ли это, Кот?

А Коту не было еще и восемнадцати лет, и уже четыре года путался он с Далвой.

— Вот теперь заживем!.. — воскликнул он.

Открыл дорогой портсигар, предложил приятелям закурить, пригладил модно подстриженные волосы, хлопнул по плечу Педро:

— Уезжаю в Ильеус, не поминайте лихом! С моей бабой не пропадешь. Заработаю кучу денег, стану фазендейро, выпишу вас к себе — вот тогда повеселимся на славу!

Педро улыбнулся в ответ. Вот и этот уходит... Мальчишки вырастают, они рвутся из пакгауза... Он знал, что все они и раньше были не очень-то похожи на детей своего возраста: ежедневный риск, жизнь на улице рано сделали их взрослыми. Они ничем не отличались от настоящих мужчин — разве что ростом. А так разницы никакой: «капитаны» с малолетства подстерегали на пляже неосторожных негритянских девчонок, воровали и грабили, добывая себе на пропитание. И в полиции их лупили, не делая скидки на юные годы. Случалось им устраивать и вооруженные нападения, оружием они владели не хуже самых отпетых баиянских бандитов. И разговоры у них были не детские, и жизнь они воспринимали совсем по-другому. Дети их возраста играли и учились читать по складам, а они решали такие проблемы, которые под силу только взрослому, опытному человеку. Нищая и бурная жизнь не давала им оставаться детьми. У ребенка есть дом, ребенка окружают родные любящие люди — отец и мать, ребенок ни за что не отвечает. А у «капитанов» никогда не было родителей, и жили они на улице, и должны были заботиться о себе сами, и сами за себя отвечали. Они всегда были взрослыми. И вот теперь пришло время самым старшим, тем, кто верховодил в шайке, выбирать себе судьбу, идти своим путем. Ушел Профессор — теперь он пипет картины в Рио-де-Жанейро. Все

реже показывается в «норке» Долдон: он играет на гитаре на праздниках и пирушках, ходит на кандомбле, устраивает потасовки на ярмарках, он примкнул к многочисленному племени веселых баианских прощелыг. Имя его уже замелькало на страницах газет. Полиция зорко присматривается к этим бродягам. Леденчик — послушник в монастыре, к нему воззвал божий глас, и вряд ли теперь пересечется его дорога с дорогой «капитанов». Уходит Кот: он будет облапошивать полковников Ильеуса, Богумил сказал как-то раз, что Кот когда-нибудь разбогатеет. Беспризорная жизнь научила его и нечистой игре в карты, и ловкому мошенничеству, и искусству жиголо. Скоро, скоро разбредутся кто куда и остальные... И только он, их вожак и атаман Педро Пуля, не знает, что ему делать. Он уже взрослый, надо подыскивать себе преемника. Что ждет его? Он не наделен талантом, как Профессор, который появился на свет, только чтобы рисовать и писать. Он не рожден перекаати-полем, как Долдон, который и знать не хочет ежедневной борьбы людей за кусок хлеба, ему бы только бродить по улицам Баии, точить лясы, брэнчать на гитаре, пить и есть на даровщину... Педро мало этого: жажду свободы, живущую в его душе, не утолить этой вольной волей. И господь не воззвал к нему, как к Леденчику: для него все проповеди падре Жозе Педро — звук пустой, хотя он любит священника за доброту и честность. И только слова старого грузчика Жоана де Адана находят путь к его сердцу. Но и он знает так мало... Что у него есть? Могучие ручищи да зычный голос, который, если надо устроить очередную забастовку, может звучать ласково и дружелюбно... Ясно одно: с Котом ему не по дороге, он не поедет в Ильеус, чтобы облапошивать полковников. Он сам еще не знает, чего хочет, и только это не дает ему покинуть старый пакгауз.

А «капитаны» восторженными воплями провожают Кота, и тот, элегантно, как на картинке, поправляет прическу, и на пальце у него посверкивает давным-давно украденный в трамвае перстень с камнем винно-красного цвета...

Стоя на причале, Педро машет вслед уплывающему Коту. Как далеки они друг от друга: оборванный паренек с беретом в руке — и Кот, стоящий рядом с Далвой в изящной, с иголки кашемировой паре. Он кажется совсем взрослым. У Педро на душе смутно и тревожно:

хочется убежать куда-нибудь, подняться на палубу какого-нибудь корабля или вскочить на подножку вагона, умчаться неведомо куда...

Но умчался не он, а Вертун. Однажды вечером полиция взяла его на месте преступления: он вытряхивал из какого-то коммерсанта его бумажник. Вертуна приволокли в полицию и жестоко избили, потому что он покрыл и агентов, и инспекторов отборной бранью, держась с вызывающим презрением, как и подобает истинному сертанцу. Ему было всего шестнадцать лет, а потому, продержав недельку за решеткой, его отпустили. Вертун вышел на свободу. Он был почти счастлив. В жизни появилась цель: убивать полицейских,— чем больше, тем лучше.

Несколько дней он просидел в пакгаузе, угрюмо размышляя о чем-то — его звали сертаны, вольная разбойная жизнь,— а потом сказал Педро:

— Переберусь-ка я к «Индейцам Малокейро».

В Аракажу эта шайка была то же, что «капитаны» — в Баии. Члены ее ночевали под причалами, воровали на улицах, шарили по карманам. Инспектор по делам несовершеннолетних Олимпио Мендоса был человеком добродушным и добросовестным: он пытался разобраться в присылаемых ему делах, становясь в тупик перед изобретательностью и отвагой мальчишек, которые заткнули бы ва пояс любого взрослого, но понимал, что решить эту проблему невозможно. Он рассказывал об их приключениях писателям, он даже любил их, хоть и самому себе не решился бы в этом сознаться, и горевал, потому что ничего не мог для них сделать. Когда в шайке появлялся новичок, инспектор знал, что он приехал из Баии — скорей всего, на тормозной площадке последнего вагона. Если кто-то исчезал из Аракажу, инспектор знал, что «индеец» перебрался в Баию и стал «капитаном».

...Ранним утром на станции Калсада свистнул паровоз, прибывший из Сержипе. Никто не знал, что поезд этот привез Вертуна: какое-то время он пробыл в Аракажу, чтобы приметившая его баианская полиция забыла о нем, и вот теперь юркнул в вагон, груженный тяжелыми тюками. Вскоре поезд тронулся.

Вертун едет по сертанам. Возле глинобитных домиков возятся женщины, играют дети. Ковыряются в земле полуголые мужчины. По проселку, тянущемуся вдоль железнодорожного полотна, гонят гурты скота; покрикивают,



подгоняя быков, пастухи-вакейро. На станциях продают сласти. Вертун жадно впитывает краски и запахи сертанов. На лотках лежат головки сыра и плитки тростникового сахара-рападуры. Снова перед его глазами — картины дикой природы. Он не забыл этот край. Годы, проведенные в городе, не вытравили любви к этой убогой и прекрасной земле. Вертун так и не стал горожанином вроде Педро, Долдона, Кота, — и в городской толчее остался он сертанцем, со своим особым выговором, со своим искусством подражать голосам зверей и птиц. Всем и каждому рассказывал он о своем крестном — о знаменитом разбойнике Лампиане. Когда-то у них с матерью был свой клочок земли, и полковники-фазендейро опасались связываться с кумой грозного бандита. Но потом Лампиан перекочевал в штат Пернамбуко, и мать Вертунна лишилась своего скудного достояния. Она отправилась в город за справедливостью, по дороге умерла, и Вертун, угрюмый и хмурый мальчишка, дошел до Баии один. Он попал в шайку «капитанов», многому научился, многое познал и понял. Оказалось, что и в городе хватает богатых подлецов, обирающих бедных, есть и бездомные, нищие дети, которых преследуют и мучают богачи... На лице Вертунна иногда появлялась улыбка, но ненависти он не разучился. Он познакомился с падре Жозе Педро и понял, почему Лампиан не обижал священников. Вертун и раньше восхищался Лампианом, а после того, как пожил городе и ненависть его окрепла, стал ему поклоняться. Он не сравнивал его даже с Педро Пулей.

И вот он в сертанах. Он вдыхает аромат сертанских цветов. Здесь каждая птица, каждая травинка дороги ему, любимы, знакомы. У порогов лежат тощие псы. Старик похож на индейских касиков, а негры носят на шее длинные четки. Как славно пахнет свежеспеченным кукурузным хлебом и маниоковой кашей! Исхудалые люди бьются на скудной земле, чтобы получить гроши от тех, кому эта земля принадлежит. Только каатинга принадлежит всем, — всем и никому. Лампиан освободил ее, очистил ее, изгнал из нее богачей, сделал ее вотчиной тех, которые сражаются с помещиками. На территории пяти сопредельных штатов раскинулись сертаны, и всюду люди славят Лампиана — героя и освободителя. Пусть говорят про него, что он — преступник, душегуб, насильник, убийца, грабитель. Вертун, так же как все обитатели сертанов, видит в нем нового Зумби из Пал-

мареса, освободителя, вождя нового, невиданного воинства. Свобода — как солнце, лучше свободы ничего нет на свете, и за свободу сражается Лампиан, во имя ее он убивает, насилует, грабит. Он добивается свободы и справедливости для жителей сертанов, раскинувшихся на территории пяти сопредельных штатов — Параиба, Алагоаса, Пернамбуко, Сержипе, Бани.

Вертун взволнованно и растроганно смотрит по сторонам. Поезд медленно ползет, вспарывая зеленую гладь. Все здесь исполнено поэзии, все обыденно и все прекрасно. Только нищета, в которой живут обитатели этого края, ужасает. Но здешние люди — крутого замеса, они и в этой нищете могут создать красоту, — и они создадут ее, как только Лампиан освободит эту землю, когда справедливость и свобода воцарятся в каатинге.

Через неплотно задвинутую дверь вагона видит Вертун бродячих музыкантов, вакейро, подгоняющих своих быков, крестьян, работающих на скудных наделах, где растут кукуруза и маниок. Когда поезд останавливается, полковники с огромными револьверами на боку выходят размять ноги. Слепые гитаристы услаждают их слух романсами, ждут подачки. Негр в рубище с четками на шее бежит по платформе, выкрикивая непонятные слова: раньше он был рабом, потом сошел с ума, кормится чем придется тут, на станции. Все боятся его, особенно если он начинает пророчествовать и предрекать беды. Он немало выстрадал, — бич надсмотрщика всласть погулял у него по спине. А кто хлестал Вертуна? — Полиция, надсмотрщик богачей. Придет день, когда он будет внушать такой же страх, как и этот негр.

Мягко постукивая на стыках рельсов, движется поезд; одуряюще пахнут неведомые сертанские цветы; люди ходят в сандалиях, носят кожаные шляпы. Дети, которые станут потом бандитами-кангасейро, проходят здесь школу нищеты и угнетения.

Внезапно поезд останавливается. Вертун высовывается из вагона: разбойники навели на пассажиров ружья; возле колеи стоит их грузовик. Безжизненно свисают со столбов перерезанные телеграфные провода. Вокруг, насколько хватает взгляд — только дикая каатинга. Барышня в одном из купе падает в обморок. Коммивояжер прячет бумажник. Толстый полковник выходит из вагона:

— Капитан Виргулино...

Бандит в очках вскидывает карабин:

— Назад!

Вертуну кажется, что от радости сердце его сейчас выпрыгнет из груди. Он встретил своего крестного, героя всех сертанских мальчишек, он нашел Виргулино Феррейру Лампиана. Он пробирается поближе, кто-то из бандитов хочет оттолкнуть его, но он кричит:

— Крестный!

— Ты кто такой? — спрашивает Лампиан.

— Я — Вертун, твой крестник.

Лампиан узнает мальчишку, улыбается. Люди его — их не очень много, не больше дюжины — тем временем обшаривают вагоны первого класса.

— Крестный, возьми меня с собой. Дай мне ружье!

— Мал еще, — отвечает тот, поглядев на него через темные очки.

— Я уже большой! Я уже дрался с солдатами...

Лампиан смеется:

— Зе, ну-ка, дай ему карабин, — и переводит взгляд на крестника: — Следи за этой дверью. Если кто попробует выскочить — стреляй.

Он вскакивает на подножку, исчезает в дверях вагона. Оттуда доносятся вопли и крики. Грохочет выстрел. Наружу выволакивают двоих полицейских. Лампиан отдает каждому бандиту его долю добычи, не забыв и Вертуна. Со ступенек вагона на землю льется кровь. От сладостного запаха сертанов раздуваются ноздри Вертуна. Полицейских ставят к деревьям, Зе-Баиянец уже поднимает винтовку, но в эту минуту слышится умоляющий голос:

— Крестный, можно мне?.. Такие, как эти двое, били меня в полиции, когда я был еще малолеткой...

Он вскидывает карабин, — жители сертанов сызмальства обладают верным глазом и твердой рукой.

На угрюмом лице его — радостная улыбка. Радость переполняет его. Один полицейский валится наземь, другой бросается бежать, но пуля ударяет ему между лопаток, и он тоже падает. Вертун наклоняется над трупами с ножом в руке: изуродовав их, он насытился мезтью.

— Ничего паренек, подходящий... — говорит Зе-Баиянец.

— Его мамаша, моя кума, ох бойкая была баба...— горделиво вспоминает Лампиан.

«Вот звереныш!» — думает коммивояжер. Кондукторы сбрасывают с рельсов бревна, наваленные бандитами, чтобы остановить паровоз. Поезд трогается. Лампиан и его люди скрываются в зарослях каатинги. Вертун жадно вдыхает воздух сертанов и острием ножа делает на ложе своего карабина две зарубки. Две первые зарубки... Издали доносится заунывный гудок паровоза.

## САЛЬТО-МОРТАЛЕ

Да, грабить этот дом на улице Руя Барбозы было чистейшим безрассудством: совсем рядом, на площади, не продохнуть от полицейских, агентов, инспекторов. Но «капитаны» стремительно взрослели, становились все более дерзкими; жажда приключений не давала им покоя. В доме оказались люди, они подняли тревогу, подоспели полицейские. Педро Пуля и Большой Жоан успели выскочить и понеслись по спуску Праса. Барандаи ринулся в противоположную сторону, и только Безногий, отвлекая агентов на себя, оказался на улице, запруженной народом. Полицейские бросились за ним вдогонку, решив, что уж этого-то хромого они схватят наверняка. Безногий мчался зигзагами, но те не отставали. Безногий сделал вид, что хочет выскочить с противоположного конца улицы, а потом, резко остановившись (разогнавшийся преследователь проскочил дальше), кинулся в переулок, а оттуда побежал не вниз, на Байша-дос-Сапатеiros, а вверх, к Праса-до-Паласио: он знал, что иначе его догонят непременно: ноги у полицейских были длиннее. И ему, хромоту, далеко не уйти. Он не дастся им. Он помнит, как обошлись с ним когда-то в участке, — тот арест до сих пор мучает его в кошмарных снах. Нет, больше они его не схватят, — бьется в нем единственная мысль. Полицейские несутся за ним по пятам. Безногий знает, что они будут из кожи вон лезть, чтобы схватить его, поимка «капитана» — дело нешуточное, это пахнет наградой и повышением по службе. Так вот же не будет по-вашему! Они его не возьмут, пальцем не притронутся. Он отомстит им. Он ненавидит их, как и весь мир, потому что мир к нему жесток. А когда случилось так, что люди отнеслись к нему ласково и любовно, пришлось бе-

жать от них, потому что гнусная жизнь уже отметила его печатью порока. Не знал Безногий детства. Десяти лет от роду стал он взрослым, а иначе не выдержал бы изнурительной борьбы за жизнь — скудную и трудную жизнь беспризорника. Никогда не мог он полюбить ни одно живое существо, кроме этой собачонки, которая и сейчас бежит за ним. Души детей чисты, а его душа обезображена ненавистью. Он ненавидит этот город, эту жизнь, этих людей. Он любит только свою ненависть — она придает ему отваги и сил, заставляет забыть об увечье. Один-единственный раз с ним по-матерински нежна была женщина, и то потому, что он напомнил ей умершего сына: в нем, в Безногом, она любила своего навеки потерянного Аугусто. А другая ложилась к нему в постель, ласкала его, создавая жалкое подобие любви, в которой отказала ей судьба. Никто и никогда не любил его таким, каков он есть на самом деле, — бездомный, искалеченный, несчастный. Все, кого он встречал в жизни, ненавидели его. И он ненавидел их всех. Однажды он попал в полицию, его там били, а человек в сером жилете с сигарой в зубах смеялся, глядя на его муки... Сейчас Безногому кажется, что это он гонится за ним, он, а не постовые полицейские... Если его схватят, он опять будет хохотать... Но его не схватят! Он слышит за спиной их дыхание, но они его не возьмут, нет! Дудки! Они думают, что он остановится, добежав до подъемника. Нет. Безногий вспрыгивает на невысокий парапет и, обернувшись к нагоняющим его полицейским, которые уже готовы схватить его, плюет в лицо тому, кто ближе, вложив в этот плевок всю свою ненависть. А потом, точно цирковой акробат, прыгает вниз.

На мгновение площадь замирает. «Убился», — говорит, побледнев, какая-то женщина. Точно цирковой акробат, не поймавший под куполом никелированный поручень трапеции, падает Безногий на камни мостовой. Просунув морду сквозь прутья решетки, воет собака.

#### ГАЗЕТНАЯ ХРОНИКА

Газета «Жорнал да Тарде» поместила телеграмму своего столичного корреспондента, описывавшего беспрецедентный успех, который выпал на долю юного и до сей поры неизвестного живописца, впервые выставившего свои произведения. Через несколько дней «Жорнал да Тарде»

перепечатала из какой-то столичной газеты статью критика. Юный художник был уроженцем Баии, что весьма польстило патриотизму редактора, ревниво следившего за славой родного штата. Критик, рассуждая о достоинствах и недостатках художника, о «свете», «воздухе», «колорите», «гамме теплых тонов», «изобразительном решении» и прочем, писал:

«...все, кто был на выставке этих картин, запечатлевших образы бездомных детей и сцены их жизни, не могли не заметить одной характерной особенности, присущей всем полотнам. Светлое начало неизменно воплощается в образе худенькой белокурой девочки с горячечным румянцем на щеках, а силы зла всегда олицетворяются фигурой мужчины в черном пальто,— по всей видимости, приезжего. Тем, кто знаком с учением о психоанализе, это повторяющееся, словно безотчетное, возвращение двух персонажей, присутствующих почти на каждой картине, многое объяснит в творчестве художника Жоана Жозе, человека трудной судьбы...»

А потом опять начиналась искусствоведческая невнятица. Прошло несколько месяцев, и в газете появилась статья под заголовком:

### **«Бойтесь данайцев...**

**Полиция города Белмонте возвращает  
баиянским властям мошенника,  
известного под кличкой Кот**

Похоже, полиция Белмонте по воле своих коллег из Ильеуса оказалась в роли троянцев: завоевавший несмотря на свою молодость печальную известность мошенник Кот осуществил ряд махинаций и поживился за счет многих крупных помещиков и коммерсантов в Ильеусе, после чего переехал в Белмонте, где продолжил свою предосудительную деятельность. Он продавал земельные угодья, согласно его словам «весьма подходящие для выращивания какао». Когда же новые землевладельцы захотели осмотреть места будущих плантаций, то обнаружили, что все они находятся в русле реки Кашоэйра. Полиция Белмонте задержала Кота и выдворила из Белмонте.

Жители Ильеуса, бесспорно, богаче нас, им легче обеспечивать необходимый столь взыскательному и рафинированному гостю комфорт, чем нам, жителям прекрасного Белмонте, ибо если наш город именуют жемчужиной юга, то Ильеус, по справедливости, — настоящий бриллиант».

В полицейской хронике в числе происшествий, не заслуживающих особого внимания, рассказывалось, что полиция разыскивает некоего Долдона, который во время ярмарочного гулянья устроил драку и пивной бутылкой проломил череп владельцу одной из палаток.

Незадолго до рождества страницы «Жорнал да Тарде» запестрели огромными заголовками. Сенсацию можно было сравнить только с той, которую вызвала некогда статья о любовнице Лампиана, наравне с мужчинами принимавшей участие во всех набегах его шайки. Интерес читателей можно было понять: жители пяти штатов — Баии, Сержипе, Алагоаса, Параиба и Пернамбуко — затаив дыхание следили за приключениями грозного бандита. Одни его ненавидели, другие обожали, но равнодушным не оставался никто. Аршинными буквами «шапка» сообщала о том, что

### **Сподвижник Лампиана — 16-летний подросток**

Заголовки были набраны чуть помельче:

**Один из самых ужасных злодеев —  
тридцать пять зарубок  
на прикладе — он принадлежал к шайке  
«Капитаны песка» —  
Машадан погиб по его вине**

Дальше пространно повествовалось о том, что жители деревень, подвергшихся налетам Лампиана, уже давно заметили среди бандитов мальчика лет шестнадцати по кличке Вертун. Несмотря на юные годы, он наводил страх на сертаны и славился своей жестокостью. На прикладе его карабина было обнаружено тридцать пять зарубок — по числу жертв. После этого газета рассказывала историю гибели Машадана, одного из самых старых сподвижников Лампиана,

Однажды бандиты захватили на шоссе пожилого сержанта полиции. Лампиан поручил Вертуну прикончить его, и мальчик с видимым наслаждением стал мучить свою жертву, медленно и неглубоко вонзая в тело сержанта клинок. Ужаснувшись такой жестокости, Машадан поднял ружье с тем, чтобы застрелить Вертуна, но Лампиан, гордившийся своим любимцем, успел выстрелить первым и убил Машадана. Вертун же продолжал пытку.

В статье пересказывались и другие преступления шестнадцатилетнего бандита. Потом журналист, вспомнив, что в шайке беспризорных мальчишек «Капитаны песка» был паренек, кличка которого тоже была Вертун, спрашивал, не тот ли это самый, и пускался в рассуждения об упадке нравов.

Весь тираж газеты разошелся мгновенно.

Через несколько месяцев «Журнал да Тарде» преподнесла своим читателям новую сенсацию, известив об аресте Вертуна. Отряду конной полиции, рыскавшему по сертанам в поисках Лампиана, удалось схватить Вертуна спящим. Газета объявила, что завтра юного бандита доставят в Баию, и поместила его фотографию: с газетных страниц глядело на читателей угрюмое лицо Вертуна — «лицо прирожденного преступника», как писала газета.

Но прошло время, и в специальных выпусках, освещавших ход процесса над Вертуном (суд, предъявив ему обвинение в доказанном и подтвержденном свидетелями убийстве пятнадцати человек, приговорил его к тридцати годам тюрьмы), газета, сообщив о том, что на прикладе обнаружили не тридцать пять, а шестьдесят зарубок — каждая из них означала убитого человека, — сама опровергла свое мнение о «врожденной преступности». Газета поместила выдержки из заключения судебно-медицинского эксперта, который славился своей неподкупной честностью и обширными познаниями и уже в то время был одним из виднейших социологов и этнографов Бразилии. Эксперт доказывал, что в психике Вертуна нет патологии и что он стал бандитом, с такой изощренной жестокостью убившим так много людей, вовсе не от врожденной тяги к насилию. Эксперт объяснял все влиянием преступной среды... Далее следовали ученые рассуждения.



Однако его выводы вызвали у читателей куда меньше интереса, чем прочувствованная, яркая, блиставшая красотою слога речь господина прокурора: он живописал мучения, которым подвергал свои жертвы юный кровопийца; в зале суда рыдали, прослезился и сам председатель.

Ко всеобщему негодованию, обвиняемый не плакал. Его мрачное лицо выражало какое-то странное спокойствие.

## ТОВАРИЩИ

В городе происходит что-то новое. Педро Пуля вместе с Большим Жоаном и Баранданом вышел из пакгауза. Порт опустел: никого, кроме полицейских, охраняющих большие склады. Не становятся под разгрузку корабли: докеры во главе с Жоаном де Аданом объявили о своей солидарности с забастовавшими служащими трамвайной компании. Кажется, что в городе — праздник, только какой-то особый, непохожий на другие: люди собираются кучками, с жаром что-то обсуждают, взад-вперед снуют автомобили, из магазинов выглядывают смеющиеся лица продавцов; вся Ладейра-да-Монтанья запружена народом: кто вверх, кто вниз — на своих на двоих, потому что подъемник не работает. Забастовщики молча идут к зданию профсоюзного центра, чтобы огласить свой манифест, — лист бумаги зажат в огромной ручище грузчика Жоана де Адана. У входа, охраняемого солдатами, стоят, оживленно переговариваясь, люди.

— Лихо... — произносит Педро, поглядев на все это.

Большой Жоан улыбается, негритенок Барандан отвечает:

— Кажется, сегодня будет заваруха.

— Я бы ни за что не пошел ни в кондукторы, ни в вагоновожатые. Получают сущие гроши. Правильно сделали, что забастовали, — говорит Большой Жоан.

— Поглядим? — предлагает Педро.

Они протискиваются поближе к дверям. Туда идут люди — белые, негры, мулаты, португальцы, испанцы. Когда появляются грузчики во главе с Жоаном де Аданом, трамвайщики встречают их приветственными криками. Трое приятелей тоже кричат «ура!»: Жоан и Барандан — потому, что любят старого докера, а Педро — еще и потому, что ему нравится это зрелище: забастовка ка-

жется ему похожей на какую-нибудь лихую и дерзкую затею «капитанов».

Группа хорошо одетых мужчин входит в здание профцентра. Стоя в дверях, мальчишки слышат чью-то длинную речь, прерываемую выкриками: «Желтые! Продажные твари! Штрейкбрехеры!»

— Лихо...—повторяет Педро.

Ему хочется войти туда, смешаться с толпой забастовщиков, вторить их крикам, бороться за них и вместе с ними.

Город засыпает рано. На небо выплывает луна, с палубы баркаса доносится тоскующий голос: должно быть, какой-нибудь негр поет о том, как печально ему живется — возлюбленная его покинула. В пакгаузе малыши уже заснули, и Большой Жоан похрапывает на полу, положив нож так, чтобы сразу можно было дотянуться. Один только Педро, растянувшись на песке, глядит на луну, слушает жалобы покинутого любовника. Ветер доносит обрывки фраз. Педро шарит глазами по небу, отыскивая среди звезд Дору — Дору, превратившуюся в невиданную звезду с длинной золотистой гривой. У тех, кто не знает страха, в сердце — звезда. Но никто еще не слышал, чтобы звезда эта диковинным цветком распускалась в груди женщины. Отважные женщины Баии — те, кто ходил по ее земле и плавал по ее морю — после смерти становятся святыми, в их честь устраивают кандомбле: так произошло с Розой Палмейрао, о которой поют во время радений на языке наго. Так случилось и с Марией Кабасу — в квартале Итабуна, где впервые доказала она свою храбрость, звучат в ее честь кантиги. И Роза и Мария были высоки ростом, крепки и сильны, и руки у них были мускулистые, как у тех забастовщиков, которых Педро видел сегодня у профцентра. Роза Палмейрао была красива, ходила вразвалку, точно под ногами у нее всегда покачивалась выбкая палуба ее баркаса, на котором бороздила она воды баианской бухты. Люди любили ее не только за храбрость, но и за красоту. А Мария Кабасу, темнокожая дочь негра и индеанки, была тучной, уродливой, злой нравной, могла и отколотить попавшего под горячую руку мужчину. Но и ей случалось отдаваться какому-нибудь щуплому, с желтоватым отливом кожи парню из Сеара, и он любил ее, точно красавицу с точеным телом и призывным взглядом. Обе они слави-

лись своей отвагой, обеим воздают хвалу на кандомбле, которые устраиваются мулатами и которые отличаются от строгих негритянских радений тем, что на них появляются новые святые. А Дора была отважней и Розы, и Марии Кабасу: она, совсем еще девочка, делила с «капитанами» все опасности и тяготы, а ведь всякий знает: испытания, выпадающие на их долю, по плечу только сильному и храброму мужчине. Дора жила в их шайке, Дора была им всем матерью. И матерью и сестрой: она вместе с ними носилась по улицам Баии, забиралась в окна богатых особняков, воровала бумажники у заславшихся прохожих. Она наравне с мальчишками дралась против Эзекиела и его дружков. А потом стала Педро невестой и женой. Это случилось в ту тихую ночь, когда горячка сжигала ее тело, когда смерть подобралась к ней вплотную. Покой, сиявший в ее глазах, непостижимо передался окружавшей их ночи... Дора попала в приют и сбежала оттуда, как сбежал из колонии он, Педро Пуля. У Доры хватило мужества утешить перед смертью «капитанов» — своих сыновей, братьев, друзей — и своего мужа Педро Пулю. Матушка Анинья завернула ее в белое кружевное покрывало, вышитое точно в честь святого; рыбак Богумил взял ее тело на борт своего баркаса, похоронил в пучине моря, во владениях богини Иеманжи; падре Жозе Педро помолился за упокой ее души. Не было человека, который не любил бы ее, но один лишь Педро хотел последовать за нею туда, откуда нет возврата. После ее ухода покинул старый пакгауз Профессор — ему там стало невыносимо. Но один лишь Педро бросился в море, чтобы разделить с Дорой ее судьбу, чтобы не оставить одну на том неведомом пути, по которому Иеманжа ведет отважные души в зеленую пучину моря. И потому ему одному дано было увидеть, как Дора, обернувшаяся звездой с золотистой гривой, скользит по ночному небосводу; она явилась только Педро, только ему одному. Когда он уже совсем ослабел и приготовился к смерти, звезда, засияв у него над головой, придала ему новых сил, и тут возвращавшийся в гавань баркас Богумила подобрал его. Сейчас Педро ищет на небе звезду с длинной золотистой гривой, звезду, не похожую ни на какую другую, как не похожа была ни на кого на свете Дора. Не было на свете женщины, подобной этой девочке... Небо все в звездах, звезды плещутся в морских волнах, и кажется, что тоскующий голос певца, оплакивающего утерянную любовь, вызывает к ним, жалуясь и

плача. И он тоже отыскивает любовь, сгинувшую в баиянской ночи.

Педро думает, что звезда, в которую превратилась Дора, катится сейчас над улицами и переулками Баии, отыскивает его, гадая, какую новую затею придумали «капитаны». Нет, то, что происходит сейчас в городе, придумано не беспризорными мальчишками: это кондукторы и вагоновожатые, крепкие негры, веселые мулаты, испанцы и португальцы, приплывшие сюда бог знает из какой дали, взметнули к небу кулаки и крикнули, громко и весело, как беспризорные баиянские мальчишки. Забастовка гуляет по городу! Лихая и прекрасная штука — забастовка, лучшее из приключений. И Педро хочется участвовать в ней, кричать и перебивать ораторов. Его отец тоже был забастовщиком: его застрелили в ту минуту, когда он говорил речь, и в жилах Педро течет кровь крамольника и смутьяна. Вольная жизнь на улицах научила его любить свободу. Арестанты в тюремной камере пели о том, что свобода — как солнце: это величайшее благо всякого, кто живет на земле. Забастовщики борются за свободу: чтоб есть немного сытнее, чтобы дышать немного вольнее. Борьба их — точно праздник.

В песках появляются чьи-то силуэты, и Педро насто-роженно приподнимается. Но сразу же узнает огромную фигуру грузчика Жоана де Адана. Рядом с ним — какой-то юноша. Хорошо одет, только волосы взлохмачены и растрепаны. Педро сдергивает с головы шапку.

— Слыхал, Жоан, как мы тебе «ура» кричали?

Старый докер смеется. Крутые мускулистые плечи туго натягивают рубаху, на лице сияет улыбка.

— Капитан Педро, познакомься. Это товарищ Алберто.

Педро сначала вытирает ладонь о полу драпного пиджака и лишь затем пожимает протянутую ему руку.

— Студент, в университете учился, но он с нами и за нас, — объясняет Жоан.

Педро глядит на нового знакомого без недоверия. Студент улыбается.

— Наслышан, наслышан о тебе и твоих ребятах. Вы — молодцы.

— Что ж, мы не робкого десятка... — отвечает Педро.

Старый докер подходит вплотную:

— Вот что, Педро, надо бы потолковать... Дело у нас есть к тебе, серьезное дело. Вот товарищ Алберто...

— Пойдем в «норку»,— приглашает Педро.

Когда они входят в пакгауз, Большой Жоан, спавший на пороге, просыпается и, приняв хорошо одетого незнакомца за шника, неуловимым стремительным движением хватает нож. Педро успевает остановить его:

— Это свой. Товарищ Жоана. Пошли с нами.

Вчетвером садятся они в угол пакгауза. Кое-кто из мальчишек просыпается, смотрит на них. Студент обводит взглядом пакгауз, фигуры спящих на полу детей. Зябко передергивается, словно от порыва холодного ветра.

— Какой ужас!

Но Педро, не слыша его, увлеченно говорит грузчику:

— Как это здорово — забастовка! В жизни ничего лучше не видал! Прямо как праздник...

— Это и есть праздник,— говорит студент.— Праздник бедняков.

Голос его звучит мягко и доброжелательно и зачаровывает Педро, как песня, доносящаяся с баркаса.

— У меня ведь отца убили во время забастовки. Спросите Жоана, он вам расскажет...

— Это славная смерть,— отвечает студент.— Он пал за дело своего класса. Разве не так?

Оказывается, ему известно имя его отца. Оказывается, все его знают. Оказывается, он был вожаком докеров. Он героически пал за дело своего класса во время забастовки — праздника бедняков.

— Так ты, значит, считаешь, что забастовка — хорошее дело? — слышит Педро дружелюбный голос студента.

— Ты не знаешь, какие это золотые ребята! — восклицает Жоан де Адан.— А уж о Педро и говорить нечего! Он — настоящий товарищ!

Товарищ... Товарищ... Педро кажется, что нет на свете слова прекрасней. Так звучало в устах Доры слово «брат».

— Вот что, товарищ Педро, нам нужна твоя помощь — твоя и всех «капитанов»,— говорит студент.

— А что надо делать? — с любопытством спрашивает негр.

Педро представляет его студенту:

— Познакомьтесь. Большой Жоан. Замечательный парень, лучше не бывает.

Студент протягивает негру руку, и тот после секундного замешательства — дело непривычное — смущенно отвечает на пожатие.

— Вы молодцы...— снова произносит студент, а потом спрашивает с неподдельным интересом: — Это правда, что Вергун раньше был с вами?

— Правда,— отвечает Педро.— И мы его вытащим из каталажки, будьте покойны.

Студент смотрит на него изумленно, потом снова окидывает взглядом пакгауз. Жоан де Адан выразительно разводит руками: «Что я тебе говорил?»

— Помощь нужна забастовщикам? — нетерпеливо спрашивает Педро.

— Ну, если и так?..

— Тогда мы готовы. Можете на нас рассчитывать.— Он вскакивает на ноги: уже не мальчик, а юноша,— юноша, готовый к борьбе.

— Понимаешь, какое дело...— пускается в объяснения старый грузчик, но студент прерывает его:

— Забастовка должна происходить в строжайшем порядке. Если это нам удастся — победим, выколотим из хозяев прибавку. Нам важно показать, что рабочие — народ дисциплинированный, и потому — никаких драк.. («Жаль», — проносится в голове у Педро, охочего до потасовок.) Но вышло так, что директора Компании наняли штрейкбрехеров: завтра они выйдут на работу и сорвут нашу забастовку. Если с ними сцепятся рабочие, у полиции появится повод вмешаться. Все пойдет прахом. Вот товарищ Жоан и вспомнил про «капитанов»...

— Нужно будет разогнать «желтых»?! — радостно вскрикивает Педро.— Положитесь на нас!

Студент вспоминает спор, который разгорелся сегодня вечером в стачечном комитете: когда Жоан де Адан предложил позвать на помощь «капитанов», многие воспротивились, многие недоверчиво усмехались, но старый грузчик твердил одно:

— Вы не знаете этих ребят.— И его неколебимая уверенность убедила Алберто и других. Решили попробовать: «попытка не пытка». Сейчас он рад, что пришел в пакгауз, и мысленно прикидывает, как лучше всего будет использовать «капитанов». Эти оборванные, полуго-

лодные мальчишки сделают все, что потребуется. Он вспоминает, как показали себя их сверстники в Италии, в борьбе с фашистами, он вспоминает Луссо. И, улыбнувшись Педро, начинает излагать свой план: штрейкбрехеров на рассвете развезут по трем трамвайным депо. «Капитаны» должны будут разделиться на три группы и любой ценой не дать предателям вывести вагоны на линии. Педро слушает его и кивает, потом поворачивается к Жоану:

— Эх был бы жив Безногий... Если бы Кот не отвалил в Ильеус... И Профессора нет... Уж он бы миготом придумал, как нам быть... А потом нарисовал бы, как мы дрались. Он сейчас в Рио живет,— поясняет он.

— Кто? — спрашивает Алберто.

— Да это мы его Профессором прозвали, а по-настоящему-то он — Жоан Жозе. Художником стал, картины в Рио пишет.

— Неужели это он и есть?

— Он самый.

— Я-то всегда думал что это болтовня, не верил в эту историю, думал — газетное вранье. Ты знаешь, что он тоже — наш товарищ, настоящий товарищ?

— Он всегда был настоящим товарищем! — гордо отвечает Педро.

Студент продолжает размышлять вслух, а Педро, разбудив мальчишек, сообщает им о предстоящем деле. Слова его вселяют в Алберто уверенность в том, что все пройдет успешно.

— В общем, так,— подытоживает Педро.— Забастовка — это праздник бедняков, а все бедняки — друг другу товарищи. Значит, они — наши товарищи.

— Молодец! — искренне радуется студент.

— Увидите, как мы разделаемся с предателями! — отвечает Педро.— Я пойду с первой группой, Большой Жоан — со второй, Барандан возглавит третью. В депо муха не пролетит. Мы свое дело знаем. Вот посмотрите...

— Посмотрю,— кивнул студент.— Я буду там. Итак, в четыре утра?

— Точно.

— До завтра, товарищи! — взмахнул рукой Алберто.

«Товарищи...» Какое хорошее слово,— думает Педро. Никто уже не спит в эту ночь. «Капитаны» готовят оружие к завтрашнему сражению.

Близится рассвет, тускнеют и гаснут звезды. Но Педро все видится на небе звезда с золотистой гривой — звезда Доры, и ему становится веселей. Если бы Дора осталась жива, она тоже стала бы товарищем, настоящим товарищем... Слово это — самое прекрасное слово на свете — горит у него на губах. Он попросит Долдона, и тот сочинит об этом самбу, и какой-нибудь негр, сидя на палубе своего баркаса, споеет ее однажды ночью. «Капитаны» идут как на праздник, хоть и вооружены кинжалами, ножами, дубинами. «Капитаны» идут как на праздник, повторяет про себя Педро, потому что забастовка — это праздник бедняков.

На углу Ладейра-да-Монтанья они расходятся по трем направлениям. Большой Жоан возглавляет один отряд, Барандан — другой, а третий, самый многочисленный, поступает под начало Педро Пули. Они идут на праздник, — на первый праздник, который выпал им в жизни, хотя то, что предстоит им сейчас — не детская забава. И все-таки это праздник, праздник бедняков, а значит, и их тоже.

Солнце еще не успело согреть землю. Возле депо их поджидает Алберто, и Педро, улыбаясь, поворачивается к нему.

— Идут, — говорит студент.

— Подпустим поближе, — отвечает Педро и видит на лице Алберто ответную улыбку.

А студент и вправду восхищен этими мальчишками. Он попросит, чтобы комитет разрешил ему работать с ними. Вместе они горы своротят!

Штрейкбрехеры идут плотным строем. Впереди шагает хмурый американец. Они подходят к воротам депо, и вдруг неизвестно откуда — из тьмы, из каких-то закоулков, точно легион бесов из преисподней, налетает на них орава оборванных мальчишек. Они преграждают им путь, и штрейкбрехеры останавливаются. Мальчишки падают на них как лавина, сбивают с ног приемами капоэйры, бьют палками и уже успели обратить кое-кого в бегство. Педро валит наземь американца, несколько раз с размаху ударяет его кулаком в лицо. Мальчишки наседают со всех сторон, они проворны и неуловимы, многочисленны и свирепы, как черти, вырвавшиеся из ада.

Вольный неумолчный хохот звучит в предутреннем сумраке. Сорвать забастовку не удалось.

С победой возвращаются и Жоан с Баранданом. Студент Алберто смеется так же громко и весело, как «ка-



питаны», а потом, в пакгаузе, к вящей радости мальчишек, он говорит:

— Ну и молодцы же вы! Ну, молодцы!

— Настоящие товарищи! — добавляет грузчик Жоан де Адан.

В шелесте ветра, в стуке сердца слышится это слово Педро Пуле, музыкой звучит оно у него в ушах.

— Товарищи,

#### БАРАБАНЫ ЗОВУТ В БОЙ

Забастовка окончилась победой рабочих, но студент Алберто по-прежнему захаживает в пакгауз, ведет долгие разговоры с Педро. Постепенно превращает он воровскую шайку в ударный отряд.

Однажды, когда Педро, надвинув берет на глаза, по-свистывая, лениво шагает по улице Чили, кто-то окликает его:

— Пуля!

Он оборачивается и видит перед собой Кота во всем его великолепии: галстук заколот жемчужиной, на мизинце — перстень, голубой костюм, лихо заломленная фетровая шляпа.

— Кот! Неужели это ты?

— Пойдем отсюда — затолкают...

Они сворачивают в тихий переулок. Кот объясняет, что только недавно приехал из Ильеуса — там удалось урвать недурной куш.

— Тебя и не узнаешь, — говорит Педро, разглядывая элегантного, надушенного господина. — А как Далва поживает?

— Спуталась с каким-то полковником: он взял ее на содержание. Да я уж с ней давно не живу. Нашел себе смугляночку посвежей...

— А где тот перстень, — помнишь, Безногий все над тобой издевался?

Кот смеется:

— Я его загнал одному полковнику: представь, выложил пять сотен и даже не поморщился.

Они разговоривают, вспоминают прошлое, смеются. Кот спрашивает о судьбе «капитанов», а на прощанье говорит, что завтра уезжает в Аракажу: сахар поднимается в цене, можно будет делать дела. Педро глядит вслед нарядному красавцу и думает, что если бы Кот хоть ненадолго задержался в пакгаузе, то не пошел бы

по этой дорожке, не стал бы мошенником... Студент Алберто растолковал мальчишкам то, что до него никто не мог им объяснить, то, о чем смутно догадывался Профессор.

Педро зовет революция, как звал когда-то по ночам Леденчика бог. В душе у него звучит ее голос, он сильнее рокота моря и воя ветра, он сильнее всего на свете. Зов ее отчетлив и внятен, как песня, долетающая с баркаса (эту самбу сочинил Вергун):

Товарищи, время настало...

Голос революции зовет Педро, заставляет сердце его биться учащенно, вселяет радость. Он поможет беднякам изменить свою судьбу. Голос революции разносится над Баией, точно эхо барабанов-атабаке на запрещенных негритянских радениях. Голос ее звучит в грохоте трамваев, которые ведут по улицам транспортники, одолевшие хозяев в забастовке. Голос ее летит над пристанями и доками, слышится в переключке докеров, в зычных криках Жоана де Адана, в речи его отца, застреленного на митинге, в голосах матросов, лодочников, рыбаков. Голос ее — в ангольской капоэйре — игре-борьбе, которую ведут ученики Богумила, в словах падре Жозе Педро, бедного священника, с ужасом и изумлением взиравшего на горестную судьбу «капитанов». Голос ее звучал на террейро матушки Аниньи в ту ночь, когда нагрывавшая на кандомбле полиция унесла резное изображение Огуна. Голос ее звучит в пакгаузе, в колонии и в сиротском приюте, в предсмертном хрипе Безногого, кинувшегося вниз, чтобы не попасть в руки полиции, и в гудке «Восточного экспресса», пересекающего сертаны, по которым бродят люди Лампиана, отстаивая право бедняков, и в убежденности студента Алберто, требующего школ для народа и свободы — для культуры, и в смехе оборванных мальчишек с картин Профессора, дождавшихся наконец выставки на улице Чили, и в звоне гитарных струн, в печальных самбах, которые распевают беспечный Долдон и его приятели. Голос ее — это голос всех бедняков. Голос ее произносит прекрасное слово «товарищ» — слово, означающее единство и дружбу. Голос ее зовет на праздник борьбы. Он подобен веселой песенке негра и грому ритуальных барабанов на кандомбле. Голос напоминает о Доре, о бесстрашной и веселой его подружке. Голос революции зовет Педро. Так звал Леденчика голос бога, так звал Безногого голос ненависти, так звали Вергуна

просторы сертанов и лихие налеты Лампиана. Ничто не заглушит его, потому что голос этот зовет на борьбу за всех, за то, чтобы всем — всем без исключения — жилось лучше. Нет зова сильнее. Голос революции пролетает над всей Баией, возвещая праздник и скорый приход весны. Грядет весна борьбы. Голос революции рвется из груди всех голодных и обездоленных, утверждая, что со свободой не сравнится даже солнце — величайшее благо нашего мира. Как ослепительно прекрасен город в этот весенний день! Откуда это долетает голос женщины? Она поет о Баии, о древнем черном городе, о его колоколах, о его мощеных улицах. Женский голос славит красоту Баии, и песнь Баии сливается с гимном свободы. Могущественный голос зовет Педро, — это голос баианской бедноты, это голос свободы. Революция зовет Педро Пулю.

...Он вступил в партию в тот самый день, когда Большой Жоан нанялся матросом на ллойдовский сухогруз. Стоя на причале, Педро машет вслед товарищу, уходящему в свой первый рейс, но это не прощальный взмах, а приветственный салют:

— До свиданья, товарищ!

Теперь Педро стоит во главе ударного отряда, в который превратилась их шайка. Изменилась судьба «капитанов», все у них теперь по-другому. Они участвуют в забастовках, ходят на митинги, они борются вместе с рабочими. Борьба изменила уготованную им судьбу.

Руководители партии приказали, чтобы с «капитанами» оставался Алберто, а Педро отправился в Аракажу и создал из «Индейцев Малокейро» ударный отряд наподобие того, какой появился в Баии. А потом ему предстоит переделать судьбы других беспризорных детей по всей Бразилии.

Педро входит в пакгауз. Ночь уже опустилась на город. С палубы баркаса доносится песня. В баианском небе, равном которому нет в целом мире, горит, затмевая блеск луны, звезда Доры — звезда с золотистой гривой. Педро входит в пакгауз, оглядывает товарищей. Рядом с ним — негритенок Барандан, ему уже исполнилось пятнадцать лет.

Педро глядит на своих товарищей. Кто уже спит, кто занят разговором, кто покуривает. То тут, то там слышится вольный хохот. Педро подзывает их к себе, выталанкивает вперед Барандана:

— Ну, ребята, вот и пришла нам пора прощаться. Я уезжаю, вы остаетесь. Алберто будет к вам захаживать, слушайте его. Все слышали? Отныне вожак «капитанов песка» — Барандан.

— Попрощаемся с Педро, — говорит негритенок. — Ура в честь Педро Пули!

«Капитаны» вскидывают сжатые кулаки.

— Ура! — слышит Педро их прощальный крик, пронзающий ночную тьму, заглушающий голос негра на баркасе, сотрясающий покрытый звездами небосвод, и сердце его вздрагивает. Подняты к плечу кулаки «капитанов» — они прощаются со своим атаманом и выкрикивают его имя.

Впереди всех стоит новый вожак — негритенок Барандан, но рядом с ним Педро мерещатся лица Вертуна, Безногого, Кота, Профессора, Леденчика, Долдона, Большого Жоана, Доры, — его товарищи остаются с ним. Судьба перекроена. Их ждет иной путь. Негр на баркасе напевает сочиненную Долдоном самбу:

Мы с вами в сраженье идем...

Вскинув к плечу кулаки, приветствуют мальчишки Педро Пулю, который уходит от них, чтобы изменить жизнь всех детей Бразилии, и впереди стоит новый вожак — негритенок Барандан.

Педро видит вдалеке их фигуры. В свете луны стоят они возле старого заброшенного пакгауза и машут ему вслед. «Капитаны» поднялись на ноги, судьба их изменилась.

В эту таинственную ночь барабаны-атабаке, рокошущие на макумбах, зовут на битву.

### ...РОДИНА И СЕМЬЯ

Прошли годы, и пролетарские газеты — многие были запрещены властями и печатались в подпольных типографиях, — маленькие газеты, которые передавались на фабриках и заводах из рук в руки и читались при свете масляной коптилки, время от времени рассказывали о жизни и борьбе товарища Педро Пули: за ним охотились

полицейские пяти штатов, разыскивая этого организатора забастовок, руководителя подпольных комитетов, непримиримого врага существующего строя.

В тот год, когда все рты были заткнуты, когда тянулась, не ведая рассвета, нескончаемая ночь террора и ужаса, эти газеты — они одни осмеливались презреть запрет — требовали освободить Педро Пулю, рабочего вожака, из тюремного заключения.

А в тот день, когда ему удалось бежать, лица тысяч людей, собравшихся у своих очагов в час убогого ужина, осветила улыбка радости. И, несмотря на террор, любой из этих людей готов был отворить дверь своего дома для Педро Пули, приютить его и спрятать от полиции, потому что революция — это родина и семья.

---

НЕОБЫЧАЙНАЯ  
КОНЧИНА  
КИНКАСА  
СПИТЬ ВОДА

НОВЕЛЛА

**Перевод**  
**ЮРИЯ КАЛУГИНА**

---

Пусть о своем погребении каждый  
заботится сам.

На свете нет ничего невозможного.

*(Последние слова Кинкаса Сгинь Вода,  
по свидетельству Китерии, находив-  
шейся возле него)*

!

Обстоятельства смерти Кинкаса Сгинь Вода остаются не вполне ясными до сего дня. Рассказы очевидцев полны противоречий и странных подробностей, кое-что в них сомнительно, а о многом вообще умалчивается. Относительно места и часа смерти, а также последних слов покойного показания расходятся. Семья Кинкаса при поддержке соседей и знакомых упорно отстаивает версию, согласно которой он скончался утром, тихо, без свидетелей и при этом не произносил никаких громких фраз. Эта смерть произошла почти за двадцать часов до той, шумевшей, вызвавшей столько толков романтической его гибели среди ночи, при свете луны, поднимавшейся над морем, когда таинственные события разыгрывались у входа в гавань Салвадора. Последние слова Кинкаса, произнесенные им в присутствии заслуживающих доверия свидетелей, обсуждались по всем улочкам и закоулкам; люди говорили, что это было не просто прощание с миром, а прорицание, пророчество, полное глубокого смысла, как выразился один молодой современный писатель.

Несмотря на свидетельства людей, заслуживающих доверия,— среди них были Рулевой Мануэл и Пучеглазая Китерия, женщина отнюдь не болтливая,— находятся все же лица, подвергающие сомнению достоверность не только великолепной предсмертной фразы, но и всех других событий той памятной ночи, когда Кинкас Сгинь Вода в час, который трудно определить точно, и при об-



стоятельствах, до сих пор вызывающих споры, погрузился в пучину моря, отправившись в вечное странствие, из которого никто не возвращается. Таков наш мир, населенный скептиками и маловерами; подобно быку в ярме, эти люди сгибаются под игом порядка и законности, им понятны только заурядные поступки, они верят только бумаге с печатью. С торжествующим видом показывают они свидетельство о смерти Кинкаса, подписанное врачом около полудня, и этой жалкой бумажкой — только потому, что на ней напечатаны буквы да наклеены гербовые марки, — думают умалить значение предсмертных часов Кинкаса Сгинь Вода, столь славно им прожитых, перед тем как отправиться в последний путь по собственной доброй воле, о чем он громко и членораздельно объявил друзьям и всем присутствующим.

Семья покойного: его достойная дочь, добропорядочный зять — чиновник с видами на хорошую карьеру, тетя Марокас и младший брат — торговец со скромным кредитом в банке, — утверждает, что вся эта история — просто грубое надувательство, измышление плутов и горьких пьяниц, негодяев, стоящих вне закона и выброшенных из общества (всех этих приятелей Кинкаса следовало бы упрятать за решетку, вместо того чтобы разрешать им бродить по улицам и пляжам и шататься ночами в порту). Родственники Кинкаса без всяких оснований сваливают на его друзей ответственность за нищенское существование, которое он вел в последние годы, когда стал позором семьи и доставлял всем одни огорчения. Дошло до того, что родные Кинкаса вообще перестали упоминать его имя, о его похождениях никогда не говорили в присутствии детей — для невинных крошек блаженной памяти дедушка Жоакин давно уже скончался, вполне благопристойно, окруженный почестями и всеобщим уважением. Отсюда можно сделать вывод, что в первый раз Кинкас умер (если не физически, то по крайней мере морально) еще несколько лет назад и, следовательно, в общей сложности умирал трижды; последнее обстоятельство позволяет считать его своего рода рекордсменом, так сказать, чемпионом по части перехода в лучший мир и в то же время дает основания предполагать, что все последующие события, начиная со свидетельства о смерти и кончая моментом погружения Кинкаса в море, представляют собою комедию, разыгранную им, чтобы еще больше испортить жизнь родственникам, отравить им существование, опозорить и сделать их предметом уличных

пересудов. Кинкас отнюдь не был человеком порядочным и достойным, несмотря на почтение, с которым к нему относились его партнеры отчасти за то, что ему удивительно везло в игре, отчасти за его способность потреблять кашасу в неограниченных количествах, сопровождая выпивку усадительной беседой.

Не знаю, удастся ли мне полностью раскрыть тайну смерти Кинкаса Сгинь Вода (или его последовательных смертей), однако я предприму эту попытку; ведь и сам покойник не раз говорил, что главное — это пытаться что-либо сделать, даже невозможное.

## II

Бездельники, болтавшие всюду — на улицах, площадях, в переулках, на базаре Агуа-дос-Менинос — о последних минутах Кинкаса, оскорбляли тем самым память умершего. Появилась даже книжонка с бездарными стишками, воспевавшими его смерть, сочиненная местным рифмоплетом, и на нее долгое время не прекращался спрос. А ведь память об умершем, как известно, священна и существует вовсе не для того, чтобы ее оскверняли пьяницы, игроки и контрабандисты, торгующие маконьей<sup>1</sup>, и в равной степени не для того, чтобы служить темой пошлых куплетов, распеваемых уличными певцами у входа в подъемник Ласерды<sup>2</sup>, где бывает столько приличных людей, включая сослуживцев Леонардо Баррето, добропорядочного зятя Кинкаса. После смерти человек, даже если он совершал при жизни безумства, вновь обретает всеобщее уважение, каким некогда пользовался. Невидимая рука смерти стирает все пятна, и память о покойном сверкает, как бриллиант. Таково было мнение семьи Кинкаса, и его всецело разделяли соседи и друзья. Они считали, что Кинкас Сгинь Вода после смерти снова стал прежним, всеми уважаемым Жоакином Соаресом да Кунья — человеком из хорошей семьи, с размеренной походкой, гладко выбритой физиономией, образцовым чиновником налоговой конторы, носившим черный альпачковый пиджак и портфель под мышкой. Соседи, бывало, почтительно выслушивали его мнения о погоде и политике, в баре его никогда не видели, ибо пил он только дома

<sup>1</sup> Маконья — наркотик.

<sup>2</sup> Подъемник Ласерды — большой лифт, служащий для подъема пешеходов в верхнюю часть города Салвадор.

и весьма умеренно. Проявив похвальное усердие, семья Кинкаса сумела добиться того, что в обществе в последние годы его считали умершим и хранили о нем светлую память. Если почему-либо приходилось вспоминать Кинкаса, то говорили о нем в прошедшем времени. Однако, к несчастью, нет-нет да кто-нибудь из соседей, один из сослуживцев Леонардо или болтливая подруга Ванды (его оповоренной дочери) встречали Кинкаса или слышали рассказы о нем. Получалось так, будто мертвый вставал из могилы, чтобы запятнать собственную память: пьяного, грязного и оборванного Кинкаса видели среди бела дня у входа на рынок, иногда он играл засаленными картами на паперти церкви Пилар или бродил по Ладейра-де-Сан-Мигел в обнимку с бесстыдными негритянками и мулатками, распевая хриплым голосом бог знает что. Какой ужас!

И вот наконец однажды утром сантейро<sup>1</sup> с Ладейрадо-Табуан пришел в небольшой, но уютный домик семьи Баррето и с грустью сообщил дочери Кинкаса Ванде и его зятю Леонардо, что старик протянул ноги в своей жалкой конуре. У супругов вырвался дружный вздох облегчения. Наконец-то бродяга Кинкас перестанет безобразничать, тревожить тень отставного чиновника налоговой конторы Жоакина Соареса да Кунья и втаптывать в грязь его имя. Настало время заслуженного отдыха. Теперь можно свободно говорить о Жоакине Соаресе да Кунья, отзываться о нем с похвалой, как об образцовом чиновнике, супруге, отце и гражданине, приводить детям в пример его добродетели, учить их уважать память деда, не опасаясь какого-либо подвоха.

Сантейро, худощавый седой старик, рассказал подробности: некая негритянка, продавщица мингау, акараже, абара<sup>2</sup> и других яств, пришла в то утро к Кинкасу по важному делу. Он обещал ей раздобыть редкие травы, крайне необходимые для кандомбле. Негритянка явилась за травами — они ей были срочно нужны, так как приближалось время священных празднеств в честь Шангю. Дверь комнаты на верхней площадке крутой лестницы была, как обычно, отперта. Кинкас давно уже потерял свой огромный старый, ржавый ключ. Говорили, что в один из злополучных дней, когда ему не везло в карты,

<sup>1</sup> Сантейро — мастер, делающий изображения святых.

<sup>2</sup> Мингау — сладкая каша из пшеничной или маниоковой муки; акараже, абара — блюда из вареной фасоли, приправленные пальмовым маслом и перцем.

он продал его туристам под видом священного ключа от какой-то церкви, рассказав при этом длинную историю, строго придерживаясь хронологии и уснащая повествование живописными деталями. Негритянка окликнула Кинкаса, но не получила ответа и, решив, что он еще спит, толкнула дверь. Кинкас улыбался, растянувшись на койке, на черной от грязи простыне, в ногах — истрепанное одеяло. Улыбался он приветливо, как всегда, и негритянка не заметила ничего особенного. Она спросила про обещанные травы. Канкас улыбался и молчал. Из дырявого носка выглядывал большой палец, рваные ботинки стояли на полу. Негритянка хорошо знала Кинкаса и привыкла к его чудачествам. Она уселась к нему на кровать и сказала, что торопится. Ее удивило, что старик не протянул руки, чтобы ущипнуть или погладить ее. Взглянула еще раз на торчащий палец... и почувствовала беспокойство. Потом дотронулась до тела Кинкаса, взяла его холодную руку в свои, отбросила ее, вскочила и в смятении выбежала на улицу, чтобы рассказать о случившемся.

Дочь и зять без всякого удовольствия слушали всю эту историю. Негритянка, травы, щипки, кандомбле... Они качали головами и торопили сантейро; однако тот был человек обстоятельный и рассказывал со вкусом, входя в детали. Он один знал о существовании родственников Кинкаса — как-то вечером во время большой попойки тот рассказал ему о себе, и вот теперь торговец пришел сюда. Он сделал сокрушенное лицо, выражая свое «глубокое соболезнование».

Леонардо пора было идти на службу. Он сказал жене:

— Иди туда, я найду в контору и тотчас приду. Надо только расписаться в табеле. Я поговорю с начальником...

Сантейро ввели в гостиную и усадили на стул. Ванда пошла переодеться. Старик принялся рассказывать Леонардо о Кинкасе: на Ладейра-до-Табуан все любили его как родного. Но все-таки почему же он, человек из хорошей, обеспеченной семьи — в чем торговец получил теперь возможность сам убедиться, удостоившись чести познакомиться с его дочерью и зятем, — предпочел жизнь бродяги? Какая-нибудь неприятность? Должно быть, так, без сомнения. Может быть, супруга наставила ему рога? Это ведь нередко случается. Торговец приставил пальцы ко лбу, изображая рога, и развязно осведомился, угадал ли он.

— Дона Отасилия, моя теща, была святой женщиной!

Торговец поскреб подбородок: тогда в чем же дело? Но Леонардо не ответил, Ванда крикнула ему из спальни:

— Надо сообщить...

— Сообщить? Кому? Зачем?

— Тете Марокас и дяде Эдуардо... Соседям. Пригласить их на похороны...

— Зачем же сразу сообщать соседям? Люди и так им скажут. А то пойдут разговоры...

— Но тете Марокас...

— Я найду по дороге из конторы, поговорю с нею и Эдуардо... Иди скорее, а то этот тип, что пришел известить нас, пойдет болтать направо и налево...

— Подумать только... Умер... совсем один...

— А кто виноват? Он сам, безумец...

В гостиной торговец статуэтками святых любовался написанным маслом портретом, изображавшим Кинкаса пятнадцать лет назад — хорошо одетый розовощекий сенЬор в высоком воротничке и черном галстуке, с закрученными усами и напомаженными волосами. Рядом, в такой же раме, дона Отасилия — в черном платье с кружевами, с пронзительным взглядом и сурово поджатыми губами. Торговец долго вглядывался в ее кислую физиономию:

— Нет, она не из тех, что обманывают мужей... Наоборот, это была, как видно, неприступная крепость... Святая женщина. Даже не верится.

### III

Когда Ванда вошла в каморку Кинкаса, несколько обитателей Ладейры стояли вокруг койки и глазели на покойника. Торговец сообщил шепотом:

— Это его дочь. У него ведь есть дочь, зять, брат и сестра. Приличные люди. Зять — чиновник, живет на Итапажице. Один из лучших домов...

Они пропустили ее вперед и с любопытством ожидали трогательного зрелища: дочь, обливаясь слезами, бросится на труп отца, обнимая его, может быть — даже рыдая. Кинкас Сгинь Вода лежал на койке в старых, заплатанных штанах, в рваной рубашке и широченном засаленном жилете. Он улыбался, словно забавляясь происходящим. Ванда стояла неподвижно и смотрела на небритое лицо старика, на его грязные руки, на палец, вылезавший из дырявого носка. Она не в силах была раз-

разиться рыданиями. Слез больше не было, довольно она пролила их в прежние годы, когда делала безуспешные попытки вернуть отца домой. Ванда стояла и смотрела на труп, краснея от стыда.

Вид у покойника и вправду был весьма непрезентабельный: бродяга бродягой, внезапно застигнутый смертью,— ни благопристойности, ни внушительности. И при этом он еще цинично усмехался, конечно, он смеялся над нею, над Леонардо, над всей семьей. Труп для анатомического театра, таких отправляют на полицейском катафалке в университет, где на них практикуются студенты-медики, а потом их зарывают без холма, без креста, без надписи. Кинкас Сгинь Вода, пьяница, скандалист и игрок, не имевший ни семьи, ни дома, лежал мертвый, и вокруг него не видно было цветов, не слышно молитв. Ничего общего с Жоакином Соаресом да Кунья, благообразным чиновником налоговой конторы, вышедшим на пенсию после двадцати пяти лет безупречной и честной службы, образцовым супругом, которому каждый, сняв шляпу, спешил позжать руку! В пятьдесят лет покинуть семью, дом, старых знакомых, привычный уклад жизни и начать скитаться по улицам — отрастить бороду, пьянствовать в дешевых кабаках, ходить в публичные дома, жить в грязи, в сырой конуре, спать на жестком топчане! Ванда не находила этому объяснения. Когда умерла Отасилия — Кинкас даже по поводу такого важного события не согласился увидеться с родственниками,— Ванда не раз говорила с мужем о поступке отца, пытаясь понять, в чем дело. Кинкас не был помещан, а если и был, то не настолько, чтобы помещать его в сумасшедший дом,— врачи пришли на этот счет к единодушному мнению. Чем же тогда объяснить его поведение?

Но теперь все позади, настал конец многолетнему кошмару, тяготевшему над семьей, стерто пятно с их имени. Ванда унаследовала от матери известный практицизм, способность быстро принимать и выполнять решения. Разглядывая покойника, эту отвратительную карикатуру на отца, она соображала, как действовать дальше. Прежде всего надо позвать врача, чтобы тот выписал свидетельство о смерти. Потом прилично одеть покойника, перевезти домой и, наконец, похоронить рядом с Отасилией. Похороны следует устроить не слишком пышные — ведь времена нынче тяжелые,— но такие, чтобы они не произвели дурное впечатление на соседей,

знакомых и сослуживцев Леонардо. Тетя Марокас и дядя Эдуардо, вероятно, помогут. Размышляя так, Ванда не сводила глаз с улыбающегося лица Кинкаса. Потом она вспомнила об отцовской пенсии. Перейдет ли она к ним по наследству, или они получают только страховку? Леонардо, наверное, знает...

Она оглянулась — все эти людишки по-прежнему глядели на нее. Жалкий сброд. Кинкас находил удовольствие в их компании. Что они тут делают? Неужели им непонятно, что с Кинкасом Сгинь Вода навсегда покончено, и покончено с той самой минуты, как он испустил последний вздох? Это же было дьявольское наваждение, дурной сон! И теперь он возвращается в свою семью, там, в комфортабельном приличном доме, он снова обретет прежнюю респектабельность Жоакина Соареса да Кунья. Час настал, и на этот раз Кинкас не рассмеется в лицо дочери и зятю, не пошлет их ко всем чертям, не раскланяется насмешливо и не уйдет из дому, насвистывая. Он неподвижно вытянулся на койке. Кинкасу Сгинь Вода пришел конец.

Ванда подняла голову, обвела присутствующих торжествующим взглядом и спросила — точь-в-точь как Ота-силлия:

— Вам что-нибудь нужно? Если нет, можете идти.

Затем обратилась к сантейро:

— Не можете ли вы оказать мне услугу — позвать врача, чтобы он засвидетельствовал смерть?

Сантейро кивнул. Он был ошеломлен. Все тихонько вышли, и Ванда осталась наедине с покойным. Кинкас Сгинь Вода улыбался, из дыры в носке торчал палец, казалось, он рос...

#### IV

Она поискала глазами, куда бы присесть. В комнатке, кроме койки, стоял только пустой деревянный ящик из-под галет. Ванда перевернула его, смахнула пыль и уселась. Сколько времени придется ждать врача? Как там Леонардо? Она представила себе мужа, он, наверное, в затруднительном положении, ведь придется рассказать шефу о неожиданной смерти тестя. Начальник Леонардо знал Жоакина еще в те добрые времена, когда тот служил в налоговой конторе. Да и кто тогда не знал его, кто не питал к нему уважения и кто мог себе предста-

вить, что станется с этим человеком? Леонардо приходилось нелегко, когда он, бывало, беседовал с шефом о безумствах старика и придумывал всякие объяснения. А если новость распространится среди сослуживцев, будет скверно: начнут шептаться, передавать ее от стола к столу с ехидными улыбочками, дурацкими пояснениями, пошлыми остротами. Папаша — тяжкий крест, возложенный на них судьбой, — превратил их жизнь в сплошную муку. Но теперь они уже на вершине Голгофы и терпеть осталось недолго. Ванда искоса взглянула на мертвеца. Кинкас улыбался: похоже, все это ужасно смешно для его.

Великий грех — злиться на покойника, тем более если это твой отец. Ванда сдержалась: она была религиозна, аккуратно ходила в церковь и верила во второе пришествие. Да и какое значение может иметь теперь эта усмешка Кинкаса? Наконец-то власть в руках Ванды, и в самом скором времени Кинкас вновь станет Жоакином Соаресом да Кунья, безупречным тихим обывателем.

Вошел сантейро, он привел врача — молодого человека, видимо, только что окончившего университет, судя по тому, как он старательно изображал из себя опытного специалиста. Сантейро указал пальцем на мертвеца, врач поздоровался с Вандой и открыл блестящий кожаный чемоданчик. Ванда поднялась с ящика.

— Отчего он умер?

Объяснять взялся сантейро:

— Его нашли мертвым, вот так, как сейчас.

— Он чем-нибудь болел?

— Не могу сказать, сеньор. Я его знаю лет десять, и всегда он был здоров как бык. Только, может, вы, доктор...

— Что такое?

— Может, вы считаете это болезнью, если человек любит кашасу<sup>1</sup>. Так вот насчет того, чтобы опрокинуть стаканчик, он был большой мастер.

Ванда предостерегающе кашлянула. Доктор обратился к ней:

— Он служил у вас, сеньора?

Короткое, тяжелое молчание и потом приглушенно:

— Это мой отец.

Доктор был молод и неопытен. Он во все глаза смотрел на Ванду, на ее нарядное платье, на туфли на

---

<sup>1</sup> Кашаса — алкогольный напиток из сахарного тростника.



высоком каблуке, на всю ее опрятную подтянутую фигуру. Взглянул на нищенскую одежду покойника, обвел глазами жалкую конуру.

— И он жил здесь?

— Мы сделали все, чтобы он вернулся домой. Он был...

— Помешанный?

Ванда развела руками, она готова была заплакать. Врач перестал задавать вопросы. Он сел на край кровати и начал осмотр. Потом поднял голову и сказал:

— Смотрите-ка, он смеется, а? Вот бесстыдник!

Ванда закрыла глаза и сжала руки. Лицо ее пылало.

## v

Семейный совет длился недолго. Дело обсудили за столиком в ресторане на Байша-дос-Сапатеiros. Веселые, оживленные люди спешили мимо — напротив ресторана находился кинотеатр. Покойника поручили заботам похоронного бюро, владелец которого дружил с дядей Эдуардо (двадцать процентов скидки).

Дядя Эдуардо пояснил:

— Ведь гроб и тот стоит дорого. А чтобы нанять автомобиль и устроить большую процессию, понадобится состояние. В наше время даже помереть дешево не удается.

Тут же, поблизости, купили новый черный костюм (материал не ахти какой, но, как сказал дядя Эдуардо, червям на закуску и этот слишком хорош), пару башмаков, тоже черных, белую рубашку, галстук и носки. Эдуардо записал все расходы в книжечку, он был мастер экономить, и его магазин процветал.

Покуда родственники в ресторане лакомились приготовленной на заказ рыбой и обсуждали порядок погребения, Кинкас Сгиль Вода стараниями служащих похоронного бюро превратился в Жоакина Соареса да Кунья.

Спор возник из-за одной детали — откуда нести гроб на кладбище. Ванда думала привезти покойника домой, поставить гроб в гостиной и устроить бдение с пирожными, кофе и ликером. Позвать падре Роке для отпевания. А похоронить рано утром, чтобы могло прийти побольше народу — сослуживцы Леонардо, старые знакомые, друзья семьи. Но Леонардо воспротивился. Зачем везти покойника домой? Зачем приглашать друзей и со-

седей и причинять беспокойство людям? Только затем, чтобы все снова вспомнили о безумствах умершего, о его недостойной жизни в последние годы? Зачем выставять себя на позор перед всеми? Хватит с него сегодняшнего утра в конторе. Ни о чем другом и разговору не было. Все знали историю Кинкаса, без конца говорили о нем и хохотали. Он, Леонардо, никогда даже не представлял себе, что тесть натворил столько всяких чудес. Прямо в дрожь кидает... И вдобавок ко всему многие ведь думали, что Кинкас умер и давно похоронен, а некоторые считали, что он живет себе преспокойно где-то в провинции. А дети? Они же чтят память добродетельного дедушки, почившего с миром! И вдруг явятся родители с трупом бродяги под мышкой и сунут его под нос невинным малюткам. Не говоря уже о хлопотах и о расходах, которые придется еще нести (как будто мало того, что они оплатили и похороны, и новый костюм, и ботинки). Ему, Леонардо, самому давно уже нужны новые туфли, а он вынужден экономить и без конца отдавать в починку свою единственную пару. А тут вдруг такие затраты! Когда он теперь сможет купить себе ботинки?

Тетя Марокас, весьма пышная дама, отличавшаяся особым пристрастием к заказным рыбным блюдам, была того же мнения:

— Лучше всего сказать, что он умер в провинции, что мы получили телеграмму. А на седьмой день устроить панихиду. Кто захочет, тот и придет, и нам не придется никого возить за свой счет на кладбище.

Ванда перестала есть:

— Как бы то ни было, он мой отец. И я не желаю, чтобы его закопали, словно бродягу. Если бы речь шла о твоём отце, Леонардо, тебе бы это понравилось?

Дядя Эдуардо не любил сантиментов.

— А кем же он, по-твоему, был, как не бродягой, а? Самым поганым бродягой во всей Баие. Хоть он мне и брат, а я не могу не признать этого.

Тетя Марокас икнула. Желудок ее был переполнен, сердце тоже:

— Бедняжка Жоакин... У него был хороший характер. Он ведь не со зла... Просто ему нравилась такая жизнь. У каждого своя судьба. Он и в детстве был такой. Один раз — ты помнишь, Эдуардо? — он чуть не убежал с цирком. Ну и выдрали его тогда! Чуть шкуру не спустили... — Марокас похлопала по колену сидевшую рядом с ней Ванду и добавила как бы в оправдание: —

Ведь твоя мать, дорогая, была деспотична. Вот он в один прекрасный день взял да и ушел из дому неизвестно куда. Мне он сказал, что хочет стать свободным, как птичка. Забавно, правда?

Однако никто не считал это забавным. Ванда нахмурилась:

— Я не стану его оправдывать. Он причинил нам много страданий — мне и моей матери, которая была порядочной женщиной, и Леонардо тоже. Но все-таки я не хочу, чтобы его закопали как бездомную собаку. Что скажут люди? И потом, раньше ведь он был уважаемым человеком. И похоронить его надо как следует.

Леонардо смотрел на нее умоляюще. Он не умел спорить с Вандой, она всегда оказывалась победительницей и поступала по-своему. Так было и у Жоакина с Отасилией до того дня, когда Жоакин бросил все и вырвался на волю. Неужели нет другого выхода и надо тащить покойника к себе домой, извещать знакомых и друзей, сзывать их по телефону, потом всю ночь сидеть и слушать истории о Кинкасе, сопровождаемые приглушенными смешками и подмигиванием, пока наконец не вынесут тело? Тесть отравил ему существование, причинил ужаснейшие неприятности. Леонардо жил в постоянном страхе, каждую минуту ожидая, что кто-нибудь расскажет про очередной фокус Кинкаса; он боялся раскрыть газету, боялся увидеть в ней сообщение об аресте Кинкаса — так уже случилось однажды. Ему не хотелось даже вспоминать тот день, когда по настоянию Ванды он ходил из одного полицейского участка в другой, пока наконец не обнаружил тестя в подвале центральной тюрьмы, где тот преспокойно играл в карты с ворами и мошенниками. И после всего этого, когда Леонардо надеялся вздохнуть наконец свободно, он должен будет в своем собственном доме сидеть у трупа тестя целый день и целую ночь.

Эдуардо тоже не соглашался с Вандой, и, поскольку он вызвался разделить с племянницей и ее мужем расходы по похоронам, с его мнением приходилось считаться.

— Все это очень хорошо, Ванда. Надо похоронить его по-христиански. Пусть будет священник, новая одежда, венок. Что тут говорить, ничего этого он, конечно, не заслужил, но в конце концов оп твой отец и мой брат. Все так. Но зачем тащить его в дом?

— Зачем? — эхом откликнулся Леонардо.

— Причинять людям беспокойство, нанимать шесть — восемь машин. Знаешь, сколько это стоит? А перевезти покойника с Табуана на Итапажипе? Да на это уйдет целое состояние! Почему бы не устроить вынос тела прямо отсюда? Провожать его на кладбище будем мы, значит, хватит одной машины. Потом, если сочтете нужным, можно будет на седьмой день пригласить всех на панихиду.

— Объявите, что он умер в провинции.— Тетя Марокас никак не хотела расстаться со своей идеей.

— Можно и так сделать. Почему бы и нет?

— А кто будет присутствовать на бдении?

— Да мы же! Зачем тебе еще кто-то?

Кончилось тем, что Ванда уступила. Действительно, подумала она, везти его к себе домой — это уж слишком. Столько труда, расходов, возни... Не лучше ли похоронить Кинкаса как можно скромнее, а потом сообщить о его кончине друзьям и пригласить их на панихиду на седьмой день? На том и порешили и заказали десерт. Поблизости надрывался громкоговоритель, прославляя необычайные выгоды, которые сулит каждому приобретение земельного участка через посредство компании по продаже недвижимости...

## VI

Дядя Эдуардо вернулся в магазин: на приказчиков надежда плохая, все они жулики. Тетя Марокас обещала прийти попозже, ей надо побывать дома, там все вверх дном — так она спешила узнать новости. Леонардо по совету Ванды решил, раз уж он не пошел в контору, использовать свободное время и зайти в компанию по продаже недвижимости, чтобы покончить дело с покупкой участка в рассрочку. Настанет день, когда у них с божьей помощью будет свой дом. Договорились, что у гроба ночью останутся по очереди Леонардо и дядя Эдуардо, Ванда и Марокас днем. Ладейра-до-Табуан была не такого рода местом, где приличная женщина могла появляться вечером: эта улица пользовалась дурной славой, здесь жили воры и проститутки. Утром же вся семья соберется на похороны.

Вот как получилось, что после обеда у тела Кинкаса оказалась одна Ванда. Отзвуки шумной уличной жизни едва доносились сюда, на третий этаж. Кинкас лежал, казалось, отдыхая после утомительной процедуры

переодевания. Служащие похоронного бюро были мастерами своего дела. Как выразился заглянувший на минутку сантейро, «покойника словно подменили». Выбранный, причесанный, в черном костюме, белоснежной рубашке, в галстук и блестящих ботинках, Жоакин Соарес да Кунья покоился в великолепном гробу с золочеными украшениями и кистями. Ванда была удовлетворена. Гроб поставили на импровизированный стол, кое-как сколоченный из досок, и выглядел он весьма эффектно и благородно. Две огромные свечи (как в алтаре, с гордостью подумала Ванда) горели слабым, почти невидимым пламенем. Буйное солнце Баии врывается в окно, заливая комнату ярким светом. Этот блеск, это радостное сверкание казались Ванде неуважением к смерти, в солнечных лучах сияние свечей теряло всякую торжественность, свечи были просто не нужны. Из экономии она хотела было потушить их, но подумала, что похоронное бюро все равно возьмет те же деньги, две ли свечи сгорят или десять, и решила лучше закрыть окно и опустить штору. В комнате воцарился полумрак, пламя свечей вытянулось высоко вверх. Ванда уселась на стул, который одолжил все тот же сантейро. Она была довольна — не просто довольна тем, что выполнила свой дочерний долг, нет, Ванда ощущала какое-то особое удовлетворение.

Вдох облегчения вырвался из ее груди. Она поправила свои каштановые волосы. Теперь она окончательно справилась с Кинкасом, надела на него узду, которую он вырвал когда-то из сильных рук Отасилии, смеясь ей в лицо. Легкая улыбка заиграла на губах Ванды, на ее красивых полных губах, которые портили только жесткие складки в углах рта. Она отомстит ему за все, что он сделал, за все их страдания — и ее, и Отасилии, и всей семьи. За многолетнее унижение. Десять лет он вел эту нелепую жизнь. «Король босяков Баии», — писали о нем в полицейской хронике; десять лет он был героем очерков всех этих писаек, падких на трущобную экзотику, десять лет мешал с грязью семью, позорил ее своей скандальной славой. «Первый пьяница квартала», «Кинкас Сгинь Вода», «философ в лохмотьях», «король отверженных», «прирожденный бродяга», — так именовали его газеты, а иногда даже помещали его фотографию. Отец пренебрег своими обязанностями, и, боже мой, сколько страданий выпало на долю дочери, которой судьба послала такой тяжкий крест!

Но теперь она была счастлива. Она смотрела на покойника: он лежал в великолепном гробу, одетый в черный костюм, со скрещенными на груди руками и выражением благочестивого раскаяния на лице. Поблескивали новые ботинки, пламя свечей отражалось в них. Все было прилично, за исключением, конечно, комнаты. Довольно они страдали и терпели издевательства! Ванда подумала об Отасилии — вероятно, она теперь тоже радуется там, на небесах. Ее воля наконец исполнена, благочестивая дочь снова превратила Кинкаса Сгинь Вода в Жоакина Соареса да Кунья, в доброго, робкого, послушного Жоакина. Бывало, стоит только прикрикнуть на него или слегка нахмуриться — и он на все согласен. Вот он лежит тут, смиренно скрестив на груди руки. Нет больше бродяги, «короля отверженных», «патриарха нищей братии».

Жаль, что он умер и не может посмотреть на себя в зеркало, пусть бы увидел победу дочери, победу оскорбленной семьи.

Глубокое удовлетворение сделало Ванду доброй и великодушной. Ей хотелось забыть эти последние десять лет, вычеркнуть их из памяти, смыть с себя позор, как смыли грязь с тела Кинкаса служащие похоронного бюро. Она стала вспоминать детство, школьные годы, свою помолвку и свадьбу. И над всем этим стоял кроткий образ Жоакина Соареса да Кунья. Она видела, как он сидит в парусиновом шезлонге с газетой в руке. Отасилия раздраженно окликала его:

— Кинкас!

И он вздрагивал. Таким она любила отца, чувствовала к нему нежность, ей даже показалось, что она скорбит о его смерти. Стоит лишь еще немного напрячь воображение — и она окончательно расчувствуется, представит себя несчастной, безутешной сиротой.

Жара в комнате усиливалась. Морской бриз не проникал через закрытое окно, да Ванда этого и не хотела: море, порт, бриз, узкие улицы, бегущие в горы, разногласный шум — все это принадлежало ему, Кинкасу, было частью его беспутной позорной жизни. С этим покончено навсегда. Здесь место только ей и ее покойному отцу Жоакину Соаресу да Кунья, которого она горько оплакивает и который оставил по себе самую добрую память. Ванда вспоминает давно забытое прошлое. Отец повел ее в цирк, обосновавшийся на Рибейре в канун праздника вознесения. Кажется, его еще никогда не видели таким

веселым: высокий мужчина, посадив девочку себе на плечо, хохотал громко, от всей души,— он, который так редко улыбался. Потом она вспомнила вечеринку, устроенную в его честь друзьями и коллегами по случаю его повышения по службе. Дом был полон гостей. Ванда была уже в то время молодой девушкой, за ней начинали ухаживать. В этот день Отасилия сияла от удовольствия, она стояла посреди гостиной, где произносили речи и пили вино, а Кинкасу преподнесли самопишущую ручку. Казалось, что чествуют жену, а не мужа. Жоакин слушал речи, пожимал руки и принял подарок, не проявив ни малейшего восторга. Похоже, что все это его раздражало, но у него не хватало духу сказать правду.

Ванда вспомнила и выражение лица отца, когда ему сообщили о предстоящем визите Леонардо, решившего наконец просить ее руки. Жоакин покачал головой и пробормотал:

— Бедняга...

Ванда не допускала критики по адресу жениха:

— Бедняга? Почему это? Он из приличной семьи, у него хорошая должность. Не пьет, не скандалит...

— Знаю... знаю... Я имел в виду совсем другое.

Любопытная вещь — не так много Ванда помнила подробностей из жизни отца. Выходило, что никакого настоящего участия в жизни семьи он не принимал. Вспоминать Отасилию, отдельные сказанные ею слова, различные случаи, сцены, события, в которых фигурировала мать, она могла часами. А Жоакин, в сущности, что-то стал значить в их жизни только с того злополучного дня, когда обозвал Леонардо болваном, а потом, посмотрев на дочь, на Отасилию, вдруг бросил им в лицо:

— Гадюки! — и, сохраняя полнейшее спокойствие, будто в его поступке не было ничего из ряда вон выходящего, встал с места, вышел из дому и больше не вернулся.

Нет, об этом Ванда не хотела думать. Она снова принялась вспоминать детство. Лучше всего она помнит, каким был отец именно в ту пору. Однажды у пятилетней Ванды (она была тогда капризной девчонкой) поднялась температура. Целые дни Жоакин не выходил из ее комнаты, сидел у постели, держал ее руки в своих, подавал лекарства... Да, он был хорошим отцом и хорошим мужем. И она настолько растрогалась, что могла бы даже заплакать (как и полагается хорошей дочери), если бы было кому увидеть ее слезы.

И Ванда снова с грустью взглянула на покойного. В блестящих ботинках отражались огоньки свечей, складки брюк лежали безукоризненно, черный пиджак был шит прекрасно, руки благочестиво сложены на груди. Она посмотрела на выбритое лицо Кинкаса и вдруг вздрогнула, словно ее ударили.

Мертвец улыбался. Насмешливая, саркастическая, издевательская улыбка застыла на его губах. Специалисты из похоронного бюро ничего не могли с ней сделать. И как это Ванда забыла! Надо было попросить их придать лицу покойного серьезное выражение, которое соответствовало бы торжественности события. Кинкас Сгинь Вода улыбался. И эта улыбка, полная иронии и неистребимой любви к жизни, никак не вязалась с теперешним его обликом, с новыми ботинками — новыми, в то время как бедному Леонардо пришлось уже во второй раз свои отдать в починку, — с черным костюмом и белой рубашкой, с выбритым подбородком и напomaженными волосами, и даже руками, сложенными, как для молитвы! Потому что Кинкас смеялся над всем этим. Улыбка на его лице становилась все шире и шире. Казалось, еще немного — и в пустой комнате зазвонит смех мертвеца. Губы улыбаются, улыбаются глаза, устремленные в угол, где грудой лежит его грязная заплатанная одежда, забытая служащими похоронного бюро. Кинкас Сгинь Вода смеется и после смерти.

И вдруг в полной тишине она услышала произнесенное по слогам, с оскорбительной четкостью слово:

— Га-дю-ка!

Ванда испугалась, глаза ее засверкали, как в свое время сверкали глаза Отасилии, но она побледнела. Это слово он когда-то плюнул в лицо ей и Отасилии в ответ на все их попытки вернуть его к домашнему очагу, к размеренному ходу жизни, вновь сделать благоразумным. Даже сейчас, когда он лежит в гробу — тихий, прилично одетый, а в ногах у него горят свечи, он все-таки не сдается. Он смеется от души, ничего удивительного, если он сейчас свистнет. И к тому же большой палец его левой руки слегка приподнят — Кинкас по-прежнему бунтует, он не желает смиренно скрепчивать руки.

— Гадюка! — сказал он снова и насмешливо свистнул.

Ванда провела рукой по лицу — уж не сходит ли она с ума? Жара становилась невыносимой, она задышалась, у нее кружилась голова. На лестнице послышалось



пыхтенье; теть Марокас с трудом протиснула в комнату свою жирную тушу. Ванда сидела на стуле, бледная, рас-терянная, не сводя глаз с губ покойника.

— Ты расстроена, девочка. Ну и жара же в этой ко-нуре...

При виде монументальной фигуры сестры Кинкас улыбнулся еще шире. Ванда уже было хотела зажать уши, она помнила, какими словечками он имел обыкно-вение награждать Марокас, но разве это поможет, если имеешь дело с покойником?

— Вонючка жирная! — услышала она.

Марокас, отдышавшись после подъема, подошла к окну. Открывая его, она, не глядя на покойника, спро-сила:

— Его, верно, надушили? От этого запаха просто го-лова кругом идет.

Разноголосый веселый шум ворвался в открытое окно. Морской бриз погасил свечи и легким поцелуем прикоснулся к лицу Кинкаса. Комнату залил голубова-тый, праздничный свет. Кинкас все с той же торжеству-ющей улыбкой поудобнее устроился в гробу.

## VII

А в это время весть о неожиданной смерти Кинкаса Сгинь Вода уже разнослась по улицам Салвадора. Прав-да, ни одна из лавочек не закрылась в знак траура, но цены на украшения, соломенные сумки и глиняные фи-гурки, которые обычно покупают туристы, тотчас же под-скачили — рыночные торговцы на свой лад скорбели об умершем. Люди сновали по улицам, собирались группа-ми, судили и рядили, а новость неслась дальше, подни-малась на подъемнике Ласерды, ехала на трамваях до Калсады, на автобусах — до самой Фейра-де-Санта-Ана. Хорошенькая негритянка Паула расплакалась над своим лотком с бейжу<sup>1</sup>. Сгинь Вода больше не придет, не на-говорит ей, как прежде, замысловатых комплиментов, не полюбуется ее высокой грудью, не рассмешит неприлич-ной остротой.

На рыбачьих лодках приспустили паруса. Однако за-горелые подданные Иеманжи не скрывали разочарования и удивления: как мог старый моряк испустить дух в

---

<sup>1</sup> Бей жу — печенье из маисовой муки.

постели в какой-то каморке на Ладейра-до-Табуан? Ведь Кинкас не раз заявлял решительно и убежденно, что не поверить ему было невозможно — будто он не может умереть на суше, ибо его достойна только одна могила — бесконечные просторы моря, залитые лунным светом.

Когда он, приглашенный в качестве почетного гостя на пир по случаю невиданного улова, бывал на борту, какого-нибудь баркаса, когда из глиняных горшков поднимался ароматный пар, а бутылка с кашасой переходила из рук в руки, наступала эта минута, и под рокот гитар в Кинкасе все громче начинала говорить кровь древних мореходов. Он поднимался, чуть покачиваясь от выпитого — это делало его еще больше похожим на моряка, — и объявлял во всеуслышание, что он старый морской волк. На берегу, без корабля и без моря, он опустился, но не по своей вине. Он рожден, чтобы ставить паруса, водить баркасы и бороться с волнами в бурные ночи. Жизнь сломила его, а ведь он мог бы стать капитаном, носить синий мундир, дымить трубкой. Но все равно он остался моряком, для этого родила его мать, Мадалена, внучка капитана корабля. Прадед его был моряк, и, если ему сейчас дадут этот баркас, он сумеет вывести его в открытое море и благополучно прибудет не только в Марагожипе или Кашоэйру — это близко! — а и к далеким берегам Африки, хотя ему никогда до сих пор не приходилось плавать. Ему нечего учиться мореплаванию, он знает все от рождения, это у него в крови. Если кто из почтенных слушателей сомневается, пусть скажет прямо... Запрокинув голову, он пил из бутылки большими глотками. Но моряки не сомневались: вполне возможно, что все это правда. Ведь мальчишки, слонявшиеся в порту и по побережью, знали море чуть ли не с рождения, и никто не удивлялся такому чуду. И тут Кинкас Сгинь Вода торжественно клялся: только морю будет принадлежать честь присутствовать при его последних минутах. Не надо ему трех пядей земли. Нет, ни за что! Когда придет его час, он выйдет в море, на свободу, он совершит плавание, которого так и не совершил в жизни, небывалый подвиг, беспремерный по смелости переход! И только так он встретит свою кончину. Рулевой Мануэл, самый храбрый из всех рыбаков, человек без нервов и без возраста, одобрительно кивал. Остальные выпивали еще по глотку кашасы и тоже не выражали никаких сомнений. Жизнь научила их верить в человека и его силы, Звенели гитары, воспевая ночи

на море, полные соблазнов, роковую магию Иеманжи. «Старый моряк» пел громче всех.

Как же после всего этого могло случиться, что он, Кинкас, внезапно умер в каморке на Ладейра-до-Табуан? Невероятно! Рыбаки не хотели этому верить. Кинкас Сгинь Вода любил дурачить людей, весьма возможно, что он и на этот раз всех надул.

Бурные партии в «порринью», «ронду» и «семь с половиной»<sup>1</sup>, были прерваны — игроки, опеломленные вестью о кончине Кинкаса, потеряли к ним всякий интерес. Сгинь Вода был их главарем. Вечерний сумрак траурным флером спускался на землю. В барах, тавернах, у прилавков магазинов и лавчонок — всюду, где пили кашасу, воцарились печаль и уныние по случаю невозместимой потери. Кто умел пить лучше Кинкаса? Он никогда не бывал пьян, и чем больше кашасы он вливал себе в глотку, тем яснее становился его разум, живее и остроумнее речь. Он обладал поразительной способностью безошибочно определять марку и место изготовления любого вина, умел различать малейшие оттенки цвета, вкуса и аромата. Сколько лет он не дотрагивался до воды? С того самого дня, как его прозвали Сгинь Вода.

В этой истории нет ничего особенно примечательного или волнующего. Но все же стоит ее рассказать, так как именно с того далекого дня прозвище Сгинь Вода навсегда пристало к имени Кинкаса. Как-то раз Кинкас зашел в таверну одного славного испанца по имени Лопес, что держит заведение неподалеку от рынка. Кинкасу как завсегдатаю разрешалось самому наливать себе вино, не пользуясь услугами официанта. На прилавке стояла бутылка, полная чистой, прозрачной, отличной на вид кашасы. Кинкас налил себе стакан, сплюнул и разом опрокинул его в рот. Нечеловеческий рев огласил утреннему тихий рынок, казалось, даже подъемник Ласерды зашатался на своем прочном фундаменте. То был рев раненного насмерть зверя, вопль человека, которого предали и погубили:

— Сгинь вода-а-а!

Подлый, мерзкий испанец, недаром о нем ходит дурная слава!

К таверне со всех сторон бежали люди: никто не сомневался, что там произошло убийство, посетители же

---

<sup>1</sup> «Порринья», «ронда», «семь с половиной» — азартные карточные игры.

таверны корчились от хохота. Об этом вопле — «Сгинь вода!» — тут же принялись рассказывать повсюду: на базаре, на площади Пелоуриньо, от площади Сете-Портас до мола, от Калсады до Итапоа. С тех пор все стали звать его Кинкас Сгинь Вода, а Пучеглазая Китерия в минуты нежности шептала ему: «Сгинь Водичка».

А в самых убогих и дешевых публичных домах, где бродяги, воры, мелкие контрабандисты и списанные на берег матросы находили в глухой ночной час кров, семейный очаг и любовь, где усталые от безрадостной торговли своим телом женщины жаждали хоть немного нежности, известие о смерти Кинкаса Сгинь Вода вызвало горькие, безутешные слезы. Его оплакивали, как самого близкого родственника, женщины вдруг почувствовали себя одинокими и незащищенными. Некоторые пожертвовали все свои сбережения, чтобы купить в складчину и положить на гроб самые прекрасные цветы Баии. Пучеглазая Китерия, окруженная рыдающими подругами, издавала душераздирающие вопли, разносившиеся по Ладейра-де-Сан-Мигел до самой площади Пелоуриньо. Она вынуждена была искать утешения в вине и, то прикладываясь к бутылке, то снова разражаясь рыданиями, без конца восхваляла своего незабвенного возлюбленного... такого нежного и сумасшедшего, такого веселого и мудрого.

Стали вспоминать разные случаи, подробности, слова, в которых так хорошо видна была душа Кинкаса. Разве не он больше двадцати дней ухаживал за трехмесячным сынишкой Бенедиты, когда ей пришлось лечь в больницу? Ведь только что не кормил ребенка грудью... и пеленки менял, и купал малыша, и давал ему соску...

А совсем недавно, во время кутежа в доме свиданий Вивианы, разве не он, старый и пьяный, бесстрашно бросился на защиту Клары Боа, когда два молодых развратника, негодяи из богатых семей, хотели избить ее? А каким приятным гостем бывал он за большим столом в полуденные часы... Кто еще умел рассказывать такие забавные истории, кто лучше мог утешить в страданиях любви, словно отец или старший брат? Под вечер Пучеглазая Китерия свалилась со стула и, будучи уложена в постель, заснула одна со своими воспоминаниями. Большинство девиц решило по случаю траура не принимать в этот вечер мужчин... Будто в четверг или в пятницу на страстной неделе.

К концу дня, когда в городе зажигались огни, а люди возвращались с работы, четверо самых близких приятелей Кинкаса Сгинь Вода — Курио, Прилизанный Негр, Капрая Мартин и Ветрогон — шагали вниз по Ладейра-до-Табуан к дому покойного. Из любви к истине следует отметить, что в это время они еще не были пьяны. Конечно, взволнованные полученным известием, они слегка хлебнули, однако красные глаза, запинаящаяся речь и нетвердая походка были, без всякого сомнения, последствиями тяжелых страданий и обильно пролитых слез. Может ли не помутиться в голове, если умрет старый друг, верный товарищ, самый заядлый бродяга во всей Баие? Что же касается бутылки, которая якобы была спрятана под рубашкой у Капрала Мартина, то это ведь не доказано.

В сумеречный час, час таинственного приближения ночи, покойник, как казалось Ванде, выглядел немного усталым. Да и было отчего: весь день он смеялся, бормотал ругательства, строил гримасы. Он не унялся, даже когда Леонардо и дядя Эдуардо пришли сменить Ванду. Она слышала, как он обзывал Леонардо ничтожеством и насмеялся над Эдуардо. Но когда над городом сгустились вечерние тени, Кинкас начал беспокоиться. Он словно чего-то ждал. Ванда, чтобы забыться и отвлечься, оживленно разговаривала с мужем, дядей и тетушкой Марокас, стараясь не смотреть на покойника. Ей хотелось скорее вернуться домой, отдохнуть, принять снотворное. Почему это Кинкас все водит глазами, будто смотрит то на окно, то на дверь?

Четверо приятелей узнали о смерти Кинкаса по очереди. Сначала новость дошла до Курио. Этот человек применял свои многочисленные таланты в лавках на Байша-дос-Сапатеирос, где работал зазывалой. Надев попошенный фрак и нарумянив лицо, он остановился в дверях лавки и за ничтожное вознаграждение прославлял дешевизну и высокое качество товаров — он привлекал внимание прохожих, бойко выкрикивая остроты, приглашал их зайти во что бы то ни стало, чуть ли не затаскивал силой. Время от времени, когда его донимала жажда — ведь от такой работы пересыхает в горле, — забегал в соседнюю таверну и опрокидывал стаканчик, что-

бы лучше звучал голос. Во время одного из таких посещений его и постигло известие о смерти Кинкаса. Курио потерял дар речи, словно получил удар под ложечку. Повесив голову возвратился он в лавку и предупредил хояина, чтобы тот не рассчитывал на него больше в этот день. Курио был еще молод: радости и печали глубоко потрясали его юную душу. Он не мог страдать в одиночку и нуждался в поддержке друзей. Он жаждал очутиться поскорее в своей компании.

Под откосом, в том месте, куда по субботам причаливали рыбацьи лодки, прибывавшие на вечерний базар на Агуа-дос-Менинос, всегда собиралось много народу. Многолюдно бывало и на площади Сете-Портас, и на улице Свободы, где постоянно толпились любители капоэйры — моряки, рыночные торговцы, жрецы и жулики. Здесь болтали, заключали всякого рода сделки, резались в карты, ловили при свете луны рыбу и устраивали веселые попойки. В этих местах у Кинкаса Сгинь Вода было немало поклонников и приятелей, но с этими четверьмя — Курио, Прилизанным Негром, Ветрогоном и Капралом Мартином — он почти не разлучался. Много лет подряд они ежедневно встречались и проводили вместе все вечера. Иногда у них бывали деньги, иногда приходилось туго; случалось, они объедались, случалось — умирали с голоду, но выпивку всегда делили поровну и держались вместе — и в дни веселья и в дни печали. Только теперь Курио понял, как крепко они были связаны друг с другом. Смерть Кинкаса представлялась ему чем-то вроде ампутации — как будто ему отрезали ногу, руку или выкололи глаз. Тот самый «глаз сердца», о котором говорила «мать святого», сеньора, а уж мудрее ее вряд ли сыскать. Курио решил, что надо им всем вместе пойти попрощаться с Кинкасом.

Он отправился на поиски Прилизанного Негра. Конечно, тот сейчас на площади Сете-Портас помогает знакомым маклерам «жого до бишо»<sup>1</sup>, чтобы раздобыть пару монет на вечернюю выпивку. Росту в Прилизанном Негре чуть ли не два метра; когда он расправит плечи, то похож на монумент — такой он огромный и сильный. И если разозлится, никто с ним не справится. К счастью, злится он редко. Прилизанный Негр — человек веселый и добродушный.

---

<sup>1</sup> Жого до бишо — подпольная бразильская лотерея.

Как и рассчитывал Курио, Негр оказался на площади Сете-Портас. Он сидел на тротуаре возле рынка и всхлипывал, держа в руке бутылку. Вокруг стояло несколько человек, деливших с ним его горе и его кашасу. Они хором сопровождали воплям и вздохам Негра. Увидав эту сцену, Курио понял, что Негр уже знает о несчастье. Тот отхлебнул из бутылки, отер слезу и отчаянно завыл:

— Скончался отец наш...

— Отец наш...— простонали окружающие.

Бутылка-утешительница ходила по рукам, но все обильнее текли слезы из глаз Негра и все острее становились его страдания.

— Умер хороший человек...

— Хороший человек...

Время от времени кто-нибудь присоединялся к толпе, зачастую даже не зная, в чем дело. Прилизанный Негр протягивал ему бутылку и вновь испускал дикий вопль:

— Он был добрый...

— Добрый...— повторяли все, за исключением вновь прибывшего, не понимавшего, почему его бесплатно поят кашасой и чем вызваны столь горестные завывания.

— А ты что молчишь, несчастный? — Прилизанный Негр, не вставая, протягивал могучую руку и, сверкая глазами, встряхивал новичка.— Может, ты думаешь, он был плохой?

Кто-нибудь спешил объяснить, пока дело не приняло дурной оборот:

— Умер Кинкас Сгинь Вода.

— Кинкас?.. Он был добрый,— говорил новый член хора, то ли по убеждению, то ли со страху.

— Еще бутылку! — рыдая, требовал Прилизанный Негр.

Какой-нибудь мальчишка тотчас вскакивал и мчался в соседнюю таверну:

— Прилизанный хочет еще бутылку.

Курио издали наблюдал за этой сценой. Известие опередило его. Увидав Курио, Негр простер руки к небу, издал еще один страшный крик и поднялся:

— Курио, братец, умер отец наш.

— Отец паш...— повторил хор.

— Заткнитесь вы, болваны! Дайте мне обнять моего братишку Курио.

Нет на свете людей вежливее баиянских бродяг. Хотя они и бедны на редкость, но зато на редкость цивилизованны. Поэтому «болваны» тотчас же «заткнулись». Полы фрака Курио развевались по ветру, по его нарумяненному лицу текли слезы. Горько рыдая, он трижды обнялся с Прилизанным Негром и, ища утешения, отпил из новой бутылки. Негр же был безутешен:

— Погас светильник...

— Светильник...

Курио предложил:

— Найдем остальных и пойдем к нему.

Капрал Мартин мог находиться в трех или четырех местах: либо он спал у Кармелы, еще не придя в себя после вчерашней попойки, либо сидел на откосе и болтал с приятелями, либо играл на базаре Агуа-дос-Менинос. С тех самых пор, как лет пятнадцать назад Капрал Мартин покинул ряды вооруженных сил, он занимался только любовью, разговорами с друзьями и игрой. Его никогда не видели за каким-нибудь иным делом, женщины и дураки давали ему вполне достаточно средств на жизнь. Человеку, носившему когда-то военный мундир, работать, по мнению Капрала Мартина, было бы просто унижительно. Красота, величественная осанка и ловкость в карточной игре завоевали ему популярность. Кроме того, он прекрасно играл на гитаре.

Капрал совершенствовал свои многообразные способности большей частью на базаре Агуа-дос-Менинос. Он передергивал карты с поразительным искусством, чем доставлял высокое наслаждение шоферам автобусов и грузовиков и способствовал воспитанию двух мальчишек, которые начинали под его руководством практическое знакомство с жизнью. Кроме того, он часто помогал рыночным торговцам спускать деньги, нажитые ими за день. Таким образом, как мы видим, его деятельность заслуживала всяческих похвал. И довольно трудно понять, почему один из торговцев без всякого восторга смотрел, как Мартин виртуозно мечет, и даже пробормотал сквозь зубы, что «такое везение пахнет жульничеством». Капрал Мартин поднял на клеветника невинные голубые глаза. Он протянул торговцу колоду — пусть мечет сам, если желает и умеет. Что же касается его, Капрала Мартина, то он предпочитает просто пойти вабанк, выиграть и разорить банкюмета дочиста. И он не допускает сомнений в своей честности. Как бывший военный, он особенно чувствителен ко всякого рода наме-



кам, подрывающим его репутацию порядочного человека. Его щепетильность в этом вопросе настолько велика, что в случае новой провокации он будет вынужден набить кое-кому морду. Воодушевление ребятишек росло, шоферы в волнении потирали руки. Что может быть приятнее неожиданного бесплатного зрелища — доброй потасовки? Но именно в этот момент, когда все радостно ожидали драки, появились Курио и Прилизанный Негр с печальным известием и бутылкой, на дне которой, впрочем, оставалось совсем немного. Еще издали они закричали:

— Он умер! Умер.

Капрал Мартин взглянул на них, опытным взглядом безошибочно измерил содержимое бутылки и сказал окружающим:

— Случилось что-то необычайное, они выпили уже целую бутылку. Или Прилизанный Негр выиграл в «жого до бишо», или у Курио помолвка.

Курио, неисправимый романтик, постоянно становился жертвой безумной страсти и устраивал помолвки. Каждая помолвка соответствующим образом отмечалась, но обычно сватовство, начатое столь весело, быстро кончалось, жених впадал в меланхолию и погружался в философские размышления.

— Кто-то умер... — сказал один из шоферов.

Капрал Мартин прислушался.

— Он умер! Умер!

Два приятеля приблизились, шатаясь под бременем горя. Они прошли от площади Сете-Портас до базара Агуа-дос-Менинос, мимо откоса, куда пристают рыбацьи лодки, мимо дома Кармелы и всюду сообщали печальную новость. Узнав о кончине Кинкаса, каждый считал своим долгом откупорить бутылку. Разве виноваты они, вестники смерти и горя, в том, что столько народу встретилось им на пути и что столько друзей и знакомых было у Кинкаса? В этот день в Баие начали пить гораздо раньше обычного. И всюду, где узнавали о смерти Кинкаса, резко возрастало потребление кашасы. Ничего удивительного, не каждый же день умирает Кинкас Сгинь Вода.

Забыв о драке, Капрал Мартин, с колодой карт в руке, внимательно всматривался в лица друзей. Они плакали — это было ясно. Послышался сдавленный голос Прилизанного Негра:

— Умер отец наш...

— Господи боже, уж не губернатор ли? — спросил один из мальчишек, имевший склонность к юмору.

Негр поднял руку, и мальчишка полетел на землю. Все поняли, что произошло нечто серьезное. Курио, подняв бутылку, объявил:

— Умер Кинкас Сгинь Вода!

Колода выпала из рук Мартина. Злобный торговец увидел, что подтвердились худшие его подозрения: карты рассыпались, тузы и дамы имелись в колоде в чрезмерном количестве, но, услышав имя Кинкаса, торговец понял, что теперь не до споров. Капрал Мартин взял у Курио бутылку, выпил все до дна и отбросил ее в сторону. Долго стоял он молча и смотрел на базар, на снующих людей, на улицу с ползущими по ней грузовиками и автобусами, на бухту с рыбацкими лодками... Внезапное ощущение пустоты охватило его, он ничего не слышал, даже птичек, распевавших в клетках соседней лавки.

Мартин был не из тех, кто плачет: военным людям, даже если он и в отставке, плакать не положено. Он сощурился, в его голосе не слышалось больше никакого бахвальства, он стал почти детским:

— Как же это могло случиться?

Он подобрал карты и пошел вслед за приятелями. Теперь осталось найти Ветрогона. Этот не имел определенного местопребывания, только по четвергам и воскресеньям его наверняка можно было найти на улице Свободы, где он неизменно принимал участие в капоэйре. Ветрогон занимался ловлей мышей и лягушек и продавал их в лаборатории для медицинских исследований и научных опытов. Поэтому к нему относились с большим уважением и высоко ценили его суждения. Ведь он тоже был немного ученым, он беседовал с докторами и знал всякие непонятные слова.

Проходив по городу немалое время и выпив порядочное количество кашасы, друзья наконец наткнулись на Ветрогона, который шел, запахнувшись в свой широкий пиджак, как будто ему было холодно, и что-то бормотал про себя. Он уже знал новость и тоже искал друзей. Увидав их, он сунул руку в карман (за платком, чтобы утереть слезы, подумал Курио). Но Ветрогон извлек из глубины кармана маленькую зеленую лягушку, блестящую, словно изумруд.

— Я спрятал ее для Кинкаса. Никогда не встречал такой красивой.

Они остановились в дверях; Ветрогон протянул руку: на ладони, выпучив глаза, сидела лягушка. Они топтались на пороге; Прилизанный Негр вытянул шею, чтобы лучше видеть.

Семейство прервало оживленную беседу, четыре пары глаз злобно впились в незваных гостей. «Только этого не хватало», — подумала Ванда. Ветрогон смутился и спрятал лягушку в карман. Капрал Мартин в отношении воспитанности уступал только Кинкасу. Сняв свою потертую шляпу, он раскланялся:

— Добрый вечер, дамы и господа. Мы хотели его видеть...

И шагнул в комнату. Остальные последовали за ним. Родственники отошли в сторону, и приятели обступили гроб. Курио подумал сначала, что произошла ошибка: у покойника не было ничего общего с Кинкасом Сгинь Вода. Только по улыбке можно было узнать его. Все четверо остолбенели: никогда они не могли представить себе Кинкаса таким чистым, хорошо одетым, шикарным... В один миг они растеряли всю свою смелость, даже опьянение прошло, как по волшебству. В присутствии родных Кинкаса, особенно женщин, они оробели, растерялись, не знали, что делать с собою, куда девать руки, как стоять.

Курио, накуренный, комичный в своем изношенном фраке, смотрел на друзей, взглядом умоляя их уйти отсюда как можно скорее. Капрал Мартин размышлял, как генерал перед сражением, стремясь детально изучить силы противника. Ветрогон сделал шаг к двери. Один только Прилизанный Негр, все еще стоявший позади других, вытянув шею, не колебался ни секунды. Кинкас улыбался ему, и Негр улыбнулся в ответ. Нет на свете такой силы, которая заставила бы его уйти отсюда, от папаша Кинкаса. Негр взял Ветрогона за руку и взглянул: солдату не к лицу бежать с поля битвы. Все четверо отошли в глубину комнаты.

Так они и стояли молча — в одном углу семья Жоакина Соареса да Кунья: его дочь, зять, брат и сестра, в другом — друзья Кинкаса Сгинь Вода. Ветрогон держал руку в кармане, поглаживая испуганную лягушку; ему так хотелось показать ее Кинкасу! Они двигались словно в каком-то странном танце — как только приятели отошли от гроба, к нему приблизились родственники,

Ванда бросила на отца взгляд, полный презрения и упрека: даже после смерти он предпочитал общество этих оборванцев.

Конечно, он ждал их, из-за их опоздания волновался, он хотел видеть у своего гроба этих бродяг. А она-то думала, что победила, что Кинкас сдался, — он перестал наконец ругаться, и Ванда решила, что отец сражен тем преисполненным достоинства молчанием, которым она встречала все его фокусы. Но когда Ванда готова была праздновать победу, на лице покойника вновь засияла улыбка. Сейчас он больше чем когда-либо был Кинкасом Сгиль Вода. Если бы не боязнь оскорбить память Отасилии, Ванда отказалась бы от борьбы, возвратила бы гроб в похоронное бюро, продала бы новую одежду за полцены какому-нибудь бродячему торговцу и оставила бы этот мерзкий труп на Ладейра-до-Табуан. Молчание становилось невыносимым.

Леонардо обратился к жене и тетке:

— Вам пора уходить. А то будет темно.

Несколько минут Ванда только этого и хотела — пойти домой и отдохнуть. Но теперь она сжала губы — нет, она не хочет сдаваться:

— Немного попозже.

Прилизанный Негр уселся на пол, прислонившись головой к стене. Ветрогон пнул его ногой: неприлично так усаживаться в присутствии родственников покойного. Курио все порывался уйти, Капрал Мартин укоризненно смотрел на Негра. Но Прилизанный оттолкнул ногу приятеля и заревел:

— Он был нашим отцом! Папаша Кинкас...

Ванда была ошеломлена. Леонардо и Эдуардо чувствовали себя так, словно получили пощечину или плевка в лицо. Одна тетя Марокас заколыхалась от смеха.

— Какой забавный!

Прилизанный Негр был польщен и перешел от рыданий к смеху. Его хохот был еще ужаснее воплей. Он гремел, заполняя всю комнату, но сквозь него до Ванды доносился еще чей-то смех — Кинкас веселился от души.

— Какое святотатство! — Ее сухой голос разрушил зародившуюся было сердечность в отношениях с Негром.

Услышав упрек, тетя Марокас поднялась со стула и принялась ходить по комнате. Прилизанный Негр с восхищением следил за ней глазами. Он осмотрел ее с ног до головы и пришел к заключению, что эта женщина в его вкусе; конечно, она уже немного старовата, бедняж-

ка, но зато какая рослая, какая толстая... Он ценил таких женщин. Не то что теперешние худосочные, их обнять-то нельзя как следует! Вот бы встретиться с этой дамой на пляже, уж они бы не соскучились вдвоем. Стоит только на нее поглядеть — сразу видно, на что она способна. Тетя Марокас заявила, что хочет уйти: она переутомилась, да и нервы... Ванда молча заняла ее место у гроба, она сидела на стуле строго вынрившись.

— Все мы устали, — сказал Эдуардо.

— Женщинам в самом деле лучше уйти... — Леонардо боялся вечерней Ладейра-до-Табуан, когда закрываются все магазины и улицей завладевают бродяги и проститутки.

Капрал Мартин, движимый стремлением к мирному сотрудничеству, вежливо предложил:

— Может, господа устали и хотят малость вздремнуть, так мы за ним присмотрим.

Эдуардо прекрасно понимал, что не следует этого делать: нельзя, чтобы все родственники ушли и покойник остался на попечении незваных посетителей. Но до чего же ему хотелось принять их предложение, ах, до чего хотелось! Целые дни он был на ногах — обслуживал покупателей, распоряжался... Как тут не устать! Он привык рано ложиться, а вставать на рассвете и никогда не отступал от этого правила. Обычно, возвратясь из магазина, Эдуардо принимал душ и обедал. После обеда садился в шезлонг, вытягивал ноги и в ту же минуту засыпал. Братец Кинкас доставлял ему одни неприятности. В течение целых десяти лет он только этим и занимался. И вот теперь Эдуардо вынужден не спать из-за него всю ночь, и при этом за весь день ему удалось съесть лишь несколько бутербродов. А почему бы, собственно, не оставить Кинкаса в компании бродяг, ведь это его приятели, он водил с ними дружбу в течение целых десяти лет?.. А им — членам почтенного семейства — совершенно нечего делать в его грязной дыре. Это какая-то крысиная нора, и ни ему, ни Марокас, ни Ванде с Леонардо вовсе не место здесь. Однако у него не хватало духу сказать то, что он думал. Ванда так дурно воспитана, она может напомнить ему, Эдуардо, о тех временах, когда он только еще начинал свою карьеру и не раз пользовался щедростью Кинкаса. Эдуардо посмотрел на Капрала Мартина довольно благосклонно.

Ветрогон, убедившись, что попытки поднять Прили-

важного Негра бесплодны, уселся с ним рядом. Ему очень хотелось вытащить лягушку, пусть бы она попрыгала. В жизни он не встречал такой красивой! Курио в детстве провел несколько лет в иезуитском приюте и теперь силился извлечь из ослабевшей памяти какую-нибудь молитву. Он не раз слышал, что над покойником полагается читать молитвы. И в приюте отцы иезуиты... Да, а священник уже был или придет завтра? Этот вопрос вертелся у Курио на языке, и он не выдержал:

— А что, падре уже был?

— Придет завтра утром,— ответила Марокас.

Ванда укоризненно взглянула на нее: зачем она разговаривает с этим типом? Но все же теперь Ванда чувствовала себя лучше, ей удалось отогнать бродяг в угол, она заставила их молчать. Достоинство восстановлено. В конце концов ведь нельзя же ей и тете Марокас сидеть здесь всю ночь. Вначале она смутно надеялась, что безобразные приятели Кинкаса не станут долго задерживаться, поскольку на этом бдении не было ни выпивки, ни закуски. Она не понимала, почему они все еще торчат здесь; не из дружеских же чувств к покойнику: эти люди не знают, что такое дружба. Впрочем, даже присутствие таких приятелей не имеет никакого значения. Лишь бы они не вздумали принять участие в похоронной процессии. Завтра утром она, Ванда, об этом позаботится. Она вернется сюда и распорядится как следует. Возле покойного будут только его родственники, они и похоронят Жоакина Соареса да Кунья скромно и прилично. Она встала и позвала Марокас:

— Пойдем.— И добавила, обращаясь к Леонардо: — Не задерживайся особенно долго, тебе вредно не спать ночь. Ведь дядя Эдуардо обещал остаться до утра.

Эдуардо кивнул и уселся на стул. Леонардо пошел проводить женщин до трамвая. Капрал Мартин решил сказать им вслед: «Доброй ночи, сударыни»,— однако ответа не получил.

Комнату освещали только свечи. Прилизанный Негр уснул и отчаянно храпел.

## х

В десять часов вечера Леонардо поднялся с ящика из-под галет и подошел поближе к свечам, чтобы взглянуть на часы. Эдуардо с открытым ртом, скрючившись, спал на стуле, Леонардо разбудил его:

— Я уйду. В шесть часов утра приду сменить тебя. Ты успеешь сходить домой переодеться.

Эдуардо вытянул ноги и вспомнил свою удобную кровать. Болела шея, в углу негромко, но горячо спорили: кто именно, Курио, Ветрогон или Капрал Мартин, займет место Кинкаса в сердце и на ложе Пучеглазой Китерии. Капрал Мартин проявил возмутительный эгоизм, не соглашаясь вычеркнуть себя из числа наследников, несмотря на то что ему принадлежало сердце стройной негритянки Кармелы. Когда шаги Леонардо смолкли на улице, Эдуардо посмотрел на друзей Кинкаса. Они замолчали. Капрал Мартин улыбнулся коммерсанту. Эдуардо с завистью глядел на сладко спавшего Прилизанного Негра. Попытался устроиться получше, положив ноги на ящик. Невыносимо болела шея. Ветрогон наконец не выдержал, достал лягушку из кармана и посадил на пол. Лягушка запрыгала, такая забавная, будто маленький гномик.

Эдуардо никак не мог заснуть. Он неподвижно смотрел на мертвеца. Вот кому удобно лежать! И какого черта Эдуардо сидит здесь, как сторож? Мало разве того, что он пойдет на похороны, что он взял на себя часть расходов? Он выполнил свой долг по отношению к брату, если учесть, о каком брате идет речь. Ведь такого скандалиста и безобразника, как Кинкас, свет не видывал!

Он встал, размялся немного и широко зевнул. Ветрогон держал в кулаке маленькую зеленую лягушку. Курио думал о Пучеглазой Китерии. Вот это жевщина!.. Эдуардо подошел к ним:

— Скажите-ка...

Капрал Мартин, психолог по призванию и по необходимости, вытянулся перед ним.

— К вашим услугам, начальник.

Как знать, а вдруг коммерсант распорядится послать за бутылкой, чтобы длинная ночь прошла побыстрее?

— Вы останетесь здесь до утра?

— С ним? Да, сеньор, мы его друзья.

— Тогда я пойду домой, отдохну немного.— Эдуардо вытащил из кармана бумажку. Капрал, Курио и Ветрогон напряженно следили за его движениями.— Вот, купите себе бургербродов, но не оставляйте его одного. Ни на минуту, слышите?

— Можете отдыхать спокойно, мы составим ему компанию.

Прежде чем начать пить, Курио и Ветрогон закурили; Капрал Мартин тоже вынул сигару в пятьдесят сентаво, черную, крепкую, только настоящий курильщик может понять, что это за сигара. Он пустил сильную струю дыма в нос Негру, но тот даже не шевельнулся. Однако как только откупорили первую бутылку, ту самую бутылку, которую, как утверждают родные Кинкаса, Капрал принес под рубашкой, Негр почуял запах кашасы и тотчас же проснулся. Он открыл глаза и потренировался, чтобы и ему дали глотнуть.

С первого же глотка в четырех друзьях проснулся дух критицизма. Эти родичи Кинкаса задирают нос, а сами, сразу видно, мерзкие скряги. Ничего не сумели сделать как следует. Где стулья для посетителей? Где выпивка и угощение, как полагается даже в самых бедных домах? Капрал Мартин не раз бывал на бдениях, но никогда еще не видел такого. Все сделано небрежно, кое-как, без всякого старания. Последние бедняки в таких случаях считают своим долгом подать хоть чашечку кофе и рюмочку кашасы. Кинкаса не заслужил подобного унижения. Важничают, чуть не лопаются от спеси, а сами даже не угостили ничем друзей покойного! Курио и Ветрогон отправились на поиски чего-нибудь съестного. Кроме того, они получили задание раздобыть какие-нибудь ящики, чтобы можно было сидеть. Капрал Мартин решил обставить бдение более или менее прилично. Он уселся на единственный стул и начал командовать — принести ящики, купить кашасы... Прилизанный Негр одобрительно кивал.

Надо признать, что сам покойник выглядел прилично, тут семейство постаралось. Костюм новый, туфли тоже, все очень даже шикарно. И свечи красивые, из церкви. Ну, а цветы? Забыли? Где же это видано, чтобы покойнику не принесли цветов?

— Вид-то у него что надо! — сказал Прилизанный Негр. — Настоящий сеньор.

Кинкаса улыбнулся на похвалу, и Негр ответил ему улыбкой.

— Папаша... — сказал он растроганно и ткнул Кинкаса пальцем под ребро, как делал обычно, когда слышал от него удачную остроту.

Вернулись Курио и Ветрогон и принесли два ящика, кусок колбасы и несколько бутылок. Друзья уселись в



кружок возле покойника, и тут Курио предложил всем вместе прочитать «Отче наш». Ценой неслыханного напряжения ему удалось припомнить молитву почти целиком. Остальные неуверенно поддержали. Читать молитву было делом нелегким. Прилизанный Негр знал несколько заклинаний, обращенных к Ошуну и Ошале,<sup>1</sup> этим и ограничилось его религиозное образование. Ветрогон не молился уже лет тридцать. Капрал Мартин полагал, что ходить в церковь и молиться значит проявлять слабость, мало приличествующую человеку военному. Однако все честно старались. Курио начинал, приятели подхватывали, как могли. В конце концов Курио, стоявший на коленях со скорбно склоненной головой, не выдержал:

— Стадо ослов!

— Практики не хватает...— пояснил Капрал.— Все-таки кое-что вышло, а остальное сделает завтра падре.

Кинкас остался равнодушен к молитве, наверное, ему было жарко в плотном костюме. Прилизанный Негр смотрел на друга. Надо все-таки что-нибудь для него сделать, раз молитва не получилась. Может быть, спеть ему из кандомбле? Что-то ведь они должны сделать? Он обратился к Ветрогону:

— Где твоя жаба? Дай ему...

— Это не жаба, а лягушка. Только зачем она ему теперь?

— А может, ему понравится.

Ветрогон достал лягушку и осторожно положил ее на скрещенные руки Кинкаса. Мерцающее пламя свечей осветило лягушку, зеленоватые отблески вспыхнули на лице трупа. Лягушка прыгнула и спряталась в глубине гроба.

Капрал Мартин и Курио снова заспорили из-за Пучеглазой Китерии. Выпив, Курио сделался воинственнее и энергично поднимал голос в защиту своих интересов. Прилизанный Негр возмутился:

— Не стыдно вам спорить тут, у него на глазах? Он еще не остыл, а вы, как уруб<sup>2</sup>, набросились на падаль.

— Пусть он сам решит...— предложил Ветрогон.

Он надеялся, что Кинкас его выберет в наследники и именно ему завещает Китерию, свою единственную соб-

---

<sup>1</sup> Ошун — языческая богиня вод; Ошала — верховное божество афро-бразильского культа.

<sup>2</sup> Уруб — южноамериканский гриф.

ственность. Разве не он принес Кинкасу в подарок зеленую лягушку, самую замечательную из всех, что ему приходилось видеть?

— Гм! — слышалось из гроба.

— Видите? Ему этот разговор не по душе, — рассердился Негр.

— Надо ему тоже дать глотнуть... — сказал Капрал. Ему хотелось заслужить благодарность покойника.

Кинкасу открыли рот и принялись вливать в него кашасу. Кашаса полилась на пиджак, на рубашку...

— Я еще не видел, чтобы кто-нибудь пил лежа...

— Надо его посадить. Так он и нас будет лучше видеть.

Кинкаса усадили на ящик, его голова качалась из стороны в сторону. После глотка кашасы он улыбался еще шире.

— Хороший пиджак... — Капрал Мартин рассматривал материю. — Глупо надевать новый костюм на покойника. Умер — и конец, отправляйся в землю. Кормить червей хорошей одеждой... а ведь сколько есть людей, которым нечего носить...

— Вот это чистая правда, — поддержали все.

Кинкасу дали еще глоток, он качнул головой, конечно, он тоже не возражал, он всегда соглашался с разумными доводами.

— И потом, он испортит костюм кашасой.

— Лучше снять с него пиджак.

Казалось, Кинкасу стало легче, когда с него стянули тяжелый плотный черный пиджак. Но он все выплевывал кашасу. Пришлось снять и рубашку. Курио загляделся на блестящие ботинки покойника; его собственные давно просили каши.

— Зачем мертвецу новые ботинки, правда, Кинкас? А мне они как раз по ноге.

Прилизанный Негр притащил старую одежду друга, брошенную в углу комнаты. Кинкаса одели, и тогда все узнали его:

— Вот это и вправду наш старый Кинкас.

Друзья повеселели. Кинкас, похоже, тоже был доволен, в старой одежде ему было удобнее. Особенно он был благодарен Курио — проклятые ботинки так жали ноги! Но этот дурак вздумал полезть к Кинкасу с разговорами насчет Китерии. Он стал шептать ему что-то на ухо. Разве можно так делать? Ведь говорил же Прилизанный Негр, что это раздражает Кинкаса! Покойник

рассердился и выплюнул кашасу прямо в лицо Курио. Приятели задрожали от страха.

— Он взбесился.

— Я же говорил!

Ветрогон надел новые брюки, пиджак достался Капралу. Рубашку Прилизанный Негр выменяет в знакомой таверне на бутылку кашасы. Капрал Мартин вежливо сказал Кинкасу:

— Я не хочу никого обижать, но, говоря откровенно, твоя семейка довольно-таки бережлива.

— Сквалыги...— уточнил Кинкас.

— Раз ты сам так говоришь, значит, правда. Мы боялись оскорбить их, в конце концов ведь это твои родственники. Но что за скряги, даже выпивка за наш счет, где это видано! Такого бдения еще не бывало!

— И ни единого цветочка...— поддержал Прилизанный.— Чем иметь таких родственников, лучше их совсем не иметь.

— Мужчины — болваны. Женщины — гадюки,— четко произнес Кинкас.

— Но послушай, папаша, толстуха все-таки кое-чего стоит...

— Вонючка жирная!

— Не говори, папаша. Немного перезрела, но не так то уж она плоха. Я встречал и похуже.

— Ты, Негр, осед. Не смыслишь в женщинах.

Ветрогон совсем некстати вставил:

— Вот Китерия хороша, верно, старик? Что она теперь будет делать? Я даже...

— Заткнись, несчастный! Не видишь, он злится?

Но Кинкас не слышал Ветрогона. В эту самую минуту Капрал Мартин сделал попытку обделить его на целый глоток кашасы. Кинкас мотнул головой и так стукнул по бутылке, что чуть не разбил ее.

— Дай ему кашасы...— сказал Прилизанный Негр.

— Он проливает,— возразил Капрал.

— Пусть пьет, как хочет. Его дело.

Капрал Мартин сунул бутылку в открытый рот Кинкаса.

— Успокойся, приятель. Я не хотел тебя обидеть. На, пей на здоровье. Нынче твой праздник...

Они перестали говорить о Китерии. Было совершенно ясно, что Кинкас не разрешает касаться этого вопроса.

— Хорошая водка! — похвалил Курио.

— Барахло! — решил Кинкас, который был знатком.

— Ну так ведь и цена...

Лягушка прыгнула Кинкасу на грудь. Он полюбовался ею и тут же спрятал в карман старого засаленного пиджака.

Луна поднималась над городом и над морем, луна Баии лила в окно свое серебряное сияние... Ветер с моря погасил свечи, гроба больше не было видно. С улицы доносились звуки гитары, женский голос пел о муках любви. Капрал Мартин тоже запел.

— Он обожает песни...

Они пели вчетвером, бас Прилизанного Негра заполнял всю улицу и замирал далеко в бухте, где стояли баркасы. Кинкас не отставал ни в чем. Раньше он пел вместе со всеми, а теперь слушал пение, он ведь любил кантиги.

Наконец они устали петь, и Курио сказал:

— Кажется, сегодня вечером мокека<sup>1</sup> у Рулевого Мануэла?

— Конечно, сегодня. Мокека из ската,— прибавил Ветрогон.

— Никто не умеет готовить ее лучше, чем Мария Клара,— заявил Мартин.

Кинкас прищелкнул языком. Прилизанный Негр рассмеялся:

— Он до смерти любит мокеку.

— А почему бы нам не пойти? Рулевой Мануэл может даже обидеться, если мы не придем.

Прятели переглянулись. Немного поздно, да к тому же придется еще заходить за женщинами. Курио колебался:

— Мы ведь обещали не оставлять его одного.

— А почему одного? Он пойдет с нами.

— Я хочу есть,— заявил Прилизанный Негр.

Посоветовались с Кинкасом:

— Хочешь пойти?

— А что я, калека, что ли, чтобы оставаться здесь?

Еще один глоток — и бутылка пуста. Кинкаса поставили на ноги. Прилизанный Негр заметил:

— Он так пьян, что не держится на ногах. С годами он становится слабее. Пошли, папаша!

---

<sup>1</sup> Мокека — рыбное блюдо, приправленное оливковым маслом и перцем.

Курио и Ветрогон запагали впереди. Кинкас, довольный жизнью, танцующей походкой шел между Прилизанным Негром и Капралом Мартином, которые вели его под руки.

## XI

По-видимому, этой ночи суждено было стать незабываемой. Кинкас Сгинь Вода переживал лучшие минуты своей жизни. Необычайное воодушевление охватило компанию: им принадлежит эта небывалая ночь, для них стоит над Баией полная луна, заливая город таинственным светом. Под столетними порталами на площади Пеллууриньо прятались парочки, мяукали на крышах коты, стонали гитары. Ночь была полна очарования, издали неслись звуки атабаке, все казалось призрачным, нереальным...

Кинкас Сгинь Вода веселился вовсю: он подставлял ножку Капралу и Негру, показывал встречным язык, сунулся в какой-то подъезд посмотреть, что делает укрывшаяся там парочка. На каждом шагуну он валился и чуть было не растянулся на мостовой. Друзья не торопились, время принадлежало им. Они не чувствовали его власти над собою и верили, что эта волшебная ночь будет длиться долго, может быть, целую неделю. Ибо, как утверждал Прилизанный Негр, нельзя же день рождения Кинкаса Сгинь Вода отпраздновать за какие-нибудь несколько часов. Кинкас не отрицал, что сегодня день его рождения, хотя никто не помнил, чтобы его праздновали когда-нибудь прежде. Случалось им отмечать многочисленные помолвки Курио, дни рождения Марии Клары и Китерии, а иногда даже какое-нибудь научное открытие, сделанное одним из клиентов Ветрогона. На радостях ученый обычно вручал своему «скромному сотруднику» бумажку в пятьсот крузейро. Но день рождения Кинкаса праздновался впервые, и надо было отметить его как полагается. Они шли по склону горы к площади Пеллууриньо, к дому Китерии.

Странно: в барах на Сан-Мигел не было обычного шума. В эту ночь все выглядело по-иному.

А может быть, полиция устроила облаву и бары закрыты, а Китерию, Кармелу, Доралисе, Эрнестину и толстую Маргариду увели агенты? Как бы и им не попасть в ловушку! Капрал Мартин принял на себя командование, Курио отправили вперед.

— Ступай на разведку,— приказал капрал.

В ожидании они сели на ступени церкви. Оказалось, что имеется еще одна бутылка. Кинкас прилег, он смотрел в небо и улыбался, освещенный лунным сиянием.

Курио вернулся в сопровождении шумной компании, вопившей «ура». Впереди всех, поддерживаемая двумя приятельницами, величественно выступала безутешная вдова Пучеглазая Китерия, вся в черном и в кружевной мантилье.

— Где он? Где он? — кричала она в волнении.

Курио поспешно взбежал по ступеням. Он походил в своем потертом фраке на оратора.

— Пронесся слух, будто бы Кинкас протянул ноги, и город погрузился в траур.— Все рассмеялись, Кинкас смеялся тоже.— Так вот он — здесь, люди добрые, сегодня день его рождения, и мы отпразднуем его на баркасе у Рулевого Мануэла.

Пучеглазая Китерия высвободилась из сочувственных объятий Доралисе и толстой Марго и хотела кинуться к Кинкасу, который сидел теперь на ступеньке рядом с Прилизанным Негром. Но, видно, потрясенная всем происходящим, она не могла удержаться на ногах и уселась прямо на мостовую. Ее тотчас же подняли и подвели к Кинкасу.

— Бандит! Собака! Негодяй! Ведь вздумается же такое — распускать слухи, будто ты умер, и пугать людей!

Она села возле улыбающегося Кинкаса, взяла его руку и положила себе на грудь, чтобы он ощутил биение ее встревоженного сердца:

— Я чуть с ума не сошла, а он, оказывается, веселится, окаянный. Ну что с тобой делать? Дьявол ты, а не человек, вечно что-нибудь придумашь! Какой ты бесчувственный, Сгинь Водичка, совсем ты меня не жалеешь, ведь ты меня просто убил...

Все смеялись, шутили; в тавернах вновь зашумел народ, Ладейра-де-Сан-Мигел ожила. Компания направилась к дому Китерии. Она была в этот вечер чрезвычайно хороша: в черном платье, такая соблазнительная...

Они шли по Ладейра-де-Сан-Мигел и всюду встречали привет и дружбу. Немец Хансен, хозяин бара «Цветок Сан-Мигел», пригласил их выпить по рюмке кашасы. Француз Верже подарил дамам африканские амулеты. Он не мог присоединиться к ним, так как этой ночью ему надо было выполнять обет, данный святому. Двери домов открывались, женщины выглядывали из окон, вы-

ходили на улицу. Имя Кинкаса слышалось повсюду, ему кричали «ура». Кинкас кивал в знак благодарности, словно король, возвратившийся на трон. В доме Китерии все было погружено в траур. В спальне на комод, между литографией, изображающей Христа, и глиняной статуэткой кабокло Арозйра, ее покровителя, красовался портрет Кинкаса, вырезанный из газеты, где он был напечатан в качестве иллюстрации к серии очерков Джованни Гимараэнса «Баиянское дно». По бокам портрета горели две свечи, а перед ним лежала красная роза. Доралисе, ближайшая подруга Китерии, откупорила бутылку и разлила кашасу в синие рюмки. Китерия погасила свечи, Кинкас свалился на постель. Гости перешли в столовую. Вскоре Китерия присоединилась к ним.

— Он заснул, бедняга...

— Перепил... — пояснил Ветрогон.

— Пусть поспит немного, — сказал Прилизанный Негр. — Он имеет право...

По поскольку они и так уже опоздали к Рулевому Мануэлу, то вскоре пришлось разбудить Кинкаса. Китерия, негритянка Кармела и толстая Марго отправились вместе с ними. Доралисе пришлось остаться — ей сообщили, что нынче вечером придет доктор Кармино. Ну, а доктор Кармино, сами понимаете, — он ведь платит ежемесячно, нельзя же обидеть такого человека.

Они надеялись, что застанут баркас еще у причала. Спустились по склону. Теперь они спешили, Кинкас шел в обнимку с Китерией и Прилизанным Негром, он спотыкался о камни и тяжело висел на плечах друзей.

По дороге пришлось все же остановиться в баре Казузы, старого друга. У бара была дурная слава, каждый вечер здесь что-нибудь случалось. У Казузы собирались курильщики маконьи. Он был приветлив и всегда давал в долг несколько рюмок, а иногда даже целую бутылку. Неловко являться на баркас с пустыми руками; решили потолковать с Казузой, не удастся ли раздобыть у него в долг литра три кашасы. Капрал Мартин, отличавшийся редким дипломатическим искусством, подошел к стойке и шепотом начал переговоры с хозяином, который никак не мог прийти в себя от изумления, видя Кинкаса Сгинь Вода в великолепном настроении. Остальные уселись опрокинуть по рюмке за счет заведения для аппетита и в честь праздника. В баре было полно народу: хмурые

курильщики маконьи, веселые моряки, женщины, болтавшие о последних новостях, шоферы...

Драка началась внезапно и чрезвычайно эффектно. Похоже, что и в самом деле виноват был Кинкас. Он сидел, склонив голову на грудь Китерии и вытянув ноги. Как утверждают, один из курильщиков маконьи, проходя мимо, споткнулся о ноги Кинкаса и чуть не упал. Парень разразился ругательствами. Прилизанному Негру это не понравилось: Кинкас имел право делать все, что угодно, в том числе вытягивать ноги, как ему заблагорассудится. Негр высказал свое мнение вслух. Парень промолчал. Казалось бы, тем все и кончилось. Однако через несколько минут еще какой-то тощий тип из той же компании курильщиков маконьи тоже пожелал пройти. Он попросил Кинкаса подвинуться, но Кинкас сделал вид, что не слышит. Тощий парень рассвирепел и, бешено ругаясь, толкнул Кинкаса. Тот ударил его головой, и драка началась. Прилизанный Негр поднял парня вверх и, по своей обычной манере, швырнул его на другой стол. Разъяренные приятели парня кинулись в наступление. Невозможно передать, что было дальше. Пучеглазая Китерия, вскочив на стул, размахивала бутылкой. Командование принял на себя Капрал Мартин.

Побоище завершилось полной победой друзей Кинкаса, на помощь которым пришли шоферы. Курильщики маконьи бежали. Ущерб, нанесенный неприятелем, оказался значительным: у Ветрогона под глазом красовался синяк, Курио оторвали полу фрака. Кинкас лежал неподвижно, ему, как видно, здорово досталось, и к тому же он сильно ударился головой о каменный пол. Китерия склонилась над Кинкасом, пытаясь привести его в чувство. Казуза философски созерцал перевернутую стойку, опрокинутые столы и разбитые стаканы. Дело привычное, и потом, ведь это реклама: после такого сражения в баре будет больше посетителей. Он и сам знал толк в доброй драке.

От глотка кашасы Кинкас пришел в себя. Он все еще как-то странно пил: часть жидкости выливалась обратно из его рта, словно бы он ее выплевывал. Если бы не день его рождения, Капрал Мартин в деликатной форме обратил бы на это его внимание. Все направилось в порт.

Рулевой Мануэл уже не ждал их в столь поздний час. Кушанье было готово, Мануэл не собирался выхо-



дять в море, поскольку гости не явились, и вокруг глиняного горшка сидели одни рыбаки. В глубине души Мануэл ни на минуту не верил в смерть Кинкаса. Не может старый моряк умереть на суше, в постели. Поэтому он ничуть не удивился, увидев Кинкаса под руку с Китерией.

— Скатов много, хватит на всех...

Вытянули большой камень, служивший якорем, подняли парус. На воде серебрилась лунная дорожка. Вдали, на горе, чернела Баия. Баркас медленно отчалил. Мария Клары громко запела морскую песню:

На дне моря тебя я нашел  
в ожерелье из раковин нежных...

Гости подсели к дымящемуся горшку. Глиняные миски быстро наполнялись мокекой из ароматного ската, с пальмовым маслом и перцем. Бутылка кашасы ходила по кругу. Капрал Мартин всегда гордо смотрел в будущее и обладал даром провидения. Поэтому руководя по-боищем в баре, он в то же время ухитрился стянуть в суматохе несколько бутылок, которые дамы укрыли под одеждой. Кинкас и Китерия ничего не ели; они лежали на корме, и под звуки песни Марии Клары лучезрабая красавица шептала старому моряку слова любви.

— Зачем ты так напугал меня, противный Сгинь Водичка? Ты ведь знаешь, что у меня слабое сердце, врач не велел мне волноваться. Неужели ты думаешь, что я могла бы жить без тебя, мерзкий ты человек? Я привыкла к тебе, к твоим безумствам и к твоей мудрости, к твоим дурным манерам и к твоему добродушию. Зачем ты так поступил со мною? — Она обнимала раненую в драке голову Кинкаса, целовала его лукавые глаза.

Кинкас не отвечал, он впитывал в себя морской воздух, рука его свешивалась за борт, от нее по воде тянулся след. Вначале все шло хорошо: голос Марии Клары, чудесное угощение, свежий бриз, свет луны и шепот Китерии. Но неожиданно с юга надвинулись облака. Луна скрылась, звезды погасли, ветер крепчал и становился опасным. Рулевой Мануэл сказал:

— Будет шторм, лучше повернуть назад.

Он хотел вернуться в гавань до начала бури. Но так хороша была кашаса, так приятна дружеская беседа, а

в горшке в пальмовом масле плавало еще так много мяса! И голос Марии Клары навевал тихую грусть. Не хотелось расставаться с морем. И потом, разве можно было нарушить идиллию, разлучить Кинкаса с Китерией в эту праздничную ночь?

Вот почему случилось так, что буря застигла их в пути. Ветер выл, волны пенились, молнии прорезали темноту. Начался дождь. Вдали сверкали огни Баии. Рулевой Мануэл стоял у штурвала, посасывая трубку.

Никто не видел, как Кинкас поднялся. Он стоял, прислонившись к мачте. Китерия не сводила влюбленных глаз с фигуры старого моряка. Кинкас улыбался волнам, лизавшим борта, и молниям, сверкавшим во мраке. Мужчины и женщины хватались за капаты, цеплялись за борт... Ветер свистел, маленькому суденышку каждую минуту угрожала гибель. Мария Клара больше не пела, она стояла у штурвала рядом с возлюбленным.

Волны перекачивались через палубу, ветер рвал паруса, В темноте по-прежнему светился огонек трубки Рулевого Мануэла, и Кинкас, старый моряк, все так же неподвижно и величаво стоял среди бушевавшего шторма. Баркас медленно, с трудом входил в тихие воды защищенной от ветра бухты. Еще немного — и можно будет снова начать веселье.

Но тут небо прорезали одна за другой пять молний, гром загрохотал с такой силой, будто возвещал конец света, и огромная волна подняла баркас. Все невольно вскрикнули, толстая Марго завопила:

— Пресвятая дева, спаси и помилуй!

Баркас накренился. Среди рева разъяренных волн слышались последние слова Кинкаса, и при свете молний было видно, как он бросился за борт. Парусник вошел спокойно в бухту, а Кинкас, закутанный в белый саван из морской пены, погрузился в бурную пучину вод. Он всегда хотел так умереть.

## XII

Похоронное бюро не приняло гроб обратно даже за полцены. Пришлось за него расплатиться. Свечи Ванда сумела использовать в хозяйстве. Гроб же до сего дня находится в магазине Эдуардо, который не теряет надеж-

ды продать его для какого-нибудь второсортного покойника. Насчет же последних слов Кинкаса имеются самые различные версии. Да и кто мог ясно расслышать их в такую бурю? А если верить рыночному трубадуру, то дело было так:

Ревела буря и выла,  
И громко Кинкас сказал:  
«Час мой, о други, настал,  
Я сам этот час избрал,  
Пусть мне море станет могилой.  
Гроб мне семейство купило,  
Тратило зря капитал —  
Море меня приютило...»  
Дальше никто не слышал —  
Буря слова заглушила.

---

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>И. Тертерли. Мир Жоржи Амаду . . . . .</i>	5
<b>Мертвое море (Роман). Перевод Инны Тыняловой</b>	29
<b>* Капитаны песка (Роман). Перевод Александра Богдановского . . . . .</b>	269
<b>Необычайная кончина Кинкаса Сгивь Вода (Новелла). Перевод Юрия Калугина , . . . .</b>	483

А 61

## Амаду Ж.

Собрание сочинений. В 3-х т. Т. 1. Мертвое море; Капитаны песка; Необычайная кончина Кинкаса Сгинь Вода: Пер. с португ./Сост. и предисл. И. Тертерян.— М.: Худож. лит., 1986.— 527 с., портр.

В том включены романы «Мертвое море» и «Капитаны песка», относящиеся к раннему периоду творчества писателя, один рассказывает о бесстрашных людях моря, другой — о беспризорных, бродячих детях и их судьбах в большом городе капиталистического мира, и новелла «Необычайная кончина Кинкаса Сгинь Вода».

А 4703000000-360  
028(01)-86

подписное

ББК 84. 7Бр

---

## ЖОРЖИ АМАДУ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ПЕРВЫЙ

Редактор *Л. Бреверн*. Художественный редактор *Ю. Коннов*.  
Технические редакторы *В. Полонская* и *В. Нефедова*. Коррек-  
торы *Л. Лобанова*, *И. Макаревич*

ИВ № 4468

Сдано в набор 17.03.86. Подписано в печать 09.10.86. Формат 84×108<sup>1/32</sup>. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Обыкновенная». Печать высокая. Усл. печ. л. 27,72 + 1 вкл.=27,77. Усл. кр.-отт. 27,77. Уч.-изд. л. 29,38 + 1 вкл.=29,43. Тираж 100 000 экз. Изд. № VII-2108. Заказ № 95. Цена 3 р. 30 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, В-78, Ново-Басманная, 19

Ленинградская типография № 2 головное предприятие ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 198052, г. Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29.

